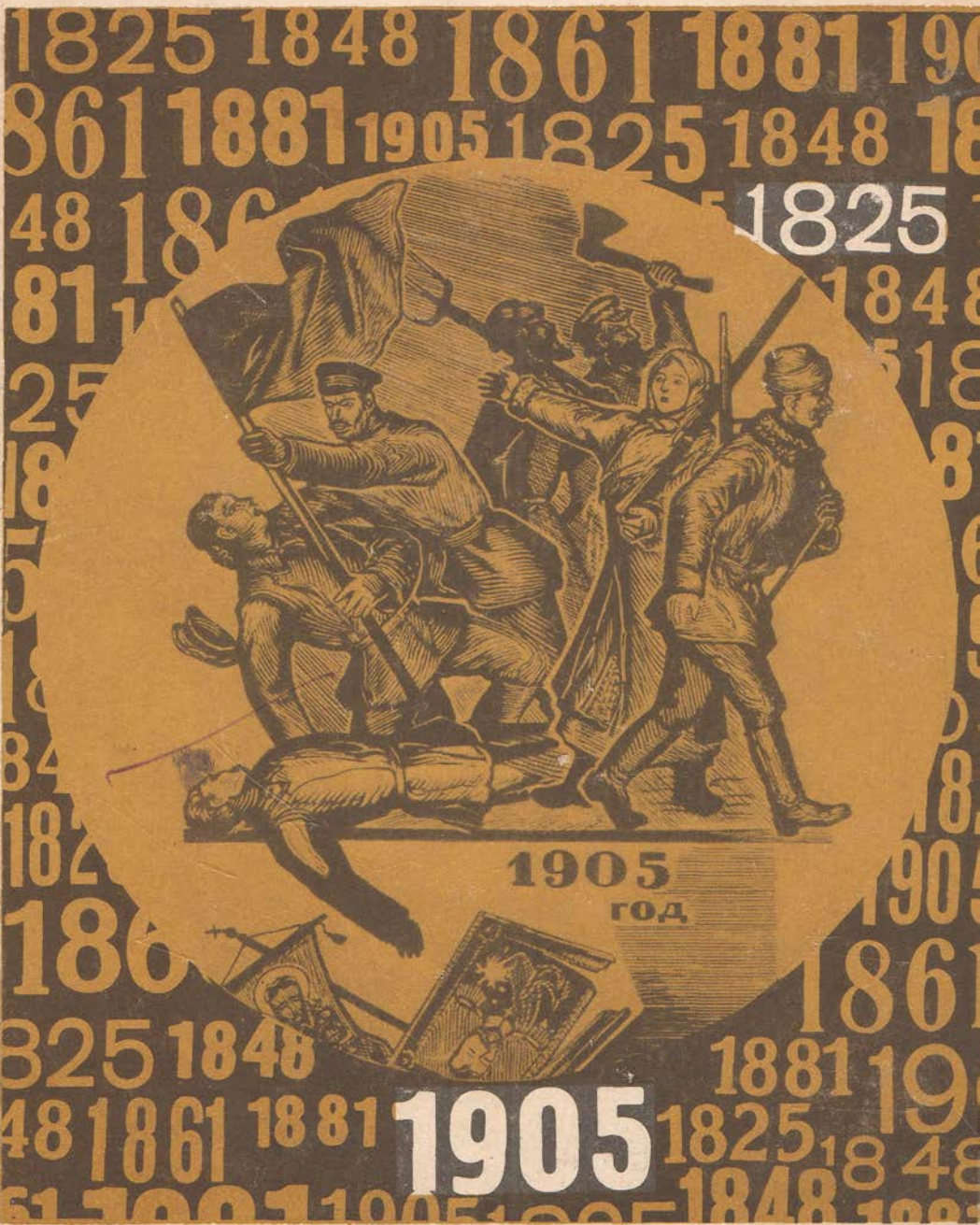


001
781



Очерки. Статьи. Портреты.
Поиски. Находки. Гипотезы.
Письма. Документы.
Дневники. Воспоминания.
История в иллюстрациях.
Литературное наследство.
Библиографический листок.
Смесь.

Историко-
биографический
альманах
серии
„Жизнь
замечательных
людей“

САМОЕ РАННЕЕ
ПИСЬМО ЛЕНИНА.
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
О ЛЕНИНСКОЙ «ИСКРЕ».
НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО
ГЕРЦЕНА.
ОЧЕРКИ О ГЕРЦЕНЕ И
СТЕПНЯКЕ-КРАВЧИНСКОМ.
РАССКАЗ А. ГРИНА.
ВОСПОМИНАНИЯ
В. В. СУХОМЛИНА
И ДР. МАТЕРИАЛЫ.



Том третий

Издательство
ЦН ВЛКСМ
„Молодая
гвардия“

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. П. Алексеев

И. Л. Андроников

Д. С. Данин

Б. И. Жутовский

И. С. Исаков

П. Л. Капица

Б. М. Кедров

Н. И. Конрад

Ю. Н. Коротков (редактор)

Д. М. Кукин

А. А. Сидоров

К. М. Симонов

С. Д. Сказкин

С. С. Смирнов

К. И. Чуковский

«Освободительное движение в России прошло три главных этапа, соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время»

В. И. Ленин.

Три поколения, три класса в русском освободительном движении

Крепостное право веками угнетало народы России. Невиданный по своим масштабам и жестокости феодальный гнет не раз встречал упорное сопротивление, выливавшееся в стихийные восстания крестьян, казаков, крепостных, рабочих.

Три крестьянские войны пережила Россия в XVII—XVIII веках.

Память о них, мысль об их уроках и значении оставила свой отпечаток на всей истории освободительного движения.

Сознательная борьба против крепостничества и самодержавия началась вскоре после восстания Емельяна Пугачева — самой грандиозной и последней из крестьянских войн.

В 1790 году вышла в свет книга под скромным названием «Путешествие из Петербурга в Москву». Ее автор Александр Николаевич Радищев писал об ужасах крепостного права, о самовласти царя, «преступника из всех первейшего». Радищев

был основателем русской революционной традиции. Тогда, на пороге нового века, его выступление было единичным, но прошло два десятилетия, и высказанные им идеи нашли выражение и развитие в движении декабристов.

«Богатыри, выкованные из чистой стали», — писал о них А. И. Герцен. Лучшие люди из дворян, впервые во время Отечественной войны 1812 года близко увидевшие народ, его героизм, его самоотверженность, его страдания, решительно встали на сторону народа, против царя.

Утверждению идей необходимости преобразования страны помогло и глубокое осмысление декабристами революционного опыта Европы. Происходившие там в конце XVIII — начале XIX века события «ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобствами оные производить» (Пестель). Декабристы были едины в одной мысли: грядущий переворот в России должен прежде всего уничтожить крепостную зависимость и обеспечить равноправие всем гражданам. «Рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми», — писал в «Русской правде» П. И. Пестель.

Заговор декабристов, этих самоотверженных и благородных людей, не связанных с народом и не опирающихся на народ, был обречен на провал. Безнадежность борьбы понимали и сами декабристы:

Известно мне, погибель ждет

Того, кто первый восстает

На утеснителей народа.

Судьба меня уж обрекла,

Но где, скажи, когда была

Без жертв исполнена свобода? —

писал поэт-декабрист К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 года было разгромлено.

Тень от пяти виселиц упала на следующее

поколение борцов. Настало «глухое и темное» царствование Николая I. Тюрьмы и ссылки, преследование свободного слова и свободной мысли, свевидящее око III отделения собственной его величества канцелярии — все это, казалось, не оставило места развитию революционных идей.

Но и под гнетом невиданного деспотизма продолжалась «предварительная внутренняя» работа. Она велась сначала в университетских кружках, а затем, перехлестнув университетские стены, стала достоянием завязывающейся общественной борьбы.

«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа», — говорил о декабристах В. И. Ленин.

Новое поколение борцов поняло невозможность борьбы за интересы народа без его участия. Русские просветители 40-х годов прежде всего искали ответ на вопрос: что делать для освобождения народа? В разных формах пропагандировали они идеи «действия», активности человека, неизбежности преобразований.

Слова русских пропагандистов 40-х годов не доходили до крестьян — они это знали, и не на них были рассчитаны их произведения, они были обращены к становившемуся все более значительному кругу образованных русских, теперь уже не только дворян, но и выходцев из низших слоев общества «разночинцев».

«Всякое другое действие, кроме слова, и то маскированного, было невозможно, — писал Герцен, — зато слово приобрело мощь, и не только печатное, но еще больше живое слово, меньше уловимое полицией».

Слово все больше становилось делом. Оно обрело особую мощь тогда, когда с берегов далекой Темзы раздался набат герценовского «Колокола». «Зову живых!» — таков был эпиграф этого органа вольной русской прессы. «Колокол»... — писал Ленин, — встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено».

Агитацию Герцена подхватили, расширили, укрепили революционеры-разночинцы.

Разночинец в конце 50-х — начале 60-х годов стал главным деятелем освободительного движения в России. Ряды борцов с самодержавием, столь еще редкие в прежние годы, пополнили новые силы, пришедшие из иной общественной среды, стоявшей значительно ближе к народу, лучше понимающей его потребности.

Приток новых сил не только расширил состав борцов, но и поднял движение на новую ступень. «Шире стал круг борцов, — пишет В. И. Ленин, — ближе их связь с народом». Вера в народ, как в силу, призванную преобразовать мир, первые попытки практической революционной деятельности в народе составили характерную черту мировоззрения революционеров 60-х — 70-х годов. И если

дворянские революционеры стремились к революции для народа, но без народа, а деятели 30—40-х годов, поняв ошибку декабристов, формулировали новое отношение к народу, то деятели второго разночинного этапа освободительной борьбы твердо знали, что революция может быть совершена лишь посредством народа и должна будет привести к установлению «самодержавия народа». Идеологическое обоснование крестьянской революции, ее социалистического характера и конечных целей составило содержание русского утопического социализма. Считая революцию неизбежной и закономерной, русские революционеры, естественно, обратились к самому многочисленному и революционному классу России — крестьянству. Отражая его интересы, формулируя его требования, они создали теорию крестьянской революции. «Старый русский крестьянский социализм» — называл эту идеологию Ленин.

Возникновение и развитие этой формы мировоззрения в такой крестьянской стране,

как Россия, было закономерно и неизбежно. Возникнув и развиваясь в различных направлениях, утопический социализм вплоть до распространения марксизма в России был самой передовой, революционной идеологией. «Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, — писал Ленин, — Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».

Крупнейшие мыслители и революционеры разночинного буржуазно-демократического этапа освободительного движения России В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. А. Добролюбов, И. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. М. Ткачев были социалистами-утопистами. В различных формах и с различной тактикой пропагандировали они свои идеи, но всех их объединяла бескомпромиссная борьба против самодержавия и крепостничества, вера в народную революцию.

Идеологи русского утопического социализма были идейными и политическими вождями русской демократии эпохи падения крепостного права. Наивысшего подъема их практическая революционная деятельность достигла в годы первой революционной ситуации, сложившейся в стране в 1859—1861 годах. Но ввиду отсутствия в стране революционного класса, способного претворить массовое состояние гнета в активное состояние возмущения и восстания», революционная ситуация не переросла в революцию, а завершилась рядом реформ, которые, по определению В. И. Ленина, представляли собой «побочный продукт революционной борьбы». Самым важным законодательным актом правительства явилось «Положение о

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Революционные демократы встретили крестьянскую реформу с негодованием и протестом. На повестку дня во весь рост встала задача подготовки крестьянской революции. Идеологическое обоснование ее и популяризация в тяжелейших условиях царского режима принадлежит в первую очередь Н. Г. Чернышевскому — идейному вождю и властителю дум передовой молодежи той эпохи. От сочинений Чернышевского, по определению В. И. Ленина, веяло духом классовой борьбы. Идеи революции пропагандировала и Вольная русская пресса в статье «Исполни просыпается!». Герцен призывал народ «потянуться во всю длину молодецкую, вздохнуть свежим утренним воздухом, да и чихнуть, — чтобы спугнуть всю стаю сов, ворон и вампиров»¹. Но надежды революционеров на возможность поднять народ на революцию не оправдались. Революционный натиск был отбит. В 70-х годах волна крестьянского движения по сравнению с годами первой революционной ситуации резко снизилась.

Борьба же разночинной интеллигенции, напротив, приобрела невиданные доселе масштабы. Передовая статья «Земли и Воли» (1878 г., № 1) отмечала: «В 60-х годах русская партия движения впервые написала на своем знамени — Народная революция. В 70-х годах движение из кружкового переходит в общее, массовое, повальное, которое, несмотря на правовые гонения, идет все вперед, становится с каждым годом все шире и грознее». Народники 70-х годов получили от своих предшественников не только знамя народной революции, но и призыв к активной работе в народе.

Идеи шестидесятников, сама незавершенность их теоретических поисков настойчиво требовали проверки опытом, практикой. Одевшись в крестьянское платье, постигнув ту

или иную профессию, нужную крестьянину, сотни юношей и девушек, главным образом из учащейся молодежи, пошли в народ. Одни из них пытались вести революционную агитацию, другие просто лечили и учили крестьян, пытались сблизиться с народом — жить его жизнью. Но все эти попытки наткнулись на глухую стену замкнутости крестьянского мира, взаимного непонимания.

Репрессии со стороны правительства завершили дело. Снова, как и после разгрома начала 60-х годов, революционеры оказались отброшенными на исходные позиции. Тогда в сознании наиболее активных представителей движения родилась идея иной формы борьбы — политического террора, направленного сначала против царских сановников, а затем и против самого царя.

Начался невиданный в истории поединки горстки героев-народовольцев с могущественной, бездушной и жестокой машиной самодержавия. Сам царь, по образу К. Маркса и Ф. Энгельса, стал «содержащимся в Гатчине военнопленным революции». 1 марта 1881 года по приговору Исполнительного Комитета «Народной Воли» Александр II был убит.

Но надежды революционеров опять потерпели крах. Вторая революционная ситуация (1879—1880 гг.) не завершилась революцией. Народ остался равнодушным как к казни царя, так и к последующей казни народовольцев. «Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, — писал В. И. Ленин, — несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть»¹.

Град репрессий, обрушившихся на «Народную Волю», фактически привел к прекращению ее деятельности. Началась новая полоса реакции, сопровождающаяся переходом в либеральный, а иногда и в правительственный

лагерь отдельных менее стойких участников движения.

Но в целом революционная струя в народничестве не иссякла. 80-е годы ознаменовались возникновением «Террористической фракции «Народной Воли», участники которой 1 марта 1887 года попытались повторить покушение на нового царя, Александра III. Возникали и действовали и другие кружки и организации, пытавшиеся продолжать линию «Народной Воли».

В 90-е годы революционное народничество снова активизировалось, но оно уже не определяло, как два десятилетия назад, основного направления освободительной борьбы в России.

На арену истории вышел и занял ведущее положение рабочий класс. Демократическое движение народников пробудило к сознательной жизни первых рабочих-революционеров. Но уже с середины 70-х годов рабочее движение начало прокладывать свой самостоятельный путь борьбы.

На заре нового пролетарского этапа стачки рабочих стали той школой, в которой пролетариат готовился к грядущим классовым битвам.

В 80-х годах зародилось и русское социал-демократическое движение.

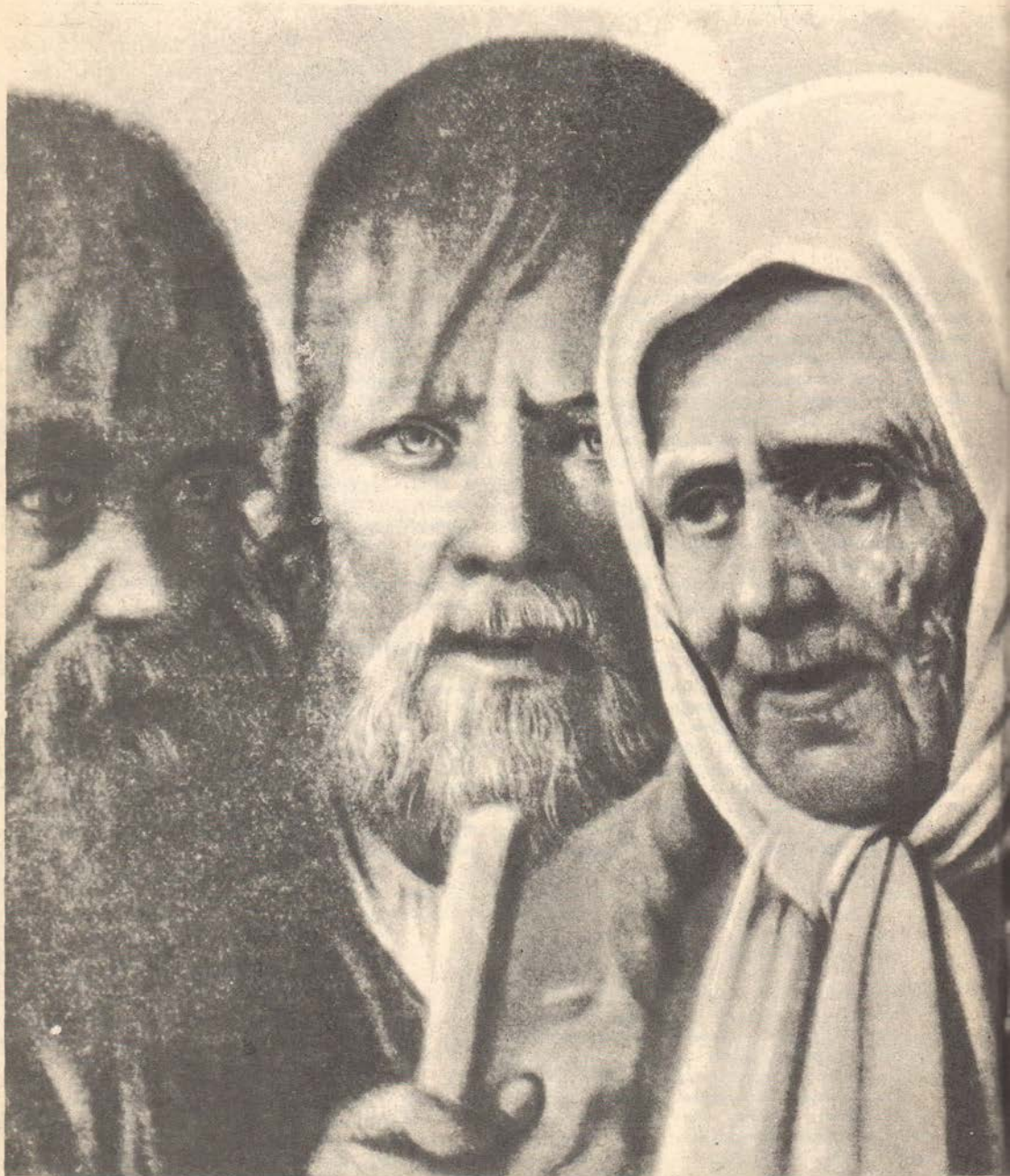
У истоков его стояла марксистская группа «Освобождение труда», созданная в 1883 году в Женеве Г. В. Плехановым.

В 1889 году на I Конгрессе II Интернационала в Париже Плеханов заявил: «Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может!» Но первые десять лет социал-демократия существовала еще вне связи с рабочим движением. Марксистские кружки и группы не руководили еще рабочими забастовками. В. И. Ленин называл эти годы (1884—1894 гг.)

периодом «утробного развития» превращение социал-демократического левейшего течения в марксистскую партию произошло лишь тогда, когда марксизм соединился с рабочим движением. С 1893 года Владимир Ильич Ленин стал общепризнанным руководителем русских марксистов. В 1895 году был создан Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Началась массовая политическая агитация среди рабочих. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе масс «и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян». Первый натиск революционной бури разразился в 1905 году. Кровавая расправа царя с народом 9 января 1905 года ознаменовала начало первой русской революции. Массовые стачки под лозунгом «Долой самодержавие!» охватили многие города России. К концу марта 1905 года бастовало 810 тысяч рабочих. Летом 1905 года поднялась волна крестьянских выступлений. Стала колебаться и армия — последняя опора царизма. Революция нарастала. В октябре 1905 года разразилась всеобщая политическая стачка. На этот раз бастовало 2 миллиона человек.

Высшим этапом революции стало декабрьское вооруженное восстание.

«На карту поставлено все будущее России. Жизнь или смерть, свобода или рабство... Смело же в бой, товарищи рабочие, солдаты и граждане!» — эти слова манифеста, обращенного к рабочим и солдатам и опубликованного 7 декабря 1905 года в «Известиях» Московского Совета, объявляли решительную, беспощадную войну царизму. 10 дней вооруженные рабочие вели сражения на баррикадах Москвы. Но силы были слишком неравны. Царизм послал против московских рабочих войска из других городов. 17 декабря начался штурм Пресни — последнего оплота восставших. «Мы начали. Мы кончаем, — гласил последний приказ штаба пресненских боевых дружин. — Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это ничего. Будущее — за рабочим классом. Да здравствует борьба и победа рабочих!» Первая битва московских рабочих с царизмом закончилась поражением. Революция 1905—1907 гг. стала генеральной репетицией Великой социалистической революции, приведшей пролетариат и его партию к окончательной победе в октябре 1917 года.





Крепостное дело при семейном Управлении
 4^{ой} Квартила 2^{ой} Части, Крепостного
 моего Крепостного Александра Мехай
 твева; Покардissime прощия: наказанъ
 его ста графаме розеъ за службу
 и не повиновение. Машта 16^{ой} дня 1852^{го} года

И. Немецков

1852 года Марша 10 дня подшилъ дурин
 Е. Немецковъ противавану его Драммъ Н^и
 иварилана въ Трапра Цукарно свиретамъ
 ствурю Драммъ иварилана
 надупрашилъ Рашеминъ



Лидия Чуковская

Начало

Из книги „Герцен“

Глава первая. Открытая даль

1

Они сидели на широком подоконнике в Сашиной комнате. Темнело, но они позабыли о свечах. Они жались к стеклу, ловя последний свет. Раскрытый томик Карамзина лежал у Саши на коленях. «Цветок на гроб моего Агатона». Быстро перебегая глазами по строчкам, молча, каждый про себя, они читали о том, как друг оплакивал друга, скончавшегося в разлуке. Саша и Ник никогда еще не разлучались надолго, и никому из них не грозила ранняя смерть, но слова «вечная разлука», «истинный друг» и восклицание «ах!» тревожили их воображение.

«Я хотел бы оросить слезами то мертвое те-

ло, в котором обитал бессмертный дух твой... хотел бы успокоить тебя и в самом гробе и первым весенним цветом украсить могилу твою!.. Ах! на что мы разлучались?»

За окном было темно и тихо; в тишине слышно было, как шлепался наземь с ветвей сбиваемый ветром снег.

— «Я нашел в нем сокровище, — вслух прочитал Саша, — особливый дар Неба, который не всякому смертному в удел достается...»

Саша прыгнул с подоконника и громко хлопнул книгу. Старик лакей внес свечи. Саша подождал, пока он выйдет, и, ставя томик на полку, не глядя на Ника, сказал:

— Вам бы надо завести своего Агатона.

«Я не понял, и думал, что ты советуешь мне купить сочинения Карамзина, которых у меня в собственности не было, — писал впоследствии Герцену Огарев, вспоминая об этой минуте. — Ты захохотал. «Нет, вы меня не поняли, — сказал ты, — я говорю о друге».

Имя «Агатон» не казалось им обоим смешным, вычурным; в нем звучало для них нечто возвышенное. «Поверенный души» — вот кем был Агатон для своего истинного друга.

— Вам бы надо завести своего Агатона, — настойчиво повторил Саша.

В феврале месяце 1826 года, когда мальчики Герцен и Огарев вместе читали Карамзина, Герцену было 13 лет, Огареву 11 с половиной. Они вместе играли, вместе стреляли из лука, вместе готовили уроки уже не первый день; рассматривали древние кольчуги в меняльной лавке, читали Шиллера и совер-

шали далекие путешествия на Воробьевы горы и за Дорогомиловскую заставу. Но только тот вечер, когда они вместе читали карамзинского Агатона, положил начало настоящей дружбе. В этот вечер они всласть поговорили о шиллеровских «Разбойниках» и о «Заговоре Фиеско», о преимуществах республики перед правлением тираническим и в этот вечер решились перейти на «ты». И все, что было написано в книгах о пламенном чувстве, именуемом дружбою, все теперь стало как будто нарочно написанным для них и про них. Откуда это великий Шиллер так хорошо знал их? «Философские письма» Шиллера, переписку Юлия и Рафаила они тоже читали вместе. «Ты уехал, Рафаил, — читал Герцен вслух Огареву, многозначительно глядя на него (хотя Огарев никуда не уезжал, а сидел рядом с ним на лодоконнике), — и желтые листья валяются с деревьев, и мгла осеннего тумана, как гробовой покров, лежит на вымерзшей природе. Одиноко брожу я по печальным окрестностям, зову моего Рафаила, и больно, что он не откликается мне». Хотя между судьбами Агатона и Саши, Рафаила и Ника не было решительно ничего общего, все это чувствительно-возвышенное — карамзинское и все это горячее, героическое, звонкое — шиллеровское было про них. И благородный разбойник Карл Моор, карающий неправду, — это было про них, и маркиз Поза, бесстрашно говорящий истину тирану в лицо, — все это было про них, про их будущее... Расставаясь ненадолго летом, они тоже писали друг другу письма — из Кунцева

в Москву и из Москвы в Кунцево — и тоже «философские», как Юлий и Рафаил, герои шиллеровских «Философских писем». Сашин камердинер, Петр Федорович, выходил из большого барского дома в Старо-Конюшенной еще ночью и чуть светало приходил в Кунцево. Долго шагал он лугами, а потом лесом, среди вековых деревьев, к другому барскому дому, раскинувшемуся в пышном парке, и тихонько стучал в боковое окно. «Друг! — читал разбуженный Огарев, опираясь локтем о подушку, — в нескольких выражениях твоего письма видно самолюбие, даже больше — жажда власти, остерегись! О, неужели я... должен буду, любя тебя, тебя покинуть — и ты разлюбишь меня, твоего Рафаила!»

Огарев никак не мог припомнить, в каких это выражениях его письма проскальзывала жажда власти? Он, правда, восхищался шиллеровским Фиеско, его непреклонностью в борьбе с наглым тираном Генуи — Дорио... Но Фиеско сам желал занять место Дорио. И если бы истинный республиканец Веррина не столкнул его в море, Генуя оказалась бы во власти нового тирана. Неужели Саша думает, что он, Ник, может сочувствовать поработителю?! Он вскакивал с постели и, дрожа от холода, писал:

«Агатон! Будь ты... самим Верриною, ежели я сделаюсь Фиеско. И я благословляю кинжал, который лишит меня жизни, да твою рукою буду я наказан».

Сашин камердинер, Петр Федорович, поджидавший ответа у окна, клал это срочное послание за обшлаг, а четвертачок — в карман



и пускался в обратный путь: шел сначала парком, потом лесом, потом свежей зеленью лугов, потом пыльными улицами Москвы и тут сильно утарапливал шаг: надо было поспеть домой, в Старо-Конюшенную, в барский дом, что у Власия в переулке, прежде чем барин, Иван Алексеевич, выйдет из спальни. А Ник ложился в постель и мгновенно засыпал снова, сжимая в руке Сашину записку.

2

Александр Иванович Герцен, незаконный сын богатого помещика Ивана Алексеевича Яковлева, родился в Москве 25 марта 1812 года. Николай Платонович Огарев, сын одного из самых богатых помещиков России, Платона Богдановича Огарева, родился в Петербурге 24 ноября 1813 года, первые годы прожил в деревне, а потом был привезен в Москву, в дом своего отца на Никитском бульваре. Когда мальчиками 11—13 лет Саша и Ник встретились и подружились, в них не было ни наружного сходства, ни сходства характеров. Герцен — подвижной, быстрый, деятельный, «исполненный живого огня»; Огарев — тихий, задумчивый, молчаливый, всегда будто немного печальный, всегда будто сосредоточенно к чему-то прислушивающийся. Герцен смеялся часто и много, не смеялся — хохотал и других смешил до слез; Огарев вслух не смеялся никогда, а улыбка у него была медленная, лишь постепенно проступавшая в серых больших глазах. Улыбка, рожденная внутренней тишиной. В Герцене тишины не было; в нем все бурлило, все сверкало. «Мы сбли-

зились по какому-то тайному влечению, — писал Герцен, — так, как в растворе сближаются два атома однородного вещества непонятным для них сродством». Они сами отдавали себе отчет в своих несходствах. «Мы разные, очень разные, — писал Герцен Огареву в юности. — Меня раз увидишь и отчасти знаешь, тебя можно знать год и не знать... Я деятелен, ты лентяй, но твоя лень — деятельность для души. И при всем этом симпатия дивная, какой нет ни с кем решительно, но симпатия и не требует тождества». «В его душе нет уголка, где бы не была симпатия с моей душой, — писал Герцен об Огареве их общему другу, — мы сделаны из одной массы, но в разных формах, с разной кристаллизацией». «Какая нужда до наших характеров, — восклицал Огарев в одном из писем к Герцену, — пусть они разные: у нас есть высшее тождество — тождество душ».

Это «высшее тождество» при несходстве характеров, это «непонятное сродство» было, в сущности, совершенно понятно. Время посылало обоим одни и те же впечатления, потому что оба они росли в одной и той же среде. К тому же и домашняя их жизнь сложилась сходно. Домашняя обстановка сизмальства оскорбила обоих и оскорблением заставила задуматься — и не только над семьями. Размышлять над одною и тою же болью легче вместе, чем порознь. Время врывалось в их учебные комнаты громкими рассказами офицеров о только что отшумевшей победоносной борьбе: о Бородинской битве, о вступлении русских войск в Париж, и тихи-



ми рассказами мамушек и лакеев — с оглядкой, шепотом — о бунте военных поселян, о злодее Аракчееве, о бунтах в деревне... «Сродство» скреплялось книгами: Плутархом и Шиллером, славящими доблесть героев, борцов против тирании; самым этим не русским словом «тиран», рано прозвучавшим в их сознании рядом с тоскливым напевом русской песни. К тиранам обращал гневные строки Пушкин:

Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Эти строки грозным шепотом прочитал Саше русский учитель, и Александр прилежно





записал их в тетрадку, чтобы вечером прочитать Нику. Но вечером оказалось, что Нику они уже известны: накануне ему их привез приятель, воспитанник Благородного пансиона, и Ник поспешил переписать их в тетрадку, чтобы поскорее прочитать Саше.

3

В обоих домах — у Яковлевых, в Старо-Копюшенной, и у Огаревых, на Никитском, жизнь текла тяжелая, однообразная, скучная. Огарев рос без матери: мать его умерла, когда ему едва исполнилось два года. Мать Герцена, вюртембургская немка, Генриетта Луиза Гагг, именуемая в России Луизой Ивановной, женщина общительная и добрая, никогда не расставалась с сыном, но ее общительность и



доброта почти не сказывались на угрюмом характере дома. Родители Герцена были невенчаны, и его мать не была хозяйкой в доме на Старо-Конюшенной. Единственным полновластным хозяином был отец.

Иван Алексеевич любил Луизу Ивановну, однако официально женат на ней не был, а Сашу хотя и усыновил, однако своей фамилии ему не передал, а придумал для него другую, особенную: «Герцен», от немецкого слова «Herz» — сердце; выходило, что мальчик как бы не принадлежал к именитому роду Яковлевых. Случалось, под сердитую руку, Иван Алексеевич насмешливо называл Луизу Ивановну «барышней, живущей в доме со своим сыном»... Луиза Ивановна побаивалась Ивана Алексеевича, хотела с ним спорить и не могла — и часто плакала.

Платон Богданович Огарев и Иван Алексеевич Яковлев тяжело давили на окружающих своим деспотическим нравом. Обоим им доставляло удовольствие внушать домашним не любовь, не уважение, а страх. Иван Алексеевич изощрялся в капризах, в мелочной, оскорбительной придирчивости. Герцен писал, что отец его старался «как можно уединеннее и скучнее устроить жизнь» — по милости Ивана Алексеевича уединенной и скучной была и жизнь окружающих. О доме, где протекало его детство, Герцен впоследствии рассказывал, что дом этот напоминал «тюрьму или больницу». В действительности это был обычный барский особняк, каких много было в Москве того времени; двухэтажный, поместительный и красивый: в классическом стиле,

с пилястрами, с ажурной чугунной решеткой вдоль балкона. Но Герцену он запомнился унылым, потому что жизнь в нем и впрямь напоминала жизнь в тюрьме или в больнице.

Все в доме шло по раз заведенному порядку, раз и навсегда приспособленному к мнимым и подлинным немощам Ивана Алексеевича. В каждой комнате большого дома стояли часы: жизнь шла по часам, строго размеренная. Все усилия Ивана Алексеевича были направлены на то, чтобы раз и навсегда заведенный порядок не нарушался никем и ничем: ни появлением новых лиц, ни смехом и шалостями подрастающего сына. Одни и те же полугости, полуприживалы годами приходили к обеду; одни и те же наставления любил им читать хозяин.

«Стены, мебель, слуги — все смотрело с неудовольствием, исподлобья; — рассказывал впоследствии Герцен, — само собою разумеется, всех недовольнее был мой отец сам. Искусственная тишина, шепот, осторожные шаги прислуги выражали не внимание, а подавленность и страх. В комнатах все было неподвижно, пять-шесть лет одни и те же книги лежали на одних и тех же местах и в них те же заметки. В спальней и кабинете моего отца годы целые не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уезжая в деревню, он брал ключ от своей комнаты в карман, чтобы без него не вздумали вымыть полов или почистить стен».

За точностью хода часов и за домашним распорядком неукоснительно следил сам Иван



Алексеевич. Тяжелый бой и мелодичный звон часов враз наполняли комнаты. Минута в минуту подавались на стол обед и ужин; минута в минуту выходил из своего кабинета в бархатной шапочке с кисточкой «der Herr» — «господин», «повелитель», «хозяин», как за глаза именовала его Луиза Ивановна. В положенные дни домашним, кроме самого Ивана Алексеевича, который не покидал своих комнат по болезни, надлежало отправляться в церковь. Иван Алексеевич воспитывался в Париже, почитал Вольтера и в бога не верил. И если он требовал от окружающих неукоснительного исполнения религиозных обрядов, то всего лишь потому, что того требовало приличие. Приличие и было его настоящим богом, соблюдение приличий — религией. Хорош ли человек или дурен, зол или добр — это не занимало Ивана Алексеевича; умен ли человек, образован ли — тоже. Он относился к людям с недоверием и даже брезгливостью, заранее считая каждого способным на всякий корыстный и низкий поступок. И всех окружающих и сына он учил одному: уметь себя вести, быть приличным. А приличие — это учтивость со всеми и отдаленность от всех. Потребности в откровенном общении он не понимал и осуждал ее; всякое проявление чувства считал смешной чувствительностью, недостойной истинно-светского человека. Разумеется, никакой взгляд не мог быть более чуждым отрочеству, чем этот. Живого, пылкого мальчика, искавшего обмена чувств и мыслей, по-детски желавшего верить людям, отталкивал и возмущал отцов-

ский рассудительный холод. Иван Алексеевич слушать других не любил: он любил говорить сам и притом наставлять, поучать и, поучая, потешаться. В характере отца эта черта более всего возмущала и ранила Сашу. У Саши был русский учитель, студент-медик из семинаристов, к которому он был очень привязан. Иван Евдокимович открыл ему современную русскую поэзию: Пушкина, Жуковского, Козлова. Учитель с таким увлечением прочитал однажды Саше пушкинского «Кавказского пленника», что Саша на всю жизнь влюбился в великого поэта; он бежал даже в благородное собрание, на хоры, чтобы хоть издали увидеть его курчавую голову. И увидел: в самом разгаре бала Пушкин вошел в зал под руку с поэтом Баратынским... Но Ивана Алексеевича не интересовал Пушкин, он признавал одних только французских авторов; да и не занимало его, чему и как учат его сына: научился бы хорошим манерам, а образование — это так, тоже всего лишь для приличия, нечто вроде обязательного посещения церкви по праздникам. В кругу порядочных людей принято читать книги, ну и читай, но увлекаться особенно незначем. Лучше бы танцевать научился. Какой же это светский человек, если он танцевать не умеет? И по просьбе Ивана Алексеевича француз Даллес обучал Сашу хорошим манерам, а заодно и танцам: дамой мальчику служил при этом стул... Иван Евдокимович был бедняк, светскими манерами не обладал, слишком громко надевал калоши в передней и к тому же в некоторых греческих и французских словах делал неправиль-

ные ударения. Этого было довольно для Ивана Алексеевича, чтобы без конца потешаться над учителем за глаза и в глаза.

Сашу Иван Алексеевич любил и лет до десяти даже баловал, но злые потехи над окружающими оскорбляли мальчика. Оскорбляло его и то ложное положение, в которое были поставлены в доме и в обществе мать и он сам: мать — какая-то не настоящая жена отцу, сам он Ивану Алексеевичу какой-то не настоящий сын... Он не Яковлев — Герцен. А если так — отец ему не указ.

Ни в каком ложном положении не находился в своей семье Огарев, но и его душа с детства была оскорблена холодным деспотизмом отца. Платон Богданович тоже нависал над окружающими, как темная туча. И там и здесь домашние с тревогой спрашивали друг у друга по утрам: «Каков нынче папенька встал?» Платона Богдановича тоже боялись все в доме. «Веселость смолкала при его появлении», — пишет об отце Огарев. Впоследствии, уже сделавшись взрослым, Огарев объяснял деспотизм Платона Богдановича, Ивана Алексеевича и подобных им грозных отцов семейств не особенностями их личных характеров, а тогдашним общественным строем России.

«Может, семейный деспотизм просто в нравах людей его века в России... — писал Огарев. — Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что надо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжеловесная скука, а жизнь развивалась украдкой».

«Духота» — духота в прямом и в перенос-

ном, в нравственном смысле слова — вот что было характерно для дома на Никитском бульваре и для дома в Старо-Конюшенной, у Власия в переулке. Огарев рос слабым, хилым ребенком; боясь простудить, его лечили «домашним заключением», по целым зимам не выпуская на воздух. Герцен был здоров, подвижен, крепок, но и его в детстве держали взаперти, в жарко натопленных комнатах: Иван Алексеевич и для себя и для сына пуще всего боялся простуды. Страх перед простудой был так силен, что по утрам *der Herr* не брал в руки газету, пока лакей не прогреет ее хорошенько (газета, принесенная с улицы, могла вызвать простуду). В суконных сапогах, в тулупе на белой мерлушке и в бархатной шапочке каждый вечер обходил Иван Алексеевич все комнаты двухэтажного дома и, прикладывая руку к стеклу, проверял: не дует ли? А когда Шушку (как называли маленького Сашу) няня укладывала спать, отец приказывал даже летом нижнюю простыню подшивать к верхней, чтобы ребенок, разметавшись во сне, не дай бог не высунул на волю руку или ногу.

«Все это должно было бы сделать из меня хилого и изнеженного ребенка, — писал впоследствии Герцен, — если б я не наследовал от моей матери непреодолимого здоровья».

Однако нравственная духота была много тяжелее физической. Порождалась она убийственным однообразием домашнего быта в соединении с постоянным шпынянием и муштрой, которой Иван Алексеевич допекал окру-



жающих. Вежливо, бесстрастно (как того требовало приличие), язвительно (как того требовал его холодный и насмешливый нрав) мог он часами обучать своего камердинера притворять в кабинете дверь. Не затворять и не оставлять открытой настежь, а именно притворять: барин сидит в креслах, а позади него дверь должна быть полупритворена. Полуприоткрыта. Пошире, чем так, и поуже, чем этак. Камердинер — старый, седой, почтенный, ходивший за барином всю свою жизнь, — угрюмо отвечал «слушаюсь» и, унося поднос с кофейником, притворял за собою дверь, как ему было приказано. Но нет — не так, опять не так! Иван Алексеевич, строя из себя мученика, с нарочитым кряхтением поднимался с кресел, подходил, сгорбившись, к двери и показывал снова: «не так, а вот этак». Комедия длилась часами, сопровождаемая длинной нотацией.

Герцен рано распознал в этих представлениях поругание человеческого достоинства и глубоко возмущался отцом.

«Я никогда не мог вполне понять, — писал он впоследствии, — откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшие его».

Постарев, Иван Алексеевич присоединил к неприятным чертам своего характера еще одну: скупость. В искусственную тишину дома, кроме тиканья многочисленных часов — в гостиной, в кабинете, в зале, в спальне, — часов красного дерева, стоящих на полу, и часов бронзовых, стоящих на полке камина

под стеклянным колпаком, — кроме тиканья, тяжелого боя и мелодического звона часов, подчеркивающих угрюмую тишину дома и утверждавших незыблемость домашнего распорядка, стал врываться новый звук: сухая стукотня костяшек. Это Иван Алексеевич, владелец многих деревьев, трех домов в Москве и сотен крепостных душ, перебрасывая костяшки на счетах, проверял ежедневные расходы и, попрекая повара дороговизной, изыскивал способы экономить на кухонной провизии.

В комнатах у матери маленький Герцен бегал, шумел, шалил и смеялся сколько его душе было угодно. Мать не теснила его и позволяла ему все, что запрещал отец. На половине Ивана Алексеевича он смолкал. Смех и шум раздражали отца, каждый прямой вопрос высмеивался как неуместный; попытки вступить за тех, над кем отец потешался, вызывали холодный и колкий отпор. Однажды, когда Иван Алексеевич приняля подтрунивать за столом над старухой-приживалкой, высмеивая ее пристрастие к постному, Саша осмелился напомнить отцу, что сам же он в прошедшее воскресенье попрекнул старуху несоблюдением постов. Иван Алексеевич встал, приподнял за кисточку свою ермолку и с издевательской вежливостью поблагодарил сына за урок. Сын покраснел и умолк. Издевки не располагали к сближению.

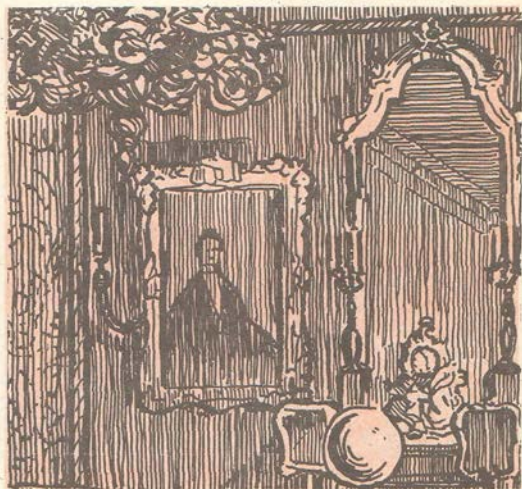
Отец Огарева насмешками сына не преследовал и длинных нотаций ему не читал, но тоже умел держать его на почтительном от себя расстоянии. И оба мальчика с малых лет



научились скрываться, таиться от близких. Отцов они чуждались оба; Луизу Ивановну Герцен любил и жалел, но скучал с ней: в ее комнатах только и разговору, что о капризах Ивана Алексеевича да о том, не лучше ли было ей в юности не верить обещаниям и остаться в родном Штутгарте. Быстро прискущили Саше эти разговоры, он погрузился в свое одиночество, в книги. В подвальном помещении дома книги валялись горами — французские, немецкие, и Саше никто не мешал читать ни «Исповедь» Руссо, ни романы Лафонтена, ни «Вертера». Только бы папенька не увидел, что он читает! Но Иван Алексеевич не следил за чтением сына.

«Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка — вот путь,

по которому прошло детство, отрочество, даже юность», — писал впоследствии Огарев о себе. То же мог сказать о себе и Герцен. От родных оба мальчика рано научились таиться, но чем глубже была их скрытность перед домашними, чем прочнее стена, отделяющая их от близких, — тем отраднее было им все открывать друг другу. Все, все, без утайки; каждый, как перед самим собой, не опасаясь встретить непонимание или насмешку; всю душу — до дна: отыскивая и находя для малейшего движения души откровенное и точное слово. Дружба как бы заново обучала их говорить, отыскивать слова для всего: для обиды, для радости, для смутного чувства, расширяющего грудь, когда глядишь на реку, слышишь заунывную песню гребцов и душа



стеснена каким-то грустным веселием; или когда повторяешь пушкинский стих, илиобразишь себе туго натянутый лук в руках у Вильгельма Телля. Слово сам превратился в этого могучего защитника вольности... Ты прядешься за скалу... Еще секунда — и стрела полетит прямо в грудь ландфохту Геслеру.

— Ты бы мог так целить? Не мигая? — спрашивал Саша, натягивая тетиву своего старого детского лука. — И потом — р-раз!

И как же любили они обмениваться стихами и печальями, сверять свои мысли и чувства, оказавшись, наконец, наедине — вечером, в учебной комнатке Герцена, освещенной двумя сальными свечами, где над турецким диваном — портреты Байрона и Пушки-

на, а по всему дивану разбросаны раскрытые книги: «Общественный договор» Руссо и «Женитьба Фигаро» Бомарше и Шиллер, Шиллер, Шиллер, несколько томов сразу; в маленькой комнате, куда не доносится ни унылое тиканье часов, ни мертвенный стук костяшек. Тут — тишина. А поднимешь штору — и в окно глянет старый тополь и сквозь его темные ветви — звезда...

А еще лучше, еще открытее говорится не в комнате, а на воле. Убежав на утренней прогулке от докучного огаревского немца Карла Ивановича, они забирались в густые кусты над Москвой-рекой, и здесь, среди пронизанной солнцем листвы, исповедовались друг перед другом. Вот ведь кажется — один только день в разлуке, а сколько уже нако-

пилось мыслей, открытий, чувств! За этот день Саша прочитал первую главу «Онегина», только что вышедшую в свет. Она свела его с ума.

Адриатические волны,
О Брентал нет, увижу вас...

Он дожидаться не мог встречи с Ником; перечесть стихи вместе и убедиться опять, что сердца их бьются согласно, одни и те же строфы обоим нравятся больше всех и на одних и тех же местах у обоих почему-то наворачиваются на глаза слезы.

4

Хотя Иван Алексеевич сделал все от него зависящее, чтобы Шушка, как и полагается хорошо воспитанному отпрыску аристократической фамилии, не интересовался тем, что до него не касается (а касались его, в представлении Ивана Алексеевича, только уроки да игрушки), хотя нянюшка весьма тщательно пришивала верхнюю простынку к нижней, оберегая мальчика от холодного воздуха, — холод жизни и ужас жизни проникал в беспечное житье избалованного барского дитяти. Вглядываясь в судьбы крепостных, Герцен рано почувствовал несправедливость и жестокость окружающей действительности.

«Разве каждый господский дом, — писал он много десятилетий спустя, — не представлял полную школу рабства, разврата и тиранства, отсутствия всякого уважения к седым волосам, всякого сожаления к детскому возрасту, к девичьему стыду, — гарантированный пра-



вительством, поддерживаемый полицией, судом, войском, церковью произвол, безгранично идущий до встречи с властью, перед которой секущий гордый помещик делался вдвое большим холопом, чем его несчастный раб? Чему же удивиться, что окончившие курс воспитания в этих заведениях, несут на всю жизнь следы его?

— Где Иван? — спрашивает барыня за обедом, видя, что суп подает Семен.

— Мамаша, — отвечает какой-нибудь мальчик десяти лет, — папа его послал в часть.

— Я его, мошенника, велел поучить, он давеча мне грубо отвечал... C'est un caractere acariâtre¹.



¹ Это несносный характер (франц.).



И мальчишка думает, что это и резон, что Ивана следует высечь за то, что он неучтиво отвечал «папасе». Он с малых лет инстинктом понимает, что это — материк.

«Полной школой рабства» назвал Герцен каждый помещичий дом. И хотя Иван Алексеевич Яковлев не был помещиком-злодеем, та страшная характеристика, которую дает в приведенных строках Герцен каждому дому, опиравшемуся на материк крепостничества, целиком приложим и к тому дому, где протекли годы его детства и юности.

«Школа рабства»? Разве дворовые — все эти нянюшки, мамушки, камердинеры, лакеи, кучера, мальчишки и девчонки на побегушках — не были в рабстве у Ивана Алексеевича, разве не помышал он ими, как хотел?.. «Школа

разврата»? Шушке с детских лет было известно, что его «маленькая кузина», Наташа Захарьина, воспитанница княгини Хованской — никакая не Захарьина, а на самом деле Яковлева, дочь крепостной крестьянки Аксиньи и его дяди, старшего брата отца, Александра Алексеевича; что княгиня Хованская, сестра отца, взяла ее к себе так, «за спасение души», а больше, по правде сказать, от скуки; что у Александра Алексеевича Наташа не единственное от кого-то рожденное и где-то забытое дитя; что у дядюшки Льва Алексеевича трое незаконных детей от крестьянок, и они прозываются Львицкие; что у папеньки Ивана Алексеевича, кроме него, Шушки, есть еще незаконный сын от другой матери, Егорушка, — он живет тут же в доме, но папенька

терпеть его не может и держит только из милости... «Уважение к седым волосам»? Разве папенька не издевался всласть над стариком камердинером, над старухами приживалками? «На то — материк». И разве в самом деле не поддерживался этот материк полицией? За крупные проступки Иван Алексеевич, случалось, посылал провинившегося в «частный дом» — то есть в полицейский участок — и там присланного секли. А самое страшное было, когда папенька, осердясь, приказывал отдать провинившегося в солдаты. Как плакал тогда несчастный, расставаясь с родными на двадцать пять лет! Взрослый, здоровенный парень ревел. Как голосила мать, будто по покойнику. Как все кругом жалели парня, когда за ним являлись полицейские, но никто не смел заступиться, никто... А в солдатах, говорят, хуже, чем на каторге, и дерут больше, чем в полиции. «Школа злодейства»? У родственника Ивана Алексеевича был крепостной скульптор, чудесный мастер, изваявший, кроме бюста своего господина и бюста государя императора, фигуру гения в цепях. Гений был грустный, а цепи тяжелые. Однажды мастер пришел к своему барину и умолял отпустить его на волю — за деньги. Денег он скопил немало, делая мраморные бюсты бариновых знакомых. Он мечтал уехать в Италию, там учиться. Своими глазами увидеть картины кисти Леонардо. Но барин денег не взял и вольной не дал: ему было лестно, что у него «собственный гений». У других повара собственные, а у него кто? — скульптор! Скоро за какую-то провинность гения отдрали в част-

ном доме, он после этого недолго прожил — впал в чахотку и умер. А фельдшер дядюшки Льва Алексеевича, тоже крепостной, не стал дожидаться чахотки — сам наложил на себя руки: выпил рюмку мышьяку. «Жжет, жжет, огонь!» — кричал он перед смертью, и этот крик слышал маленький Саша и видел почерневшее лицо покойника, лежащего в бане на лавке, и еще много лет после смерти фельдшера стоило мальчику закрыть глаза, засыпая в теплой темноте постели, как ему виделось это лицо, слышался этот крик.

Герцен был щедро наделен тою впечатлительностью, которую один из его друзей называл «нравственным слухом». С детства мальчик был чуток к несправедливости, к чужой, а не только к собственной, боли. Помещичий дом, в котором он вырос, был, как и другие помещичьи дома того времени, «полной школой рабства». Но отличие Герцена от большинства его сверстников, выросших в таких же домах, было в том, что он, окончивши курс в этой школе, не усвоил преподаваемых в ней предметов, а возненавидел и школу и учителей.

5

В ненависти к крепостному праву Герцен и Огарев не были в своей среде одиноки. Ею дышала передовая дворянская молодежь; среди свободолюбивых идей, которые заставили заговорщиков схватиться за оружие в декабре 1825 года, мечта об уничтожении рабства была одной из самых животворных.

С наибольшей силой, резкостью, ясностью



ненависть к крепостному праву выражена была вождем Южного общества Пестелем в «Русской правде».

«Обладать другими людьми как собственностью, — писал Пестель, — продавать, закладывать, дарить и наследовать людей наподобие вещей, употреблять их по собственному своему произволу без предварительного с ними соглашения и единственно для собственной своей прибыли, а иногда и прихоти — есть дело постыдное, противное человечеству, противное законам естественным, противное святой вере христианской... И потому не может долее в России существовать позволение одному человеку иметь и называть другого своим крепостным. Рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми».

«Русская правда», где написаны были эти слова, лежала зарытая в земле, в канаве близ Тульчина, и ждала своего часа. Не скоро он пришел!.. Но после Отечественной войны безмолвному повиновению явно наступил конец. Стачка на стекольных заводах в Петербурге; бунт в военных поселениях в Чугуеве; восстания, восстания крестьян, не желавших поверить, что, избавив родную страну от неприятеля, они не избавили самих себя от господ. Бунт в гвардейском Семеновском полку в Петербурге... Рост негодования в армии среди просвещенных молодых офицеров против тупой и бессмысленной аракчеевской муштры. «Железные кровавые когти Аракчеева сделались уже чувствительны повсюду, —

писал один из будущих декабристов в начале двадцатых годов. — Служба стала тяжела и оскорбительна. Тайные общества, объединившие просвещенную молодежь, военную и штатскую, пускали свои корни и в армии, и во флоте, и в редакциях, и в литературных и ученых кругах, замирали, распадались и возрождались снова — и на севере, и на Украине, и в Петербурге, и в Москве, и в Смоленске, и в Кишиневе, и в Тульчине, и в Киеве. На тайных встречах вырабатывалась смелая программа преобразования России. Одна часть заговорщиков стояла за конституционную монархию, другая за республику; одни требовали цареубийства, другие отвергали его. Но материк рабства должен быть разрушен — на этом сходились все.

Офицеры, побывавшие с армией в Европе, возвращаясь в отечество, были заново поражены отсталостью России — хозяйственной, политической, культурной, уязвлены зрелищем оскорблений, наносимых народу. Народу, который только что освободил полмира от наполеоновского ига! Поругание народа унижало их национальную гордость. Простой человек — или, как тогда говорили, простолюдин — не считался в России за человека. Ни в поле, ни в казарме, ни на улице. Его забивали шпицрутенами в каждом полку, истязали в аракчеевских военных поселениях, драли в полицейских участках, походя били на улицах.

Правительство, преследуя вольномыслие, всегда склонно было утверждать, будто «якобинская зараза» принесена в Россию с Запа-

да. В действительности ненависть к деспотизму среди передовых людей России порождалась строем самой русской жизни, строем, покоящимся на «материке рабства». «Несправедливости, насилие и угнетение... крестьянам причиняемые» — вот одно из побуждений, которое толкало передовых русских людей вступать в заговор против деспотизма. «Могли ли видеть порабощение народа, моих сограждан... и не сострадать им?» — в этом восклицании одного из членов тайного общества заключен ответ на вопрос: почему зародился в умах ненавистный правительству либерализм?

14 декабря 1825 года, воспользовавшись внезапно наступившим междуцарствием, Рылеев и его друзья вывели на Сенатскую площадь полки, отказавшиеся присягать новому императору. Но первая схватка с самодержавием окончилась для заговорщиков неудачей. Она и не могла окончиться иначе, потому что, восстав за народ, во имя народа, за раскрепощение народа, декабристы не только не были связаны с народом — ни с крестьянами, работавшими на помещичьей пашне, ни с крестьянами, трудившимися на помещичьей фабрике, — но были по своему происхождению, воспитанию и даже языку, даже одежде чужды ему. В глазах большинства они были бары, господа, поднявшиеся против царя. А царя темные крестьянские массы еще называли батюшкой, считали своим заступником, защитником.

«Страшно далеки они от народа», — сказал через несколько десятилетий о декабристах Ленин.

Этой далью они и были обречены на поражение.

Николай стянул на площадь оставшиеся ему верными войска и открыл огонь.

Залпы, ударившие по одинокому каре на Сенатской площади, не подняли народ на защиту заговорщиков. Правда, мастеровые, работавшие на постройке Исаакиевского собора, швыряли поленья и камни в войска царя. Но и мастеровых была малая горсть, и камни и поленья — ничтожное оружие против картечи.

На площади, визжа, распорядилась картечь. Каре дрогнуло: одни кинулись под арку на Галерную, другие — на лед Невы. Лед ломался под ногами бегущих, темнея, теплея от крови. Пальба длилась около часу. Осколки стекол сыпались из окон Сената, снег мелкими вихрями крутился над площадью. В тишине, наступающей между выстрелами, можно было слышать, как кровь струилась по мостовой, растопляя снег. Среди мертвых ползали раненые. Они пробирались к воротам, но визг картечи и смерть настигали их всюду.

Тщетно наиболее стойкие из заговорщиков пытались на Галерной собрать и построить бегущих, чтобы упорядочить отступление; тщетно пытались они построить колонну на льду Невы. Все было кончено. Император победил. Первым приказом молодого царя было арестовать заговорщиков и убрать трупы, отмыть со стен кровь, посыпать лед песком. Во дворец, окруженный кострами и пушками, а оттуда в Петропавловскую крепость всю



ночь приводили участников восстания — обезоруженных, со связанными веревкой руками. Во льду на Неве были проделаны проруби: туда спускали мертвых, а иногда и живых. Все было кончено. Герои, открыто восставшие против самодержавия, десятки офицеров, сотни солдат, сделались узниками нового самодержца. 29 декабря, на Украине, близ Василькова, заговорщики подняли Черниговский полк — и тут тоже потерпели неудачу. Все было кончено. Начиналась трагедия следствия и комедия суда.

6

«Но их дело не пропало», — сказал о декабристах Ленин, оглянувшись назад, из XX века в XIX, чтобы проследить шаг за шагом путь, пройденный поколениями революционных борцов России.

Декабристы разбудили сознание нового поколения, они завещали ему мысль о революционном действии в защиту народа. День восстания 14 декабря 1825 года на площади Сената в Петербурге Герцен всю последующую жизнь почитал днем рождения своей души. Пусть Рылеев и его друзья оказались не победителями, а побежденными: в глазах мальчика Герцена от этого их доблесть не померкла. Они восстали против тирана с оружием в руках, восстали во имя справедливости, во имя счастья отечества, они хотели истребить неправосудие и рабство, они были герои и мученики свободы, как древние римляне или как воспетый Пушкиным Занд. Когда до Москвы дошли известия о том, что все участ-

ники декабрьского дела в крепости, что сам царь ведет следствие, у Герцена зародилась новая мечта: засыпая, он жарко мечтал, как потихоньку от папеньки он убежит в Петербург, проникнет, обманув стражу, во дворец и наподобие маркиза Позы выскажет в лицо императору всю правду. Все, что он думает об Аракчееве и о нем самом, победителе 14 декабря... Он прочитает царю стихи Рылеева:

Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю... —

и объяснит ему, что Рылеев не бунтовщик, не преступник, а великий гражданин, борец за счастье родной страны. Ведь читал же царь у Плутарха про Брута — он должен понять. Пусть велит освободить Рылеева и его друзей. Ну, а если царь не поймет — тогда и его самого, Сашу Герцена, пусть заключит в крепость или сошлет в Сибирь вместе с участниками заговора. Он не дрогнет. Вот только Огарева жалко оставлять...

«Что нам дал идеальный Шиллер? — писал впоследствии Огарев. — Благородство стремлений». Но до декабрьских событий это были лишь общие стремления, отвлеченные, смутные. После 14 декабря героические мечты двух мальчиков оделись плотью: вырасти и сделаться такими, как Рылеев, Пестель, Каховский, Бестужевы.

Везде шептались. Тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам, —

так через много лет вспоминал об этом времени Огарев.

«Мы перестали молиться на образа, — рассказывал он, — и молились только на людей, которые были казнены или сосланы».

«...от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта, переход к 14 декабря и Николаю был легок», — писал в «Былом и думах» Герцен.

Этот переход они и совершили в вечер того длинного февральского дня, который Ник провел у Саши. В тот вечер, когда они вместе читали Агатона и признались во взаимной симпатии. Ник был грустен весь день: у него умерла бабушка, а он любил ее. Он в первый раз видел мертвого человека. Сашины слова: «Вам следует завести своего Агатона» — ободрили, оживили его. И он как-то возбужденно разговорился. Все бранят арестованных, называют изменниками отечества, нарушителями присяги. А вот Анна Егоровна, его гувернантка, говорит, что они патриоты истинные. Анна Егоровна знает: она дружит с Кашкиной Лизаветой Евгеньевной, а у Лизаветы Евгеньевны и племянник схвачен, Сережа, и Сережин двоюродный брат, Оболенский... Герцен слушал с интересом, расспрашивал с жадностью, и Огарев шептал, шептал. Два дня назад, когда бабушка была еще живая, он прокрался к ней в спальню, а там сидела возле бабушкиной постели старуха Челищева, старая-престарая. Приятельница бабушки. И она тоже рассказывала об арестованных. У нее никто не был взят, но она дрожала за сына — все его друзья уже в крепости. Долго ль до

беды, новый царь шутить не любит! И Челищева сказала бабушке про друзей своего сына: «Они не бунтовщики и изменники, а истинные приверженцы отечества». «Приверженцы, приверженцы!» — повторила бабушка, подняв голову с подушки. Тогда она была еще живая, могла поднимать голову и говорить...

...В февральские дни 1826 года в Петербурге, в спешном порядке, подгоняемое и вдохновляемое царем, велось следствие над участниками заговора. Когда следствие было закончено, царь подобрал надежных судей и верховный суд приговорил арестованных — кого к четвертованию, кого к каторжным работам навечно, кого к шпицрутенам, кого к ссылке, кого к солдатчине. Два мальчика-подростка, сидя вечером в тихой учебной комнате, на турецком диване под портретами Байрона и Пушкина, шепотом тоже вели следствие, тоже вершили суд — свое следствие, свой суд. И вынесли другой приговор: восставшие 14 декабря были истинные приверженцы отечества.

Приговор верховного суда, из лицемерия «смягченный» царем (не четвертовать, а повесить!), был им утвержден и палачами приведен в исполнение. Но история утвердила не этот приговор, а тот, который шепотом произнесли два никому не известных подростка.

7

13 июля 1826 года Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин были повешены в Петербурге на бруствере Петропавловской крепости.

Задумавшись над стихом или словом, Пушкин пером среди строк нередко рисовал профили дам и военных, ножки и снова профили. В июле 1826 года среди онегинских строф появился новый рисунок: перо вывело виселицу и пять черных висящих фигур. И зловещую подпись под ними: «И я бы мог как тут... как тут...»

24 июля Николай I совершил торжественный въезд в Москву: по обычаю русских царей он прибыл в свою древнюю столицу для коронации в Успенском соборе. Незадолго до его прибытия в Кремле был отслужен благодарственный молебен.

Через двадцать пять лет Герцен так вспоминал об этих днях:

«Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Среди Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом, на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля.

Никогда виселицы не имели такого торжества; Николай понял важность победы!

Мальчиком 14 лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронем, с этим алтарем, с этими пушками».

Многих и многих мальчиков разбудила «кровавая молитва». Клятва подростка, обре-

кавшего себя на борьбу «с этим тронем, с этим алтарем, с этими пушками», — вот в чем была победа людей, потерпевших поражение в день 14 декабря на Сенатской площади.

8

Когда мы говорим сейчас «Воробьевы горы», или, точнее, «Ленинские горы в Москве», мы представляем себе асфальт, цветочные клумбы, станцию метро, стройные проспекты и многоэтажное здание университета.

Подойдя к краю асфальтированной площади, мы с удивлением замечаем, что оказывается, стоим на горе: поезд метро, а затем эскалатор подняли нас на гору незаметно. Река Москва, — вон она, там, внизу, — делает свою широкую плавную петлю, и на той стороне, за рекой, у наших ног, плоское блюдо стадиона, а за ним здания, площади, улицы, разбросанные на первый взгляд в беспорядке, будто высыпанные из мешка великанской рукой игрушечные дома и деревья.

В герценовские времена ехать на Воробьевы горы — значило отправиться за город. Подъем на горы был труден: не эскалатор, а тропинка, не асфальт, а лес. Густой, зеленый, изрезанный крутыми тропками. Та же река делала ту же плавную петлю у подножья горы, но, пожалуй, одна только река и была тогда такой же, какой мы ее видим теперь. Город, на который глядели с Воробьевых гор мальчики Герцен и Огарев, — это не тот город, который видим мы сейчас с Ленинских гор, от здания университета. Стадиона не

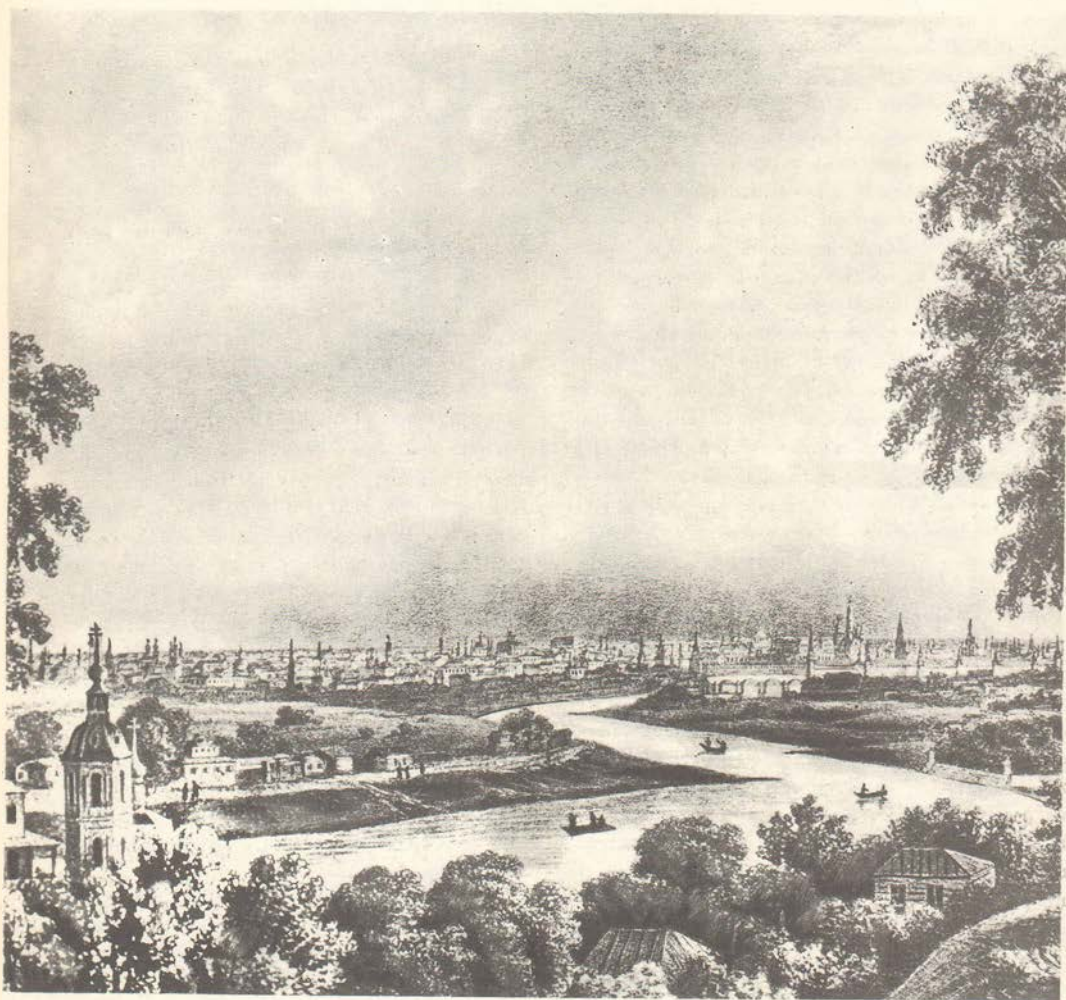


было тогда: на месте, которое и тогда называлось Лужниками, зеленели гряды бесконечных огородов. В пределы города еще входили пашни, перелески, луга. Этот город еще не вполне разлучился с деревенской жизнью — даже стадо коров еще можно было увидеть на его мостовой. И летом всегда тучи пыли. А там — двухэтажные каменные особняки, окруженные садами, а там — улицы с толпами народа, с мчащимися каретами, а там бульвары, дворцы, стены Кремля... Так же, как и теперь, в первое мгновение, общий вид города, расстилавшегося внизу за рекой, казался беспорядочным, нестройным, а потом в этом нагромождении домов и бульваров мальчики начинали различать очертания знакомых зданий, узнавали колокольни и купола церквей — те самые, которые мы видим и сейчас: колокольню Ново-девичьего монастыря, золотые купола кремлевских соборов, колокольню Ивана Великого.

Воробьевы горы — это была любимая прогулка москвичей, искавших уединения. Саша и Ник ездили туда не одни, а в сопровождении Карла Ивановича Зонненберга, немца при Нике, а иногда и самого Ивана Алексеевича. Докучный надзор! Сначала надо было вытерпеть тяжелую, душную четырехместную карету с опущенными окнами, и в карете: «Не вертись! Не поднимай окна — простудишься!», а карета тащилась до Лужников целых два часа, потому что папенька быструю езду запрещал. Потом, в Лужниках, лодка — тут было запрещено опускать руку в воду: «Простудишься! И не вертись — опрокинешь!..»

Зато на Воробьевых — это их царство, тут им никто не указ! Они оставляли внизу Зонненберга развлекать хмурого Ивана Алексеевича, а сами убегали вперед, вверх, и скоро оставались одни-одинешеньки — одни среди елей, берез и дубов, наедине друг с другом. Было у них тут любимое место: там, где лежали камни, приготовленные для постройки храма Христа-спасителя, заложенного в честь победы над Наполеоном. Саша родился в год Наполеонова нашествия и, конечно, не мог его помнить, но столько раз ему рассказывала нянюшка, Вера Артамоновна, как папенька все собирались, собирались да и дособирались, пока неприятель в Драгомиловскую заставу вступил; столько раз ему рассказывала мать, делая большие глаза, какой был в ту зиму лютый мороз, как они кочевали по улицам, среди горящих домов, как Сашу, мерзнувшего на руках у кормилицы, завернули в кусок зеленого сукна, содранного с бильярда, — что минутами Саше казалось: он сам помнит это сукно, и топот конницы в пустых улицах, и хвостатые каски чужих драгун, и языки пламени, озарявшие снег... А сколько раз, спрятавшись за креслами у отца в кабинете, слушал он рассказы увешанных орденами молодых генералов о батареях Раевского, о Багратионовых флешах... Какая жалость, что они с Ником родились слишком поздно и опоздали на войну!

Но даль — открытая, ничем не заслоненная — всегда манит человека к мыслям не о прошедшем, о будущем. Даль, которая открывается с высоты.



Весною 1827 года Саша Герцен и Ник Огарев отправились на прогулку за город. После казни 13 июля прошло уже около года; многое было вместе обдуманно, прочитано, пережито, переговорено. О будущем, об общем и непременно великом будущем, думалось все чаще и чаще. Они мечтали о нем, предчувствовали и предугадывали его. Они рано приучились смотреть на самих себя как на «сосуды избранные, предназначенные», как на людей, которым предстоит «деятельность в благо человечества». «Нет, мы не умрем, не отметив жизнь нашу резкою чертою» — эта вера переполняла их отрочество. И нигде так счастливо не мечталось о подвиге, который они вместе должны совершить, как на этой горе, перед лицом Москвы.

Когда они взбежали в тот день, запыхавшись, на гору и увидели внизу реку, дома, купола — все пережитое ими в тишине Сашинной комнаты, все, сказанное там друг другу шепотом, подступило комком к горлу и слезами к глазам. Громы Отечественной войны, французы в Москве и русские в Париже; крик погибшего человека «жжет, жжет, огонь!»; слава и бесславие отечества; сиротливое каре заговорщиков посреди пустынной площади, ломающийся лед, виселицы, немота казематов; вольный пушкинский стих, дальняя дорога осужденных, таинственная беспредельность Сибири; все это, рассказывал потом Огарев, рождало «смутное чувство какого-то хода судеб», чувство «какой-то исторической огромности».

И они, обнявшись, присягнули распростертой внизу под горою, сверкающей, залитой солнцем огромности, — присягнули пожертвовать жизнью на избранную ими борьбу.

Глава вторая. «Мира нового ученики»

1

Из них обоих, поклявшихся на Воробьевых горах, первым был арестован Огарев. Случилось это через много лет, 9 июля 1834 года. И по странному стечению обстоятельств Воробьевы горы, «священные холмы», как называли их Саша и Ник, дали для этого ареста прямой повод. Но хотя со времени клятвы миновало почти семь лет и Герцен и Огарев никогда не забывали своей присяги, самодержавие расправилось с ними гораздо раньше, чем они успели нанести ему первый удар. Раньше, чем они поняли даже, куда и как следует удары наносить.

Случилось это уже после окончания университетского курса. В 1834 году Герцен с серебряной медалью окончил Московский университет по физико-математическому отделению. Огарев, более непостоянный в своих занятиях, расстался с университетом, не окончив его, еще в 1832 году, но зато успел послушать лекции на трех отделениях: физико-математическом, нравственно-политическом (то есть юридическом) и словесном. Успел он за три года первым привлечь внимание бдительного ока начальства: в 1834 году полечитель Московского учебного округа предложил универ-

ситетскому начальству Огарева к слушанию лекций не допускать. Начальство ответило, что Огарев в списках студентов не числится. Он сам перестал посещать университетские лекции. Но это не могло спасти его от жандармских преследований. Он уже был на примете.

...С отроческих лет литература и философия влекли к себе обоих друзей. Однако споры Герцена с одним из его двоюродных братьев, которого старшие презрительно именовали «химиком», споры с ним и дружба с ним привели юношей к мысли, что современный человек, чем бы он ни занимался, должен быть знаком с естествознанием. А на физико-математическом отделении Московского университета, кроме физики и математики, преподавались еще и химия, ботаника, минералогия... Вот почему в 1829 году Герцен и Огарев поступили на это отделение. И им никогда не пришлось пожалеть впоследствии, что они обратились в юности к математике и химии.

А все-таки души их принадлежали наукам гуманитарным — истории, а вместе с ней философии: и друзья старались не пропускать лекций по этим предметам, где бы и кем бы они ни были читаны. Профессор Каченовский, литератор, историк, критик, с летописями и фактами в руках, по косточкам разбирал благолепную и недостоверную «Историю государства Российского», написанную Карамзиным, официальным историографом дома Романовых. И Герцен, заражаясь критическим задором профессора, с интересом слушал его едкие сарказмы... Конечно, Карамзин, которым

они с Ником так неистово восхищались в детстве, Карамзин, создатель Агатона, быть может, и великий писатель, но с фактами русской истории он расправился явно в угоду царям... Не пропускал Герцен и ни единой лекции профессора Павлова. Курс философии в Московском университете был в 1826 году отменен: непонятные умствования казались начальству опасными. Считалось, что Павлов преподает физику и сельское хозяйство — всего лишь. Но под хозяйством он подразумевал природу, а под видом изучения природы изучал со студентами ту же, гонимую начальством, философию — преимущественно труды германского мыслителя Шеллинга. Собственных теорий у Павлова не было, зато с большой ясностью знакомил он на своих лекциях молодежь с новыми философскими течениями, возникавшими в Германии. Посещали друзья и лекции профессора словесного отделения Надеждина — историка, критика, редактора журнала «Телескоп». До нашего времени сохранилась лекция Надеждина о персидском искусстве, на одиннадцати страницах записанная рукою Огарева. Впрочем, Огарев не особенно прилежно записывал лекции. Писать стихи ему нравилось больше. Герцен же увлекался сочинением научных статей и реферированием книг.

Живой обмен мнений, обмен книгами, профессорские лекции и студенческие споры укрепили в Герцене давно, еще с детства возникшую привычку мыслить на бумаге. Он в изобилии реферировал книги и читал свои рефераты друзьям. Писать он полюбил еще



мальчиком. Быть может, потому, что в детстве он был одинок и ему не с кем было делиться мыслями, потрясавшими сердце, перо и бумага неотвратимо влекли его к себе. Он ссызмальства любил конспектировать, записывать, переводить, излагать мысли свои и чужие; с отроческих лет любил писать письма, залечатывая в них не только внешние события своей жизни — «мы уехали в деревню», «мы вернулись в город», «я был болен», «я выздоровел», но главным образом события внутренние. Рано проснулось в нем призвание писателя: смутная, неосознанная, но властная потребность отдавать себе самому и людям, которые ему душевно близки, отчет в передуманном, пережитом, перечувствованном. Шестнадцатилетним юношей в письме из деревни к приятельнице своей Тане Кучиной (двоюродной сестре, которая часто гостила у Яковлевых) он точно выразил это стремление: «Душа моя так полна, что мне хотелось бы сплавить все в этот листок бумаги, который скоро ты будешь держать в руках...»

«Сплавить все в листок бумаги» — эта писательская жажда рано пробудилась в Герцене. Мальчиком для своего домашнего учителя писал он литературные обзоры и статьи об исторических событиях и лицах. О ком только и о чем не писал он! О классицизме, о Буало, о героях древнего Рима и о Марфе Посаднице. В университете он писал рефераты тоже на самые разнообразные темы, и притом с такой полнотой, отчетливостью, точностью передавал умозаключения автора, что некото-

рые из его рефератов — «О чуме и причинах, производящих оную», «О древнем баллазамировании», «О землетрясениях» — по настоянию профессоров были напечатаны в журналах. Приближаясь к концу университетского курса, Герцен написал и свою первую самостоятельную философскую статью «О месте человека в природе», а затем статью по русской истории — о Петре Великом.

...А что же клятва, а что же музыка Воробьевых гор, зовущая к борьбе, музыка, «эта невещественная дочь вещественных звуков», как торжественно сказал о ней Герцен? Она не умолкала, она по-прежнему, ничем не заглушаемая, звучала в душе: Герцен и Огарев среди университетских товарищей искали и находили себе единомышленников. «Я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории», — писал Герцен об университетской поре своей жизни. «Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылевым, и что мы будем в ней».

В университете Герцен — пылкий, веселый, увлекающийся и увлекающий за собою других, беззаботно переходящий от серьезных занятий к шалости, от книги к бутылке вина и от бутылки снова к серьезному философскому спору, — сразу сделался центром кружка молодежи. Собирались чаще всего у Огарева — отец его, захворав, переехал

в свое пензенское имение, и Ник подолгу живал один в особняке на Никитском; собирались у Ника или в крохотной комнатке на окраине города у нового товарища, Сазонова, или у Сатина, или у Лахтина. (К себе Герцен не звал: что за скука—надзор Ивана Алексеевич!) При синем пламени жженки много было споров о судьбах России, о революции, о будущих судьбах рода человеческого. Но хотя весь кружок, спорящий до хрипоты над последним номером парижской газеты, дружно почитал декабристов и Великую французскую революцию, дружно ненавидел самодержавие и Николая, в тайное общество, следом за Рылевым ведущее на площадь полки, он не превратился.

Внимательно оглядевшись вокруг, Герцен и друзья его поняли, что им предстоит иная работа.

2

«Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна», — писал Пушкин в 1826 году. Друзьями, братьями, товарищами Пушкин называл декабристов. Судьба их была тем более ужасна, что люди, с которыми в двадцатых годах расправился Николай, были, в точном значении слова, умственным цветом нации: их вдохновение и труд обещали русской культуре богатые плоды впереди. В начале двадцатых годов, до рокового 14 декабря 1825 года, на собраниях научных и литературных обществ, в редакциях альманахов и журналов, в аудиториях Московского университета деятельно, бодро и

молодо звучали голоса будущих декабристов — поэтов, критиков, историков, физиков, преобразователей флота, мореплавателей и путешественников.

После разгрома восстания умственная температура образованного русского общества заметно понизилась: Николай и его жандармерия изыали из культурной жизни столиц передовой отряд литераторов и ученых. Судьба их томила Пушкина, внушала ему горькие строки. Судьбами сибирских узников, их письмами к родным, известиями об их женах, добровольно последовавших за мужьями в Сибирь, жили и духовно питались в обеих столицах люди, чья жизнь навсегда была сломана поражением 14 декабря.

Казалось бы, что может значить для огромной страны неудача горсти людей, пошедших в бой в одном пункте империи и проигравших его серым декабрьским днем? Пятеро повешенных, сотня ссыльных, сотни прогнанных сквозь строй... Для многомиллионного народа — это малость. Однако не только в том был ужас совершившегося, что одни арестованные погибли сразу, на виселице или под палками, а другие еще долгие десятилетия продолжали медленно гибнуть в казематах крепостей, в рудниках и глухих урочищах Сибири. Ужас неудачи был в том, что страна после 14 декабря надолго оказалась во власти военно-полицейского произвола. Дышать воздухом реакции — вот что выпало на долю Герцена и его поколения. Воздухом гибели, воздухом неудачи. Те гнусные порядки, во имя разрушения которых декабристы схвати-



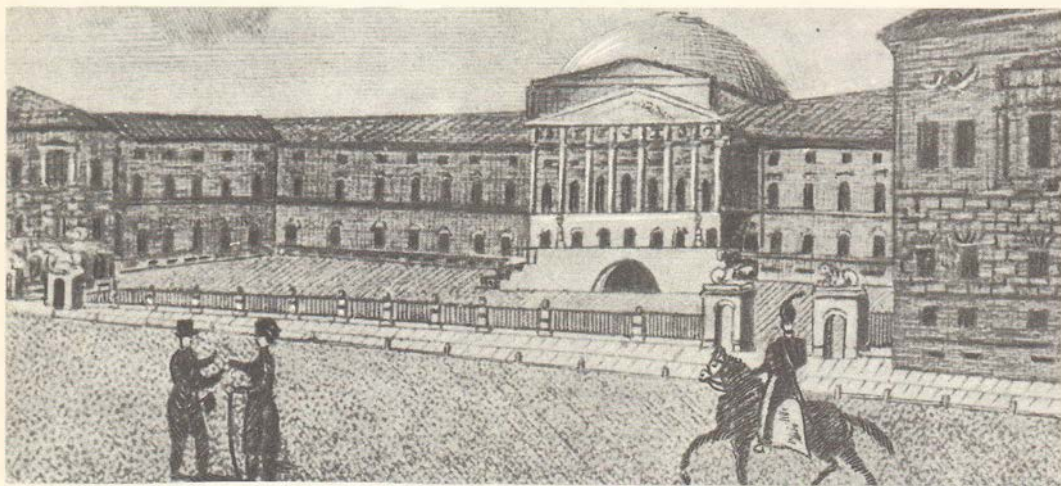
лись за оружие, не только устояли, но и ожрепли, упрочились. Еще беспомощнее оказался мужик перед произволом помещика. Еще беззащитнее солдат и матрос перед произволом командира. Еще наглее и откровеннее деспотизм Николая, еще трусливее и изобретательнее угодливость сановников. Еще тонительнее вынужденная тишина. Был подтвержден закон, запрещающий крестьянам жаловаться, подавать просьбы. Немота, молчание предписаны были высочайше. Страна лишилась интеллигенции, без которой немислима жизнь народа. Чуть ли не в каждом студенте правительство видело крамольника, в каждом литераторе — подстрекателя к бунту...

Герцен учился в университете с 1829 по 1833 год. Это четырехлетие можно назвать четырехлетием усмирений. Словно картечь, провизжавшая на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, оборачиваясь то палкой, то штыком, то пулей, вырвалась из Петербурга на просторы страны и все продолжала и продолжала победоносно визжать: то на мощной, прямой, как натянутый шнур, улице военного поселения, то на убогой крестьянской пашне, то на пыльной площади провинциального города, то под стенами Варшавы.

Восстание моряков и горожан на главной базе Черноморского флота — в Севастополе. И усмирение восставших. Восстание военных поселян в Старой Руссе и в Новгороде. И усмирение восставших. Счастливая весть о народном восстании в Париже, о бегстве короля Карла X — и за нею еще более счаст-

ливая: восстала Польша. Это уже здесь, в Российской империи, на родине, дома... Против поляков двинута стовосьмидесятитысячная армия под командою фельдмаршала Дибича — того самого, который доносил на декабристов, арестовывал декабристов. Известный негодяй — и, о радость: он бездарен, он делает глупость за глупостью, отвага поляков заставляет его отступить! Он внезапно скончался — туда ему и дорога! Но радость недолгая: в конце концов Варшава все-таки взята царскими войсками, и вот оно — еще одно усмирение, кровавее всех предыдущих... Когда в начале восстания династия Романовых была низложена в Польше, во многих домах Варшавы служили панихиды по пятерым повешенным, по Пестелю и его товарищам. Этим почитанием русских героев поляки говорили русским: «Мы боремся за нашу и вашу свободу, у нас общий враг и общие святыни». Какой отзвук находили в сердцах Герцена и его друзей эти вести о панихидах в Варшаве! Как пламенно желали они победы полякам, как жарко ненавидели Дибича! Но Варшава пала и усмирение совершилось: пули, шпидрутены, каторга, кандалы, казематы. «Звериным усмирением» назвал его впоследствии Герцен.

Одна надежда овладела было сердцем русской вольнолюбивой молодежи — надежда на то, что революция, победившая в Париже, преобразует Францию и Европу. Баррикады в Париже, снова, как в священном 1789 году, Франция впереди человечества! Герцен выучил наизусть те номера парижской газеты



«Journal de débats», из которых узнал, что король Карл X свергнут и бежал в Англию. Он мог бы повторить слова Гейне, читавшего те же газеты: «То были солнечные лучи, завернутые в бумагу». Одушевление среди передовых людей России было всеобщее. В августе известия о революции во Франции дошли до слуха сибирских узников и были встречены ими воистину как солнечные лучи. В эти дни они совершали пешком путешествие через бурятские степи из Читы в Петровский завод, в особую, нарочно для них выстроенную, тюрьму, в тюрьму чудовищную, без окон. «Совершенный гроб!» — сказал, переступив порог своей камеры, декабрист Михаил Бестужев. Но по дороге в этот гроб они узнали об июльской революции во Фран-

ции и приблизились ко гробу не только не удрученные — счастливые!

«На последнем ночлеге к Петровскому, — рассказывал через много лет декабрист Басаргин, — мы прочли в газетах об июльской революции в Париже и о последующих за ней событиях. Это сильно взволновало юные умы наши, и мы с восторгом перечитывали все то, что описывалось о баррикадах и трехдневном народном восстании. Вечером мы все собрались вместе, достали где-то бутылки две-три шипучего, выпили по бокалу за июльскую революцию и пропели хором «Марсельезу». Веселые, с надеждою на лучшую будущность Европы, входили мы в Петровское».

Герцен и его друзья, живущие не в гробу

на воле, раньше, чем узники Петровского завода, поняли, что надежда на «освобождение Европы» снова не оправдалась. Одним крупным дельцам, финансистам, банкирам пошло на пользу правление Луи Филиппа. Уже через полгода в том же Париже, который возвел его на престол, чуть было не вспыхнуло новое восстание — с требованием республики. Король утихомирил Париж — разразилось восстание в Лионе. Там под лозунгом «Жить, работая, или умереть, сражаясь» восстали ткачи. Они сразились — и были побеждены. Побеждены в той самой стране, которая только что восхитила весь мир революционными битвами.

«После июльской революции, окончившейся лионской резней, после польского восстания, окончившегося в одворении порядка в Варшаве, в России потеряли веру в политику; там стали подозревать бесплодие либерализма и бессилие конституционализма... Стали с ужасом замечать убожество революционной идеи, господствующей во Франции. Сомневались, отчаивались, искали чего-то иного».

«Теории наши становились нам подозрительны», — писал, рассказывая об этом времени, Герцен.

Теории? Но в том-то и дело, что теорий, в сущности, еще никаких не было. Их еще только предстояло создать. Была любовь к братьям Гракхам, к гражданским доблестям древнего Рима; преклонение перед 1789 годом; перед тенями Руссо и Вольтера; была любовь к песенкам Беранже и к стихам Рыле-

ева; было обожание Карла Занда, и презрение к тиранам, и восторг перед подвигом декабристов. Была ненависть к Николаю, палачу свободы. Было смутное сознание какой-то своей вины и перед студентом-поляком, учившимся на одном курсе с Герценом и внезапно исчезнувшим в недрах тайной полиции, и перед мужиками в батюшкиных имениях, и перед дворней в батюшкином доме. Сердце сжималось от чувства этой непонятной вины, когда доносилась с поля заунывная мужицкая песня. Было предчувствие неизбежной борьбы с деспотизмом и горькая память о том, что, когда декабристы вывели полки на площадь, народ не пошел за ними. Память о немоте народа, сознание своей отторгнутости от него, своей какой-то безвинной вины перед ним — она, быть может, была горше памяти о поражении, о картечи, о пяти виселицах, о падении Варшавы — быть может, она была горше всего.

Университетский кружок Герцена и Огарева не создал тайного общества и не повел за собой полки на площадь. Это был кружок людей, слышавших в своей недолгой жизни об одних только неудачах. «Заклученные в нашей исправительной империи, с кляпом во рту, — так изображал трагедию своего поколения Герцен, — попираемые ботфортами неутомимого и неограниченного фельдфебеля, с железным ошейником на шее и с палкой, занесенной над нашей спиной, мы имели много времени смотреть и думать». Как добиваться победы? Что делать, чтобы если погибнуть, то с толком, а не зря? Чтобы победа

была настоящей, а не такой, как во Франции? Что делать, чтобы действительно помочь народу, а не понапрасну загубить себя? Против чудовищного самовластия, объяснял Герцен, «можно было вести подземные мины, но бороться лицом к лицу нельзя было и думать».

В руках у Герцена и его друзей «подземной миной», подкладываемой под твердыню помещичьего полицейского государства, была наука, или, говоря точнее, те выводы, то руководство к действию, которое можно было из науки извлечь. Изучение истории, изучение естествознания и философии должно было, так им мечталось, объяснить им действительность и вывести их на революционный путь. Вот почему наука стала для них не «мертвой буквой», не отвлеченной абстракцией, а «живою частью... бытия». Временем «наружного рабства и внутреннего освобождения» называл Герцен тридцатые годы; «...мысль, взошедшая внутрь, назревала, слово, насильственно возвращенное назад, разьедало грудь, подтачивало тюремные стены».

Для тех научных занятий, которым они предавались, конец университетского курса не мог служить рубежом. Напротив — «теперь я отдан сам себе и теперь только начну свое образование», — писал Герцен в июне 33 года, извещая родных о конце выпускных экзаменов.

3

В годы учения и в послеуниверситетские годы кружок Герцена и Огарева продолжал разыскивать в исторических трудах и фило-

софских системах учение, способное подсказать деятельность, указать выход.

Памятником этих поисков сохранилась для нас переписка Герцена и Огарева тридцатых годов.

Огарев в эту пору подолгу жила в деревне, но, как повелось между ними, их общение не прерывалось разлукой. Огарев рассказывал другу все больше о вдохновении, на него налетевшем, о стихах и философских системах, продиктованных ему вдохновением, Герцен — все больше о необходимости постоянных занятий и о книгах, которые им обоим надлежит прочитать.

Они уже не называли один другого, как в отрочестве, Агатоном и Рафаилом, но по-прежнему обращались друг к другу с восторженной нежностью.

«Герцен! твоё присутствие становится мне необходимо, — писал Огарев. — Твоя душа мне необходима. Кому скажу я все, что волнуется в душе?» «Ты занимаешь огромное место в моей психологии», — писал ему Герцен.

Из писем Огарева видно, что в деревенской глуши он пристально следил за всеми новинками исторической литературы; видно, что он способен был до одержимости увлекаться прочитанным и увлекать своего друга за собой; из писем Герцена видно, что та критическая мощь, которая впоследствии выработалась в одну из сильнейших сторон его дарования, была в нем развита с юношеских лет. Восторженный, он умел сохранять ясность и трезвость ума. «Всю сию философскую диссертацию профан Герцен не понял», — на-



спешливо написал он на одном письме Огарева, в котором тот излагал очередную, продиктованную вдохновением систему бытия. Замечание Герцена вызвано было, разумеется, не тем, что он в самом деле считал себя профаном, а тем, что смутными, еле брезжащими, были философствования друга. «Существо развивает идею творца в пространстве, человек — мыслью во времени. Итак, назначение человека — развивать истину, которую постиг творец.»)

Огарева постоянно томили попытки выразить словами то, что словесному выражению по неопределенности своей еще совсем не подлежало. Не дожидаясь ясности чувства или мысли, он спешил поделиться ими с другом. В одном письме он попытался даже найти словесное воплощение воображаемой симфонии, звучавшей у него в ушах: «Я поэт! Вот слышишь величественное адажио, — спрашивал он, не стесняясь верстами, отделявшими его от Герцена, — но нет сил выразиться, надобно более акцента, нежели сказано — presto, presto. Слышишь?.. Дай мне хоть воображаемо послушать эти звуки, которые я хотел бы произвести».

Герцен восхищался прозрениями друга, но не упускал случая напомнить ему, что им обоим еще не хватает «положительности», что заниматься надо постоянно, упорно и в строгой системе.

Критический ум Герцена обращен был не только на собственные и огаревские опыты. Рассматривая сложнейшие философские системы — Фихте, Шеллинга, Гегеля, — он, еще

не в силах распознать идеалистическую сущность каждой из них, еще сам весь проникнутый идеализмом, уже умел, словно на зуб, попробовать каждую: а куда она ведет? Куда приводит? Приложима ли она к современности? Годится ли она для того, чтобы помочь найти правильный выход из грозного хаоса современного мира? Оружием скептицизма и иронии владел он уже и тогда, но и то и другое уживалось в нем с восторженностью, присущей ему почти в той же степени, в какой она была присуща Огареву. Они любили, они ценили ее, эту возвышенность чувств, они поддерживали ее в себе, потому что она отделяла их от «пошлой толпы» — от тех не в меру практичных людей, которые искали в жизни всего лишь карьеры, наград, благоволения начальства. Огарев, как в ссылке, томился среди провинциальных помещиков, окружавших его отца.

«И люди на людей здесь не похожи, —

жаловался он Герцену стихами, —

Какие отвратительные рожи.

.
.

О боже, боже! сжался надо мною, —
Мученье жить мне с этою толпою...»

Оба друга гордились тем, что у них есть сокровище, толпе недоступное, — мир идей, в котором они дома.

Потребность отдавать друг другу отчет в каждой прочитанной книге, в каждой поразившей их мысли не угасала в обоих; потребность окунать в сознание другого, как в зеркало, каждое испытанное чувство была источником их переписки. «Этот человек мне нужен, необходим, — писал Герцен о своем друге, — я без него один том недоконченной поэмы, отрывок». И подписывал свои письма к нему: «Твой Alter Ego», то есть «твое второе я».

Про что же были эти письма, задевавшие множество тем и все же проникнутые одной-единой, заглушающей все другие темой? Про все на свете — про то, как невыносимо Огареву в деревне, возле отца, среди людей чуждых и чужих: «у нас все гости, да гости, да я в гостях; лопнешь с досады. Что за дураки, ах ты, господи, прости!»; про то, как счастлив Герцен, который влюбился в сестру Вадима Пассека: «я люблю, и я любим! Тебе это, брат, ново, неизвестно. Это целый океан, глубокий, волнующийся и часто спокойный, освещенный солнцем»; про то, что студент Почека, их товарищ, соблазнил девушку, дочь почтенного музыканта, довел ее до самоубийства, и теперь, сообщал Герцен Огареву, «я и Вадим уже более с ним незнакомы, ждем от тебя этой же жертвы нашей дружбе...». Но это были всего лишь отклонения от главной темы; главная тема звучала, заглушая другие: наука, наука, указующая человечеству путь в будущее, достойное человека.

«Ты не можешь вообразить, какая деятельность опять у меня, — пишет Огареву Гер-

цен, — так кровь и кипит: учиться, учиться, а потом писать; слава, ей ли не жертвовать, когда жертвуют богатству, вину, девкам. Ты, Вадим и я — мы составляем одно целое, будем же жить чисто умственной жизнью».

Письмо это было ответом на письмо Огарева, в котором тот предлагал Герцену подробный план занятий и список книг. Герцен нашел предложенный план чтений недостаточно систематическим и с помощью одного из университетских профессоров выработал свой: тут были солидные труды по истории, древней и новой, по политической экономии и, конечно, по философии. «Теперь я перееду в Рим с Мишле», — написал Огареву Герцен. Но к этому времени Огарев, со свойственной ему способностью метаться от одного увлечения к другому, «переехал» из Соединенных Штатов Америки — *dahint dahint* — в синеву небес, в страну вдохновения и поэзии. «Чувствуешь ли всю высоту, всю необъятность этого слова: поэзия? — спрашивал он друга. — Ей одной предан я; она — моя жизнь, моя наука. Еще ни к чему не привело меня рассуждение, но поэзия возвысила меня до великих истин... Мое размышление — вдохновение. Я не рассуждаю, но чувствую. Итак, я требую от себя деятельности поэтической. Следовать за идеями, которые открываются мне во время вдохновенья, неутомимо за ними следовать, созидать, творить, быть в непрерывном восторге — вот чего я хочу». В одном из писем, посланых другу стихи, Огарев писал: «Скажи: с некоторого времени я решительно так полон, можно сказать, за-



давлен, ощущениями и мыслями, что мне кажется, мало того кажется, мне врезалась мысль: что мое призвание быть поэтом, стихотворцем ли, или музыкантом, *alles einst*¹, но я чувствую необходимость жить в этой мысли, ибо имею какое-то самоощущение, что я поэт; положим, я еще пишу дрянно; но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду, что я буду и порядочно (извини меня за такое похабное слово) писать. Друг! скажи же, верить ли мне моему призванию? Ты, может, лучше меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься.

Верить ли?

«Друг мой, друг мой! — писал Герцен в ответ. — Крик вырвался из груди моей, когда я прочел твое письмо... Какая глубина поэзии, это поэма, поэма высокая, целая! Ради бога, поддерживай это расположение... и я тебе, я, твой друг Герцен, ручаюсь, что твое имя будет греметь; тебе это, может, мало льстит, но ты знаешь, это моя слабость. Да, ты поэт, поэт истинный».

Но рядом с восторженностью, порой выражающейся весьма риторически, рядом с попытками произвести на свет новую философию одним махом, по вдохновению, у обоих друзей шла настойчивая работа мысли.

«Философия истории — это величайший предмет нашего времени», — писал Огарев Герцену.

«Науки (ты понимаешь, что я говорю в обширном смысле), науки пусть займут всю жизнь», — писал Герцен.

«Науки в обширном смысле» — это были те философские учения, которые, как мечтались друзьям, вытеснят религию и породят новую, не мистическую, а человеческую, призванную пересоздать мир.

Философия Шеллинга при всей ее поэтичности не удовлетворяла Герцена, и к философии Гегеля он отнесся также с настороженностью.

«...нашему брату надлежит идти далее, — пишет он, разбирая систему Шеллинга, — модифицировать его учение... Причина: Шеллинг дошел до мистического католицизма, Гегель — до деспотизма».

Выводы, к которым пришли оба философа, не были приемлемы для Герцена, ненавидевшего деспотизм и официальную церковь. И он, и Огарев, и окружавшие их юноши искали другого.

Чего же?

В бумагах Огарева сохранился листок, исписанный его почерком. Вычурные, затейливые готические буквы. Выписка из немецкой книги или запись собственных размышлений, сделанная почему-то по-немецки? Неизвестно. Вот она:

«Европа требует новой жизни; век всеразрушающего анализа пал. Но в чем должна состоять новая жизнь? В новой организации всего мира. В чем же должна состоять эта организация, на какой основе она должна развиваться? Вот в чем вопрос.



¹ Все равно (нем.).

Человечеству должна открываться новая великая идея, эта идея должна стать его верой, без которой оно впадает в гибельное состояние скептицизма и даже в отчаяние. Итак, вера, вера в живительную идею, которая одна только может спасти человечество. Но где же следует искать сущности этой веры? Там, где небо сливается с землей, где небо открывает себя земле, где божество говорит с человеком. Следовательно, этой новой верой должна быть религия. Но что такое религия? Она всегда была чем-то сверхъестественным, таинственным, являющимся только под покровом; должна ли она и теперь явиться в том же виде? Нет — верой современного человечества должна быть сияющая идея, которая, будучи всеми понятой, приведет людей к их истинной цели.

Поисками этой «сияющей идеи» и полна переписка двух юношей в начале тридцатых годов. Искать ее повелевала им музыка Вобрьевых гор. «Сияющую идею», призванную обновить мир, они искали, верные своей отроческой клятве.

Огарев первый назвал в письме имя великого французского мыслителя, чья мечта о социалистическом преобразовании мира легла в основу складывающегося мировоззрения друзей. Граф Анри Клод Сен-Симон. Но когда Огарев назвал это имя, оказалось, что для Герцена оно не ново.

Случилось это летом 1833 года, сразу после того, как Герцен поведал другу в подробном письме, чем он после экзаменов занят. Эту часть своего письма он озаглавил

так: «Внутренние новости». Среди этих «внутренних новостей» он сообщал Огареву одолевавшие его мысли о поэзии Шиллера и Гёте, а затем просил у друга совета: что переводить и что читать?

«Вторым занятием я назначил что-нибудь перевести... Потом уж приступлю я к своему образованию. Соберу в одно живые... отличные знания, наполовну пустые места и расположу в системе. История и политические науки в первом плане. Естественные науки во втором. А *propos* к истории, с чего начну ее — с Michelet или Римской истории?»

В ответ на это письмо, полное какой-то веселой жадности к умственной пище, которую ему предстояло проглотить, последовало не менее весело-деятельное письмо Огарева:

«...поговорим о тебе. Ты кандидат и пользуешься совершенной волей; за первое 6, а за последнее 12 бутылок шампанского. А что тебе читать, изволишь увидеть из нижеследующего».

Дальше был высказан совет по новой истории читать все, решительно все, что выходит; изучить книгу Мишо о крестовых походах и книгу Мишле об истории Рима. В конце же списка стояло имя:

«Сен-Симон».

Герцен тотчас же откликнулся на это имя. Из его отклика видно, что он был вполне осведомлен и о трудах основателя нового учения, уже покойного в то время, и о шумной проповеди его учеников.



«Ты прав, saint-simonism имеет право нас звать», — писал Герцен. — Мы чувствуем (в тебе писал это года два тому назад и писал оригинально), что мир ждет обещания, что революция 89 года ломала — и только, но надобно создать новое, галингенезическое время¹, надобно другие основания положить обществу Европы: более права, более нравственности, более просвещения. Вот опыт — это saint-simonism».

И тут же критический отзыв о религиозных увлечениях сен-симонистов, и тут же совет Огареву прочесть недавно опубликованную во французском журнале «Систему ассоциаций» другого замечательного французского мыслителя — Фурье.

4

«Я помню комнатку аршинов в пять; — стихами вспоминал через много лет Огарев, —

Кровать, да стул, да стол с свечью сальной...
И тут втроем, мы — дети декабристов
И мира нового ученики,
Ученики Фурье и Сен-Симона —
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основую положим сощьялизм».

«Трое» — это Герцен, Огарев и ближайший друг их университетских лет, Николай Сазонов. «Детьми декабристов» Герцен и Огарев ощутили себя еще в отрочестве. В юности «сияющий идеей» предстал перед ними социализм. Апостолами его были в их глазах Фурье, Сен-Симон и последователи Сен-Симона. 17 веков назад христианство провозгла-

сило братство людей, но учение Христа исказили церковники — так говорили сен-симонисты — и братство не осуществилось. Французы в 1789 году снова произнесли это великое слово, и снова оно осталось пустым звуком. «Праздные» обрекают «работающих» на невежество и голод; «работающие» под страхом голодной смерти вынуждены продавать «праздным» свой труд — какая же это справедливость? Сен-Симон снова провозгласил братство всех людей, но уже настоящее, подлинное. В грядущем мире владычествовать будут «работающие», объединенные в союз, а не «праздные». Тогда и наступит братство. Всякую эксплуатацию человека человеком Сен-Симон объявил «нечестивою в самой основе своей». Современный мир, построенный на этой нечестивости, обречен на гибель. Не будет крепостных рабов, не будет голодных работников, не будет насилия, тюрем, палок. Герцен, Огарев и члены их кружка мечтали о новой организации мира, при которой исчезнут нищета и несправедливость — и вот эта организация найдена. Имя ей — социализм. Путь к ней указан Сен-Симон — это просвещение и нравственность. Истинно просвещенные люди не станут поуживать своих братьев работать на себя, не станут мучить и убивать; они будут трудиться сообща, сообща познавать природу и владычествовать над нею. Все общественные учреждения, сколько их есть на земле, говорил

1 То есть время возрождения.

Сен-Симон, должны работать для одной великой цели: цель эта — умственное и физическое усовершенствование «сословия тружеников» — «сословия самого многочисленного и самого бедного».

Проповедь эта трогала русских вольнолюбцев до глубины души. Разве не о братстве людей мечтали они на Воробьевых горах? Разве не о благе народа — «сословия самого многочисленного и самого бедного»? Революционное действие всюду на их глазах приводило к поражению; вот почему в поисках выхода им естественно было ухватиться за утопию, за мечту: пересоздать нечестивый, погрязший в кровавых несправедливостях мир усилиями нравственности и науки. К тому же бесстрашие перед лицом судей влекло к сенсимонистам сердца. Их бросили в тюрьму, посадили на скамью подсудимых, а они с этой скамьи продолжали избличать лицемерие сильных, провозгласили равенство между всеми людьми на свете и между мужчиной и женщиной; они проповедовали святость труда, проклинали неправоту стяжания. В глазах всех просвещенных людей мира они были героями. Газетные отчеты о судебном процессе, смелые речи подсудимых, книга Сен-Симона «Новое христианство» — все это в Москве среди университетской молодежи передавалось из рук в руки, прочитывалось с жадностью, обсуждалось со страстью... Видно, «сияющая идея» вселяла необычайные силы в своих адептов. Правда, Герцену были не по душе, или, точнее сказать, не по уму, не по здравому, критическо-

му уму его, черты мистицизма, которые ученики Сен-Симона придали системе учителя. «Мистицизм увлекает всегда юную идею», — с сомнением писал Герцен Огареву. Это стоит обдумать, об этом надо поговорить при встрече. И все-таки «одна не бездушная философия последних времен, где высоко подняты требования века, — это saint-simonism», — писал Огарев своему другу. И Герцен был с этим безусловно согласен: только великая душа, отзывчивая на страдания века, могла подарить человечеству идею, которая пересоздаст мир.

Они — Герцен, Огарев, Сазонов и друзья их — будут участниками этого пересоздания. Наука и нравственность укажут им путь.

Но, раздумывая об этом пути, они столкнулись не с мыслью, а с силой. С силой самодержавия, которое ненавидело мысль.

5
Да, жизнь не ждала, пока двадцатилетние юноши на благо человечеству закончат пересмотр философских систем, сделают правильные выводы из изучения истории и начнут усовершенствовать самих себя и род человеческий; она не дожидалась, пока Огарев поймет — музыкант он, поэт или историк, а Герцен — переводить ли ему иностранных авторов или писать самому. В стране рабства и раболепия они, независимые, ищущие, жадные к знанию, неизбежно обречены были столкнуться с полицейщиной, всегда и повсюду по самой природе своей ненавидящей



тех, кто не желает жить по ее указке, а ищет, мыслит. Да и сами Герцен, Огарев и молодые люди, окружавшие их, несмотря на то, что искренне ждали ответов на все вопросы, даже политические, прежде всего от науки и по уши погружены были в книги, столкновений с полицией не избегали. Напротив, опасность манила их к себе и влекла. Скрывать свое возмущение диким самовластием, калечившим жизни вокруг, они не были способны — молчание и притворство оскорбляло их гордость. «Мы от декабристов получили в наследство возбужденное чувство человеческого достоинства, стремление к независимости, ненависть к рабству...» — рассказывал Герцен через много лет.

Это наследство, прекрасное и требовательное, делало столкновение неизбежным.

В феврале 1834 года члены кружка решили издавать журнал. Программа была обширной. «Следить за человечеством в главнейших фазах его развития, для сего возвращаясь иногда к былому, объяснить некоторые мгновения дивной биографии рода человеческого и из нее вывести свое собственное положение, обратить внимание на свои надежды».

Туманно? Однако сквозь идеалистический туман пробивалась истина.

«...нераздельное представляет нам литература и политический быт. Гражданское состояние есть воплощенное слово, и обратно, литература, как слово народа, есть выражение его быта. Но изучение слова и деяний человека еще недостаточно; чело-

век — часть природы, он ее принадлежит, она его обуславливает, она подчиняет его своим законам; следственно, чтоб понять человека, надлежит понять природу».

Программа журнала была составлена Герценом. А участвовать в нем должны были все члены кружка: и Николай Христофорович Кетчер, медик по образованию, переводчик по специальности, шиллеровский разбойник по наружности и убеждениям; и нежный, похожий на девушку, Сатин, мечтатель и поэт; и Вадим Пассек, весь погруженный в историю древней Руси и из-за нее худо различавший современность; и блистательный Сазонов, поклонник французской революции и новейшей французской литературы; и трудолюбивый Алексей Кузьмич Лахтин, окончивший словесное отделение и немедленно поступивший на физико-математическое. Жаль, самый ученый из всех, Алексей Николаевич Савич, получив звание магистра астрономии, уехал в Дерпт — был бы незаменим по части точных наук.

Но затее не суждено было сбыться. Программа, намеченная Герценом, осуществлена не была. Жизнь не желала ждать, пока Герцен и его друзья закончат изучение «биографии рода человеческого» и, чтобы понять человека, «поймут природу».

Не наука распоряжалась жизнями людей, а полиция и «высочайшая воля». У полиции герценовский кружок давно был на примете. Она ждала только повода, чтобы расправиться с ним.

Повод первым подал Огарев. Он решил

посетить арестантов в пересыльной тюрьме — в тюремном замке на Воробьевых горах.

В марте 1833 года из пересыльной тюрьмы на Воробьевых горах «скованная на прут», под конвоем отправлялась в Сибирь партия арестованных. Вместе с партией, под одним с ней конвоем, хотя и не скованными, должны были пройти часть дороги еще пятеро осужденных — студенты Московского университета, соученики Огарева и Герцена. Они изобличены были «в расположении ума, готового прилепиться к мнениям, противным государственному порядку», и за это «расположение» и за эту «готовность» «высочайшей волей» и военным судом были приговорены к отдаче в солдаты в кавказские, сибирские и среднеазиатские войска. «Все они были превосходные юноши», — так отзывался о них Герцен впоследствии. Стоял студеный март. У «превосходных юношей» не было ни денег, ни теплой одежды, их отрывали от семейств, от друзей, от университета, от книг, за преступление, не обозначенное в Своде законов, за «образ мыслей», за то, что они чтили память декабристов, за то, что они были знакомы с людьми, которые, в свою очередь, были знакомы с офицерами, замышлявшими побег в Польшу на помощь полякам. И этого знакомства со знакомыми и этого почитания памяти героев, которых вопреки воле Николая чтил весь мир, оказалось довольно для дикого приговора: годы, а может, и десятилетия солдатчины, «белого ремня».

Огарев собрал среди товарищей довольно

крупную сумму денег, съездил на Воробьевы, добился свидания и из рук в руки передал осужденным собранные деньги. Та же река, тот же вид за рекой, которым мальчишками они любовались с Сашей. Тягостной оказалась на этот раз встреча с любимыми местами: для многих и многих с этих «священных холмов» начинался страдальческий путь. «Мелкопоместный, неслужащий дворянин» Сунгуров, признанный «зачинщиком совещаний по ниспровержению государственного порядка», тот самый Сунгуров, за знакомство с которым пострадали студенты, — здесь, на Воробьевых горах, бежал из тюремного замка, на другой же день был пойман жандармами и пытался перерезать себе горло. Едва зажило горло — его за побег приговорили к плетям.

Воробьевы горы — не всем они памяты как «святые холмы»...

Огарев не успокоился на том, что передал осужденным деньги, на которые те купили себе рыжие теплые крымские тулупы в дорогу. В нескольких верстах от Москвы, на первом же ночлеге, он да еще двое товарищей нагнали партию, чтобы еще раз пожать руки осужденным и передать им съестные припасы в дорогу.

И деньги и проводы — все это не укрылось от бдительного ока тайной полиции. Начальник Московского окружного жандармского управления вызвал к себе Огарева и других провинившихся и объявил им, что «его императорское величество» находит сношения их с «государственными преступника-



ию крайне предосудительными и требует, чтобы сношения эти были раз и навсегда прекращены.

Вот тут-то и заговорило в молодых людях возбужденное чувство собственного достоинства. Выговор, требования показали им унижительными. После предупреждения они не только не начали вести себя тише, но, напротив, назло жандармам, повязали себе на шею одинаковые трехцветные шарфы — наподобие трехцветного знамени французской революции. Глядите, мы ничего не скрываем!.. В эту пору Огарев особенно близко сошелся с Соколовским, весельчаком, повесой, сочинителем вольных стихов, в которых, по примеру Полежаева, глумился над царскою властью. Полежаева царь давно спровадил в солдаты, а Соколовский еще гулял на свободе. Молодежь любила слушать его рассказы о ссыльных декабристах: он подружился с ними, служа в Сибири. Веселый он был человек, веселый и бесстрашный. Однажды в морозный декабрьский вечер, в подъезде Малого театра, ярко освещенного площадками, Соколовский вместе с Огаревым спели песнь песни революции — «Марсельезу»...

10 июля 1834 года насмерть перепуганный камердинер Огарева прибежал к Александру Ивановичу рассказать, что «ночью Николая Платоныча взяли».

Те несколько дней, которые Герцен провел между арестом Огарева и собственным, были, в сущности говоря, единственными чер-

ными днями его юности. Разлучили их, так прочно разлучили, что и письма не пошлешь. Между ними стали тюремные стены. И почему это Огарев взят, а он, Герцен, на воле? Клятву они дали вместе и страдать должны вместе. Да и за что страдать? Ведь они ничего не совершили еще. Герцен попробовал было навести справку о друге, выхлопотать свидание с ним, но после визита к одному влиятельному лицу, а потом к обер-полицмейстеру понял, что ничего не добьется. Тоска взяла его. А тут еще жара, одиночество, в городе из друзей — никого. Домашние еще несноснее обычного: ахают, причитают, какие-то укоры Огареву, какие-то пошлые советы держать себя от этого дела подальше — не просить свидания, не наводить справок: «Огареву не поможешь, а сам пропадешь». Воистину холопская психология! Взбешенный, не зная, куда себя девать от тоски, он взял карету и поехал на Ходынское поле, на скачки: авось хоть лошади его развлекут. Но оказалось — в толпе, среди светского говора, еще тошнее, чем дома. Дома можно запереться у себя в кабинете одному и читать. Впрочем, нынче ему не до чтения: мысль, что Огарева, быть может, ожидает солдатчина, не давала секунды покоя.

И тут, нежданно-негаданно, в черноте этих дней выдался светлый час.

Его вдруг окликнули из чьей-то громоздкой кареты с гербами. Он обернулся, недовольный. Неудовольствие усилилось, когда он узнал карету своей сестры, княгини Марьи Алексевны. Там сидели компаньонка княгини

и воспитанница княгини, кузина его, Наташа. Хорошо, хоть ее сиятельство не изволили пожаловать на скачки.

Он подошел. Он с детства терпеть не мог княгиню и ее дом, набитый моськами и приживалками, чванный, спесивый дом московской сиятельной барыни, из тех знатных старух, которых так звонко отхлестал по щекам Грибоедов. Список «Горя от ума», десятки раз прочитанный вместе с Огаревым, лежал под ключом в бюро. Поговаривали, будто «княгиня Марья Алексевна», поминаемая Фамусовым, недаром носит имя его тетки.

Звала его из кареты Наташа. Она была умна и мила, постоянно просила книг, но он скучал с ней. В княгинином доме ей, видно, жилось нелегко, и ему всегда казалось, что она вот-вот расплачется. Молчалива она была всегда и печальна. Скука! А ему было всегда недосуг: он скакал то к Огареву, где его ждали товарищи, жженка и споры, то к Пассекам, где его поджидала Людмила. Книги Наташе он норовил посылать с кем-нибудь из слуг, чтобы не ходить самому. Терпеть не мог княгининого дома. Когда он был маленький, княгиня грозилась, бывало, навещая отца, что запрет Шушку в свою табакерку и унесет к себе. Он вырос, но до сих пор, когда являлся к тетке с визитом по праздникам, ему казалось, будто он угодил-таки к ней в табакерку.

Наташа — теперь она уже была не «маленькая кузина», как он ее когда-то называл, а семнадцатилетняя девица, Наталия Алек-

сандровна, — Наташа пожаловалась, что в карете душно.

Компаньонка разрешила ей немного пройтись: «вот и прошлись бы с братцем», — наставительно сказала она.

Герцен подал Наташе руку, и они пошли в сторону от скачек, от пыли и говора, туда, где было безлюдно и зелено — на кладбище.

Первым словом Наташи, когда они остались одни, был вопрос об Огареве. И не только об Огареве, но и о нем самом, о его боли.

— Как же вы теперь без него?

Всегда Герцен смотрел на кузину с высоты своего студенческого величия. Сен-Симон, пирушки, Шеллинг, удалая студенческая запорожская сечь — все это ей недоступно. А тут она заговорила об Огареве с таким пониманием места, которое занимал в его душе этот человек, с таким сочувствием к его горячей тревоге, словно старшая сестра, всепонимающая, участливо склонилась над ним. И сразу беда отступила. Они остановились у какого-то важного памятника. «Если бы я могла хоть немного, хоть в чем-нибудь заменить его вам!» — несколько раз повторила Наташа, опираясь на камень. Ни глупых советов беречься, ни недостойного страха. Одна тревога за узника. «Жара... Как ему там... взапери? И неужели его ждет то же, что тех — взятых по сунгуровскому делу?»

Он понял, что она не решилась произнести слово «солдатчина».



Герцен испытал такое облегчение, будто Огарев был с ним. Ей, как и Огареву, ничего не надо объяснять, она сама понимает все. Синеглазое лицо, с участием обращенное к нему, показалось ему таким прекрасным, что, позабыв о княгине Марье Алексевне, с ее чванстве, о ее моськах и ее табакерке, он попросил у Наталии Александровны разрешения навестить ее завтра, и поскорей, не вечером, а утром — ему хотелось дышать воздухом сочувствия и понимания, струящимся вокруг нее. Ему хотелось поскорее все рассказать ей — как всегда хотелось все (что, собственно, все?) рассказать Огареву.

Они вернулись к карете. Наташа села рядом с компаньонкой и протянула ему руку сквозь открытое окно.

— До завтра! — сказали они в один голос, прощаясь.

Они не знали, какое завтра ожидает их.

В эту ночь, в ночь с 20 на 21 июля 1834 года, Герцен был арестован.

7

И вот перед ним неотступные листы бумаги. Наверное, такие же лежат сейчас перед Огаревым.

Вместо пухлых тетрадей с лекциями профессора Павлова перед ним на столе аккуратно разграфленные, без единой пометки, без единого загнутого уголка, длинные листы. На первом — заглавие:

«Вопросные пункты, предложенные в присутствии следственной комиссии титулярному советнику Александру Герцену»¹.

Левая часть каждого листа исписана четким, круглым, до противности правильным почерком, приобретающим особенно отвратительную округлость в трех часто повторяющихся словах: «Его Императорское Величество». Тут округлость переходила в кудрявость, а четкость — в военную вытяжку.

Правая часть каждого листа незапятнанно-белая. Ее надлежит заполнить титулярному советнику Герцену.

Нет, вопросы высочайше утверждённой следственной комиссии касаются не до основ шеллинговой философии природы, о которой любил толковать на лекциях по сельскому хозяйству профессор Павлов. Они и проще вопросов, задаваемых на экзаменах, и гораздо сложнее. Не «саморазвитием природы», не тождеством материального и духовного интересуется высочайше утвержденная следственная комиссия. Не такими понятиями, как «абсолют». Нет, вопросы, задаваемые ею, по существу, гораздо проще, а при этом много трудней.

«Не переводили ли чего-либо запрещенного? — любопытствует комиссия в пункте одиннадцатом. — Равно и в сочинениях своих не излагали ли чего противного правилам



¹ По тогдашнему обычаю, дети дворян с малых лет зачислялись на службу, военную или гражданскую, и, фантически не служа, получали с годами чины. Герцен восьмилетним мальчиком был зачислен в канцелярию Кремлевской экспедиции; таким образом, ко времени окончания университета он и получил чин титулярного советника, полагающийся ему в соответствии с выслугой лет.

христианской религии и государственным постановлением?»

И в том же пункте, еще не дождавшись ответа, но так, будто был получен ответ утвердительный: «Кто внушил вам подобные мысли и с кем разделяли оные?»

На вопросы профессора Павлова Александр Герцен, своекоштный студент отделения физико-математических наук императорского Московского университета, отвечал, бывало, быстро, почти не задерживаясь. Над этими кандидат отделения физико-математических наук¹, титулярный советник Герцен, грызя перо, сидел чуть ли не по часу над каждым. Ну как ответить, например, на такой вопрос?

«С кем из живущих в Москве и находящихся вне оной имеете близкое знакомство, где с ними виделись, об чем наиболее говаривали при свиданиях?»

Правая сторона страницы предусмотрительно оставлена белой. Она требует: возьми перо, перечисли ближайших друзей и объяви полиции, о чем... о чем, бишь, мы наиболее говаривали при свиданиях?

Вопрос 6. «Для чего друг Ваш Огарев в письме своем советует Вам как можно чаще читать Вильгельма Телля?»

Вопрос 7. «Что значат присовокупленные им в том же письме слова: «Эта пьеса представляет эпоху кризиса. Ах! что я чувствовал, когда читал ее. Ты не можешь себе представить; ты поймешь, когда перечтешь еще раз, особенно же в минуту ожесточения, досады, ненависти. Но все это мысль разрушения, а мне хочется созидать; из общих

начал моей философии истории должен я вывести план ассоциации».

Как отвратительно видеть слова Огарева, обращенные к нему, к Герцену, на этих казенных листах, опоганенных этим ровным чужим почерком. Не менее отвратительно, пожалуй, чем было видеть у себя в комнате письма и книги, перетроганные руками жандармов. Письма Огарева, Сатина, записочки Людмилы Пассек.

Однако надо отвечать. Какое это унижение — прикидываться дураком! А надо. Нельзя же губить друзей.

Комиссии непонятно, за что Огарев и он так любят Вильгельма Телля — эту грозную, зовущую к оружию пьесу? Сейчас он им объяснит. Конечно же, раньше всего за красоты слога.

«Вильгельм Телль», быстро пишет он на пустой стороне листа, — лучшее произведение Шиллера, так его понимают германцы, так о нем отзывается Шлегель, посему г. Огарев, пораженный наравне с ними красотами сей трагедии, советует мне читать ее чаще».

А вот на 7-й вопрос ответить, пожалуй, не совсем просто. Но и тут можно всласть поиздеваться над следователями:

«Слова г. Огарева я отчетливо объяснить не могу, но понимаю их следующим образом: пьеса Шиллера... нравится ему, но нра-

¹ В то время звание кандидата не соответствовало нынешнему: его давали студентам, хорошо окончившим курс.

вилась бы ему еще более, ежели бы предмет оной не была эпоха кризиса, разрушения, ежели бы она, словом, не имела предметом революции».

Вот вам. Все как раз наоборот. Не задавайте другой раз глупых вопросов.

А вот вопрос иного порядка:

«С кем из живущих в Москве и находящихся вне оной имеете близкое знакомство?»

...Как мечталось когда-то в отрочестве, сладко до слез: он маркиз Поза, с улыбкой говорит он истину в лицо самому тирану... А теперь — теперь он во что бы то ни стало хочет утаить истину, скрыть, заслонить ее выдумкой, спрятать. Не потому, что, посидев в части, он испугался. Не потому, что он боится солдатчины. Не потому, что в памяти укором живет минута, когда его уводили из дому, а мать упала без чувств. Та минута, когда дворовые целовали ему руки и плечи. И еще более страшная: та, когда отец его, неверующий, насмешливый, желчный, жесткий, презирающий все чувства отец — со слезами повесил ему на шею образок. Не потому, что он испуган, нет, не потому не желает он говорить правду в глаза императору и его присным. А потому, что теперь он понимает яснее, каковы те люди, в чьих руках судьбы России и его маленькая, еще недавно, в мечтах, казавшаяся великой, судьба.

Разве приближенные царя стоят того, чтобы им говорить правду? Сен-симонисты были много счастливее, их судили публично, их речи печатались в газетах, они со скамьи

подсудимых обращались не к одним судьям, а ко всему миру. Их проповедь была слышна всем. А здесь, в России? Над ним и его друзьями суда не будет. Не подручным же палача возвещать истину.

Сидя в полицейском участке, Герцен днями и ночами слышал, как рядом с ним пытали людей. Дворовых, мастеровых, мужиков. Он давно знал, что полиция груба, дика и незаконна, но своими ушами слышал крики избиваемых впервые.

В Москве с начала лета свирепствовали пожары. Выгорали целые улицы, в один день сгорел целый квартал — Лефортово. Полиция с ног сбилась, отыскивая зажигателей, — и не нашла их. Николай остался недоволен и приказал обнаружить виновных в три дня. Тогда полиция начала хватать кого попало, пороть и сечь, и под пытками люди, клевета на себя, объявляли, будто поджигали они.

Кому же он будет рассказывать о дружеском круге, объяснять письма свои и Огарева, толковать о Сен-Симоне и Шиллере, о грядущем братстве — следственной комиссии, составленной из отборных инквизиторов, царских любимцев? Они знают о злодействах полиции, и молчат о них, и прикрывают их, их совесть не смущается тем, что в каждой полицейской части бьют и калечат ни в чем не повинных людей.

То, что Герцен увидел и пережил в тюрьме, в долгие месяцы заключения, оказалось для него не менее поучительным, чем лекции Каченовского и Павлова, учения Фурье и Сен-Симона, все книги, сколько их было,



русские, французские, немецкие — все, какие он прочитал. Поучительнее, чем весь только что законченный курс физико-математических наук. Опыту, полученному в тюрьме, Герцеком посвящена страница в «Былом и будущем» — одна из самых жгучих.

Иногда допрашиваемых секли или били; тогда их вопль, крик, просьбы, визг, женский стон, вместе с резким голосом полицмейстера и однообразным чтением письменоводителя, доходили до меня. Это было ужасно, невыносимо. Мне по ночам грезились эти звуки, и я просыпался в иступлении, думая, что страдальцы эти в нескольких шагах от меня лежат на соломе, в цепях, с изодранной, с избитой спиной и наверное без всякой заны.

Таков беспорядок, зверство, своеволие и разврат русского суда и русской полиции, что простой человек, попавшийся под суд, боится не наказания по суду, а судопроизводства...

Петр III уничтожил застенки и тайную канцелярию.

Екатерина II уничтожила пытку.

Александр I еще раз ее уничтожил.

Ответы, сделанные «под страхом», не считаются по закону. Чиновник, пытающий подсудимого, подвергается сам суду и строгому наказанию.

И по всей России — от Берингова пролива до Таурогена — людей пытают; там, где опасно пытать розгами, пытают нестерпимым жаром, жадной, соленой пищей; в Москве

полиция ставила какого-то подсудимого, босого, градусов в десять мороза, на чугунный пол — он занемог и умер в больнице... Начальство знает все это, губернаторы прикрывают, правительствующий сенат мирволит, министры молчат; государь и синод, помещики и квартальные — все согласны с Селифаном, что «отчего же мужика и не посечь, мужика иногда надобно посечь!».

И вот этим людям, клевретам царя, ради орденов, лент и денег, ради собственного благополучия посылающих студентов в солдаты и не слышащих криков в застенке, — этому тупому бравому обер-полицмейстеру Цынскому, этому выжившему из ума старикашке князю Сергею Михайловичу Голицыну, председателю следственной комиссии, и другому Голицыну, Ивану Федоровичу, нарочно присланному царем из Петербурга, из Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, чтобы он добился приговора построже, — им он станет толковать о том, как он и Огарев понимали любовь к отечеству? О дружбе? О том, к чему звали мир ученики Сен-Симона? Этим бездушным злодеям?

И он тщательно обдумывал свои ответы. Чтобы спрятать правду, оберечь мечты, не дать в обиду друзей.

«С кем из живущих в Москве и находящихся вне оной, — неотвязно осведомлялась комиссия, — имеете близкое знакомство?»

Нет, из друзей он назовет только тех, о ком и так уже, судя по вопросам, дозналось

следствие,—Огарева, Сатина, да и то мельком, а об остальных умолчит. Но он не запирается, он отвечает — читайте, он перечислит всех своих высокопоставленных родственников и батюшкиных превосходительных знакомых, которые для полиции — персоны.

«...имею честь знать довольно коротко его высокопревосходительство Ивана Ивановича Дмитриева... Часто посещал я его превосходительство Льва Алексеевича Яковлева... ее сиятельство княгиню Марию Алексеевну Хованскую, сестрицу батюшки моего...»

Дядюшка сенатор Лев Алексеевич, тетушка княгиня Мария Алексеевна — все пригосудилось, все пошло в ход. «Его превосходительство, его высокопревосходительство» — так и мелькают сиятельные и чиновные фамилии в этом списке, заслоняя собой друзей, тех, с которыми действительно дни и ночи общался до ареста Герцен.

И в те же недели и месяцы, в той же отдельной комнате, куда их по очереди, в сопровождении жандармского офицера, водили отвечать на письменные вопросы, пишет ответы Огарев. Перед ним такой же сложенный вдоль лист бумаги и тем же ровным, круглым почерком переписанные слова. Слова из герценовских писем:

«Титулярный советник Александр Герцен, в письме к вам от 31 августа 1831 года пишет: ...«что такое нынешнее направление? контракт между господином и слугою, но не нужно ни господина, ни слуги». Объясните, требует комиссия, объясните смысл этих слов.

Огарев объясняет. Объясняет столь искусно, что внятное становится под его пером невнятным, и в докладе следственной комиссии сам он оказывается охарактеризованным так: «в показаниях своих замечен упорным и скрытым фанатиком».

8

Герцен и Огарев имели возможность упорствовать и запирается — пытка им не грозила. Их не только не тронули пальцем, с ними были учтивы и вежливы. Все арестованные члены кружка были дворяне, а Герцен и Огарев к тому же дворяне весьма богатые. Конечно, тюрьма есть тюрьма; они страдали от одиночества, от тараканов, от угара, от того, что в 9 часов вечера их уже лишали свечи, от грязи, от грома жандармских сабель в коридоре и крика «Слушай!» под окном. Однако содержание их в части — Герцена в Пречистенской, а Огарева в Ямской — нельзя было назвать строгим, разве что поначалу. И в Крутицких казармах, в кельях архиерейского подворья, превращенного в казармы жандармского дивизиона, куда осенью перевели Герцена, и в Петровских казармах, куда перевели Огарева, им благодаря связям и деньгам отцов быстро начали оказывать всякие поблажки. Разрешили им иметь бумагу, чернила, книги; жечь свечу по ночам; получать из дому еду и одежду; писать письма родным; когда же следствие было окончено — разрешили и видаться с родными.

Нет, пытка не грозила Герцену и Огареву



с товарищами. Их подвергли другому страданию: в тюрьме они поняли, что у них отнято будущее. Что будущее, которому они себя обрекли, в которое верили, отступает, не успев наступить. А давно ли Огарев из деревни писал друзьям:

«Я вспомнил вас, друзья мои... и что-то радостное заговорило в душе, будущность, прекрасная будущность! Сколько надежд и упований».

Он прерывал письмо несколькими строками стихов о «минутном веселии» и продолжал: «И это веселье — будущность — и, я уверен, убежден, что это не Knabengedunke» (ребяческие мечты).

Да, будущее отодвигалось на долгие годы. Перед талантливыми, горячими, самоотверженными людьми на долгие годы захлопнули двери туда, куда влекли их дарования и рано осознанный долг перед родной страной. Слова, как в расправе с декабристами, царская власть наносила урон национальной культуре, расправляясь с умственным цветом нации, грубо ломая зеленые, готовые расцвести молодые побеги.

Литературная одаренность Герцена была уже в те годы так явственна, что ее не могли не заметить не только друзья, но и враги. В письмах, в напечатанных и ненапечатанных статьях его, среди восклицаний, подчас риторических, и мыслей, подчас незрелых, уже встречались строки, а то и страницы, предвещавшие могучую власть над словом. Он уже написал про солдата — «шомпол при ружье» и тремя этими короткими словами создал

образ человеческого существа, муштрой превращенного из человека в предмет. Он уже написал статью о Гофмане, знаменитом авторе «Кота Мура», статью, в которой портрет писателя одновременно служит портретом страны и времени, его породившего. С помощью книг, а всего более художнического воображения он создал иронический портрет Англии, в которой никогда не бывал.

«В Англии скучно жить: вечный парламент со освоими готическими затеями, вечные новости из Ост-Индии, вечный голод в Ирландии, вечная сырая погода, вечный запах каменного угля, и вечные обвинения во всем этом первого министра».

— У него есть способности, — сказал председатель следственной комиссии, прочитав статью Герцена о Петре Великом, отобранную у него при обыске.

— Тем хуже. Яд опаснее в умелых руках, — находчиво ответил секретарь.

Николай I отличался врожденным солдафонским, скалозубовским неуважением к таланту. Мало сказать — неуважением: это была какая-то органическая, глубокая ненависть, вызываемая, быть может, смутной догадкой о том, что талант — это тоже власть, что талант нелегко укротить, даже располагая целым корпусом жандармов, что талант светит, хоть загни его под землю, что в людях талантливых таится сила, не подчиненная ему, непокорная, существующая вопреки его воле.

В той же ненависти к людям ума, дарования, чести воспитывались и его приближенные.

Дело, по которому заключили в тюрьму членов герценовского кружка, было создано в попрание всех законов — даже тех, весьма далеких от справедливости, которые были напечатаны в Своде законов Российской империи. Суд, руководствующийся законами, хотя бы и такими, какие приняты в самодержавном государстве, вынужден был бы отпустить подсудимых на все четыре стороны, ибо не существовало закона, карающего людей за «мечты пылкого воображения». Но так как власть желала непременно расправиться с подсудимыми, она прибегла к тому незаконному способу, к какому прибегала в подобных случаях всегда: отдала их судьбу не в руки суда, а в руки особой, «высочайше утвержденной» следственной комиссии. Для комиссии закон был один: высочайшая воля.

Поводом к аресту избрана была пирушка, на которой человек двадцать молодых людей, студентов и нестудентов, перепились и в пьяном виде распевали «пасквильные стихи». Сочинили их художник Уткин и поэт Соколовский. Песни в самом деле были не совсем лестные для царей.

Боже! коль силен еси,
Всех царей во прах меси! —

пелось в одной. В другой смерть Александра и восшествие на престол Николая I воспевалось в таких выражениях:

Русский император
Богу дух вручил;
Ему оператор
Брюхо начинил,



Плачет государство,
Плачет весь народ, —
Едет к нам на царство
Костюшка урод.

Но царю вселенной,
Богу вышних сил,
Царь Благословенный
Грамоту вручил.

Манифест читая,
Сжалился Творец,
Дал нам Николая,
Сукин сын, подлец!

Песни эти, разумеется, вполне годились для обвинения кого угодно в чем угодно, но трудность для полиции оказалась в том, что ни Герцен, ни Огарев, ни кто из их друзей в пирушке не участвовали и песен



не пели. Однако это не смутило жандармов. Непевшие и непевшие все-таки были привлечены к делу о пении «пасквильных стихов», просидели в тюрьме девять месяцев и были осуждены. У Соколовского — автора одной из песен — нашли письма Сатина, у Сатина письма Огарева, у Огарева письма Герцена и Лахтина. Это выручило следствие. Из писем сделалось ясно, что Герцен — молодой человек, пылкого ума и хотя в пении песен не обнаруживается, но из переписки с Огаревым видно, что он смелый и вольнодумец, весьма опасный...». Комиссия пришла к заключению, что «лица, замешанные в деле сем, не составляли, по всем вероятностям, никакого злонамеренного общества». Общест-

ва не было — что же было? А вот что: «Хотя не видно в них настоящего замысла к изменению государственного порядка, и суждения их, не имеющие еще существенно никаких вредных последствий, в прямом значении не что иное суть, как одни мечты пылкого воображения, возбужденные при незрелости рассудка чтением новейших книг, которыми молодые люди нередко увлекаются в заблуждения, но за всем тем имеют вид умствований непозволительных, как потому, что укоренясь временем, могут образовывать расположение ума, готового к противным порядку предприятиям, так и потому, что люди с такими способностями и образованием, какие имеют означенные в сем разряде лица, удобно могут обольщать ими других».

За проступок, не обозначенный ни в одном собрании законов, — за «расположение ума, готового к противным порядку предприятиям», и должны были понести кару Герцен, Огарев и их товарищи.

31 марта 1835 года всех прикосновенных к делу о «пении пасквильных стихов» собрали в большой зале собственного особняка председателя следственной комиссии князя Голицына для слушания приговора. Уткин и Соколовский, сочинители песен, приговорены были к заключению в Шлиссельбург на неопределенное время; один молодой офицер, горланивший на пиру песню громче всех, — тоже; Герцен, Огарев, Сатин, Лахтин — к ссылке во внутренние губернии на службу.

Это было наказание, по справедливости считавшееся из самых легких. Действительно, по сравнению с солдатчиной или Шлиссельбургом ссылка под надзор полиции младшим помощником письмоводителя куда-нибудь в канцелярию — сущие пустяки.

Но чиновничья служба в глуши, без книг, без друзей, в одиночестве! Но разлука с друзьями! Разлука с «сияющей идеей», которую они разыскивали вместе и, казалось, нашли! С великой будущностью, которую они сами обещали себе!

«Неужели нам суждена гибель, и какая гибель, немая, глухая, о которой никто не узнает, — писал Герцен Наталии Александровне из Крутицких казарм за несколько месяцев до приговора. — Зачем же природа дала нам эти огненные души, стремящиеся к деятельности и к славе, неужели это насмешка?»

В день объявления приговора Герцен, Огарев и друзья их впервые бросились друг другу на шею после долгой разлуки. Жандармским офицерам с трудом удалось установить в зале тишину, необходимую для объявления «высочайшей воли». Столько было интересных историй, хохота, рукопожатий, шуток! Им снова предстояла разлука — надолго? Навсегда?

«...Неужели нам суждена гибель... немая, глухая...»

9 апреля отправили по Владимирской Огарева, 10-го — Герцена.

Нет, в гибель они не верили.

Глава третья. Опыт — дело важное

Жандарму было приказано делать не менее двухсот верст в сутки. «Эй, пошел!» — надсаживая глотку, орал на ямщика жандарм. Лошади летели. Двести верст! Мелькание изб и полосатых столбов, ветер в лицо, деревья и небо были бы после тюрьмы отрадой для узника, если бы не апрель. Весна растопляла снега, вздувала реки, льдом и грязью швыряла в лицо из-под копыт пристяжных. Чем дальше от Москвы, тем непролазнее грязное месиво дороги, тем дольше не дают на станциях лошадей. Смотритель, кланяясь, просит потерпеть до вечера, жандарм тычет ему в нос подорожную: лошадей под арестанта надлежит давать немедленно. Понял, дурак? Немедля. Без минуты промедления, и если нет почтовых — давай курьерских... «А какая, собственно, нужда мчать человека в ссылку с курьерской скоростью?» — размышлял Герцен, в десятый раз присутствуя при этой сцене. «Ехавши в каторжную работу, кажется, незачем так торопиться!» — припомнилась ему фраза одного осужденного за 14 декабря. Ах, люди 14 декабря никогда не теряли юмора. И мужества. Многих из них везли в телегах закованными, и, сказывают, братьев Бестужевых чуть не уморили этой бешеной ездой. Неподалеку от Томска на каком-то спуске лошади последней тройки понесли, опрокинули телегу с Николаем Бестужевым и, перепутавшись постромками, вместе, уже в шесть голов, налетели на пе-



заднюю телегу. В передней везли другого Бестужева, Михаила. Телега опрокинулась, Михаил, окровавленный, скатился прямо под копыта коренника. Двинуться он не мог: жезла. Брат Николай с опасностью для жизни сам в цепях выскочил из телеги и вытащил Михаила из-под копыт... А всё жандармы — не терпят им поскорее сдать казенную поклажу и доложить начальству об исполнении. Бестужевым такой, сказывают, зверь попался, что чуть не всю дорогу ковылял ямщика по спине эфесом. Эй, пошел! Везем на каторгу лучших людей России! Дело государственной важности. Оно отлагательства не терпит.

Сказать по правде, его, Герцена, везли хоть и быстро, а все по-божески: без оков и не опрокидывали. Странное равнодушие владело им в дороге. Мелькали горда; он следил на них с тупым вниманием человека, которого только что разбудили. Так вот оно значит как: по Владимирке... Он был что-то очень спокоен и сам дивился себе. Один только раз и дрогнуло сердце: разлив на Оке был широкий, паром, казалось, стоял неподвижно, а берег, тот берег, на котором осталось бывшее, уплывал, отодвигался, уходил. С этим берегом уходило прошлое: друзья, мечты, родительский дом, Наташа, юность. Глядя на уплывающий берег, он боялся заплакать, но это было один-единственный раз. Впрочем, нет, не единственный — еще один раз навернулись слезы: когда в станционной избе, где-то неподалеку от Владимира, на оконнице он увидел почерк

Огарева. Зато когда при переправе через Волгу его чуть не утопили (все по милости того же невесть куда спешившего жандарма), он и бровью не повел. В минуту опасности не дрогнуло сердце. Да и не верилось, что он так глупо погибнет, еще ничего не содеяв. «Наше веселие — будущность!»

...Валил снег, Волга бурлила. Жандарм требовал у смотрителя дощаник — тот не давал: куда в такую непогоду! Жандарм тыкал пальцем в подорожную, а когда не помогло — ткнул кулаком смотрителю под нос: поговори у меня! Смотритель кликнул татарина-перевозчика, татарин подвел к берегу свой ветхий паром. Погрузились. Поплыли. Река несла свирепо. Шальное бревно, мчащееся со скоростью пули, налетело на паром, он проломился, и вода разлилась по палубе. Это было верст пять от одного берега, верст десять от другого. Минуты две-три путникам казалось, что гибель неминуема. Татарин-перевозчик громко читал молитвы, Петр Федорович, камердинер Герцена, громко плакал, а жандарм, единственный виновник случившегося, еще громче бранился. Герцен, завернувшись в плащ, молча, с недоумением смотрел на прибывающую воду. Вот по щиколотку... Вот она уже лижет края плаща... Погибнуть от этого глупого половодья, от дурака жандарма, ничего не совершив? Не будет этого, не может этого быть... Купеческая барка прошла поблизости, но в ответ на крик Петра Федоровича: «Люди добрые! Помогите! Тонем!» — чей-то важный и спокойный, будто бы бородастый, голос, ответил:



«Есть мне время возиться с вами», — и барка прошла. Вода все прибывала. Герцену дошла уже до колен — и вдруг, точно под властью его взгляда, перестала прибывать. Паром нанесло на мель. Нет, не может его веселие — будущность погибнуть в этой жадной воде! К парому подплыл мужик на утлой лодчонке и вместе с Петром Федоровичем заколотил дыру. Измокшие, исхлестанные мокрым снегом, путники через два часа добрались до стен Казанского кремля, и Герцен послал Петра Федоровича в ближайший кабак за сивухой. «После воды снаружи — водица внутрь», — хохоча, сказал Александр Иванович и протянул камердинеру стакан. Жандарм улыбнулся подобострастно. Татарин не понял.

Происшествие на Волге скорее развлекло Герцена, чем испугало. После долгих месяцев тюрьмы он был, наконец, на воле — хоть и с жандармом, а все на воле! Ветер, дождь, дорога, опасность — хорошо! Сознание первого жизненного экзамена — допросов, тюрьмы, — выдержанного с честью, придавало ему бодрости. Москва осталась позади. Ну что ж!.. Не может быть, чтобы они не встретились снова — он и его Москва...

— Эй, пошел!

Мельком увидав Владимир и Нижний Новгород, которые напомнили ему дальние предместья Москвы, и целых три дня пробродив в сопровождении смиренного бурей жандарма по шумным улицам Казани, которая поразила его могучими обнаженными спинами бурлаков, памятником Ивану Грозному и толпами татар в халатах и тюбетейках, Герцен в конце апреля прибыл на место своего назначения: в Пермь. Здесь он прожил недолго, каких-нибудь две недели, не успел оглядеться и внезапным приказом был переправлен в Вятку. И вот тут, в Вятке, и началась его настоящая ссыльная жизнь — та, к которой с такой стремительностью, на курьерских и на дощанике, мчал его вопреки весенней распутице трусливый и наглый жандарм.

Ссылка... Слово это вызывало в воображении Герцена образ и судьбу пушкинского «Кавказского пленника»: дикая природа, дикие люди кругом, и он, гордый изгнанник, чуждый всему и всем. Ему мере-



щились тени Овидия, Данта... Дева, угадывающая в изгнаннике мятежную душу... На грязной оконнице станционной избу, где-то еще неподалеку от Владимира, написал он по-итальянски два стиха из дантова «Ада». Это было так. Стояло студеное весеннее утро. Слоняясь по избе и поглядывая в окно в ожидании лошадей, он вдруг в ярком луче солнца увидел какую-то надпись. «Н. Огарев, изгнанный из Москвы 9 апреля 1835 года», — написано было по-французски карандашом рукою Ника. «Изгнанный из Москвы!» Огарев проезжал здесь; здесь, в этой же избе, ожидая лошадей, смотрел в это окно. Сердце упало, словно сама Москва вдруг окликнула его голосом Огарева. Александр схватил карандаш, прямо под знакомым росчерком

Ника поставил свое имя и по-итальянски приписал:

Через меня идут в страну печали
И мной вступают в вечную печаль.

И вот он в ссылке. Чем же она для него оказалась: адом? Страной вечной печали? Нет, Вятка нимало не была похожа на ад, хотя бы на те рудники, которые в Благодатске достались в удел декабристам. Какие там рудники! Отправленный Иваном Алексеевичем вперед Карл Иванович Зонненберг (от Огаревых этот скучный немец давно уже перекочевал к Ивану Алексеевичу) нанял для обожаемого Шушки дом с садом, меблировал его, купил лошадей... И не руду должен был добывать под землей имеющий соб-

ственный выезд, не говоря уж о камердинере, ссыльный, а всего лишь переписывать бумаги губернского присутствия. Не рудники, не ад, а всего-навсего обыкновенный губернский город, каких десятки в России. Обыкновеннейший — но для Герцена первый, и потому все в этом городе дивило его.

Все было тут не по-московски: и люди, и дрожки, и улицы. Тишина. И днем и ночью тихо. Желтое, длинное, как дурной сон, здание губернского правления. Низкие домишки обывателей, садики, по пояс заросшие лопухом и крапивой, и в каждом — качели, на которых по вечерам кавалеры бережно и отчаянно раскачивают взвизгивающих от испуга барышень. Когда качели замедляют ход — барышни делятся друг с другом впечатлениями о прохожих и проезжих. А прохожих и проезжих мало, до смешного мало. Улицы поросли травой, и в тишине, сквозь крики петухов и скрип качелей, издали доносится дребезжащий звук дрожек. Подойдешь к окну, взглянешь: дрожки ярко-желтые или ярко-зеленые, — таких не увидишь в столице! А физиономия у седока гладкая, тусклая, выглаженная, будто вицмундир, сытая — словом, чиновничья физиономия. Вятка — город чиновников, губернский центр, фабрика казенных бумаг, тут впервые с чиновьяками вплотную столкнулся Герцен. В университетском товарищеском кругу люди ценились по благородству характера, по богатству знаний, по преданности товарищам, по способности самостоятельно думать, верности вольнолюбивой мечте — здесь, в вят-

ском чиновничьем мирке не то, здесь другая, совсем другая шкала ценностей: здесь человека ценят за красоту почерка, за ловкость, с которой он умеет нажить, за умение снискать благосклонность его превосходительства. «Около губернатора... — писал Герцен Наташе, — ...обращается все, как около солнца; власть его неограниченна, и следовательно, тут-то сосредоточиваются все искательства и интриги — и я поневоле, ежели не хочу закрывать глаза, должен видеть этих гадких животных, трепещущих, с клеветой во рту, с страхом, чтоб не открылись их дела, и пр. и пр.». В этом и заключалось главное для Герцена наказание: он вынужден был с утра до вечера видеть «этих гадких животных» — чиновников, жить с ними, дышать с ними одним воздухом, делить их труды и развлечения: с девяти до двух и с пяти до восьми ежедневно он должен был сидеть в канцелярии, переписывая, что велют, и со стыдом наблюдая, как соседи по столу принимают от посетителей четвертаки и двугривенные. Ад? Страна вечной печали? Нет, гораздо грубее и проще: болото. Скука, кляузы, ябеды, сплетни, бессмысленный труд и бессмысленный отдых, дурной сон, которому не видно конца, как серому дощатому забору.

«Тюрьма? Да что же страшного в тюрьме... — писал из Вятки Герцен Наташе. — Там возвышалась моя душа...» Там, в Крутицах, он читал книги, изучал итальянскую грамматику, писал, ожидая свиданья с друзьями. Нет, в Вятке душа не возвышалась. Не было



единения, вызывающего сосредоточенную работу мысли; целый день люди — и люди чужие и чуждые; кругом идет какая-то смутная, тяжкая, раз навсегда заведенная жизнь, всецело зависящая от местного солнца — от губернатора. Это был «...плечистый старик, с головой, посаженной на плечи, как у бульдога, — писал впоследствии в «Былом и думном» о Тюфяеве Герцен, — большие челюсти продолжали сходство с собакой, к тому же они как-то плотно улыбались...». Мерзко было оказаться под началом грубого самодура, не выносящего возражений, за одно слово способного сослать в Царево-Санчурск или запереть здорового человека в дом умалишенных; еще отвратительнее было видеть всеобщее перед ним пресмыкательство.

«Все трепетало его, все вставало перед ним, все поило его, все давало ему обеды, все глядело в глаза; на свадьбах и именинах первый тост предлагали «за здоровье его превосходительства!».

Сначала Тюфяев благоволил к ссыльному: молодой человек знатной фамилии, с деньгами, со связями — отец его, говорят, был лично известен покойному государю. В угоду губернатору местное высшее общество на первых порах тоже ухаживало за кандидатом Московского университета с какой-то интересной историей за спиной; тем хуже для него — целый день канцелярия, а потом ужин, вино и карты, карты и вино и тосты за здоровье его превосходительства. И зловонные сплетни: всех решительно обо всех решительно.

«Вся жизнь сведена на материальные потребности: деньги и удобства — вот граница желаний, и для достижения денег тратится вся жизнь, — так впоследствии писал Герцен о Вятке. — Идеальная сторона жизни... — честолюбие, честолюбие детское, микроскопическое, вполне удовлетворяющееся приглашением на обед к губернатору и его пожатием руки».

Служба, обед, сон после обеда, карты, сплетни... «...Жизнь наполнена, законопачена, и нет ни одной щелки, куда бы прорезался луч восходящего солнца, в которую бы подул свежий, утренний ветер. ...удушливое однообразие... Ежели танцуют — все те же кавалеры и те же фраки; иногда меняются перчатки... И говорят все одно и то же. Всякий вечер играют четыре мученика друг с другом в бостон, и всякий раз одни и те же остроты... Да ведь это ужасно!»

Легче стало Герцену в этом законопаченном мире, когда его перестали гонять на ежедневную барщину переписки бумаг, а заменили ее своего рода оброком: ему было поручено собирать сведения для статистического комитета. Утро и день оказались в его распоряжении. Затея была чисто чиновничья, потому что при повальной неграмотности жителей и непролазности дорог сведения, требуемые министерством, собрать было невозможно. Однако для Герцена поручение «состоять при комитете» явилось неожиданным благом: он мог теперь не корпеть в канцелярии, а разъезжать по лесам и деревням, а потом обрабатывать собранные сведения

не за канцелярским, а за собственным столом, у себя дома. И видел он теперь не чиновников, а крестьян, русских и нерусских, слышал не сплетни в гостиных, а жалобы и заунывные песни в черных, жалких избах, на проселочных дорогах между убогими деревнями. Он составлял проекты записок, которые Тюфяевым от собственного имени отправлялись в министерство, и заполнял какие-то бессмысленные и мудреные, присланные из министерства таблицы: «О мерах по споспешствованию к улучшению народного хозяйства». «Споспешствование»! Подвернется же под перо этакое словцо! И какие там меры? Разоряют мужиков, вот и все. Где нет помещиков, там чиновники грабят, а правительство им «споспешествует» — вот и все меры... Однако на вопросы, поставленные в таблицах, он, Герцен, обязан был дать ответы:

I. О числе ежегодно случающихся пожаров в течение десяти последних лет.

- а) в городах,
- в) в селениях,
- с) в лесах.

II. Число пожаров, прекращаемых в самом начале.

- а) число пожаров, остановленных на одном горящем доме;
- в) число пожаров, далее распространившихся.

И что это за дурацкая выдумка — считать и классифицировать пожары, да еще десятилетней давности, когда на всю губернию одна пожарная команда, да и та натирает

полы в доме его превосходительства? Чиновничьи затеи — все эти таблицы. Но зато строчишь бумаги дома, а не под взглядом столоначальника, или еще лучше — скачешь в телеге лесной дорогой, а лес густой, высокий, темный — сплошная стена, — и любо глядеть, как раздвигается перед тобой эта стена, а за нею — печальные огни деревеньки. Убогая деревенька, но в ней услышишь человеческую речь, а не казенный рапорт.

«Единственная польза, которую я приобрел, — писал Герцен из Вятки одному из своих московских друзей, — что ближе узнал некоторые части законовещения и самую Русь. Опыт — дело важное: ежели писаного не вырубешь топором, то полученного опытом не выжжешь огнем».

Какой же опыт, какой урок в школе жизни был получен Герценом в Вятке?

Ближе узнал Русь.

И, пожалуй, себя самого.

2

Столкнувшись еще ребенком с крепостной дворней в Москве, с крепостными крестьянами в подмосковных отца, Герцен рано понял неправоту крепостного владения.

В тюрьме крики истязаемых дали ему понятие о том, что такое русская полиция.

В ссылке он близко взгляделся в чиновничество, в тот механизм, с помощью которого самодержавное государство осуществляло свою неправую власть. Жизнь позаботилась, чтобы перед ссыльным открылся в действии механизм полицейской бюрократической ма-



шины. Именно здесь, в глуши, в Вятке, понял Герцен, что такое чиновник для простого русского человека. Какой-нибудь полупьяный писаришка, трясущийся не только перед губернатором — перед своим столоначальником, — для простого человека всемогущий бог. Каждый чиновник, по табели о рангах даже самый что ни на есть ничтожный, причастен к бумагам, а казенная бумага в полицейском государстве — святое всякого святого писания, и это писание продается. Дашь кому следует сколько следует — напишут бумагу так, не дашь — этак.

«Там, где-то в закоптелых канцеляриях, через которые мы спешим пройти, — рассказывал впоследствии Герцен, — обтерханные люди пишут, пишут на серой бумаге, переписывают на гербовую, и лица, семьи, целые деревни обижены, испуганы, разорены. Отец идет на поселение, мать в тюрьму, сын в солдаты, и все это разразилось, как гром, внезапно, большей частью неповинно. А из-за чего? Из-за денег. Складчину... или начнется следствие о мертвом теле какого-нибудь пьяницы, сгоревшего от вина и замерзнувшего от мороза. И голова собирает, староста собирает, мужики несут последнюю копейку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; советнику надобно жить, да и детей воспитать, советник — примерный отец...»

Жалованье у чиновников маленькое, вот и живут они вымогательством. Народ, для них — средство пропитания, почва для изобильной жатвы. Исправник и становой таскают

на возу из деревни в деревню мертвое тело: не соберет деревенька три целковых — начнется следствие: где утонул, почему утонул, да сам ли утонул, да не убили ли вы его, часом, мошенники? А следствие известно что такое: порка...

И попы — те же чиновники — тоже норовят нажиться на мужике. Вятская губерния населена была удмуртами и марийцами (вотяки и черемисы, как их называли тогда); народы эти поклонялись своим деревянным божкам. «Господствующая православная церковь» насильственно обращала беззащитных язычников в православие. Что поделаешь! Под страхом порки и тюрьмы вотяки присягали новому богу, но втайне оставались привержены своим прежним привычным богам. Эта тайная преданность служила для русского священства вернейшим способом обогащения. Проведает поп, что, приняв крещение, какой-нибудь мужичонка — удмурт или вотяк — продолжает молиться не иконам, а своим деревянным уродцам, — не откупится, бедняга, от доноса: порка. В Москве в двадцатые годы из уст в уста передавалась шутка князя Вяземского. «Если бы меня спросили, — сказал князь, — что делается в России и для ответа предоставили всего одно слово, я ответил бы так: «воруют». И в самом деле воровали чиновники неистово и повсеместно. Однако Герцен свои вятские впечатления не мог бы, сколько бы ни старался, выразить в одном слове. Ему необходимо было бы второе: секут. Кто-то ворует и кого-то секут, причем преимущественно не того, кто ворует, а кого-нибудь

другого, неповинного; секут «при допросах», секут «в наказание», секут «для примера».

Со всеми видами насилия встретился Герцен на пути в ссылку и в самой ссылке, глядявываясь и вслушиваясь в окружающую жизнь. Впрочем, и глядяваться особенно не приходилось, надо было только не зажмуривать глаза, не затыкать ушей — видеть и слышать то, что, как на блюдце, преподносит ежедневно жизнь. Насилие над всеми народами, живущими в этой несчастной стране: над русскими крестьянами, над вотяками и черемисами, над евреями, над цыганами; насилие над спинами, над совестью, над религией. Насилие грубое, не стесняющееся себя, открытое; в самом деле материал для нового дантова «Ада». Нет, недаром он написал на стене станционной избы эти две строки: пусть не его жизнь, но открывающаяся перед ним жизнь народа в самом деле ад... От одних дорожных встреч можно поседеть, навсегда потерять надежду. В дороге Герцен был погружен в себя, оглушен разлукой; новые впечатления поражали резко, но лишь по прошествии времени пробуждались в душе во всей своей полноте и безнадёжности.

«...множество голосов и сильные звуки железа меня разбудили, — писал Герцен из Вятки Наташе, перебирая дорожные свои впечатления. — Проснувшись, увидел я толпы скованных на телегах и пешком отправляющихся в Сибирь; эти ужасные лица, этот ужасный звук, и резкое освещение рассвета, и холодный утренний ветер — все это наполнило та-

ким холодом и ужасом мою душу, что я с трепетом отвернулся — вот эти-то минуты остаются в памяти на всю жизнь».

Звук цепей, толпа скованных, окружавших коляску, — чем не пробуждение в аду?

На всю жизнь осталась в памяти Герцена встреча с еврейскими мальчиками, двенадцати, десяти, а то и восьми лет, раздетыми, голодными, которых по приказу Николая взяли на военную службу и строем вели в казарму. Это была «натуральная рекрутская повинность», возложенная Николаем на еврейский народ. Встретился Герцен с ними в пути из Перми в Вятку. Вели их в Казань, в казарму, за тысячу верст, пешком. Чуть не половина, объяснил сопровождавший их офицер, погибла в дороге. «Покашляет — да и в Могилов». Офицеру жалко было детей, да ничего не поделаешь: служба. Бумага такая вышла! Против бумаги не пойдешь.

«Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал... Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст.

Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях, с стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети, без ухода, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу...



Я взял офицера за руку и, сказав: «поберегите их», бросился в коляску; мне хотелось рыдать, я чувствовал, что не удержусь».

Герцен бросился в коляску и поехал своею дорогой. А как иначе мог он поступить — он, которого везли из одного места ссылки в другое?

Разъезжая по Вятской губернии для сбора никому не нужных статистических сведений, Герцен слышал своими ушами рассказы о том, как по повелению Николая за беспаспортность отнимали детей у цыган (ни у одного цыгана отродясь не было паспорта!) — всех детей мужского пола из ближнего табора. Табор окружили солдаты, и полицмейстер с помощниками под прикрытием военной команды отнимал ребятишек у родителей. «Что тут было! — рассказывали очевидцы. — Женщины с криком и слезами валялись в ногах у полиции».

Герцен слушал — ему снова хотелось броситься в коляску и уехать... Уехать, не видеть, если нельзя стрелять. Да что стрелять! И рассказать некому об этом злодействе. Статистический комитет подобными сведениями не интересуется: дети, живые дети, матери и отцы, живые люди — это вам не количество домов в городе, не количество пожаров:

а) потушенных,

б) непотушенных,

не протяженность дорог... Это всего лишь человеческие судьбы. Что он может сделать, чтобы у родителей не отнимали детей? Чтобы по деревням дети не мерли от голода? Что он может сделать со взятками, вымогатель-

ствами, избиениями, усмирениями? Там крестьяне отказались сажать мерзлый картофель. Чиновник привез бумагу: сажать. На первый раз мужики откупились. Но высшее начальство настаивало: сажать. Они повиноваться отказались: мерзлую картошку сажай не сажай — толка не будет. Их выпороли. А они все равно отказались. Тогда их объявили бунтовщиками. Страшное слово, которое всегда доводит — и на этот раз довели — до военных команд и картечи, до убийств... Он, Герцен, хорошо понимает, что виноваты не мужики, виновато начальство, сгноившее картофель в каких-то центральных ямах. Он понимает это — ну и что ему делать с ясностью своего понимания? Что ему, образованному русскому человеку, что ему вообще делать в этой стране, чтобы не чувствовать себя всегда, постоянно виновным, соучастником злодеяний? И как!.. Смиренно переписывать бумаги? Собрать никому не нужные статистические сведения, которые уже через месяц пыльной грудой будут валяться где-нибудь в министерской канцелярии? Собрать бы сведения об усмирениях, порках, взятках — вот это было бы настоящее дело! Прокричать бы на всю Россию какое-то самое необходимое слово, изобличающее злодеев, — слово, нужное людям, как насущный хлеб. Какое оно? Где его найдешь, из каких сотворишь его звуков? Но если даже ты и найдешь это всесильное, разящее слово, ты сможешь произнести его только шепотом, только самому себе или, оглянувшись на стены, двум-трем друзьям. Даже Огареву в письме не мог бы он написать

это слово: письма читаются вездесущей цензурой.

Изучая в Москве иностранные книги, Герцен и его друзья натолкнулись на идею социализма; «сияющая идея», как отдаленная маящая надежда, и в ссылке не покидала Герцена; но ведь борьба за воплощение идеи — это прежде всего проповедь. А как проповедовать в царстве немоты? В стране молчащих? И что, собственно, проповедовать? Разве они успели закончить свои изыскания? И где его друзья, единомышленники — те, с кем вместе он вышел на поиски дороги? Ведь социализм — это далекое будущее, путь к нему надо прокладывать. А как?

Он один. Все далеко. И от Огарева — даже от Огарева! — чаще чем раз в полгода не дождешься вестей. Кому охота писать для глаз полицмейстера Цынского?

В Вятке Герцен начал сильно пить.

Пил он когда-то и в Москве — и с умилением и нежностью вспоминал он теперь в Вятке московские пиры. Как не похоже было московское счастливое пьянство на здешнее! Здесь пили, чтобы забыть самих себя, там — чтобы полнее, острее почувствовать себя, жизнь, друзей, чтобы подольше не расставаться друг с другом и с любимыми мыслями. На Никитской, в студенческой комнате Ника, в отсутствие отца, привольно было пировать товарищам без стариковского глаза. Сыр, жженка, шампанское вдовы Клико. Сброшенные скюртуки, догорающее пламя камина, и вспыхивающее бледно-лазоревым огнем таинственное море жженки. Самозабвенная бол-

товня, хохот, бутылки под столом, сигарный пепел на диване и сон вповалку на ковре. Если это и был пьяный разгул, то вместе с тем и разгул идей! Варили жженку, и, хлебнув обжигающей струи, Савич и Сазонов громче спорили о Бэконе Веруламском; Кетчер, взобравшись на стол, звонче читал Шиллера, чуть не до самой макушки поднимая брови в особо значительных местах; Герцен восторженнее восхвалял гений Петра, великого преобразователя России; Огарев, забыв обычную робость, читал только что сочиненные стихи. Пенилось не одно шампанское — пенились умы и души. Это было то вдохновенное винопийство в дружеском, умственно-деятельном круге, о котором писал, воспевая вино, их старший современник, Пушкин.

Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало,
А сколько шуток, и стихов,
И споров, и веселых снов!

«Вино, как паяльная трубка раздувало в длинную струю пламени воображение, — так вспоминал Герцен их юношеские пиры. — Идеи, анекдоты, лирические восторги, карикатуры крутились, вертелись в быстром вальсе, неслись сумасшедшим галопом».

Пир кончался поездкой в картинную галерею, на пир искусства, а потом походом к стенам Кремля и размышлениями об исторических судьбах России.

Не то в Вятке...

«Шум оргий, по привычке, может подчас меня развлечь, — писал Герцен из Вятки Наталии Александровне, — этот шум напоми-



дает мне пьянство юности, в котором грезились, как сквозь туман, видения высокие».

Не то в Вятке. Никаких высоких видений. У чиновников — какие же видения! Разве что пригрезится Анна на шее... Тут люди пили, чтобы забыться, и Герцен с ними. И пир кончался не картинной галереей в Архангельском, а сначала беспамьятством, а потом тяжелым похмельем: сознанием запятнанности, сознанием чего-то нечистого, что вошло в жизнь и запятнало душу. Чем же и когда он запятнал себя, в чем провинился? И сразу перед его глазами вставала канцелярия, чиновники, склоненные над столами, и просители — даже самая походка их выражала крайнюю степень приниженности — или полубезумный мужичонка-вотьяк, встреченный им по дороге, отец юноши, засеченного полицией, когда усмиряли картофельный бунт. От вчерашней водки мутило или от темного чувства вины? Он, что ли, Герцен, виноват во всем? Он не унижал просителей, он никого не убивал, никому не делал зла, он чтит память декабристов, восставших за народ... Да, но он молчит вместе со всеми и священную память мучеников чтит тоже тайком, молча... А иногда чье-нибудь вчерашнее восклицание на бале мучило и терзало утром как укор совести. «Коляска его превосходительства изволила въехать на мост...» Коляска — изволила! Какая низость!.. Все бросились к окнам, хозяин, заранее кланяясь и улыбаясь, в переднюю — встречать дорогого гостя. Чем же он, Герцен, виноват? Ведь он-то и не восклицал и не бросался... Он ни разу не склонил перед губернатором

не только спины — взора... Почему же ему стыдно вспомнить об этом бале?

Чем же он провинился? Верно, тем, что был с ними. Танцевал вместе с ними, ужинал вместе с ними, острил вместе с ними, слушал их сплетни, говорил с ними на их языке.

«Нельзя быть холодным зрителем ябед, клеветы, интриг», — жаловался Герцен в письме к Наташе.

Не только соучастником злодейств — нельзя быть холодным зрителем...

И случалось, что, проснувшись наутро и припомнив, чему ему довелось быть холодным зрителем вчера, Александр Иванович хватался за стакан.

Не шампанское, не вдова Клико. Водка — она всего оглушительнее.

3

«Тусклое и мрачное существование», «дикое варварство», «грубое невежество»...

И это напечатано в России, черным по белому, и он, ссыльный, читает это своими глазами, открыто, в Вятке, на виду у всех!

«В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу...»

Он не в силах был читать все подряд, он чуть ли не после каждой строки отрывался, чтобы перевести дух. И чтобы еще и еще раз заглянуть в конец... Не обнаружится ли подпись? Нет, ее нет... Кто же автор? Кто нашел слово, приподнимающее завесу над злодеяствами? Но сколько ни смотри — подписи под статьей нет. Вместо фамилии — одно место-



жительность и притом страннейшее: «Некрополис». По-латыни это означает: «Город мертвых».

Голос из города мертвых...

«Философическое письмо» Чаадаева, напечатанное в 1836 году в «Телескопе», явилось, безусловно, главным событием умственной жизни Герцена за время его ссылки. Напечатанное безыменно в журнале в виде философской статьи, оно было воспринято Герценом так, будто адресовано не сотням читателей, не читателям вообще, а ему лично, будто оно написано в ответ, навстречу его невысказанным, постоянно бродящим в душе тяжелым мыслям. О, он вовсе не был согласен с безыменным автором «Письма». Напротив — «Письмо» вызывало на спор, требовало

опровержения. Но написано оно было человеком страдающим, как и он, страдающим мыслью, задумавшимся над тем же, над чем думает он: над тем, что впоследствии Герцен назвал «сфинксовой задачей русской жизни». Город мертвых... Не чувствует ли себя он, Герцен, среди своих соотечественников тоже в городе мертвых — как, впрочем, все живые люди России?

Статья без подписи: «Философическое письмо» к даме, писанное по-французски и переведенное на русский язык. Герцен слишком мало знал Чаадаева до своей ссылки, чтобы угадать его авторство. Но что автор «Письма», кто бы он ни был, сильный и смелый мыслитель — это было им угадано сразу.

Чем глубже вчитывался Герцен в строки



«Письма», тем сильнее охватывало его странное двойное ощущение: и сочувствия и отталкивания одновременно. Те же чувства у него в сердце, что и у автора, да не те... Разве неизвестный автор не понимает под «городом мертвых» всю чиновничью, крепостническую, насильническую Русь? Да, это писал неведомый друг, который чувствует так же, как он. Чувствует — а мыслит? Нет, мыслит иначе. Он одиночувствитель, но не единомышленник. Не менее остро, чем Герцен, Огарев и друзья их, всеми порами кожи, ощущает он чудовищный гнет. Но выхода он не видит — и в отличие от них и не ищет... Событие, которое Герцен и Огарев считали величайшим в новой истории России, — восстание 14 декабря на площади Сената — ав-

тор «Письма» называет «огромным несчастьем, отбросившим Россию на полвека назад».

Автор видит действительность ясно, не скрывая ни от себя, ни от других ее мрачных черт. Однако странным, фантастическим светом освещены причины и следствия исторических событий, прошлое и настоящее страны. О будущем же нет и речи. Будущего, по мнению автора, у России просто не будет.

Причину всех бедствий России, причину причин ее отсталости по сравнению со странами Запада автор «Письма» увидел в том, что на Западе процветает католицизм, а в России — православие. Герцен не считал эту мысль убедительной. Но с глубокой бла-

годарностью к автору прочел он беспощадные строки, изображающие государственное устройство России. Да, это вам не «История» Карамзина, сочиненная обожателем самодержавия во славу царей! Это пропитанный горечью жестокий и правдивый рассказ о том, до чего доведена уродливым самодержавием несчастная родная страна.

...«Дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть»... Дух татарщины, то есть прямого, неприкрытого насилия, дух, который русские цари восприняли от татарских ханов, тот страшный дух, которым и в самом деле проникнута вся русская жизнь в общественном, государственном и семейном быту... невежество и насилие! и это автор осмелился высказать громко — не с глазу на глаз, не шепотом на ухо другу, а вслух, во всеуслышание, во весь голос. О русской истории, представленной Карамзиным в виде смены одного благостного и мудрого царя другим, мудрейшим, в «Письме» говорится:

«существование... которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства».

Разве это неправда? Сколько, в самом деле, злодейств, сколько злодеев и злодеек на троне и под сенью трона: Екатерина II, по чьему приказанию был убит ее муж; потом убит маленький Иван Антонович — в крепости, в ту минуту, когда Мирович пытался его освободить; потом казнен Мирович... Алек-

сандр I, благословивший убийство отца... А Бирон, злобный наперсник Анны Иоанновны, а Малюта Скуратов, а кнутабоец Шешковский... А ныне благополучно царствующий благочестивейший Николай Павлович, повесивший Рылеева и Пестеля, замучивший Сунгурова, Полежаева, сотни поляков... А сколько тайных, еще не вышедших на свет злодейств, совершаемых ежедневно во мраке застенков и канцелярий... А рабство? Помещики торгуют крестьянами оптом и в розницу. В разбивку продают семьи — сына в одну сторону, мать в другую... И в каждом помещичьем имении свой застенок, свои дворовые Аракчевы, Бироны и Малюты.

Таково наше прошлое и настоящее. Какое же будущее?

Автор «Письма» убежден, что его у нас нет, нет вовсе. Город мертвых — страна без будущего... Будущему, по его убеждению, и взятыя неоткуда: глядя кругом, вглядываясь в прошедшее, неведомый автор видит одну пустоту, немоту, призрачность — и в образованном обществе злоещее равнодушие к самим себе, к своей и чужой жизни:

«...равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи...»

«...мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке».

«...я спрашиваю вас, — грозно пишет автор, — где наши мудрецы, наши мыслители?



Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединять в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам Провидением. Больше того, оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас.

«...мы ничего не дали миру...»

Вот до какого неправого приговора может довести фанатизм, рожденный отчаянием! И это написать о стране, в которой был Ломоносов, был Петр Великий, живет и творит Пушкин! О стране, которая отразила нашествие Наполеона, вырастила декабристов, создала бессмертные народные песни. Которая вопреки всему в каждом поколении создает героев, свободолюбцев, ученых, поэтов! Нет, с этим мрачным приговором, вынесенным родной стране под диктовку отчаяния, ни на минуту не мог согласиться Герцен. Но он понимал, что рожден этот неправый приговор любовью к отечеству, горечью, страданием за него, скорбью. И чувствовал уважение к незведомому автору, способному так глубоко

оскорбляться — не за себя, за страну. Понимал он и великую пользу этого грозного обличения; его услышат все, кто в состоянии мыслить, кто еще жив в городе мертвых — в России, услышат — и задумаются над судьбами страны, над самими собой... Герцен воспринял «Письмо» неизвестного автора не как объективную истину, а как законный протест против уродливой русской действительности — первый мятеж после 14 декабря. Тот был поднят на площади, этот в журнале; тот был поднят во имя будущего, этот отрицал будущее, но тем не менее неистовством своего гнева служил ему...

«Заключение, к которому приходит Чаадаев, — писал впоследствии Герцен, — не выдерживает никакой критики, и не тем важно это письмо; свое значение оно сохраняет благодаря лиризму сурового негодования, которое потрясает душу и надолго оставляет ее под тяжелым впечатлением. Автора упрекали в жестокости, не она-то и является его наибольшей заслугой. Нас не надо щадить; мы слишком легко забываем свое положение, мы слишком привыкли развлекаться в тюремных стенах...»

Нет, Чаадаев не пощадил своих читателей. Он высказал им в лицо много горького.

«...Наши лучшие умы, — написал он, — страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя

в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта».

Вот они, слова, обращенные прямо к нему, к Герцену, ко всем его друзьям, ко всему поколению. Идеи, завещанные им декабристами, услышаны ими, восприняты... И что же? Разве они, воспринявшие, знают, как воплотить их в жизнь? Разве они не те же «заблудившиеся», о которых говорит автор? Идеи социализма тоже восприняты герценовским кругом. Но разве он и его товарищи развили их или применили? С первого шага, не сделав ровно ничего, угодили в ссылку — вот и вся деятельность...

Читая и перечитывая «Письмо» неведомого автора, Герцен не сомневался, что читают его сейчас и раздумывают над ним все мыслящие люди России. Сам же он прочитал его столько раз, что выучил почти наизусть. Кто же он, этот человек, живущий в столице великой страны и чувствующий себя на кладбище? До вятской глуши имя автора дошло только через несколько месяцев. Чаадаев! Тот самый, которого Герцен видел один раз, но, к сожалению, мельком, в памятный день взятия Огарева, на обеде, куда он отправился, чтобы повидаться с влиятельными людьми и побудить их хоть что-нибудь разузнать о Нике. Тот самый Чаадаев, друг Пушкина, которому Пушкин сказал:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!..

«Письмо» Чаадаева — это тоже порыв, посвященный отчизне, пусть отравленный желчью, но благородный порыв — к ней, за нее... Так вот кто автор «Письма» — Чаадаев! Тот самый, о котором в другом стихотворении Пушкина сказано: «он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а здесь он — офицер гусарской», — тот самый Чаадаев, который во всякой другой стране стал бы писателем, общественным деятелем, философом, а в Москве всего лишь светский чудак, посетитель салонов, пописывающий статейки, чтобы занять досуг, увлекающийся католицизмом, чтобы, не веря ни во что, хоть во что-нибудь верить.

Имя автора «Письма» дошло до Вятки вместе с поразительным известием. Ознакомившись со статьей, Николай приказал считать автора режнувшимся, безумным. Резолюция и предписания по делу Чаадаева ходили по рукам в перепуганной Москве — по всей вероятности, дошли они и до Вятки, до Герцена.

Цензор, который пропустил статью, посажен на гауптвахту и отставлен от должности.

Редактор журнала сослан в Усть-Сысольск. Гонения на мысль, расправа с печатью, ссылки литераторов — все это были меры привычные. «...Гнать мысль и слово — превратилось в болезнь, в мономанию», — сказал впоследствии о николаевском времени Герцен.



Но объявить писателя сумасшедшим — это было чрезвычайно даже для Николая. Говорили, будто, прочитав статью, Николай наложил следующую резолюцию: «Содержание этой — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного». Так Чаадаев стал умалишенным. В официальном предписании Чаадаев был назван достойным сожаления соотечественником, страдающим расстройством помешательством рассудка. Бумага была явно издевательская: объявлялось, что правительство в своей заботливости и отеческой попечительности предписывает Чаадаеву не выходить из дому, а местным властям — снабдить его даровым медицинским пособием. Видно, мало показалось насилия — потребовалось еще надругательство.

«А здесь он — офицер гусарской». Нет, Пушкин не предвидел случившегося; здесь Чаадаев городской сумасшедший, которого в отеческой попечительности своей правительство снабжает медицинским пособием... Даровым — какое великодушие! Какая низость!

Как ясно представлял себе Герцен почерк, историческим написаны эти резолюции: ровный, отчетливый и в то же время кудрявый — почерк «вопросов высочайше учрежденной комиссии», почерк казенной бумаги, почерк насилия...

Прослышав о каре, постигшей Чаадаева, Герцен еще раз перечел бережно сохраненную статью.

Мой друг, отчизне посвятим
 Души прекрасные порывы!..

Неужели Чаадаев прав и положение наше безнадежно — ибо страшный жребий обрушивается на всякого, кто посвящает отчизне высокие порывы души, кто осмеливается мыслить, да еще мыслить вслух?

4

«Предложить цензорам С. Петербургского цензурного комитета, — распорядился министр народного просвещения Уваров, — не позволять в других периодических изданиях ничего, относящегося к этой статье, ни в опровержение, ни в похвалу ее».

Циркуляр министра был показан цензорам. «Ни в опровержение, ни в похвалу...» Цензоры расписались — один под другим. Целый столбик фамилий выстроился на бумаге, и у каждой подписи свой росчерк — жирный, самоуверенный или робкий, тоненький, как мышинный хвост. Эти хвостатые росчерки — каждый! — были надежными шлагбаумами, которые опустила самодержавие перед ищущей истины мыслью. Чтобы привести к трезвому, здравому, исторически точному пониманию настоящего, прошлого и будущего страны, мысли этой требовался отзыв, отклик, столкновение на просторе с другими мыслями — тогда, очищенная спором от заблуждений, она принесла бы великую пользу. Верно ли, что в прошлом России одна темнота, бессмыслица, кровавая грязь? Не был ли Чаадаев, как впоследствии утверждал Чернышевский, введен в заблуждение невнятными показаниями летописей, тем низким уровнем, на котором находилась в его время историческая

наука? В оценке прошлого России передовые умы с Чаадаевым не согласились — и первым выразил свое несогласие Пушкин, его великий друг. Чаадаев послал Пушкину оттиск своей статьи. «Что же касается до нашей исторической ничтожности, — писал Чаадаеву Пушкин, — то я решительно не могу с вами согласиться». И он напомнил Чаадаеву о победоносной борьбе русских с монголами, борьбе, которая оградила Европу от вторжения татар; об единстве, к которому после героических усилий пришла страна, о Петре Великом, «который один есть целая всемирная история». «...Как, неужели все это... лишь бледный и полужабытый сон?» — восклицал Пушкин. И после порицания переходил к тому, в чем он был с автором безусловно согласен. «Поспорив с вами, — продолжал он, — я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и правде, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко». Да, Чаадаев высказал свою горькую мысль громко, вслух. Но правительство опустило перед нею шлагбаум; движение, проверка, развитие было грубо приостановлено; обсуждали ее не вслух, а шепотом, вкривь и вкось, клевета на нее и ее искажая; с тем циническим презрением к человеческому достоинству, о котором только что писал Пушкин, автор был объявлен

сумасшедшим, а статья его — оскорбление отечества; тот искони присущий самодержавию дух невежества и насилия, разоблачению которого, собственно, и посвящено «Письмо», еще раз одержал победу. Кара, постигшая Чаадаева, служила лучшим подтверждением его разоблачительных идей. Донос за доносом сыпался на статью и автора, лишенного возможности отвечать; у него сделали обыск и отобрали бумаги; один из доносителей писал, что «среди ужасов французской революции... подобного (этой статье!) не было видно». На очередном жандармском докладе о состоянии здоровья мнимого больного Николай написал: «Чаадаева продолжать считать умалишенным...» Продолжали; общество, подстрекаемое властью, продолжало, как по нотам, негодовать.

«Около месяца, — вспоминает мемуарист, — среди целой Москвы почти не было дома, в котором не говорили бы про чаадаевскую историю. Даже люди, никогда не занимавшиеся никаким литературным делом, круглые неучи, барыни, по степени интеллектуального развития мало разнившиеся от своих кухарок, подьячие и чиновники, потонувшие в казнокрадстве и взяточничестве, тупоумные, поседевшие и одичавшие в пьянстве, распутстве и суеверии, — все соединилось в одном общем вопле, вопле проклятия и презрения к человеку, дерзнувшему оскорбить Россию. Не было такого осла, который бы не считал за священный долг и приятную обязанность лягнуть копытом в спину льва историко-философской критики».



На знамени дикой монархии написано было: «Самодержавие, православие, народность». Объявляя Чаадаева сумасшедшим, Николай, Бенкендорф, митрополит Серафим, высшие гражданские и церковные чиновники, давшие сигнал к его травле, делали вид, будто они оскорблены не за себя — за Россию, за ее народ, «издревле преданный трону и церкви». Они притворялись оскорбленными за отечество и религию. Сами они знали одну религию — казнокрадство и одно отечество — двор. Не врага России почуяли они в Чаадаеве, а своего врага. И в этом они не ошиблись. Чаадаев ненавидел рабовладельческое барство, ненавидел православное духовенство, благословляющее крепостников. «Пусть скажет, — писал он о православной церкви, — почему она не возвысила материнского гомоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой?» «Он обзывал Аракчеева злодеем, — рассказывал о Чаадаеве один литератор, — высших властей, военных и гражданских, — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное коснеющим и пресмыкающимся в рабстве...» Все это доходило, разумеется, до ушей сановных холопов. Как же им было не ненавидеть его, не выдавать за изменника родины, оскорбителя ее святынь!

Со спокойным достоинством отвечал Чаадаев злодеям России, имевшим наглость вступаться за ее честь. Но ответ его волею цензуры был беззвучен; ни одно слово не проникло в печать.

«Больше, нежели кто-нибудь из вас, верьте мне, люблю я свое отечество, — отвечал Чаадаев своим клеветникам и хулителям, — горжусь его славой, умею ценить высокие достоинства моего народа; но правда и то, что патриотическое чувство, меня оживляющее, не совершенно одинаково с тем, крики которого разрушили спокойствие моей жизни... Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи; я думаю, что время слепых привязанностей миновалось, что ныне нашей родине мы прежде всего обязаны истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня его любить. Я не имею, признаюсь, того... ленивого патриотизма, который так улаживается, чтобы все видеть в розовом цвете».

Чаадаев не был революционером; доносчик, вычитавший у него в статье «ужасы французской революции», был попросту холуй и невежда. Чаадаев — мыслитель религиозный, по своим убеждениям — католик, мистик — осуждал единственную революционную попытку в России, совершившуюся на его веку, — восстание 14 декабря. Но он в самом деле не склонен был видеть действительность в розовом цвете; критическая мысль его была сильна, прозорлива, туман мистицизма, застилавший его взгляд, не мешал ему ясно видеть корень зла: крепостничество. Во втором своем «Письме», так и не дошедшем до печати, он, обращаясь к своей корреспондентке, писал: «...рабы, которые вам прислужи-

вают, — разве не они составляют окружающий вас воздух?.. борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит?» Герцен, не читавший этих строк, правильно угадал в их авторе человека близкого: крепостническое рабство Чаадаеву ненавистно было не в меньшей степени, чем ему самому, Герцену. Не с меньшей ясностью, чем Герцен, понимал Чаадаев, что рабство в России — это тот тлетворный воздух, который разлагает все умы, все сердца. «Все ветви администрации, — писал Чаадаев, — вручены подданным с колыбели... освоенным со всякого рода несправедливостью». «...сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели... Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, он не опротивел самому себе?»

«Постоянно думая одно и поступая по-другому...» Не опротиветь самому себе, живя в городе мертвых среди мертвецов, сочувствуя живым, погибающим от насилия и не вступая за них...

Не опротиветь самому себе. Как близка была бы эта мысль вятскому изгнаннику, если бы она дошла до него!

29 января 1837 года в Петербурге скончался смертельно раненный Дантесом Пушкин.

«Циничное презрение к человеческой мысли и достоинству», о котором он так недавно писал, убило его. Презрение власть имущих к уму, к гениальному дару, к славе и надежде России. Пушкин погиб, затравленный светской чернью — той самой, которая по распоряжению Николая, год назад объявила сумасшедшим автора прогневившей царя статьи.

В герценовских письмах, сохранившихся до нашего времени, о гибели Пушкина никаких упоминаний нет. Чем это объясняется? Можно предположить, тем, что многие из них были уничтожены. По-видимому, герценовские письма о гибели Пушкина обладали опасным накалом и потому адресаты не решались хранить их. Для Герцена, с детства благоговейно и восторженно повторявшего каждый пушкинский стих, смолоду преклонявшегося перед Пушкиным — великим поэтом, Пушкиным — другом декабристов, утрата воистину была велика. Нет сомнения также, что горе его было по-лермонтовски непримиримым, бурным.

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..

Нет сомнения также и в том, что, оплакивая поэта, вятский ссыльный не раз вспоминал мрачное, мстящее за страшные судьбы русских людей «Письмо» Чаадаева.



Неужели Чаадаев прав и у России нет будущего, потому что уродливая русская жизнь калечит и убивает каждого, кто осмеливается поднять голову выше толпы?

В Вятке Герцен познакомился и близко сошелся с ссыльным архитектором Витбергом. Еще одна искалеченная судьба! Александр Лаврентьевич Витберг был замечательный зодчий, создавший проект храма Христа-спасителя в честь победы России над Наполеоном. По предложению Витберга, утвержденному Александром I, храм этот должен был быть воздвигнут на столь памятном для Герцена месте — на Воробьевых горах. Да, взбегая, бывало, с Ником на заветную гору, они обычно переводили дух как раз на том месте, где сквозь высокую траву белели камни закладки. «Витбергов храм», — говорили они, ничего не зная толком ни об архитекторе, ни о будущем храме, лишь смутно припоминая разговоры взрослых о безвестном ученике Академии художеств, который в один день сделался любимцем царя. Говорили, что начал он с живописи и начал успешно: получил золотую медаль и на средства Академии должен был ехать в Италию. Но он от всего отказался — от выгодных заказов, от поездки, жил в бедности, лелеял одну мечту: изучить архитектуру и возвести храм в честь 1812 года. Говорили, будто князь Голицын, министр, покровительствовал ему, будто Александр полюбил его, но Аракчеев — тут голоса понижались до шепота — слыхнул Голицына и погубил молодого художника.

Так шептались взрослые, когда Саша и Ник были мальчиками. И вот теперь тот самый Витберг, Витберг Воробьевых гор, здесь — в заваленной снегом Вятке. Он опозорен и сослан, а храм его не будет построен. Это старик с суровой сединой, с измученными глазами и торжественной речью.

Чаадаева, замечательного мыслителя, Николай приказал объявить сумасшедшим. Пушкина, величайшего из поэтов, Николай нарядил в камер-юнкерский мундир, ожидая от него придворных стихов, — и кому же неизвестно, что николаевский двор был соучастником в убийстве поэта? Замечательный зодчий Витберг, фанатически влюбленный в свой проект, пренебрегший ради него материальными благами, был объявлен казнокрадом, вором, лишен куска хлеба и отправлен в ссылку. Да что хлеб! Он был лишен надежды увидеть свое творение воплощенным.

Так вместе с гибнущим в рабстве народом гибла, уничтожаемая произволом, и русская интеллигенция. На всех поприщах выдвигала Россия людей талантливых, самоотверженных, преданных своему делу, но ненавидящая творчество, по-солдатски бессмысленная власть самодержавного строя оказывалась сильнее их гения, их самоотверженности, их воли. Они погибали, и с ними вместе погибали их замыслы. С горьким интересом вглядывался в эти неумолимые и разнообразные гибели, тоже отторгнутый самодержавием от своего прямого назначения, молодой дворянский интеллигент Герцен. И потому в «Письме» Чаадаева услышал он знакомый, родст-

венный, трагический звук. Оно было про то же — про главное. Пусть ни слова в нем не было про детей, которых ведут в казарму, про ссыльных, гремящих цепями по Владимирке, про него самого, не ведающего, как ему жить: все равно — оно было про то же. Про гнет. Про гибель. Про ужас окружающей жизни.

Печальная судьба Витберга свидетельствовала о том же: о наглости, с какой самодержавие попирает человеческое достоинство и талант.

Витберг прибыл в Вятку на полгода позже Герцена. Несмотря на разницу лет и политических воззрений, они быстро сблизились и сильно привязались друг к другу. Они даже поселились в одном доме, чтобы видаться постоянно.

«Вятка скучна, — писал Герцен Наташе, — но благословляю судьбу, бросившую меня сюда; встреча с Витбергом выкупает половину неприятностей разлуки».

Герцена пленяла твердость, с какой художник, опозоренный, живущий с большой семьей в крайней бедности, переносил свое несчастье. Его трогала стойкость, с какой Витберг, не склоняя головы, посылал в Петербург письмо за письмом, требуя пересмотра дела и восстановления своей чести. И более всего трогала преданность художника своему загубленному проекту, своему невозведенному храму, своей невоплощенной мечте.

«Великий человек, — писал о Витберге Наташе Герцен, — великий художник, испытывавший верх славы и верх несчастья, видевший

почти исполненную свою гигантскую мечту и плакавший на развалинах ее. Этот человек остался тверд и прям».

12 октября 1817 года при огромном стечении народа, в присутствии высшего духовенства и всей царской фамилии, император Александр I заложил на Воробьевых горах храм во имя Христа-спасителя, в честь победы России над Наполеоном. Храм, созданный воображением Витберга, должен был в камне воплотить величие этой победы. «Россия, — говорил Витберг, поясняя свой замысел, — мощное, обширное государство, столь сильно явившееся в мире, не имеет ни одного памятника, который был бы соответственен ее высоте». Самое место, выбранное Витбергом, было выбрано с большим историческим и художественным чутьем: он выбрал гору, которой город служил как бы подножием, — гору, от которой начал свое отступление сломленный Москвой Наполеон. Построение храма возложено было на целую комиссию — в нее вошли и митрополит и военный генерал-губернатор, но директором постройки назначен был создатель проекта, Витберг. Молодой архитектор был влюблен в свой проект — это, а пуще всего его религиозность расположили к нему царя. Александр I вполне доверился Витбергу. Приготовления к постройке начались. По приказу царя казноу уже были отпущены деньги; на эти деньги комиссия уже начала покупать каменоломни и земли. И Витберг, каждый день поднимавшийся на то место, где рукою царя был заложен храм, наблюдавший, как исследуют там почву,



как связят туда камень, уже прозревал воочию будущие стены, колонны, окна, купола; он видел барельефы, изображающие слазные победы русских воинов, видел сквозную чужиную колоннаду, обнимающую храм, и кольцеобразно расположенные статуи, и сверкающие имена доблестных полководцев, высеченные на стенах, и купола, уходящие в небо. Нетерпеливыми глазами любви видел он то, чего еще не было, — храм, выросший из его чертежей над Москвой-рекой, но совершенно не видел того, что в действительности кишело вокруг. Он не видел, не понимал, что его покровитель, обер-прокурор Святейшего синода, а потом министр просвещения князь Александр Николаевич Голицын, попросту ловкий царедворец, делающий карьеру на пристрастии царя к мистицизму и только прикидывающийся покровителем наук и искусства; не видел, что люди, расточающие вслед за царем и министром похвалы его проекту, — попросту придворные хищники. Наметанным глазом ловких интриганов они поняли его гораздо лучше, чем он их. Они поняли, что наживаться вместе с ними на постройке он не станет, да еще и им помешает, что участвовать в борьбе придворных партий он тоже не будет и что, в сущности говоря, несмотря на благоволение царя, он беззащитен. Где было уцелеть ему, его проекту и его честному имени, когда вокруг кипела борьба между титанами интриганства: Аракчеевым, с одной стороны, и Голицыным — с другой? Кто будет правой рукой, первым, главным фаворитом царя? В борьбе придвор-

ных партий участвовали митрополиты, губернаторы, фрейлины, крупные и мелкие плуты, «принимающие Россию за аферу, — как впоследствии писал о них Герцен, — службу за выгодную сделку, место — за счастливый случай нажиться».

Им было не до идеи витберговского храма: одна его часть, по замыслу зодчего, должна соответствовать духу человеческому, вторая — душе, третья — телу, а весь вместе храм должен служить памятником великой победы народа над врагом. Религиозные, патристические, художественные идеи Витберга не занимали их; у них были свои неизменные идеи: нажива и власть. Считая художника Голицынским ставленником, приспешники Аракчеева строчили на него донос за доносом: он надерзил митрополиту, он забылся перед губернатором, у него на постройке подрядчики воруют материал... Они добились того, что постройка храма перешла в ведение Аракчеева; придравшись к формальному нарушению каких-то установленных правил, Аракчев, чиновник из чиновников, формалист из формалистов, злодей из злодеев, отдал художника под суд. Постройка храма была остановлена.

Умер Александр, и на престол взошел Николай. От этой перемены подсудимому, разумеется, не стало лучше. Следствие тянулось десять лет и окончилось осуждением. И вот он, верноподданный, христианин, мистик, личный друг покойного императора — обеспеченный, преданный, оклеветанный, нищий, — он здесь, в Вятке, такой же ссыльный, как

повстанцы-поляки или вольнодумец Герцен. И единственное богатство, бережно сохраненное им, — чертежи, проекты храма, который некому строить. Витберг продолжал разрабатывать свой проект, находясь под следствием, продолжал и в Вятке. Каждое утро, запираясь в своей комнате, он перебирал, обдумывал, перечерчивал заново свои чертежи. Он знал, что проживет недолго, и хотел оставить свое создание в дар будущим людям во всей открывшейся ему красоте... Расположить ли у главного входа отобранные у неприятеля пушки или лучше два обелиска? Целую ночь делал он набросок с обелиска, чтобы утром и новое свое создание положить в тот же гроб — в папку.

«...Бедность, нужда — давит, — писал Герцен Наташе о Витберге, — огромное семейство — давит, а мысль необъятная, которую убили при рождении, — давит больше всего прочего».

«...мысль, убитая при рождении...» Убитая мысль давит, но человек жив и вопреки гонениям продолжает служить тому, что он почитает истиной. Нет, думал Герцен, Чаадаев не прав, страна, создающая таких людей, не может быть лишена будущего. Наш долг запечатлевать их судьбы, как церковь запечатлевает, хранит и выставляет людям для примера жития своих святых и пророков. И Герцен настоял, чтобы Витберг начал диктовать ему записки. При тусклых свечах, пустыми вятскими вечерами, за тем же столом, на котором белели чертежи, Герцен под диктовку Витберга записывал его историю.

Важно, медленно повествовал Витберг; быстро, торопливо набрасывал на бумагу его рассказ Герцен. Вернувшись к себе в комнату, он приводил в порядок записанное, а на следующий вечер снова приступал с вопросами к старику. Он старался запечатлеть не только факты и мысли, но и самый стиль — тяжеловесный, торжественный, сложившийся в XVIII веке. Этим слогом изъяснялся его отец, писали его дядюшки. Он же, Герцен, вносил в повествование Витберга столь свойственную ему в ту пору восторженную приподнятость слога.

Вот Витберг юношей увидел Кремль:

«Рожденный в Петербурге, на плоском месте, взошедши в Кремль, я был поражен красотой его положения, величием вида, раскрывающего полгорода». Маковки храмов на горе над рекой — как дивно передают они величие! Это было в 1813 году, Москва была сожжена и пуста, и Кремль, по выражению Витберга — или Герцена? — царил над развалинами города — «один уцелевший среди гибели памятник древних несчастий, один, перенесший и этот удар».

С одушевлением записывал Герцен рассказ о Кремле; Кремль он любил с детства. Сначала Витберг хотел воздвигнуть новый храм там же, среди кремлевских соборов:

«И самые два взрыва, сделанные в стене, казались мне превосходнейшими местами для учреждения двух великолепных входов в храм...»

Но потом он отказался от этого плана. Поставить храм на далекой горе, водрузить его



как корону, венчающую великий город, — эта мысль прельстила его.

А вот торжественнейшая минута жизни Витберга: он объясняет свой проект тому, от кого будет зависеть, осуществится ли постройка или останется в одних чертежах, на бумаге... В доме князя Голицына он докладывает свой проект Александру.

«Александр слушал с необычайным вниманием, часто глядя мне в глаза. Остерегался прерывать мою речь и тогда только спрашивал повторения, когда недослышал чего. Переспрашивая что-то, государь указывал рукою на плане; пламенно объясняя, я сдвинул руку императора и был до того увлечен, что даже забыл извиниться и впоследствии уже догадался о несообразности сего действия. Пред окончанием я заметил слезу на глазах Александра. — Цари редко плачут! Вот была полная награда для меня, которую нельзя променять на ордена и отличия».

Лицемерил ли, по своему обыкновению, Александр? Или в самом деле был увлечен и тронут? Но как бы то ни было, его доверие и его слеза не спасли ни Витберга, ни его проект.

И Витберг, понурившись, пускался излагать молодому другу историю грязной интриги, погубившей его. Герцен писал. Иногда, чтобы отвлекать старика, он уводил его к другим воспоминаниям. Интересуясь, кроме зодчества и живописи, механикой, Витберг в 1809 году изобрел особого устройства цепной мост, считая, что идея его «весьма полезно может быть употреблена для моста через Неву».

Принцип постройки, по признанию механиков и физиков, был удачен, но необходимы были, кроме вычислений, предварительные опыты. «Я не знал, какую тяжесть могла поднимать цепь в середине, и даже, может ли она выдержать свою собственную тяжесть». «Опыты же по сему, должны были сопряжены быть с значительными тратами». Денег Витбергу никто не дал. «Таким образом, труд мой остановился».

Проект витбергового моста так же не был осуществлен, как впоследствии проект его храма. Впрочем, изобретенный им мост построен все-таки был — только не в России, а в Англии, не на реке Неве, а на реке Менам.

«Досадно, что не нашему отечеству принадлежит честь этих мостов!» — с горечью восклицал, рассказывая об этом Герцену, Витберг.

«...английский архитектор Тельфорт... предложил правительству построение такого моста, но как правительство не хотело жертвовать капитал на неверный успех, то тотчас сыскалась компания, которая сделала все возможные опыты, которые доставили все нужные результаты, после чего правительство решилось на построение этого моста».

И мост был построен. Но не у нас. Не в России. В России, отсталой, полуфеодальной России, такой компании, разумеется, не сыскалось.

«Вот доказательство, — быстро писал Герцен навстречу собственным мыслям, — что в нашем отечестве являются часто идеи

гениальные; но, не имея поддержки ни от правительства, ни от общества, должны или гибнуть прежде рождения, или затеряться в тьме подъяческих форм и происков».

...Неужели Чаадаев прав и в этой несчастной стране всегда будут погибать и люди, и мосты, и творения искусства? Герцен не желал в это верить. Не о гибели, о грядущем расцвете внятно говорили ему и стих Пушкина, и песни бурлаков, и их могучие плечи, и открытое, умное, смелое лицо того крестьянина, который спас их на Волге... Разве мало у нас героев: Рылеев, Муравьев, Пестель... Самозабвенных художников — Витберг...

Но Пушкин убит, а Пестель повешен, а Витберг сослан, и тот крестьянин, который не поборялся в бурю на ветхой лодчонке подплыть к тонущим и выручить их, — он в рабстве у барина... Неужели Чаадаев прав — и выхода нет никому?

6

«Ближе узнал Русь», — писал Герцен из ссылки московским друзьям.

«Ближе узнал самого себя» — можно было бы к этому добавить.

«Опыт — дело важное».

Вдали от родительского дома, от узкого круга приятелей, живя в кругу чужом и чуждом, Герцен испытал себя и ближе узнал силу и слабость своего характера, свое сердце, себя самого.

Как это бывает всегда, ближе познакомиться с самим собой ему помогла любовь.

В Вятке, за полторы тысячи верст от Мо-

сквы, Герцен понял, что любит Наташу. Он уехал, уже чувствуя смутно, что в жизнь его после встречи на кладбище вошло что-то новое и властное, но долго не сознавал могущества этой новой власти. Даже свидание в Крутицах, куда Луиза Ивановна привезла Наташу проститься, — свидание, еще сильнее сблизившее обоих, — не окончательно вразумило его насчет собственных чувств. «Я любил тебя уже страстно, все еще не отдавая себе отчета», — писал он Наташе об этом прощании впоследствии. Наташа и Луиза Ивановна провели три часа в камере узника. Сначала шел пустяковый разговор о весенней распутице, о вещах в дорогу. Но как тогда, на кладбище, Герцена под внимательно-слушающим взглядом тянуло говорить о самом важном: о своей судьбе, о будущем, о себе, о ней... Не о пустяках, не о баулах и корзинках. В этом разговоре себя, свой бурный характер он сравнил с ракетой, а Наташу — с голубем. Протянув ему руку на прощание, Наташа, борясь со слезами, попросила писать ей... непременно писать... «Так участь голубя, привязанного к ракете, не пугает тебя?» — полшутя, полсерьезно спросил у нее тогда Александр. «Нет, — ответила Наташа, — с тобой я не боюсь любой участи».

Долго повторял он эти слова, когда закрылась дверь за ней и за матерью... «С тобой я не боюсь любой участи».

«Девятое апреля было венчанье наших душ», — так писал Герцен Наташе об этом прощании потом, и с того дня они много лет ежегодно праздновали две даты, две встречи:



20 мая 1834 года на кладбище и 9 апреля 1835 года в Крутицах.

10 апреля, когда до отъезда из Москвы оставались часы, а вот уже и всего лишь минуты, Наташе, а не Людмиле Пассек, в которую Герцен так долго считал себя влюбленным, написал Александр Иванович последнюю записку.

«За несколько часов до отъезда, я еще пишу, и пишу к тебе; к тебе будет последний звук отъезжающего... Когда же мы увидимся? Где? Все это темно, но ярко воспоминание твоей дружбы, изгнанник никогда не забудет свою прелестную сестру... Может быть... Но окончить нельзя, за мною пришли».

«...Это «может быть» было первым пророчеством нашей любви», — писала потом, уже когда все между ними было решено и названо, Наташа. «Это «может быть» было дверью, за которой душа чувствовала, что есть... блаженство непостижимое... что за этой дверью ее Александр, но она еще не отворялась до конца 35 года».

Да, только в октябре 1835 года, только через шесть месяцев после прощания в Крутицах, «отворилась» «дверь» и Герцен начал понимать свое чувство. Догадавшись об истине, он испугался и, удивляясь самому себе, написал:

«...я сделаю вопрос страшный. Оттого, что я теперь в сию минуту безумный, иначе он не сорвался бы у меня с языка. Верись ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, одна дружба? Ве-

ришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, одна дружба?»

Наташу не испугал ни герценовский вопрос, ни собственный ответ. Герцену вопрос показался страшным потому, что он уже знал увлечения и разочарования. У него уже были поводы для упреков самому себе. Наташа никогда не испытывала ничего, кроме стойкой и преданной любви к нему, к Герцену. Не испытав ни сомнений, ни искушений, ни разочарований, она ничего и не боялась — ни в себе, ни в нем. Она давно уже понимала, что любит Сашу, Александра, Alexandr, и с полным простодушием и откровенностью так и ответила на его вопрос: «На земле у меня нет существа, драгоценнее тебя, я люблю тебя более всех на свете». Ему же, в ясности чувства отставшему от нее, осознать свою любовь к ней помогла разлука, помогла переписка, и, как это ни странно, связь с другой женщиной: в Вятке он сблизился с Прасковьей Петровной Медведевой.

В этом романе все сложилось поначалу вполне естественно и вполне банально. Он был молодой человек из хорошего дома, благовоспитанный, красноречивый, пылкий. Она молодая жена старого мужа, скучающая, разочарованная. К тому же она была красивая. К тому же она была не здешняя, не вятская, и гораздо образованнее местных вятских дам. К тому же она поселилась во флигеле того самого дома, в котором жил Герцен, и они ежедневно и неизбежно встречались в саду. Герцен начал ухаживать за ней долею от скуки, долею из тщеславия: соседи уверяли, буд-



то Прасковья Петровна ни на кого и взглянуть не хочет — как же было не испытать на ней свои силы?

«...а признаюсь, здесь есть одна дама,—писал Герцен друзьям, — умна, красавица, прелесть, образованна, и... у ней муж старик, и у того старика нога болит».

Прасковья Петровна рисовала очень мило и принялась писать портрет Александра Ивановича; свидания и в присутствии и в отсутствие мужа становились все чаще.

«...играю в карты,—писал Герцен Наташе,—очень неудачно, — и куртизирую кой-кому гораздо удачнее. Здесь мне большой шаг над всеми кавалерами, кто же не воспользуется таким случаем? Впрочем, шутки в сторону, здесь есть одна премиленькая дама, а муж

ее больной старик; она сама здесь чужая, и в ней что-то томное, милое, словом, довольно имеет качеств, чтоб быть героиней маленького романа в Вятке...»

Прасковья Петровна ответила на ухаживанья Герцена страстной привязанностью. Месяца полтора длился «запой любви». В этом запое Герцен не замечал — не хотел замечать — исходящего от милых рук Полины — Прасковьи Петровны — легкого, едва уловимого запаха мази, которой она ежевечерне смазывала рану на ноге у больного. Это был запах лжи, лицемерия, обмана. Обманывать больного, который прикован к постели, — как это нетрудно и как это гнусно! Сначала Александр гнал от себя едкие мысли. Каждый вечер, солгав камердинеру, будто он то-

ропится к приятелю на «винтик», стоять в темноте за сараем, в измененном тьмою саду, курить, курить, пугаться каждого шороха и ждать, пока в спальней у старика погаснет свеча: значит, наконец, втирания, примочки, компрессы окончены и Полина, сказав мужу, будто она торопится взглянуть на детей, сейчас через гостиную пройдет в свой маленький кабинет. Тогда пора и ему бросать сигару и идти. Мимо кухарки и нянюшки на кухне, мимо горничной в гостиной, спрятав глаза от их укоризненных взглядов и напуская на себя небрежный и независимый вид... Запах мази от Полининых рук — аромат самого предательства. Добро бы еще он в самом деле любил ее... Запой шел на убыль, Александр чувствовал это, но вечером его тянуло остаться дома... Идти ли? Но Полина ждала, и он шел — и обманывал уже не только мужа. Он сам дивился своему холоду: Полина, бесспорно, была и умна, и мила, и сердечна; она отогрела его в вятском одиночестве, но... он сам не понимал сначала, какое «но» возникло и росло с каждым днем. Больной старик? Нет, не это. Не только это. Скоро он догадался, что с его стороны это была всего лишь минутная шалость, отдых от канцелярских дрызг, «маленький роман», не превратившийся в большую любовь, а для нее, на беду, не шалость и не отдых, а счастье или несчастье, жизнь. Она в большей степени, чем он, имела право на обман; обманом она защищала не интригу, не шалость: она любила. Замуж она была выдана пятнадцатилетней девочкой и теперь полюби-

ла впервые — его, Герцена. Чувствуя себя виноватым, Герцен всячески натягивал нежность — обстоятельства скоро доказали и ей и ему, что натяжкой не заменишь чувства. Муж Медведевой внезапно скончался. Скрываться и лгать больше не было нужды! Прелятствия к браку отпали, унижение окончилось. И тут обоим сделалось ясно, что для их счастья существует одно-единственное препятствие, и притом неодолимое: холодность Герцена. Он ревностно хлопотал в тяжелые дни похорон; он перевез ее вместе с детьми к Витбергу, чтобы спасти от Тюфяева, который начинал преследовать своими ухаживаниями хорошенькую вдовушку, видя ее беззащитность и бедность; да, Герцен жалел ее и ее детей и на многое для них был готов, но сердечный интерес к «героине маленького романа» был исчерпан; он и подумать не мог о соединении с ней на всю жизнь. Исследуя свое сердце, он постепенно понял, что у холодности к милой соседке существует точное имя: зовут ее — Наталия Александровна, Наташа, сестра, в письмах к которой он подписывался: «твой брат Ал. Герцен».

За время разлуки с Москвой Герцен уяснил себе, что только и есть у него на всем свете два близких человека: Огарев и Наташа. «Ты и он, — писал Герцен Наташе, — понимаешь ли это раздвоение самого меня, в тебе и в нем часть моей души». При этом он находил, что между письмами Огарева и Наташиными существует удивительное сходство. Но Наташины оказывали на него какое-то особое действие. Один вид этого четкого, ясно-



го, изящного почерка вызывал в нем душевный трепет. С трепетом вскрывал он конверт — и как-то странно успокаивался, прочитав четко написанную страницу. В Наташиных письмах была устойчивость, твердость, из них струился покой однажды и навсегда принятого решения, тот покой, которого самому ему, он чувствовал, так сильно недоставало в Вятке.

«Твои записки на меня имеют дивное, страшное влияние... — писал он Наталии Александровне в самом начале ссылки. — Ими я возобновляю в памяти всю юность... О, Наташа, Наташа, да, ты сестра моя, ты самая близкая родная моей души... Но зачем же я падаю!.. Ссылка томит, я падаю.

Наташа, друг мой!

Прощай».

Герцен был влюблен в Людмилу Пассек, потом в Полину — Прасковью Петровну Медведеву; в первые месяцы жизни в Вятке, не в силах справиться с тоской, не раз бросался, как писал он друзьям, в «вакханалии», предаваясь «восточной неге». А у Наташи не было ни искушений, ни сомнений; дорога ее чувств была пряма; с отрочества, чуть ли не с детства, она поняла, что любит Сашу Герцена, только его одного — и навсегда. Одинокая, заброшенная девочка, «незаконная дочь», сирота, взятая в дом княгини Хованской из милости, всем чужая и всеми пренебрегаемая в этом богатом, спесивом и недобром доме, она придумала себе предмет для поклонения — двоюродного брата, Сашу Герцена, наделила его всеми

добродетелями, существующими и несуществующими, всем, что только было противоположного окружающему ее бездушию, и поклонялась ему тайно и страстно. Княгиня Мария Алексеевна и за ней все приживалки терпеть не могли Александра (которого невесть почему и зачем так баловал брат Иван). Мальчишка дерзил, своевольничал, забывался. («Напрасно, напрасно Иван Алексеевич обучал его всем наукам. Наберется идей, возомнит... Схвачен? Сидит в части? Я же говорила вам, братец».) Неприязнь княгини к Александру еще усиливала Наташино восхищение.

«Как в лесу, пойманный зверек. Кругом старое, дурное, холодное, мертвое, ложное... — так уже взрослой женщиной писала Наталия Александровна о своем детстве. — Воспитанье началось с того, что меня убедили в стыде моего рожденья, моего существованья, вследствие этого — отчужденье от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращенье от их участия, углубленье в самое себя...»

А кузен Саша был к ней добр, иногда даже приносил ей книги, советуя прочесть ту или другую, особенно ему полюбившуюся. Отмечая для Наташи отрывки и главы, он всегда торопился — ему не до нее, он взрослый, он образованный, он живет какой-то своей жизнью, непонятной и ослепительной, такой непохожей на ту, какую вынуждена влачить Наташа. У него друзья, товарищи, университет, книги; у него отец и мать; он любит прекрасную и образованную Людмилу Пассек

и всегда торопится к ней. Еще был Людмила пишет стихи... А Наташа... А Наташа одна в пустыне, учат ее мельком, чему попало и как попало, до всего она должна доходить сама.

В наброске своей автобиографии Наталия Александровна через много лет вспоминала: «...Александр. Чтение уроков урывками. Стыд моего невежества. Евангелье. Боготворение природы. Увеличение симпатии к Александру. Его взятие. Боготворение Александра...»

Слово «боготворение» тут недаром. Из возлюбленного Наталия Александровна действительно сотворила себе божество. В детстве и юности она была страстно религиозна — религия утешала ее, защищала от повседневных унижений, от позолоченной грязи княгининого дома. Молилась Наташа не «по-ихнему», не в церкви — и церковь в ее глазах была омрачена их лицемерием, их ложью, — а одна или вместе со своей подругой, крепостной девочкой Сашей — молилась не на иконы, а на небо, по ночам. В Наташином характере совмещались твердость со страстностью, сдержанность, кротость и мягкость с непреклонной волей. За ее нежным личиком и тихим голосом крылись целеустремленность, властность, даже фанатизм. И всю свою кротость и все свое упорство Наташа внесла в любовь к Александру. Она уверовала в него, как в Христа; по ночам она молилась о нем и ему; вопреки слухам о Людмиле, а потом письмам о Медведевой она уверовала, что ее и Александра еще до рождения

обручил сам бог — и этой верой заразила и увлекла своего двоюродного брата.

В молодые годы Герцен не чуждался религии. Он несколько раз заново открывал для себя христианство. «Я теперь пристально занимаюсь христианством, — писал он Огареву в августе 1833 года. — Огарев, с каким стыдом должны мы думать, что доселе не знали Христа! Какая высота, особенно в посланиях Павла!» Но, открывая для себя религию, Герцен обычно недолго оставался подвластным ей. Здравость, трезвость природы брали верх — в занятиях философией, в изучении естествознания или проповеди учеников Сен-Симона он искал не мистического, не сверхъестественного, а реального объяснения мира. Недаром он порицал сен-симонистов именно за то, что они превратились в религиозную секту. Однако в Вятке, оторванный от прежних друзей, от книг, от постоянных умственных занятий, сблизившись с Витбергом, вдохновенным христианином и мистиком, подружившись в письмах с восторженно верующей в Христа и провидение Наташей, Герцен снова дал себя увлечь возвышенному потоку мистицизма. В письмах к Наташе он заговорил языком, прежде чуждым ему, а для его корреспондентки привычным: воля «Отца», воля провидения. «Там», серафим, ангел... Наташина религиозная экзальтация сливалась для него с ее любовью к нему — и не скоро их любовь, явившаяся, по уверениям Наташи, как божественное предопределение, как знамение свыше, освободилась в его сознании от религиозного наряда. «Вместе с любовью я вы-



учился молитве, так, как ты от молитвы перешла к любви», — писал Герцен Наталии Александровне. «...я переплавлен тобою в другую форму... — писал он ей позже. — Религиозность твоей любви — вот что имело такое влияние...» Обоих тешила и вдохновляла мысль, что не только сами они избрали и полюбили друг друга, как обыкновенные люди, но что выбор их был совершен по воле провидения, и, глядя назад, они тщательно выискивали и на все лады перебирали приметы этой радостной предопределенности, возвышающей их над всеми людьми на свете.

Любить Герцена обозначало для Наташи повиноваться божьей воле. Воля эта явственно виделась ей всюду, во всем. Недаром отец, умирая, благословил ее не какой-нибудь другой иконой, а образом святого Александра. И вот Александр — ее нареченный. «Любовь моя не родилась... уже на земле, нет; я была рождена с нею, я принесла ее в мир с собой, она существовала до рождения моего», — писала Наташа. И многое в их жизни оказывалось недаром. «Вообрази, мой друг, мы родились с тобой в одном доме, в одной церкви, говорят, крещены, может, в одной купели». «Сам бог обручил наши души, он создал нас друг для друга, и если здесь нам суждена разлука, там, мой друг, нам вечное соединение, — там, в отчизне!» «Там» — это было на небе. Но и земля светла для Наталии Александровны. Герцен ее спаситель, ее хранитель с детства. «Не правда ли, Саша, я создана только для того, чтоб любить

тебя?» «...ты мне послан богом... душа моя — отголосок твоей души».

Переписка Герцена с Наталией Александровной — гимны влюбленных во славу любви и друг друга.

«Я удручен счастьем, моя слабая, земная грудь едва в состоянии перенести все блаженство, весь рай, которым даришь меня ты, — писал Герцен Наталии Александровне после того, как она подтвердила ему догадку, что чувство, связывающее их, не дружба — любовь. — Я тебя люблю, Natalie, люблю ужасно, сильно, насколько душа моя может любить. Ты выполнила мой идеал, ты забежала требованиям моей души. Нам нельзя не любить друг друга. Да, наши души обручены, да будут и жизни наши слиты вместе. Вот тебе моя рука — она твоя. Вот тебе моя клятва, — ее не нарушит ни время, ни обстоятельства. Все мои желания, думал я в иные минуты грусти, несбыточны; где найду я это существо, о котором иногда болит душа, такие существа бывают создания поэтов, а не между людей. И возле меня, вблизи, расцвело существо, говорю без увеличений, превзошедшее изящностью самую мечту, и это существо меня любит, это существо ты, мой ангел». «Душа вянет без тебя; ежели во мне еще так много дурного — это оттого, что нет тебя со мною: прикосновение ангела очищает человека. Твои письма разбудили меня, когда я, забывши себя, или, лучше сказать, искавши средств забыть себя, падал; твоя любовь может одна поддержать меня выше людей. Ты плакала, читая, что любовь сделалась нрав-

ственным началом моего бытия; непрерывно я испытываю справедливость сих слов. Лишь только что-нибудь мелкое, порочное навернется на ум, как вдруг мысль о твоей любви осветит душу — и порочное, мелкое исчезает при свете ее. О, Наташа, верь, провидение послало тебя мне. Мои страсти буйны, что могло бы удерживать их? Любовь женщины — нет, я это испытал. Любовь ангела, любовь существа небесного, твоя любовь токмо может направлять меня».

Воспевая Наташу, Герцен сравнивал ее с утренней звездой, с Беатриче, с «Девой чужбины» Шиллера, с белой лилией, с серафимом, с божьим ангелом — существом высшим, чье величие, чистота, высота недостижимы для него. Он писал, что недостойно стоять рядом с нею, с «лилией», «звездой любви». «...лилия растет для меня — со всяким письмом твоим я склонялся более и более; наконец... пал на колени перед твоей высотой». Но Наташа не могла согласиться на такое возвеличение себя и унижение его. Это он велик, а не она. Не он ли сам сделал ее достойной любви, не он ли ее создатель?

«...кто меня сделал такою? — писала она Герцену. — Рассмотрю с самого начала мою жизнь. Была ли у меня мать? Нет. Кто же первый, не зная сам того, заступил ее место... Был ли у меня отец?.. Кто ж первый положил основание в душе моей всему изящному и святому? Кто?.. Был ли друг у меня, спутник души в тех летах, когда мы так ищем симпатии, когда нужен обмен мыслей, чувств и души? Был, был этот дивный, святой друг

у меня, был и кто же?.. Скажи, отвечай мне, Александр! Скажи, смела ли я назвать кого сими священными именами, кроме тебя? Ты моя мать, мой отец, брат и друг, ты мой спаситель и ангел хранитель!.. Когда ты говоришь: «но как же я стану рядом с звездой любви?» Я скажу: «но как же равняться звезде с тобою, мое солнце?»

И когда Герцен прислал ей в подарок свой портрет, она поставила его у себя на столе и поклонялась ему, как православные — иконе или язычники — солнцу.

«...черты твои, изображенные карандашом на бумаге... сливаются с голубым светом, с огненными лучами... — писала она, — и вот, ты — небо, ты — солнце; солнце и небо — твой образ!.. вся природа — твой лик, огненный, лучезарный. Я не могла сносить света, закрыла глаза; не могла выносить своего ничтожества — заплакала...»

Но слезы эти были, конечно, счастливые слезы... Ей ли грустить, если такой любви, какой она любима и любит, никогда еще не знало человечество?

«Нет подобия нашей любви», — писала Наталия Александровна. «Такая любовь редко сходит на землю», — твердил в своих письмах Герцен и называл возлюбленную: «божество мое, нет, мало... Христос мой». Они сотворили из своей любви, небывалой и никому, кроме них, в своей высоте не доступной (нет, еще Огарев оказался способен постичь ее!), культ и служили ему, мечтая о совместной жизни, а порою от полноты чувств и о смерти. «Тогда» — так они окрестили то



время, когда разлуке настанет конец, свое соединение, свое грядущее... и сомневались — хватит ли тогда у них сил перенести такое великое счастье?

«...послушай, умрем тогда, пожалуйста, умрем, по исполнении всего; невозможно жить на земле», — писала Наташа. «...один взор, одно объятие, и покинем землю, черную, грубую, гадкую землю», — вторил ей Герцен.

Оба они жарко мечтали о жертвах, которые принесут своему идолу, своей любви.

«Итак, прощай, весь мир! — щедро писал Герцен. — Я всем друзьям сказал «прощайте». Так, как сказал мечтам о славе, о поприще, о деятельности, «прощайте». Вся моя жизнь в тебе».

Им нравилось без конца рассказывать друг другу историю своего чувства, припоминать свою жизнь до встречи на кладбище, сверять свои мечты, мысли, вкусы и всюду — почти всюду! — находить близость, подтверждавшую божественное предопределение. Им нравилось мечтать о той полной, неразрывной, общей жизни, которая начнется для них, когда наступит долгожданное «тогда». Могут ли они не быть счастливыми вместе, если их души с давних пор родные друг другу?.. «дивная вещь, — писал Герцен Наташе, — нет ни одной мелочи, в которой бы ты не поступала, не думала, не чувствовала совершенно так, как бы я хотел, чтоб ты чувствовала, думала, — все требования до одного исполнены, да еще, сверх их, море блаженства»...

Переписка имела для Герцена и Наталии

Александровны значение чрезвычайное: в письмах они открывали себя друг другу и самим себе. «Вся наша разлука, — писала Наталия Александровна Герцену, — непрерывная встреча, непрерывное свидание, беседа!» «...твоя Наташа чужестранка на земле между и ми, ты ее родной ты ее родина...»

Глядя вперед, они не очень ясно представляли себе желанное будущее — одну лишь черту его прозревали вполне отчетливо: тогда Александр введет Наташу в свой духовный мир, поделится с нею своими познаниями. Она не сомневалась, что ему радостно будет обучать ее, а он — в том, что ей радостно будет учиться.

«Как пламенно жду я времени, — писал Герцен, — когда я тебе буду отдавать отчет в сумме, в итоге всех этих знаний от школы до ссылки, всех страданий, сомнений, мыслей, фантазий, опытов — трудно мне было доходить — тебе отдам я готовое. Ты вполне поймешь меня — это я знаю; отрывки из твоих писем иногда так сливаются с моими мыслями, что нет между ними и черты разделяющей. Скорей, скорей приходи; эта полная жизнь!»

«Всегда во мне была склонность к занятиям умственным, — писала Наталия Александровна в ответ, — но всегда я встречала везде затворенные двери. Тогда они все разом растворяются для меня, и ты разом передашь мне то, что я собирала бы, может, целую жизнь».

Детской, наивной была эта их общая вера, что можно разом передать и разом воспри-

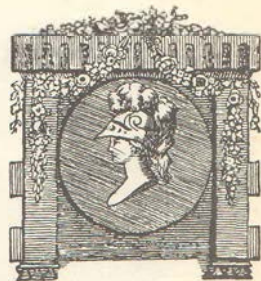
нять всю сумму знаний, накопленных одним из них за долгие годы штудировки, усиленного чтения, ученых споров. Местами наивной, местами выпененной, излишне восторженной и не в меру сентиментальной представляется нам сейчас, через сто тридцать лет, вся эта переписка. Раздражают и, более того, вызывают улыбку риторические возгласы, в изобилии украшающие письма: «О Наташа, верь, провидение послало тебя мне»; или: «Ах, Наташа, как ты хороша, как ты божественна»; «Люди! Отдайте мне ее, отданную мне самим богом!»; «Мы или с ума сойдем, или умрем, нет, в теле человеку невыносимо такое блаженство»; «О, с каким восторгом увидела бы я стрелу, летящую сразить нас обоих...»

Мы улыбаемся, читая о пламенных страстях, о железной руке рока, о душе вулкана, о персте провидения; нам смешон весь этот набор готовых романтических красот: грудь, kloкочущая знойными страстями; лилия, вырастающая на гробе; твердость, подобная мраморному обелиску или колонне каррарского мрамора; смешны холодная рука опыта и змеиное лицо разврата... Мы понимаем, что постоянное презрение к толпе вызвано было действительно гнусными чертами среды — барской, чванной, тупой, в которой жила Наташа, и чиновничьей, в которой жил Герцен; и все-таки нам трудно без улыбки читать в письмах Наталии Александровны хулу на окружающих за то, что они предаются столь изменным земным занятиям: обедают да еще ей предлагают.

«Вот еще пренестерпимая для меня должность — есть, — писала Наташа Герцену. — Душа, все, все существо полно неба, полное тебя, святыни, бога, а тут ешь говядину».

Наивными — и даже больше! — просто смешными представляются нам теперь все уверения Герцена в божественном происхождении их любви, в том, что человечество должно склоняться перед подвигом Наталии Александровны, которая его, грешника, привела к небу. «Наташа, перед этим подвигом должны склониться все, — писал он, — весь род человеческий никогда не сделал бы со мною этой перемены — ее сделала дева-ангел!»

Ложная, излишне-чувствительная, приторная сторона их переписки не укрылась от взора взрослого, зрелого Герцена. Перечитывая свои письма через много лет, Герцен дал им такую оценку: «рядом с истинным чувством ломаные выражения, изысканные, эффектные слова, явное влияние школы Гюго и новых французских романистов». Определение не вполне точное: письма не только изобилуют эффектами в стиле школы Гюго, но и до краев переполнены чувствительностью в стиле тогдашней сентиментальной школы. В отрочестве Герцен оплакивал карамзинского Агато́на, рыдал над «Страданиями юного Вертера» Гёте. И он и Наташа не могли не читать бесчисленных романов-дневников, романов в письмах, в которых утверждалась прелесть чувства, глубокого, пламенного, тонкого, нежного, в противовес сухому и холодному рассудку, романов, в которых самое достоинство чело-



века определялось его способностью всецело отдаваться чувствованиям. Благородный человек, в представлении писателей сентиментальной школы, обязан иметь душу возвышенную и чувствительную. Отсюда в переписке Герцена с невестой все эти «О, Наташа!», «О, Александр!».

«Жизнь в непрактических сферах и излишнее чтение долго не позволяют юноше естественно и просто говорить и писать; умственное совершеннолетие начинается для человека только тогда, когда его слог устанавливается и принимает свой последний склад», — писал Герцен в «Былом и думах». До «умственного совершеннолетия», до «установившегося слога» Герцену в тридцатые годы было еще далеко; слог его, лишенный самостоятельности, еще пестрел красками модных литературных течений.

Письма к невесте писал юноша Герцен, но зрелый Герцен, отрекаясь от риторики, не осудил их самих со всеми излишествами питавшего их сентиментализма и выпренности романтических затей; не осудил их основы — подлинного, глубокого чувства, водившего его рукой.

«Одни сухие и недаровитые натуры не знают этого романтического периода», — писал он в пятидесятых годах.

Основа переписки влюбленных была истинной; литературная же оболочка принадлежала не Наташе и Герцену, а времени. В тогдашних письмах Герцена и Наталии Александровны мы не в силах без улыбки читать, что она, Наташа, «небесная гостья», что она

в его душу «снесла рай со своей родины», то есть с неба, что он воскрешен ее «небесностью», но это был язык не его, Герцена, это было словоупотребление в тогдашнем интеллигентном кругу общепринятое. Согласно канонам немецкого идеализма, который был основой тогдашних литературных течений, любовью человек приобщался к «мировому духу», к небесам, и мало кто из интеллигентных людей двадцатых и тридцатых годов, увлекавшихся немецким идеализмом и Шиллером, избегнул, говоря о любви, возвышенной фразеологии. В том же 1838 году — заключительном для переписки Герцена с Наташей — Белинский писал о девушке, которую любил: «...это чистый, светлый херувим бога живого, это небо, далекое, глубокое, беспредельное небо, без малейшего облачка, одна лазурь, осиянная солнцем!» Пишет другой человек, о другой девушке и о другой любви, а звучат эти строки словно цитата из герценовского письма.

В литературном кругу того времени это был язык общепринятый — недаром старший брат Герцена, поэт Владимир Ленский «с душою прямо геттингенской» пел «нечто и туманну даль» и «верил, что душа родная соединиться с ним должна»; недаром Герцен называл Наташу девой из Шиллера и утверждал, что только у Шиллера описана их любовь. Все верования Наталии Александровны, повторяемые в письмах беспрестанно: что полюбила она Александра по воле провидения, что он ей послан богом, что родилась она уже с любовью к нему, что вся приро-

да — лик возлюбленного, что они друг другу предназначены, что она с детства чувствует их духовное родство и его незримое присутствие в ее судьбе, — разве мы не узнаем тех же слов, тех же представлений в знаменитом письме другой девушки — Татьяны к Онегину?

То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил.
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался...

Кажется, если бы Наталия Александровна была наделена гениальным поэтическим даром, она непременно объяснялась бы с Александром Ивановичем этими словами:

Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой.

В этих двух строчках будто концентрат всех ее чувств и мыслей. А вечные Наташины жалобы на свое одиночество «среди них»? Конечно, Наташа в доме княгини Хованской была одинока. Но чувствовать себя одинокой в толпе — это было тоже требование времени. Татьяна Ларина жила у отца с матерью, никто ее не притеснял, но и она писала Онегину словно строчками из Наташиных писем:

Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает...

Нет, возлюбленная Герцена, его двоюродная сестра Наталия Александровна Захарьина, не была девой рая, посланной провидением спасти юношу, отравленного змеиным ядом клокощущих страстей. Она не была ни гостьей небес, ни ангелом, ни Беатриче, она была простой русской девушкой, наивной и восторженной и — не менее пушкинской Татьяна — сильной. Между нею и Герценом, без всякого вмешательства воли провидения, в самом деле существовала большая душевная близость; помимо всяческой риторики и декламации, она в самом деле глубоко любила его и, как и Огарев, имела на него всю жизнь большое влияние. Герцен был искренен, когда писал о Наташе: «Нет мысли, нет мечты, нет идеи, которая не находила бы больше нежели отзыв в ее душе». В сфере умственной влияние Герцена, конечно, было первенствующим, он давал тон, на который она откликалась, но ее нравственное влияние на него с самого начала их знакомства было и впрямь велико. Оно сказалось еще до брака, с первых же шагов переписки — сказалось хотя бы в том, как, увлекаясь перепиской с Наташей, взглянул он на свою связь с Медведевой. Наташа не обвиняла его, не корила, напротив, всячески старалась объяснить ему в письмах, что он неповинен. Но ее собственная, непреклонная цельность, ее чистота, глубина и страстность, с какой она любила его, с какой он сам откликнулся на ее любовь, заставили его по-другому оценить свой поступок с Медведевой, строго взыскать с себя. В этом поступке сказывалось легкомыслие и бесче-



ловечье того общества, той «толпы», чью мораль Герцен высмеивал и отвергал и чьей моралью он все-таки заразился. Женщину, которая и до встречи с ним была в достаточной мере несчастна, он сделал еще несчастнее. В этом легкомысленно-жестоким поступке была и ложь; понимая уже, что любил он не Прасковью Петровну, а Наташу, Герцен затягивал, откладывая объяснение, то есть лгал. Но лгать самому себе он уже не мог ни минуты, и причиной этой невозможности была чистота и цельность Наташиной любви. «Ты, ты... 'причиною тому, что я не могу выносить пятна на душе», — писал Наталии Александровне Герцен.

«Здесь мне большой шаг над всеми кавалерами, кто же не воспользуется таким случаем?» — не он ли еще так недавно написал эти игривые слова, достойные не искателя истины, не ученика нового мира, а заурядного светского лоботряса? Наташа поспешно и радостно простила его. Но такова была высота мерки, которую он сам под воздействием ее любви и ее писем стал предъясвлять к себе, что, хотя она и простила, он сам себе не простил. Он исповедовался перед Витбергом, не щадя себя, рассказал ему всю историю от начала и до конца. Не желая более лгать молчанием, он открыл Медведевой свою нелюбовь. Наташа, увлекаемая нежностью и жалостью, объясняла ему в письмах, что он преувеличивает свою вину, но мерка, воспринятая им от нее же, была слишком высока. Он понял не только то, что не любит и никогда в самом деле не любил Медведеву, но

что виноват перед ней, что «воспользоваться случаем» с его стороны было попросту низостью. Напрасно Наташа, перед которой он продолжал каяться в каждом письме, простила и утешала его, он осудил себя сам с совершенной прямоотой и неподкупностью — с той свойственной ему неподкупностью мысли и чувства, которую впоследствии сам окрестил словами «храбростью истины» и которая была его особенной силой на протяжении всей сознательной жизни.

«...я не должен себя судить правилами толпы», — писал он Наташе. — «...история с Медведевой... как клеймо каторжного, пятнает меня». «...твоя любовь простила мой черный, гнусный поступок — тем лучше. Я это прощение принимаю не как заслуженное, а как дар твоей любви... Все подробности, которые тебе неизвестны, все против меня».

«Я минутно увлекся, она поверила моему увлечению, она пала глубоко, думая подняться, и начал плакать над телом, из которого душу вытеснил ногой, — и что ж, с тех пор я делал намеки — как будто для того, чтобы сделаться интереснее».

Все попытки Наташи обелить его возмущали его трезвость и его совесть. Именно перед Наташей хотел он быть чистым и правым, и его больно ранила ее снисходительность.

«Ты не хочешь понять то, что я писал в моих прошлых письмах, — строго выговаривал он ей. — Тут нет ни унижения, ни гордости. В моей душе есть элементы высокие... и с тем вместе страсти низкие...» «Ты смотришь непрерывно на одну хорошую сторону,

и я не отрицаю ее; но знай же и дурную. Ежели б тебе сказали, что кто-то обманул женщину, увлек ее, лишил спокойствия, несчастную сделал еще несчастнее, — что сказала бы ты... узнавши, что этот кто-то — я; ты изыскиваешь средства оправдывать меня, лучше бы было, ежели б ты осыпала меня упреками».

«Я требую справедливости, Наташа, справедливости и более ничего... Я тебе говорю: вот моя душа, сломанная и запятнанная, — но она сильна любовью к тебе, вот преступление, которое оставило на ней след, — а ты отвечаешь: все это вздор, я не хочу, чтоб на твоей душе были пятна, и, следовательно, отбрось угрызения совести и считай себя за серафима».

Нет, считать себя за серафима даже по приказу Наташи он не соглашался, трезвость, ясность взгляда не покидали его никогда. Наташа была для него верховным судьей, но он все-таки спорил с ней: «храбрость истины» брала верх. Строго, неуступчиво и здраво и ей и себе дал он отчет в своем романе с Медведевой, не позволяя себя обелять, разбирая поступки свои и оскорбленной им женщины с той глубиной человечности, с тем проникновением в свою и чужую душу, которая в пору зрелости сделалась основой не только его жизни, но и творчества.

«Одно, что мне может служить оправданием, — писал он Наташе, — это то, что тогда у меня не было еще ни одного близкого человека здесь, некуда было головы прислонить... Сначала мне жаль было Медведеву от

всей души; молодая, хорошенькая, образованная женщина, умная и брошенная на носилки к хромоту старику; в ней что-то было от «гиацинта, брошенного в воду и живущего слезой». Иначе приняла она мое внимание — и вот тут вся низость, вся гадость; из самолюбия я не отошел, минутами увлекался, но понял, что тут нет любви, и, знаешь ли, середь этого-то времени еще яснее, еще ярче воссияла ты и твоя любовь. Это ты можешь видеть по запискам того времени. Ах, зачем тогда слово «любовь» крылось под словом дружбы; уж этого одного слова было бы достаточно, чтобы спасти ее от падения, а меня от пятна на душе... Когда умер старик, я опомнился; тогда поступал я, как честный человек, но уж было поздно. Ах, Наташа, гадки эти пятна на твоём Александре, и сколько я мучился, покада написал тебе в первый раз эту историю...»

История эта долго терзала и мучила Герцена. От постоянного зрелища горя Прасковьи Петровны — горя, которого он был причиной, — спас его только отъезд. В конце 1837 года в виде особенной милости Герцен был переведен поближе к Москве — во Владимир.

Случилось это так: весною 1837 года наследник престола, сын Николая I, будущий император Александр II, совершал путешествие по России. В свите наследника между другими находился его воспитатель, знаменитый поэт Василий Андреевич Жуковский.



По предписанию царя «с образовательными целями» в каждом губернском городе, где останавливался наследник, начальство обязано было устраивать для гостя выставку «местных произведений». Так было и в Вятке. Устройство этой мудреной для чиновников выставки было поручено Герцену, и он, на удивление невежд, легко и свободно распределил по «трем царствам природы» присылаемые из уездов «земные произрастания» и «мануфактурные и промышленные изделия из металлов и дерева». На выставке встретил наследника со свитой, разумеется, хозяин губернии — Тюфяев, но в объяснениях запутался и вынужден был предоставить вести гостей строителю выставки Герцену.

Эти полчаса решили судьбу ссыльного.

Жуковский, человек мягкий и добрый, живя при дворе в качестве воспитателя наследника и друга царской семьи, любил заступаться за художников, поэтов, писателей — по видимому, ролью заступника утешая себя самого в двусмысленной роли придворного певца. Случалось ему отвращать угрозу от головы Пушкина и Баратынского, хлопотать об облегчении судьбы Шевченко, Кольцова, Гоголя. Живая, увлекательная речь, вдруг зазвучавшая в помещении выставки взамен угодливых фраз и дубового косноязычья, не могла не поразить его. Жуковский сердечно спросил молодого человека, кто он, откуда и почему в Вятке. Узнав, что он кандидат Московского университета, что он пишущий, что он сослан в Вятку за пение песен, которых не пел, Жуковский проникся симпатией

к Александру Ивановичу, обещал похлопотать при дворе и с помощью наследника свое обещание выполнил. Повредить счастливой перемене в судьбе Герцена мог бы губернатор Тюфяев из мести за Медведеву: ведь сослан же он куда Макар телят не гонял одного молодого поляка за то, что на балах дамы предпочитали танцевать с ним, а не с его превосходительством... Но бесчинства Тюфяева во «вверенной ему губернии» дошли до таких пределов, на него наследнику было подано столько жалоб, что, к великой радости края он был смещен.

А Герцен — Герцен 29 декабря 1837 года выехал из Вятки и, встретив в дороге Новый год, 2 января 1838 года прибыл во Владимир.

Горе Медведевой, тяжело захворавшей в тот самый день, когда она услышала о его близком отъезде, огорчение Витберга и двух-трех приятелей, с которыми он сблизился в Вятке, трогали его, но скользили как-то мимо души; в сердце жила и кружила ему голову одна-единственная мысль: Владимир уже не тысяча, а всего 170 верст от Москвы! Каких-нибудь 15 часов от Наташи!

Этим головокружением, этим предчувствием близости счастья полно его первое письмо из Владимира:

«Здравствуй, ангел мой, я из Владимира посылаю этот поклон — из-за 170 верст от тебя. Вчера вечером приехал я — хотел тотчас же писать к тебе, но, признаюсь, так устал и измок от снега, который валил целую ночь и день, что бросился на постель и уснул как мертвый. Сегодня проснулся — и

светло на душе, светло, очень светло. Мы увидимся в этом году, голос сильный сказал мне, увидимся — ну, в этом слове все... Нет, до сих пор я не понимал благодатную перемену. Теперь я оценил ее. Слушай. Едем мы к Нижнему ночью; ящик пел что-то печальное, а я смотрел вдаль; вдруг ящик хлопнул по лошадям и, сказавши: «Ой вы, голубчики, разве не ведаете, куда едем: ведь к Москве» — и с этими словами понесся, как из лука стрела. — Слеза навернулась у меня на глазах, и после того в голове оставалась одна мысль: к Москве, к Москве!!! И она росла, с каждой станцией все роднее становится, а здесь Москва уж виднеется в каждом слове».

И вот оно, торжество:

«Ты теперь будешь получать от меня всякую неделю два письма, а иногда и три».

«Письма приходили на другой день, — вспоминал Герцен впоследствии, — казалось, бумага была еще теплая, пульс руки чувствовался на ней; след взгляда, обращенного на строчки, казалось, не успел пройти».

Не только письма доходили из Владимира и во Владимир гораздо быстрее, чем из Вятки и в Вятку, нет, москвичи могли теперь сами навещать ссыльного. В первый же день навстречу ему был послан Иваном Алексеевичем староста одного из яковлевских имений. Герцен обрадовался старому знакомому, и голова закружилась сильнее: значит, и другие могут, значит, и сам он может... Правда, если его задержат в Москве — его, ссыльного,

приехавшего в столицу без разрешения, — не миновать ему белого ремня... Ну, а если добиться разрешения? В отпуск? К родным? Ведь 170 верст! Всего лишь!

Те же мысли кружили и другую голову.

«Получив от тебя из Владимира, я еще воскресла, — писала Герцену Наталия Александровна, — шаг, миг, и мы в объятиях друг друга!! И эти частые сообщения, это неизмеримое море утешения и радости; вот поедут скоро к тебе, услышу о тебе от самого видца; маменька — еще весть полнее, вернее, а там, иль папенька к тебе, иль ты сюда, — и все должно в короткое время... Будто шибко бежала, так бьется сердце... Прощай, теперь тебе и слышной и видней Наташу — а там, а там... руку!»

8

Для Герцена и Наталии Александровны переписка была борьбой с верстами, их разделявшими, и, наперекор верстам и жандармам, «бесперывной встречей, бесперывным свиданием, беседой», как писала Наташа, «продолжением одной нити, кольцом одной цепи, кольцом живым и необходимым», как писал Александр. Для них переписка была способом проникновенья друг в друга, узнаванья и постоянной радостью: с каждым письмом они убеждались, как близки их вкусы, их желания, как полно то, что на их языке обозначалось словом «симпатия»: «во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств, и мыслей, — писал Герцен, — ...все было родное, созвучное».



Для нас переписка Герцена с невестой — ценнейший человеческий документ, в котором полно и непринужденно отражены черты двух замечательных личностей вместе с чертами времени, их создавшего; для нас это великолепный любовный дуэт, исполненный голосами подчас срывающимися, но всегда звучными, яркими, страстными... В то же время это ценнейший источник для биографии Герцена в период ссылки. Ведь письма Герцена к Наташе — это, в сущности, его ссыльный дневник; правда, дневник, в котором почти не излагаются происшествия, факты, но зато внутренняя жизнь представлена во всем ее богатстве.

Примечательно, что Герцен и сам, еще не окончив переписки, еще не отойдя от нее на расстояние лет, взглянул на эту пачку писем как на источник своей биографии, как на исторический документ. С такой силой жило в нем и двигало им чувство своей предназначенности к какому-то великому грядущему делу! Переписка еще далеко не была окончена, их соединение — «наше тогда» — было еще впереди, им предстояли еще долгие месяцы разлуки, а он уже попросил Наташу на время прислать ему во Владимир пакет с письмами, чтобы возобновить в памяти путь друг к другу и оценить прожитый кусок жизни. Во Владимир приехал погостить Кетчер и привез Герцену пакет.

«Я мельком пробежал письма свои, — сейчас же написал Герцен Наташе, — это важнейший документ нашего развития и моей жизни, превосходно, что они у тебя сохрани-

лись. Без них мне почти не было бы возможности продолжать биографию. Тут я весь, как был».

Не странно ли: уже тогда, двадцатипятилетним, ничего не совершившим юношей, Герцен смотрел на свои письма, как на документ, как на материал для собственного жизнеописания? «Вся жизнь моя от окончания курса университетского выходит из гроба. Моя биография готова». Эта постоянная потребность осознать, осмыслить пройденный отрезок пути, вера, что путь этот необходимо запечатлеть, потому что ведет он к свершениям высоким, к судьбе необыкновенной, чрезвычайно характерна для Герцена во все периоды его жизни. Интерес к себе — и не в смысле любования собой, а в смысле постоянного суда над собой с высоты еще неизвестного и невидимого, но, несомненно, предстоящего подвига: туда ли я иду? — так ли? и что дали мне — для моего развития, для моего избранничества — те или другие месяцы, годы, факты, события, собственные и чужие поступки?»

Перечитывая свои письма к Наташе и раздумывая об аресте и ссылке, Герцен как бы на незримых весах взвешивал пережитое, стремясь определить истинную цену его — цену для самовоспитания, для развития души и характера.

«А несчастье ли это постигло тогда меня? Не знаю. — Я вырос, я лучше понял себя и тебя, я узнал людей, я юношей удалился из дому, и совершеннолетним возвращаюсь в него».

Тюрьма и ссылка не прекратили литературных занятий Герцена. И в Крутицких казармах, и в Вятке, и во Владимире он продолжал писать — и писал не только письма к Наташе. Но, как и в письмах к Наташе, главным предметом изображения оставался он сам, его собственная жизнь, им пройденный путь, его биография. Только одно из его произведений той поры называлось «О себе», но, в сущности, почти все они — и «Встречи», написанные в Вятке, и «Елена», начатая в Вятке и оконченная во Владимире, могли бы называться также: «О себе». Все они — почти все! — были, в сущности, ранними, неумелыми и преждевременными подступами к автобиографии, которой во второй половине жизни суждено было стать главным творением Герцена.

«Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни души моей, — писал Герцен Наташе еще из Вятки, — пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя, которую толпа не поймет, — но поймут люди. Пусть впечатления, которым я подвергался, выражаются отдельными повестями, где все вымысел, но основа — истина».

Истина — то есть то, что на самом деле произошло с ним самим, с Герценом; называлось ли написанное повестью, или статьей — все равно это было его воспоминанием, или выводом из пережитого, преподнесенным читателю под покровом аллегории. Говоря о своих писаниях, Герцен неизбежно употреблял слово «воспоминание»: «живое

воспоминание, горячий кусок сердца», — писал он об одной из своих вятских статей. В аллегорической ли форме, в форме ли возвышенного монолога, в форме ли повести или «Письма к друзьям», но в основе каждого из ранних произведений Герцена, кому бы и чему оно ни было посвящено, даже в основе повести «Легенда», в которой действие происходит сотни лет назад, лежат попытки запечатлеть собственную душевную биографию — попытки не очень удачные прежде всего потому, что и самой биографии почти еще не было и мировоззрение еще не определилось. И тем не менее Герцена неодолимо тянуло писать о своей жизни, запечатлеть опыт своей души, зарисовывать людей, с которыми его сталкивала действительность. И статьи и повести, как и письма к Наташе, были для него способом уяснения пережитого себе самому.

«Я уж говорил как-то, что нет статей, более исполненных жизни и которые бы было приятнее писать, как воспоминания, — объяснял он Наташе. — Облекай эти воспоминания во что угодно, в повесть... или другую форму, всегда они для самого себя имеют особый запах, приятный для души. Половина лиц в лучших поэмах образовалась так; сверх того, лицо существующее имеет какую-то непреложную реальность, свой резкий характер по тому самому, что оно существует... Повесть — лучшая форма, но это не мой род; доселе повести плохо выходят у меня; но рассказ, простой рассказ — это дело мое, я легко переносу свой пламенный язык на

бумагу». «Отвердить словом» — так называл Герцен в том же письме свои попытки улавливать и запечатлевать черты людей, с которыми он встречался, черты своей и окружающей жизни.

«Отвердить» пережитое словом — эта жажда никогда не покидала Герцена, даже тогда, когда пережитое им еще не имело объективной ценности. В повести ли, в статье ли, в письме ли (чутьем самобытного художника уже понимая, что повесть «не его род», и еще не понимая, каков же этот его, наиболее ему свойственный жанр, но предчувствуя его, жадно отыскивая) — в повести ли или в статье, но непременно «отвердить», запечатлеть пережитое, не дать ему пройти бесследно — поймать и положить на бумагу.

...Встреча и дружба с Огаревым. Высокое значение этой дружбы — идеи и мечты, волновавшие обоих. Вдохновенные пирушки с друзьями. Одинокое детство. Встреча с Наташей. Встреча с Медведевой — роман, разрыв и терзания совести. Предчувствия своего великого будущего, своего особого предназначения. Мысли о долге художника. Мысли о долге революционера — вот что пытался он отвоевать у забвения, воспроизвести на бумаге, «отвердить».

Мысли эти высказывались им не прямо: ведь он мечтал напечатать свои статьи. Идеи «политически-неблагонадежные» Герцен преподносил в завуалированной, аллегорической форме. К аллегории в те времена он был сильно привержен, хотя Огарев еще в студенческие годы предостерегал его: «Не пиши

аллегорий — это фальшивый аккорд в поэзии; что хочешь сказать, говори прямо и сильно, а не обиняками». Через несколько лет Герцен согласился с другом. Перечитывая в 1838 году свои ранние статьи, он так отзывался о них: «...я писал аллегии тогда, когда дурно писал. Что хочешь сказать, говори прямо». А писать прямо он не мог — и не только потому, что его подстерегал цензорский карандаш, но и по собственному своему неумению. «Истинный род» не был еще им найден; подвиг жизни не совершен: мысли незрелы. Над ним еще тяготели чужие влияния — отчасти Гюго, отчасти Гейне, отчасти Жан Поля Рихтера... Быть самим собой и писать «без обиняков», «прямо» он попросту еще не научился. Как и в письмах к Наташе, в ранних произведениях Герцена рядом с настоящим чувством и метким словом живут риторика, натянутый романтический пафос, рассудочная аллегория.

...В крутицком уединении Герцен читал «Четыи Минеи» Димитрия Ростовского. Там начал он писать «Легенду» — повесть, в основу которой легло жизнеописание святой Феодоры. Действие происходит в далекой древности, близ Александрии, в пустыне Фиваидской, в уединенном монастыре. Герои повести — монахи, главный герой ее — игумен, пастырь непреклонный и строгий. В качестве эпиграфов к главам приводятся евангельские тексты; отрывки из житий святых и творений святого Августина; игумен в изобилии цитирует слова «святильников церкви». Повесть недаром называется «Легендой»: она в самом



деле излагает житие святой, следуя жизнеописанию, изложенному в «Четьях Минеях». К чему же заново пересказал ее Герцен? Ключ к пониманию «Легенды», намек на ее второй — аллегорический — смысл, дает небольшое авторское примечание. «Легенда, предлагаемая здесь, — пишет Герцен, — находится в «Житии святых» за сентябрь месяц. Для чего же я переписал ее?» И отвечает, используя цитату из Гёте, что каждый, кто пересказывает заново древнее предание, по-своему проявляет участие к событию, по-своему подчеркивает его суть. Стало быть, и он, пересказывая, подчеркивает то, что дорого и важно ему. Что же?

Герцен начал писать «Легенду» в 1835 году, глубоко увлеченный сен-симонизмом, — и в чертах благочестивого игумена, проклявшего Рим и Византию, которые погрязли в грехах, игумена, проповедующего «слово Христово», сквозят другие черты: черты юноши сен-симониста, мечтающего пересоздать человеческое общество на новых, справедливых основах. В повести часто встречается слово «идея», «человечество»; Христос — в устах игумена — синоним человечества, из контекста ясно, что, говоря о служении Христу, автор все время подразумевает общественное благо, служение человечеству. Игумен, пишет Герцен, «покаялся сделать из души своей храм Христу, то есть храм человечеству». Деятельность христиан именуется в герценовской повести «деятельностью для развития идеи»; а под идеей понимается колоссальная цель: пересоздать общество человеческое на но-

вых, справедливых началах — та самая цель, которую ставили перед собой сен-симонисты, «сияющая идея», открытая для себя юношей Герценом. Весь внутренний пафос «Легенды» — призыв к служению человечеству. Так, сидя в тюрьме, Герцен попытался «отвердить словом» только что пережитую мысль, только что завоеванную идею. Говоря во вступлении к «Легенде о «блестящей эпохе монастырей», о «монахах-подвижниках», Герцен называет их жизнь «жизнью для идеи» и тут же поминает имя борца за идею социализма — Сен-Симона: «казалось, я слышал свист и смех, которым встретило XIX столетие направление Сен-Симона».

В беловом тексте «Легенды» имя Сен-Симона по соображениям цензурным было вычеркнуто Герценом. Но под текстом звучание этого имени, безусловно, осталось. Замысел «Легенды» — прославить непреклонную твердость людей, обречших себя на служение человечеству.

Однако пафос этот, загнанный в искусственную, громоздкую аллегорическую форму, погребенный под красотами романтического слога, слышится в «Легенде» приглушенно. Смысл ее: призыв к объединению во имя идеи («не отдельность нужна для развития идеи, а совокупность») — можно лишь с трудом уловить под покровом религиозной риторики. Внимание отвлекается то пышностью экзотического пейзажа: «ручные антилопы спокойно щипали траву, пунцовые ориксы и зеленые голуби перелетали с ветки на ветку», то безудержной декламацией во вкусе фран-

цузских романистов: «Чиста и прелестна молитва невинности, как весеннее утро, как вода нагорного потока...»

Герцен сам называл свою «Легенду» неудачной. Гораздо большее значение, и вполне справедливо, придавал он другим своим вятским писаниям — в частности, «Встречам».

Это было повествование о людях, которых автор почитал «близкими родственниками» своей души. Описание случайных, но многозначительных встреч с ними давали Герцену возможность выразить, «отвердить словом» свои заветные мысли о назначении художника и о долге революционера. В университетские и послеуниверситетские годы Герцен любил и изучал Гёте, его творчество, его биографию. «Первая встреча» — это рассказ о случайной встрече в одном салоне с неким германским путешественником, который высказывает о Гёте мысли, принадлежащие самому Герцену. Преклоняясь перед автором «Фауста», «путешественник» укоряет немецкого поэта в том, что тот не понял грозного величия французской революции, что в дни, когда великие события потрясали мир, он занимался «теорией цветов» и писал веселые комедии для развлечения веймарского герцога. Когда кто-то из гостей язвительно спрашивает, неужели, по мнению путешественника, художник, поэт непременно должен заниматься политикой, «путешественник» — он же автор — отвечает: «Ужели он вам нравится придворным поэтом, по заказу составляющим оды на отъезды и приезды, сочиняющим прологи и маскарadne стихи?..» «Не политики —

симпатии всему великому требую я от гения. Великий человек живет общею жизнью человечества; он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не понимать событий современных, они должны на него действовать в какой бы то форме ни было.

Ради этих слов и написана, по-видимому, вся «Первая встреча».

В короткие дни своего пребывания в Перми Герцен встретился и подружился с польским революционером Цехановичем. Об этой встрече — не вымышленной, а происшедшей действительно — он рассказал в статье «Вторая встреча». Польский изгнанник, человек некрасивый, мрачный, с тихим голосом, бедно одетый, поразил Герцена энергией ненависти к николаевским палачам. Цеханович поведал своему русскому другу о тех издевательствах и пытках, каким подвергал польских борцов за свободу знаменитый усмиритель Муравьев, и жалкими представились Герцену выдержанное им самим следствие, вынесенная им тюрьма. Однажды на допросе Муравьев с площадной бранью подошел вплотную к скованному Цехановичу и хотел не то ударить его, не то взять за плечо. Бешеный взгляд узника остановил генерала.

— Что бы вы сделали в цепях? — спросил у Цехановича Герцен.

— Я разорвал бы его зубами, я своим черепом и цепями избил бы его, — отвечал ссыльный.

Вынужденный внезапно и срочно отправляться из Перми восвояси, Герцен перед отъез-



дом подарил Цехановичу на память запонку, а Цеханович в обмен подал ему заветное железное кольцо.

Так было в действительности. Но юному Герцену, автору «Встреч», хотелось приподнять, романтизировать действительность. Герцен собирался напечатать «Вторую встречу» и, разумеется, не мог воспроизвести в печати подлинный рассказ Цехановича о пытках в застенке. Его он опустил, сохранив лишь рассказ об облике польского изгнанника и об их взаимной симпатии. Но и облик ссыльного под его пером изменился. В то время Герцен еще не хотел и не мог изображать людей такими, какими они в действительности были. Не польский ссыльный николаевского времени изображен во «Второй встрече», не живой человек с живыми чертами и естественной речью, а обобщенный образ некоего возвышенного романтического героя. В глазах изгнанника «что-то от пламени молний»; сидя, он принимает «неподвижную фигуру статуи». Он толкует о «поэтических восторгах» и сравнивает себя с «моряком, приставшим на бесплодный утес»; прощаясь с Герценом и принимая от него подарок, он торжественно, как и полагается романтическому герою, отвечает: «Со мной до гроба!»

Этот романтический, приподнятый образ, так же как и образ автора-рассказчика, преподносится на фоне пошлой толпы, не понимающей обоих. И вот тут-то в изображении того чиновничьего общества, которое Герцен так круто возненавидел в Вятке, того провинциального мира, где губернатор «центр, осталь-

ное — периферия»; губернатор — «солнце, остальное — созвездия»; в описании провинциального обеда: хозяина «с непомерной величины Анною и с волосами, вглядь вычесанными»; «мальчишек, все в разных костюмах, но не все в сапогах», которые «дрались из чести, кому за кем стоять»; в изображении всеобщего подличанья перед губернатором, — вот тут впервые прозвучал голос будущего Герцена, язвительного насмешника, острого сатирика, выставящего на всеобщее поругание гниль, грязь и мертвенность чиновничьего мира. «Уликой пошлой жизни» назвал Герцен в письме к Наташе, изображение обеда — и в самом деле это была «улика» разительная, с гоголевской силой избличавшая пошлость.

Зато повесть «Елена», рассказывающая о взаимоотношениях Герцена с Медведевой, была выдержана автором не в сатирическом и даже не в романтическом, а скорее в мелодраматическом духе.

«...там являются две женщины на сцену, — сообщал Герцен Наталии Александровне. — Елена, которой я придал характер Медведевой, — это женщина земная, это любовь материальная, доведенная до поэзии, но до поэзии земной, и княгиня — которой я несколькими чертами дал твой божественный характер, где уже и следа нет земли, где одно небо, и небо яхтовое, небо Италии». Фабула была вымышленная — действие происходило при дворе Екатерины II, и все кончалось смертью Елены (то есть Медведевой) и умопомешательством князя (то есть героя и ав-

тора), но психологические взаимоотношения между тремя главными персонажами таковы, какими представлялись Герцену его отношения с Медведевой и Наталией Александровной. Многие страницы повести разительны сходны с покаянными письмами Герцена к Наташе, в которых он еще и еще раз патетически повествует о своем «падении».

Герой повести, молодой человек, чье юное лицо «старо жизнию; страсти и перевороты оставили на нем резкие следы», оклеветанный перед императрицей, интригами друзей удаленный из Петербурга в Москву, исповедуется перед приятелем. Он любит «ангела, существо выше земных идеалов поэта... святое, высокое». Но, уехав, он еще сам не понимает, что любит и любим. И, чтобы заглушить жажду любви, предается страстям.

«Иногда, как путеводная звезда, как блестящий Геспер... являлась мысль любви, но бурные тучи страстей закрывали ее. Если бы я знал, что я люблю, что я любим, если бы я не знал, а знал, что люди обидели меня, лишили поприща, и я хотел мстить им, губя себя в чаду нечистых страстей...» Так преподнесена была в повести, в исповеди ее вымышленного героя, история первых месяцев жизни Герцена в Вятке. А вот и встреча с Медведевой, которая в повести именуется Еленой:

«...мне было ее жаль от души. Она со всею доверенностью юности бросилась в мои объятия и нашла в них не спасение, а гибель... Вся жизнь этой девушки — любовь ко мне, а я... Мой пылкий характер, мое сломанное

бытие... я увлекся и опомнился слишком поздно...»

Дальше князь женится на девушке, «которая выше земных идеалов поэта». Оставленная им Елена гибнет, убитая его женьбой. Узнав о ее смерти, князь, мучимый совестью, тяжело заболевает: жена его едет в Москву и на Новодевичьем кладбище, на могиле Елены, просит ее отпустить мужу его вину.

В своей безмолвной беседе с покойницей княгиня произносит слова, которые Наталия Александровна столько раз произносила в письмах к жениху:

«Елена, я не похитила его у тебя; он был мой, когда буря жизни бросила тебя в его огненное существование; наши души — одно неразрывное, может, до рождения».

Кончается это мелодраматическое сочинение тем, что, несмотря на нежный и самоотверженный уход княгини и на ее молитвы, князь все-таки сходит с ума.

Повесть очень понравилась Наталии Александровне. Основа ее — любовная исповедь, заключенная в раму вымышленного сюжета, — была ей понятна. В образах Елены и княгини она узнала Медведеву и себя. «Много чувств волновало душу, — сообщала Наташа Герцену, — ...при чтении этой повести. Ведь, и она письмо же, только ты не писал ко мне такого письма!»

Такого — дословно такого! — Герцен действительно не писал; но все элементы содержания «Елены» и самый слог ее походят на покаянные письма Герцена к Наташе — пись-



ма о «пятне», о бурных страстях, о «падении»...

...Так разные стороны своей биографии, своего душевного опыта воплощал Герцен в своих произведениях вятской и владимирской поры. Обеими повестями — и «Легендой» и «Еленой» — он был недоволен: «повести не мой род», — повторял он в письмах к Наташе и все искал своего особого «рода».

Во Владимире написал он драматический диалог — «Из римских сцен». Действие происходит в Риме, в далекой древности, но в уста одного из героев, Лициния, Герцен вложил собственные глубоко пережитые мысли о судьбе своего поколения. Лициний — это опять-таки он сам, Герцен, только переодетый в римские одежды: «...мы — промежуточное звено, вышедшее из былого, не дошедшее до грядущего, — говорит о своем поколении Герцен устами Лициния. — Для нас — темная ночь, ночь, потерявшая последние лучи заходящего солнца и не нашедшая алой полосы на востоке... нет тягостнее работы, нет злейшего страдания, как ничего не делать! — Душно!»

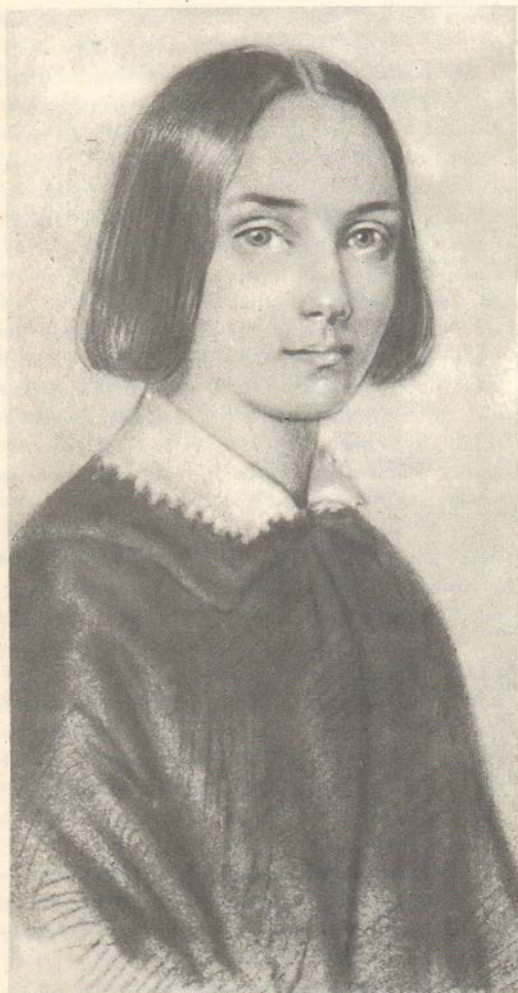
Однако самое значительное, близкое по роду и по жанру к произведениям зрелого Герцена — самое значительное из всех произведений, написанных в ссылке, — это «О себе» — первая попытка рассказать свою жизнь не в раме повести, вымысла, не в форме аллегории, а «без обиняков», «прямо» и притом последовательно. Это первый побег вскорости начатых «Записок одного молодого

человека» и через эти «Записки» — первый росток других записок: «Былого и дум».

Задуманы были эти воспоминания как последовательная автобиография, хотя рассказанная и не от первого лица. Герцен прилежно описал свое детство, изобразил гулянье в Подновинском, свою жизнь в деревне, встречу и дружбу с Огаревым, годы учения. Но полная рукопись «О себе» пропала. Единственная глава воспоминаний, которая дошла до нас, — это «Студент», где описывается дружеский круг, пирушка у Огарева, общая поездка в Архангельское и прогулка Саши и Ника на Каменный мост. В этом отрывке среди патетической риторики слышится иногда голос будущего Герцена, умевшего сочетать шутку, насмешку, юмор с тонким и проникновенным лиризмом. Вот Пассек, рыдающий навзрыд над тем, что ему уже 24 года, а он еще ничего не совершил для вечности и в отчаянии ударяющий кулаком по стакану; вот Кетчер, который уснул на диване и «грозно и величественно видит что-то во сне». Вот Саша и Ник, поднимающие бокалы «за здоровье заходящего солнца на Воробьевых горах, которое было восходящим солнцем нашей жизни». И в конце — оживленная лунным светом река, отрывок, снова напоминающий Гоголя — на этот раз не гневного сатирика, а великого лирика:

«...а река шумела и неслась из-под арки, и всасывала в себя месяц, и сносила его свет на середину, и играла им, и пускала длинной полосой плыть в вороненой рамке».

По замыслу Герцена этой прогулкой на Ка-



менный мост, продолжающей прогулку на Воробьевы горы, должно было завершиться повествование о первой юности, о московском периоде его жизни. Дальше — арест, следствие, тюрьма, ссылка: «черные тучи поднимались грозно и мрачно».

Все написанное Герцен посылал в Москву, друзьям, с тщетной надеждой напечатать, и, конечно, прежде всех в подарок Наташе. Герценовской иронии, сатиры, шутки она не любила; описание провинциального обеда она забраковала как нечто низкое, грубое. Но остальное она ставила высоко и пророчила возлюбленному великую будущность.

«Я думаю, ничего подобного не печаталось никогда и не напечатается, — писала Наталия Александровна Герцену, — потому что Александра моего не было до тебя и после не будет... Как встреленется Русь... Как взмахнет она крылами, сколько покровов спадет перед ее глазами, и там, где путь его, сколько исцеленных, воскресших, спасенных... О, Русь, Русь, за что тебе такой подарок!»

С совершенной трезвостью опровергал Герцен эти излишние восторги. «Ты думаешь, — писал он Наташе, — что вся Россия, весь мир должен на меня смотреть твоими глазами, — это ошибка, Наташа, увлечение. Мир и люди смотрят не на душу развернутую, как ты, но на труд созданный, они подымаются от труда к душе, и талант-то, собственно, может, в том и состоит, чтоб элементы души своей отвердить словом, или искусством, или действием вне себя, и тем выше талант, чем ближе создание идеалу.

Каким же образом ты воображаешь, что мои статьи могут сделать влияние — это ребячество, — по этим статьям, как по предисловию, могут заключить, что из писавшего что-нибудь выйдет, не более».

Конечно, Наташины восторги были увлечением, пристрастием. Конечно, в оценке своих произведений Герцен был более прав, более здрав, чем она: написанное им в тридцатые годы было всего лишь предисловием, прологом, всего лишь присказкой к грядущей сказке, а «сказка будет впереди». Но в этом споре и у Наташи нельзя отнять правоты. Сколько в ее преувеличенных восторгах проницательности, провидения, рожденных любовью!

Иные догадки этой двадцатилетней влюбленной удивительны.

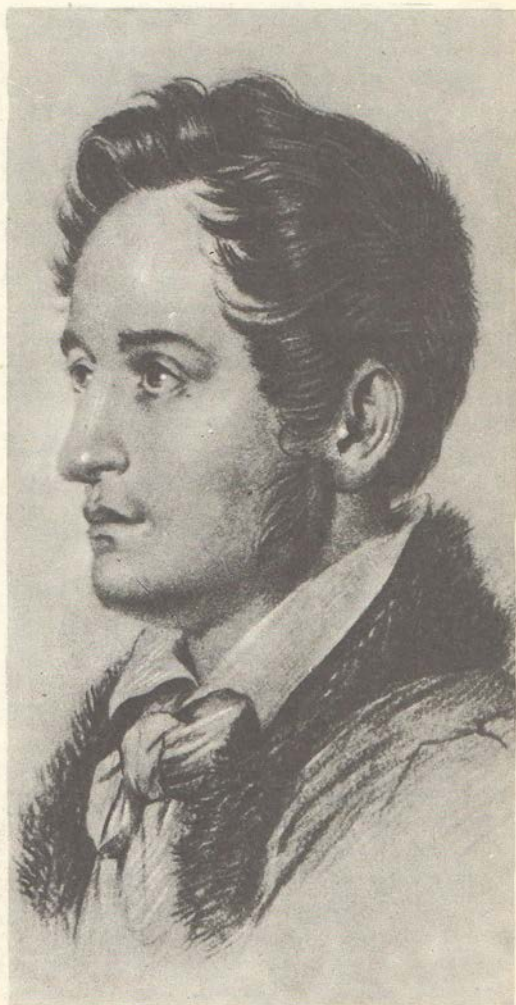
О ранней автобиографии Герцена она написала:

«Я не говорю лучшее, но любимое мое из всего, писанного тобою, будет твоя жизнь... Непременно хочу читать продолжение твоей жизни».

Читать «продолжение» герценовской жизни ей не довелось. Но она была права: именно воспоминаниям Герцена суждено было выразить его гений наиболее полно, обратиться в «Былое и думы» и стать одной из любимых книг — не ее: России.

9

Жизнь Герцена во Владимире текла совсем по-другому, чем в Вятке. Не было дикого сатрапа Тюфяева, вместо него губернатор



Курута, «умный грек», «старичок предобрый», не утруждавший ссыльного занятиями в канцелярии; не было Медведевой, чьи слезы постоянно напоминали Герцену о собственной вине; не было худосочной и темной природы, клавшей на душу какой-то мрачный отпечаток... не было, правда, и Витберга и двух-трех друзей, к которым он в Вятке прилепился душой... Но, любя их, он по ним не тосковал: Вятка, со всем своим дурным и хорошим, как-то сразу отодвинулась в прошлое. «...Вятка — как тень в фантазмагории, — писал Герцен Наташе, — меньше, меньше, точка, ничего. Будто все это я где-то читал... читая, я увлекся, воображал, что все это в самом деле, дочитал — явилась прежняя жизнь, и книга оставила смутное воспоминание». Вятка отодвинулась в прошлое, зато близость Москвы — будущего! — чувствовалась радостно и сильно. И ямщики поют тут по-русски, по-московски — а в Вятке другой, не чисто русский напев; и бубенчики-колокольчики почтовых троек, заливаясь, напоминают каждый раз, что от Владимира до Москвы рукой подать — рукой подать...

Бубенчики и колокольчики слышал Герцен во Владимире непрестанно: квартира его была расположена между Золотыми Воротами и почтой. Бродя по городу, глядяваясь в очертания древнего собора Андрея Боголюбского, прислушиваясь к растущему ожиданию счастья, Герцен чувствовал, как отделяется от него все прожитое и близится будущее. «Наше тогда» близилось с каждым

днем — вот почему отдалялась и меркла Вятка.

Светлый, чистый, солнечный Владимир казался Герцену преддверием, обещанием светлой судьбы.

Губернатор Курута ходатайствовал перед министерством внутренних дел о разрешении Герцену съездить в Москву для свидания с родными. Последовал отказ, полный и категорический. Герцен написал отцу, что любит Наташу и намерен жениться на ней. Старик ответил: «Ты убиваешь меня»; впрочем, обещал не препятствовать, но и разрешения не давал. Видя, что помощи ждать неоткуда, Герцен решил взять свою и Наташину судьбу в свои руки. При всей напущенной на себя романтической блажи — туда! туда! подальше от грязной земли в лазурь! к небу! — был он человек земной, энергичный и смелый. А люди, знавшие Наталию Александровну с ранних лет, говорили о ней, что, при наружной хрупкости, слабом голоске, болезненности и кротости, ей с детства присущи были самостоятельность, властность, воля. «...скажет тихо — и бык остановится с почтением, упрется рогами в землю перед этим кротким взглядом и тихим голосом», — написал о Наталии Александровне познакомившийся с ней через несколько лет Белинский. Уже в Вятку доходили до Герцена известия о той жестокой борьбе, которую приходится вести Наталии Александровне со всеми домашними: княгиня, узнав об их любви, сочла за благо поскорее выдать Наташу замуж — за кого попало, лишь бы не за него. Сватовство следовало



одно за другим — известия об очередном женихе приводили Александра Ивановича в ярость. Все присные княгини, во главе со священником, твердили, что пристроить сироту — но, уж конечно, не за ссыльного! — дело богоугодное. Священник объяснял, что даже выдать насильно — не грех. Приживалки шныряли по окрестным домам и приискивали жениха побогаче. Княгиня, щеголяя щедростью, давала за воспитанницей большое приданое: лишь бы упасти ее от брака с «несчастливым сыном брата Ивана». Старик Иван Алексеевич, невесту почему желая расстроить брак сына, тоже сочувствовал княгининим затеям: довольно ей сентиментальничать да письма писать, — говорил он о Наташе, — пора замуж. Одна Луиза Ивановна сочувствовала их любви, да что она могла сделать: ни княгиня, ни der Herr не считались с ней. Наташа отказывала и одному претенденту, и другому, и третьему, но жизнь ее в княжеском доме становилась все нестерпимее. Княгиня то запрещала ей выходить из комнаты, то приказывала нарядиться и выйти к очередному жениху, то велела не сметь и на глаза казаться. И вечный припев: «Ты убиваешь меня». Одно оставалось Наташе, запертой в своей комнате: перечитывать его письма, смотреть на его портрет и самой писать, писать ему... Обо всех перипетиях своей борьбы Наташа писала Александру, и это поднимало бурю в его душе и в его письмах. Он знал, что Наташа ни за кого не выйдет, но каждое сватовство приводило его в бешенство.

«У меня все внутри горит и кипит...» «Вот я воображаю этого господина жениха; так он хочет непременно сто тысяч, ровный счет и 4000 казенных процентов. А его убеждают: «Посмотрите, она хороша собой, — за это можно сбавить 15 000. «Так и быть, 10 000 руб. сбавляю». Боже мой, эту красоту, этот лик ангела, этот образ божества, всего святого для меня на земле, они его меряют рублями; подлецы! продают, как Иуда, — тот, по крайней мере, был с характером и повесился, а эти три века живут. Я ведь знаю их; как это все должно быть неделикатно, больно твоей нежной душе».

Этих преследований — не его, а Наташи — Герцен не хотел ни вынести, ни допустить. «О, я готова бежать в медвежью берлогу, в львиный ров!» — писала ему в отчаянье Наталия Александровна. И ее отчаяние побуждало Александра Ивановича искать выхода, действовать: ни он, ни Наташа не были людьми пустых сетований. Оба они были способны на смелые поступки, на борьбу, на действия. В январе 38 года, ощутив с приходом во Владимир близость к Москве, Герцен писал Наталии Александровне: «Ты терпела столько — терпи еще, до июля мы увидимся — я клянусь тебе». В феврале он написал: «Вижу, что пора кончить — и кончу, вот тебе моя рука». Бубенчики и колокольчики подсказывали дерзкие планы. В конце февраля 38 года у Герцена гостил брат Егор Иванович. В начале марта он собирался обратно, домой. И, услышав у крыльца почтовую тройку, Герцен принял внезапное решение.

«Егор Иванович собирался, мы сели обедать... Вдруг в сердце (не в голове) явилась мысль — такая светлая, что я едва мог ее вынести. Отвергнуть ее я не мог, я мог не ехать до нее, после — не мог».

С паспортом своего дворового человека Матвея Герцен сел вместе с братом в сани и помчался в Москву. Он трезво взвесил обстоятельства: самовольный приезд после отказа грозил ему солдатчиной, но он понимал, что ни княгиня, ни отец, если и обнаружат в Москве его присутствие, полиции знать не дадут. А на улицах Москвы кто его заметит, кто узнает?.. Хватятся во Владимире? Он вернется так скоро, что не успеют хватиться, а заметят — Курута найдет способ скрыть... Все это он додумывал уже в санях. Он молчал всю дорогу, пугая брата своей молчаливостью. Впереди была Никитская, Поварская, маленькие горницы княгининого дома — он готовился вступить в желанный мир и не в силах был говорить.

3 марта 38 года, на рассвете, с помощью верного Кетчера и верных слуг, Герцен и Наталия Александровна впервые увиделись на 10 минут после трехлетней разлуки.

С чужим паспортом Герцен трижды ездил из Владимира в Москву поглядеть с невестой. Издали, письмами к друзьям, он подготавливал все необходимое для тайного венчания, а она готовилась к побегу. Близилось «наше тогда»... Кетчер, приятель Сатина и Кетчера, математик Астраков, жена Астракова, подруга Наталии Александровны, Эмилия, добывали в Москве деньги в долг,

метрическое свидетельство невесты и ее свидетельство о рождении; а во Владимире Герцен готовил квартиру, где невеста могла бы провести несколько часов до венчания, хлопотал о разрешении архиерея, искал сговорчивого священника. Наконец, 8 мая, получив от друзей известие, что все готово, он снова поскакал в Москву.

Наташа в назначенный час тихо вышла из ненавистного дома. Кетчер, ожидавший на улице, увез ее за Рогожскую заставу, к Перову трактиру — туда и приехал извещенный Астраковым о благополучном начале побега Герцен. Жених и невеста сели в коляску и по той самой дороге, которая когда-то разлучила их — по страшной Владимирской! — помчались в «наше тогда».

9 мая они были обвенчаны в ямской церкви, в трех верстах от Владимира.

«Дивно было наше венчание, — писала Наталия Александровна московской подруге. — В одной карете ехали мы с Александром, рука с рукою вошли во храм, и священник-поэт венчал с чувством, с торжеством...»

«Теперь история, — писал Герцен Витбергу. — Я прискакал за Наташей, взял ее в коляску, в чужом платке, в чужом салопе, 8 мая, в обед, и поскакал назад. Тут все было готово. Смутно было на дороге, и опасения, и необъятность счастья — словом, ни я ни она не поняли, что мы едем вместе. Минутно вспыхивала душа, но постоянно была оглушена счастьем... В 5 часов после обеда мы приехали. Все было готово; но что всего лучше — и души наши изготовились... Не-



сколько дней после мы дивились друг на друга, как это случилось, спрашивали друг друга...»

«Счастлив ли я? — писал Герцен Витбергу. — Ну тут нечего и говорить, пусть скажет это м-ме Herzen сама».

И м-ме Herzen говорила, то есть писала: «Рай, рай, блаженство!»

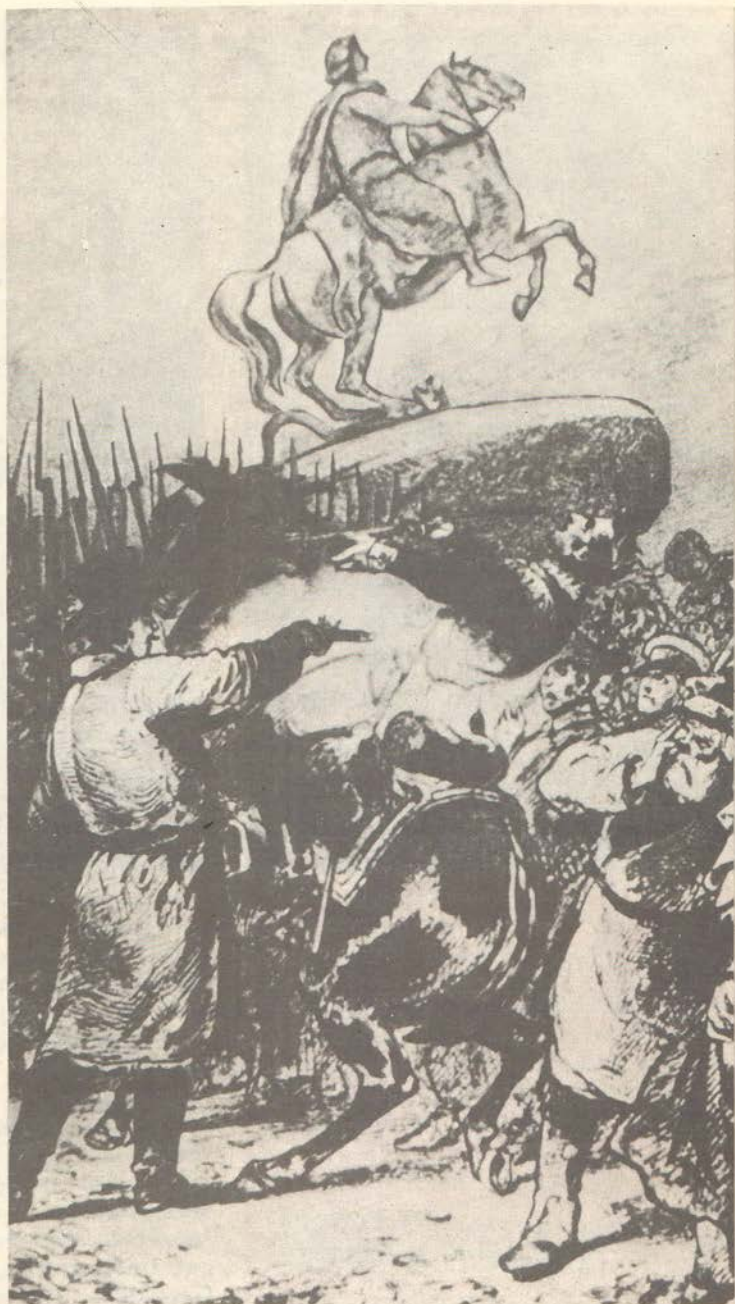
Жизнь остановилась — наступил покой, бестревожный, легкий. Счастье было такое полное, что Герцен иногда испытывал страх, не в силах верить, что они в самом деле, наконец, вместе, неразрывно, неразлучимо. «Мне так страшна эта жизнь постоянного безмятежного счастья, этой полной симпатии между мною и Наташей», — писал Герцен Витбергу. Но чем прочнее, тверже, надежнее ощущал он себя в своем счастье, тем больше высвобождалось у него сил — душевных и умственных — для иных мыслей, иных побуждений. Бестревожность, счастливый покой рождали не усыпление, а напротив — мечту о деятельности.

«Что о себе сказать — я счастлив, это дело решенное и известное, — писал Герцен Астакову через две недели после свадьбы. — Но вот что для меня ново. Гармоническое стройное бытие мое теперь разливает во мне какую-то новую силу, аминь минутам убийственного отчаяния... Имея залог от провидения, совершив все земное — является мысль крепкая о деятельности, скажу откровенно — я ее не ждал».

Он ее не ждал, а она подстерегала и все сильнее охватывала его. И Вятка, которая в те дни и минуты владимирской жизни, когда весь он был устремлен в Москву, казалась тенью, вымыслом, фантазмагорией, — Вятка, с грубым самовластием Тюфяева, воровством и проницательством чиновников, с куплей и продажей бумаг, с калечением человеческих судеб, с беззащитностью и темнотой деревень — все сильнее, как образ поработанной России, притягивала сердце и ум и чаадаевским голосом требовала отчета и ответа.

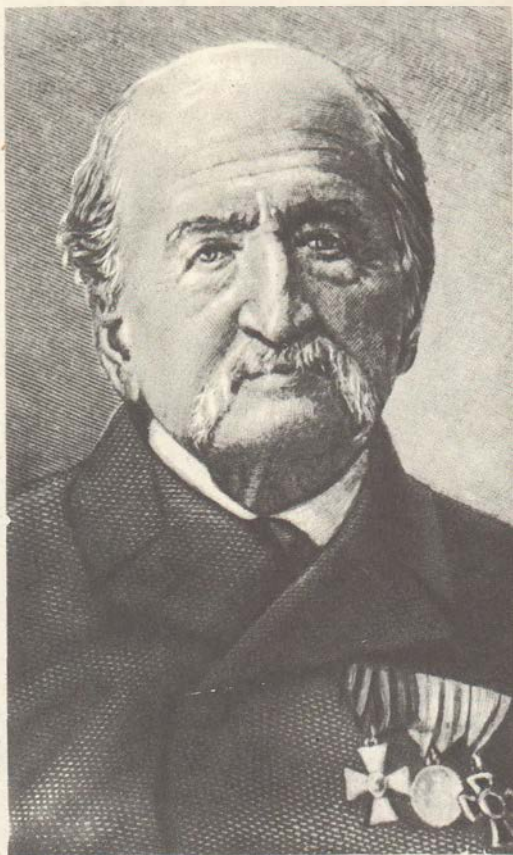
Не только умственного — нет, деятельного.







Н. Рабнина
Версия и документ



Упоминание о декабристах обычно вызывает цепь волнующих ассоциаций: трехтысячное каре на Сенатской площади, расстрелянное картечью, окрашенный кровью дробящийся лед Невы, мучительное следствие холодного, лицемерного Николая с глазами ласкового удава и тихий скрип гусиных перьев в каменных мешках Петропавловки, освещенных слабым мерцанием одиноких свеч.

Вспоминая декабристов, мы представляем Читю, Петровский завод, послание Пушкина, переброшенное трепетной женской рукой через забор острога, хрупкого белокурого Одоевского, его ответ великому поэту из

сибирских рудников: «К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели».

Иногда к этой цепи образов мы добавляем сведения о просветительской деятельности декабристов в ссылке, открытии ими в Сибири первых женских школ, учительстве и врачевании и «каторжной академии» первых русских революционеров.

Но из объекта внимания историков, беллетристов, а посему и читателей, как-то всегда ускользала полоса жизни и, если хотите, общественной деятельности участников движения 1825 года, декабристов-стариков, возвратившихся после частичной амнистии в Европейскую Россию.

Однако несколько десятков могилок дожили до этих лет, оказались свидетелями новой политической бури, оказались современниками революционной пропаганды Герцена и Чернышевского и сказали свое слово об «освобождении» крестьян.

Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу в исторической литературе не повезло. Во-первых, потому, что о нем мало писали, а во-вторых, потому, что и то малое, что появилось в литературе об одном из основателей первых декабристских организаций в России, одном из руководителей восстания на юге и брате казненного Сергея, и то малое было обидно искажено.

С легкой руки издателя весьма лояльного журнала «Русский архив» П. И. Бартенева сразу после смерти девяностотрехлетнего декабриста получила право на существование версия, будто Муравьев-Апостол всю жизнь терзался раскаянием по поводу революционного выступления 1825 года и отрицал, что корни движения 14 декабря лежали в самой русской действительности. Будто возвратившийся из ссылки в 1856 году шестидесятипятилетний крамольник превратился в благонамеренного старичка, обожающего монарха, являющего пример кротости и смирения.

А в 1922 году исследователь С. Я. Штрайх пошел еще дальше Бартенева.

Штрайх взял под сомнение самую самостоятельность политических убеждений Муравьева, его способности как политического деятеля и называл его просто-напросто: «бледным холодным спутником» Сергея Ивановича. Историк не поспешил на эпитеты. Матвей Иванович Муравьев-Апостол был разжалован из мучеников и героев как «представитель среднего типа декабристов, богато одаренных по условиям рождения, среды и воспитания, но робких и очень скромных по личным качествам, лишенных революционного порыва, творчески преобразовательных замыслов и бунтовщических дерзаний»¹.

Проникнувшись совершенным пренебрежением к «бледному холодному спутнику», С. Я. Штрайх, ничтоже сумняшеся, заявил: «Матвей Иванович писателем не был. Он даже и писать-то не умел по-русски. Думал и писал по-французски»².

Впечатление о бедном старике, попавшем в водоворот страшных для него событий, что и говорить, создавалось удручающее.

В ближайшие после 1922 года 10, 20, 30 лет поправок точки зрения Штрайха не последовало. В исторической литературе продолжала бытовать версия о М. И. Муравьеве-Апостоле как о полуаудиозной, слабой, случайной фигуре в декабристском движении.

Но, наконец, около четырех лет назад в сборнике «Декабристы в Москве» была опубликована небольшая статья Л. А. Сокольского «К московскому периоду жизни М. И. Муравьева-Апостола». Автор привлек материалы московских архивов и периодики прошлого столетия. Произошла переоценка ценностей: «Приведенные нами данные,—писал Сокольский,—помогают восстановить подлинный облик вернувшегося из сибирской ссылки декабриста. Они опровергают вымыслы

¹ Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С. Я. Штрайха, Пг., 1922, стр. 5.

² Там же, стр. 10.

о том, что после 1825 года М. И. Муравьев-Апостол будто бы отгородился от современной общественной жизни и изменил идеалам декабристской молодости»¹.

Сокольский избрал себе в союзники В. Е. Якушкина, внука одного из самых замечательных деятелей декабристского движения, неогибавшего Ивана Дмитриевича Якушкина. Союзник был весьма авторитетен уже потому, что близко знал Матвея Ивановича, дорожил декабристскими традициями и представлял человека передовых общественных взглядов.

А В. Е. Якушкин в год смерти Муравьева-Апостола свидетельствовал, что Матвей Иванович «до самого конца оставался верен своему прошлому не только по свежему о нем воспоминанию и по горячей любви к этому прошлому и к своим товарищам, но также и по верности своим высоким гуманным принципам»².

Мы толковали об отношении исследователей к оценке личности М. И. Муравьева-Апостола. Разговор был, собственно, начат потому, что автору данной статьи удалось ознакомиться с интересным и неопубликованным источником — письмами М. И. Муравьева-Апостола к декабристу Г. С. Батенькову, письмами 1858—1862 годов. Они давали представление и о политической позиции декабристов в этот период, а также о характере мировоззрения самого Муравьева, его симпатиях, антипатиях, чаяниях и надеждах.

Находка полновесного, неопубликованного материала, касающегося революционеров первого поколения, — это не столь уж частый подарок судьбы для историка.

Письма хранятся в личном фонде Г. С. Батенькова в рукописном отделе Библиотеки имени В. И. Ленина. Через тематику «Батеньков» я к Муравьеву и пришла.

Писем семь. Они написаны на глянцевитых листочках почтовой бумаги, бисерным, мел-

ким, изящным почерком, столь обычным для прошлого века. Черные чернила местами выцвели. На маленьких белых конвертах сохранились печати красного сургуча.

Письма написаны на отличном русском языке, сейчас кажущемся немногим архаичным, уснащены речевыми народными оборотами.

Взяв в руки документ, видя его и прикасаясь к нему, даже лишенный фантазии человек испытывает легкое волнение и мысленно переносится в другую, далекую жизнь, забывая об окружающем.

Глубокая тишина, в которую погружен небольшой читальный зал рукописного отдела, малое число посетителей и зимняя вечерняя стужа за двойными рамами окна бывшего румянцевского музея очень этому способствуют. Тишина, зима и сумерки, кстати, лучшие спутники воображения.

Итак, я держу в руках письма, написанные более ста лет назад, письма одного из тех, чьи имена превратились в легенду. Опубликованные воспоминания, свидетельства очевидцев, материалы периодики и, наконец, неопубликованные письма дают возможность проследить политическую жизнь брата повешенного, деятеля 14 декабря, современника трех революционных ситуаций и шести императоров, проследить эту жизнь во всей естественной и закономерной сложности ее, воссоздать канву убеждений и поступков, иногда лишенных схематичной прямолинейности, но от того не менее значительных.

Биография его была трагичной, романтической и длинной. Он был старшим сыном

¹ Л. Сокольский, К московскому периоду жизни М. И. Муравьева-Апостола. — В кн.: «Декабристы в Москве». М., «Московский рабочий», 1963, стр. 258.

² В. Е. Якушкин, М. И. Муравьев-Апостол. «Русская старина», 1886, № 7, стр. 168. См. также Н. Я. Эйдельман, Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966, стр. 69, 118, 120, где автор высказывает предположение о том, что М. И. Муравьев-Апостол мог быть в 1857—1858 гг. корреспондентом «Полярной звезды».

крупного государственного сановника, посла в Испании и поклонника эллинской философии и литературы Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. Мать его — дочь сербского генерала Черноевича. Он родился 25 апреля 1793 года.

Детство и отрочество провел за границей. До 1809 года жил с матерью в Париже. Так же как и второй сын, Сергей, получил блистательное домашнее воспитание, затем учился в Парижской политехнической школе.

Родители пожелали, чтобы их первенец избрал для себя профессию инженера — в Петербурге Матвей поступил учиться в корпус путей сообщения.

Но угроза войны, общий подъем патриотизма и мечты о подвигах на поле брани заставили юношу отказаться от подобной будущности.

В конце 1811 года молодой Муравьев-Апостол уже служит подпрапорщиком гвардейского Семеновского полка. Восемнадцатилетний подпрапорщик вместе с товарищами Николаем Николаевичем Муравьевым (будущим известным военным деятелем, генералом Муравьевым-Карским), Артамоном Муравьевым (будущим политкаторжанином) и братьями Перовскими увлекается проектами создания республики на острове Сахалин и просвещения местных жителей. Молодые люди, готовясь к отъезду на остров Чока, как назывался тогда Сахалин, изучают различные ремесла. Матвей старательно учится столярному мастерству.

Едва началась Отечественная война, юный республиканец, естественно, оказался на театре военных действий. Он отличился в Бородинском сражении, был ранен во время заграничных походов под Кульмом и в 1814 году брал Париж. За смелость в бою Матвей получил высший русский военный орден — георгиевский крест.

В 1816 году Матвей Иванович Муравьев-Апостол — среди основателей первой тайной революционной организации Союза Спасе-

ния, в 1818 году он один из учредителей более разветвленного и значительного Союза Благоденствия.

Переведенный на Украину из расформированного, восставшего Семеновского полка, он занял пост адъютанта малороссийского генерал-губернатора князя Н. Г. Репнина-Волконского. На торжественном обеде в Киеве Матвей Иванович демонстративно отказался поднять тост за здоровье государя и вылил вино на пол. На это Репнин, генерал-губернатор, кстати брат декабриста С. Г. Волконского, отрезвляюще-холодно заметил молодому адъютанту: «Рано свои знамена показываешь»¹.

Близко знавший Муравьева-Апостола Николай Николаевич Муравьев-Карский о нем писал: «Матвея Муравьева-Апостола я очень любил. Он благородный малый и прекрасного нрава... правила чести его безукоризненны»².

В 1823 году, как доверенный Пестеля, Матвей Иванович поехал в Петербург. Он вел переговоры с Северным обществом о слиянии, съезде и выработке общей программы. Он принял в члены общества нескольких молодых кавалергардов, переправил проект конституции северян через Поджио к Пестелю на юг и готовил себя к тому, чтобы стать участником «когорты обреченных». Предполагалось, что в «когорту» войдут десять молодых людей, не связанных семьями, безупречно смелых и самоотверженных: заведомо зная о личной обреченности своей, они должны решиться на истребление царской фамилии.

Однако по натуре молодой заговорщик был очень скромн, деликатен, даже робок. Он тяготел к тихой деревенской жизни, к уединенному чтению и переживал пору

¹ «Декабристы на поселении». М., 1926, стр. 102.

² «Воспоминания Н. Н. Муравьева-Карского». «Русский архив», 1885, № 9, стр. 11.

нежной влюбленности в красавицу княжну Хилкову.

В августе 1824 года Матвей Иванович вышел в отставку. Он поселился в своем имении Полтавской губернии, часто наезжал к соседу Трощинскому, где встречал очаровавшую его княжну: он мучился неразделенным чувством. В ту пору Матвей отправил брату Сергею Ивановичу письмо в расположение Черниговского полка. Оно датировано 3 ноября 1824 года. В оценке политических позиций Муравьева С. Я. Штрайхом это письмо оказалось сакраментальным. Оно проникнуто скепсисом, холодком разочарования, неверием в наличие реальной силы для революционного выступления, иными словами, Матвей Иванович пытается остановить руку с занесенным уже карающим мечом: «Наши силы чисто внешние, у Вас нет ничего надежного. Нам нечего спешить, и в данном случае я не понимаю, как можно произносить это слово. Чтобы построить большое здание, нужен прочный фундамент, а о нем-то менее всего думают у Вас. Будет ли нам дано пожать плоды нашей деятельности — это в руке провидения: мы же должны исполнять свой долг — не более»¹.

«Я был на маневрах гвардии; полки, которые подверглись таким изменениям, не дают больших надежд. Даже солдаты не так недовольны, как мы думали. История нашего полка совершенно забыта <лейб-гвардии Семеновского. — Н. Р.>»².

По этим фразам можно заключить только, что Матвей Иванович спорит против несвоевременности выступления, а не принципиально против восстания как такового. Он пытается отрезвить горячие головы юных заговорщиков и напомнить, что ежели уж выступление свершится, то не надо ждать за ним светлых заманчивых перспектив, а считать его исполнением необходимого долга — и только.

Думается, что этим положениям письма нельзя отказать ни в убедительности, ни в разумности, и в них можно увидеть все

тот же характерный для декабристов мотив жертвенности. Из этого документа также следует, что в ноябре 1824 года М. И. Муравьева-Апостола к левым по общественно-экономическим воззрениям отнюдь нельзя отнести. Аграрная программа П. И. Пестеля вызывает у него скептическую тираду, возможно, при существовавшей расстановке сил не лишенную практических оснований.

«Раздел земель, даже как гипотеза, встречает сильную оппозицию. И я спрашиваю Вас, дорогой друг, скажите по совести: возможно ли привести в движение такими машинами столь великую инертную массу? Наш образ действий, по моему мнению, порожден полным ослеплением. Не забывайте, что образ действий правительства отличается гораздо большей положительностью»³.

Он боится размаха революции, народного движения: «Допустим даже, что Вам легко пустить будет в дело секиру революции; но поручитесь ли Вы в том, что сумеете ее остановить? Армия первая изменит нашему делу...» Наконец, он не желает отрешиться и от узкого национализма: «Признаюсь, я еще более недоволен вашими переговорами с поляками... Я первый буду противиться тому, чтобы Польша разыграла в кости судьбу моей Родины»⁴.

Итак, в этом письме Матвей Иванович предстает перед нами как весьма умеренный представитель Северного тайного общества, стремящийся остановить пылких, решительных крайних южан, и если говорить о взаимовлияниях, то Матвей стремится безуспешно, но оттого не менее настойчиво, логично и убедительно повлиять на брата, а не наоборот.

¹ Декабрист М. И. Муравьев-Апостол, стр. 81—82.

² Там же, стр. 82.

³ Там же, стр. 81.

⁴ Там же.



Vue de la bibliothèque N° 20



Но из того же письма ясно, что подобный букет взглядов — нечто новое для его автора и, видимо, вызван одиноким сосредоточенным раздумьем и личными неприятностями:

«Не удивляйтесь перемене, происшедшей во мне, вспомните, что время — великий учитель... не выводите из всего этого заключения, дорогой друг, что я возненавидел людей и добродетель»¹.

Это письмо сослужило Муравьеву-Апостолу двойную службу: попав в руки следствия, оно убергло его от казни, а оказавшись в руках потомков, послужило возведению на него исследовательской хулы.

Однако под знаком лишь этого письма, как уже следует и из самого письма, неправильно было бы оценивать всю политическую деятельность Матвея Муравьева-Апостола периода до восстания и самого восстания.

Когда произошло знаменитое вооруженное выступление 14 декабря 1825 года, когда оно было разгромлено, Матвей оказался подле товарищей и горячо любимого брата, и вместе с раненным в голову Сергеем отставной офицер М. И. Муравьев-Апостол был захвачен на поле боя с оружием в ру-

¹ Декабрист М. И. Муравьев-Апостол, стр. 83.

ках, приняв участие в восстании шести рот Черниговского полка. Так на деле был решен вопрос долга и чести, вопрос гражданского достоинства.

На глазах Матвея и Сергея во время окружения царскими войсками революционных солдат застрелился младший родной брат Апостолов — девятнадцатилетний Ипполит.

17 января 1826 года арестованных южан заключили в Алексеевский рavelин Петропавловки. Началось следствие.

Он пытался взять вину на себя, спасти брата, намеренно увеличивая свою ответственность. После допросов Матвей писал записки. Они наполнены жалостью к осиротевшему отцу, тоской о близких, тревогой за брата, за строками рукописи угадывался нервный шок, но могло ли при подобном стечении обстоятельств и быть-то иначе? На рассвете 13 июля 1826 года его с товарищами вывели на крепостной плац. Над ними сломали шпаги, бросили мундиры в огонь. А на кронверке Петропавловки возвышались пять виселиц и ждали своих осужденных... Наверное, тогда ему тоже не хотелось жить.

Однако путешествие в кандалах по бескрайней России только предстояло: Форт Слава на берегу Финского залива, Шлиссельбургская крепость и, наконец, Вилюйск в оконечности Сибири.

Девяностолетним стариком за три года до смерти Матвей Иванович вспоминал: «Вилюйск, куда закинула меня судьба в лице петербургских распорядителей, помещался на краю света... Вилюйск нельзя было назвать ни городом, ни селом, ни деревней; была, впрочем, деревянная церковь, кругом которой расставлены в беспорядке и на большом расстоянии друг от друга якутские юрты и всего четыре деревянных небольших дома»¹.

Он поселился в юрте с льдинами вместо стекол, готовил сам себе в чувале обед, завел корову, читал и учил детей. С большой

теплотой вспоминал он о тамошних жителях: простых якутах, о столяре из бывших каторжников — казаке Жиркове, талантливом враче Уклонском, окончившем Московский университет с золотой медалью и спившемся от тоски, безысходности и праздности бытия.

В сентябре 1829 года ссыльнопоселенец Муравьев-Апостол был снова в пути — его перевозили в Бухтарминскую крепость Омского края². Это считалось высочайшей милостью, дарованной сестре политического преступника фрейлине Екатерине Ивановне Бибиковой по ее отчаянным ходатайствам и мольбам.

Проходили дни, месяцы, годы. Он любил бродить один, задумчивый стоял у частокола, смотрел в бескрайнюю степь. Местные жители низко кланялись, провожали долгими взглядами, полными уважения и сострадания, чиновники писали доносы и тем услаждали однообразную жизнь.

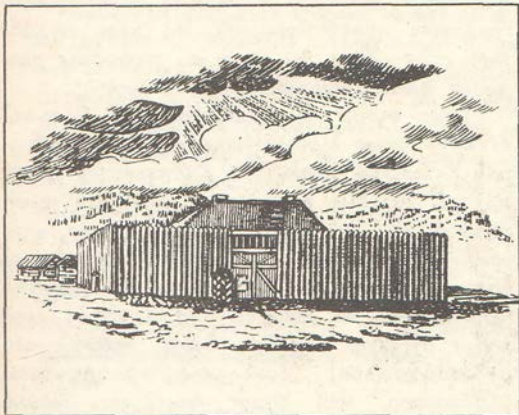
Екатерина Ивановна Бибикова — сестра присылала из Петербурга деньги, посылки, письма, орошенные слезами, присылала книги.

Через несколько лет политический преступник женился на милой девушке, дочери священника, Марии Константиновне Константиновой. Родился у них сын и совсем маленьким умер. Муравьевы-Апостолы взяли на воспитание двух сирот, дочерей ссыльных офицеров — Августу и Аннету.

После новых ходатайств сестры Матвею Ивановичу разрешили перебраться в Ялуторовск. Там жили на поселении товарищи: И. Д. Якушкин, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин, В. Н. Тизенгаузен, И. В. Басаргин, А. В. Ентальцев — целая декабристская колония. Стало легче.

¹ Воспоминания М. И. Муравьева-Апостола, записанные А. Вельевым в 1883 году. «Русская старина», 1886, № 9, стр. 529.

² См. С. Б. Гер — в, М. И. Муравьев-Апостол в Бухтарминской крепости. «Сибирский архив», 1912, № 8, стр. 657—658.



Кружок декабристов привлекал к себе местную интеллигенцию. Занимались просветительством, научным изобретательством, учительствовали, лечили, жадно читали: делали все, что могли, чтобы ощущать себя общественно полезными людьми, вкладывали свою лепту в преобразование тогда не освоенного и отсталого Сибирского края. И наконец, спорили, возвращаясь мыслями к прошлому.

Относительно того, какой позиции в этих спорах придерживался Матвей Иванович, у нас есть весьма замечательное и красноречивое свидетельство сына декабриста И. Д. Якушкина, Евгения Ивановича, в 1855 году посетившего отца и его товарищей в Сибири.

«Муравьев <Апостол.— Н. Р.> был, говорят, когда-то чрезвычайно веселый человек и большой остряк, — пишет Е. И. Якушкин жене. — Смерть двух братьев, Ипполита и Сергея, страшно подействовала на него — он редко бывает весел; иногда за бутылкой вина случается ему развеселиться, и тогда разговор его бывает забавен и очень остер... он самый ярый патриот из всех ялutorовских. Я редко заговаривал с ним о прошедшем, всегда боялся навести его на тяжелый разговор про братьев, но, когда бывало, Оболенский, защищая самодержавие,

не совсем почтительно отзывался об обществе, то Матвей Иванович распушит его так, что тот замолчит, несмотря на то, что охоч спорить»¹.

Пожалуй, здесь нечего добавить.

«По возвращении в 1856 году в Россию декабристы явились в русском обществе не как нечто чуждое и отжившее, а как сила живая, оригинальная и — прибавлю — полезная; не говорю уже о тех из них, которые имели возможность и силы еще принимать самостоятельное участие в общественной жизни... Вернувшиеся декабристы большей частью носили на себе явный отпечаток 20-х годов, сохранив свои широкие гуманные идеи, но это не мешало им любить и понимать новое время», — писал В. Е. Якушкин, внук декабриста².

Амнистированные поселились в разных городах Европейской России, исключая Петербург и Москву. Они продолжали поддерживать тесные связи между собою и жадно искали возможностей приложения остатков

¹ «Декабристы на поселении», стр. 31.

² «Русская старина», 1886, № 7, стр. 166.

сил к общественному движению нового времени.

Они не только делились воспоминаниями о днях молодости революционной, но работали в комитетах по освобождению крестьян, выступали в печати, служили мировыми посредниками и, занимая левые рубежи, сражались с крепостниками.

Шеф жандармов князь В. А. Долгоруков сообщил в феврале 1857 года военному генерал-губернатору Московской губернии Закревскому:

«До сведения государя императора дошло, что из лиц, по политическим преступлениям находившихся в Сибири... именно Муравьев-Апостол, Оболенский и Батеньков проживают в Москве без разрешения и позволяют себе входить в самые неприличные разговоры о царствующем порядке вещей»¹.

На обеде у калужского губернатора в день закрытия местного комитета по крестьянскому делу в июне 1859 года в связи с защитой декабристом Свистуновым крестьянских интересов, «члены комитета криками выражали свое негодование; губернский предводитель, сидевший возле губернатора за обеденным столом, вскочил и закричал: «Каторжник!»².

Тринадцать левых мировых посредников Тверской губернии, высланных по указанию правительства административным порядком из Твери, крепостники обвиняли в содружестве с проживавшими в этом городе «красными» — М. И. Муравьевым-Апостолом и пещершвецем Европеусом.

Перед крестьянской реформой декабрист Батеньков писал: «Материку точно настало время подниматься, но нужно, чтоб было кому вырезать на нем органические черты устройства совершенно нового и уметь спустить сильно накопившуюся болотную воду»³. А Матвей Муравьев-Апостол отвечал ему: «Пусть народу будет предоставлено право самому хлопотать о своих делах»⁴.

Первое письмо Муравьева-Апостола датировано 8 апреля 1858 года. Оно полно еще

радостных иллюзий и надежд относительно грядущих преобразований. Но ведь подобные иллюзии за три года до реформы разделял даже герценовский «Колокол».

«Читал вчера в «Петербургских ведомостях», — пишет Матвей Иванович, — что губернии Рязанская, Казанская, Костромская и две другие, которых не помню, собирают комитеты. В том же номере от 6 апреля есть замечательная статья о влиянии, разумеется благом, революции 1789 года на всю Европу. Читаешь — и не верится, что в руках держишь русскую газету. Одно жалко — это неповоротливое поведение дворянства... Воображаю, что будет чувствовать народ, когда ему возвратят права, несправедливо у него отнятые, ...когда он усвоит себе грамотность...»

Почему это счастье пало на удел наш? Почему тем из наших, которые так пламенно к нему стремились, не дано было узреть зарю прекрасного дня»⁵.

Однако время идет, раскрывается истинное лицо «освободителей», иллюзии исчезают.

21 ноября 1858 года, разочарованный и раздраженный, обращается Муравьев-Апостол к тому же Батенькову: «От плантаторов, видно, нельзя ожидать лучшего. Это служит верным доказательством необходимости нового элемента, чтобы оживить наше социальное состояние»⁶.

¹ Л. Сокольский, К московскому периоду жизни М. И. Муравьева-Апостола, стр. 236.

² А. А. Корнилов, Крестьянская реформа в Калужской губернии при В. А. Арцимовиче. М., 1904, стр. 115.

³ Отдел письменных источников Государственного исторического музея в Москве (ОПИ ГИМ), ф. 297, ед. хр. 10.

⁴ Рукописный отдел Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (РОГБЛ), ф. 20, картон 12, ед. хр. 32.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

Каков подтекст этой фразы? Имеет ли в виду декабрист развитие буржуазных отношений в России и соответственно допущение буржуазии к управлению или он говорит о необходимости привлечения молодой разночинной интеллигенции к разрешению крестьянского вопроса? Определенно на этот вопрос ответить трудно. Думается, что Муравьев-Апостол скорее подразумевает второе. Но как бы там ни было, твердо можно сказать, что старый дворянский революционер ясно ощущает сдвиги в общественно-экономическом положении страны и приветствует их.

«Я слышал, — пишет он далее, — что Вы занимаетесь каким-то переводом. Вы оказали бы лучшую нам услугу, если бы сообщили Ваши воспоминания о прошедших временах, о тех людях, с которыми по обстоятельствам Вы находились в близких сношениях. Есть о чем нам с Вами поговорить»¹.

Мы убеждаемся, читая эти слова, в любовно-ревностном отношении М. И. Муравьева-Апостола к революционному прошлому декабристов, мы чувствуем в этих словах желание, чтобы вопреки официальным версиям информация о прошлом дошла до потомства.

Шестидесятипятилетнего старика, тридцать лет прошедшего в ссылке, волнуют отнюдь не только «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»: он с чрезвычайной живостью и горячностью откликается на события настоящие.

«Всякий факт имеет свой смысл — во время досужих часов Вашего путешествия удалось ли Вам открыть смысл этих пожаров, от которых наша Россия бедствовала на таком огромном пространстве в прошлом лете? Стоило, кажется, приложить хотение и, разумеется, умение; вся наша родная неурядица так явно себя обнаруживает эти последние годы, начиная от несчастной войны до нынешних пожаров... от качки на одном месте прочность судна теряет»².

Этот отрывок приведен из письма от 22 ок-

тября 1859 года. Радостные ожидания реформы сменяются скептицизмом, автор письма подчеркивает закономерность внутренних потрясений.

Проходит несколько месяцев; разочарование и сарказм венчаются гражданским гневом. 29 мая 1860 года Батенькову в Калугу отправлено новое письмо: «На чем остановился вопрос об освобождении крестьян, нет ничего положительного. Слухов много... Когда гласности бояться во всем и во всех, недоразумения неизбежны»³.

И в следующем письме от 27 сентября 1860 года он уже воскликнет гневно и зло: «Пусть народу будет предоставлено право самому хлопотать о своих делах... Великий Новгород, государь наш, доказал исторически, что нашему народу не чужда мысль о народоуправстве»⁴.

Последнее письмо Муравьева, хранящееся в личном фонде Гавриила Степановича Батенькова, относится к 1862 году. Оно написано 20 ноября.

За два месяца до его написания арестовали Чернышевского, еще раньше Третье отделение составило записку «О чрезвычайных мерах», был проведен обыск у пятидесяти сомнительных лиц, в число коих попали почти все сотрудники «Современника», началась «эпоха прокламаций» и студенческих революционных волнений. Студенческое движение совпало случайно с пожарами в столице. Были ли эти пожары провокацией охранителей или нет, но правительство и реакционная пресса использовали их как средство контрпропаганды: в поджогах обвиняли студентов, революционеров, играя на темных инстинктах полуграмотных обывателей.

Реакция нагнела, либералы резко качнулись вправо, произошла перестановка сил.

¹ РО ГБЛ, ф. 20, картон 12, ед. хр. 32.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

А старый декабрист писал уже из Москвы своему ровеснику, единомышленнику и другу: «Грозные слухи ходили весной в Белокаменной о пожарах, которыми угрожали, о поджигателях, которым, признаться, не верю»¹. Он толковал «о необходимости судоустройства и судопроизводства нашего» и о постыдном взяточничестве и казнокрадстве, процветающих в государственных учреждениях.

Кроме выдержек из писем к Батенькову, я позволю себе привести отрывки еще из нескольких документов.

Во время пребывания Матвея Ивановича в Твери его навещил генерал, наместник Кавказа Николай Николаевич Муравьев-Карский, друг молодости декабриста, потом отошедший от движения. В тетрадке ссыльного петрашевца Толя, близкого к Муравьеву-Апостолу, в связи с этим есть знаменательная запись: «...Он <Муравьев-Карский. — Н. Р.> был очень любезен и сказал, что время их прекрасных общих мечтаний всегда дорого его сердцу. «Поздравляю тебя не за себя, а за тебя самого», — сказал Матвей Иванович»².

Старик Муравьев-Апостол оставил интересное описание семеновской истории — востания в 1820 году лейб-гвардии Семеновского полка. «Мыслимо ли было бить героев, отважно и единодушно защищавших свое отечество, несмотря на существовавшую крепостную зависимость?»³ — писал он. «Михаил Павлович, только что снявший детскую куртку, был назначен начальником 1-й пешей гвардейской бригады. Доброе сердце великого князя, — замечал с тонкой язвительной иронией Муравьев, — о котором так много ныне пишут, было возмущено, узнав, что мы своих солдат не бьем»⁴. «Александр после 1812 года, — отзывается декабрист об императоре, — сбросил личину благодущия»⁵.

И наконец, хочется привести отрывок из неопубликованного письма М. И. Муравьева-

Апостола, написанного за восемь лет до смерти — 6 марта 1878 года — своей воспитаннице Августе Павловне Созонович.

«Граф Лев Николаевич Толстой — автор романов «Война и мир», «Анна Каренина» — с последним своим приездом в Москву... навещил меня два раза... Л. Н. пишет роман, в котором декабристы явятся на сцену. Придется ему разрешить весьма трудную задачу. Нет возможности не упомянуть о последних годах царствования Александра I, иначе не поймут причину, почему явились в России мы, грешные декабристы. Сообщил *entre nous* Л. Н., что по случаю болезни своего брата М. А. Фонвизину было разрешено возвратиться в Россию в 1854 году. М<ихаил> А<лександрович> заезжал в Ялуторовск, чтоб проститься с образцовой колонией, так называлась Ялуторовская колония нашими товарищами. Когда наступил час расставания, М. А. нас всех дружески обнял. Ивану Дмитриичу <Якушкину. — Н. Р.> поклонился в ноги за то, что он принял его в наш Т<айный> С<юз>. После долголетней ссылки, особенно отягченной, поступок М. А., человек он был положительный, дает понятие о Т<айном> С<юзе>»⁶.

И как же после этих черным по белому рукою самого Апостола и близких к нему людей написанных строк тяжело и обидно читать некролог о Матвее Ивановиче в «Русском архиве», которым вольно или невольно издатель умертвлял честное имя усопшего декабриста.

«Когда по возвращении в Россию Матвей Иванович поселился в Твери, тогда местные

¹ РО ГБЛ, ф. 20, картон 12, ед. хр. 32.

² «Декабристы на поселении», стр. 134—135.

³ Из записок декабриста М. И. Муравьева-Апостола. Сообщ. А. Созонович. «Голос минувшего», 1914, № 1, стр. 133.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ ОПИ ГИМ, ф. 249, ед. хр. 2.

либералы также титуловали его мучеником и выражали сочувствие, что 14-е декабря не имело успеха. Они очень удивились и даже разочаровались на счет его, когда Матвей Иванович сказал им, что они никогда не считали себя мучениками, а покорялись законам своей земли; что правительство обязано блюсти государство; что он всегда благодарил бога за неудачу 14-го декабря; что это было не Русское явление, что мы жестоко ошибались, что конституция вообще не со-

ставляла счастья народов, а для России в особенности не пригодна¹.

Умер девяностотрехлетний декабрист М. И. Муравьев-Апостол, и родилась несправедливая версия о его ренегатстве. Задача историка — заставить снова заговорить документы вопреки версии и во имя правды.

¹ М. И. Муравьев-Апостол, «Русский архив», 1886, № 5, стр. 144.

Округъ военного поселенія
Гренадерскихъ полковъ
**Ихъ Величества: Императора Австрій-
скаго и Короля Прусскаго, Наслѣднаго
Принца Прусскаго и
Графа Аракчеева**
Въ Новгородской Губерніи



Н. Я. Эйдельман
Не было — было
Из легенд прошлого столетия

Перелистываю старинные русские газеты. Известия внутренние, иностранные, коммерческие, корабельные, театральные...

«О прибытии в столицу и отбытии лиц первых 4-х классов...»

«Мы, Николай Первый, император и самодержец Всероссийский, великий князь Финляндии, и прочая, и прочая, и прочая, объявляем...»

«Привезено в г. Санкт-Петербург через заставы и бронтвахты в течение дня телят 150 штук, баранов 37, свиней 19, масла чухонского 17 пудов, яиц. 19 000 штук...»

КОЛОКОЛЬ

ПРИБАВОЧНЫЕ ЛИСТЫ КЪ ПОЛЯРНОЙ ЗВѢЗДѢ.

VIVOS VOVO:

ЛИСТЪ 17.

15 Юня 1858.

Выходитъ два раза въ мѣсяцъ въ Лондонѣ, въ 6 пенсовъ. Получается въ Большой Рискской Типографіи — 2, Judd Street, Brunswick Square, W. C.

У Триггера & Со. въ оптовой лавкѣ, 60, Paternoster Row., и у Тьервоската, 39, Rupert Street, Haymarket, London. Price six-pence.

НОВГОРОДСКОЕ ВОЗМУЩЕНІЕ ВЪ 1831.

(продолженіе)

Соединившись въ общую толпу, поселяне нѣкоторые кричали: ведите его разбойника на судбище во 2 роту, тамъ мы съ нимъ расправимся, и толпа пошла во 2 роту. Я ѣхалъ съ ними, но предъ концомъ дороги нѣсколько обогналъ и подѣхалъ къ оставшимся въ ротѣ мѣнѣ буйнымъ, рассказалъ имъ, что Соколовъ идетъ къ нимъ и уговаривалъ, чтобы его не трогали, а отдали бы мнѣ подѣ арестъ, или отправили бы съ тѣми, кои пойдутъ съ жалобами въ Петербургъ. Мнѣніи были разныя, кто кричалъ посадить его за желѣзную решетку, кто предлагалъ тащить въ рягу и тамъ покончить, т. е. убить. Въ это время привели Соколова, шумъ умножился, партія неистовыхъ потащила его въ рягу на убійство, моя бросилась отнять и рвала его на гауптвахту, осыпая побоями какъ та, такъ и другая. Разъ 12 несчастный Соколовъ былъ перетас-

авпередъ же майоръ Балашъ съ нѣсколькими людьми — и нѣющими ружья на перевѣсъ шагнулъ въ 30 отъ колонны идти къ намъ. Полагая что майоръ осматриваетъ позицію, я сказалъ поселянамъ, что пойду переговорить съ майоромъ, чтобы не стрѣлялъ; пошелъ къ нему на встрѣчу, и подхола сказалъ: ну слава Богу что вы пришли. Но майоръ Балашъ мнѣ отвѣтилъ: что дѣлать, я не виноватъ ни въ чемъ, ведуть меня убивать. Видя, что и тутъ нѣтъ спасенія, я отправился къ баталіону и оный остановилъ, скомандовалъ наданъ: баталіонъ стой. Подошедши ближе я началъ говорить солдатамъ что поселяне выбрали меня надъ собою начальникомъ, что мы вѣрны государю императору, что Бутовичъ убить и потому я, какъ старшій въ округѣ, принялъ на себя командование; повторилъ все то, что говорилъ я поселянамъ на счетъ офицеровъ посаженныхъ на гауптвахту, привазалъ кричать государю ура. Баталіонъ закричалъ ура; человекъ 6 офицеровъ были по флангамъ взводовъ по уставу.

«Отпускается в услужение¹ горничная девушка, умеющая шить и вышивать...»

«Отослан в Сибирь на поселение называющийся себя г-на Стакельберга крестьяниномъ Михайла Егоров: рост 2 аршина 2 вершка, лицомъ бел, глаза серые, носъ невеликъ, от роду ему 17 лет. Имеющие на означенного человека доказательства могутъ предъявить оныя куда следуетъ в установленный закономъ срок...»

Все обстоятельно и надежно. А остальное — не для печати: секретно или несущественно.

Две истории XIX века: явная и тайная.

Первая — в газетах, журналах, манифестах, репеляциях. Вторую — в газету не пускают и

не выпускают из цензуры, отчего она привычно переселяется в сплетню, анекдот, эпиграмму, наконец, в рукопись, расходящуюся среди друзей и гибнущую при одном виде жандарма.

Явная история кончины Петра III заключалась в геморроидальной колике, доконавшей отставленного императора. Соответственно, 11 марта 1801 года Павел Петрович не выдержал апоплексического удара...

ИЗДАНИЕ 2-е

СПИСОК — СПИСОК

¹ То есть: продается. Со времени Александра I выражались именно так.

И все-таки тысячи людей знали во всех подробностях нигде не напечатанную тайную историю о том, кого и как колотили и душили на Ропшинской мызе 5 июля 1762 года и в Михайловском замке ночью 11 марта 1801 года и что действительно происходило на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

«Народ мыслит, несмотря на свое глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушать мнения, которых ему не дают выразить». (Декабрист Михаил Лунин — в письме к сестре из сибирской каторги.)

14 декабря 1825 года началось «секретное царствование» Николая I. «Мы существуем для упорядочения общественной свободы и для подавления злоупотреблений ею» (Николай I). Если бы некто вздумал восстановить историю тех лет по газетам, то не досчитался бы доброй половины событий, происшедших с 1825 по 1855 год. «Мы существуем для упорядочения общественной свободы и для подавления злоупотреблений ею»...

Не было голодных лет.

Не было государственного бюджета (никогда не публиковался!).

Не было декабриста Батенькова, разучившегося говорить за двадцать лет одиночного заключения.

Не было Герцена и Огарева, высланных в 1835-м.

Не было ужаса военных поселений.

Как бы и не было революций в Европе!

Особенно многого не было в 1831 году.

1831

Польша восстала, Николай послал армию, война затянулась: «Всеавгустейший монарх поспешил изъявить свое благоволение храбрым егерям в следующих словах: «А молодцам егерям громкое от меня «спасибо, ребята!».

Эпидемия холеры. «Покорствуя неисповедимым судьбам всевышнего, мы, Николай I...

не преминули употребить все возможные усилия для подания помощи страждущим».

«В городе Могилеве с 14 по 23 мая от холеры заболело 467, выздоровело 153 и умерло 98 чел. В городе Минске и в губернии заболело 1912, выздоровело 688 и умерло 996 человек. В городе Риге выздоровело 167 и умерло 678...»²

Все это из газет³.

В те же дни накапливалась и тайная история — военная, холерная, кровавая.

3 августа 1831 года Пушкин, окруженный карантинами и заставами в Царском Селе, отправляет письмо П. А. Вяземскому в Москву: «...Нам покамест не до смеха: ты, верно, слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезали в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там чет-

¹ По данным Третьего отделения, некоторые молодые люди восхваляли короля французского Луи Филиппа, возведенного на трон июльской революцией 1830 года «под условным именем Леонтия Васильевича» (так звали Дубельта, начальника штаба корпуса жандармов).

² Общего числа заболевших — не менее 100 тысяч человек — печать, разумеется, не сообщала.

³ Кроме того, министерство внутренних дел напечатало «Наставление к распознаванию признаков холеры, предохранению от оной и первоначальному ее лечению», запрещавшее... «жить в жилищах тесных и нечистых, предаваться гневу, страху, унынию и беспокойству духа и вообще сильному движению страстей».

верили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. — Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы...»

В те же дни Пушкин записывает известия о каком-то жандармском офицере, который взял власть над мятежниками и будто бы отговорил их от некоторых убийств...

Только что в последних «болдинских» главах «Онегина» Пушкин простился с молодостью. Со старым будто покончено. В 1831-м «юность легкая» прекращена женитьбой, переездом в Петербург, стремлением к устойчивому, положительному вместо прежних шалостей и отрицаний. Совершенно искренние иллюзии, жажда иллюзий в отношении Николая («правительство все еще единственный европеец в России. И сколь грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания...»). А. С. Пушкин — П. Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г. Черновик). Новгородский и старорусский бунт кажется «бесмысленным и беспощадным», пугает как возможность гибели той цивилизации, которой он, Пушкин, порожден и частью которой уж является. Присматриваясь к разбушевавшейся народной стихии, он понимает, что у тех — своя правда, свое право, свой взгляд на добро и зло, выработанный барщиной, розгой и рекрутчиной.

«Он для тебя Пугачев... а для меня он был великий Государь Петр Федорович...» — отвечала древняя старуха на расспросы Пушкина.

Мысль о грядущих катаклизмах поэта чрезвычайно занимает, и он пробует их разглядеть.

Однажды великий князь Михаил Павлович рассуждал об отсутствии в России tiers état¹, «вечной стихии мятежей и оппозиции». Пушкин возразил: «Что касается до tiers état, что же значит наше старинное дворянство с именьями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью

противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много» (Дневник А. С. Пушкина, запись от 22 декабря 1834 года).

Мысль точная, замечательная и, конечно, обдуманная задолго до разговора с Михаилом: образованное меньшинство, составив революционную партию, может максимально усилить «первое новое возмущение».

Четверть века спустя А. И. Герцен напишет: «Первый умный полковник, который со своим отрядом прикнет к крестьянам, вместо того чтобы души их, сядет на трон Романовых». Герцен симпатизирует «умному полковнику».

Пушкин пристально интересуется всеми случаями такого рода — всеми «белыми воронами» — дворянами и офицерами, которые меняли лагерь и уходили к Пугачеву или другим бунтовщикам: таков Шванвич, сын кронштадтского коменданта — «из хороших дворян» (Алексей Швабрин из «Капитанской дочки»); таковы, по слухам, были начальники, выбранные новгородскими военными поселенцами «из инженеров и коммуникационных». Из таких же, наконец, Дубровский (1832 год).

Потом возникают и другие фигуры — реальные и вымышленные: дворяне, офицеры, насильно увлеченные в бунт, бунтовщики поневоле — полумифический «жандармский офицер», который будто бы умерял гнев новгородских поселенцев, и «совершенно реальный» Петруша Гринев².



¹ Третьего сословия (франц.).

² В приложениях к изданию «Капитанской дочки» в серии «Литературные памятники» (М., «Наука», 1964) подробно рассмотрено, как перерабатывалось поэтическим воображением Пушкина виденное и слышанное в 1830—1831 годах: «Народный бунт...», «Пугачевщина...», «История Пугачева...», «Капитанская дочка».



Летом 1831 года много говорили о «силе духа императора...» и «усмирении о паразитическом мужеством...». Явная история кокетничала с тайной. О бунтах поселян и других беспорядках не печаталось почти ничего, но слухи о храбрости монарха распространялись и поощрялись. Приводились (устные, рукописные) доказательства — вполне убедительные¹.

Царь храбрый или трусливый — это серьезный политический вопрос.

Газеты не скрывали, что 14 декабря 1825 года монарх проявил «великодушное мужество, разительное, ничем не изменяемое хладнокровие, коему с восторгом дивятся все войска и опытейшие вожди их», шестилетнего же наследника «вынесли солдатам, что придадо им твердость и мужество».

В Петербурге на Сенной площади 22 июня 1831 года — шумная толпа (слухи об отравителях!). Николай I является: «На колени!..» Все опускаются на колени.

Через несколько недель снова «паразитическое мужество монарха», на этот раз — в военных поселениях.

Собственно, никто никогда не объявлял противоположного: что царь — трус. Он и не был трусом, но обстоятельства были темны, грязны, требовали поэзии. Храбрость



привлекает, порою окрашивает в благородные цвета вовсе не благородные действия. Такое дело, как подавление бунта, требовало нежной окраски. «Николай Павлович, — по словам Герцена, — держал тридцать лет кого-то за горло, чтобы тот не сказал чего-то».

И, держа за горло, все доказывал, доказывал...

«Санктпетербург, 8 августа 1831 года. Высочайший манифест.

Божией милостью, Мы, Николай первый, император и самодержец Всероссийский... и прочая, и прочая, и прочая... В столице в середине июня простой народ, подстрекаемый злонамеренными людьми, покусился насильственно сопротивляться распоряжениям начальства и пришел в чувство только тогда, когда личным присутствием Нашим уверился в справедливом негодовании, с каким мы узнали о его буйстве... Злодейство, несвойственное доброму и православному народу русскому, совершено в городе Старой Руссе и в округах Военного поселения гренадерского корпуса. Ныне восстановлен уже там повсеместно должный порядок: виновные пре-

¹ А. С. Пушкина информировал Н. М. Коншин — поэт и член следственной комиссии по делам о новгородских бунтовщиках.



даются в руки правительства самими заблужденными, и главнейшие из них подвергнутся примерному законному наказанию».

Бенкендорф записывал (опубликовано шестьдесят лет спустя): «Государь приехал прямо в круг военных поселений и предстал перед собранными батальонами, запятнавшими себя кровью своих офицеров. Лиц ему не было видно; все преступники лежали распростертыми на земле, ожидая безмолвно и трепетно монаршего суда...»

Сам Николай писал генералу П. А. Толстому (письмо, опубликованное в начале XX века):

«Я один приехал прямо в австрийский полк¹, который велел собрать в манеже, и нашел всех на коленях и в слезах и в чистом раскаянии... Потом поехал в полк наследного принца, где менее было греха, но нашел то же раскаяние и большую глупость в людях, потом в полк короля прусского; они всех виновнее, но столь глубоко чувствуют свою вину, что можно быть уверен в их покорности. Тут инвалидная рота прескверная, которую я уничтожу. Потом — в полк графа Аракчева; то же самое, покорность совершенная и раскаяние... Кроме Орлова и Чернышева, был один среди них, и все лежали ниц! Вот русский народ!.. Бесподобно. Есть черты милительные, но долго все описывать».



Выстроены и обмундированы самим императором, события получают право на существование. «Личное присутствие Наше» входит в историю явную. Однако еще не принято в тайную...

Несколько кратких записей Пушкина о мятежниках 1831 года долгое время считались материалами для несостоявшейся газеты «Дневник». Позже большинство специалистов сошлось на том, что Пушкин не стал бы рисковать, помещая в газете подобные заметки, и сейчас — в собраниях сочинений — их помещают среди дневниковых записей поэта.

Среди этих записей находятся, между прочим, следующие строки:

26 июля 1831 года: «Вчера государь император отправился в военные поселения (в Новгородской губернии) для усмирения возникших там беспокойств... Кажется, все усмирено, а если нет еще, то все усмирится присутствием государя».

Однако же сие решительное средство, как последнее, не должно быть все употребляемо. Народ не должен привыкать к царскому

¹ То есть названный в честь австрийского императора.

лицу, как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади, — и царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом. Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими отношениями с государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его, как необходимого обряда. Доныне государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтись в толпе голос для возражения...»

В заметках Пушкина многое: страх, неприязнь к разгулявшейся народной стихии; призыв к правительству — действовать умнее, не разрушая народной веры в царское имя, «таинственную власть»;

опасение — что со временем в толпе найдется «голос для возражения».

Может быть, Пушкин нечто знает и намекает. Может быть, голос в толпе уже нашелся?..

А история покамест шла дальше — тайно и явно. Туман вокруг событий в военных поселениях не рассеивался. Пушкин, кажется, ничего больше не узнал о начальнике бунтовщиков «из инженеров, коммуникационных или жандармов».

Явная история теснила тайную.

Бунта в военных поселениях почти что не было.

Не было и 150 человек, наказанных розгами, 1599 — шпицрутенами, 88 — кнутом, 773 — «исправительно».

Не было и 129 мятежников, умерших «после телесного наказания и во время такового»¹.

Вскоре — разумеется, не случайно — Николай вообще новгородские военные поселения упраздняет. Из газет они исчезают. И уж не было военных поселений...

Но тайная история не торопится. В эти самые дни мирно дремлют в запертых ящиках бумаги с устрашающими грифами: «Цирку-

лярно», «Секретно», «Совершенно секретно». В тиши родовых поместий кто-то пишет воспоминания. В сибирском руднике кто-то запоминает рассказ товарища. И обо многом уже догадываются молодые люди, у которых Былого еще немного, но Дум — достаточно.

1842

Пушкина нет. Явной истории остаются некрологи, тайной — все остальные обстоятельства. Почти полтора месяца ни одна газета не смела даже заикнуться о том, что Пушкин не просто умер, а убит на дуэли. Только в марте 1837-го появилось официальное сообщение о разжаловании и высылке Дантеса «за убийство камер-юнкера Пушкина», после чего возвращаться к этому сюжету считалось неуместным, цензуре же было предписано следить «за соблюдением в статьях о Пушкине надлежащей умеренности и тона приличия». Надворный советник Александр Герцен успел побывать в вятской ссылке, вернулся и только что отправлен в новгородскую: в письме к отцу он рассказал про одного полицейского, который убивал и грабил прохожих. Все было чистой правдой: и убийство и грабеж. Письмо было запечатано, отправлено, но «по дороге» распечатано и прочитано, автор же обвинен в оскорблении полиции и наказан.

Впрочем, распечатанного письма и высылки из столицы, конечно, тоже не было.

В Новгороде еще хорошо помнили «веселые» аракчеевские годы: строим на поля, строим, с песней, к обеду — и сквозь строй за малейшее отклонение от строя...

Помнили, конечно, и холерный год.

Герцен осторожно расспрашивал, читал казенные бумаги, но о подробностях мятежа, об офицере, «возглавившем бунтовщиков»,



¹ По официальным и секретным данным. Советский историк П. Евстафьев полагает, что было наказано около 4000 человек.

об императорской храбрости почти все знали больше положенного.

«Государь был храбр. Государь все прекратил...»

Государственная тайна.

1858

Николая три года уже нет. Умирая, скорбел, что сдает наследнику «команду не в должном порядке». Империя сотрясена крымскими поражениями и крестьянским недовольством.

Александр II вынужден объявить о готовящейся отмене крепостного права.

По-прежнему, конечно, нет фантастических хищений, нет стародуров — губернаторов, нет засеченных — в деревне, армии и флоте; не было ничего плохого и в прошлом царствовании.

Но запретная история все же как-то пошла теснить благонамеренную.

Перелистываю газеты и журналы 1858 года. Число их утроилось, слог стал живее — даже по заголовкам и объявлениям видно, что кое-что можно... В журналах — особенно в «Современнике» — и после ножниц цензора остается такой материал, который при Николае «Незабвенном» сочли бы за оригинальный способ самоубийства.

Тайная история так оживляется, что принимается наверстывать упущенное и рассказывать нечто новое о прошедшем, но поскольку же на сей счет не имелось точно определенных правил, что можно, а чего нельзя, то 8 марта 1860 года было издано специальное распоряжение: «Государь император высочайше повелеть соизволил: а как в цензурном уставе нет особенной статьи, которая бы положительно воспрещала распространение известий неосновательных и по существу своему неприличных о жизни и правительственных действиях августейших особ царствующего дома, уже скончавшихся и принадлежащих истории, то, с одной стороны, чтобы подоонные известия не приносили вреда, а с другой, дабы не стеснить отечест-

венную историю в ее развитии, периодом, до которого не должны доходить подобные известия, принять конец царствования Петра Великого. После сего времени воспрещать оглашение сведений, могущих быть поводом к распространению неблагоприятных мнений о скончавшихся августейших лицах царствующего дома...»

Таким образом, можно было говорить почти все о Петре — прапрапрадеде царствующего монарха, но упаси боже задеть «неосновательно и неприлично» отца, дедов и прабабок.

Однако в эту пору у тайной истории появляется свой печатный орган — Вольная русская типография в Лондоне, во главе с Герценом и Огаревым — политическими эмигрантами, революционерами, изгнанниками (чьи имена, даже в сопровождении ругательств, категорически запрещено упоминать в печати, и, стало быть, не было ни Герцена, ни Огарева). Ежегодно 300—400 страниц «Полярной звезды», дважды в месяц восемь страниц «Колокола» и несколько других вольных изданий стали «убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех изувеченных ею» (Герцен).

Десятками дорог движутся в Лондон письма, пакеты, анекдоты, эпиграммы, статьи, слухи, чтобы, не спросясь, вернуться в Россию «Полярной звездой», которую заметят тысячи, или «Колоколом», который услышат десятки тысяч.

И никакого уважения к особам императорской фамилии после Петра I и к нескольким поколениям усердных цензоров. «Отечественная история не стеснялась в развитии...»

«Колокол» принадлежит к дурному обществу. В нем нет ни канцелярской вежливости, ни секретарской учтивости» (Герцен).

* * *

15 июня 1858 года в Лондоне вышел 16-й номер «Колокола», а недели через две его уже читали в Петербурге и Москве.

Обычный номер необычной газеты. Около десяти человек рискует свободой, передавая Герцену сведения, которые здесь печатались, — о том, что на самом деле происходит в столицах и Владимирской, Тамбовской, Харьковской губерниях.

И тут же глава, и довольно большая, из российской тайной истории — о том, «чего не было».

Заглавие: «Новгородское возмущение в 1831 году». Под заглавием примечание: «Этот необычайно любопытный документ писан самим очевидцем события и временным начальником возмущения инженерным полковником Панаевым, к подавлению которого он весьма много способствовал».

Примечание сразу предлагает несколько задач: мемуары Панаева — «начальника возмущения, но способствовавшего подавлению», то есть человека верноподданного. Но такой, конечно, не станет посылать статью Герцену. Стало быть, кто достал и послал записки, конечно, не предназначавшиеся для печати? Ведь не было «новгородского возмущения» целых 27 лет.

В «Колоколе» немало таких статей и корреспонденций, происхождение которых было тайной автора и редакции.

«Новгородское возмущение 1831 г.» — 16 страниц мелкого, отчетливого шрифта в 16-м «Колоколе» и двух последующих.

Инженерный полковник

«Опишу вам дело, хотя и не военное, но я лучше бы согласился вытерпеть несколько регулярных сражений, чем быть захваченным в народный бунт. Дни 16, 17, 18, 19 и 20 июля 1831 года для меня весьма памятные».

Это начало. Панаев — видимо, в отставке, на покое — составляет записки, может быть, для друзей или родных («опишу вам...»).

Военный человек виден очень ясно. Слог четкий, точный — словно в боевом донесении: «В 1820 году предположено было сфор-

мировать для гренадерского саперного батальона поселение: для того и назначен участок земли от гренадерского короля прусского, что ныне Фридриха Вильгельма полка».

Надо будет разобраться: с какого года полк короля прусского стал «полком Фридриха Вильгельма» — может быть, удастся определить дату, когда Панаев эти строки писал («ныне»)...

Бесхитростный, точный и страшный рассказ старого служаки не отпускает читателя.

В чине инженерного подполковника Панаев (из рассказа видно, что зовут его Николаем Ивановичем) несколько лет командовал военными поселенцами и солдатами, строившими здания и дороги. Вероятно, он был получше многих командиров, ибо разрешал подчиненным, сделав заданную норму, заниматься тем, чем хочет. А вообще — «поселенцы не любили начальство и ежели повиновались, то единственно из страха, ибо поселения были наполнены войсками». В 1831 году войска ушли в Польшу, началась холера, среди людей, замотанных работой, жарой и побоями, идет слух, что лекаря вместе с офицерами — «отравляют». Даже исправный офицер Панаев понимает, что это, собственно говоря, повод, искра, ведущая к давно зреющему взрыву.

Услыхав, что началось избиение офицеров, Панаев является в роту. Военные поселенцы хотят убить и его, но он спасается благодаря нехитрому, но сильнодействующему приему: в последний миг громко кричит, что он не их командир, а инженер, так что пристрастий не имеет и готов возглавить мятежников, от их имени снести с царем и доложить об отравителях. Желая спасти «отравителей-офицеров», он берет тех, что уцелели, под арест. Кое-кто из поселенцев чувствует подвох: «Не слушайте, кладите всех наповал, не надо нам и государя!» Но Панаев снова тем же приемом: «Как, разбойники! Кто осмелился восстать на государя? Ребята, кто верен государю, кричите «ура!». Толпа

кричит «ура» и избирает Панаева начальником.

Затем несколько дней Панаев — бунтовщик поневоле. Он маневрирует, ловко дурачит солдат, но каждую секунду может сложить голову. Впрочем, иногда ему приходит в голову «пушкинская» коварная мысль — что можно было бы натворить, когда б он или другие офицеры в самом деле повели восставших. («Мне только стоило свистнуть, — вспоминал Панаев, — чтобы все Эйлеры и Депереры¹ полетели к черту».)

Между тем Петербург уже извещен о мятеже, а начальству округа, в Новгород, Панаев отправляет секретный рапорт о своем положении. Поселяне, однако, выставляя на дорогах посты, перехватывают бумагу и требуют своего командира к ответу. Подполковник, втайне перекрестившись, выходит к ним.

«Поселяне показали мне мои рапорты и спросили: я ли писал и почему к немцам <генералу Эйлеру>. Я отвечал им, что писал действительно я, но что они мужики, а не солдаты, что воинский устав приказывает начальникам, кто бы они ни были, писать рапортами, но что им этого не понять, и, обращаясь к одному унтер-офицеру с аннинским крестом и шевронами на рукаве, сказал: «Вот старый служивый так это знает. Не правда ли, старина, что начальник до тех пор, пока начальник, всегда получает рапорты и честь ему отдается?» Тот отвечал: «Знаю, ваше высокоблагородие, да вот, как я служил в действующих и стояли в Киеве, то на главной гауптвахте сидел генерал, и мы все становились перед ним во фронт, снимали шапки и говорили: «Ваше превосходительство», а как потом приехал майор с аудитором, да прочли бумагу, то его взяли и повезли в Сибирь».

Все поселяне стали извиняться перед мною, что они этого не знали, им показалось и бог знает что такое, а теперь будут знать».

Снова люди, не разбирающиеся в обстановке, оглушены, обмануты; Панаева выручи-

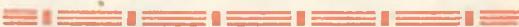
ли воспоминания унтера о генерале, содержавшемся под арестом в Киеве (то есть, генерале-декабристе — Волконском или Юшневском, — арестованном в начале 1826 года вместе с другими членами Южного общества). Трагическая, необыкновенная ситуация — все наизнанку, все наоборот: фальшивый, невольный предводитель мятежа усмиряет его, используя, может быть, историю настоящего революционера.

Проходит еще день, другой — Панаев издает приказы, проводит учения, держит взаперти арестованных офицеров. Тут является сам император вместе с графом Алексеем Орловым, и начинаются сцены, которые Николай так эффектно описывал («Я был один среди них, и все лежали ниц!»).

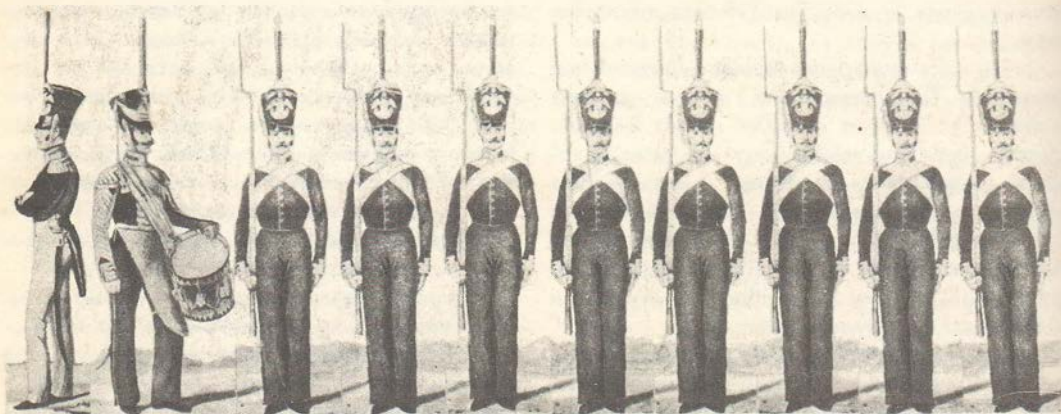
Панаев продолжает: «Я встретил его величество и подал рапорт о состоянии округа. Государь принял от меня рапорт, вышел из коляски, поцеловал меня и изволил сказать: «Спасибо, старый сослуживец, что ты здесь не потерял разума, я этого никогда не забуду». Потом, увидев стоящих на коленях поселян с хлебом и солью, сказал им: «Не беру вашего хлеба, идите и молитесь богу».

Потом государь начал говорить поселянам, чтобы выдали виновных, но поселяне молчали. Я в то время, стоя в рядах поселян, услышал, что сзади меня какой-то поселянин говорил своим товарищам: «А что, братцы? Полно, это государь ли? Не из них ли переярженец?»

Услышав это, я обмер от страха, и кажется, государь прочел на лице моем смущение, ибо после того не настаивал о выдаче виновных и спросил их: «Раскаиваетесь ли вы?» ..И когда они начали кричать «раскаиваемся!», то государь отломал кусок кренделя и изволил скушать, сказав: «Ну вот я ем ваш хлеб и соль; конечно, я могу вас простить, но как бог вас простит?»



¹ Генералы, непосредственные начальники Н. И. Панаева.



Пушкин либо угадывал, либо знал, что в толпе «может найтись голос для возражения»...

Николай не решился сразу скрутить бунтовщиков — боялся сопротивления. Орлов советовал добиться выдачи зачинщиков самими поселянами.

Панаев же, кажется, осмелился возражать influentialному генерал-адъютанту¹.

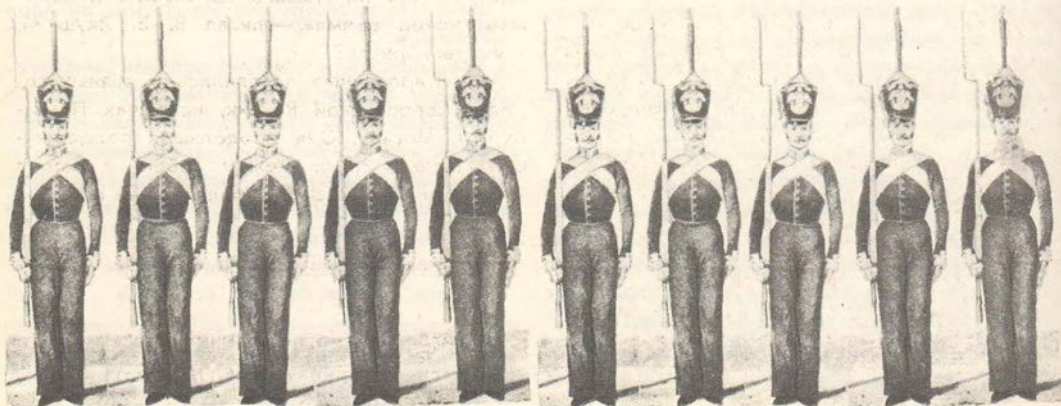
В конце концов стало ясно, что восставшие напуганы, сбиты с толку: ведь офицеры, по их глубочайшему убеждению, в самом деле отравляли людей.

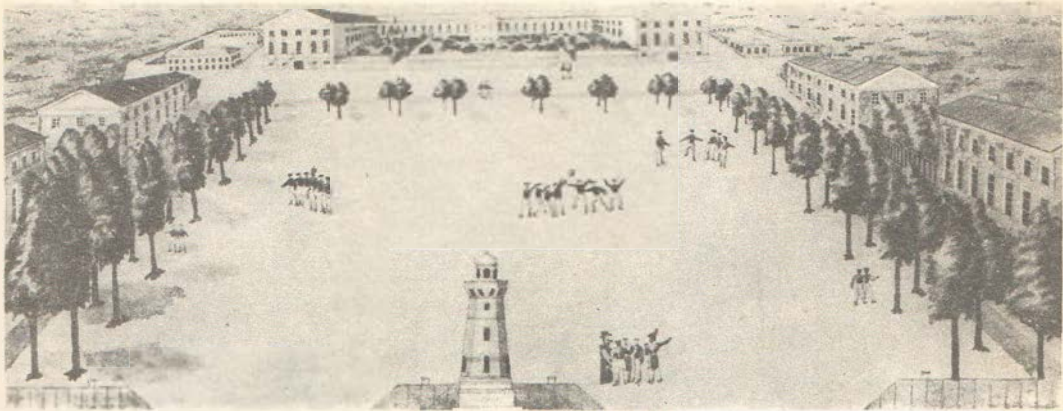
Затем царь стягивает войска, бунтовщики покорно складывают оружие и надевают це-

пи. Военный суд — закрытый и скорый: шпицрутены, Сибирь для нескольких тысяч человек, 129 умерших «после телесного наказания и во время такового». В царском манифесте было объявлено, что «виновные предаются в руки правительства самими заблужденными».

Описанием арестов и заканчиваются в 18-м номере «Колокола» воспоминания Па-

¹ Это видно из некоторых мест биографии Панаева, опубликованной много лет спустя в «Военно-историческом вестнике» за 1910 г., № 1—4; там имеются некоторые расхождения и дополнения по сравнению с текстом, опубликованным в «Колоколе».





наева. Затем идет несколько заключительных строк, очевидно написанных тем же незнакомцем, который переслал эти мемуары Герцену.

«К этому простому рассказу прибавлять нечего; положение писавшего, его образ мыслей, роль, которую он играл, — все это придает особую важность его словам. Но мы не можем не прибавить одного. Николай никогда не прощал Панаеву то, что он видел его в минуту слабости, видел его побледневшим в соборе, когда начался глухой ропот. Панаев был свидетелем, как Николай, смешавшись, уступил и отломил кусок кренделя. Он не давал никакого хода человеку, который

себя, в его смысле, вел с таким героизмом. Панаев умер генерал-майором, занимая место коменданта, кажется, в Киеве».

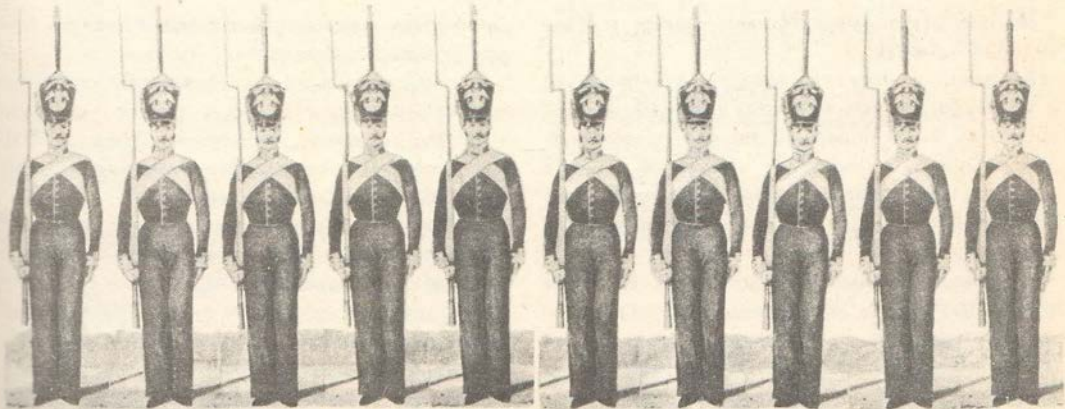
«Истинная правда»

Десятки тысяч читателей узнали наконец-то во всех подробностях настоящую историю летних событий 1831 года.

Но об авторе записки, а также и о корреспонденте Герцена, в «Колоколе» совсем немного.

В сущности два факта:

Упоминание о полке короля прусского, «что ныне Фридриха Вильгельма».





Фраза: «Полковник Панаев умер в чине генерал-майора».

В военном отделе Ленинской библиотеки я выкладываю свои просьбы дежурному библиографу — и через несколько минут получаю целую кипу книг: «Краткий список майорам по старшинству», «Краткий список полковникам...», «Краткий список генералам...».

В кратком списке генералов на 26 июня 1855 года быстро обнаруживается: «Генерал-майор Панаев Николай Иванович, родившийся в 1797 году, паж — с 1807 г., прапорщик — с 1812, полковник с 31 сентября 1831, генерал-майор с 25 июня 1850 г. Исправляющий

должность коменданта города Киева и Киево-Печерской цитадели».

В следующем списке генералов, служащих и отставных, составленном спустя несколько месяцев, в начале 1856 года, Панаева уже нет; очевидно, скончался во второй половине 1855 г.

В другом справочнике сообщается, что у генерала было 13 детей и четыре ордена — не слишком высоких; при этом — Анну 4-й степени он получил в 15 лет, а Владимира 4-й степени — в 17, за кампанию против Наполеона. Несколько раз — по прошению — Панаеву выдавалась денежная помощь.



В «Военно-историческом вестнике» за 1910 год сообщается, что Николай Панаев был когда-то товарищем детских игр Николая I.

В самом деле, карьеры Панаев не сделал. Товарищ императора, паж, к 17 годам — кавалер двух орденов, преданный слуга царя, безусловно — с точки зрения власти — действовавший во время бунта, он мог бы рассчитывать к пятидесяти годам на высокие чины и должности вплоть до генерал-адъютанта. Тот, кто приписывал к мемуарам Панаева заключительные строки, был прав: Николаю был неприятен свидетель его минутной слабости. «Я был один среди них, и все

лежали ниц...» Панаев в этой формуле не помещался — и ему «не давали ходу», хотя до конца дней он оставался усердным и толковым командиром и, по свидетельствам современников, имел обыкновение поднимать за обедом тост за гибель всех врагов государя и отечества, басурманов и смутьянов. В тот момент, когда я завершаю знакомство с карьерой Панаева, библиограф приносит толстый том, давно, кажется с первых лет советской власти, никем не открывавшийся. «Очерк истории Санкт-петербургского гренадерского короля Фридриха-Вильгельма III полка (1726—1870)». Издан в Петербурге в 1881 году. Подробные перечисления походов, битв, отцов-командиров, замечательных офицеров. Вскользь — нехотя — упоминание о позорных для полковой истории беспорядках 1831 года. Быстро нахожу искомое: именоваться полком Фридриха-Вильгельма полк стал сразу после смерти этого прусского короля, в 1840 году.

Значит, Панаев вел записки не раньше 1840 года, но и не позже 1850.

Анонимный автор статьи о Панаеве в «Военно-историческом вестнике», между прочим, сообщал про эти записки:

«Панаев составлял их с тем, чтобы передать детям своим, случайно увидел их генерал-лейтенант Я. В. Воронец, тайно показал генерал-адъютанту Ростовцеву, а тот — наследнику престола» (будущему императору Александру II).

Александр II отнес мемуары отцу, а Николай, «соблаговолив выслушать несколько страниц, изволил сказать потом: «Все истинная правда».

Разумеется, «истинная правда» не подлежала огласке. Ведь ее не было.

Корреспондент

Все-таки удалось по двум намекам кое-что узнать об истории записок. Ясно, что Панаев давал читать и, возможно, переписывать свой труд. В 1858 году, через три года после смер-

ти генерала, некто пересылает интереснейшие мемуары в вольную русскую прессу...

В те времена существовала любопытная взаимозависимость вольной и легальной печати.

Публикуют, положим, П. В. Анненков, П. И. Бартенов или Е. И. Якушкин прежде запрещенные стихи и биографические материалы о Пушкине или что-либо по истории XVIII столетия — цензура частично пропускает, но немало вырезает. Тогда изъятые и запрещенные куски благополучно отправляются в Лондон, там печатаются и возвращаются на родину нелегально. Проходит год, два, десять — власть и цензура смягчаются и пропускают то, что прежде придерживали: все равно опубликовано в «Полярной звезде» и «Колоколе», и все знают, и все читали — чего уж там...

Так было и с историей военных поселян.

В 1867 году «Отечественные записки» печатают воспоминания протоиерея Воинова под заглавием «Рассказ очевидца о бунте военных поселян в 1831 г.».

В 1870 году выходит целый сборник «Бунт военных поселян в 1831 г. Рассказы и воспоминания очевидцев», в котором были впервые легально напечатаны записки Н. И. Панаева и некоторые другие.

Все эти материалы были подготовлены к печати и изданы одним человеком, а именно — Михаилом Ивановичем Семевским.

Братья Семевские, Михаил и Василий, были крупными историками. Василий Семевский в конце XIX и начале XX века впервые в России писал большие, обстоятельные труды о крестьянах XVIII—XIX веков, о декабристах, петрашевцах. Его имя было хорошо известно студентам, пострадавшим за революционные убеждения: В. И. Семевский помогал много и многим, считался «деканом всех студентов, отставленных от университетской науки».

Старший брат, Михаил Иванович Семевский, также был автором многих интересных трудов, особенно по «тайной истории»

XVIII века. В 1870 году он начал издавать известный исторический журнал — «Русская старина».

В том, что один из Семевских пробил в печать еще одну запретную тему, не было ничего неожиданного. Но в предисловии к сборнику «Бунт военных поселян...» М. И. Семевский пишет:

«Воспоминания Заикина, Панаева и Воинова изданы со списков, более исправных, нежели с каких некоторые из них были нами же прежде напечатаны в журналах».

Если записки Заикина и Воинова были действительно прежде напечатаны Семевским в «Заре» и «Отечественных записках», то записки Панаева после «Колокола» публиковались впервые.

Сверяя текст Панаева в «Колоколе» и в сборнике 1870 года, легко убеждаюсь, что никакого «более исправного» списка этих воспоминаний М. Семевский не имел. За исключением нескольких мелких грамматических исправлений тексты «Колокола» и сборника «Бунт военных поселений» совершенно совпадают: по-видимому, замечание об «исправном списке» — маскировка... Имею право подозревать Михаила Семевского в том, что он корреспондент «Колокола».

К тому же историк роняет одну любопытную фразу по поводу других воспоминаний о бунте 1831 года — записок капитана Заикина. «Рукопись, с которой печатается настоящий очерк, подарена пишущему эти строки лет десять тому назад ныне покойным его отцом: в молодости своей он служил, весьма, впрочем, короткое время, в военных поселениях».

Эти строки М. Семевский опубликовал в 1869 году. Записки получены от отца «лет десять тому назад», то есть в конце пятидесятых годов — как раз в то время, когда в «Колоколе» появились мемуары Панаева. Очевидно, отец М. И. Семевского интересовался историей военных поселений и собирал материалы. Скорее всего записки Панаева также были переданы М. И. Семевскому его

отцом. Михаил Семевский же, в свою очередь, передал интересные мемуары издателям «Колокола» (сопроводив текст примечаниями насчет того, почему Николай не давал хода Панаеву).

Когда, при каких обстоятельствах записки Панаева попали в семью Семевских, каким путем удалось их переправить в Лондон — это пока неизвестно. Герцен и Огарев не открывали тайн своих корреспондентов. Корреспонденты не болтали лишнего¹.

Вот и вся история — начавшаяся с газет, писем, слухов, легенд и умолчаний жаркого лета 1831 года.

Один и тот же эпизод вызвал:

Легенду о необыкновенной храбрости императора, изложенную им самим.

Хвалебные оды этой необыкновенной храбрости (Бенкендорф и другие).

Бесхитростные, точные воспоминания Панаева.

Важные размышления Пушкина о русских народных движениях, их вождях и участниках.

Любознательность и конспиративные усилия Михаила Семевского.

Ценный материал для трех номеров «Колокола» — революционной газеты Герцена и Огарева.

Разве мог предполагать Панаев, что первыми его публикаторами будут «смутьяны и лютые враги государя»?

Но как бы генерал изумился, узнав, что Гринева, Швабрин и Дубровский некоторым

образом ведут от него свою «родословную». Пожалуй, ни за что не поверил бы, хотя, если читал «Капитанскую дочку», возможно, говорил близким: «Да, чего только в жизни не случается. Вот со мною, например...»

Явная, разрешенная история николаевского царствования завершается в 1859 году пышным сооружением барона Клодта — конной статуей императора, на постаменте которой в барельефах запечатлены его лучшие минуты: 14 декабря 1825 года, 1831 год и прочее.

Тайная же история ответила разоблачениями Герцена да еще стихами девятнадцатилетнего Дмитрия Писарева — будущего прославленного публициста, который, поиздевавшись над каждым из «подвигов-барельефов», заканчивал:

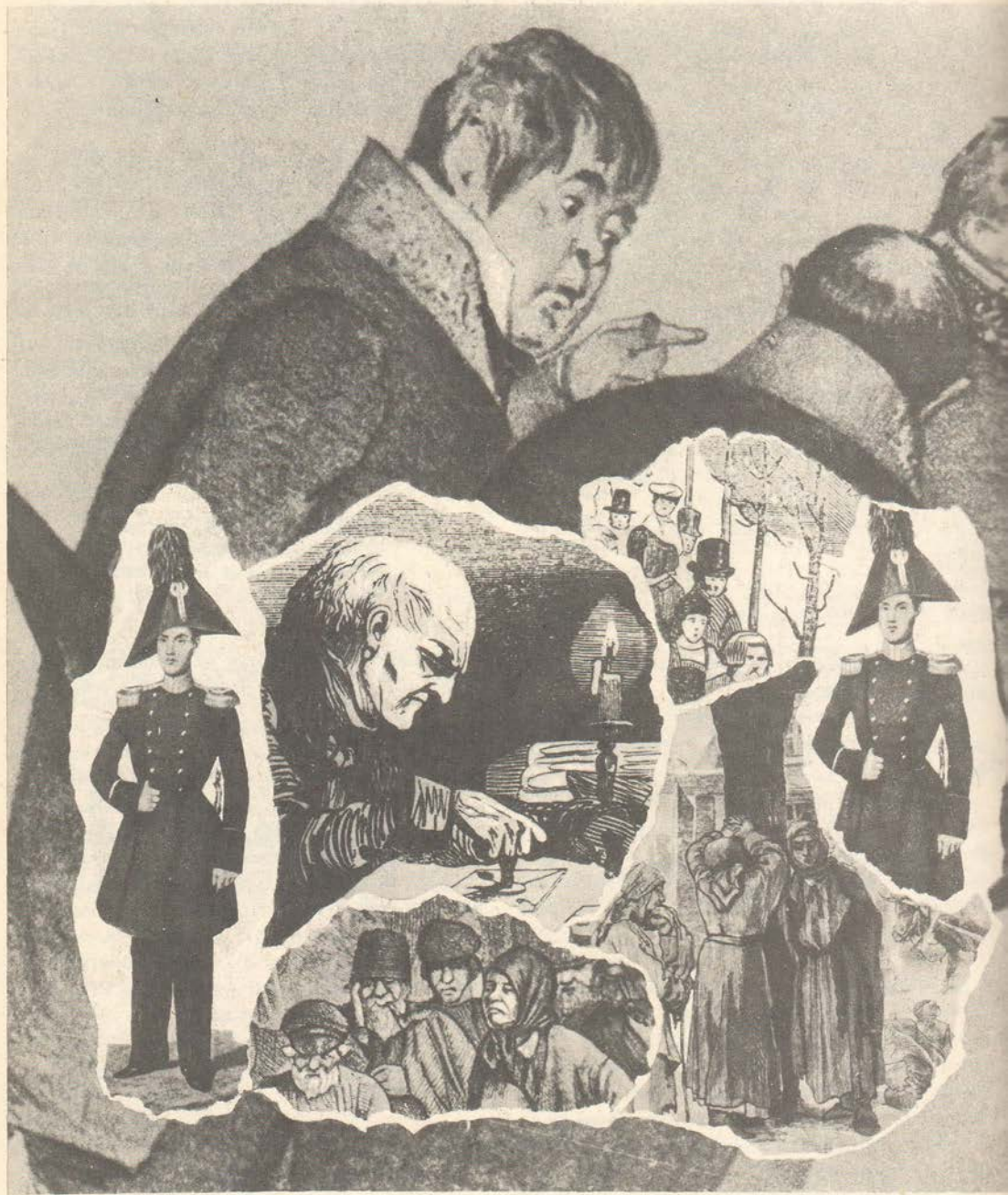
Но довольно: спи спокойно,
Незабвенный царь отец,
Уж за то хвалы достойный,
Что скончался наконец!

.

Вот чем завершаются некоторые легенды.
Вот как было то, чего не было...



¹ В 1858 году М. И. Семевский служил репетитором в Петербургском кадетском корпусе, был заподозрен в «либеральном направлении» и едва избежал неприятностей. Позже Третье отделение, видимо, что-то узнало о нелегальной деятельности Семевского: в «черном списке» 50 главных злоумышленников 1861 года Н. Г. Чернышевский — под № 1, М. И. Семевский — № 16.







Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в прантической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются, кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характеров, которые делают их цельными людьми.

Фридрих Энгельс
о деятелях эпохи Возрождения

Начало 1881 года Сергей Кравчинский встретил в Швейцарии. Прошло уже более двух лет, как друзья хитростью, почти силой выпроводили его из Петербурга за границу.

С тоской и отчаянием вспоминал он

1878 год, столь насыщенный событиями, чувствами, деятельностью, самый, ему казалось, лучший год его жизни.

Как удачно, как счастливо все складывалось в том году. В январе его выпустили по амнистии из итальянской тюрьмы, где он просидел девять месяцев в ожидании суда, который мог приговорить его к смертной казни за руководство вооруженным восстанием крестьян в итальянской провинции Беневенто. Заточение не истомило его — он был здоров, бодр, полон энергии. Пешком (денег у него не было ни сантима) он пришел из Италии в Женеву и встретил там товарищей, которых мог больше уже никогда не увидеть. Вместе с ними стал издавать эмигрантский журнал «Община».

Тут из Петербурга пришла весть о покушении Веры Засулич на генерала Трепова. Восторг охватил его, ему казалось, что Россия пробуждается ото сна, рвет цепи рабства. Если уж девушки карают царских слуг за произвол и насилия!..

Он написал восторженный панегирик в честь этой неведомой ему девушки. Он писал статьи о движениях среди итальянского народа. Редактировал статьи друзей. Журнал выходил каждый месяц.

Но Кравчинский мечтал поехать в Россию. Там настоящая борьба. И вот в мае он в Петербурге. Его пьянат родной воздух, встреча с друзьями. Все действительно так, как он ожидал: все оживленны, деятельны. Это уже закаленные бойцы. Грезы их молодости исчезли, они не тешат себя несбыточными иллюзиями и готовятся к долгой, упорной, жестокой борьбе с самодержавием.

Кравчинского встретили с радостью. Одно его присутствие сулило удачу. Одно его присутствие создавало особую атмосферу нравственной чистоты, правдивости, искренности, доверия. При нем невозможно было сфальшивить, при нем люди становились лучше, чище, сильнее.

Но скольких нет вокруг... Закончился процесс 193-х, и десятки его самых близких, самых дорогих друзей заточены в казематы, сосланы в Сибирь.

Буквально через два-три дня после приезда в Петербург Кравчинский пишет прокламацию «По поводу нового приговора», обличая в ней «бесчеловечность, зверство, попрание всех человеческих прав, лицемерие и низость» царского правительства. Он обращался к непосредственным виновникам:

«О царь Александр, наследник шести императоров и бесчисленных царей!.. Вы, подлые душители!.. Довольно проповедовали мы любовь — пришла пора воззвать к ненависти. Довольно всепрощения! Мечь, мечь кровавая, беспощадная будет отныне ответом на ваши злодеяния.

Вы сами довели нас до этого.

Знайте же это и ждите!»

Все силы, все помыслы, всю энергию — на борьбу с самодержавием, на борьбу за счастье народа!

Прокламация была тотчас же отпечатана и выпущена. Кравчинский устраивает большую нелегальную типографию, вербует новых членов в партию «Земля и Воля», названную так по его предложению в знак продолжения борьбы шестидесятников.

На прожитые он зарабатывает статьями и переводами в журналы.

С ликованием он встречает друзей, бежавших из тюрем и ссылки.

Столько удачных побегов в это лето! Как дерзко, как смело, обманув жандармов, бежала его давняя приятельница, соратница еще по кружку чайковцев — Соня Перовская. Как ловко освободил друзей из киевской тюрьмы Михаил Фроленко, нанявшись туда надзирателем, — и вот они тут — Яков Стефанович, Лев Дейч, Иван Бохановский.

И самая прекрасная девушка на свете — Фанни Личкус любит его, согласна стать его женой.

Но он не может забыть товарищей, замуро-

ванных живо, он слышит их предсмертные стенания. Это генерал-адъютант Мезенцев, шеф жандармов, начальник Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, виновен в их гибели. Это он препятствовал смягчению участи приговоренных по процессу 193-х. Это он приказал казнить Ивана Ковальского в Одессе.

Так пусть узнают царские слуги, что нет больше покорной России, смиренно взирающей на гибель лучших сынов своих. Он, который не тронет дворнягу, сам убьет шефа жандармов. Смерть за смерть!

Газетные крикуны обвиняют революционеров в трусости: мол, стреляют издали, чтоб самим спастись. Нет, он встретит врага лицом к лицу — он убьет его кинжалом. Итальянские партизаны научили его владеть этим оружием храбрых. Он привез с собой такой кинжал.

И ясным августовским утром, простившись с невестой, он идет на верную гибель. Он идет на Михайловскую площадь, где каждое утро прогуливается этот палач.

И снова удача. Неслыханная удача! Палач убит, а он спасся. Его увез рысак Варвар, тот самый, который увез бежавшего Петра Кропоткина.

Весь Петербург — в смятении, столица — будто на военном положении. Вся полиция по личному распоряжению царя ищет смельчака.

А он здесь, ходит по мостовым столицы, пишет брошюру с объяснением мотивов покушения.

И любовь, единственная, на всю жизнь — Фанни стала его женой.

Еще и еще удачи: бежала из ссылки одна из героинь процесса 50-ти, Ольга Любатович. Как много у них общего, как они подружились. Фанни даже стала ревновать его к Ольге.

Сколько вокруг прекрасных людей — красивых, смелых, мужественных. Они все живут под чужими именами, по фальшивым пас-

портам, они голодают, они разлучены с родными, каждую минуту их ждет арест и смерть, но они сильны своей идеей, своей борьбой за землю и волю, за благо народа. Их семья — друзья. Их символ веры — социализм. Они не признают ни бога, ни царя.

Престол, армия, чиновники, полиция — кажется, вся Россия против них. Их преследуют, ловят, казнят.

Но нет, они — тоже Россия!.

Их типография. Здесь, в Петербурге, печатается вольное русское слово, несущее народу правду, зовущее на борьбу.

Вышла брошюра Кравчинского «Смерть за смерть». Издано письмо заключенных новобелгородской каторжной тюрьмы — «Заживо погребенные» с послесловием Кравчинского. Кравчинский с товарищами готовит к печати первый номер их газеты — «Земля и Воля», пишет передовицу.

Адвокат Александр Ольхин написал стихи, посвященные Кравчинскому:

Как удар громовой, всенародная казнь
Над безумным злодеем свершилась,—
То одна из ступеней от трона царя
С грозным треском долгой отвалилась...

Эти стихи тоже напечатали в первом номере «Земли и Воли». Они скоро стали песней. Их пели как гимн, как песнь гнева:

Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит державному брату.
А на родине ветер холодный шумит
И разносит солдатскую хату...

(Эта песня была потом одной из любимых песен Александра Ульянова.)

Царь и его подручные неистовствуют. Смелчак не пойман. Каждый день появляются новые крамольные издания. Все яростнее преследования. Обшаривают каждый дом. Просматривают всю корреспонденцию столицы. Тщетно. Арестованный было один из главных крамольников, друг Кравчинского, Александр Михайлов, прозванный «Дворник», оду-

рачил своих преследователей, ушел из-под ареста.

Хватают направо и налево. Сначала все мимо.

Но вот арестован один из друзей Кравчинского, помогавших ему при покушении на Мезенцева, — Адриан Михайлов, однофамилец «Дворника». Арестована художница Малиновская, у которой Кравчинский был накануне. И там же арестована подруга Веры Засулич — Коленкина. Все меньше квартир, где можно переночевать нелегальному.

Нельзя, нельзя, чтоб враги восторжествовали, поймав смельчака. Друзья умоляют Кравчинского скрыться. Но он верит в свою звезду. Тогда друзья поручают Кравчинскому испытать новые составы взрывчатых веществ. Это опасно. Это можно сделать только в горах Швейцарии.

Так он уехал из Петербурга в ноябре 1878 года. На несколько дней. Оказалось, навсегда...

Прошло уже два с лишним года.

Тогда, в Швейцарии, его окружало много друзей. Вера Засулич, Анна Эпштейн — его старая приятельница, жена его лучшего друга Дмитрия Клеменца, Ольга Любатович. Вскоре приехала из Питера и Фанни Личкус, она также переходила границу нелегально.

Постоянная тревога за близких там, в России. Тяжкая нужда. Только поддержка друзей да надежда со дня на день вернуться в Россию позволяют переносить жизнь среди туристов и мещански размеренного благополучия швейцарцев.

Каждый день Кравчинский рвется в Россию, собирается в Петербург, и с каждым днем это желание становится все сильнее.

Если в конце 1878 года он был еще сравнительно спокоен: «Что тебе сказать про свое житье? Скучно после Питера попасть под коллокол воздушного насоса. Ну, да я уверен, что недолго придется сидеть — вот увидишь», — писал он из Женевы в Берн Анне

Эпштейн¹, то письмо жене, написанное через несколько месяцев, свидетельствует уже о большей напряженности: «Знаешь, я убежден, что нам будет теперь так же хорошо, как в России. В России совсем особое чувство наслаждения собственным существованием, свободой, всем, потому что чувствуешь, что все это может исчезнуть каждое мгновение, и нужно ловить счастье на лету. Теперь раз поездка в Россию дело решенное и близкое, — это ощущение возобновляется...»²

А между тем поездка в Россию была для него действительно крайне рискованной и опасной. Приметы его были разосланы повсюду, а внешность его была столь незаурядной, что замаскироваться ему было почти невозможно. Конечно, он мог сбрить маленькую курчавую бородку и буйную шевелюру, мог так изменить одежду, чтобы в ней не осталось ничего «нигилистического», недаром же летом 1878 года он, живя по паспорту грузинского князя, вполне удачно разыгрывал его роль. Но как спрятать этот слишком высокий, огромный лоб благородных очертаний, как притушить эти карие глаза, слишком глубоко сидящие под крутыми бровями, что делать с этими слишком толстыми яркими губами, куда девать эти могучие, широкие плечи? Как изменить весь этот характерный



¹ Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 109, оп. 1, ед. хр. 863а, л. 34 об. В свое время я раскляну, как это письмо (и многие другие) очутилось в делах Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, хранящихся ныне в ЦГАОР.

² Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 1158, ед. хр. 757, л. 3. В ЦГАЛИ хранится фонд рукописей С. М. Кравчинского, приобретенный еще в 1935 году при содействии А. А. и И. М. Майских Институтом Маркса-Энгельса-Ленина у вдовы Кравчинского в Лондоне. В этом фонде — № 1158 — хранятся рукописи писателя, письма его многочисленных друзей, деловая переписка, связанная с его общественной деятельностью в Англии и Америке. Хранятся также и многие письма самого Кравчинского, которые после его гибели в 1895 году его вдова собирала у друзей и знакомых.

неповторимый облик? Как уничтожить осанку, полную сознания собственного достоинства, достоинства человека, а не раба?

А арест означал для него неминуемую смерть, ведь роли своей в убийстве Мезенцева он отрицать не будет, да и бесполезно. Друзья это понимали и всячески оттягивали его возвращение на родину. А без их содействия это было невозможно. Нужны были надежные документы, адреса явочных квартир, деньги наконец...

Тем временем царское правительство пустило шпионов по следу Кравчинского.

Перехватывали его письма. Письмо его к Анне Эпштейн я привожу по шпионской копии, сохранившейся в делах Третьего отделения. Агент царской полиции, зарегистрированный под кличкой Жозеф — настоящего его имени мы так и не знаем, вероятно, он был француз или швейцарец, — подкупив квартирную хозяйку Анны Эпштейн в Берне, получал на несколько часов всю корреспонденцию, приходящую на ее имя. Он снимал копии этих писем для тех, кто платил ему. Но что это были за копии! Дело в том, что он не знал ни одного слова по-русски, фотография тогда еще не служила шпионам и он срисовывал эти письма. Иногда два-три слова у него сливались в одно, иногда из одного слова он делал два, а многие его каракули прочитать совсем невозможно. Но иногда он срисовывал довольно точно...

Тут же, в делах Третьего отделения, хранятся копии этих «срисованных» писем, сделанные писарями для облегчения «труда» савонников. Но эти писаря тоже многое не понимали в каракулях Жозефа и добавляли свои ошибки. Поэтому исследователю, чтобы добраться до подлинного смысла письма, приходится ломать и голову и глаза. И все равно иногда невозможно понять, что же было написано в письме.

Кроме Жозефа, были и другие шпионы. Следили за Кравчинским и за его друзьями. Ходили за ними по пятам. Подкупали их квартирных хозяев, владельцев рестораничков,

где питались русские эмигранты. Один из друзей Кравчинского, почувствовав за собой неотступную слежку, долго не мог понять, в чем дело. Оказалось, Кравчинский отдал ему свое пальто, и шпионы следили за «знакомым» пальто...

Царское правительство вело переговоры с швейцарским правительством о выдаче Кравчинского, как уголовного преступника. И это было весьма возможно: ведь совсем не так давно выдала же Швейцария Сергея Нечаева.

А надо было чем-то жить. Денег не было. Кравчинский в поисках заработка стал переводить. В конце 1878 года он пишет Анне Эпштейн (мы опять узнаем об этом из «срисованной» копии Жозефа): «Убегался, учился и упереводился, милая (не взыщи за слова). Перевожу один глупейший роман с испанского».

Кравчинский не называет романа, но по воспоминаниям Ольги Любатович об этом времени мы знаем, как Кравчинский перевел роман испанского писателя Э. Каstellяра¹.

Но переводы устроить было очень трудно. И русские эмигранты, и Кравчинский в том числе, крайне нуждались. Но они, правда, не голодали: вдова парижского коммунара мадам Грессо содержала в Женеве маленький ресторан. Русские эмигранты находили там неограниченный кредит.

В мае 1879 года у Кравчинских родился ребенок. Едва только из старых вещей сшили маленькому все необходимое (Вера Засулич предложила сделать одеяло из ее ситцевого халата...) — мальчик умер.

Нужда, бедствия, преследования шпионов, тоска. Если бы уехать в Россию...

Вести с родины приходят скупо. Но постоянно кто-то уезжает в Россию, кто-то возвращается оттуда. А Кравчинский все остается

¹ Ольга Любатович, Далекое и недавнее. М., Изд-во политкаторжан, 1930, стр. 49—50.

в Швейцарии, прячась от шпионов то в одном городке, то в другом. Ему ехать в Россию нельзя...

Перевод испанского романа так и не был напечатан. Наконец, Кравчинскому удалось договориться с редактором журнала «Дело» Г. Е. Благодетелевым о переводе романа гарибальдийца Рафаэлло Джованьоли «Спартак». Это роман о борьбе, о восстании рабов. Кравчинскому вовсе не все равно было, что переводить. Он хотел служить родине и пером.

Для этого же журнала Кравчинский переводил тоже с итальянского (он в тюрьме хорошо изучил его и даже разные диалекты) и другие произведения, собирался написать большую статью о положении в Ирландии, так долго и упорно борющейся за независимость.

В России назревали события. Революционеры искали новых путей борьбы. Мирная пропаганда была невозможна да и не давала никаких результатов. Невозможны были и вооруженные восстания. Партия «Земля и Воля» раскололась на две партии: «Народная Воля» и «Черный передел». Исполнительный комитет «Народной Воли» вынес смертный приговор русскому самодержцу, и все ее силы были направлены на исполнение этого приговора. «Черный передел» стоял за продолжение пропаганды.

В среде эмигрантов велись ожесточенные дискуссии о направлении революционного движения в России.

В Париже жил П. Л. Лавров. П. А. Кропоткин в Швейцарии и во Франции занимался местным рабочим движением. В Швейцарии собрались почти все участники «Черного передела». В Женеве жили Вера Засулич, Георгий Плеханов, Яков Стефанович, Лев Дейч. Тут же были еще старые эмигранты — М. П. Драгоманов, Н. И. Жуковский и народовольцы — Николай Морозов, Ольга Любатович (они недавно поженились, у них родилась девочка). В Цюрихе жил чернопеределец Павел Аксельрод.

К началу 1881 года стало очевидно, что инициативу революционной борьбы в России держит «Народная Воля». Создав сильную, строго законспирированную организацию, она регулярно выпускала свою газету и день за днем удешевляла свои усилия, направленные на выполнение смертного приговора Александру II.

Кравчинский считал себя народовольцем, хотя формально к партии не принадлежал, так как не был в России, хотя во многом расходился с ними во взглядах.

Теперь, как и раньше, он не вникал в теории, ему чужды были стремления к точности формулировок, бесконечные споры о тех или иных параграфах, пунктах и т. п. Он жаждал действия.

В январе 1881 года уехал в Россию ближайший друг Кравчинского — член Исполнительного комитета «Народной Воли» Николай Морозов. Как тяжкий удар поразило его друзей известие об аресте Морозова на границе. Кравчинский немедленно решил ехать в Россию, чтобы устроить ему побег. Но все понимали, что это приведет лишь к неминуемому аресту самого Сергея. А арест его обозначал смерть. В Россию поехала Ольга Любатович, тоже член Исполнительного комитета. Своему самому близкому другу — Сергею Кравчинскому оставила она своего ребенка — грудную еще девочку.

Поехала в Россию для спасения Морозова и Анна Эпштейн, великий мастер проводить жандармов и переводить кого нужно через границу.

Всем сердцем, всеми помыслами Кравчинский был там, на родине, а вместо этого ему приходилось заниматься переводами, скрываться от шпионов.

Он заканчивал перевод «Спартака», по субботам сходил с товарищами по изгнанию в кафе мадам Грессо...

В это время из России пришло известие о событии 1 марта — в Западной Европе было уже 13 марта — убийстве Александра II.

Приговор деспоту приведен в исполнение.

Но как дорого заплатили революционеры за свою призрачную победу — аресты, аресты, аресты. Гибель лучших из лучших.

Уцелевшие товарищи поняли, что теперь без Кравчинского им не обойтись, и каков бы ни был риск — его вызвали в Россию.

Ликующий Кравчинский писал жене:

«Фаничка, милая! Еду! Письмо от питерцев писала от их имени Таня. Впрочем, читай сама.

Я еду, еду туда, где бой, где жертвы, может быть, смерти!

Боже, если б ты знала, как я рад — нет, не рад, а счастлив, счастлив, как не думал, что доведется еще быть! Довольно прозябания!

Жизнь, полная трудов, быть может, подвигов и жертв, снова открывается передо мной как лучезарная заря на сером ночном небе, когда я уже снова начинал слабеть в вере и думал, что еще, может быть, долгие месяцы мне придется томиться и изнывать в этом убийственном бездействии между переводами и субботними собраниями!

Жив бог [одно слово неразборчиво. — Е. Т.] души моя!

Чувствую такую свежесть, бодрость, точно вернулись мои двадцать лет. Загорается жажда, давно уснувшая, — подвигов, жертв, мучений даже — да!

Все, все за один глоток свежего воздуха, за один луч того дивного света, которым окружены их головы. Да, наступил и для меня светлый праздник.

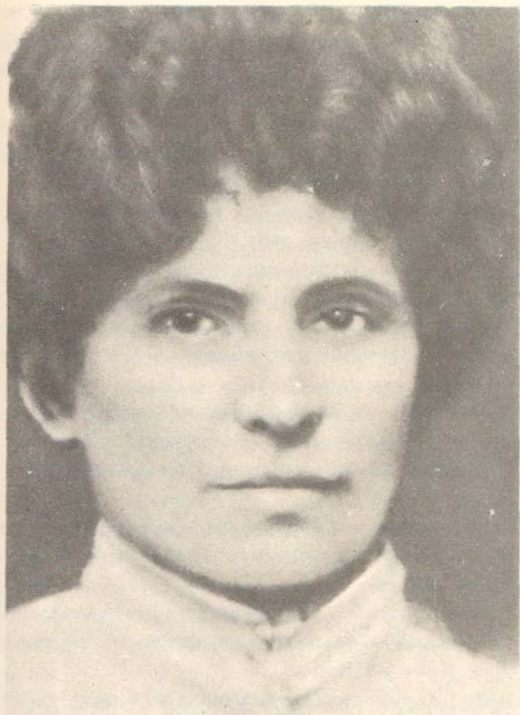
А помнишь, как раз я говорил тебе, что в моей жизни было два лучезарных периода, но что так как их должно быть три, то один еще будет. Я это предчувствовал, хотя иногда, по малодушию, слабел в вере. Теперь это исполнилось!

Признаюсь, однако, что моя радость не без облачков. Мне грустно, что я так мало могу оправдать надежды, которые возлагают на



меня мои друзья. Проклятая работа из-за куска хлеба не дала мне никакой возможности запастись новыми знаниями. В этом отношении я уеду таким же, каким уехал. Но зато эта же каторжная работа дала мне много выдержки и упорства в труде, которых тоже у меня не было.

Но все-таки грустно! Как бы я хотел обладать теперь всеми сокровищами ума, и знания, и таланта, чтобы все это отдать беззаветно, без всякой награды для себя лично — им, моим великим друзьям, знакомым и незнакомым, которые составляют с нашим великим делом одно нераздельное и единосущное целое!



Что ж! Отдам, что есть»¹.

Он писал это письмо огромными прыгающими буквами, строчки поднимались вверх и зигзагами опускались вниз, да вообще строк как будто и не было — отдельные слова как победные клики...

Он весь отразился в этом письме. Тот, кто прочитал «Подпольную Россию», увидит, что одна и та же рука писала книгу для тысяч читателей и письмо любимой женщине-товарищу. Таков был строй его слов, его мыслей и чувств.

Вслед за письмом Тани — его старинной приятельницы Татьяны Лебедевой, члена Исполнительного комитета «Народной Воли», —

пришло письмо и от Льва Тихомирова, возглавлявшего теперь партию народолюбцев. Письмо его было наполнено всякими комплиментами по адресу Сергея.

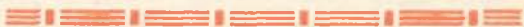
Эмигранты еще не знали подробностей покушения. Не знали, что творится в России. Издалека все казалось по-другому: величественнее. Казалось, все в России изменится. Неизвестны были и истинные размеры разгрома партии. Конспиративные письма доходили с трудом, а сообщения европейской печати были противоречивы. Газеты и журналы изображали русских заговорщиков — «нигилистов», как их называли, — бандитами и мошенниками.

В ожидании необходимых документов, сведений, денег, которые ему должны были прислать из России, Кравчинский начал переговоры с известным радикальным французским журналистом Анри Рошфором, редактором парижской газеты «Intransigeant» («Непримиримый»). Рошфор специально приехал тогда в Женеву, чтобы из «первоисточника», как ему казалось, собрать сведения о покушении на царя. Но эмигранты сами ничего не знали, и Рошфор, послав в Париж несколько полуфантастических корреспонденций, вскоре сам уехал туда из Женевы.

Кравчинский хотел стать специальным корреспондентом газеты Рошфора и посылать ему из России сведения о русском революционном движении.

В эти дни Кравчинский писал П. Л. Лаврову в Париж (писем он в те годы не датировал, за что его очень упрекал тот же Лавров в одном из своих писем, также... не датированном!) с просьбой содействовать ему в этом деле и рекомендовать его Рошфору.

В этом письме для нас примечательны: и самая мысль использовать сотрудничество во французской печати не только для получения денег, а и для того, чтобы «расска-



зывать европейской публике настоящую правду про «нигилистов», и отношение Рошфора к этому предложению — «согласился с величайшим удовольствием», и совершенно ясная формулировка отношения Кравчинского к «Народной Воле»: «Хотя в редакции Народной воли я не был, но Вы знаете, что это только потому, что не находился в Питере», — и скромная уверенность в своих силах: «Думаю, что по литературной части могу быть полезным»¹.

Еще не получив ответа, Кравчинский вновь и вновь бомбардирует Лаврова письмами с подробностями конспираций в будущей переписке с Рошфором из России.

Но вот пришло письмо от Лаврова от 20 марта, в котором тот обещает сделать все возможное и сообщает о попытках переговоров с Рошфором. Однако, со своей стороны, Лавров всячески отговаривает Кравчинского от бессмысленно рискованной для него поездки в Россию.

В это время Кравчинский пишет жене в Берн о своих сборах, о том, что он очень сомневается в возможности договориться с Рошфором: «Во всяком случае, я не оставил плана корреспондировать, и если не выгорит с Рошфором, то продамся какой-нибудь английской газете уже из России. Тогда цена мне будет повыше. Поручу это Вере через Маркса»².

Недавно русские эмигранты после ожесточенных дискуссий по поводу статьи В. В. в «Отечественных записках» о «Судьбах капитализма в России» поручили Вере Засулич обратиться к Марксу с просьбой высказать свои соображения о развитии общины в России, и несколько дней тому назад Вера получила письмо Маркса от 8 марта 1881 года. Оно было таким дружелюбным, что Кравчинский мог надеяться на его содействие.

Переговоры с Рошфором кончились ничем, «он надул чисто по-рошфоровски», — написал Кравчинский Лаврову³.

Присылка документов из России также задерживалась.

«Ужасно мне не везет с этой поездкой, — писал Кравчинский жене, — опять, значит, две недели. Работаю во все лопатки: дня через два-три кончу совсем «Спартака», потом потрагою Ирландию — это тоже дня три, потом выберу что-нибудь новенькое для перевода и, взяв оный с собой, приеду к вам»⁴.

Неделя проходила за неделей. Из России приходили только страшные вести.

Никакого переворота не совершилось. На место убитого взошел новый царь.

А рано утром 3 апреля на Семеновском плацу в Петербурге веревка палача оборвала жизнь его друзей.

Неужели их подвиг был напрасен? Неужели их имена исчезнут бесследно?..

Отъезд Кравчинского в Россию опять был отложен.

Его терзания были так мучительны, что и много лет спустя его товарищи помнили об этом.

Кравчинский был крайне измучен «этими призывами и держанием наготове»⁵, — писал Лев Дейч на Каре.

А Вера Засулич вспоминала: «...его позвали, обещая прислать все необходимое для возвращения. Он ответил радостным согласием; но пока он ждал обещанного, в России последовала новая катастрофа, разбившая остатки старой организации и всякую надежду для Сергея скоро увидеть родину»⁶.

¹ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 23—24. Здесь в фонде П. Л. Лаврова сохранилось много писем С. М. Кравчинского и не только к П. Л. Лаврову, но и к Н. А. Морозову, О. С. Любатович и другим.

² ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 757, лл. 10—11.

³ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 28.

⁴ ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 757, лл. 18—19.

⁵ Л. Дейч, Из нарийских тетрадей. Сборник «Группа «Освобождения труда», № 4, М. — Л., Госиздат, 1926, стр. 121.

⁶ В. Засулич, С. М. Кравчинский (Степняк). Ж. «Работник», 1896, № 1—2. Цит. по ин.: В. И. Засулич. Статьи о русской литературе. М., 1960, стр. 132.

13 июля 1881 года ему исполнилось 30 лет. Он ощущал в себе огромные силы. Расцвет их. И жалкое прозябание.

Невозможность уехать в Россию причиняла Кравчинскому тем большие страдания, что Ольга Любатович писала ему отчаянные письма: устройство побега Морозова сорвалось окончательно — его перевели в Петропавловскую крепость, откуда бежать невысказанно. Она не могла примириться с безнадежностью своей утраты и металась по Петербургу. Сергей своей рукой должен был ей нанести еще один — жесточайший — удар: во время эпидемии девочка ее умерла.

Анна Эпштейн вернулась из России, рассказала о петербургских новостях. Она видала и Соню Перовскую и Гесю Гельфман буквально накануне их ареста. Соня Перовская специально поручила ей передать Сергею, что Адриан Михайлов, измученный тюремщиками, стал давать откровенные показания. Теперь жандармы уже точно знают, что Кравчинский — убийца Мезенцева.

В конце лета в Петербург уехал друг Кравчинского — чернопеределец Яков Стефанович — Дмитро, как они его называли. Он уехал с поручением подготовить соединение чернопередельцев с народовольцами. Писал из России бодрые письма. Кравчинский много думал о нем, мысленно сопровождал его по знакомым улицам Петербурга.

А здесь шпионы снова начали одолевать Сергея, ходили буквально за ним по пятам. Он и здесь жил под чужими именами — Бельдинский, Шарль Обер, Штейн, но его знали все.

В это время Кравчинский писал своему другу народовольцу Владимиру Иохельсону (из Женевы в какой-то город Швейцарии, не проставив даты):

«Вы, конечно, слышали уже о вновь поднявшейся охоте. Мне бы хотелось уехать из Женевы, где меня слишком много знают, а для этого необходимо достать минимум

150 франков, чтоб расплатиться с кое-какими должниками и иметь небольшую сумму на новом месте, где в кредит жить не всегда возможно». Просит достать денег в долг, который отдаст, получив гонорар за статью об Ирландии¹.

Здесь, сделав некоторое отступление, мне хочется рассказать об этой статье. Только благодаря этому письму мы можем точно установить, что именно Кравчинский является автором статьи «Ирландские дела», опубликованной в августовской и сентябрьской книжках журнала «Дело» за 1881 год, что косвенно подтверждается и другими архивными документами. Статья подписана одной буквой «Б», что обозначает — «Бельдинский», один из псевдонимов Кравчинского в то время. Под именем Бельдинского, расшифрованном, как псевдоним Кравчинского, эта статья значилась и в гонорарных ведомостях редакции журнала «Дело». Извлечения из этих ведомостей, касающиеся участия русских политических эмигрантов в журнале «Дело», приложены как обвинительный материал к делу Петербургского губернского жандармского управления канцелярии по производству дознаний по политическим делам — «Дознание о писателе Станюковиче К. М., обвинявшемся в связях с русскими эмигрантами Кравчинским Сергеем, Павловским Исааком и издателем «Вестника «Народной Воли» Тихомировым Львом». Начатое 14 мая 1884 года, оно было окончено 29 декабря того же года². В результате этого дела К. М. Станюкович был выслан в Сибирь, а журнал закрыт.

Вероятно, статья «Ирландские дела» сильно пострадала от сокращений, так как в письме к В. Засулич (март 1882 г.) Кравчинский

¹ Институт русской литературы Академии наук СССР. Отдел рукописей, ф. 377, ед. хр. 10341.

² ЦГАОР, ф. 93, оп. 1, ед. хр. 7, лл. 54, 251 и др.

писал: «Помните, как Ирландию обкорнали?»¹

Важно отметить, что русские революционеры-народники очень интересовались и пристально следили за борьбой ирландского народа за свою независимость, искренне сочувствуя ему. Именно этой борьбе посвящена содержательная статья Кравчинского. Можно предположить, что как раз наиболее «возмутительные» ее строки и были вычеркнуты при опубликовании.

Однако внимательный читатель мог извлечь для себя из этой статьи немало полезного.

Например, говоря о том, что «борьба составляет неизбежное условие жизни и развития и потому она ведется и будет вестись во всяком обществе», Кравчинский внушает читателю мысль, что разные условия порождают различные формы борьбы. Идеализируя, конечно, положение в Англии и Ирландии, он говорит, что в этих странах «нет надобности прибегать к насилию, именно потому, что свободное проявление личности не подавляется насилием», а касаясь усмирительного закона, принятого в Англии против Ирландии, весьма жестокого, но не идущего ни в какое сравнение с русским беззаконием, многозначительно утверждает: «Найдется немало стран, которые были бы очень рады, если бы у них, а не в Ирландии вошел в силу этот усмирительный закон». Ибо и при этом законе в Ирландии существовала и свобода печати и свобода собраний...

Выражая всяческие симпатии ирландскому движению, Кравчинский тем не менее говорит о его ограниченности. Борьба за земельный билль, который передал бы землю лендлордов во владение фермеров, утверждает Кравчинский, в основе своей отражает интересы лишь привилегированного сословия. Этот земельный билль несколько не изменил бы ужасающего бедственного положения сельскохозяйственных рабочих, батраков.

Для каждого внимательного читателя ясна была тревога и боль за судьбу России и русских тружеников, сквозившая во всех карти-

нах ирландского голода и ирландской борьбы за национальную независимость.

Только борец, и только русский борец мог написать так.

Только, так сказать, профессиональный пропагандист, стремящийся использовать любую возможность для пропаганды своих идей, мог написать такую статью.

(А до сих пор неизвестно было, что Кравчинский написал такую статью, никогда она не перепечатывалась, никогда никто и не упоминал ее.)

Вернемся к нашему рассказу.

Очевидно, Иохельсон не сумел достать денег.

9 сентября 1881 года давний эмигрант, известный публицист Варфоломей Зайцев, живший тогда в Швейцарии, пишет жене из Кларана, что получил ожидаемые деньги от Антоновича и хотел уж было послать их ей, «но пришлось отдать 150 Сергею, которого ищет полиция, так что ему необходимо драться в Англию», и через пять дней — 14 сентября — снова пишет ей: «В субботу в Женеве видел Сергея; мы с сестрой уговаривали его убраться скорее да незаметно, и потом мой компаньон получил известие, что только сегодня хочет ехать. Не знаю еще, уехал ли и благополучно ли?»²

И на этот раз Кравчинскому удалось благополучно скрыться, уйдя буквально из рук шпионов. Только он двинулся не в Англию, как сообщал всем знакомым, а в... Италию. Там он собирался провести некоторое время, пока остынут его следы в Швейцарии и полиция успокоится. Местонахождение его должно быть строжайшим секретом для всех, кроме самых-самых близких. А тем временем наверняка придут документы из Петербурга, и он сможет поехать в Россию.

¹ Группа «Освобождение труда». Сборник 1. стр. 223. Разрядка моя. — Е. Т.

² М. З. — «В. А. Зайцев за границей» — журнал «Минувшие годы», 1908, кн. XI, стр. 100, 101.

В Италии Кравчинский собирался написать статьи об итальянской литературе для журнала «Дело», о чем он договорился с новым редактором журнала — после смерти Благосветлова — К. М. Станюковичем.

Так он должен был уйти в двойное изгнание — эмигрант в эмиграции.

Жена сохранила несколько писем Кравчинского с описанием его путешествия в Италию — путешествия в буквальном смысле, так как он проделал весь путь пешком. Она жила в страшной тревоге: даже здесь, в этих «свободных» странах, его могли схватить каждую минуту и выдать России, а там неминуемая смерть.

Но Кравчинский верил в свою удачу.

Чтобы оправдать дорожные расходы и поскорее вернуть долг, он решил по дороге заняться торговлей. Вот уж к чему он был решительно неспособен! Он заготовил в Женеве несколько... гектографов. В своих письмах он шутивно рассказывает, как он убеждал жителей крохотных захолустных швейцарских городков в необходимости приобретения гектографов. Конечно, их никто не покупал. Но Кравчинский не терял бодрости и надежд.

Он писал жене из пограничного городка Домодоссоло — «самого захолустнейшего из всех итальянских городов и минимального по величине», куда он попал, перевалив через Симплон:

«Милая Фаничка! Наконец я в Италии... Горы я не перешел, а скорей перебежал — почти нигде не останавливаясь, я в 12 часов дошел до итальянской границы, до которой дилижанс только на полчаса меньше употребляет. Выгадал таким образом около 22 франков, потому что за багаж один взяли до границы 3 франка... Горы пусты, деревни с заколоченными окнами, открыты только Refuges¹ для застигаемых бурей путешественников... Дорога же восхитительная. Мало мне таких приятных и дешевых удовольствий доставалось.

Сначала от Брига вообще горная дорога, утесы, обрывы, долины, равнины... Потом галереи, высеченные в скалах, потому что сверху вечно валятся лавины. Снег пошел, начиналась буря... А потом кругом огромная, почти гладкая поляна, а на ней холмики, холмики — это высочайшие вершины.

А спуск — просто восторг. Раза три чуть шею не свернул, прыгая по скорчиатоям (укорачивая тропинки), и совсем было задавил одну овцу».

Дальше он рассказывал, что гектографы продать ему не удастся и он надеется распродать их в Милане (конца письма не сохранилось)².

Новая тревога для Фанни: ведь даже местные жители редко отваживались переваливать через Симплон в одиночку да еще в такое время года. Но из конспирации Кравчинский не искал попутчиков.

Прибыв в Милан (вероятно, это было в середине сентября), Кравчинский снял самую дешевую, какую смог найти, комнатку на улице Санта Мария Сегрета в доме № 6, назвавшись синьором Никола Феттер. (Под этим именем жил Николай Морозов в Швейцарии.)

Его ужасала дороговизна миланской жизни по сравнению с Женевой. А тут еще в Милане была открыта большая промышленная выставка, и цены на комнаты невероятно подскочили.

Кравчинскому некогда любоваться красотами чудесного города. Он доволен, что в большом городе (свыше 300 тысяч жителей) легче затеряться. Он успокаивает жену, что никому не скажет своего настоящего имени. Да его тут никто не знает. Ни души знакомых. Никого.

Один только итальянский поэт, Фернандо Фонтана, был ему немного знаком и знал,



¹ Убежища.

² ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 757, лл. 26—27.



что он русский. Но и тому Сергей назвался Григоровичем. А домой никто к нему ходить не будет. «Одним словом, буду принимать меры предосторожности, как в Петербурге по части охранения квартиры», — пишет он жене.

Комнатка плохонькая, но зато в центре. Рядом Миланский собор, неподалеку знаменитый театр Ла Скала. Но главное — рядом дворец Брера, где находятся картинная галерея, обсерватория и великолепная национальная библиотека, насчитывающая свыше 200 тысяч томов. Вот туда-то прежде всего и направился Кравчинский.

«Я ужасно, ужасно много работаю... — писал он жене. — Я уже акклиматизировался здесь... Встаю часов в 8 и к 9 уже в библиотеке, где и сижу безвыходно до 4-х, пока не начинают гнать.

Потом вечером привожу в порядок свои замечания и пишу статью уже об итальянских поэтах, они, как оказывается, несравненно интереснее романистов и уже абсолютно никому не известны. Думаю, недели в две кончу. Пошлю тогда в Дело... Для «Вестника Европы» или «Заграничного Вестника» буду затем сооружать статью о Леопарди и Джустини и К°. После поэтов возьму драматургов и романистов или романистов, а по-

том драматургов. Все это листов 6, как когда-то я и говорил Станюковичу»¹.

А денег нет. Прибыл он в Милан с 50 франками. Надо было дать задаток за комнату. Внести залог в библиотеку. В день на себя он тратил 30 сантимов на хлеб и 40—45 сантимов на обед. «Я теперь держу себя строго — на беневентском положении», — пишет он. А Беневенто — это ведь тюрьма, где он сидел за вооруженное восстание. Послать письмо — немислимый расход: 25 сантимов. Он обещает жене, что будет посылать ей газеты бандеролью — это стоит всего 5 сантимов, а внутри газеты будет писать ей «химией», используя навыки старого конспиратора. Надо бы пойти в кафе — встретиться с журналистами, — может быть, и работа какая перепадет, так вот беда: нет рубахи приличной.

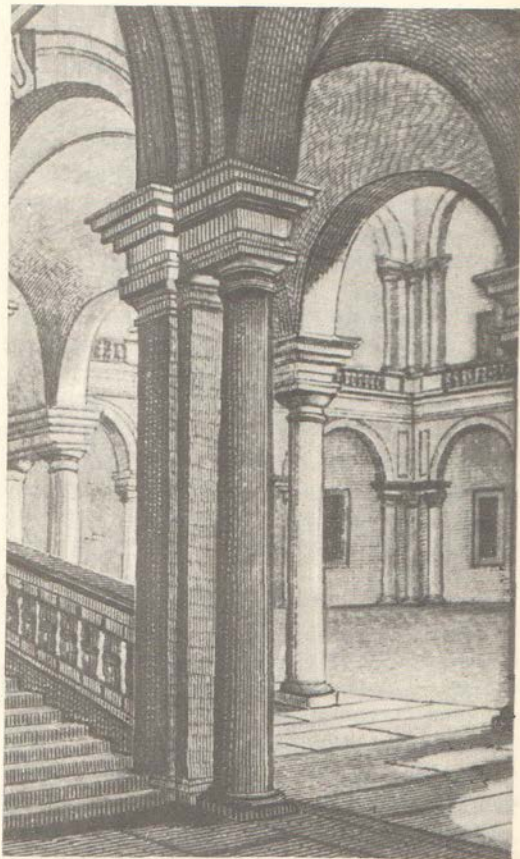
Он не унывает, ведь всего месяца два ему тут придется пробыть, а там придут документы из России и он уедет.

А пока он всеми способами пытается заработать хоть немного.

Ищет книг, подходящих для перевода. Предложил Станюковичу роман немецкого писателя Роберта Бира — «Депутат либеральной партии». Дрянной роман, но с «тенденцией». Нашел очень хороший рассказ из жизни рудокопов. (Рассказ Джованни Верга «Огневик» в переводе Кравчинского был напечатан в журнале «Дело» за 1881 год, в № 12, а роман Р. Бира и другие переводы и очерк о Гарибальди — в 1882 году, — все под чужими именами или вовсе без имени.)

Пишет Кравчинский и многочисленные корреспонденции во всякие русские газеты и журналы. После захолустной Швейцарии жизнь большого города — одного из крупнейших экономических и культурных центров Италии — давала множество впечатлений. Но далеко не обо всем можно было писать. И далеко не всякая газета желала иметь дело с политическим эмигрантом.

По письмам Кравчинского жене мы знаем,



что он писал о миланской выставке в «Неделю», о рабочем союзе ломбардских городов — в «Порядок», о папском канонике Генрихе Кампелле, «который торжественно отрекся от католицизма и перешел в протестантство потому-де, что католические попы все изменники, — в «Русские ведомости»².

Составление этих корреспонденций очень тяготило Кравчинского, он называет их «самым низшим родом литературы», но — нужда! Он берется за все, не будучи вовсе уверен, что это напечатает.

¹ ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 757, лл. 30—30 об.

² Там же, лл. 34, 41 об. и др.

(Установить с уверенностью, что именно из напечатанного в то время в этих изданиях об Италии принадлежит перу Кравчинского, очень трудно: все корреспонденции помещались без подписи, да к тому же часто подвергались изменениям по требованиям цензуры и правились в редакции. Однако мне удалось обнаружить около десяти статей, безусловно написанных Кравчинским.)

А в переписке с Россией надо соблюдать такую осторожность. Один из его новых итальянских знакомых, Пистолези, разрешил давать свой адрес для этой переписки. Но и это не спасало его русских доброжелателей: в деле К. М. Станюковича приводятся тексты телеграмм, которые он посылал Кравчинскому в Милан на адрес Пистолези — Milano, Via Vivaia, 16,—извлеченные жандармами из архива Главного управления почт и телеграфов.

Скучать ему некогда — нет ни минуты свободной. Но он тоскует по жене, по товарищам. Из России приходят страшные вести — арестована Татьяна Лебедева. Ольга Любатович пишет отчаянные письма. Кравчинский понимает, что она накануне катастрофы. Только Стефанович пишет бодрые письма, полон энергии, всяческих планов.

Кравчинский в Милане совсем один. Даже письма от друзей, от Фанни он сжигает. Ведь если его арестуют — каждое письмо будет уликой, и они могут пострадать.

Однако Фернандо Фонтана оказался славным малым — он всеми силами стремится помочь своему русскому другу. Они были ровесниками и подружились. Судьба его тоже была трагична. Он рассказывал о себе Сергею.

Его отец, бедный живописец, не мог содержать больную жену и трех детей на ничтожное жалованье декоратора в театре Ла Скала и решил попытать счастья в Южной Америке. Сначала ему повезло, и он посылал домой изрядную сумму. Маленький Фернандо учился в лицее и обучал всему, что узнавал сам, своих двух младших се-

стренок, которых горячо любил. Но вскоре отец замолчал — ни денег, ни писем. Все запросы ни к чему не привели. Мать умерла. И Фернандо остался главой семьи. Он служил «мальчишкой» в кафе. Уехал в Геную. Там сломал себе ногу. И во время его болезни сестры — он знал: они умирали с голоду — исчезли. Фернандо стал уличным торговцем. Тогда-то он и начал писать стихи.

Теперь он сотрудничает в миланских газетах, его стихи издают и он уже не ночует под открытым небом — он не нищий, но тяжкая нужда постоянно подстерегает его.

«Невозможно представить себе музы более своенравной и капризной, но вместе с тем и более симпатичной», — говорит о нем Кравчинский.

Стихи его мрачны, но, как писал о нем Кравчинский, «он вышел победителем из тяжелых испытаний и остался передовым бойцом человеческой мысли». Фонтана стал социалистом. Но Кравчинский не мог не упрекать своего итальянского друга за то, что «он нередко упускает из виду требования образности и художественности».

В своей статье об итальянских поэтах Кравчинский отвел своему другу почти целую главу. Писал он и о стихах уже знаменитых поэтов — Джозуэ Кардуччи, Олиндо Гуеррини, писавшем под псевдонимом Лоренцо Стеккетти, и о других, которые были еще мало известны даже у себя на родине. Написал он и о самом «левом» из итальянских поэтов — Карло Баравалле. С ним самим познакомил его Фонтана.

Эта статья Кравчинского и сейчас поражает глубиной анализа, тонкостью наблюдений, живостью изложения, в котором непременно сочетаются рассуждения о поэзии и личные впечатления о встречах с итальянскими поэтами.

Совсем недавно одна итальянская коммунистка, молодой историк, специально занимающаяся той эпохой, Эльза Гуэрра, рассказала мне, что во всей итальянской литературе она не встречала такого проникновенного по-

нимания поэзии Лоренцо Стеккетти, какое она нашла в статье Кравчинского. Она решила перевести эту статью на итальянский язык.

Однако Кравчинский, послав эту статью через Драгоманова Пыпина в «Вестник Европы», все не получал ответа.

Через полгода (вероятно, в мае 1882 года) Драгоманов так писал Кравчинскому из Женевы в Милан: «Теперь о поэзии. Я послал Ст-чу (то есть М. М. Стасюлевичу, редактору журнала «Вестник Европы»; эмигранты, опасаясь шпионов, избегали в переписке называть имена. — Е. Т.) часть Ваших листков, зачеркнув некоторые слова. (Вероятно, Драгоманов имеет в виду еще какую-то другую работу Кравчинского. — Е. Т.) Хотел, чтоб на него подействовала теплота их, как на меня подействовала. Впрочем, черт их знает: вот я восхищался Вашим изложением, столько же как и содержанием, в статье о поэтах (серьезно, я ни у кого из русских не видел такого удачного проникновения русского языка итальянской теплотой), а вот Пыпина, верно, не пробрало. Авось, Ст-ча проберет. Впрочем, несомненно, что от этого уже хоть ответ будет. Я писал ему и о статье»¹.

Несмотря на все хлопоты и просьбы, эта статья Кравчинского появилась в «Вестнике Европы» только в 1883 году, где была напечатана в № 5—6 под названием «Очерки новейшей итальянской литературы», подписанная буквами — «С. Г.», то есть «С. Горский», как он иногда подписывался в журнале «Дело».

Но вернемся к осени 1881 года — когда, придя в Милан, Кравчинский писал эту статью и бедствовал.

II
«Я написал эту книгу, потому что не имел возможности дать генеральное сражение врагам Италии». Эти слова Ф.-Д. Гверрации из письма к Дж. Мадзини о своей книге «Осада Флоренции», написанной в тюрьме, Кравчинский приводит в статье об итальянских поэтах.

В поисках работы для своего русского друга Фонтана познакомил Кравчинского и с издателем одной миланской газеты.

14 октября 1881 года (через месяц после прихода в Милан) Кравчинский так писал жене и Анне Эпштейн в Женеву (не думайте, что он стал датировать свои письма. Нет, но так как это открытка, на ней сохранился почтовый штемпель: Милан, 15.10.81, а начало было написано накануне. Писал микроскопическими буквами черными чернилами, я не зря сообщаю эти подробности, как вы увидите дальше).

«Пишу, чтоб сказать вам, что я получил работу в одной газете — «Pungolo», платящей безусловно; умеренная, но мне гарантирована полная независимость, с обязательством, впрочем, излагать факты, а не пускаться в теории, от чего избави меня бог.

Условия такие: статей 10—16 в 200 строк каждая с платой по 25 франков за штуку. Впрочем, окончательные условия определятся, только когда я представлю две пробные корреспонденции — первая историческая и вторая биографическая... Это мне мой поэт устроил... Умеренные газеты, оказывается, во сто крат лучше для нас, чем красные. Те, вроде Intransigeant, все фокусов и Понсон ди Терайлев требуют... Я сказал, что сделаю 2—3 корреспонденции исторические, а потом, в остальных, — в виде биографий, рассказов о достопримечательных бегствах и т. п. — постараюсь дать характеристику движения в лицах и образах...

А знаешь, чью характеристику я сделаю первой? Догадайся — Дмитровскую. О нем столько раз в газетах писали, что его имя можно упоминать. Хотел бы Льва, но нельзя. Потом распишу Анку.

Открытка кончилась. Все было исписано сверху донизу. И Кравчинский сразу сел за работу. Очевидно, вечером того же дня он снова взял открытку. Теперь он уже писал красными чернилами поперек написанного черными. (Я немало ломала глаза, пока работала все, что писал Кравчинский, стараясь

уложить побольше в открытке, так как на письмо денег у него не было...)

«Статья при переписке оказалась больше, чем думал...»

И снова продолжал работу, загоревшись сразу, с размаху.

Дальше на этой открытке Фанни и Анна Эпштейн (Анка, как ее ласково называли друзья) прочитали:

«На другой день. Вчера не отправил. Сегодня хочу приписать, что первую пробную корреспонденцию кончил почти. Завтра кончу вторую. Мне немножко совестно живого человека расписывать. Но я думаю, что это прерассудок. Ведь описывают же Доде и Гамбетту. Сделаю, конечно, так, что ни самое описание, ни даже то, что с него начинаю, не будет в состоянии иметь для кого-нибудь какого бы то ни было значения, если бы даже ее Третье отделение прочло.

Я мог бы, конечно, выбрать других людей и даже другую тему — потому что это было мне предоставлено, но стою за свой план с чисто артистической точки зрения. Пишу с величайшим удовольствием, как еще никогда ничего не писал»¹.

Так начала создаваться «Подпольная Россия».

Кравчинский сразу точно определил свою задачу: дать характеристику движения в лицах и образах.

Сразу точно представил себе план работы: две-три исторические корреспонденции, а затем — биографические очерки, рассказы об отдельных событиях.

Сразу решил, что первым биографическим очерком будет очерк о Якове Стефановиче, имевшем революционную кличку Дмитро.

Вместе с этими решениями сразу встали многочисленные сложные вопросы, которые потом вызвали бурную полемику среди друзей Кравчинского.

Опасность для описываемого «живого» деятеля.

Вообще возможность описывать «живого» человека под его именем. (Такой традиции не было в русской литературе в ту пору!)

Порядок расположения биографических очерков, которые потом Кравчинский назовет «Профили». И наконец, даже то, что серия очерков начнется именно со Стефановича. Стефанович вовсе не был ни самой значительной фигурой из тех, кого решил описать Кравчинский, ни самым близким его другом.

Насчет опасностей мы увидим дальше, как много Кравчинский об этом думал и как он действительно сделал так, что царская полиция ничего не нашла для себя в его книге.

К спорам о возможности описывать «живого» человека мы тоже еще вернемся.

Сразу решил писать «без фокусов», просто, а не в духе Понсон дю Террайля, автора знаменитых в то время «Похождений Рокамболя», построенных на невероятных приключениях.

Порядок и состав «профилей» будет еще много раз обсуждаться Кравчинским.

О «Льве» — Тихомирове, об одном из немногих уцелевших к той поре членов Исполнительного комитета «Народной Воли», — конечно, писать было нельзя, да Кравчинский и не любил его.

Почему он выбрал для начала именно Стефановича, можно только предполагать. Колоритная личность Стефановича, с авантюристическими наклонностями, центральная фигура так называемого «чигиринского заговора», который он затеял летом 1877 года, решив поднять народ против самодержавия... именем самого царя, якобы бессильного против своих придворных и просящего помощи у народа, конечно, была понятнее для западноевропейского читателя, чем многие другие.

Может быть, дело было в том, что в то время все мысли Кравчинского были постоянно прикованы к Стефановичу — последнему, кого Кравчинский только недавно проводил

¹ ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 164, л. 2. Разрядка моя. — Е. Т.

из Швейцарии в Петербург. Вероятно, Кравчинский и завидовал ему, и ставил мысленно себя на его место, и в своем воображении постоянно сопровождал его.

Может быть, были и другие причины.

Кравчинский работает поразительно быстро. За один день он кончил первую — вводную — корреспонденцию (потом, в книге — главу), а к следующему дню собирается кончить очерк о Стефановиче.

Недаром эта работа доставляет ему «величайшее удовольствие».

А ведь пишет он не на родном, а на чужом, на итальянском языке.

Через день или два (это уже не открытка, почтового штемпеля нет) Кравчинский пишет жене большое письмо. Пишет о своей тоске. О том, что собирается в Россию. А денег все нет. «Может быть, моя здешняя литература вывезет. Я всего несколько часов тому назад ответил и получу ответ только завтра, но не сомневаюсь, что будет принято. Я оставил рукопись и раскланялся, а потом из прихожей вернулся, чтобы сказать насчет одной вещи, и застал, что они уже над моей рукописью все сидели. За размеры боюсь — вышло длинновато, а резать невозможно, в особенности вторую, то есть Дмитро. Я его только характеристику — «портрет» нарисовал без всякой биографии. Следующий зато будет биографический — Осинский. Затем... ну, да об этом завтра напишу, потому что письмо это отправлю только завтра, когда все узнаю». Затем он всячески успокаивает жену, которая боится, что его местонахождение из-за этой работы раскроется. «Насчет моей беготни по литераторам, опять повторяю, решительно ни малейшей опасности... А письма мои в «Pungolo» будут как будто присланные из Швейцарии...

Насчет Ольги я в большом беспокойстве. Она, очевидно, должна провалиться не сегодня-завтра... Во всяком случае, надо попробовать ее вызвать. Может, и оправится года через два-три. Только что она делать будет,

вот вопрос, чем жить — другой. Очень тугой вопрос...

Только что из редакции «Pungolo». Я, миленькая, глупый — это ты правду говоришь. Вот как было дело. Прихожу — докладывают — вхожу. Перед редактором моя рукопись, и он начинает комплимент за комплиментом — и прелестно написано, и язык, и все такое. Некоторые, говорит, мысли редакция не разделяет, но вы, конечно, позвольте ей сделать примечания — если, чего мы искренне желаем, ваши «письма» украсят столбцы нашей газеты.

Дальше он подробно описывает свой разговор с редактором о гонораре. Сетует, что не смог отстоять 25 франков за «письмо», наверно, сбавят по 5 франков. А еще был в торжественной рубаше! Но все же он доволен; скоро сможет послать ей немного денег. Сам он живет на залог, который взял из библиотеки обратно. «Потом напишу вещь хоть полуреволюционную. А это очень и очень приятно после подцензурного блудословия. По мере печатания буду присылать тебе. Я сказал, что всех корреспонденций моих сделаю 13 (нарочно чертовское число выбрал). И думаю, вот как расположить».

Первые две исторические. Затем 8 биографий: 4 мужчины и женщины. Дмитро, Осинский, Дмитрий мой, Лизогуб. Затем женщины: Перовская, Вера, Ольга и Геся. Знаю, что ты не одобришь одной из последних, будешь не права... Мужчин мог бы еще: Мошка, Кропоткин, Дворник, Желябов, Михайло... все типы оригинальные, крупные, сильные, каждый в своем роде. Ну, а женщин кого еще?

Таню, конечно, и я бы поместил ее вместо Ольги, если бы знал о том, можно ли и в какой мере можно говорить о ее деятельности по царевбийственной части. Ну, а потом кого. Верочку Филиппову? Колленкину? Малиновскую?..

Затем последние три корреспонденции будут изображать три факта — одно бегство

(вероятно, Кропоткина — кстати, чтоб и о нем сказать, потому что очень известен), потом гартмановский подкоп — в тех размерах, как выяснено на процессе, с некоторыми чисто беллетристическими дополнениями по рассказам Морозова.

Затем отдельная корреспонденция — типографшички. Это будет последняя и самая мрачная и, может быть, лучшая. Об этом тоже можно говорить, потому что ведь в газетах писали. Все вместе составит очень хороший материал для будущего историка или романиста».

После очерка о Стефановиче он собирался написать очерки о землевольце Валериане Осинском, отважном воине с мужественным сердцем и сильной рукой, казненном в 1879 году, о своем лучшем друге — «Дмитрий мой», о Дмитрие Клеменце — глубоко мыслителе и блестящем пропагандисте и о Дмитрие Лизогубе — богатом помещике, отдавшем все свое состояние делу революции, человеку идеальной нравственной чистоты, «святым от революции», повешенном также в 1879 году.

Из женщин он хотел нарисовать образы Софьи Перовской, Веры Засулич, Ольги Любатович и Геси Гельфман, также приговоренной к смертной казни по делу 1 марта, но казнь которой была отсрочена из-за ее беременности и потом заменена вечной каторгой; но Гесья умерла в тюрьме вскоре после родов.

Все эти люди (кроме Геси, которой он лично не знал) были друзьями Кравчинского, его соратниками, которым он был беззаветно предан, которых он любил «до обожания», которые внушали ему «чувства безграничного удивления и восторга». Эти чувства он и хотел передать читателю, показать, сколь яркие индивидуальности, высококонтрастные личности, сильные интеллекты составляли авангард русского революционного движения, запечатлеть их образы, поставить им вечный памятник...

Он мог бы написать и о других.

Мошка — Арон Зунделевич, один из сильнейших умов движения, один из первых русских социал-демократов, прекрасный конспиратор.

Петр Кропоткин — представитель высшей русской аристократии, князь, Рюрикович по крови, имевший больше прав на российский престол, чем Романовы, выдающийся ученый с мировым именем, неутомимый пропагандист. (Кравчинский написал-таки о нем очерк для своей книги.)

«Дворник» — Александр Михайлов, человек, всецело поглощенный революционной борьбой, арестованный еще в 1880 году и заточенный в крепости.

Андрей Желябов — идейный вождь «Народной Воли», повешенный по делу 1 марта.

Михайло Фроленко — тот самый, который освободил Стефановича, Дейча и Бохановского из киевской тюрьмы, чайковец, член «Земли и Воли» и член Исполнительного комитета «Народной Воли».

Татьяна Лебедева, тоже член Исполнительного комитета «Народной Воли», старая приятельница Кравчинского, только что арестована, о ней пока ничего нельзя написать.

Верочка Филиппова — Вера Фигнер — одна из немногих оставшихся на свободе, самый деятельный член Исполнительного комитета, превосходный организатор, — о ней тоже ничего писать нельзя.

Маша Коленкина — подруга Веры Засулич, член «Земли и Воли», которая сама хотела стрелять в Трепова, арестована после вооруженного сопротивления.

Художница Александра Малиновская — бывшая одним из самых преданных членов «Земли и Воли», арестованная вместе с Коленкиной.

О каждой из них Кравчинский мог бы написать целые книги, но нельзя ни строчки...

Наверно, ему доставляло неизъяснимую боль и радость самое написание их имен. Этим он как бы воскрешал их для себя.

Затем он хотел описать несколько замечательных историй из жизни подпольщиков, правильно полагая, что яркие эпизоды дадут более для понимания их жизни и характеров, чем многие страницы описаний.

Прежде всего он хотел рассказать о знаменитом побеге Кропоткина, средь бела дня увезенном из тюремного госпиталя в Петербурге на великолепном рысаке Варваре и затем бежавшем за границу.

И конечно, о так называемом гартмановском подкопе, то есть о подкопе под полотном железной дороги на окраине Москвы, с целью взорвать царский поезд, который ожидался на этом пути. Всем делом руководили Лев Гартман и Софья Перовская, которые жили в маленьком домике под видом супругов Сухоруковых. Подкоп оказался безрезультатным. Сухоруковы скрылись, Перовская осталась в России, а Гартман бежал за границу — во Францию и по настоянию царского правительства был арестован французскими властями в Париже в феврале 1880 года. Этот арест вызвал огромное возмущение среди передовых людей всего мира. В защиту Гартмана выступил Виктор Гюго, и Гартман не был выдан царскому правительству, а выслан в Англию, в Лондон. Там Гартман познакомился и подружился с Карлом Марксом и его семьей. Он много выступал в европейской печати со статьями о русском революционном движении. К сожалению, Гартман в изгнании не очень хорошо себя зарекомендовал, статьи его были легковесны и сенсационны, и шум вокруг его имени вовсе не соответствовал значению его личности. Кравчинский и не думал посвящать ему отдельного очерка, но история подкопа действительно была замечательной.

Рассказ о нелегальной типографии особенно волновал Кравчинского. Будучи пропагандистом по убеждению, он особое значение придавал вольному русскому слову, а условия работы в нелегальных типографиях были так тяжелы, требовали такой самоотвержен-

ности, что Кравчинский понимал всю важность этого очерка.

Итак, план всей работы уже был готов. В дальнейшем ему придется кое-что изменить, но немного.

Но вот беда: Кравчинский никогда не помнил дат, цифр, чисел. А здесь негде и не у кого справиться. Ни людей, ни журналов, ни газет русских.

И в этом же письме он забрасывает жену вопросами — что-то она должна помнить сама, что-то может спросить у друзей, что-то может посмотреть в книгах у Драгоманова. Он просит ее прислать ему брошюру Кропоткина о Перовской (она летом еще вышла в Женеве на французском языке), номера «Народной Воли» и «Земли и Воли», где имеются биографические материалы, разные газеты с описаниями процессов.

«Потом мне нужно кое-что из Чигиринского дела. Я о нем всего десять слов говорю, но и тут по своей привычке непременно перезабыть числа, наверно, наврал. Спроси у Женьки¹ и напиши:

1) в каком году и месяце Дмитро начал его и в каком произошел окончательный погром;

2) как звать мужика, который предал дело исправнику, и в трех словах, как произошло предательство. Я, кажется, напутал.

Потом напиши мне — ты это должна сама помнить:

1) в каком году и месяце мы с тобой познакомились (об этом я публике говорить не буду, но это мне для соображений о других фактах), а также когда я в Москву с Рогачевым прибежал — в 73 или 74». И таких вопросов еще великое множество².

А работает он дни и ночи напролет. А денег уже нет ни франка. Заложил часы —

¹ Евгений, Женька — революционная кличка Льва Дейча, ближайшего друга Я. Стефановича и также участника Чигиринского дела.

² ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 757, лл. 51—54.

недели на две хватит... Жена пишет отчаянные письма в тревоге, что его схватят в Италии, и они так и не прощаются даже. Или придут, наконец, документы из России, и он сразу уедет в Петербург, и они опять-таки не повидаются перед разлукой. И здоровье у нее плохо. И денег нет. И башмаки разорвались, выйти из дому не в чем. И она посылает ему 15 франков, которые с трудом великим достала... И мечтает приехать к нему в Милан...

Кравчинский ее успокаивает: «Попомнишь мое слово — раньше двух месяцев я не двинусь. Да еще, слава богу, если через два-то двинусь. Ну, а через месяц, наверное, ты здесь будешь...»

Засаживаюсь за статью свою. Постараюсь кончить до новой корреспонденции, о которой помышляю, представь, с удовольствием. Ужасно приятно после радикальной русской в ретроградную итальянскую прессу попасть. А уж как я по-италиански наострюсь! Просто, хоть газету потом издавай!...»

При ближайшем знакомстве газета «Pungolo» (по-русски—«Жало») оказалась вовсе не «умеренной», а действительно «ретроградской», одной из самых реакционных итальянских газет.

Первую свою «корреспонденцию», как он ее называл, «историческую» — о нигилизме в России, о том, что нигилистами в России называли людей шестидесятых годов, а в Европе этим именем окрестили революционеров-семидесятников, — и другую — о Стефановиче, Кравчинский сам перевел на русский язык и послал друзьям в Женеву на прочтение для критики, заранее предвидя, какие возражения они вызовут.

Одновременно он просит друзей устроить опубликование этих корреспонденций где-нибудь еще, может быть, в Австрии.

В это же время он в страшной спешке, судорожно переводит для Станюковича рассказ Джованни Верга «Огневик» про мальчика-рудокопа и ищет еще произведений для пере-

водов. Среди итальянской литературы он не находит ничего, а иная ему недоступна — нет здесь ни французской новой, ни английской, ни немецкой. Он придумал план коллективного, как он говорит «триединого», перевода: товарищи в Лондоне и Париже будут подыскивать подходящие произведения, а он будет переводить. Вся переписка страшно осложнена его двойной эмиграцией — он не может переписываться прямо ни с Лондоном, ни с Парижем. Уж очень будет подозрительно, что человек ведет такую обширную международную переписку. Это может привлечь внимание полиции. Поэтому все письма он посылает Анне Эпштейн в Женеву, а она уже оттуда посылает по назначению. Так же и товарищам он дает только адрес Анны, а она уже пересылает все ему в Милан. Канительно, дорого, но иначе нельзя!

Анка сообщила ему отзывы Веры Засулич и Льва Дейча на его первые корреспонденции. Оказывается, очерк о Стефановиче вызвал целую бурю.

Кравчинский писал в ответ Анне Эпштейн:

«А что они рассердятся за Дмитра — я это знал. Они хотели бы, чтоб я его расписал всего на золоте. И лицо чтоб все так и светилось, как у Моисея после Синайской горы, — как византийские маляры святых угодников малевали. Ну, да что поделаешь! Взглясь (здесь кусок письма оторван) ажать живого, так живым и изобразил. (Опять нет куска.)»

Напиши, ведь и вообще они, наверно, Дмитром моим недовольны. Не только за Женюку, а и вообще за всю характеристику, потому что не все добродетели я ему приписал, а и другим штук парочку оставил. Напиши, как тебе показалось. Не думай, пожалуйста, что я сердит, ей-ей, нет. Я это знал заранее и знаю, что, например, Кропоткин и княгиня в особенности будут тоже портретом недовольны; вероятно, и Ольга тоже, и может быть, ты тоже, хотя этого, может, и не будет.

Мне вспомнилось одно замечание фотографа, у которого я снимал, помнишь, ту карточку, что ты Катерине Дмитриевне¹ подарила.

— Ах, как скверно! — сказал я, когда мне ее показали.

— Нет, нет, — отвечала мне фотографшица, — напротив, очень хорошо. Все решительно, когда им показывают их фотографию, находят, что скверно. Но ваша совсем хороша.

Я расхохотался и никаких больше возражений не делаю².

Так началась единственная в своем роде дискуссия между автором и изображенными им людьми. Она имела длинное продолжение и не прекратилась и после смерти Кравчинского.

Книга еще не была написана, но Кравчинский уже ясно представлял себе свою задачу — «изобразить живым» — и предвидел трудности ее и сложность.

В этом же письме он выражал свою тревогу за Ольгу и просил, чтобы написали Стефановичу в Россию об отправке ее за границу.

И в это же время писал жене:

«Ах, Ольга, Ольга, какая она теперь, должно быть, несчастная! Планы бросила, ребенок умер... Ужасно! Неужели они не могут найти ей какого-нибудь дела. Ведь, кажется, не так трудно голову сложить.. А Ольга человек очень решительный...»

У него не было уже ни сантимата. Он заложил свой «торжественный сюртук... сказав хозяину, что к портному пуговицы поставить несущ». (Об этом он сообщил уже после получения денег и после того, как выкупил свой сюртук...) А работал он много — «почти каждый день до 2-х ночи и сижу так усердно, что к дивану своему, хоть он и очень мягкий, почти совсем не прикасаюсь даже...».

А редакция «Pungolo» все не давала ответа.

И только 2 ноября он мог, наконец, сообщить жене, что «договорился и кончился с Пунголом за 200 франков 13 корреспонденций с сохранением всех прав». Конечно, это очень мало, но издатель этой газеты Эмилио Тревес предлагает издать его корреспонденции отдельной книгой. Россией все интересуются. Тоже даст франков 200. Стало легче. Он может как-то оглядеться вокруг, и в этом же письме пишет:

«Ужасно люблю статуи, а они прелестные.

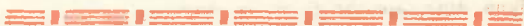
Знаешь, каждый раз как я в Брере бываю, всегда останавливаюсь минуты на две и обхожу кругом одну статую Кановы. Она называется «Наполеон», и N на подножье, но ничего наполеоновского нет — просто голый человек, который очень быстро идет вперед. Голова — самая обыкновенная. Но торс! До сих пор я никогда не думал, что тело мужчины может быть так божественно прекрасно.

Просто оторваться нельзя от живота, груди, спины и «подушечек» этого бронзового атлета.

И к этому письму он написал постскрипту. Живое слово живого человека:

«P. S. Письма мои, если не жжешь, то зачеркивай некоторые места. А то мне стыдно. Вдруг после моей смерти издадут мой письмовник, и комментаторы начнут рассуждать — что такое «подушечки» изображают и какие именно автор имел в виду. А так как о них упомянуто после спины, то... Видишь, как стыдно будет. Ну, прощай и пиши».

...Комментаторы об этом рассуждать не будут. Просто улыбнутся.



¹ Екатерина Дмитриевна Дубенская — приятельница Кравчинского и Клеменца, помогавшая им в их революционных предприятиях.

² ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 8 об.

Дорогой Николай Павлович!

Коль скоро Вам, моему другу, который наконец выискался, буду очень благодарен тем самым, которые вы мне выписали, и особенно за выписку замечательной работы, которая мне очень нужна. Вам же буду благодарен тем самым, которые вы мне выписали, и особенно за выписку замечательной работы, которая мне очень нужна. Вам же буду благодарен тем самым, которые вы мне выписали, и особенно за выписку замечательной работы, которая мне очень нужна.

Это кажется предисловием, но по вашему мнению и вероятно то же самое, что и второе, то же самое (на мой взгляд) статья, которую вы мне выписали, и особенно за выписку замечательной работы, которая мне очень нужна. Вам же буду благодарен тем самым, которые вы мне выписали, и особенно за выписку замечательной работы, которая мне очень нужна.

Во вторник, 8 ноября 1881 года читатели газеты «Il Pungolo» (Corriere di Milano) среди других материалов увидели заголовок: «La Russia Sotterranea». Затем шло пред-уведомление от редакции. Она сообщила читателям, что начинается публикацию серии писем одного русского патриота, которые раскроют «великие и ужасные тайны» русского нигилизма. Письма эти написаны по-итальянски самим автором и присланы из Швейцарии. После введения об истории и природе русского нигилизма будут помещены биографии знаменитых нигилистов — четырех мужчин и четырех женщин и несколько рассказов, характеризующих их. Письма эти

представляют живой интерес для читателя и, несомненно, произведут большое впечатление.

Затем следовал подзаголовок: Lettera 1-a. Preludio, то есть «Письмо первое. Вступленье».

Так родилась «Подпольная Россия».

Удивительное название дал Кравчинский своим письмам:

«Подпольная Россия!»

Действительно, кроме царской России, кроме рабской России, кроме страны жандармов, палачей, чиновников, преуспевающих газетчиков-блюдолиздов, кроме страны нищих крестьян, голодных рабочих, кроме страны

людей, сочувствующих народу и буруемаемых иногда «благими порывами», есть еще, утверждал он, Россия благородных, мужественных, честных борцов за счастье народа, Россия героев, Россия революционная, подпольная!

Только вот на итальянском-то языке такого слова нет! Пришлось вместо «подпольная» перевести «Sotterranea», то есть «подземная». (Так же звучало это слово и на английском — «underground» и на французском — «souterraine».)

В этот же день Кравчинский послал жене и Анке три экземпляра газеты. В этот же день он получил деньги, 100 франков, половину всего гонорара. В этот же день он отправился на радости в оперу; «не бойся, даром, в Пунголе дали даровой билет», — писал он жене.

Теперь уже их встреча близка. Он посылает ей деньги, она расплатится с долгами в Женеве и приедет к нему в Милан!

Через три дня он пишет жене и Анке. Вот только теперь он сообщил им о заложенном сюртуке. Пишет о том, как хвалят его итальянский язык. «...все мои приятели (несмотря на конспирации, несмотря на то, что сидел день-деньской в библиотеке, все-таки у него уже много приятелей! — Е. Т.) очень мою штуку одобряют, в особенности мой поэт — ну, да он, впрочем, очень взбалмошный и шальный. А вот что мой будущий издатель очень хвалит — это мне чрезвычайно приятно...»

Дальше сообщает, что вслед за очерком о Стефановиче будет писать о Дмитрие Клеменце, так как материалов об Осинском еще не получил, «да так, кажется, даже лучше будет с литературной стороны».

Уже больше двух лет Клеменц просидел в тюрьме в ожидании суда, и вот недавно, в конце лета, без всякого суда, по высочайшему повелению, отправлен этапом в Сибирь. Кравчинский думает о нем постоянно.



В этом же письме, уже обращаясь к одной Анне, жене Клеменца, Кравчинский пишет ей: «Милая Анка! Какие тебе странные мысли в голову приходят! Неужели ты думаешь, что я не вспомнил об исключительном положении Дмитрия. Только потому и буду писать, что знаю, что никакого вреда от этого ему произойти не может, в каком бы положении он ни был. Да ты, наверное, сама это отлично знаешь, и в тебе говорит вовсе не страх за него, а просто «скромность», которую иначе не могу назвать, как мышиною: чтоб, боже сохрани, дальше, как в твоей норке, тебя никто не видел и не знал. А вот я хочу, чтоб знали, и будут знать».

Дать характеристику движения в лицах и образах, изобразить эти лица «живыми», рассказать европейской публике настоящую правду про нигилистов... И при этом достичь полноты художественного впечатления...

Как это сделать?

16 ноября была напечатана вторая корреспонденция — «Письмо второе» — о периоде пропаганды и 26 ноября — третья, о терроре. Редакция в примечаниях своих отмечала успех этих «писем» и живейший интерес, с которым их встретил итальянский читатель.

Эти «письма», как и все дальнейшие, были уже подписаны — очевидно, решили, что так лучше, чем безыменно, как первое «письмо».

Кравчинский подписался — «Stepniak» — «Степняк», вероятно, вспомнив родные украинские степи. Впрочем, итальянскому читателю это имя ничего не говорило.

Приехала из Женевы Фанни. Наконец они увиделись. Она привезла множество новостей. Ведь Швейцария была людным перекрестком для всех русских за границей.

А вот новость специально для Сергея — Анка согласилась выполнить его просьбу — описать свои впечатления от последней поездки в Россию.

2 декабря Фанни писала Анке в Женеву: «Вчера он окончил Дмитрия и, кажется, уже отдал в набор. Сергей очень доволен, что ты пишешь ему сочинение о своем пребывании в Питере».

Сергей тут же приписал: «Очень и очень благодарен тебе за твоё сочинение о всех твоих пребываниях в Питере. Пиши как можно больше и решительно все». Обещает барыши поделить пополам.

Но тут пришла весть, которой он ждал со страхом: Ольгу арестовали... Бедная, бедная Ольга! Что с нею будет?

И новая тревога: у Ольги был прямой адрес Сергея на Милан. Если его взяли при аресте Ольги, значит надо убираться отсюда. Фанни писала Анке об Ольге: «Она все вре-

мя звала Сергея в Россию якобы для общественных дел, а на самом деле для спасения Морозова. Жаль ее, но бесит ее слепой эгоизм. Сергей очень неосторожен. Хочу отправить его в Лондон»¹.

Но Кравчинский так был занят своей работой, так увлечен ею, что и думать не хотел об отъезде из Милана.

Он лихорадочно кончал свои «письма». Уже так ему работалось — только «запоем», да к тому же деньги были необходимы, как никогда.

Через несколько дней он сообщает Анне, что закончил всю работу. «Завтра понесу в Пунголо и получу деньги, в которых нужна смертная, ибо заложено: плед, Фанино платье и мой сюртук торжественный — все дотла...»

А знаешь, вся работа моя, вместе взятая, составит книжку в 300 страниц французского формата. Целое произведение! Мне было очень грустно, когда писал, что работаю так медленно. Но теперь, когда все кончено, нахожу, что это чрезвычайно скоро»².

Действительно, вся работа заняла у него около двух месяцев, да за это время он и переводил и закончил статью об итальянских поэтах и написал несколько корреспонденций в русские газеты.

Еще через несколько дней Кравчинский писал Анке, торопя ее закончить ее записки о пребывании в Петербурге, начало которых она уже прислала. Он собирался включить их в отдельное издание «Подпольной России».

«Я очень стою за эту свою работу, и она занимает меня гораздо больше всех моих русских работ, вместе взятых, ибо «не единими хлебами» и т. д. ...»

¹ ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 164, лл. 11—12 и 17.

² Там же, л. 19—21.

Итак, садись и пиши. Ты написала очень мало... Опиши волнения на границе, слухи об аресте Морозика, гонку за Таней в Питере, общий характер петербургской жизни нигилистов...

Н. В. Пиши все, не бойся. Я вовсе не все помещать буду... О современниках, да еще своих людях, нельзя писать что попало...

Вера у меня в полтора печатных листа получилась, и я ее портретом очень доволен. Перовская вышла еще больше, потому что я полубиографию написал¹.

В начале января 1882 года он снова писал Анне Эпштейн:

«Посылаю тебе три корреспонденции, которые не посылал до сих пор, потому что как-то охоты не было: в Пунголе они ведь в очень сокращенном виде. Так, в «Дмитрии» пропустил несколько очень характерных анекдотов и случаев из его приключений и, между прочим, всю прелестную историю (по своему комизму) с освобождением Тельсиева. Это войдет только в отдельное издание»².

Действительно, это была «прелестная» история: будучи сам уже на нелегальном положении, Дмитрий Клеменц приехал в Пудож (Кравчинский забыл и написал — в Петрозаводск) с подложными документами на имя капитана Штурма якобы производить здесь геологические исследования; очаровав все местное начальство, через неделю Клеменц уехал, увезя с собой одного ссыльного — для этого-то он и приехал туда.

Как ни старался Кравчинский писать покороче, все его очерки получались гораздо больше, чем могла поместить газета. Поневоле приходилось сокращать. Сокращения делались второпях, и все это очень огорчало Кравчинского. Но он готовил рукопись к отдельному изданию, и там уже все должно было быть как следует.



Уже были напечатаны все три «исторические» корреспонденции, а также очерки о Стефановиче и Клеменце. «Письмо шестое» — о Валериане Осинском было напечатано 3 января 1882 года. Дальше план пришлось изменить.

Арест Ольги, неизвестность ее судьбы делала невозможным опубликование очерка о ней. Вместо него Кравчинский решил написать о Кропоткине. Очерк о нем составил «Письмо седьмое» — 10 января. Даль-

¹ ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 164, лл. 23—26. Разрядна мая. — Е. Т.

² Там же, ед. хр. 165, л. 8.

ше очерки шли через неделю, через 10—12 дней.

Кравчинский посылал вырезки из газет своим друзьям в Париж, в Лондон, в Вену с просьбой устроить там печатание их переводов.

Из Парижа его друг, член Красного Креста «Народной Воли» эмигрант Николай Цакни писал весьма обнадеживающе, что отрывки из его писем появятся в газете «La Justice», что есть издатель, желающий выпустить его книгу и отдельным изданием. Договорились даже уже с Лавровым, что тот напишет предисловие.

Другой приятель обещал устроить опубликование его писем в одной американской газете. Интерес к России всюду был огромный.

Но все это были только обещания, а деньги, полученные из редакции «Пунголо», уже были истрачены на погашение долгов, на самые неотложные нужды. А Тревес все тянул и не давал окончательного ответа насчет отдельного издания «Подпольной России», хотя всячески хвалил ее.

Кравчинский в отчаянной спешке переводил два романа для журнала «Дело». Один принадлежал перу немецкого писателя Роберта Бира и назывался «Депутат либеральной партии». Кравчинский начал его переводить, когда он еще печатался подвалами в одной газете, и теперь приходил в отчаяние: роман оказался из рук вон плох, нечего было и думать опубликовать простой перевод, Кравчинский что-то опускал, что-то дописывал сам.

«Теперь я уже Бира кончаю, — писал он Анне Эпштейн 7 февраля 1882 года, — ужасных он, подлец, трудов мне стоил. Шутка ли, придать приличный и даже «не тяжеловесный» вид такому остопоу. Господи, какие в нем идиотства! Хоть бы это целование руки у старухи или сама старуха, ругающая, как торговка, умершего отца при дочери! Все это мы, конечно, переделали в наилучшем виде, так что и Марцеллина премилень-

кая девочка выйдет и старуха тоже ничего себе»¹.

Перевод этого романа был напечатан в «Деле» за 1882 год в № 1, 4.

Другой роман он переводил с испанского. Это был «Золотой фонтан» известного писателя Бенито Переса Гальдоса, посвященный волнениям в Мадриде в начале XIX века. Зловещие картины наступавшей реакции, употреблявшей все средства для подавления народных восстаний, резко контрастировали с наивностью и простодушием молодых энтузиастов-повстанцев. Описания Мадрида, характеры героев были колоритны и оригинальны.

Сергей работал «как вол» (писала Анне его жена), но денег не было. Даже хлеб приходилось брать в кредит.

В это время он писал Лаврову, благодаря его за согласие написать «предисловие к моей книжице», и просил прислать свои замечания. «Печатание в «Pungolo» я, в сущности, настоящим не признаю. Это немного больше, чем корректурные листы, потому что и читать-то ее много коли сот пять читают, да и те где-то в глухих закоулках. Поэтому в отдельном издании, которое, надеюсь, где-нибудь да состоится, буду поправлять нещадно, точно рукопись»².

И в самый разгар этой работы вдруг пришло из Женевы письмо от Льва Дейча, который сообщал Кравчинскому о вызове в Россию, пришедшем от Стефановича, введенного недавно в состав Исполнительного комитета «Народной Воли», на них двоих и предлагал ему ехать вместе. Им прислали деньги и нужные бумаги, обещающая на ближайших днях уточнить последние необходимые детали.

И тут Сергей Кравчинский во имя «Подпольной России» принес наивысшую жертву —

¹ ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 165, лл. 60—61.

² Письмо от 29 января (1882). ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 34 об.

отказался от немедленной поездки на родину.

Он написал Льву Дейчу длинное письмо, и Дейч переслал это письмо Стефановичу в Россию.

Кравчинский писал Дейчу:

«Мне, милый Женичка, нет ни малейшей возможности ехать с твоей оказией. У меня несколько начатых работ, которые бросить неоконченными ни в каком случае не могу. Во-первых, моя книжка, относительно которой более подробные сведения может дать Анка. Я уже обязался в двух местах составить ее, множество людей взбудоражены, и вдруг я всех надую, это весьма неприлично, и не желаю этого делать в данном случае еще потому, что полагаю, что книжка будет полезная.

Кроме того, у меня имеется еще одна легкая работа, которую тоже нельзя не кончить: это просто значило бы прослать мазуриком или по крайней мере человеком, не сдерживающим свое слово.

Ты, может, спросишь, почему же я раньше не закруглил своих работ, так как был «предупреждаем». Ах, голубчик, вспомни только, что было в Кларане после 1 марта, когда Анка приехала. Тогда, кажется, уж на что было верно. Это не помешало же, однако, протянуть меня за душу целый год ведь. Что же удивительного, если я решился раз навсегда не придавать абсолютно никакого значения никаким обещаниям и не запускать из-за них никакой денежной работы.

Я, признаться, и теперь, даже если и верно, что мне все пришлют, то и то «не гораздо», и если бы оказалось, например, что не прислали бы снова, несколько бы не удивился, ибо к тому привык. Но как бы то ни было, по причинам, приведенным выше, мне теперь ехать нет ни малейшей возможности. Две названные работы да еще два перевода, которые тоже сдать никому не могу, займут у меня около двух месяцев, поэтому самое лучшее вот что: оставь все нужное у Веры.

Я тогда буду знать и буду взаправду верить, что дело сделано, и готовиться. Пока же этого не будет, я, ей-же-ей, не стану».

Далее он радостно сообщал, что его работы дадут ему сумму, достаточную для того, чтобы уехать, не оставляя долгов, следовательно, не нужно денег «на выкуп», а нужно только на дорогу и в конце добавлял:

«Насчет же моей доставки к месту назначения не сумлевайтесь ни крошечки. Буду доставлен в наилучшем виде и не кем иным, как тою же Анной собственноручно. Ведь она затем же и приехала. Кроме того, она ведь отлично знает, что ее отказ не остановил бы меня. Поехал бы сам на адреса контрабандистов — только риску больше. Ну, еще раз обнимаю тебя. Напиши, когда двинешься. Нет ли новых известий из России?»

Новые известия из России вскоре пришли.

6 февраля (в Европе было уже 18 февраля) был арестован в Москве Яков Стефанович.

Лев Дейч сообщил об этом Кравчинскому одновременно с присылкой письма Стефановича на имя Сергея, написанного еще в конце 1881 года и сильно задержавшегося.

Яков Стефанович писал Сергею:

«13/25 декабря.

Дорогой С.!

Ты, вероятно, начал уже думать, что мы тебя забыли. Нет, друг, это неверно. До сих пор мы тебя не вызывали — да и не вызываем пока — по многим, весьма основательным причинам. Главная — это наша слабость, как организации, в материальном и техническом отношении — слабость, при которой новые силы и притом дорогие силы не могут быть утилизированы в должной степени, да к тому же не могут быть обезопасены в необходимой мере со стороны полицейской. Мы уверены, что в феврале месяце, наипозже к марту, будем настолько крепки и настолько богаты, что сочтем себя в полном праве потребовать тебя на службу. Лично я

хотел бы тебя видеть здесь гораздо раньше...»

Далее Стефанович обстоятельно излагал проект издания за границей толстого нелегального журнала, о котором ему поручил написать Сергею Исполнительный комитет «Народной Воли».

Комитет предлагал Сергею вместе с Лавровым составить редакцию будущего журнала и организовать редакционную группу, «входящую как часть в общую организацию «Народной Воли» на общих основаниях, то есть в зависимости от Комитета. Направление и руководство журналом будет принадлежать ему, но, конечно, редакция в силу уже своего положения будет иметь огромные автономные привилегии. Да к тому же и журнал не будет носить строго партийного характера. Главное — чтобы он был живым, заменяющим отчасти отсутствие у нас вольного слова». Затем он писал о возможных кандидатах членов редакции — о Плеханове, Вере Засулич, Варфоломее Зайцеве, о необходимости приобрести типографию, о необходимости денег. И в конце добавлял:

«Ты, разумеется, будешь временно в редакции, пока существуешь там! А хорошо, если бы это дело устроилось и установилось до твоего отъезда...»

Будь же здоров, дорогой друг. Бьемся из сил, чтобы поставить организацию прочно на ноги, и хотим начать настоящее дело, которое будем делать вместе с тобою. Главное — большие деньги. Это во-первых, это во-вторых, это и в-третьих. Крепко и много тебя целую.

Поцелуй от меня Фанни и Анку. Твой Дм.».

На этом письме Стефановича Лев Дейч приписал сбоку: «Моего брата уже нет более на свободе»¹.

Лев Дейч и Стефанович любили друг друга как братья, и все товарищи знали об этом.

Можно себе представить, с каким горьким чувством читал Сергей это письмо от челове-

ка, вычеркнутого уже из числа живых, по крайней мере на время.

С какой бодростью и уверенностью оно написано. А после него произошло столько событий: уже Стефанович написал о вызове Сергея и Дейча в Россию. Уже он получил ответное письмо Сергея, пересланное ему Дейчем. Уже он арестован.

(И это ответное письмо Кравчинского дошло до нас среди документов департамента полиции. Оно было забрано у Стефановича во время его ареста и «приобщено» к его делу. Уже после 1917 года Лев Дейч, разбирая в полицейских архивах дела своего друга, нашел и это письмо Сергея и опубликовал его в своей книжечке, посвященной Кравчинскому: «С. М. Кравчинский», Петроград, Госиздат, 1919, стр. 60—61, явно ошибочно датировав его — «март 1882 года», тогда как, несомненно, оно было написано не позже января 1882 года.)

Как непоправимо изменилась судьба героя его первого очерка! Неужели этому очерку суждено стать некрологом, реквиемом?..

Итак, жизнь снова оказала милость Сергею. Если бы он не задержался из-за «Подпольной России» за границей и прибыл бы в Москву, он был бы вместе со Стефановичем и неизбежно был бы арестован тоже.

Тем временем Кравчинский уже окончательно договорился с Тревесом об издании «Подпольной России», отметив в записной книжке под датой 18 февраля — «С Тревесом».

В этот же день он писал Анне Эпштейн:

«...Только что вернулся от Тревеса, с которым договорился окончательно. Он платит мне 300 франков, но только за одно издание в 1200 экземпляров и без переводов, которые все в мою пользу... Самое печатание будет произведено с молниеносной быстротой, так



как ему чрезвычайно понравилось. Он это сказал сам»¹.

Через шесть дней, под датой «24 февраля», Кравчинский отмечает: «Чквскому с просьб предсл Лавр отнес Тревесу мущин».

Конец этой записи расшифровывается легко. Это значит, что Кравчинский отнес своему издателю первую часть рукописи — все исправленные и отредактированные им очерки о революционерах-мужчинах.

А прочесть начало этой записи помогает одно из писем, сохранившихся в фонде известного народника Николая Чайковского, по имени которого и кружок народников еще в 1872 году получил наименование «кружка чайковцев». Это был старый приятель Кравчинского, после долгих странствий поселившийся в Лондоне. Это с ним Сергей вел переписку относительно опубликования «Подпольной России» в Англии.

В одном из писем Кравчинского (конечно, без даты!) читаем:

«Милый друг!

Снова приходится тормозить тебя. Вот в чем дело: я уговорился с здешним издателем окончательно и уже представил ему первую порцию своей книжки. Печатание начнется очень скоро и кончится тоже очень скоро, потому что издатель очень крупный (хотя заплатил он мне сумму не ахти какую крупную — 300 франков, но с сохранением за мною права производить все переводы, какие пожелаю), но так как я хочу остаться и здесь под псевдонимом Stepniak'a, то он, издатель, ставит для этого условием лавровское предисловие, обещанное им для французского издания, когда оно предполагалось. Поэтому попроси его от меня сделать это предисловие теперь же, по-французски или по-русски, как ему угодно. Я переведу.

Ввиду довольно обширных размеров книжки (а также ввиду облегчения труда Петра Лавровича) предисловие должно быть очень



коротенькое — всего в несколько страниц. Цель его заключается в том, чтобы выразить в соответствующей литературной форме, что сия книга написана человеком, принимавшим непосредственное участие в движении, которое он описывает, что, одним словом, это не шарлатанская компиляция, рассчитанная на легковверную публику.

Я совершенно признаю законность такого желания издателя. Почем, в самом деле, кто знает, что за птица этот Stepniak.

¹ ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 165, л. 49. Подчернуто Кравчинским.

Если бы я свою фамилию написал, то хотя и ее, конечно, никто не знает, но, наведя справки, узнали бы. Но этого мне делать не хочется, не потому, что я думал, что мое авторство скроется. Напротив, я думаю, что в конце концов это сделается известным по указаниям, находящимся в самой книге. Но мне было бы крайне неудобно, если бы это раскрылось теперь, потому что пока мне по разным обстоятельствам необходимо жить в Италии. А это будет сопряжено с некоторыми опасностями, если я пропечатаюсь полной своей фамилией.

Кроме того, последнее было бы своего рода «вызовом», тогда как, если даже узнают по наведению, что Степняк — я, полиция всегда может отмахиваться: я, мол, почему знаю. Вот почему мне необходимо предисловие, и потому уж попроси, чтоб он написал его. Нужно как можно скорее, чтоб не задерживать выхода. Самое маленькое, так что особенной траты времени оно стоить не будет, а уж пойдет во всех изданиях, если им суждено осуществиться. При составлении его может совершенно не стесняться соображениями о том, что меня компрометировать может: в главе о тайной типографии я прямо говорю, что был одним из редакторов «Земли и Воли».

Так уж, пожалуйста, похлопочи, и главное, поскорее, потому что очень спешно.

Напиши, правда ли, что у Петра Лавровича всю переписку украли? У него должно быть мое письмо с миланским адресом, не моим лично, это правда, но таким, который я в Россию отправил, так что мне интересно знать, нужно ли его менять или нет». В конце он спрашивает, как обстоит дело с изданием «Подпольной» в Англии¹.

Это письмо помогает нам расшифровать строчку в записной книжке Кравчинского под 24 февраля так: «Чайковскому с просьбой предисловия Лаврова», а эта строчка в то же время дает нам возможность точно датиро-

вать это письмо Чайковскому — 24 февраля 1882 года.

(А тревога по поводу переписки Лаврова была не напрасной — вследствие происков царской жандармерии за несколько дней перед этим — 8 февраля 1882 года — Лаврова, как представителя Красного Креста «Народной Воли», выслали из Франции, и ему пришлось уехать в Лондон. Перед высылкой Лавров был подвергнут обыску.)

Примерно в эти дни Кравчинский получил письмо от Исполнительного комитета «Народной Воли», в котором товарищи уже официально предлагали ему и Лаврову составить редакцию и издавать заграничный журнал. (Это письмо — об издании заграничного журнала — они называли «письмо № 2», а «письмо № 1» — о принципиальных положениях дальнейшей деятельности «Народной Воли» — до Кравчинского дошло еще через несколько дней.)

Кравчинский немедленно составил ответ и послал его Лаврову для согласования, предлагая ввести в редакцию еще и П. А. Кропоткина. В постскриптуме Кравчинский писал:

«Вам, вероятно, Чайковский передал уже мою просьбу относительно предисловия для италианского издания моих корреспонденций.

Вы были так добры, что обещали его для предполагавшегося французского. Но италианский пожелал иметь его по весьма глупым причинам. Как при знакомстве с отдельным человеком, так и с публикой нужна для внушения доверия рекомендация уже знакомого человека. Поэтому очень попрошу Вас прислать это предисловие, если возможно, то поскорей. Моя книга совсем готова, так что это может задержать начало печатания... Цель предисловия просто сказать, что Stepniak действительно то, за что он себя выдает: человек, непосредственно

¹ ЦГАОР. Подчеркнуто Кравчинским.

принимавший участие в движении, которое описывает»¹.

Нам известно, что Лавров тотчас же написал предисловие к «Подпольной России»: оно датировано — Лондон, 4 марта 1882, и послал его, как просил Кравчинский, на адрес Веры Засулич в Женеву. Однако получилось так, что там оно пролежало около двух недель, что доставило немало беспокойства и Кравчинскому и Лаврову, так как он не оставил себе даже черновика. Мы еще вернемся к этому предисловию, оно тоже вызвало бурные дискуссии среди друзей Кравчинского. Надо только сказать, что это предисловие было включено почти во все издания «Подпольной России» на всех языках... кроме русского, ибо русскому читателю не нужно было представлять Кравчинского. И так получилось, что это интереснейшее произведение Лаврова, содержащее, кроме краткого очерка русского революционного движения, и характеристику Кравчинского и оценку его «Подпольной России», до сих пор неизвестно русскому читателю, так как никогда не переводилось на русский язык.

В начале марта 1882 года до Кравчинского дошло известие об окончании процесса 20 революционеров, проводившегося в Петербурге 9—15 (21—27) февраля, по которому судились его самые близкие друзья. Николай Морозов был приговорен к каторге без срока, Александр Михайлов («Дворник») и Таня Лебедева — к смертной казни, замеченной им впоследствии вечным заключением, Александр Баранников — к каторге без срока.

Этот приговор давил его как мрачный кошмар. Тем дороже становился каждый уцелевший товарищ.

И поэтому, когда Кравчинский получил от Льва Дейча письмо от 4 марта 1882 года с извещением, что тот едет в Россию, а документы и деньги для Кравчинского оставляет у Веры Засулич², он, сразу дога-



давшись, что Дейч едет на выручку Стефановича, тотчас же написал ему горячее письмо, тщетно стараясь быть трезвым и рассудительным:

«6 марта 1882 года. Милан.

Ох, Женичка, Женичка, милый, тяжело человеку в твоём положении говорить «не езди», вместо того, чтобы сказать: «едем вместе». Но я все-таки это говорю в на-

¹ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 74—75.

² ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 268, лл. 10—11.

дежде, что, когда пройдут первые минуты жгучей острой боли, ты признаешь справедливость моих слов.

Зачем ты едешь? Это очевидно, что бы ты ни говорил: тебе хочется погибнуть тоже. Это ясно. Я это чувство понимаю, и нужно быть деревяшкой, чтобы не оценить его. Но нужно сдерживать даже лучшие порывы, если они могут только вред принести тем, за кого ты рад душу отдать. Вот почему и пишу.

Ты едешь для Дмитра — очевидно... Обсудим же его положение хладнокровно.

И уже не для читателей газеты «Пунголо», а для друга, знающего это все не хуже его, Кравчинский перебирает этапы революционной деятельности Стефановича. Это письмо — как трезвый комментарий к восторженному очерку. Другая цель — другие средства. Но и здесь Кравчинский для убеждения друга привлекает весь арсенал художественных сравнений, жестоких афоризмов, жизненных примеров, лирических откровенностей.

Перечислив все «преступления» Стефановича, Кравчинский делает вывод, что они ни в коем случае не грозят Стефановичу смертной казнью. «Значит, начнутся, во всяком случае, пересылки, если не ссылка.

В это время на освобождение всегда шансы есть. Но ты сам знаешь, что для того, чтобы началась освободительная работа, мало, чтобы человек пользовался всеобщей симпатией, всеобщим почетом и все такое. Как бы велики ни были эти симпатии и этот почет, они останутся бесплодными и бесполезными, если нет человека, который всю душу, все мысли отдаст исключительно этому делу, который никогда ничем другим не увлекся бы и не отвлекся бы. Одним словом, такой, для которого это сделалось бы целью жизни.

Таким человеком для Дмитра можешь быть ты и — ты это сам понимаешь — только ты один. Грустно ли это или нет — все равно. Факт верен, и жестокий и неумолимый рас судок это заставляет сказать. Что я готов

для Дмитра головой riskовать, этому ты поверишь, и если придется, то можешь испытать это на деле: я это тебе обещаю заранее, а ты знаешь, что в таких делах мое сбежание твердо, как каменный утес. Но чтобы сделать это освобождение целью своей жизни, для этого нужно быть тобою. Ты один можешь употребить в пользу все симпатии, которыми пользуется Дмитро и которые готовы выразиться в помощи и денежной и личной всех родов и видов. Ты один сможешь соединить их в одно практическое предприятие. Иначе они пропадут тут, как пропадает тепло от сжигаемых в разных концах угольков, которые, будучи соединены в одно место, могли бы расплавить металл.

Вот почему мой тебе совет не ездить и ждать... сколько понадобится по делу Дмитра...

Не решаюсь настаивать на том, чтобы ты оставался во что бы то ни стало. Когда Ольга ехала освобождать Морозика, я был вполне убежден, что она ровно ничего не сделает. Но я не удерживал ее ни одним словом, потому что отлично видел, что если она останется, то сойдет с ума. Может быть, и для тебя лично свыше сил оставаться теперь здесь и ждать, ждать и ждать. Тогда возражать нечего: на нет и суда нет. Но если только у тебя хватит твердости остаться, то тебе остаться следует. Для меня это очевидно, и я не знаю только, ясно ли я изложил свои мысли. Я скажу тебе прямо, — как говорил прямо все, что сказал выше, — желая, чтобы ты остался, думаю все не о тебе. Что ты погибнешь очень скоро, поехавши, это я, конечно, знаю, и мне тебя жаль. Но ведь все мы погибнем. Днем раньше или позже — это не так важно. Я думаю в данном случае о Дмитре, даю тебе слово. Да к тому же ведь теперь тебе лично было бы, наверное, приятнее сидеть, чем быть на свободе.

Не прими поэтому моего письма за обычное «отговаривание» ввиду разных сантиментов.

Все мы должны погибнуть и должны идти на гибель прямо и смело, смотря ей в лицо. Мне просто до слез жаль, что ты погибнешь даром, а Дмитро пропадет наверное...»¹.

В этом письме внимательный читатель узнает мысли и строчки, уже знакомые ему по «Подпольной России». Всего только три-четыре месяца тому назад, в «Lettera 3», посвященном террору, Кравчинский писал о русском террористе: «С того дня, когда в глубине своей души он поклялся освободить родину, он знает, что обрек себя на смерть... Бесстрашно он идет ей навстречу, когда нужно, и умеет умереть, не дрогнув... как воин, привыкший смотреть смерти прямо в лицо».

Еще более точно писатель воспроизводит эту мысль из письма к Льву Дейчу в повести «Домик на Волге», написанной им более чем десять лет спустя: «Мы все на гибель идем... и идем с открытыми глазами», — говорит герой повести, молодой революционер, и добавляет: «И в этом наша сила. В этом обаяние и величие нашего призвания, в этом залог нашего торжества».

Автор книг и автор письма выражает одни и те же мысли, одними и теми же словами.

Общественный деятель и частное лицо, боец и писатель слиты в Кравчинском воедино. Он — цельная личность, именно поэтому даже, казалось бы, высокопарные выражения и выпендренный тон приобретают в его книгах естественность и безыскусственность.

Эти дни Кравчинский работал с таким напряжением, как никогда. Он закончил перевод романа Р. Бира и отправил его Станюковичу. За десять дней, как он сам отмечает в записной книжке, он закончил намеченные очерки для «Подпольной России» — «Два побега», «Укрыватели», «Тайная типография», закончил историю взрыва под Москвой, значительно расширив ее по сравнению с газетным текстом. Он отредактировал



и перевел на итальянский язык весь рассказ Анны Эпштейн, назвав его «Поездка в Петербург», и написал к нему введение.

16 марта он отнес к издателю всю рукопись, кроме предисловия, которое только что прибыло, наконец, из Женевы (его еще нужно было перевести на итальянский), и кроме своего заключения, обещав все это занести через несколько дней. Нужно было также перевести на итальянский язык «Письмо Исполнительного комитета «Народ-

¹ Группа «Освобождение труда». Сборник 3. М.—Л., Госиздат, 1925, стр. 157—160. Подчеркнуто Кравчинским.

ной Воли» императору Александру III», написанное сразу после убийства Александра II. В этом письме «Народная Воля» излагала свои требования новому императору.

Кравчинский расценивал его как «великий исторический документ», считал необходимым познакомить с ним европейского читателя и включил его в свою книгу и на итальянском языке и в переводах на другие языки, проявив этим незаурядную политическую дальновзоркость.

(Известно, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин очень одобрительно отзывались об этом документе. К. Маркс писал дочери 11 апреля 1881 года: «Петербургский исполнительный комитет, который действует так энергично, выпускает манифесты, написанные в исключительно «сдержанном тоне»¹. Г. Лопатин приводит слова Ф. Энгельса: «И я и Маркс находим, что письмо Комитета к Александру III положительно прекрасно по своей политичности и спокойному тону. Оно доказывает, что в рядах революционеров находятся люди с государственной складкой ума»²).

В. И. Ленин в статье «Гонители земства и аннибалы либерализма» писал: «...деятели «Народной Воли» в самом начале царствования Александра III «преподнесли» правительству альтернативу именно такую, какую ставит перед Николаем II социал-демократия: или революционная борьба, или отречение от самодержавия»³.)

Одновременно Кравчинский вел оживленную переписку с Лавровым по поводу предполагаемого заграничного издания народо-вольческого журнала.

Одновременно он был занят еще одним делом первостепенной важности.

Вместе со своим письмом от 4 марта Дейч прислал Кравчинскому коллективное письмо Исполнительного комитета «Народной Воли» к заграничным товарищам, составленное Львом Тихомировым (которое они потом стали называть «письмо № 1»). Отвечая Дейчу 6 марта, Кравчинский в конце при-



писал: «Лаврову напишу и народо-вольцам тоже отпишу, но только завтра. Сегодня, ей-ей, не могу на такую белиберду ответа писать».

Конечно, это письмо не было «белибердой», но мы знаем, как скептически всегда относился Кравчинский ко всяким «теориям», да к тому же в тот день он, вероятно, не

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVII, стр. 128.

² «Материалы для истории русского социального революционного движения», II, Женева, 1893, стр. 99.

³ В. И. Ленин, Соч., т. 5, стр. 51.

мог думать ни о чем ином, как о судьбах своих товарищей.

В своем коллективном письме народовольцы писали о стремлении соединить все силы для революционной борьбы. Для этого, конечно, необходимо в первую очередь выяснить основные задачи на ближайшее время.

На экземпляре, который получил Сергей, было написано рукою Льва Дейча: «Прислано из России с перечнем следующих лиц, которым только нужно дать его на прочтение: тебе, мне, Вере (Засулич), Жоржу (Плеханову), Павлу (Аксельроду), Лаврову, Кропоткину, Гартману, Александру (Хотинскому), Василию (Игнатову) и Ивану (Бохановскому). Евгений».

Именно с этими товарищами, находящимися в эмиграции, хотели прежде всего договориться народовольцы. Настаивая на необходимости полного взаимопонимания, они резко осуждали выступление Павла Аксельрода на недавнем международном конгрессе социалистов в Хуре, где Аксельрод представлял русских революционеров и выступил с большой речью. В этой речи он характеризовал современный этап движения в России, остановившись, конечно, главным образом на деятельности «Народной Воли». Народовольцы оценивали его речь как «вредную» для движения, искажающую истинное положение дел. «Вообще, — писали народовольцы, — мы очень бы желали, чтобы нас не характеризовали публике без предварительного соглашения».

Письмо было довольно путаное. Они писали: «Мы, какие были, такие и есть, то есть не радикалы и не социалисты, а просто народовольцы». «С начала до конца народовольство было направлением немедленного действия, государственного переворота... Вообще мы считаем революцию подготовленной и полагаем, что теперь остается подготовить только самый переворот, который и будет началом революции. Переворот государственный — это на-



ше быть или не быть... Весь смысл нашего существования в захвате власти (нами, повторяю, или чернорабочей массой, это все равно), в перевороте, который может быть только насильственным, а стало быть, требует силы, силы и еще силы». Что касается внутренней организации партии, то Тихомиров заявлял: «Централизация, дисциплина, выборы сверху... — вот основа нашей организации»¹.

¹ Группа «Освобождение труда». Сборник 3, М.—Л., 1925, стр. 143—151. Подчеркнуто в самом документе.

Кравчинский много думал над ответом народолюбцам. Начинал, зачеркивал, начинал заново. От той поры сохранилось очень мало его бумаг. Рукописей «Подпольной России» не сохранилось вовсе. Писем жены и друзей тоже почти не сохранилось. Он все уничтожал. А вот черновики и разные варианты ответа народолюбцам сохранил. Очевидно, это было очень важно для него.

Это письмо, оказывалось, имело непосредственное отношение и к его основной работе — к «Подпольной России».

Уже он получил копии ответов чернопередельцев и Лаврова, которые они послали в Россию.

Наконец он написал свой ответ. Мелкими мелкими буквами, на тонкой-тонкой бумаге — чтобы удобнее было переправить в Россию.

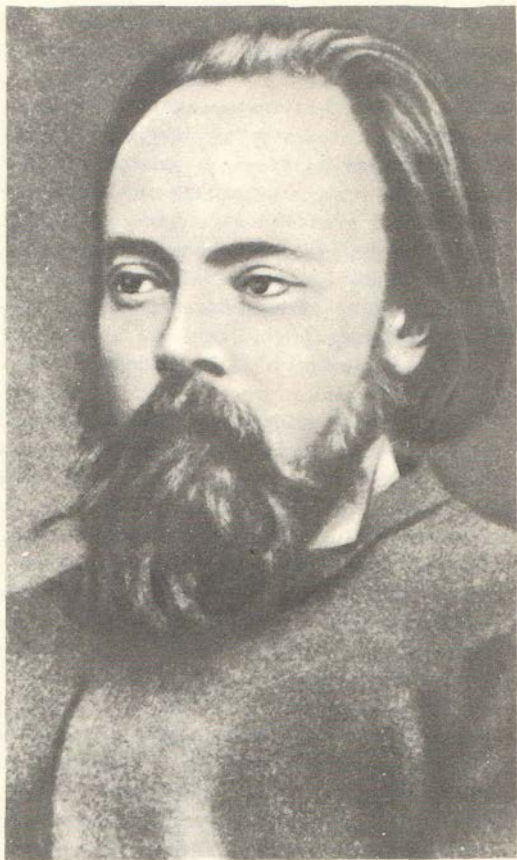
Многое в письме народолюбцев вызвало негодование Сергея, со многим он был просто не согласен.

В самом начале он товарищески предупреждал своих друзей-народолюбцев о пагубности их теоретических заблуждений, «потому что истины до такой степени установившейся, как научность Маркса (он подчеркнул эти два слова. — Е. Т.) или еще более — научность социализма (который вы называете «клеткой»), нельзя пошатнуть двумя-тремя фразами».

Резкий протест в нем вызвало яacobинское направление письма. Он давно считал это направление самым опасным для революционного движения. «В революции все жанры хороши, — говаривал он, — кроме яacobинского и самодержавного»¹.

Но главные возражения с его стороны вызвал пункт о централизме в партии.

«...Я не считаю себя в состоянии и даже вправе определить те границы, до которых может быть допущен в партийной организации этот элемент, — писал Кравчинский. — Здесь, как и во всех практических вопросах, приходится из двух зол выбирать меньшее.



Централизация имеет одно и только одно достоинство в русской борьбе: она уменьшает шансы провалов. Но она имеет недостаток столь же огромный: она парализует силы, ослабляя частную инициативу. В России же до сих пор борьба возможна только партизанская, и так будет вплоть до перемены политических условий России. В партизанской же борьбе, где действуют не массой, а в одиночку и отдельными кучками, все зависит от частной инициативы. Это правило

¹ Ольга Любатович, Далекое и недавнее. М., 1930, стр. 57.

не политическое, а чисто военное, я почерпнул его не из революционных книг, а просто из тактики и стратегии, которые когда-то изучал... Я думаю, что у нас есть только один путь обеспечить себе скорую победу, — расширить самодеятельность местных и частных групп, — то есть довести элемент централизма до абсолютного минимума, какой только допускают условия русской действительности... Только в возможно большем развитии личной, местной и областной автономии вижу залог как будущего счастья человека и человечества, так и торжества революции».

С вопросом о централизме внутри партии для него был теснейшим образом связан вопрос о свободе мысли. Он взял под защиту Аксельрода, отстаивая его право высказывать свою точку зрения без согласования с Исполнительным комитетом. В черновике он писал: «Выражая ему (Аксельроду. — Е. Т.) за это свое порицание, да еще в такой форме, вы, значит, претендуете на централизацию не только власти, но и мысли...»

«Претендуя на то, чтобы ваши мысли признавались не потому, что они хорошо доказаны, а потому, что они высказаны вами, вы никогда не добьетесь... их признания массой публики, как не добивались ни папы, ни короли, ни императоры... Но таким стремлением вы добьетесь другого: вы оскопите мысль своих собственных сторонников, то есть свою собственную. Возмущаясь всяким несогласием... вы разовьете тот дух рутинности, косности мысли и даже придворного поддакивания, который убивает всякую жизнь, заменяя ее официальной мертвиной...»

«Вы же... смотрите на всяких несогласных как на врагов, подрывающих... ваш авторитет. По-моему, господа, это с вашей стороны не твердость, малодушие. Я вовсе не за христианское смирение. Прочь его! Революционер должен быть горд, как сатана, он должен верить в величие своей партии и своего

собственного призвания: в этом тайна его мощи. Но такой страх перед всякой критикой, такая боязнь, что всякое слово, сказанное против вас, подорвет ваш авторитет, — разве это признак мощи? Признак веры в себя и свою партию?»

Только наиболее полное развитие свободы критики, только наиболее широкое содействие в работе революционной мысли всех умственных сил партии может обеспечить широкое и блестящее будущее революционной партии...»

В окончательном тексте своего ответа он нашел другие аргументы в защиту права Аксельрода (и своего собственного, как мы увидим!) высказывать свою точку зрения:

«Разве кто-нибудь, разве вы сами, обсуждая такие явления, как Французская революция, Коммуна, руководствуетесь в их оценке взглядами участников? Кому какое дело, чего они хотели? Для истории важно то, что они действительно сделали. Павел приложил к вам именно эту историческую философскую точку зрения... Он пользовался, стало быть, тем же неотъемлемым правом свободной мысли, каким пользуетесь и вы и все рассуждающие о каких бы то ни было общественных явлениях...»

Я вынужден ополчаться с особенным усердием из-за этого вопроса потому, что он непосредственно касается меня лично. Не далее как через две-три недели выйдет целая моя книга, написанная на итальянском языке для заграничной публики. (Вскоре будет, вероятно, французский перевод — тогда пошлю вам.) Правда, книга больше беллетристическая — портреты и очерки из революционной жизни, — ввиду публики, для которой она предназначена. Но к ней я должен был предпослать довольно обширное теоретическое и историческое «предисловие» и приложить таковое же заключение, в которых высказываю свой взгляд на это движение, на его цели общие и временные, на террор, на политическую борьбу и т. д., при этом я высказывал то, что думаю и как думаю, не



руководствуясь ни вашими программами, ни объяснительными письмами, ни какими то ни было документами этого рода, — кроме, впрочем, одного: письма к Александру III, но не потому, что оно написано от имени Исполнительного комитета, который, точь-в-точь как и всякий из нас, может ошибочно смотреть и неверно понимать смысл исторических явлений, хотя бы им самим совершенных, а потому что, по моему мнению, это письмо к Александру III действительно великий исторический документ, вполне верно уловивший и прекрасно передавший смысл современного момента в деятельности нашей партии. Это единственный документ, под ко-

торым подписываюсь обеими руками и на основании которого готов вступать в какие угодно соглашения».

Далее он подробно анализировал отношение европейского общества к революционному движению в России, утверждая, что необходимо познакомить Европу не с программами народолюбцев, а «с современным моментом революционной борьбы. Нужно осветить его так, чтобы выяснить именно тождественность стремлений — временно, разумеется, — русских социалистов с стремлениями радикалов европейских революций. Нужно, наконец, помирить Европу с кровавыми мерами русских революционеров, показать, с одной стороны, их неизбежность при русских условиях, с другой, выставив самих террористов такими, каковы они в действительности — то есть не каннибалами, а людьми гуманными, высоконравственными, питающими глубокое отвращение ко всякому насилию, на которое только правительственные меры их вынуждают.

Вот как я смотрю на дело пропаганды среди заграничной публики на иностранных языках и что по мере сил постараюсь осуществить...»

«До сих пор, — констатировал Кравчинский, — этого сделано не было. До сих пор для Европы «нигилизм» остается чудищем «огромным, озорным и стозевным»...»

В конце письма он писал о своем согласии участвовать в работах по заграничному журналу, хотя все его симпатии «лежат на стороне непосредственной деятельности» на русской почве.

Лист бумаги кончился. Кравчинский подклеил к нему маленький кусочек такой же тонкой бумаги и приписал:

«А теперь жму крепко ваши руки и желаю вам одного: победы.

Ваш Сергей Кр.».

Это письмо Кравчинский послал на прочтение Лаврову и друзьям в Женеву.

Через несколько дней — 7 апреля 1882 го-

да — Лев Дейч писал Кравчинскому: «Твое письмо к народолюбцам нам троем (Вере, Жоржу и мне), которые его читали, по правде сказать, не понравилось». Им оно показалось бессвязным, неубедительным, малоаргументированным. Они просили Сергея еще раз подумать над ним.

Одновременно Лев Дейч сообщал Кравчинскому о получении письма от Стефановича из тюрьмы — бог весть как тому это удалось! (Однако это очень насторожило Сергея!) Стефанович посылал ему привет и пожелания быть «свободным», а также пожелания успехов в его литературной работе.

Сам Дейч уже не стремился в Россию, очевидно вняв уговорам Сергея¹.

Вероятно, Кравчинский частично переделал свой ответ народолюбцам, так как этот экземпляр, возвращенный ему Дейчем 14 апреля 1882 года, остался у него (и я прочитала его и черновики в архиве Кравчинского²), и послал новый вариант снова в Швейцарию для пересылки в Россию с верной оказией.

23 апреля 1882 года Павел Аксельрод написал Кравчинскому из Цюриха о своем полном одобрении его окончательного варианта ответа народолюбцам. На письме Аксельрода была сверху карандашная приписка другим почерком: «А ваш ответ народолюбцам заслужил всеобщее одобрение. Отлично»³.

И если уж я узнала в этой приписке характерный почерк Веры Засулич, то надо полагать, что Кравчинский также легко узнал его.

Итак, он высказал своим друзьям, что он думал о своей работе, о своих задачах, о своем пафосе — представить перед Европой русских революционеров «не каннибалами, а людьми гуманными, высоконравственными».

(В этом ответе мы также легко обнаруживаем полное единство стиля с «Подпольной Россией». Если в письме Кравчинский пишет: «Революционер должен быть горд, как сатана...», то из «Подпольной России» мы при-

поминаем: «Гордый, как сатана, возмущившийся против своего бога...»)

Книга скоро должна была уже выйти в свет. Еще в конце марта он прочитал корректуры. Книжка получалась довольно солидная — в 291 страницу!

И вот, наконец, «Подпольная Россия» появилась в свет.

В графе — «11 мая, четверг» — своей записной книжки-календаря на 1882 год Кравчинский отметил: «Книжка вышла».

Ему казалось, что он работал над нею очень долго.

Но вспомним: еще и полгода не прошло со дня 14 октября 1881 года, когда ему только предложили дать серию статей в газете. Еще и трех месяцев не прошло — с 18 февраля 1882 года — когда Тревес договорился с ним об отдельном издании книги.

Итак, всего Кравчинский работал над книгой два с половиной — три месяца.

Тревес издал 1200 экземпляров «Подпольной России».

Так эта книга начала свою славную самостоятельную жизнь, полную треволнений и приключений.

Разные люди читали ее и по-разному. Передовые люди Европы искали в «Подпольной России» правды о русской революции, обыватели чаяли найти в ней щекочущие нервы описания кровавых злодеяний, жандармы пытались получить в ней дополнительный материал для обвинения, молодежь черпала в ней вдохновение и мужество⁴.

¹ ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 268, лл. 4—7.

² Там же, ед. хр. 533, лл. 1—17. Это письмо опубликовано не вполне точно в кн.: «Революционное народничество 70-х годов XIX века. Сборник материалов и документов», т. II, М.—Л., 1965, стр. 339—347.

³ Там же, ф. 1158, ед. хр. 182, лл. 6—11.

⁴ Документальная повесть «Подпольная Россия». Судьба книги С. М. Степняка-Кравчинского готовится к выпуску издательством «Книга».

Степняк - Кравчинский С.

Подпольная Россия

часть 1ая

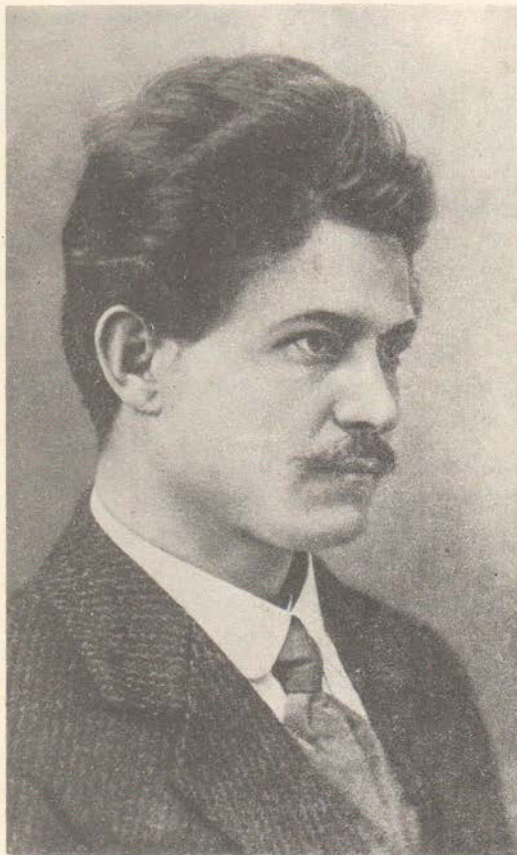
Предисловие

I

Работа над «Подпольем», произведением, которое без сомнения будет читать еще несколько поколений, обнаруживает себя одним своим словом: это «подполье» «интеллигент». Впервые выражение это употреблялось в прозаическом смысле, но впоследствии, как это не раз и предлежит случаю в истории, по иже партийной гордости было приравнено к тому же слову, которое употреблялось в смысле политическом.

Объяснение, естественно, не стоило бы и говорить, если бы не случилось так, что в Европе под интеллигентом стала означать не та партия, которая образовалась этим названием в России, а другая, существенно отличная от первой.

Дополнительный интеллигент был философичен и литературно-научно ориентирован, разумеется, которого совпадают с первыми десятилетиями, после девятилетия за освобождения христианства с периодами между 1860 и 1870 гг. Но по истечении времени эти совершенно утрачены свои философские смыслы, и на нынешней стадии; более или менее, с кафедрой делят все дома и дома печатать. В России, тем более на государственной службе, которого она является за последние время, одно десятилетие раньше периоду в 30 или 50 лет.



1. Тюрьма в Орле

Г. Миронов
Один из ленинской школы

Ивану приснился суд. Солнце бьет в пыльные окна, перекрещенные решетками. Он одиноко горбится на скамье, обнесенной деревянной загородкой, спиной чувствуя холодную сталь штыка караульного солдата. Посверкивают прокурорские очки в золотой беспощадной оправе; рыжие, безвольные царские усы с бородкой нерешительно высвечивают с большого портрета позади грозного человека в судейском синем сюртуке. Все места в присутствии заняты городовыми, жандармами, чубатыми казаками — его, Ивана, землячками, и только позади, за плот-

ной стеною мундиров, за густой завесой крестов, медалей, аксельбантов, едва видятся навечно тронутые металлической пылью родные рабочие лица, промаслившиеся куртки, темные бумазейные косоворотки. «Сын крестьянина Иван Степанов Белостокский, двадцати трех лет, уроженец слободы Амвросиевки Таганрогского округа области Войска Донского, вы обвиняетесь в принадлежности к запрещенной противуправительственной партии, именующей себя РСДРП, в организации стачки рабочих Брянского паровозостроительного завода, а также в убийстве казака...» И тут, прерывая монотонное чтение секретаря, вскочили полицейские и донцы, затрясли саблями, пиками, заорали надрывно: «Смерть ему, сме-ерть! в нагайки, в шашки его, вражину!»

Иван проснулся и сел. Скрипела, билась под ветром оторванная полоса железа, до половины закрывавшая окно камеры, стояли отпираемые замки, по коридору топтали надзирательские сапоги, проспиртованная глотка зычно засипела: «Подыматься! На оправку, жив-ва!»

Иван споро убирает в стену койку, над парашей ополаскивает лицо, принимается ходить по своей одиночке — это заменяет запрещенную гимнастику.

В тюрьме не было белой зимы, нет пестрой юной весны, не будет зеленого лета, солидной, доброй скопидомки осени — здесь все серо-черно, бесплодно, мрачно, здесь охотятся за твоей душой, ждут, когда она надломится от страха, от неизвестности, от томительного ожидания кары.

Дни складываются в недели, недели — в месяцы, за прочными непроницаемыми стенами орловской каторжной тюрьмы бушует весна, гремит, полыхает первая в России революция, а ты обязан выполнять все правила для подсудимого заключенного, должен отражать атаки следователя, должен хитрить и изворачиваться, уметь быть умнее его и дальновиднее, чтобы не загнали тебя в места отдаленные, не сделали предателем,

provokatorom, чтобы поскорее вырваться отсюда в революцию.

Нет, голыми руками его не взять. «Член РСДРП большевиков?» — «Каких таких большевиков — не знаю ничего». — «Подговаривал рабочих не приступать к работе, добиваться удовлетворения их требований?» — «Нет!» — «Стрелял в казака из пистолета?» — «Оружия сроду в руках не держал, кроме перочинного ножа, а казака кто-то другой убил, не я. А вот избили меня — это верно, сколько времени к тюремному врачу на перевязки водили...»

А может, напрасно ты, Иван, стрелял в того казака? Поддался минутной ярости, негоже это для настоящего революционера, террор — оружие эсеров, а не большевиков-ленинцев. Но как вспомнишь про зверское, рассчитанное на безнаказанность избиение нагайками рабочих — и сейчас вся кровь вскипает, хотя три месяца тюрьмы должны были бы ее остудить. В первый раз в жизни стрелял, и метко была послана пуля — сказались твердость руки, зоркость и точность глаза металлиста. Хорошо, что во время погони успел выбросить «бульдог», теперь прямых доказательств у них нет, если только не сумеют обработать свидетелей, каратель убит на глазах тысячной толпы, на которую неслась с гиком казачья лава. Мало кто из рабочих пострадал — он, Иван, принял на себя удары, что предназначались товарищам. Били, свесившись с седел, в несколько нагаек, все норовили по голове, по глазам. И тогда он снова не стерпел: казака, что особенно зверствовал, вырвал из седла и затоптал в снег. Тут уж схватились они за шашки, да подскакал вахмистр, отнял, отправил в тюрьму...

— Хлеб, кипяток получать! — командует тюремщик в отворенное оконце.

Стачка прошла образцово — струсившая администрация удовлетворила не только экономические, но и многие из политических требований. Голодали, холодали, но держались сплоченно, организованно, твердо.

«Не верю я, ребята, что найдется среди вас хоть один, кто выдаст меня».

За год пребывания в партии — второй арест. Что ж, ты знал, на что шел, когда в прошлом году, в канун японской войны, в Николаеве на машиностроительном стал большевиком.

— Прогулка! Пулей вылетай — жив-ва!

Почему-то их с Калявиным почти всегда выводят вместе.

— Доброго здоровьца, Ваня!

— Здравствуйте, Петр Михалыч!

Калявин — настоящий разбойник, на его совести десятки ограблений, некоторые с убийствами, он почти постоянный обитатель тюрем; однако это весьма странный грабитель, очень уж российский, какой-то доморощенно-крестьянский, народнический, что ли. Ивану с его двухклассным церковноприходским образованием трудно разобраться в той мировоззренческой мешанине, которой набита маленькая калявинская голова. Он считает себя идейным защитником бедноты, нападает исключительно на купцов и деньги раздает мужикам победнее. Цель вроде благая, а методы — о них даже думать противно. Крестьян не облагодетельствуешь добытыми в кровавом разбое купеческими кредитками.

Сегодня Калявин необычно возбужден. Редкая бородака трясется, маленькие жилистые руки с трудом удерживают кандалы, мешающие ходьбе. Иван охотно помог бы ему, но за это конвойный может лишить их обоих прогулки.

Оглянувшись, Калявин шепчет:

— Узнал я от верного человека: эта дворянская сука, его благородие Филиппев, ездил казнить Каляева, который в феврале убил царского дядюшку, московского генерал-губернатора великого князя Сергея.

И тут, больше не умея сдерживаться, этот странный человек подымает схваченные железом руки к верхним окнам и истошно кричит:

— Ты, палац, слышишь меня? Убью, верь моему слову. За кровь невинных страдаль-

цев, лишенных тобой жизни, ответишь мне, подлая твоя душа!..

В эту минуту он напоминает Ивану народного заступника из песни — горящие ненавистью глаза, всклокоченная борода и на руках царские кандалы, бессильные сдержать этого человека.

В зарешеченном окне третьего этажа появляется искаженное страхом и злобой бледное лицо. Это Филиппев — бывший офицер Кубанского войска, добровольно ставший палачом. Отвергнутый за это своей же средой, он убил товарища, отказавшегося подать руку палачу, и на три года (неслыханно мягкое наказание) был спрятан в арестантские роты.

— Чего орешь? — испуганно вскидывается караульный. — В карцер хочешь?

— Как вы его убьете, когда сами-то в кандалах? — спрашивает Иван. — Хвастовство одно с вашей стороны.

— Хвастовство? — от ярости Калявин шипит и брызгает слюною. — Слышь, сосунок, через месяц, в июне, освобождается он, и я тут же сбегу — его убивать буду!

— Убьете этого — другой появится, — говорит Иван. Но все же он ошеломлен.

— Кончай гулять! В камеру марш!

— Получать баланду — жив-ва!

— Белостоцкий, к следователю!

Он человек вкрадчивый, нудный, как зубная боль. «Итак, Белостоцкий, в прошлый раз вы отказались подтвердить предъявленные вам обвинения. А между тем следствию точно известно...»

Багровые лучи заходящего солнца растекаются по стенам, точно отблеск дальнего пожара. У Ивана вдруг появляется живое ощущение яростной новизны всего, что происходит в стране, что должно еще произойти. По сравнению с этим грозным пришествием революции ничтожными кажутся и ночные страхи, и что-то бубнящий следователь, и даже неведомый приговор. «Засудят — сбегу хоть с Беломорья или из Якутии, вернусь к товарищам, к политической борьбе».

Громадное здание набито людьми — рабочими-стачечниками, крестьянами, захватившими господскую землю и сжигавшими бар вместе с их поместьями, экспроприаторами разных толков, солдатами, что предпочли дезертирство участию в бессмысленной войне с японцами, идейными борцами с самодержавием и просто подонками, которых обуяло нечистое желание погреть руки в пламени революционного пожара.

Как важно уметь ориентироваться в этом хаосе разноречивых взглядов, выбирать подлинных союзников и настоящих друзей, распознавать врагов.

— Можете идти, Белостоцкий. Явным нежеланием помочь следствию вы усугубляете свою вину. Впрочем, у вас есть еще время подумать над своим поведением.

«Ни черта вы от меня не добьетесь, царские холоуи».

В начале лета кончился срок пребывания в арестантских ротах Филиппева, и вскоре взбудоражило тюрьму невероятное событие: сбежал из-под стражи Калявин.

Следователь объявил, что «по причине отсутствия свидетельских показаний, подтверждающих факт убийства Белостоцким казака, а равно и другие обвинения», следствие по делу о забастовке на Брянском паровозостроительном заводе прекращено. Иван ощутил небывалый прилив сил — не только потому, что пришла желанная свобода, — он лишний раз ощутил силу рабочей солидарности, которая спасла ему жизнь и возвратила к новой борьбе всех членов стачечного комитета завода.

Весною следующего, 1906 года, уже в Петербурге, Ивану стало известно, что в новороссийском порту перед посадкой на пароход ранен выстрелом из револьвера Филиппев, отправляющийся в Севастополь для казни лейтенанта Шмидта и его товарищей. Через несколько месяцев при аналогичных обстоятельствах снова было совершено покушение на палача, который ехал вешать убийцу адмирала Чухнина. На этот раз Филиппев

был убит. Задержанный оказался беглым каторжником Петром Калявиным. Но теперь на Ивана факты индивидуального террора не производили такого сильного впечатления, как несколько месяцев назад. Революция отвергала подобные методы борьбы, и большевик Белостоцкий, который очень быстро рос политически вместе с революцией, горько пожалел о том, что Калявин поставил перед собой, в сущности, очень незначительную цель. Партия, к которой принадлежал Иван, боролась за уничтожение всего палаческого строя, и этой великой цели стоило отдавать все силы, а если надо было бы — и жизнь.

Но еще годы и годы виделась Ивану мрачная орловская тюрьма, а в ней, точно выхваченные из мрака забвения ослепительным лучом памяти, три камеры-одиночки с их обитателями: черным палачом, неистовым разбойником и им самим — рабочим парнем, только ступившим на непроторенный путь революционной борьбы.

2. «Хорошая у нас революция!»

— ...Охватывает необыкновенное чувство родины и свободы. Казалось бы, за полгода пребывания в России можно привыкнуть к тому, что здесь тоже носят красные знамена и на них лозунги написаны уже на твоём родном русском языке. Не могу, Надюша, без ужаса думать о пяти долгих годах, которые мы прожили вдали от страны. Хор-рошая у нас революция, ей-богу!

Голос был молодой, крепкий, с заметной картавинкой и звучал погромче, чем принято говорить на улицах.

Иван Белостоцкий уже слышал однажды этот голос и того, кто обращался сейчас к своей спутнице, смог бы отличить от всех остальных в стотысячной толпе, хотя наружность и одежда Ленина как будто самые заурядные: невысокий, лет тридцати пяти человек в простом не новом темном пальто и котелке, усы и борода с рыжиной, ка-

рие, глубоко сидящие внимательные глаза — типичный русский интеллигент. Если не знать его в лицо, то по разговору определить нетрудно: человек вернулся из эмиграции, от счастья в себя не может прийти, позабыл, должно быть, что в российской толпе — революция ли, реакция ли — непременно болтается несколько внимательных ушастых молодцов из охранного отделения.

Все-таки Иван не выдержал, обернулся. Так и есть: глаза Ильича радостно блестят, и весь он взбудораженный, веселый, порывистый.

— Ты обращаешь на себя внимание громкой речью, Володя, — слышит Иван.

Но Ленин не отвечает жене. Он уже держит ее не под руку, а ведет за собой, нетерпеливо перегоняя прохожих, обходя встречных. Весенний майский вечер шумит над Петербургом. Все гуще поток людей, устремляющихся по Лиговке к Тамбовской улице, к Народному дому графини Паниной.

Иван забеспокоился. Конечно, сейчас, в мае шестого года, когда двух недель не прошло со времени открытия Государственной думы, схватить на людной улице такого популярного в рабочих кругах столицы человека, как Ленин, полиция побойится. Но не исключено усиление слежки, возможна провокация.

Иван дал Ильичам обогнать себя и пошел следом, оглядывая прохожих: решил проверить, нет ли за Лениным слежки.

Издали видит Иван у подъезда Народного дома группу людей. Стоят, вглядываясь в лица подходящих. На всех короткие пиджаки, сапоги, красные или синие косоворотки. Ловко вырядились под рабочих!.. В Иване все напрягается. Если они попробуют даже пальцем тронуть Ильича, он будет драться хоть со всеми шпиками Петербурга.

(В столице Иван недавно. Из родных краев пришлось уехать — слишком слесарь Бело-стоцкий стал известен полиции, черносотенцам, заводской администрации небольших промышленных городов, где приметен едва не каждый человек, а не то что большевик-

бунтарь, заводила рабочих. В большом городе намного легче избегать нежелательных ласк полиции и жандармов.)

Драться, однако, ни с кем не пришлось. У входа не обряженные под «мастеровых» молодцы из охранки — это сами рабочие, и, подойдя ближе, Иван видит несколько знакомых лиц. Ребята расступаются, пропускают Ильича и Крупскую и по одному входят в дверь. Ясно, кого они ждали. Не один Иван беспокоится о своем вожде.

Широкая мраморная лестница, а наверху два приставы. Но вид у них необычный. Они как будто стесняются своих мундиров, своей роли соглядатаев и при первой же просьбе готовы провалиться сквозь землю. Тихие, как мыши, стоят по сторонам, никого не хватают, не зовут городовых.

Через баррикады Пресни, через бесчисленные забастовки и стачки, через борьбу с полицией, солдатами, казаками нужно было пройти русскому пролетариату, чтобы нынче, вот так поджав хвосты, стражи царского «порядка» стояли в сторонке и не смели разогнать собрание, где добрая четверть рабочих, где находится цвет большевистской гвардии: Петербурга, где сейчас Ленин.

Огромный зал переполнен — здесь не менее трех тысяч человек. Проходы заняты, люди сидят на подоконниках, выстроились вдоль стен. Окна открыты, и совсем мирный, вкрадчивый, успокаивающий шум вечернего города вливается в зал. Так же размеренно, плавно, почти ласково журчит голос оратора — известного деятеля кадетской партии Водовозова. Он очень вкусно, очень часто употребляет любимые слова и выражения, бытующие в его партийной среде: «мирный парламентаризм», «конституция», «избирательное право», «аграрная реформа», «первый русский парламент», «наша партия народной свободы», «большинство думских мест»... Аудитория готова разразиться аплодисментами. Неужели люди убеждены, что интересы демократии в Думе достойно представляет партия, от имени которой докладчик

мечет молнии в бланкистское «большинство» РСДРП, хвалит благоразумие «меньшинства», не желающего повторения авантюристского декабрьского восстания Пресни?

Когда раздался дружный плеск ладоней и выкрики «браво», Иван оглянулся: как Ленин принял кадетское сладкогласие?

Ленин стоял среди своих сторонников в проходе между рядами кресел, и вид у него был нисколько не удрученный. Он весь излучал кипящую, веселую, одновременно и добрую и требовательную энергию. Одному что-то говорил, обняв рукой за плечи, тут же писал записку и подталкивал с ней другого товарища к сцене, следил за речью очередного оратора, хитровато посмеивался и почти тотчас же гневался и крепко тер лысину меж лбом и затылком, привставал на цыпочки, оглядывая зал, бросал короткие едкие реплики, он жил и кипел в этом привычном деловом движении, пребивал в нем, точно рыба в воде.

— Слово предоставляет господину Карпову.

«Кто он? Первый раз слышу эту фамилию». — «Наверное, какой-то левый, действия полиции принуждают их скрывать свои подлинные имена». Это переговариваются в рядах. Иван рад: пусть «чистая публика» отнесется к Ленину без предубеждения, не ведая, кто будет говорить с ней.

«Господин Карпов» легкими пружинистыми шагами всходит на сцену. Оглядывает зал и — раздается энергичное, почти властное:

— Граждане! — не к «господам», а к свободным людям революционной страны обращается неведомый «господин Карпов».

Он уверен, что правительство не разгонит Думу — кадеты сделают все возможное, чтобы воспрепятствовать этому; все — вплоть до соглашения с самодержавием. Они доказывают, что милюковская «чашка чая» у Трепова отнюдь не сделка. «Нет? — спрашивает оратор. — А по-моему, да. Сделка — это деловое завершение переговоров, конец их, а переговоры — не что иное, как подготовка к сделке».

Эта формула ударила по залу своей простой и четкой убедительностью, насторожила всех; от благодушия аудитории не осталось и следа. Партия «народной свободы» не выражает народных требований? Она исподволь торгуется с царем и предает завоевания революции? Кадетов надо не поддерживать, а разоблачать? Это неожиданно, но это аргументированно и доказательно. «Кто этот Карпов?» — заволновался зал. «Ленин? Карпов — это Ленин?» — «Мы слушаем лидера левых?» — «Но ведь он прав...» — «Тише, господа, умоляю, дайте слушать». — «Поздравляю вас, милостивый государь, вы очарованы руководителем пролетариата...» — «Браво, товарищ Карпов!»

Иван пробился к самой сцене. Он видит: аплодисменты помешали оратору — Ленин хмурится, нетерпеливо делает маленькие шажки взад-вперед, исподлобья всматривается в людей. Едва стихают рукоплескания и крики, он заканчивает выступление.

Ивану с его острым, восприимчивым умом становится ясно, что Ленин, возвращаясь к уже высказанной мысли, теперь освещает ее с другой стороны, углубляет и конкретизирует, отливает в итоговый, лозунгом звучащий афоризм.

— Пролетариат не допустит предоставления господам милюковым свободы сделок со старым режимом. Но в чем суть кадетских сделок?.. — Ленин наклоняется вперед.

Ивану кажется: спрашивают у него. Он невольно сравнивает Ленина, выступавшего несколько недель назад перед товарищами-партийцами и сегодняшнего. С единомышленниками Ильич говорил со страстью и увлечением, несколько раз повторял терпеливо, настойчиво главные пункты своих тезисов, ни словом, ни жестом не подчеркивал досады, когда человек не понимал, раздражения, когда с ним не соглашались. Он учил товарищей по партии, и сегодня, вторично наблюдая Ленина, Иван понял, что его мягкость, приветливая доброта вовсе не исключают твердости и даже гневной на-

стойчивости, когда он обращается к аудитории, которую надо переубедить, но которая не пополнит ряды Ильичевых соратников.

— Суть кадетских сделок не в личном предательстве, конечно (подчеркнуто-резкий отбрасывающий жест). Такой грубый взгляд в корне чужд нам, марксистам (ироническая интонация — «не считайте нас, граждане, прямолинейными дурачками»). Суть сделок в том и только в том (каждое слово падает в зал, как кусок гранита, — грубо, веско), что господа кадеты не сходят и сходить не хотят с почвы сохранения власти за старым режимом, с почвы велений, исходящих от этого последнего. Кадеты, оставаясь кадетами (голос как будто стал тоньше, убийственная ирония в тоне), пуще всего боятся прекращения деятельности любезной их сердцу Думы. Мы же, социал-демократы (поднялся на носки, бородка вздернулась — ленинские сощуренные глаза точно отыскивали в зале товарищей по партии), должны оценивать революционное положение страны не с точки зрения внутридумских вопросов и инцидентов, а как раз наоборот. С точки зрения революционного положения надо оценивать все, что происходит в Думе.

Ильич кончил речь и, неловко поклонившись, быстренько спустился со сцены, точно спасаясь от шквала аплодисментов, что обрушился на него. Теперь казалось, будто рабочих в зале много больше, чем в начале собрания, — они широко, победно гремели в ладони, лица у них были праздничные. Они расступились, и Ленин, тоже улыбающийся, возбужденный, прошел твердой своей, стремительной походкой через зал.

Дальше произошло почти невероятное — митинг принял резолюцию, предложенную Карповым: собрание предостерегает народ от партии к-д., колеблющейся между народной свободой и самодержавием, собрание зовет к решительной борьбе вне Думы и выражает уверенность, что пролетариат по-прежнему будет стоять во главе всех революционных элементов народа.

И Иван не только хорошо понял мысль Ильича, но и ощутил его тревогу о будущем революции. Только пролетариат во главе ее! Подчиняя себе все колеблющиеся мелкобуржуазные слои общества. Как этот зал жадно слушал кадетских ораторов, и все казалось истинным — с точки зрения партии «народной свободы». Но вот появился Ленин и мощно и смело разрушил очарование кадетских «волшебников». Сейчас подъем революции, а если наступит ее отлив — как поведет себя этот вот зал?.. В сущности, понял вдруг Иван, это тот же мучительный вопрос, которым он задался еще в орловской тюрьме. Как сделать, чтобы приведенная в движение взвихрившейся русской жизнью огромная масса до сих пор лишь сочувствующей нам части общества и народа стала прочно на нашу сторону, отмела все иные идеи, поняла, что правда в мире одна — большевистская, ленинская правда? За это надо бороться, на это уйдут годы. И какое счастье, что с нами в этой борьбе Ленин!..

С кислыми лицами, гуськом, неловко подталкивая друг друга, спускаются в пустой зал устроители митинга. Но Ленина и его сторонников уже нет, а с ночной улицы доносится громовая песня — «Марсельеза».

Пели самозабвенно, с необыкновенным подъемом. Иван стоял рядом с Ильичами. Услышал возбужденные голоса — оглянулся: рабочие. «Вот за кем можно и нужно пойти». — «Говорил то, что мы все думаем, только сказать не можем». — «Знамя, знамя!» — закричали вокруг. Сосед Ивана стащил с себя пиджак, рванул на груди кумачовую рубаху, с треском отлетели пуговицы. Кто-то подал ему палку. Нацепил на нее, как флаг, рубашку, двинулся по улице.

Песня гремела уже на Лиговке. Шли, взявшись за руки. Согласно колыхались над толпой импровизированные флаги. Ласковая тихая ворожея — белая петербургская ночь пугливо отступала перед ними. Иван оглянулся, сбиваясь с ноги. Ленин, смеясь, выкрики-

вая что-то, шагал в ряд с товарищами, взяв их под руки. Кажется, то были уже слышанные Иваном слова: «Хорошая у нас революция!»

3. Партийный университет в Лонжюмо

Когда трое посланцев рабочего Питера — Иван Белостоцкий, Анна Иванова, Михаил Клоков — вышли из вагона на Северном вокзале Парижа, и их встретили товарищи, и стало известно, что вечером, после того, как они устроятся, их хочет повидать Ленин, — Ивану Степановичу все это показалось чуть ли не сказочным сном.

Вот уж никогда он не думал, что судьба рабочего-революционера закинет его так далеко от родной земли, в центр русской политической эмиграции. К возможности пребывания в российских тюрьмах, гибельных ссылках местах Сибири, Мезени или Печоры он себя давно подготовил, а вот поездка на учебу во Францию, в партийную школу явилась полной неожиданностью.

Пять лет минуло со времени памятного собрания в Народном доме, и за эти годы Иван Белостоцкий ни на один день не отошел от партийной работы, ни разу не усомнился в правильности ленинского курса непримиримой борьбы с различными оппортунистическими течениями за монолитную, сплоченную партию. Многое довелось испытать за эти годы! Исколесил немало городов, поработал на многих заводах. Подолгу не удавалось задерживаться на одном предприятии — очень скоро полиция, агенты охранного отделения, добровольные стражи «порядка» из хозяйских псов начинали подбираться к этому необычному токарю, который, несмотря на высокое профессиональное мастерство и молодость, меньше всего интересовался заработком, выпивкой, гулянками, много читал, участвовал во всех «сомнительных» (хоть и легальных) организациях. Прежде чем шпикам удавалось разузнать о его партийной принадлежности и непрекращаю-

щейся нелегальной деятельности, Иван Степанович покидал завод и перебирался на новое место. А там, откуда он уезжал, оставалась распропагандированная, сплоченная им и его единомышленниками — такими же «странниками» не по своей охоте — группа передовых, сознательных рабочих, готовящихся к грядущей революционной борьбе. Петербург — Мариуполь — Баку — Елизаветполь — Москва, заводы братьев Бромлей — опять Петербург, где к весне одиннадцатого года Белостоцкий токарил на Путиловском и одновременно был председателем Самсоновского культурно-просветительного общества — легальной базы для нелегальной работы большевиков Выборгской стороны. Партийная организация района и послала его с двумя другими товарищами в Париж, в организованную Лениным и его сторонниками партийную школу.

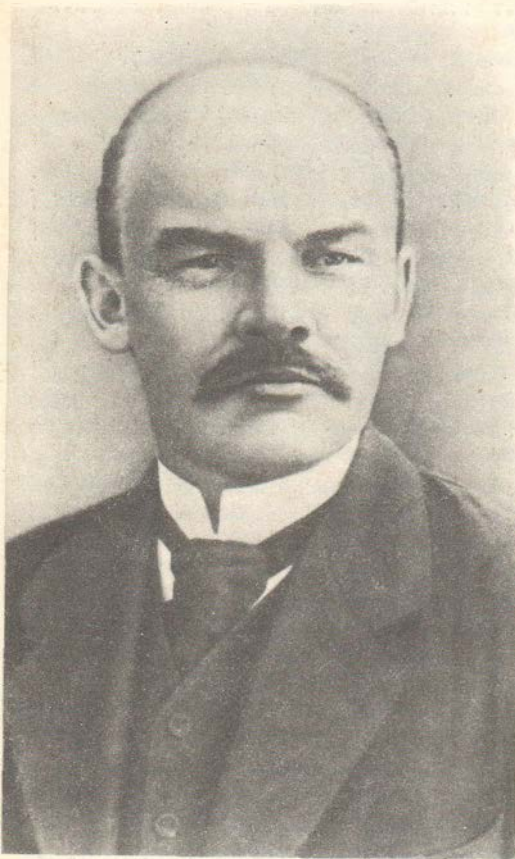
Николай Александрович Семашко, член школьного комитета, привез «учеников» (то были первые ласточки, прилетевшие из России) в пригород Фонтеней-о-Роз, в снятую заранее квартиру. К вечеру он зашел за ними:

— Поедемте, товарищи, Владимир Ильич вас ждет с нетерпением. Для него каждый свежий человек из России как близкий друг.

— Стосковался он по родине, должно быть, сверх всякой меры? — спросил Белостоцкий.

Семашко только глянул печально и выразительно: что, дескать, говорить — горек эмигрантский хлеб, и не для одного Ильича...

Поезд метрополитена примчал их в Латинский квартал. Мари-Роз оказалась тихой улочкой, а дом номер четыре, где жили Ильичи, ничем не выделялся в ряду таких же скромных каменных домишек, в которых обитали люди невысокого достатка. Ивану Степановичу окружающее казалось исполненным величайшего смысла и значения. Под цветущими каштанами этого бульвара отдыхает Ильич; старушка привратница каждый



день видит его; по этой лестнице он взбирается к себе на второй этаж, касаясь этих вот перил...

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте! Как я рад видеть вас всех...

Ленин знакомой, торопливой и упругой, своей походкой направляется к ним. У него небольшая сильная рука — рукопожатие по-мужски твердое, он по-русски крепко встряхивает руку, снизу вверх взглядывает на огромного Белостоцкого.

— Оч-чень рад, товарищ Владимир, — так ведь вас теперь мы будем звать? Конспирация, ничего не поделаешь, у нашей охраны длинные уши и не менее длинные руки...

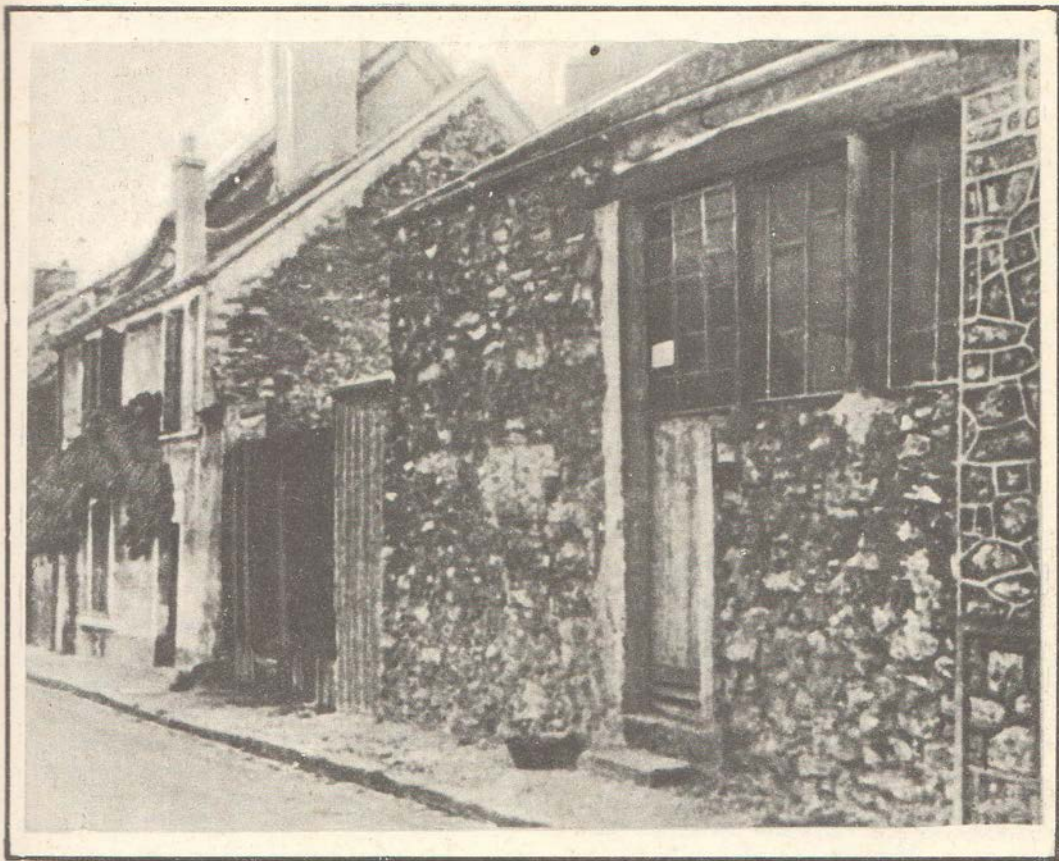
Проходите, товарищи, присаживайтесь и рассказывайте, как там у нас в Питере...

Входит Крупская, и, посовещавшись с женою, Ленин объявляет, что поскольку по французскому обычаю гостей полагается принимать и угощать в кафе и все беседы вести там, то, если товарищи не возражают...

Они сидят в небольшом уютном зале, и Иван Степанович жадно вглядывается в радостное лицо Ленина, слушает его быструю речь, сам рассказывает о своей работе на Путиловском, о товарищах-партийцах, о том, что особенно интересует Ильича, — о фактах, предвещающих новый подъем революционной борьбы.

Ленин пьет сельтерскую с вишневым экстрактом. Узнав, что «товарищ Владимир» равнодушен к спиритному, одобрительно кивает: «Здесь готовят отличное кофе — не хотите ли?» Наклонившись через стол, жадно слушает. Наблюдательный Иван Степанович по отрывочным репликам Ильича, Крупской, Семашко замечает, как тяжело дается им разлука с Россией, — вторая после пятого года эмиграция для Ленина. Он очень бодр, полон энергии, с поразительным вниманием впитывает в себя новости с родины, но Белостоцкий видит, что, несмотря на колоссальную волю и жизнелюбие Ильича, ему опротивела эмиграция, его гложет тоска по России, по активной боевой деятельности, какую вел он во время минувшей революции, и добрые вести о новом подъеме рабочего движения для него как целительный бальзам на раны.

«В эпоху подъема легче быть революционером, — говорит он, — но им надо уметь быть и в пору реакции». Партия переживает сейчас один из труднейших этапов борьбы, но никогда она не откажется от своих «старых» революционных программных требований: демократическая республика, конфискация помещичьей земли в пользу крестьян, восьмичасовой рабочий день, право наций на самоопределение... Новый революционный



подъем неизбежен, и вести из России убедительно говорят о том, что он уже начался. Поэтому надо решительно вскрыть оба флюса, которые у нас есть: флюс справа — ликвидаторы и флюс слева — отзовисты. Неустойчивые интеллигенты из среды социал-демократии, мелкобуржуазные элементы, в пятом году выказывавшие сочувствие нашим идеям и лозунгам, не выдержали трудностей реакционных лет. И сейчас каждый партийный работник — потомственный пролетарий — пропагандист, агитатор, организатор, прошедший школу борьбы в эти страшные годы, необычно ценен для партии. Школа в Париже имеет целью дать необходимую

теоретическую подготовку этим славным кадрам рабочей партийной интеллигенции. «Вы, товарищи, — говорит Ленин, — вернувшись в Россию, примете участие в борьбе, которая завершится нашей окончательной победой над царизмом. Сила этой грядущей революционной атаки зависит от всех нас...»

Помещение для занятий отыскалось в небольшом селении в восемнадцати километрах от Парижа. Резвый голосистый паровичок домчал русских «учеников» от центра французской столицы до Лонжюмо. Подхватили свои чемоданчики и пошли, оглядываясь по сторонам, в свою «школу». Жалкие домишки окраины с прилепившимися к ним кро-

шечными огородиками и садочками. Два трактира по обеим сторонам улицы, это для бедноты. «Ежели жизнь твоя скудная и скучная — повеселись за стойкой. Это нам и по дому известно». Иван Степанович все подмечает, хотя никаким другим языком, кроме русского, не владеет — язык нищеты, как и язык богатства, во всем мире одинаково красноречив. Вот и центр Лонжюмо: дома богачей просторнее и чище, лавки, магазины, кафе теснятся поближе к мэрии. «Все на своем месте, каждому свое...»

Двухэтажный кирпичный дом, жалюзи и ставни на окнах закрыты — то ли от жары, то ли для того, чтобы отгородиться от всего остального мира. Тяжелые дубовые ворота, в глубине мощеного дворика каменный сарай со стеклянной верандой — здесь будет первая русская партийная школа.

Во дворе шумно, весело. Приехал на велосипеде Ленин, жмет всем руки, подходит к дверям сарая: «Давайте, товарищи, очищать эту авгиеву конюшню сообща, без разделения на тех, кто будет учить и будет учиться...»

В сарае, видимо, была столярная мастерская — здесь полно строительного хлама, мусора, грязи. Мужчины снимают пиджаки, засучивают рукава. Работами руководит энергичная Инесса Федоровна Арманд.

«Ну-ка, товарищ Владимир, раз-два, взяли!» — кричит Ленин Белостоцкому, наклоняясь к длинной доске. «Не тяжело ли вам будет, Владимир Ильич?» — «Давайте лучше я возьму», — говорит Орджоникидзе, вольнослушатель школы. «Пустяки, товарищ Серго, напрасно вы считаете меня белоручкой».

Сейчас среди участников этого своеобразного коммунистического «субботника» нет ни партийных лидеров, ни членов ЦК и ЦО, ни авторов книг и брошюр, посвященных труднейшим и сложнейшим вопросам рабочего движения, философии, политической экономии, нет металлистов, кожевников, литейщиков, электромонтеров из Петербурга,

Москвы, Екатеринослава, Варшавы, Сормова, Баку, ни партийных работников с солидным стажем подпольной работы в Тифлисе и Киеве, обеих столицах, в Сибири и на Урале, в царстве Польском, великом княжестве Финляндском и прочая, прочая, прочая — сейчас все рабочие: такелажники, мусорщики, плотники, мойщики окон...

Завтра восемнадцать слушателей сядут за эти сколоченные ими из неструганных досок столы и скамьи, завтра Ленин, Семашко, Луначарский, Арманд, Раппопорт, Стеклов начнут чтение лекций и семинарские занятия по политической экономии и истории РСДРП, аграрному вопросу и рабочему законодательству, по теории и практике социализма, истории профсоюзного и рабочего движения, по газетной технике и истории литературы и искусства... Все это будет завтра, и послезавтра, и еще несколько месяцев подряд.

Осенью «ученики» вернуться на родину, чтобы пойти на свои заводы и фабрики, в легальные и нелегальные организации партии и, конечно, трудными дорогами политических заключенных из бесчисленных российских тюрем на восток и на север — на каторгу, в ссылку, на вечное поселение.

С осени «учителя» займутся подготовкой партийной конференции, которая соберется в Праге, чтобы возродить партию, очистить ее от разномастных отщепенцев-оппортунистов, сделать боевой и дееспособной в пору нового революционного подъема.

То была ленинская школа подготовки кадров партии, передовых слоев пролетариата к предстоящим классовым боям, в которой заметное и почетное место занял первый воистину партийный университет, созданный в 1911 году в Лонжюмо.

Место это — вдали от Парижа — было выбрано очень удачно в конспиративном отношении — заграничные агенты охранного отделения не оставляли своим вниманием политических эмигрантов. По официальной версии — для мэрии — слушатели партийной

школы числились как сельские учителя, приехавшие из России на стажировку. Это устроили французские социалисты.

При деятельном участии Крупской были сняты помещения для жилья слушателей неподалеку от школы, у местных крестьян и рабочих. Большинство учителей перебрались на жилье из Парижа в деревню. Сами Ильичи сняли здесь же две комнаты в домике у рабочего-кожевника. Столовая была организована для всей школы и стала настоящим клубом, где за обедом и ужином собирались учителя и ученики для обмена мнениями, для бесед и товарищеских вечеринок.

Лектором по ведущим предметам — политической экономии, аграрному вопросу, теории и практике социализма в России — был Ленин. Очень точно, ровно к восьми часам утра, приходил он на свои занятия. Его всегда ожидали с нетерпеливым волнением, выглядывая по-ученически за дверь, и, когда он появлялся в дверном проеме, освещенный веселым утренним солнцем, постоянно нагруженный пачкой книг, слушатели дружно вставали, приветствуя своего учителя. Ленин раскладывал на столе марковский «Капитал», тома Энгельса, Гегеля, Фейербаха, Плеханова и непременно тетрадку с конспектом предстоящей лекции. Он редко заглядывал в нее и на вопрос: «Зачем вам конспект, Владимир Ильич, вы же очень многое говорите нам прямо наизусть?» — отвечал серьезно, без улыбки:

— Конспект дисциплинирует мысль и речь, без него можно увлечься каким-нибудь одним положением и упустить другие.

Излюбленным ленинским методом проведения занятий была деловая, серьезная, живая беседа, в которой принимали участие все слушатели. Ленин незаметно направлял ее по нужному руслу, поправлял ошибающихся, резюмировал, отвечал на попутные вопросы, но больше всего предпочитал задавать вопросы сам, непременно требуя, чтобы любая проблема связывалась с практикой революционной борьбы.

— А ну, товарищи, — говаривал он, щуясь и хитро взглядывая на слушателей, — давайте от общетеоретических положений перейдем к решению конкретного вопроса. Вы будете делать революцию, вам предстоит возглавить народ в борьбе за власть. Предположим, революция уже произошла. Так вот: как вы поступите, скажем, с банками?

В сарае воцаряется тишина, и только бездумные ласточки под крышей возятся и выщелкивают что-то свое, птичье.

— Ну-те-с, кто ответит? — Ленин обводит всех быстрым испытующим взглядом.

— Уничтожим, — раздается бас из глубины сарая.

Ленин всем корпусом живо поворачивается туда.

— А вот и нет! Деньги как платежное средство и при социализме не утратят своей роли. Поэтому...

Он был для своих слушателей не только лектором. Увидев, что Анна Ивановна ведет конспект, Ленин прервал лекцию:

— Зачем это вы, товарищ Вера? Этого делать не следует. Вы увезете из Парижа только своего Борьку — ничего другого в Россию везти не следует...

У Анны Ивановны родился сын уже в пору учебы, и Ленин постоянно справлялся о нем, заботился о будущем малыша.

Меньше всего хотел Ленин, чтобы «ученики» были людьми, покорными чужим, хотя и авторитетным, мнениям. По самому острому вопросу — о необходимости изгнания меньшевиков из партии — Ленин предложил устроить дискуссию. Он прочитал доклад, в котором доказывал, что новый подъем революционного движения в России завершится вооруженным восстанием против самодержавия, а затем и буржуазного строя. Меньшевики же окончательно стали на путь измены пролетарскому делу, и в этих условиях архинеобходимо решительно очистить партию от всяких оппортунистов, скрытых и явных, и прежде всего от меньшевиков.

Белостоцкий выступил оппонентом доклад-

чика: излишне резкой постановкой вопроса можно отпугнуть от себя рабочих-меньшевиков и сочувствующих им беспартийных рабочих, а среди них есть много честных, преданных социализму людей, теперь же мы их всех зачисляем в ряды изменников рабочему движению...

Выпавив все это, горячий Иван Степанович уже не мог слушать другие возражения — вскочил и вышел. Сел в тень под каштаны и, остывая, понял, что был не прав. Занятия окончились, слушатели разошлись. Белостокский сидел и с горечью думал о том, что Ленин даже не заметил его ухода — он большой человек, руководитель партии, что ему какой-то там один несогласный с его мнением человек.

Зашуршали шины велосипеда по сухим листьям, устлавшим садовую аллею, — Ленин возвращался. Прислонив к скамье велосипед, стал против Белостоцкого.

— Дуетесь, Владимир? А почему, позвольте спросить?

— Очень уж вы, Владимир Ильич, свирепо относитесь к меньшевикам...

— Свирепо? — переспросил Ленин, в голосе его послышался гнев. — А как должно относиться к врагам?

— Врагам?!

— Да! Сейчас они наши идейные враги. После свержения самодержавия они, без сомнения, войдут в буржуазное правительство, то есть станут нашими классовыми врагами. Мы не остановимся на буржуазной, демократической революции, мы пойдем дальше — к революции пролетарской. И тогда господа меньшевики станут нашими вооруженными врагами. Не так? Так! Это диалектика событий, и она влечет меньшевиков в стан наших врагов. И чем раньше мы это поймем, тем будет лучше для дела пролетариата и беднейшего крестьянства. Поэтому, если вы схватили меньшевика за горло, так душийте!..

— А дальше что? — спросил ошеломленный Белостокский.

— А дальше — слушайте, если дышит —

душите, пока не перестанет дышать. Тут уже не играет роли ваша личная приязнь или неприязнь к тому или иному симпатичному или несимпатичному меньшевику. Речь идет о классовой сущности предателей рабочего движения, значит наших врагов. Так и только так, батенька мой!..

И, не взглянув больше на своего сраженного оппонента, Ленин сел на велосипед и, с места сильно, гневно нажав на педали, умчался.

Больше об этом у них разговора не было — Ленин отлично разбирался в людях и, без сомнения, понимал, что сумел убедить младшего товарища. Так оно и было.

По просьбе Ленина Раппопорт несколько раз водил слушателей в парламент, где они слушали выступления Жана Жореса. По воскресеньям Луначарский, хорошо знакомый с французским искусством, показывал товарищам сокровища Лувра и Люксембургского дворца.

Не прослушав курса лекций, уехали в Россию готовить предстоящую партийную конференцию Орджоникидзе («товарищ Серго»), Шварц («Семен») и Бреслав («Захар»). В особенно напряженном темпе шли последние недели занятий. Давил небывалой жарой август. Давила тоска по родине, по семье (незадолго до отъезда Иван Степанович женился). Ленин, хорошо понимавший состояние людей, все свободное время проводил с ними — по вечерам шел с товарищами на Сену, плавал, пел родные песни, и никто, наверное, из молодых слушателей, уже эгоистически предвкушавших сладость скорого возвращения в Россию, не задумывался над тем, что их учитель не месяцы, а уже годы и годы оторван от родины и только колоссальная воля позволяет ему скрывать, прятать подальше от всех свою нестерпимую ностальгию.

Как-то вечером, уже незадолго до отъезда, сидел Иван Степанович в одиночестве на лавочке у освещенных окон ресторана. Ленин, торопившийся домой, остановился, взгляделся.

— Что-нибудь случилось, товарищ Владимир?

Нет, ничего особенного не случилось. Ребята, страдаемые тоской и одиночеством, позвали его в ресторан выпить. Он казначей школы и не имеет права тратить партийные деньги на пустяки, а личных денег ни у кого нет. Вот и сидит мучается, не знает, как поступить. С одной стороны, может получиться скандал из-за неуплаты денег, а с другой — нельзя нарушать партийную дисциплину.

Ленин сказал:

— Вы поступили совершенно правильно, но... знаете что: давайте пойдём к ним. Выпьем и не покажем, что сердимся на них. Буржуа-ресторатор способен поднять шум на всю Францию, подать даже запрос в парламент: «Известно ли правительству, что русские учителя в Лонжюмо не заплатили мне 30 франков?..»

Ленин ничего по обыкновению не пил, кроме сельтерской с экстрактом. Когда запели русские песни, а потом под дирижерством Ильича вместе с посетителями-французами «Марсельезу», горечь у Ивана Степановича прошла. Ленин был весел и общителен и лишь под конец смущенно признался, что ничего бы так не хотел сейчас, как уехать вместе с ними домой, на родину, в Россию.

А вскоре, провожая туда товарищей, напутствовал:

— Берегите друг друга, помните о нашем партийном товариществе и главное — смелее опирайтесь на рабочий класс: в нем наша сила, наша будущность...

В Питере, точно они только и ждали его возвращения, за Белостоцким устремились стайки шпиков. Пришлось срочно уезжать. Донбасс — те же неотвязные господа, Тула — опять они же, словно охранка стремится заполнить сыщиками всю Россию. И все же с весны двенадцатого, уже после Пражской конференции, стала выходить ленинская «Правда». А в октябре весь состав правления Тульского союза металлистов и его секретарь Белостоцкий оказались в тюрьме.

Иван Степанович удостоился особого внимания — им занялся лично начальник жандармского управления полковник Павлов. Обвинения были предъявлены серьезные: принадлежность к РСДРП большевиков, учеба в партийной школе в Париже, противоправительственная деятельность в роли члена ЦК указанной партии. Оказывается, охранка знала о Белостоцком гораздо больше, чем он сам о себе. В январе 1912 года в Праге Иван Степанович был по предложению Ленина кооптирован в члены ЦК.

Срок ссылки в отдаленные места русского Поморья оказался довольно продолжительным. Белостоцкий был надолго «изъят из обращения», как горько шутили в те годы.

4. «Мы непременно победим!»

В коридор Ленин вышел неожиданно из какой-то комнаты и остановился, оглядываясь, видимо, кого-то искал. Иван Степанович замер: узнает или не узнает?

В коридоре Смольного толкотня, шинели, пальто, кепки, платки, шляпки, почти все с оружием; девушка бежит с кипой бумаг; солдат в одной руке держит винтовку, в другой бережно несет котелок с каким-то варевом; шумно переговариваясь, топоча подкованными башмаками, идет кучка матросов в черных шинелях, перекрещенных пулеметными лентами; у некоторых дверей часовые — большей частью молодые рабочие паренки в длиннополых пальто, перетянутых армейскими поясами... И вот среди этого первозданного революционного хаоса первого послеоктябрьского месяца, как-то органически входя в деловую толкотню, появляется невысокая плотная фигура Ильича в знакомом, изрядно поношенном черном костюме.

Взгляд Ленина скользнул по людям, выделил из всей массы громадного, едва не на голову выше всех, человека в потертой кожаной куртке, с наганом на поясе. Несколько коротких мгновений всматривался. («Узнает или не узнает?»)

— Товарищ Владимир? Какими судьбами, откуда? Заходите!

В небольшой комнате (карта России во всю стену, телефоны на заваленном бумагами столе, закопченный чайник на подоконнике рядом с засохшими цветами) полно народу. В углу гремит на пишущей машинке женщина в пенсне, у стола люди, ожидающие Ленина, вопросительно взглядывают на вошедшего с Ильичем Белостоцкого.

— Садитесь и рассказывайте, — говорит Ленин. — Вы с Урала? Лысьва Пермской губернии? Так, так. Ну, как у вас там? Как настроение у рабочих? Удалось ли наладить снабжение заводов продовольствием? Есть ли достаточно оружия для отпора контрреволюционной сволочи? За оружием и приехали? Так, так. Кстати, у своих на Путиловском побывали? Очень хорошо. Ну, рассказывайте, не ждите, когда я окончательно освобожусь, — это сделать сейчас весьма трудно.

Иван Степанович принялся было рассказывать, но вскоре замолчал. Ленин занимался другими делами: подписывал мандаты, отдавал по телефону распоряжения, подзывал уполномоченных по заготовкам продовольствия, топлива, одежды...

Иван Степанович только теперь сумел толком разглядеть Ильича. Они не виделись больше шести лет. Ленин почти не изменился, во всяком случае, незаметно, что он постарел. По-прежнему весь в движении, в работе, совсем непривычной для него...

— Что вы замолчали, товарищ Белостоцкий? Продолжайте, я все слышу. Вы остановились на том, что у вас в Лысьве рабочие требуют оружия для борьбы с казачьим атаманом Дутовым. За чем же дело стало?

Иван Степанович подвинулся способности Ленина выполнять одновременно несколько дел — этой особенности он не знал за ним.

Ленин говорит по телефону, придерживая плечом трубку, и пишет записки для Белостоцкого. Первая — коменданту Петропавловки. Но там оружия мало, ста винтовок уральцам, конечно, не хватит. Придется ехать

в Тульский арсенал — вот записка на 250 винтовок, два «максима», 12 револьверов, патроны...

— Больше дать не можем, товарищ Владимир, — улыбается Ильич.

Входит Надежда Константиновна с тарелкою супа и куском черного хлеба. Радостно здоровается с Белостоцким. Ленин отмахивается от еды — он сыт, и вообще ему некогда.

Крупская и Белостоцкий стоят у окна и глядят на погруженного в дела Ильича. Надежда Константиновна жалуется, что он позабыл о еде и сне, совсем измотался, ночами просыпается, ходит по комнате, присаживается к столу, чтобы набросать вчерне проект какого-нибудь распоряжения, опять ходит, опять пишет. А потом рабочий день — с утра и до глубокой ночи. Надолго ли так хватит Владимира Ильича?..

— Надо хоть кормить его хорошо... — беспомощно советует Иван Степанович. — Что же это — при такой работе тарелка супа из мерзлого картофеля, мяса ведь можно достать хоть кусочек...

— Да ведь не станет есть, — отвечает с досадой и, кажется, с тайной гордостью Надежда Константиновна. — Требуется, чтобы ему давали еду из общей кухни.

— Это вы там на мой счет проезжаетесь? — поворачивается к ним Ленин. — Нехорошо, дорогие товарищи, прямо в кабинете председателя Совнаркома устраивать разговоры. Их у нас хватает на Дону и в десятках других мест...

Иван Степанович прощается. Он понимает, что просить Ильича побережь себя излишне. Это его жизнь, это его революция. Другого у Ленина ничего нет в жизни. И Белостоцкий только крепко пожимает протянутую ему руку и глядит не отрываясь в дорогое лицо. Он желает Владимиру Ильичу всего-всего хорошего. Выходит из гудящего Смольного, шагает через мост в Петропавловскую крепость, говорит с людьми, едет на другой день в Тулу за оружием, а все слышится ленин-

ский голос, видится его усталое, энергичное, озабоченное лицо и он сам в коридоре среди вооруженных людей в центре кипящей в желанной революционной буре России.

В Туле, оказывается, еще не свергнута власть Временного правительства. Знакомый Белостоцкому еще с дореволюционной поры председатель губернского исполкома, меньшевик, растерянно отвечает на просьбу о выдаче оружия:

— Ты хочешь, чтобы я приказал арсеналу выдать вам винтовки и пулеметы. А вы их обратите против нас.

«Как умел Ленин заглядывать вперед через годы, — думает в этот момент Иван Степанович, — как он распознал в этих людях будущих врагов пролетариата...»

— А вы уйдете прочь, не путайтесь у нас под ногами, — сердито отвечает он. — Все равно через несколько дней в Туле установится Советская власть, и тебе зачтется, что ты дал нам оружие для борьбы с казачьим атаманом.

Председатель зло усмехается, но распоряжение выдает. Получив оружие, Иван Степанович с помощью местных товарищей погружает его в вагон и летит на Урал. Газеты сообщают, что там грозно наползают тучи белоказачьего мятежа, там нужно оружие, там нужен он сам.

...Поздней зимой девятнадцатого года военная судьба на один день занесла Белостоцкого в Москву. Знакомых или родных здесь у него не оказалось. Единственным близким человеком в городе был Ленин. Подошел Иван Степанович к Спасским воротам и принялся объяснять сначала часовому, а потом начальнику караула, что хочет повидать товарища Ленина, с которым лично знаком: «Учился я у него, ребята, в Париже, в партийной школе». Поверили, пропустили.

И опять, как больше года назад, в ноябре семнадцатого, в кабинете Ленина полно людей, всем он нужен, и все нужны ему. Зани-

маясь, чутко слушает рассказ Белостоцкого о положении на Урале. Он озабочен военными делами. Время грозное. От Архангельска наступают англичане. На юге Деникин захватил огромную территорию республики. Колчак заставил нас отойти с Урала до самого города Глазова.

— Скажите, Владимир Ильич, — спрашивает Белостоцкий, — победим мы или не победим?

Ленин, точно он ждал этого вопроса, отвечает быстро, не задумываясь:

— Победим, товарищ Владимир, обязательно победим.

— А на чем основана ваша уверенность, Владимир Ильич?

В голосе собеседника дрожали тоска и тревога. Ленин взглянул ему в глаза и — отложил бумаги, отодвинул телефон.

— Нельзя сомневаться в нашей победе. Мы создали большую, хорошо обученную, хорошо вооруженную Красную Армию. Мы мобилизовали на фронты лучших из лучших наших людей — коммунистов, комсомольцев, политически сознательных рабочих. Через два-три месяца, весной, начнется большое наступление на всех фронтах, которое сметет белые армии. В тылу у Колчака и Деникина действуют красные партизаны. Народ поднимается на борьбу против белогвардейцев, стремящихся восстановить прежние ненавистные порядки. Кольцо вражеских армий, сжимающее республику, лопнет под нашими ударами. Нет такой силы, которая смогла бы противостоять Красной Армии, нет такой идеи, которая была бы ближе трудящимся, чем идея власти рабочих и крестьян.

Сумел я передать вам свою веру в нашу победу, товарищ Белостоцкий? — спросил, прощаясь, Ленин.

Иван Степанович кивнул. Окрыленный, полный новых душевных сил, обеими руками сжал руку Ленина. У подъезда оглянулся. В ранних зимних сумерках засветился в окне третьего этажа, в ленинском кабинете, огонь.





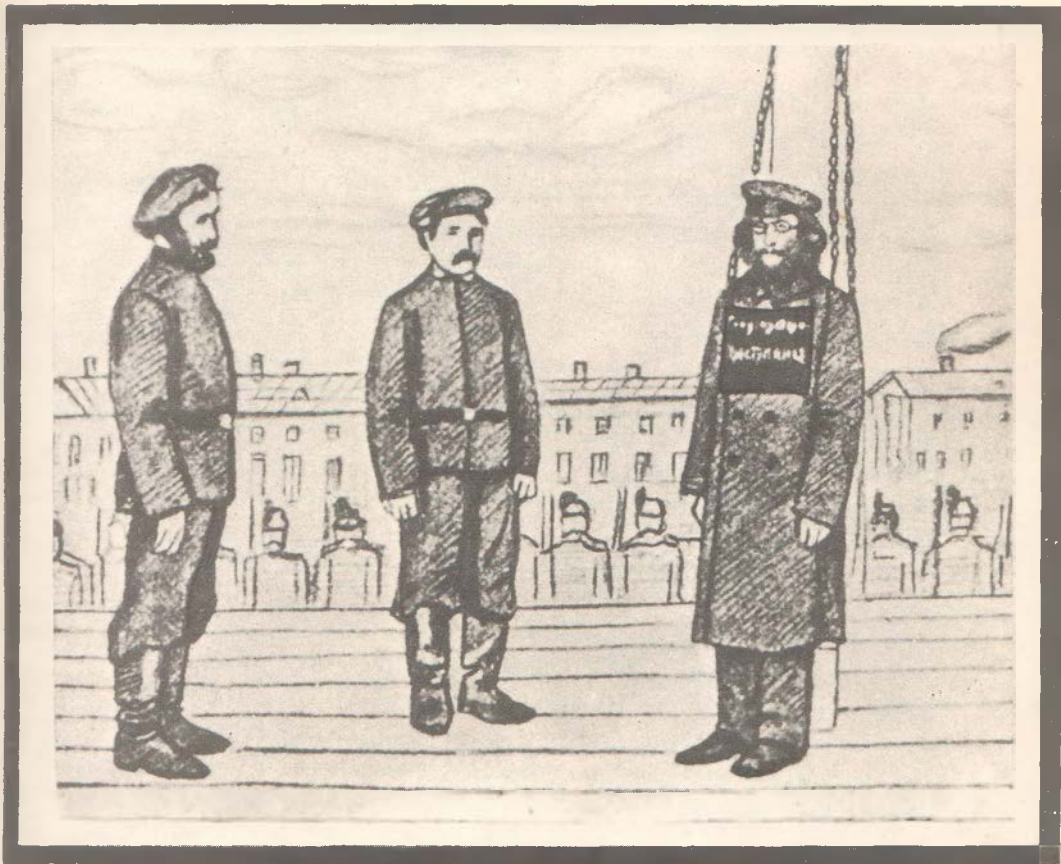


С. А. Рейсер
Прокламация
Н. Г. Чернышевского
„Барским крестьянам...“¹

Воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон...» принадлежит к числу замечательнейших памятников русской политической мысли эпохи первой революционной ситуации. Однако история этого документа во многих своих частях остается неизученной, а текст твердо не установленным.

Находившаяся в распоряжении властей копия (подлинник остается неизвестным: он, очевидно, был уничтожен из конспиративных

¹ Статья автора с подробной аргументацией печатается в издании «Книга. Материалы и исследования», сборник XIV. Уточненный текст прокламации публикуется там же и в сборнике архивных документов «Дело Н. Г. Чернышевского» (Саратов).



соображений) была опубликована в 1906 г.¹, но источниковедческое значение имеют только две, несколько различные по тексту, публикации — Б. П. Козьмина² и М. В. Нечкиной³. Эти тексты нуждаются в критической проверке и в уточнении. Но для этого прежде всего необходимо иметь в руках упомянутую выше копию. С 1928 года к ней никто не обращался. Более того: она считалась утраченной. Так, в Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского прокламация напечатана дважды⁴, но оба раза не вполне исправно.

В результате настойчивых поисков копия была мною найдена. Она находится там, где и должна была находиться. Но архив, в составе которого хранится интересующее нас следственное дело, переместился из Москвы в Ленинград, а текст прокламации был залож-

жен в конверт реставрационных мастерских Центрального архивного управления⁵.

¹ М. К. Лемке, Дело Н. Г. Чернышевского (По неопубликованным материалам). «Былое», 1906, № 4, стр. 179—187. Опубликована по писарской копии.

² Политические процессы шестидесятых годов. Под ред. Б. П. Козьмина, вып. I. М.—Пг., 1923, стр. 188—199.

³ Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, т. I. М., 1928, стр. 143—152.

⁴ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VII. М., 1950, стр. 517—524; т. XVI. М., 1953, стр. 947—953. В обоих случаях указано, что печатается по 1-му тому Избранных сочинений Н. Г. Чернышевского издания 1928 года.

⁵ Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ), фонд 6-го (Московского уголовного) департамента Сената.

каким то же видно будет. Ну, тогда и увидим, какое од-
 авление, что тогда люди русские, такое дело выкинут, и
 что во время ^{всего} одну ночь начнется такое дело, потому что
 будет тогда сагады готовы будут и судно будет воевать
 след, и одно имеет от другого не отнимает. Тогда
 и дело будет ваше доброе. Ед до той поры готовое из
 тому, а самим виду не покажет, что в дельце одобрено
 у тебя, и дети.

Изучение внешнего вида рукописи подтверждает давно высказанное мнение, что она набиралась. Как можно судить по различным пометам и знакам, набрана была приблизительно половина прокламации.

Очень важно дифференцировать и интерпретировать все пометы на рукописи. С одной стороны, перед нами знаки наборного характера, с другой — отметки, сделанные следователями, наконец, редакционно-стилистическая правка: она, в свою очередь, должна быть расложена.

Дошедший до наших дней документ — тот самый, который был послан из Петербурга в Москву для издания, а предателем В. Д. Костомаровым был направлен из Москвы в Петербург в Третье отделение. Издавна считалось, что документ написан рукою поэта и революционера М. Л. Михайлова. Эта традиция восходит к доносу брата предателя — Н. Д. Костомарова и сообщению жандармского подполковника А. Н. Житкова¹. Ее, к сожалению некритически, продолжили работы М. В. Ключкова, М. К. Лемке, Ю. М. Стеклова, Б. П. Козьмина, Н. А. Алексеева, М. В. Нечкиной и ряда других исследователей². Но это предположение вопиюще противоречит показаниям Михайлова на следствии, противоречит его и Н. В. Шелгунова мемуарам³ (документам, не предназначенным для печати) и оказывается несостоятельным при анализе обстоятельств, сопровождавших попытку печатания прокламации. По моей инициативе экспертиза, произведенная Ленинградской научно-исследовательской лабораторией судебной экспертизы, решительно отвергла предположение об участии М. Л. Михайлова в написании текста дошедшего до нас документа. Столетняя легенда рухнула. До сих

пор остается, однако, неустановленным, кем же именно написан текст, — исследователям предстоит здесь еще большая работа.

Выясняется, что в процессе подготовки прокламации к печати было сделано не менее пяти или шести пробных оттисков набранной части. Эти экземпляры до нас не дошли. Но есть основания утверждать, что какие-то копии проникли в Казань. Исследователи уже отмечали близость прокламации Чернышевского к прокламации казанского революционного кружка «Долго давили вас, братцы...»⁴. И. Е. Ба-

¹ См. М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг. (По архивным документам.) Изд. 2-е. М. — П., 1923, стр. 9—11.

² М. В. Ключков, Процесс Н. Г. Чернышевского. «Исторический вестник», 1913, № 10, стр. 177; М. К. Лемке, Политические процессы..., стр. 318—319; Ю. М. Стеклов, Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. Изд. 2-е, испр. и доп., т. II. М. — Л., 1928, стр. 289, 292; «Политические процессы шестидесятих годов», стр. 188; «Процесс Н. Г. Чернышевского». Архивные документы. Ред. и примеч. Н. А. Алексеева. Саратов, 1939, стр. 283; М. В. Нечкина, Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. «Исторические записки», т. X. М., 1941, стр. 8—9 и др.

³ М. К. Лемке, Политические процессы..., стр. 88—89; М. Л. Михайлов, Записки. В кн.: М. Л. Михайлов, Соч., т. 3. М., 1958, стр. 469; Н. В. Шелгунов, Воспоминания. М. — П., 1923, стр. 33.

⁴ В. Г. Базанов, Новые люди или нигилисты? (К истории русского демократического народоуправления.) «Русская литература», 1959, № 2, стр. 162; Е. Г. Бушканец и Г. Н. Вульфсон, Общеуниверситетно-политическая борьба в Казанском университете в 1859—1861 гг. Казань, 1955, стр. 96—97; М. В. Нечкина, «Земля и воля» 1860-х годов (По следственным материалам). «История СССР», 1957, № 1, стр. 114.

ренбаумом установлено, что текст прокламации был кое-кому известен и в Петербурге и использован в одной из статей журнала «Народная беседа» в 1862 г.¹

Анализ мемуарных источников (прежде всего Н. В. Шелгунова и А. А. Слепцова), несмотря на некоторые неясности и даже противоречия, позволяет со значительной степенью вероятности считать, что автором прокламации был именно Чернышевский. Дополнительными аргументами являются: а) изучение истории некоторых других, не дошедших до нас прокламаций Чернышевского, б) данные лингвистического анализа и в) обнаруженные мною на рукописи пометы, позволяющие утверждать, что рука Чернышевского, по-видимому, касалась дошедшего до нас документа. Проверая перед отсылкой в Москву текст, Чернышевский заметил в одном случае пропуск, который делал текст бессмысленным, и вставил пропущенное слово («местах»). Возможно, что ему же принадлежит исправление «е» на «ять» в слове «обрезывать» (орфографическая ошибка копииста) и слово «даст» в одном месте прокламации. Это утверждение, однако, требует еще дальнейшего изучения.

Автограф Чернышевского был им в целях конспирации уничтожен. В дошедшей до нас копии следует различать, кроме наборных помет, о которых сказано выше, три группы исправлений: а) исправление ошибок (описок и пропусков слов) копииста. Эта правка была,

очевидно, произведена в Петербурге при участии Чернышевского; б) незначительная и несущественная стилистическая правка, также сделанная в Петербурге и авторизованная Чернышевским; в) сокращения, произведенные в Москве перед набором, без ведома и согласия Чернышевского, — эта правка произведена скорее всего В. Д. Костомаровым.

Таким образом, мы приходим к определенному решению текстологической проблемы. Поправки, выражающие последнюю творческую волю Чернышевского, для нас обязательны и вводятся в основной текст. Поправки Костомарова, противоречащие этой воле и имевшие целью на всякий случай выхолостить наиболее острые места прокламации, отбрасываются. В существующий ныне в обиходе текст надлежит внести не менее двадцати различных исправлений. Незначительные по объему (слово или даже часть слова), они позволяют все же восстановить написанный великим революционным демократом текст в его подлинном виде. «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства», — писал некогда Пушкин.



¹ И. Баренбаум, К вопросу о распространении прокламации «Барским крестьянам...» в годы первой революционной ситуации. «Русская литература», 1966, № 2. стр. 199—203.

Н. Б. Панухина
Речь Петра Алексева
в записи судебного
чиновника¹

1877 год. Зал Петербургского окружного суда. Здесь с 21 февраля по 14 марта проходили заседания особого присутствия Правительствующего сената для рассмотрения дел о государственных преступлениях. Судили за революционную пропаганду в народе.

«Слушался в феврале 1877 года процесс 50-ти, — вспоминает известный русский адвокат А. Ф. Кони, очевидец событий. — По делу 50-ти судебное следствие велось очень бурно. Обвиняемые делали разные заявления резкого свойства, судьи теряли самообладание... Многие из подсудимых выказывали полное равнодушие к ожидавшему их наказанию и лишь пользовались случаем высказать излюбленные теории... Особенно потрясающее впечатление произвела своей энергией речь рабочего Петра Алексева»².

Истинный характер судебных прений правительству постаралось скрыть. По специальному распоряжению царя все газеты должны были перепечатывать официальный отчет, который знакомил читателей с событиями политического процесса в самом искаженном виде.

«Алексеев позволил себе в конце своей речи дерзкие выражения, за что и был остановлен первоприсутствующим»³, — таковы несколько слов, брошенные вскользь, о выступлении с судебной трибуны деятеля рабочей демократии. Ни строчки о прозвучавшем на суде описании бедственного и рабского положения рабочего класса, опровержении тезисов прокурора, критике внутренней политики правительства и пророчестве рабочего-революционера.

Речь Петра Алексева впервые была напечатана на тайном станке в Петербурге в апреле 1877 года. С тех пор революционеры в России и за границей неоднократно переиздавали ее. Власти с сожалением должны были признать, что выступление рабочего на суде используется в качестве «орудия социально-революционной пропаганды».

Исследователи до сих пор изучали речь Петра Алексева по ее нелегальным изданиям, так как не разысканы полный стенографический отчет процесса 50-ти и авторская рукопись этого замечательного документа. Редакторская правка листовок и революционных брошюр повлекла за собой некоторые сокращения и разночтения. Существуют три варианта текста речи, но полного представления о ней они не дают.

Напряженные архивные поиски должны были помочь восполнить пробелы нелегальных изданий речи Петра Алексева. В результате — интересная находка в фонде министра юстиции, графа К. И. Палена⁴. Министр юстиции постоянно получал информацию из зала суда и докладывал царю о ходе процесса 50-ти. Не случайно среди его бумаг оказалась черновая



¹ Полностью найденный документ напечатан в сообщении Н. Б. Панухиной «К истории речи Петра Алексева» в журнале «Вестник Московского университета», серия № 9 (История), 1965, № 5, стр. 82—89.

² А. Ф. Кони, Избранные произведения. М., 1956, стр. 503.

³ Процесс 50-ти. СПб., 1906, стр. 155.

⁴ Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде (ЦГИА), ф. 1016, оп. 1, д. 199, лл. 16—26.

запись речи Петра Алексеева, сделанная официальным лицом на судебном заседании 9 марта 1877 года.

Из этой рукописи мы впервые узнаем о словах, которыми революционер начал свое выступление с судебной трибуны. Петр Алексеев говорил: «Я не желаю рассказывать, был ли я революционер и вел ли пропаганду. Я могу сказать только по поводу того, что прокурор выразил, что рабочие сбиты с пути истинного. Мне хочется как рабочему нарисовать этот путь, о котором никто не может сказать, что путь неистинный, нарисовать картину того, не выше ли сил человеческих положение рабочих. Почему же увлекаются почти неграмотные и делаются пропагандистами... Вообще, может быть, недовольство направляет их к тому».

Перед нами заявление революционера о намерении выступить против принципиальной стороны речи обвинителя. Вопреки утверждению прокурора Петр Алексеев задался целью доказать, что революционная борьба — единственно правильный для рабочих путь. Революционер держал себя на суде не как «преступник», а как сознательный свободный гражданин, защищающий свои права и человеческое достоинство.

В записи судебного чиновника воспроизведены некоторые эпизоды процесса 50-ти. Так, например, с интересом читаем ранее неизвестный диалог между Петром Алексеевым и председателем суда (первоприсутствующим) — сенатором К. К. Петерсом по поводу рассуждений революционера о реформе 19 февраля 1861 года:

«Алексеев. ...прекрасная реформа, дарованная нам...

Первоприсутствующий. Вы нам говорите о таких предметах, которые не относятся к делу. Если имеете сказать что-нибудь относительно своей защиты, то скажите, а то, что вы говорите, не есть дело суда.

Алексеев. Я хотел высказать, что те явления, которые совершились, каждому известны. Я хотел, чтобы правительство обратило

внимание и подумало серьезно о рабочем народе...

Первоприсутствующий. Это не дело суда.

Алексеев. Я постараюсь обобщить и закончить свою речь».

Мы чувствуем растерянность, тревогу и озлобление председателя суда. Впервые на судебной трибуне рабочий сознательно останавливает внимание аудитории на критике внутренней политики правительства. А судьи были далеки от мысли о возможности существования среди рабочих таких сознательных борцов за свободу.

В беседе с редакторами наиболее влиятельных петербургских газет по поводу процесса 50-ти министр внутренних дел России Д. Е. Тимашев с горечью признавал: «...ругань особы государя императора, сиверные отзывы о внутренней политике правительства и пр. — все это имеет место ныне уже не в кабаках, трактирах и пр. и не в состоянии полной невменяемости, а, напротив, при совершенно других условиях, в совершенно сознательном состоянии, и, что всего удивительнее, с мотивами...»¹.

Заключительные слова речи Петра Алексеева: «Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!» — привели в смятение официальных лиц, находящихся в зале суда.

Громкие аплодисменты публики, неистовый крик председателя Петерса — все это ошеломляющим образом подействовало на судебного чиновника. Его запись обрывается на словах: «Поднимется мускулистая рука рабочего и...» Далее следуют строчки, дописанные рукой главного обвинителя К. Н. Жунова: «...сокрушив в России деспотическое правительство, водворит в обществе полную свободу». Прокурор постарался передать заключительные слова революционера так, чтобы несколько приглушить их революционный пафос.

¹ «Вперед», Лондон, 1877, т. V, разд. II, стр. 58.

Г. Е. Хаит
**Самое раннее —
ленинское**

В Полном собрании сочинений Владимира Ильича Ленина нет его писем, посланных родным и знакомым в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века. Самое раннее дошедшее до нас письмо к матери датировано 5 октября 1893 года. Самое раннее сохранившееся письмо товарищам по борьбе послано в 1895 году П. Б. Ансельроду.

Сохранились ленинские автографы и за предыдущие годы, но это большей частью официальные прошения, расписки... и ни одного письма. Однако в приложениях к первым томам Полного собрания сочинений В. И. Ленина упоминается множество неразысканных писем Владимира Ильича.

Удастся ли когда-нибудь их обнаружить?

Надежды терять не стоит. В этом нас убеждает история одной находки...

Лет десять назад вышла в свет брошюра А. А. Белякова «Юность вождя», посвященная самарскому периоду жизни и деятельности В. И. Ленина. Это мемуары участника нелегального кружка, которым руководил в начале 90-х годов Владимир Ильич. Среди прочих сведений мемуарист сообщал о диспуте В. И. Ленина и лидера либерального народничества Н. К. Михайловского, якобы происшедшем летом 1892 года на даче В. В. Водовозова недалеко от Самары. Об этом ранее ничего известно не было. Значит, новый факт ленинской биографии? Но достоверен ли он? Казалось бы, нет причин сомневаться, ведь свидетельствует современник и очевидец. Однако известно, что в свое время эти «воспоминания» А. А. Белякова были отклонены журналом «Пролетарская революция» по причине путаницы и недостоверности.

Такое особенно настораживало.

Я решил проверить «мемуары» А. А. Белякова, используя указанных им же свидетелей и участников интересующего нас события. Одним из них назван самарский статистик Иван Маркович Красноперов. В его «Записках разночинца», опубликованных тридцать с лишним лет назад под редакцией известного советского историка Б. П. Козьмина, нет ни слова о дискуссии. В предисловии к «Запискам разночинца» говорилось о том, что существует и вторая, неопубликованная часть воспоминаний Ивана Марковича. Ее удалось найти в одном из московских архивов. Там много сведений о жизни в Самаре 80-х — 90-х годов прошлого века, но о нужном — ни слова. Затем в Ленинграде, в Пушкинском доме, отыскивались воспоминания И. М. Красноперова, посланные в начале нашего столетия в редакцию «Русского богатства» и посвященные целиком приезду Н. К. Михайловского в Самару летом 1892 года и его встрече с молодежью на даче под Самарой, но о дискуссии с Владимиром Ильичем — ни слова.

Может быть, ответ дадут воспоминания или переписка племянника Н. К. Михайловского — А. Г. Мягкова, который, по свидетельству А. А. Белякова, присутствовал на дискуссии и много лет был секретарем своего знаменитого дядюшки? Переписка нашлась, но в ней — ничего подходящего. От чешских журналистов я узнал, что А. Г. Мягков жил до конца пятидесятых годов в Праге. Попросил узнать — не написал ли воспоминаний племянник Н. К. Михайловского? Ответ пришел утвердительный. Да, написал и... отдал какому-то советскому журналисту, который и увез их на родину.

Советский журналист. Ни имени, ни фамилии. Попробуй отыщи. Все казалось безнадежным...

Неожиданно помогла Валентина Григорьевна Зимина, заместитель заведующего отделом рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Делая обзор новых поступлений, она, между прочим, сказала, что бывший главный редактор журнала «Культура и жизнь» П. И. Пронин передал отделу рукописей полученные им в 1957 году в пражском клубе советских граждан от А. Г. Мягкова воспоминания «На голод». Но и в них ни слова о том, что нас больше всего интересовало.

Нет никаких следов дискуссии в дневниках и переписке самого Н. К. Михайловского, нет о ней ничего и в опубликованных за рубежом мемуарах В. В. Водовозова, специально

Эти ураганы?

Мы же все еще находимся в не-
 определенности: слышны самые предположения
 все (Эдвард Коваль, Сидоренко проку-
 бадера), "идеи" не являются
 но Кавказские пограничные зоны
 как бы это...

В. П.

Кавказские ураганы, это сугубо
 не что иное как ураганы, — а не что
 мелкое кожаное.

О ураганах ^{Кавказ} ураганах ^{Кавказ} ураганах ^{Кавказ}
 и ураганах ^{Кавказ} ураганах ^{Кавказ} ураганах ^{Кавказ}
 Кавказские ураганы ураганы ^{Кавказ}

посвященных самарскому периоду жизни В. И. Ленина.

Может быть, удастся отыскать какие-нибудь следы дискуссии в обширном фонде В. В. Водовозова, хранящемся в Центральном Государственном архиве Октябрьской революции СССР?

Среди писем самарцев Водовозову в описи фонда значилось:

«Письмо неизвестного о голоде в Самаре в 1892 году». Неизвестного? О голоде? Мимо такого не пройдешь. Подобное письмо может дать еще несколько новых штрихов для воссоздания более полной картины событий, участником и современником которых был двадцатидухлетний Владимир Ульянов.

Итак, решение принято, письмо выписано из хранилища и лежит на моем рабочем столе.

Стоило его раскрыть, как сразу стало ясно — оно написано ленинской рукой. Вот они, характерные ильичевские приемы письма: двойные скобки, сокращения, обширные сноски — примечания и на обороте первой же страницы знакомые инициалы — В. У.

Письмо датировано 24 ноября 1892 года и послано из Самары в Петербург В. В. Водовозову. Это самое раннее из известных до сих пор писем Владимира Ильича. Оно свидетельствует о том живейшем интересе, который проявлял В. И. Ленин ко многим важнейшим событиям общественной жизни той поры, как тонко он умел подмечать и анализировать их. В тот момент, когда вводилось новое земство, на которое царское правительство возложило особые надежды, Владимир Ильич, анализируя новое земское положение 2 июня 1890 гсда, пророчески предсказал в своем письме, что «...Новое земство, по всей видимости, будет жалкой комедией с действительным хозяйничаньем земских начальников и с неуклюжей внешностью самоуправления». Эту мысль Владимир Ильич развил во многих последующих своих работах, в частности, в статье «Гонители земства и аннибалы либерализма».

В новом ленинском письме есть еще не расшифрованная автобиографическая строка: «Пожелания на счет того, что следовало бы иначе устроиться — остались только пожеланиями».

В письме приведены факты, почерпнутые из самой гущи жизни, характеризующие земских начальников, «выборы» гласных, борьбу «крестьянской партии» и партии «панков». Владимир Ильич увековечил в этом письме живую картину «демократических» выборов в земство и доброе имя земского деятеля, крестьянина

села Кандабулак Самарского уезда Ивана Павловича Беспалова:

«...Одним из гласных от крестьян был местный крестьянин Беспалов...»

...Крестьяне, не раз уже выбиравшие своим представителем Беспалова, желали выбрать его и на этот раз: он принадлежал к т[ак] наз[ываемой] «крестьянской партии» (противником которой является в Самарском уезде партия панков, местных мелких дворян). Но земский нач[альник], Иван Афанасьевич Чернышов был иного мнения о желательности такого гласного. Присутствуя на сходе, собранном для выбора кандидата в гласные нового земства, он держал крестьянам «сурьезную» речь на ту тему, что Беспалова выбирать не следует. Он же выступал противником общественных запасек, а, следовательно, из-за него вы и голодали прошлый год.

Присутствовавший на сходе Беспалов попробовал смиренно возразить свирепому начальнику, что как раз против общественных запасек он никогда не говорил, но это замечание совсем возмутило Чернышова. Он стал кричать, что не потерпит слушников, что на них у него есть управа (арест по ст[атье] б1? пол[ожения] о земских) н[ачальниках]!), и чтобы подкрепить угрозу арестом, тут же приказал десятским приготовить подводы (на случай ареста и увоза «крикунов»).

Беспалов выбран не был...»²

Архивный поиск не подтвердил достоверности свидетельства А. А. Белянова о встрече и дискуссии между В. И. Лениным и Н. К. Михайловским в 1892 году. Попутно удалось отыскать ленинское письмо от 24 ноября 1892 года — пока самое раннее из известных исследователям. Будем надеяться, что продолжение поисков, в котором принимают участие многие советские историки, приведет к открытию новых ценнейших страниц и строк, написанных Владимиром Ильичем Лениным.

¹ Статья 16-я «Положения о земских участках начальниках» предоставляла земскому начальнику право в случае неисполнения его законных распоряжений и требований людьми, подведомственными крестьянскому обществу управлению, подвергать их без всякого формального производства, ограничиваясь лишь составлением протокола, аресту на время не свыше трех дней и денежному штрафу не свыше шести рублей. После слов «по статье 61» В. И. Ленин поставил вопросительный знак, по-видимому, он ссылаясь на эту статью по памяти.

² Письмо опубликовано полностью в журнале «Вопросы истории КПСС», 1966 г., № 3.



а следовательно, и могущественной политической силой»¹.

Организация «Искры» складывалась постепенно. Началось с малого.

К моменту выхода первого номера «Искры» в России было всего три группы содействия и несколько не связанных друг с другом сторонников газеты в различных городах. Но уже к осени 1901 года число групп содействия увеличилось до 10; определились основные направления маршрутов перевозки «Искры» через границу, успешно работали две искровские типографии внутри России (в Кишиневе и в Баку); возникла система складов искровских изданий. Необходимость создания центра внутри страны, который стал бы координировать работу разрастающейся сети агентов «Искры», стала осознаваться рядом работников. Поэтому уже

в июле, а потом в октябре 1901 года В. И. Ленин и секретарь редакции Н. К. Крупская высылают в Россию свои предложения по устройству организации «Искры», которая функционировала бы как общероссийская организация.

Примерно к этому же времени отчетливо выявились тенденции, названные Крупской «местным патриотизмом». Некоторые агенты стали предпринимать на свой страх и риск меры по организации районных газет искровского направления и даже автономных районных искровских организаций. Особенно далеко зашли в своих намерениях искровцы



¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 4, стр. 357.

юга России. Осенью на встрече нескольких агентов (И. Б. Басовского, Л. Н. Радченко и В. Н. Крохмалья) был разработан проект «Южной организации «Искры», согласно которому всякое вмешательство редакции «Искры» в практические дела этой организации прекращается и функции ее сводятся к подготовке очередного номера к набору, который должен был печататься в кишиневской типографии. Что же касается сбора материалов, денежных средств, установления связей с социал-демократическими комитетами юга, то все это «Южная организация» предполагала сосредоточить у себя¹. Южане, таким образом, продемонстрировали полное непонимание организационных задач, за осуществление которых боролась «Искра».

Для осуществления своего проекта они готовили съезд агентов «Искры», на который приглашалась и редакция газеты. В этих условиях редакция «Искры» предпринимает практические меры, направленные к созданию общерусской организации. В сентябре 1901 года за границу приехал Г. М. Кржижановский. С ним В. И. Ленин подробно обсудил план создания искровской организации в России². Глеб Максимилианович согласился возглавить всю практическую работу по оформлению такой организации. О результатах этих переговоров южане были сразу же проинформированы редакцией. «Мы предложили...», — писала Н. К. Крупская В. Н. Крохмально в октябре — ноябре 1901 года, — несколькими наиболее свободным товарищам составить нечто вроде комитета, вступить между собою в самую тесную связь и совместно обсуждать вопросы распределения³. Иными словами, южным искровцам предлагалось принять самое непосредственное участие в создании руководящего органа общерусской организации «Искры». Чтобы убедить их в необходимости осуществления намеченных мероприятий, редакция «Искры» послала в Россию своего специального представителя. Выбор пал на Инну Гермогеновну Леман (Смидович) (до апреля 1901 года, то есть до приезда за границу Н. К. Крупской, она была секретарем редакции «Искры»). На съезде южных искровцев ей поручалось изложить и отстаивать ленинский план создания общероссийской организации «Искры» во главе с распорядительным комитетом, который бы, как писал Ленин, «непрерывно думал о всей России, отнюдь не об одном районе, ибо все будущее «Искры» зависит от того, сумеет ли она побороть местное кустарничество и

районную обособленность и стать на деле общерусской газетой...»⁴.

В ноябре 1901 года Г. М. Кржижановский и И. Г. Леман выехали в Россию.

О характере и результатах деятельности И. Г. Леман (Смидович) можно судить по жандармским донесениям, с одной стороны, и по ее письмам в редакцию — с другой.

Из документов первой группы мы публикуем сводную справку о поездке И. Г. Леман по стране, составленную в департаменте полиции на основании донесений филеров летучего отряда.

Что же касается писем И. Г. Леман (Смидович), то из девяти сохранившихся в архиве редакции «Искры» публикуются лишь три. Остальные шесть читатель найдет в сборнике «Переписка В. И. Ленина и руководимых им зарубежных партийных органов с социал-демократическими организациями Украины (1901—1905 гг.)» (Киев, 1964 г.).

Из этих документов видно, что И. Г. Леман вскоре после своего приезда присутствовала на предварительном совещании южных искровцев в Киеве (участвовали: И. Б. Басовский, Л. Е. Гальперин, Л. И. Гольдман, В. Н. Крохмаль) и пришла к выводу, что ленинский проект будет принят. Общее совещание русских практиков было назначено на первые числа декабря 1901 года, но затем отложено, так как ряд его предполагаемых участников не давал о себе никаких известий. Воспользовавшись этим обстоятельством, И. Г. Леман предприняла объезд искровских групп Одессы, Кишинева, Харькова, Москвы, Петербурга, Пскова и Воронежа. О своих впечатлениях она рассказала в письмах В. И. Ленину и Н. К. Крупской. 10 января 1902 года она вернулась в Киев, а на следующий день состоялось новое совещание южных искровцев. До приезда И. Г. Леман его участники предварительно обсудили внесенные проекты и отдали предпочтение плану «Южной организации» «Искры». «С болью приходится признать», — писала Леман в редакцию, — что мой голос в этой компании остался голосом вопиющим

¹ См. «Второй съезд РСДРП. Протоколы». М., 1959, стр. 574.

² Там же, стр. 576.

³ Ленинский сборник VIII, стр. 203—204.

⁴ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 46, стр. 167.

СПРАВКА

Департамента Полиции об Инне Гермогеновне
ЛЕМАН, урожденной Смидович,
от 13 сентября 1902 года

в пустыне... С их стороны я вижу полное непонимание организационных задач, как они проводятся в «Искре»...»¹. Но все же, очевидно, И. Г. Леман удалось воспрепятствовать принятию южанами каких-либо определенных решений до приезда из Москвы Н. Э. Баумана. Новое совещание было назначено на первые числа февраля. Леман вновь выехала в Москву, где 23 января информировала Баумана о позиции южан и просила его участвовать в заключительном совещании.

Однако оно не состоялось. 2 февраля был арестован И. Б. Басовский. Приехавший 8 февраля в Киев Бауман был вынужден в тот же день уехать — слишком явна была слежка за ним. На другой день были арестованы Л. Е. Гальперин и В. Н. Крохмаль. Уцелевшая И. Г. Леман на этот раз успела скрыться за границу. Началась подготовка громкого процесса против искровцев, который, как полагали жандармы, должен был положить конец деятельности «преступного сообщества».

Но они рано радовались. К концу января 1902 года в Самаре собрались приглашенные Г. М. Кржижановским сторонники «Искры». В решении важнейших организационных и тактических вопросов участники совещания полностью солидаризировались с Лениным. Было создано Бюро русской организации «Искры», которому подчинялись агенты «Искры», избежавшие ареста, и все действующие группы содействия. Совещание, руководствуясь указаниями В. И. Ленина, выработало тактическую линию искровцев по всем важнейшим вопросам социал-демократической деятельности, утвердило структуру организации и порядок сношений между ее частями и Бюро русской организации.

«Ваш почин нас страшно обрадовал, — писал В. И. Ленин в Самару, получив известие о результатах съезда. — Ура! Именно так! шире забирайте! И орудуите самостоятельнее, инициативнее — вы первые начали так широко, значит и продолжение будет успешно!»².

В истории русской организации «Искры» начался новый этап: завоевание местных комитетов РСДРП на сторону «Искры», воссоздание Организационного комитета по созыву II съезда партии и непосредственная подготовка самого съезда.

¹ Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 24, оп. 8, ед. хр. 28189, л. 1.

² «Второй съезд РСДРП. Протоколы». М., 1959, стр. 578.

12-го декабря 1901 года в Департаменте Полиции была получена агентурным путем копия отправленного 1 того же декабря из Мюнхена в Одессу, Моразлиевская ул., 22, кв. 15, к Ревекке Абрамовой Шепшелевич¹, прикосновенной к революционной организации «Искра», письма следующего содержания: «В начале декабря уезжаю, думаю пробыть месяца полтора-два у родных на родине, а потом опять назад», с приложением с подписью «твоя Лиза». «Дорогая тетя, видишь, сколько времени не могла отправить тебе и это письмо. Отчасти виновата ты сама, потому что не давала адреса. Теперь у меня чешутся руки уничтожить и это письмо, но пусть остается, хоть как доказательство, что было желание писать. На днях я выезжаю, непременно хочу повидаться с тобой. Д. О—лой».

Копия этого письма и приложения к нему ввиду их конспиративности были сообщены начальнику Киевского губернского жандармского управления и начальнику Одесского жандармского управления, причем первому из них предложено было принять меры к выяснению личности корреспондентки, предполагавшей прибыть в Киев.

Учрежденное вследствие сего наблюдение установило, что утром 10 января сего года за получением корреспонденции на имя Д. О—лой в киевскую почтовую контору явилась неизвестная молодая особа, которая и получила два находившихся в конторе письма до востребования. Этой неизвестной филером она была дана кличка «Модная», под каковой она и известна наблюдению. Получив письма, «Модная» посетила содержащихся под стражей по производящимся при Киевском губерньском жандармском управлении дознаниям о действовавших в последнее время



в Киеве революционных группах «Искры», «Рабочего Знамени» и «Социалистов-революционеров» — Августу Кузнецову² и Виктора Крохмалю³. На следующий день она имела в Краковской молочной свидание с проживавшими нелегально и занимавшимися транспортированием революционной литературы Иосифом Басовским⁴ и Шлемой Урицким⁵, кои также содержатся в настоящее время под стражей; 12 января «Модная» от Крохмалю с Басовским отправилась к последнему на квартиру, взяла у него корзину, сдала ее на вокзале в багаж (22 фунта), взяла из хранения саквояж с постельным свертком и выбыла из Киева; на станции Ворожба она

взяла из багажа корзину свою и продолжала путь дальше.

13-го января наблюдаемая прибыла в Харьков, сдала все свои вещи на хранение и посетила живущую в доме 25 по Клочковской улице дочь Действительного Статского Советника Веру Владимировну Николаеву и осталась ночевать в доме 12—62, на углу Бассейной и Чернышевской улиц, у горного инженера Михаила Александрова Смидовича. 14 января «Модная» справлялась в почтовой конторе о письмах до востребования на литеры И. Л. О. (таковых не оказалось), взяла свои вещи в уборную вокзала, сдала корзину опять на хранение и уехала из Харькова.

15 января она прибыла в Севастополь и в тот же день на пароходе «Пушкин» отправилась в Ялту, куда прибыла вечером того же числа, оставила дорожные вещи в Агентстве Русского Общества Пароходства и Торговли, справилась в почтовой конторе о письмах до востребования и поехала на дачу Иванова на углу Набережной улицы и Почтового переулка, где и осталась. 17 числа «Модная» посетила почту, библиотеку Иванова и некоторые магазины. 18 утром она выехала в Севастополь и оттуда того же числа далее.

20 января утром она прибыла в Харьков, сдала вещи на хранение, побывала опять в доме № 25, посетила Смидовича и затем с Николаевой отправилась в д. 19 по Воскресенской улице, к студенту Харьковского университета Николаю Николаеву Андionу, куда вскоре явился врач Александр Кондратьев Ган⁶. Получивши здесь сверток, наблюдаемая, побывав еще у Николаевой и Смидовича, пошла в дом 52 — Ханиченко, по Нетеченской улице, где проживала Александра Андреева Ленкевич, выбывшая 9 февраля в г. Орел. 21 числа «Модная» взяла вещи, бывшие на хранении, и выехала в Москву. 22 января «Модная» прибыла в Москву, посетила квартиру известной по своей политической неблагонадежности Александры Николаевой Лосевой, квартиры № 106—111 дома Гирша, по М. Бронной ул. 23 января «Модная» посетила дом Медведевой⁷ по Краснохолмской набережной и затем выехала по Николаевской железной дороге в С.-Петербург.

В С.-Петербурге, 24 января, «Модная» посетила проживающего в д. № 28, кв. 58, по М. Итальянской улице — счетовода конотопского мещанина Ивана Иванова Радченко⁸, 27 лет. В этот же день она зашла в д. № 14—12 по Ждановской улице, подъезд, где помещаются общие бани. Пробыв в означенном доме 10 минут, «Модная» пошла в Петровскую улицу, городок Сан-Галли, д. № 2, откуда выхода ее до 10½ час. вечера замечено не было. В означенном доме «Модная» посе-



тила проживающую в кв. 30 арестованную по делу «Искры» Любовь Николаеву Радченко⁹.

25 января из д. № 2 по Петровской ул. «Модная» наблюдением взята не была, а вышла из д. № 28 по М. Итальянской ул. в 8 час. вечера и поехала в конке на Екатерининский канал, д. 37, где, очевидно, посетила кв. 6, в коей проживают нижеследующие лица: коллежский асессор, домовладелец означенного дома, Алексей Андреев Роде, 56 лет, с женою Феодосией Константиновой, 57 лет, и дочерью Александрой, 34 лет, домашней учительницей. С ними же вместе проживает жена сына их, который учится где-то за границей в университете, Мария Павлова Роде,

24 лет, слушательница Высших женских курсов.

26 января «Модная» в 9 ч. 45 м. утра вышла из д. № 37 по Екатерининскому каналу и отправилась в адресный стол, где справлялась о некоем Василии Иванове Яковлеве. По выходе из адресного стола наблюдаемая, посетив несколько мануфактурных магазинов, отправилась на Николаевский вокзал, где оставила покупки и пошла в д. 28 по М. Итальянской улице; пробыв здесь 1 ч. 30 мин., она зашла в булочную Филиппова, где, взяв булок, пошла в д. № 1 по Троицкой ул. в контору общества спальных вагонов, взяла билет, отправилась затем на Николаевский вокзал и с поездом, отходящим в 3 ч. 30 м. пополудни, выехала в Москву.

27 января «Модная» выехала из Москвы по Брестской жел. дороге в г. Смоленск.

По прибытии 28 января в названный город «Модная» посетила дома Волкова на Благовещенской улице; Панова на углу 3-й линии Солдатской слободки и Выгодного переулка, и Мясоедова, по 3-й линии той же слободки, а затем в Чериковском переулке была утеряна. На следующий день наблюдаемая вечером явилась на вокзал, взяла из хранения вещи и выехала по Риге-Орловской железной дороге.

30 января, в 6 часов вечера, «Модная» прибыла в г. Киев, наведалась к Крохмалю, взяла вещи свои с вокзала и поселилась в Невской гостинице, на Фундуклеевской улице, назвавшись австрийской подданной Марией Козловской. 31 числа наблюдаемая посетила Крохмалю, побывала у Кузнецовой, жившей с учительницей Ольгой Карловой фон Шафгаузен и у дочери чиновника Софьи Николаевы Афанасьевой¹⁰, свиделась с Басовским, наведалась с ним в дом 5 по Крещатику, откуда с дантисткой Марией Лейбовой Финкель и мещанином Лейвиком Хаимовым Гальпериним¹¹ поехала в д. 11 по Алексеевской улице, где жили студенты Киевского университета Яков Симхов Рабинович и Михаил Иосифов Вайсблит. 1-го февраля «Мод-

ная» посетила Крохмалю и Афанасьеву и делала покупки, а 2 числа она смотрела на демонстрацию, проезжая по Крещатику в трамвае назад и вперед. На следующий день наблюдаемая дважды посетила Крохмалю. 4 числа она поселилась в странноприемном доме № 4 — Михайловского монастыря. 5 февраля наблюдаемая взяла у Афанасьевой чемодан из белой парусины (пустой), побывала у Крохмалю, поехала на вокзал, получила находившиеся на хранении вещи (желтый сакмодан, такую же горбатую с ручкой корзину), взяла билет до Ровно и с поездом № 1, отходящим в 7 ч. 30 мин. вечера, выехала из Киева.

Утром следующего дня на станции Здолбунново наблюдаемой в поезде не оказалось.

С этого времени «Модная» на некоторое время уже совершенно исчезла от наблюдений.

Вслед за исчезновением «Модной» в Киеве в ночь на 9 февраля сего года были произведены обыски, причем у вышеупомянутых Августы Кузнецовой и Виктора Крохмалю были обнаружены заграничные адреса некоей Байновой¹². У Крохмалю следующий: «Димки — Zellendorf, в/Berlin, Auguststrasse, 9, Frau Bainoff».

Принятыми, в виду сего, мерами было установлено, что адрес этот относится к Димке Байновой, урожденной Кировой, проживающей вместе с мужем своим Павлом Байновым и двухлетним сыном в Целлендорфе. При этом выяснилось, что Димка Байнова недавно, видимо около первых чисел февраля, возвратилась за границу, отсутствовала около двух с половиною месяцев, отправившись куда-то за пределы Германии в последних числах ноября прошлого года.

Совпадения временного отсутствия Димки Байновой из пределов Германии с временем пребывания в России «Модной», считая на основании данных, имеющих в вышеприведенном письме ее из Мюнхена, от 1 декабря, более или менее точным прибытием ее в пределы Империи в первых числах декаб-

ря, было основанием предположить, что Байнова и «Модная» могут быть одним и тем же лицом.

В этом укрепляло также и имевшееся в зашифрованном химическом письме арестованной по делу «Искры» Любови Радченко из С.-Петербурга к Виктору Крохмалю указание на пребывание «Димки» в столице в то время, когда здесь находилась «Модная».

Из этого письма также видно, что Димка приезжала в то время в С.-Петербург из Киева и что она в Киеве виделась с Крохмалем.

В виду всего этого от заведывающего берлинской агентурой были затребованы приметы Димки Байновой, которые оказались следующими: она лет 26—28, среднего роста и телосложения, шатенка, глаза темные, лицо чистое, бледное, нос небольшой, носит пенсне в белой оправе, недурна; одета прилично — в черную длинную ротонду или в короткое черное пальто, черную шляпу, покрытую серым дымчатым тюлем.

Приведенные соображения и приметы Байновой были вслед за сим сообщены заведывающему филерами летучего отряда в Киеве коллежскому секретарю Меньшикову, который 29 марта сего года за № 40, по предъявлении примет Байновой филерам, сообщил, что Димка Байнова есть, несомненно, та личность, которая наблюдалась филерами под кличкой «Модная», и что это подтверждается как полным сходством наружности Байновой с наружностью «Модной», так и совершенной аналогичностью их передвижений.

В то же время наблюдение по Берлину за супругами Байновыми выяснило, что они возвращаются среди проживающих в Германии русских революционеров социал-демократического направления и, по-видимому, принадлежат к центру революционной организации «Искра» и «Заря», к коему вместе с ними, между прочим, принадлежат: Александра Калмыкова¹³, Анна Елизарова¹⁴, урожденная Ульянова, Михаил Вечеслов¹⁵, Петр Смилович¹⁶, Владимир

Шанин, Наталья Бах¹⁷, Михаил Шергов¹⁸ и Евгений Флеров.

17-го апреля супруги Байновы неожиданно выехали из Берлина в Вену.

В виду этого, а также и того обстоятельства, что супруги Байновы называют себя болгарскими подданными Байновыми, по-видимому, нелегально, являясь в действительности неизвестными русскими, 18 апреля на пограничные пункты Граница, Радзивиллов, Волочиск, Новоселицы было телеграфировано об усилении наблюдения за возможным прибытием Байновых в Россию, установленного циркулярами Департамента Полиции от 13 декабря 1901 г. за № 4564 и 19 марта 1902 г. за № 1907.

Прибытия Байновых через пограничные пункты в Россию, однако, усмотрено не было, но 2 минувшего августа «Модная» (Байнова) была замечена филерами на Николаевском вокзале в С.-Петербурге. Спустя несколько минут она вышла с вокзала на Невский, где посетила несколько магазинов, и в 10 ч. 20 мин. вечера снова возвратилась на вокзал, взяла билет прямого сообщения до г. Кременчуга и с поездом, отходящим в 12 час. 30 мин. ночи, выехала из С.-Петербурга.

В 3 часа 20 минут ночи «Модная» пересела в поезд Новоторжской ветви и уехала на станцию Торжок. Здесь она, оставив ручной багаж на вокзале, поехала на извозчике в земскую больницу по Аракчеевской улице, где пробыла до поздней ночи, а в 1 час 20 мин. утра отправилась в Москву, куда прибыла в 8 час. 30 мин. утра 3-го августа.

Прибыв 4 августа вечером в гор. Харьков, «Модная» была проведена с вокзала в д. № 29 по Клочковской ул., а оттуда вскоре в д. № 25 по той же улице. В названных домах проживали ранее: в д. № 29 Иосиф Аркадьев Коган¹⁹, а в доме № 25 — Вера Николаева, которые весной текущего года были арестованы по делу «Искры».

5 августа «Модная» осталась на ночлег в д. № 27 — Лисовецких, по Ярославской ули-

це, куда ее сопровождала Николаева. 6 августа в 7 часов утра она была проведена из дома Лисовецких в квартиру Николаевых; а оттуда через 2 часа на Мироновскую площадь, где долго звонила в парадный подъезд дома № 16, но, не дождавшись результата, ушла во двор того же дома, где пробыла недолго, и вернулась в квартиру Николаевых. В седьмом часу вечера «Модная» была проведена из названной квартиры на вокзал, где получила от носильщика вещи, которые перенесла в дамскую комнату, и затем возвратилась в ту же квартиру. В одиннадцатом часу вечера наблюдаемая явилась на вокзал, получила из багажного отделения чемодан, который сдала на хранение, а с остальными вещами в 12 часов ночи выбыла из Харькова.

7 августа, в седьмом часу утра, «Модная» приехала в г. Полтаву, сдала вещи на хранение и отправилась в д. № 4 Федунова, по Крестовоздвиженской ул. (в парадном в тупичке), где в 12 час. дня была оставлена. В 2 часа дня она явилась на вокзал, взяла чемодан, в котором перекладывала вещи, затем вернулась в город. На Петровской площади наблюдаемая встретила сына потомственного почетного гражданина Владимира Иосифова Цедербаума²⁰, который, очевидно, ее ожидал, и затем вместе с ним отправилась за город, во двор дома Ганонх, по Шведской улице, в мест. Павленках, где они и были оставлены.

8 августа в пятом часу утра «Модная» явилась на вокзал, получила вещи и в шестом часу утра выбыла из Полтавы. В названном городе она оставила ящик, вынесенный ею из музыкального магазина в Москве.

В 10 час. 10 мин. утра наблюдаемая приехала в г. Кременчуг, сдала вещи на хранение и отправилась в дом № 9 по Екатерининской улице, в квартиру известной Надежды Семеновы Гуревич, а оттуда через 45 мин. в дом № 96 — Маляревского, по Константиновско-Зеленой улице, во двор, где живет поднадзорная Фейга Янкелева Бовше-

верова²¹. Пробыв там 2 часа 30 мин., «Модная» вернулась на вокзал, взяла из своих вещей небольшой сверток и возвратилась в тот же дом Маляревского, в квартиру Бовшеверовой. В первом часу ночи она вышла отсюда без свертка и на вокзале была арестована.

Арестованная оказалась женой дворянина Инной Гермогеновны Леман, урожденной Сидович.

Леман привлекалась к двум дознаниям о противоправительственной пропаганде и агитации среди С.-Петербургских рабочих и, по Высочайшему повелению, последовавшему в разрешение обоих дел в 12 день августа 1898 года, по вменению в наказание предварительного содержания под стражею, была выслана в Вятскую губернию под гласный надзор полиции сроком на четыре года.

В виду сего водворена была в г. Орлове, откуда в конце 1899 года скрылась.

Согласно циркуляру Департамента Полиции от 22 января 1900 года за № 137 названная Леман подлежала в случае обнаружения обыску, аресту и препровождению в распоряжение Вятского губернатора.

Муж Инны Леман, дворянин Михаил Николаев Леман²², привлекался к дознанию по делу «С.-Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и в разрешении того дела, на основании Высочайшего повеления 11 марта 1898 года, был выслан под гласный надзор полиции в Вятскую губернию на три года. По отбытии гласного надзора полиции Леман был подчинен негласному надзору; в конце 1901 года из-под последнего надзора он скрылся, в виду чего Департаментом Полиции 1 января 1902 года за № 111 отдан циркуляр о розыске Лемана.

Примечание: упомянутый выше Цедербаум в апреле 1901 года был подчинен гласному надзору полиции сроком на один год за участие в демонстрации 19 февраля того же года у Казанского собора в С.-Петербурге. В настоящее время состоит под негласным надзором. Владимир Цедербаум возвращается в революционной среде. Родные братья его: Юлий

Цедербаум — эмигрант, один из редакторов социал-демократической газеты «Искра»; Сергей Цедербаум — привлекался в 1900 году к дознанию по делу «Рабочего Знамени», а в настоящее время содержится под стражей по делу «Искры»; сестра Лидия Канцель — также привлекалась к дознанию по сказанному делу «Рабочего Знамени», прикованна к революционной организации «Искра», в настоящее время содержится под стражей по делу «Московского Комитета Российской социал-демократической рабочей партии».

Начальник Киевского губернского жандармского управления
Генерал-майор

(подпись)

ЦГИА УССР, ф. 274, оп. 1, д. 634, лл. 108—115.

Примечания

¹ Шепшелевич Ревекка Абрамовна — одесский адресат для переписки редакции «Искры» с К. И. Захаровой.

² Кузнецова Августа Александровна — социал-демократка, в 1901—1902 годах работала в киевской организации, вела переписку с редакцией «Искры».

³ Крохмаль Винтор Николаевич (1873—1933) — социал-демократ, с 1901 года агент «Искры» в Киеве. В феврале 1902 года был арестован и после побега в августе того же года из киевской тюрьмы работал за границей. После II съезда РСДРП — меньшевик; после Октябрьской революции работал в Ленинграде.

⁴ Басовский Иосиф Борисович — социал-демократ, в августе 1901 года организовал доставку «Искры» в Россию через Галицию. В феврале 1902 года был арестован и после побега в августе того же года из киевской тюрьмы продолжал работать по транспорту «Искры». После II съезда РСДРП — меньшевик; после Октябрьской революции отошел от меньшевиков, находился на хозяйственной работе.

⁵ Урицкий Ш. Ш. — социал-демократ, работал в одесской организации, поддерживал связь с киевскими искровцами. В феврале 1902 года был арестован в Киеве и в мае 1903 года сослан в Енисейскую губернию.

⁶ Ган Александр Кондратьевич — врач, входил в харьковскую социал-демократическую организацию. В феврале 1902 года был арестован и отдан под особый надзор полиции.

⁷ Медведева Капитолина Павловна — жена агента «Искры» в Москве Н. Э. Баумана.

⁸ Радченко Иван Иванович (1874—1942) — профессиональный революционер, член Коммунистической партии с 1898 года. Принимал участие в постановке нелегальной типографии «Искры» в Кишиневе, в 1902 году — разведной агент «Искры» и руководитель транспортной «Искры» в Россию, член Организационного комитета по созыву II съезда РСДРП. В ноябре 1902 года был арестован и сослан в Восточную Сибирь.

⁹ Радченко Любовь Николаевна (1871—1960) — социал-демократка, агент «Искры» в Полтаве и Харькове. После II съезда РСДРП — меньшевичка.

¹⁰ Афанасьева Софья Николаевна (1876—1933) — социал-демократка, работала в киевской организации. В феврале 1902 года была арестована и сослана в Иркутскую губернию.

¹¹ Гальперин Лев Ефимович (1872—1951) — социал-демократ, в 1901 году агент «Искры» в Баку, один из организаторов транспортной «Искры» через Тавриз (Персия) и Батум. В конце 1901 года приехал для участия в совещании искровцев в Киев, где в феврале 1902 года был арестован. После побега в августе того же года из киевской тюрьмы работал за границей; после II съезда РСДРП — большевик, позднее — примиренец. После Октябрьской революции — на хозяйственной работе.

¹² Байнова — фамилия, под которой жила за границей И. Г. Леман (Смидович).

¹³ Калмыкова Александра Михайловна (1849—1926) — прогрессивная общественная деятельница, оказывала материальную помощь редакции «Искры». С 1902 года жила за границей. После Октябрьской революции работала в системе Наркомпроса.

¹⁴ Елизарова (Ульянова) Анна Ильинична (1864—1935) — профессиональная революционерка, старшая сестра В. И. Ленина, в социал-демократическом движении с 1893 года. Принимала активное участие в деятельности организации «Искры».

¹⁵ Вечеслов Михаил Георгиевич (1869—1934) — социал-демократ, организатор и руководитель Берлинской группы содействия «Искры». После II съезда РСДРП — меньшевик; в июне 1918 года вступил в РКП(б), работал врачом.

¹⁶ Смидович Петр Гермогенович (1874—1935) — социал-демократ, организатор транспортной «Искры» на французских пароходах из Марселя в Батум. В 1903 году работал в России по устройству нелегальных искровских типографий. После II съезда РСДРП — большевик.

¹⁷ Бах Наталья Николаевна (1880—1910) — социал-демократка, с 1900 года входила в Берлинскую группу содействия «Искры».

В августе 1901 года приехала для работы в Петербург, откуда возвратилась в Берлин в октябре того же года. После II съезда РСДРП — большевичка.

¹⁸ Шергов М. И. — социал-демократ, член Берлинской группы содействия «Искры». После II съезда РСДРП — меньшевик; после Октябрьской революции работал в СССР.

¹⁹ Коган (Ерманский) Иосиф Аркадьевич (1866—1941) — социал-демократ. В 1899—1902 годах работал на юге России. Участвовал в Белостокской конференции РСДРП, после окончания которой в апреле 1902 года был арестован. После II съезда РСДРП — меньшевик, в 1921 году вышел из партии меньшевиков, был на научной работе в Москве.

²⁰ Цедербаум Владимир Осипович — социал-демократ, работал в Петербурге, Кременчуге, Полтаве и Харькове. В декабре 1902 года арестован в Харькове. После II съезда РСДРП — меньшевик.

²¹ Бовшверова Фейга Яковлевна — социал-демократка, в 1902 году — член Кременчугского комитета, затем работала в Николаевской организации. После II съезда РСДРП — меньшевичка.

²² Леман Михаил Николаевич (1872—1933) — социал-демократ, работал в Петербурге, в апреле 1901 года уехал за границу, входил в Берлинскую группу содействия «Искры». В январе 1903 года выехал в Россию для постановки печатания нелегальных изданий с изобретенных им целлюлоидных клише. После II съезда — большевик. В годы реакции от политической деятельности отошел.

Документ № 2

И. Г. ЛЕМАН из Киева — редакции «Искры»
10—11 декабря [27—28 ноября] 1901 г.

Только что вернулась домой, а уже без $\frac{1}{4}$ 12. Приехала сегодня утром часов в 10, весь день на ногах, перед тем подряд три ночи не спала, и вот ни малейшей усталости, даже спать не хочется. Нравится мне здесь замечательно, я чувствую себя восхитительно, точно рыба в воде. Не знаю, может быть, погода немного настроение и изменится, это покажет будущее, теперь же я пишу только об этом первом знаменательном для меня дне. Такая масса впечатлений, что не знаешь, с чего начать, о чем говорить. Есть среди

этих впечатлений и неприятные, даже очень, но они тонут в общем радостном, возбужденном настроении, вызванном первыми удачными шагами и сознанием своей годности, состоятельности, нужности. Последние слова могут показаться странными и даже скоропалительными после первого же дня самостоятельной жизни (не забывайте, что мне всего 18 лет). Но, во-первых, я с самого начала оговорила, что говорю только об одном дне, предоставляя следующие дни будущему, а во-вторых, можете сами судить по фактам, если только дело дойдет до фактов, в праве ли я быть довольной.

Пришлось много говорить, рассказывать, спорить и даже ругаться, и невольно всякие сомнения насчет того, окажусь ли я на высоте своего положения, исчезали бесследно при виде, как, например, такой взрослый и солидный господин, по крайней мере по виду, как «Красавец»*, внимал моим речам, а местами даже пасовал, или, вернее, очень слабо защищался. Он более активен, чем я думала. Но, боже мой, боже мой, какая у них у всех, судя по его рассказам, а в том числе и у него самого шаткость в понимании общих задач, общих целей. Вот это-то и составило неприятную часть впечатлений, о которых я упомянула выше. При таком «непонимании» общих задач вполне естественен и тот беспорядок, который царит среди них, и та неудовлетворенность, на которую жалуется Орша² и которая толкает ее в чисто местные интересы. Представьте только себе, она изволила познакомиться с рабочими и, как предполагает сам Красавец, с самым обыкновенным кружком «серых» рабочих. Этого он не одобряет, но, по-моему, Орша в данном случае последовательнее его и только. — Ну, вот до фактов я здесь, видимо, не дойду, ибо уже становится действительно слишком поздно. — Отвечайте. — Что поде-

* Мне лично он не показался Красавцем¹. — Прим. авт.

пывает Алексей?³ Ему мой сердечный привет. Непременно передайте, и пусть и он напишет.

Буду коротка и буду держаться фактов; это дополнит писанное чернилами.

1) Аким⁴ печатает «Вперед»...⁵. Все оправдания сводились к тому, что комитет такой хороший и вполне на нашей стороне. Говорит, что изменить это невозможно, т. к. половина уже готова.

2) Ежемесячный взнос Киевского комитета можно пропечатать.

3) У них уже решен на следующей неделе 7/6 7/4 3/2 3/1 5/4 12/7 3/4 4/7 8/2 10/8 7/8*⁶. Говорит, что отлично обставлено, а мне на руку, я и не стала возражать. Ваше предложение относительно того же очень понравилось.

4) Красавцу обещали достать 5 4/2 8/2 8/3 7/2 3/6 6/5 6/1 8/2 4/4 3/2 1/4 3/4 7/1 3/6 6/5 3/5 7/2 5/6 — 7/1 10/5** по 12 руб. и сколько угодно; он заказал 3, а сегодня мы решили увеличить заказ до 20, тем более что платить не сейчас, а после получения, обещаны в декабре.

5) Мне обещали денег, это уж из стороннего источника (от моей девицы). Не знаю еще сколько и не думаю, чтобы очень много, но для первого раза и это ладно.

6) Завтра принесут мне либо паспорт, либо точный снимок с очень хорошего паспорта.

7) Насчет «Ъ»⁷, «Подольнина»⁸. Красавец уверяет, что они не из комитета, что он в очень близких и хороших отношениях к комитету, помимо него они не стали бы ничего делать. Во всяком случае, наведет справки.

8) С комитетскими обещал свести, но только с одним, много с двумя, и у себя в комнате, очевидно, ему хочется, чтобы при нем.

9) Деметьев⁹ вполне и целиком безусловно наш. Не может быть никакого сомнения относительно твердости его симпатий. Скоро увижу и его, и Якова¹⁰, и тогда передам ему Галю.

Много интересного слышала про местные



условия. Половина рабочих евреи, не имеющие права жить в Киеве. Живут без прописки, по уговору с квартирной хозяйкой. При слежении они переходят от одной хозяйки к другой и таким образом скрываются. Имея среди них знакомых, можно и самой прожить среди них без прописки. Сложная здесь сеть местных организаций: комитеты — ремесленные, заводские, подкомитеты, рабочие союзы. Пока не пришло другого адреса, пишите

* Второй съезд. — В этом документе расшифровка публикаторов.

** Летние помещанские снимки. — Имеются в виду снимки с помещанских паспортов.

мне на адрес Красавца и только сверху пишете мое имя: такой-то.

Ответьте мне немедленно, чтоб я знала, дошло ли письмо?

ЦПА ИМЛ, ф. 24, оп. 8у, ед. хр. 28192, лл. 1—3 об.: автографы И. Г. Леман, часть письма — копия рукой И. С. Блюменфельда. Опубликовано в кн.: «Переписка В. И. Ленина и руководимых им заграничных партийных органов с социал-демократическими организациями Украины (1901—1905 гг.)». Сборник документов и материалов. Киев, 1964, стр. 107—109. Зашифрованные места впервые полностью восстановлены публикаторами.

Документ № 3

И. Г. ЛЕМАН из Москвы — редакции «Искры»

3 января 1902 г. [21 декабря 1901 г.]

Не знаю, с чего и начать, так как мои письма значительно отстают от получаемых впечатлений. Вы, вероятно, уже знаете о болезни директора¹¹, Якова и (кажется) трех имярекских девиц¹². Точно судьба задалась целью вести меня на этот раз по трупам. Орша уехала хлопотать об муже... Я ее не застала и оказалась в чужом городе совершенно одна. В конце концов все-таки разыскала публику и виделась с кем хотела.

Впрочем, об этом после. Буду продолжать свой рассказ в исторической последовательности, иначе я рискую тем, что более ранние впечатления окончательно вытеснятся из головы позднейшими и канут в вечность. Итак, возвращаюсь к Акимю. Виделась с его товарищем, «молодым энергичным человеком». Он с Акимом в очень близких отношениях и ведет почти всю его переписку. У Акимя от него нет секретов. Я лично не успела его раскусить — он очень сдержан и молчалив. Я ему передала Ваше желание завязать с ним непосредственные сношения. Писать ему можно по тому же адресу, что и Акимю, с теми же условиями. Я им оставила адрес № 3 (по моей нумерации) 5/10 5/11 5/5 3/2 12/7 3/5 4/2 5/9 5/10 4/3 6/1 7/6 7/2 5/6 9/1 12/2 3/7 7/3 13/1



13/2 6/3 3/2 6/1 7/6 6/7 12/7 7/2 6/2 * (это только на этот раз, иначе мне никогда не кончить это письмо). Относительно 2/2 5/1 1/4 5/3 4/2 1/3 2/3 ** дело обстоит так: 1/2 2/5 3/5 2/7 6/3 3/9 1/10: 1/6 9/1 1/10 5/3 9/1 5/5 2/2 2/5 2/7 4/5 (9/1 5/5 2/2 2/5 2/7 4/5 6/18 3/2 6/6 6/9 6/1 5/5 6/4 3/6 1/3 9/8 1/5) 9/1 5/5 2/2 2/5 2/7 4/5 6/5 4/5 6/18 8/1 1/1 7/2 2/7 5/3 40 1/4 2/3 2/2 2/4 3/3 9/3 2/9 6/18 6/1 2/4 2/8 1/1 1/3 6/9 можно 2/1 2/8 9/1 5/3 4/6 1/5 5/5 9/5 6/1 6/18 1/1 1/10 3/3 9/15 1/4 4/3 9/1 5/5 2/2 5/1 1/4 5/3

* пятнадцатый, то есть второй для Одессы.
** Румынии.

4/2 1/3 2/3 * отсюда не дальше чем через неделю будет доставлено на место. На мой взгляд, дело стоит совершенно, как раньше: вся трудность заключается в 2/7 7/2 9/1 7/6 6/6 5/2 2/4 3/3 1/1 2/2 5/1 1/4 5/3 3/2 **. Неужели же невозможно преодолеть этой трудности? «Энергичный юноша» скоро кончает срок надзора и, вероятно, уедет отсюда. Поэтому, если хотите связаться, то пишите скорей. 7/7 7/4 9/3 9/1 *** видела и Колю¹³ и группу¹⁴. Из группы я видела 2-х девочек, как раз аховских. Девочки мне очень понравились, особенно одна из них 7/9 7/2 3/2 1/6ф 1/3 9/15 7/6 1/4 2/5 4/2 **** — живая, энергичная и распорядительная. Группа вполне на стороне «Искры». В начале декабря ею была распространена прокламация к обществу, распространена путем осыпания публики в театре сверху. Публика подымала и читала. В городе много говорили об этом, несколько дней ходили самые преувеличенные рассказы. В тот же день эта же прокламация была разбросана в народных аудиториях. 14 декабря предполагалось теми же способами распространить листок по поводу декабристов. Не знаю, удалось ли. Все это и подробное описание событий, а также и «Стедо» местного Коли, они обещали послать Вам. Я им оставила адрес № 4. (В следующем письме я Вам сообщу, какие адреса находятся у меня под какими номерами.) От них я получила следующие адреса — для писем: 2/2 1/3 5/7 3/9 3/6 4/7 9/3 1/1 9/1 2/4 6/6 1/6 5/1 4/6 6/1 9/8 1/5 2/4 4/2 9/7 4/4 7/1 5/3 2/9 9/10 2/5 6/5 3/5 6/18 6/3 1/2 7/7 8/9 6/3 4/5 6/18 2/8 1/1 6/6 3/2 1/3 3/9 1/4 7/2 5/2 5/7 3/9 9/1 8/1 3/2 5/1 1/4 7/2 5/2 5/7 3/9 9/1 8/1 3/2 5/1 ***** непременно подчеркнуть 2 раза. 2/4 9/6 6/15 6/9: 3/4 6/6 3/6 2/4 7/7 9/1 5/5 9/2 2/9 4/2 5/3 9/15 2/4 6/1 2/1 3/5 6/3 1/3 1/10 8/1 5/2 7/1 4/5 2/7 7/9 7/2 3/2 6/6 ***** химией в письме. Для явки: 2/2 1/3 5/7 3/9 3/6 4/7 9/3 1/1 9/1 2/4 6/6 1/6 5/1 4/6 6/1 9/8 1/5 6/18 5/1 8/9 4/2 2/9 1/1 6/3 1/5 6/9 2, 7 7/1 3/3 1/10 7/6 2/2 8/1 5/2 9/1 2/4 3/5 1/6 ***** . Пароль: «Дайте мне,

пожалуйста, адрес Саши». Явившегося попросят зайти через час или два еще раз и только тогда дадут нужный адрес. Я не сразу догадалась, что передо мной аховские девичьи, и только под конец случайно узнала об этом. Одна из них жила последнюю зиму некоторое время в том же городе, что и он, сиречь рядом с Вами. Их очень смущает, почему Ах отстранился. Но к «Искре» они очень привязаны и тесно связывают с нею и вообще с нашей литературой всю свою деятельность. В буквальном смысле слова запрыгали и захлопали в ладоши, когда узнали, что она выходит уже каждые 2 недели. Вообще народ очень молодой и непосредственный, но не глупый и расторопный. Работа поставлена у них более или менее разумно. Есть разделение труда, и главное внимание обращают на постановку правильного распространения литературы. В кружках у них только отборные рабочие. Постепенно расширяются и связи с обществом, так что рассчитывают на увеличение своих доходов. Пока все это еще только первые шаги. Коля представляет совершенно иную картину. Народ очень путаный и в то же время с большим самомнением. Есть и симпатизирующие «Искре», но большинство рабочедельское. Но рабочедельское не потому, чтобы понимали и стояли на его точке зрения. Нет, они даже не знают, в чем тут дело, какая разница. Страшно злы на группу, что она отделилась. «Мы уверены, что под на-



* на адрес: Яссы, Страда (Страда — значит улица), Страда Газоводы, 40, Мирне Ейзикович, можно посылать из всех мест Румынии.

** доставке в Румынию.

*** В Одессе.

**** Соня Фихтман¹⁵.

***** Ришельевская улица, книжный магазин «Образование» Мовшесону. Мовшесону

***** Ключ: «Жалко стройных кипарисов» Надсона.

***** Ришельевская улица, зубной врач Днестровская.

шими листками «Искра» скорее подпишется, чем под их». — «Так значит Вы с «Искрой» согласны, на ее точке зрения стоите?» — «Да нет, я еще не разобрался в этих вопросах, а большинство стоит за «Рабочее дело», потому что давно имеет с ним дело, нас задевает полемический тон «Искры». Когда я сказала, что их «Credo» послали в редакцию, он очень смутился, говорит, что не может быть, мы не хотели, чтоб оно было послано, оно не назначалось для распространения, оно было написано только одним, наспех, в полчаса, никто не уполномочивал (дело в том, что оно, по-видимому, экономического характера, а теперь они считают себя политиками). Мы-де теперь новое пишем, недели через две будет готово, вот по нем пусть «Искра» судит. Готовится у них еще местная газета, первый номер. «Вот и там мы будем высказываться». «Рабочее слово» — название. Если у них и остальные такие же сознательные, как этот, так мое почтение... Дала и этим немного литературы, но заставила себя попросить, а не сразу. Обещал, как только новое «Credo» будет готово, тотчас же послать Вам, также и «Рабочее слово». Я дала им какой-то из моих адресов, но не помню, какой именно. От них получила адрес для писем: 2/1 5/1 7/5 2/4 1/3 3/2 1/10 2/4 6/6 1/6 5/4 3/6 6/1 9/8 2/5 2/7 8/1 9/10 6/18 3/5 2/9 6/9 3/9 1/2 2/4 7/2 ф 6/6 4/2 3/2 2/3 1/3 9/8 2/4 7/2 5/2 6/1 6/9*. Имя и фамилию непременно подчеркнуть двумя чертами 2/4 3/6 6/15 6/9 1/4 6/6 5/5 3/7 1/2 4/5 2/7 9/1 2/8 3/2 2/5, начиная со слов: 1/2 8/1 6/9 4/7 1/1 2/4 2/8 9/10 3/2 2/5 7/6 3/3 7/4 5/1 5/7 7/1 2/8**. В письмах советую, если через неделю-другую не получите «Credo», запросить. Явка к ним через группу. Мне понравилось отношение группы к Коле. Он на них злитесь и даже принялся жаловаться на них, а те относятся очень сдержанно и ничего дурного об них, только советовали познакомиться с их «Credo». Жаль, что немедленно получить все в руки нельзя, а оставаться дожидаться нет времени.

Повествование о харьковском Коле отложу до следующего письма. Скажу только что «Геноссе»¹⁶ там более безнадежен, чем я ожидала.

О здешних делах сейчас тоже уже нет времени писать, но несколько слов все-таки не могу не написать. Из всех мест, где я была, по-моему, лучше всего, разумнее всего и основательнее всего дело ведется и поставлено у Грача¹⁷. Гораздо более правильное понимание общих организационных задач, чем у Красавца. И действительно, поставлено более или менее солидно, так что можно рассчитывать на будущее. То, о чем мы говорили с Вами, уже находится на мази и, так сказать, близится к концу. Мой подарочек пришелся как раз ко времени. Одним словом, все идет к тому, что «мы» здесь будем господами положения.

Ну, до свидания, надо бежать, сегодня двигаюсь в 2/2 1/3 5/5***. Оттуда беру билет на 1/10 1/4**** и проездом буду в 1/10 3/2 8/1 1/1 1/5 5/2 1/4 7/2 9/1*****. Тогда надеюсь получить Ваше письмо с описанием картин. По письму к Грачу я увидела, что Вы уже знаете о наших бедах... Говорят, что Орша пустилась в 2/2***** во все тяжкие и уж постаралась забрать бразды правления в свои руки. Экспансивный она человек, и мало выдержки. Как бы не случилось еще беды.

Да, еще одно: видела 6/5 4/5 7/1 5/7*****. Он обещает быть в январе или в начале февраля 6/18 6/6 6/5 2/2 1/5 3/2***** и с солидным денежным подкреплением. Говорит, что у него это вопрос решенный, а задержкой

* Пушкинская улица, дом Зайченко, Франни Ицкович.

** Ключ: «Мать» Надсона, начиная со слов «Ночь, в комнате душно».

*** Пит(ер).

**** См(оленск).

***** снова в Мос(кве).

***** П(итере)

***** Ганш(ина)¹⁸.

***** за гран(ицей).



было то, что раньше не мог устроиться с деньгами. В 9/15 6/6 2/2 4/7 2/4* я заполучила 140 руб. Есть еще кой-какие виды, так что моя поездка окупится с избытком. Регулярные сборы за литературу я предоставляю местным нашим лицам.

Еще раз зашла к 6/5 1/5 3/2 5/7**, занесла ему №№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11 «Искры», которых он не видал. Очень он обрадовался и мне, и нумерам, меня даже удивляет его чрезмерная, шумная радость. За нумера дал 5 руб. и очень извинялся, что в настоящую минуту больше не может, хотя я в этот раз и не заикалась о деньгах. Попросил дать ему адрес для денег (я дала эскулапа¹⁹) и еще

раз подтвердил, что он скоро сам явится, если только я ему помогу найти гувернантку для девочки. Станный он.

Нашло на меня вдруг сомнение, верно ли я помню адрес, данный мне Цветовым²⁰. Непременно напишите мне химией в письме. Получено ли мое письмо, писанное в вагоне? Всего лучшего.

Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР (ЦГАОР), ф. ДПОО, 1901 г., д. 825, ч. 2, л. 55—57 об. Перлюстрация.

Документ № 4

И. Г. ЛЕМАН из Петербурга — редакции «Искры»

9 января 1902 г. [27 декабря 1901 г.]

Застрjala я здесь и никак не могу выбрать-ся, со дня на день приходится откладывать свой отъезд. Виделась с Оршей. Ею в общем довольна. Это безусловная сплетка, что она пустилась здесь во все нелегие. Да и мудрено в ее положении, приходится много времени тратить на ухаживание за больными мужем²¹. Болен он несерьезно, никаких осложнений не предвидится, и очень может быть, что скоро врачи разрешат ему выйти на воздух. Теперь еще все же нельзя сказать ничего определенного, когда и что, и останутся ли они в Петербурге. Имярековские девицы у него бывали, да и с Яковом он виделся. А может быть, и не в этом дело, вообще ничего определенного не известно.

С Оршей я в общем столковалась, собственно говоря, почти даже и столковываться не пришлось, ибо она была согласна буквально со всем, что я говорила. Даже отно-

* Харь(ове).

** Ганш(ину).

сительно «Vorwärts'a»⁵ не пришлось спорить. Она с первого же слова заявила, что это произошло только потому, что бездействие Акима начало приводить их всех в отчаяние и что если у Акима оказалась работа и он сделал другое, а не это, то и отлично. Мне даже не понравилась несколько такая быстрая уступчивость. Может быть, она чувствовала себя в этом пункте неправой. Да, это, кажется, так и было. Но мне вообще показалось, что ей бы следовало прибавить немножко твердости, а главное — «систематичности». Здесь нужна для водворения порядка железная рука, неуклонное проведение раз намеченного плана и умение заставить людей подчиняться дисциплине. А у нее есть наклонность даже в разговорах легко отклоняться в сторону и увлекаться побочными, второстепенными предметами. Во всяком случае, она у нас наиболее ценный и энергичный человек, а главное — по многим причинам наиболее авторитетный для всех. Я очень довольна, что у нас с ней не оказалось разногласий.

Убедившись, что известие о «Vorwärts'e» и «измена» Акима ее несколько не взволновали, я с осторожностью доложила ей, что Красавец, мол, по этому поводу рвет и мечет. «Ну и пусть его рвет и мечет, сколько ему угодно», — был ответ. Оказывается, она им очень недовольна, и не только она, но и все другие за то, что от него никогда нельзя добиться правильных ответов на письма. По видимому, он в этом отношении неисправим... уж не знаю, как тут и быть. Подручного бы ему дать, но людей, людей, откуда же взять людей? Да и злость берет. Живя в таком городе, неужели нельзя найти себе подручных?

Познакомилась я здесь очень хорошо с братом мужа Орши (Аркадий)²², с тем самым, который жил некоторое время в Яфе²³. Я его видела уже один раз проездом у Красавца и дала ему рекомендации к имярековским девицам, но он их уже не застал. Он мне и тогда понравился. Теперь я его узнала,

кажется, довольно хорошо. Он практик, очень ловок во всех практических делах, энергичен и страшно предан делу. Правда — в теориях он мало смыслит, но во всех остальных отношениях он в высшей степени ценный человек. Он остается в Питере, и в следующем письме я пришлю Вам его адрес для писем и для явки. Он недоволен Яфой, и во многих отношениях он прав, хотя не во всех. Аким, несмотря на то, что они повздорили, отзывается об нем тоже хорошо, ценит его ловкость.

Виделась я с здешним Колей, своим бывшим знакомцем. Человек он в высшей степени искренний, честный и неспособный ни к каким политиканствам. Полная противоположность Геноссе. Он уже пережил с декабря прошлого года 2 краха и как «старый» пользуется безусловным влиянием. Из его уст мне пришлось услышать подробную историю отношений Коли с «нашими». Хотя рассказ исходил от Коли (именно этот и вел эти сношения) и потому может явиться подозрение в пристрастности, но, повторяю, этот Коля честен и душевно чист иногда до глупости. Пример его честности. Вы, конечно, знаете, каковы его отношения к «товарищу прокурора» и прочей компании. Дальнейший ход событий таков: на его обязанности лежало сношение с 6/18 1/5 6/5 2/2*, и ему было объявлено (Варенькой²⁴, кажется), что следует сноситься и с теми, и с другими на одинаковых основаниях. И вот он первое время посылал туда и туда совершенно одинаковые письма — копии одного с другого. Из одного места он правильно получал ответы, из другого (от Марицы²⁵) ответов не было. (Почему? Этот вопрос интересно выяснить. Судя по тому, что я получила явку, его письма получались. Были ли посылаемы ответы? Я-то ответила, что у нас всегда немедленно отвечают на все колины письма, что тут и речи



* Загр[аницей]. — Здесь и далее расшифровка публикаторов.

быть не может о каком-либо пренебрежении к 2/4 7/2 3/2 1/3 5/5 3/9 7/6 2/5. 4/2 *, что, наверное, вышла путаница с адресами). Потом появились «наши» представители. И надо признаться, поразили всех своим легкомысленным и нетактичным поведением, особенно когда девицы остались en trois **. Это же слышали совершенно из других источников и Орша, и Аркадий (с Колей виделась я одна). К сожалению, нет ни места, ни времени, чтобы рассказывать обо всем подробно, но один факт все-таки необходимо выяснить. В 12-м номере «Рабочей мысли» напечатано соглашение с «отделом организации «Искры». По условию это же соглашение должно было быть напечатано и в газете «Искра». Выходит после этого несколько номеров, и нигде «соглашения» нет. Я нахожу все это в высшей степени нелепым. Но дело не в этом. Раз такое условие при соглашении было, то его обязаны были выполнить, и что вправе удивляться и недоумевать, что за ерунда творится в искровской организации. Необходимо этот вопрос выяснить и так или иначе покончить. Пожалуйста, постарайтесь найти какие-нибудь ходы к редакции «Искры» и узнайте у нее следующее. Знала ли она текст соглашения и знала ли она то, что обе стороны должны были опубликовать этот текст в своей газете? Если она этого не знала, то как объяснить вышедшее недоразумение? Неужели договаривавшиеся господа могли дать такое обязательство (напечатать у себя), не договорившись об этом с редакцией, без ее ведома и согласия? Я сказала, что о происшедшем соглашении я слышала и что центр об нем, конечно, знал, но что подробных объяснений по поводу «публикования» или других частных соглашений я дать не могу, так как была в это время в разъездах и подробно этого дела не знаю.

Непреренно надо разъяснить этот вопрос или через Аркадия (у него будет скоро свидание с Колей), или прямо, написав Коле. По-моему надо сделать и то, и другое.

Адрес к Коле: 5/12 5/6 6/1 5/1 3/2 8/9 3/6 6/5 10/10 7/3 5/7 4/9 7/6 10/5 12/5 7/3 10/10 5/2 6/4 4/2 4/10 1/1 5/4 11/5 10/4 10/5 4/10 3/3 3/2 6/3 4/5 12/7 5/1 10/2 12/7 6/6 10/2 5/1 3/4 5/5 12/2 6/8 7/4 4/10 7/2 7/3 5/3 4/5 2/1 5/7 6/7 11/5 10/5 5/10 1/9 Ф 11/2 5/1 7/5 + 7/8 9/2 5/7 7/5 + Ф 9/4 10/5 8/3 8/4 ***. (После первого Ф надо «и», это не ошибка.) Обязательно написать на конверте Его Высочородию. Письмо должно быть по поводу учебников. Ключ 3/5 4/2 5/9 5/10 3/1 12/2 6/3 7/1 13/2 3/7 5/1 3/6 4/5 4/2 9/2 10/1 9/1 12/4 7/2 7/4 5/4 7/6 3/2 ****.

Галю, по крайней мере в настоящее время, необходимо оставить.

Сегодня обязательно уеду отсюда. Надеюсь иметь скоро от Вас письмо. Непременнo ответьте мне и на это письмо.

Пишите на тот же адрес, на который я жду письмо о картинах Бекля. Если придет не при мне, я распоряжусь, чтоб его переслали вслед за мной. Хотя я думаю, что успею получить и его. За мной еще в долгу о Харькове и Москве. Всего лучшего.

Как меня беспокоит, доходят мои письма или нет.

ЦПА ИМЛ, ф. 24, оп. 8у, ед. хр. 28197, лл. 1—4 об. Автограф.

* «Комитетам».

** Втроем (ф р а н ц.).

*** Гимназия Гуревич, угол Лиговки и Бассейной, Константин Петрович Фин Дер — Флит. — Здесь и далее расшифровка Н. К. Крупской.

**** «Расаяние» Лермонтова.

Примечания к документам №№ 2—4.

¹ Красавец — один из партийных псевдонимов В. Н. Крохмаля (см. примечание 3 к документу № 1).

² Орша — один из партийных псевдонимов Л. Н. Радченко (см. примечание 9 к документу № 1).

³ Алексей — Л. Мартов (Цедербаум Ю. О.) (1873—1923), принимал участие в подготовке издания «Искры», входил в состав ее редакции. После II съезда РСДРП — один из лидеров меньшевизма.

⁴ Аким — псевдоним Леона Исааковича Гольдмана (1877—1939), социал-демократа, одного из организаторов нелегальной типографии «Искры» в Кишиневе. В начале 1901 года виделся с В. И. Лениным в Мюнхене. Участвовал в январе 1902 года в предварительном совещании южных искровцев. В марте 1902 года арестован и сослан в Сибирь. После II съезда РСДРП — меньшевик.

⁵ «Вперед» — нелегальная рабочая газета, издавалась с декабря 1896 года социал-демократической группой «Рабочее дело» в Киеве. С номера третьего стала органом Киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». После образования Киевского комитета, стоявшего на позициях «экономизма», газета выходит как орган комитета. Всего вышло десять номеров. В кишиневской типографии печатался одиннадцатый номер «Вперед».

⁶ Второй съезд — имеется в виду второй съезд южных искровцев. Первый, очевидно, состоялся в августе 1901 года, когда южане обсуждали ленинский план создания русской организации «Искры» (см. Ленинский сборник VIII, стр. 196—197).

⁷ «Ъ» — условная подпись В. В. Вакара (1878—1926), социал-демократа, в 1902—1904 годах — члена Киевского комитета. После II съезда РСДРП — большевик.

⁸ Подольянин — псевдоним социал-демократа, работавшего в Киеве в 1901—1902 годах.

⁹ Дементьев — один из партийных псевдонимов И. Б. Басовского (см. примечание 4 к документу № 1).

¹⁰ Яков — партийный псевдоним Сергея Осиповича Цедербаума (1879—1939) — агента «Искры» в Вильно.

¹¹ Директор — один из партийных псевдонимов С. И. Радченко (1868—1911), члена Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», одного из активных деятелей искровской организации в России. 4 декабря 1901 года был арестован и сослан в Вологодскую губернию.

¹² Имьярековские девицы — имеются в виду члены петербургской искровской группы А. Минская, Е. Мандельштам и Р. Рубинчик, арестованные 4 декабря 1901 года.

¹³ Коля — условное наименование комитета.

¹⁴ Группа — имеется в виду южная революционная группа социал-демократов, образовавшаяся осенью 1901 года в Одессе из пропагандистов, недовольных «экономистским» настроением комитета. Летом 1902 года группа слилась с комитетом.

¹⁵ Фихтман Софья Шмулиевна — социал-демократка, в 1901—1902 годах — член южной революционной группы социал-демократов. В апреле 1902 года была арестована, а затем сослана в Восточную Сибирь.

¹⁶ Геноссе — псевдоним И. А. Когана (Ерманского) (см. примечание 19 к документу № 1).

¹⁷ Грач — один из псевдонимов Н. Э. Баумана (1873—1905) — выдающегося деятеля большевистской партии, агента «Искры» в Москве.

¹⁸ Ганшин Алексей Александрович (1869—1940). В 1895 году входил в петербургский кружок В. И. Ленина, в 1894 году печатал ленинскую работу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

¹⁹ Адрес эскулапа — имеется в виду адрес К. Лемана — доктора медицины, члена мюнхенской организации германской социал-демократии. Его адресом Gabelbergerstrasse 20a редакция «Искры» пользовалась для своей переписки.

²⁰ Цветов — один из псевдонимов Иосифа Соломоновича Блюменфельда (1865—?), социал-демократа, члена искровской организации. В марте 1902 года был арестован с транспортом работы В. И. Ленина «Что делать?», после побега в августе того же года из киевской тюрьмы работал в типографии «Искры». После II съезда РСДРП — меньшевик.

²¹ За больным мужем — арестованным С. И. Радченко.

²² Аркадий — один из партийных псевдонимов И. И. Радченко (см. примечание 8 к документу № 1).

²³ Яфа — условное наименование Кишинева.

²⁴ Варенька — Кожевникова Варвара Федоровна (1870—1906), социал-демократка, член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», в 1900 году примкнула к «Искре». В 1902 году была арестована и выслана в Новгородскую губернию.

²⁵ Марица — условное наименование редакции «Искры».



Моника Партридж
(Ноттингем, Англия)

Герцен и Карл Шурц

Неизвестное письмо Герцена

Узы самой тесной дружбы связывали А. И. Герцена с известным деятелем немецкой революционной эмиграции Карлом Шурцем. До сих пор, однако, не было обнаружено ни одного письма Герцена Шурцу ни в архивах СССР, ни за рубежом. Поэтому особенный интерес представляет наша находка в Библиотеке Конгресса очень значительного во всех отношениях письма Герцена Шурцу, писанного весной 1857 года¹.

Карл Шурц (1829—1906), поступив в Бонн-



¹ Библиотека Конгресса США. Отдел рукописей. Бумаги Карла Шурца I, 1842—1860, т. I; 9A—18A.

Это единственное письмо Герцена в хранящихся в библиотеке бумагах Шурца, однако в письмах жены Готфрида Кинделя Шурцу содержатся упоминания о Герцене.

9 Avril 1857. Mr Mr Tinkler
Putney

Cher Schurz

Je vous ai connu feu de la Phil. "l'un
toujours - avec un nouveau plaisir -"
que je reçois vos bonnes nouvelles, et
vos nouvelles si amicales... Je suis
très content " (toujours style de d. Ph.) de
l'arriver en Wisconsin - de la Prusse II.
et je salue de tout mon cœur Madame
Schurz.

Vous savez que je partage vos opinions comme
pour l'Europe - cette année a fait un
progrès immense pour la publication.
L'affaire de Neuchâtel est une preuve
de l'importance vitale. Il y a de la
dévotion dans l'air, un cachet, une
soif de lumière - qui deviennent colossales.

Il y a deux semaines un jeune français
arrivé ici enthousiaste ^{jeune} ~~bon~~, exalté,
apporta des lettres de recommandation,
s'introduit chez les archevêques de l'ensei-
gnement - attrape quelques noms et on les
donnera à Paris. Vite les derniers ar-

leprose, galleux, et comme il n'y a
pas de bon medecin chez vous la guere
curativa tout le world. L'esclavonnie,
l'esclavonnie - galopante read le pays
adieux et cela non pour la philantropie
- mais pour chaque homme qui deteste
les quete d'oprais.

Notre affaire vous est une necessite admi-
rable, tous les jours de l'impression pour
largement paye, l'etude Polaire" de vous
un jour. Non une proposition de rediger
un numero feuille - avec caricatures
en possible. Toute la jeunesse de Moscou
et Petroz. - tout de nous nous pour
tout les autres leur sympathie. Pour
les paquets j'ai eu de commande pour
50 lie. au moins / une seule qui le libris
un peu d'amitie et prendre sur cela 50%
- "de nous, de nous" - jusqu'à la nouvelle
comme nous restons a Patney.

Je vous envoie quelques. Les jour que
j'ai eu sur World - elle ont été très
bien accueilli.

Adieu et M^{lle} une salue

Adieu, cher Schurz

Henri

ский университет в 1847 году, оказался там под большим влиянием профессора Готфрида Кинкеля, одного из идейных вдохновителей борьбы за демократию в Германии. После разгрома повстанцев в 1849 году Шурц побрался в Швейцарию. Кинкель, однако, был схвачен и заточен в крепость Шпандау. Шурц дважды нелегально приезжает в Германию, и, наконец, в ноябре 1850 года ему удается организовать дерзкий побег Кинкеля. Через несколько дней они вместе отплывают на маленькой шхуне в Англию. В декабре 1850 года Шурц выезжает в Париж, но уже летом французская полиция вынуждает его покинуть Францию. Он вновь возвращается в Англию, женится на сестре немецкого эмигранта и в августе 1852 года переселяется в Америку. Сначала живет в Филадельфии, а в начале 1855 года приобретает небольшую ферму в Уотертауне, в штате Висконсин. Однако прежде чем обосноваться там, Шурц вместе с женой посещает Европу. Поездка продолжается с начала 1855 года до лета 1856 года, но летом 1855 года Шурц возвращался на несколько месяцев в Штаты, оставив жену в Мальверне, в Англии, где она лечилась. С тем же энтузиазмом и подлинной человечностью, которые побудили его участвовать в революционной борьбе 1849 года, Шурц в Америке отдает всю свою энергию борьбе за ликвидацию рабства негров. Он был не только блестящим оратором, умеющим делать тонкие наблюдения и давать трезвые оценки, но и человеком большого личного обаяния, веселым и жизнерадостным. Легко понять, почему Герцен называл его «лучшим из всей немецкой эмиграции»¹.

Герцен и Шурц не встречались до эмиграции Шурца в Америку, хотя Герцен и прибыл в Англию в тот самый месяц, когда Шурц ее покинул. Но в июне 1855 года они уже хорошо знакомы. Лемке цитирует письмо Шурца Герцену от 14-го числа этого месяца, в котором Шурц сообщает, что врач велел его жене немедленно покинуть Лондон, «и таким образом, я полагаю, мне невозможно будет увидеть вас еще раз в Ричмонде. Я думаю уехать в понедельник, а до тех пор все время будет занято упаковкой и прочими маленькими делами... и потому до моего отъезда в Америку мне не придется быть в Лондоне. Вы не примете за исполнение простой формальности, если я скажу, какой большой радостью было для меня сблизиться с вами. Я надеюсь всей душой,

что этот мой короткий приезд сюда не будет последним... Итак, я, может быть, еще застаю вас здесь по возвращении из Америки. Во всяком случае, мы еще встретимся когда-нибудь в жизни и будем рады друг другу»².

Их познакомила Мальвида фон Мейзенбург, которая встречалась с Шурцем в Германии в 1849 году, когда он там под чужим именем готовил побег Готфрида Кинкеля. К весне 1855 года она уже жила в семье Герцена.

Из Америки в Англию Шурц вторично приехал, должно быть, к началу февраля 1856 года, поскольку известно, что он был в Лондоне, когда умерла Анна Альтгауз, жена одного из немецких эмигрантов. Герцен, очень огорченный этой смертью, провел два вечера вместе со своим сыном Сашей в доме Фридриха Альтгауза. Он «принес массу прекраснейших цветов, чтобы осыпать ими по итальянскому обычаю смертное ложе, подобно тому, как незадолго перед тем украшал смертное ложе, на котором покоилось самое дорогое для него существо»³. Там же находились Карл Шурц с женой и Мальвида фон Мейзенбург. Пытаясь как-нибудь утешить эту маленькую группу друзей, Герцен читал им главу «Сон» из «Былого и дум», специально переведенную на французский язык. «Это были воспоминания о Риме и о горячих днях 48 года, когда он со своей женой и несколькими друзьями принимал участие в народном движении, происходившем в художественно-прекрасном Риме, вдохновленном светлой мечтой о свободе. Воспоминания были написаны так прекрасно, так драматично, так мощно устремлялись в идеальные сферы, что вполне совпадали с нашим настроением, умиротворяли нашу скорбь и приводили нас в умиление и в возвышенный восторг»⁴. «В таких поступках, — заключает Мейзенбург, — проявилась глубокая, душевная сторона его характера, о чем едва ли подозревали те, кто знали его лишь как острого,

¹ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах. М., АН СССР, т. XI, стр. 53. Далее все ссылки на это издание даются в тексте.

² Цитируется по Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке, т. VIII, стр. 247.

³ М. Мейзенбург, Воспоминания идеалистки. М.—Л., 1933, стр. 337—338. Мемуаристка имеет в виду смерть жены Герцена Натальи Александровны, последовавшую 2 мая 1852 г.

⁴ Там же, стр. 338.

постоянно полемизирующего деятеля или как блестящего, умного общественного»¹.

На похоронах именно Шурц произнес краткое надгробное слово. Остаток дня небольшая группа друзей провела в доме Герцена, «и если бы уважение и дружба, которые мы питали к Герцену, могли возрасти, то это случилось бы благодаря его отношению к этому несчастью и его поведению в этот день»².

В своих воспоминаниях Шурц пишет об оживленных беседах, которые обычно имели место в доме Герцена, особенно за обедом, когда драматические рассказы из русской жизни перемешивались с остроумными нападениями на правительство и с сатирой против господствующих классов³. Мальвида фон Мейзенбург, которая присутствовала при этом, писала, что «между ним и Герценом завязалась совершенно особая дружба; Шурц, обладавший живым умом и острой наблюдательностью, в увлекательной форме рассказывал нам об американской жизни и, в свою очередь, из высоко интересных сообщений Герцена знакомился с далекой, туманной Россией, которой наряду с Америкой оба они предрекали первенство в ближайшей культурной эпохе. Это была любимая мысль Герцена, к ней он возвращался все чаще и чаще и думал, что Великий океан в ближайшем будущем будет играть такую же роль, как Средиземное море в древнем мире, и явится центром культурных государств будущего»⁴.

Однажды во время визита Шурца в 1856 году, когда Герцен закончил чтение ему своих «Западных арабесок», Шурц заметил, что «человек... который так понимает современную Европу, как вы, должен бросить ее» (XI, 53). Хотя Герцен, подобно Шурцу, был глубоко разочарован положением дел в Европе, он все же не воспользовался советом последнего. Но Шурц был, несомненно, одним из тех людей, которые несли его идеи и печатные материалы через Атлантический океан, в США.

18 июня 1856 года Герцен сообщал Марии Рейхель, что «Шурц... едет в Америку в пятницу» (XXVI, 12). Письмо Герцена Шурцу, публикуемое нами впервые (в переводе с французского), было написано примерно через год после этого.

9-е апреля 1857 г.

Путней

Дорогой Шурц,
говоря словами покойного Луи-Фил[иппа], «я всякий раз радуюсь», получая столь добрые и столь дружественные вести от вас. «Я очень рад» (все тот же стиль Л[уи]-Ф[илиппа]) появлению в Висконсине Пусси Второй и от всего сердца приветствую госпожу Шурц.

Вы знаете, что я разделяю ваши взгляды относительно Европы. В этом году она зашла еще дальше в своем гниении. Невшателское дело служит подтверждением ее полного бессилия. Две недели назад сюда приехал один француз — молодой рабочий, восторженный, весьма пылкий. У него были рекомендательные письма, с помощью которых он проник в среду архиепископов эмиграции. Узнав от них несколько имен, он тут же отправился в Париж, чтобы их выдать. Вот чем объясняются последние аресты. Заметьте, что он к тому же, наверное, еще и основал в Париже какое-нибудь общество — и все это из-за жалких нескольких сот франков. Это не единичный случай. Можно ли после этого рассчитывать, чтобы Франция сдвинулась с места, когда она столь развращена. Германия, будучи цефалоподом, ходит на голове, а Англия пребывает в изумлении от величия, душевной чистоты и гения Пальмерстона. Он же являет собой Иисуса Христа, по обе стороны которого толпа разбойников, к которым принадлежат все остальные. По одну сторону разбой честный, мирный — разбой Кобдена, с другой — волчий разбой — разбой толизма Дерби.

Америка — ребенок крепкий, но большой язвами и чесоткой, а так как у вас нет хоро-

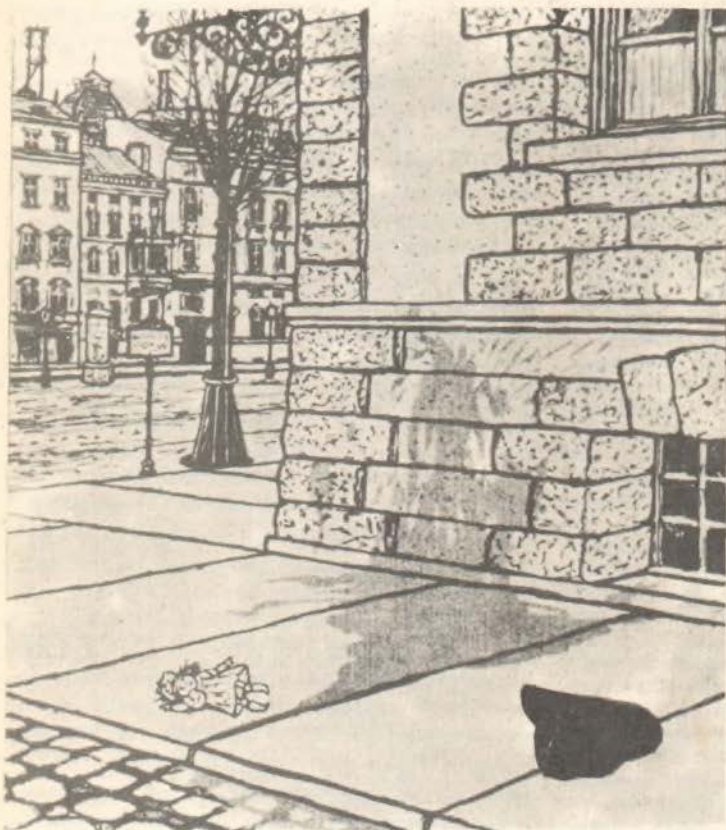


¹ М. Мейзенбург, указ. соч., стр. 337—338.

² Там же, стр. 339.

³ Schurz. Lebenserinnerungen, II, S. 40—45. Цитируется по Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемне, т. VIII, стр. 264.

⁴ М. Мейзенбург, указ. соч., стр. 336—337.



шего врача, парша неминуемо распространится по всему телу. Скоротечная рабomanия и рабофобия вызывает отвращение к этой стране не только у филантропов, но и у любого человека, ненавидящего низменные вкусы.

Наши дела идут отлично, все расходы на типографии окупаются с лихвой. «Полярная звезда» становится силой. Мы намереваемся издавать новый листок — если удастся, с карикатурами. Вся молодежь Москвы и Петербурга всячески старается выказать нам свое сочувствие. На Пасху у меня были заказы на 50 фунтов, по меньшей мере. (Вы знаете, что книжные магазины оказывают мне любез-

ность, удерживая 50%.) — «Se tuove, se tuove»*. — До нового года мы остаемся в Путнее.

Посылаю вам несколько строк, написанных мною об Ворцеле, они были очень хорошо приняты.

Огарев и барышни вам кланяются.
Прощайте, дорогой Шурц.

А. Герцен.

Письмо Шурца, на которое здесь отвечает Герцен, неизвестно. Возможно, что оно будет обнаружено, когда собственный аль-

* «А все-таки она вертится!» (латин.).



бом Герцена с письмами «известных современников» (включая и письма Шурца), который некоторое время находился в семейном архиве Герцена, будет найден¹. «Появление в Висконсине Пусси Второй», которое упоминает Герцен, означает рождение второй дочери Шурца.

В письме Карлу Фогту, жившему тогда в Швейцарии, написанном в тот же день, что и письмо Шурцу, Герцен поясняет, что он ждал «черт знает зачем, окончания невшательского дела... Вы великолепно вели себя в невшательском деле. Я получил неделю назад письмо из Америки [от Шурца], в котором о вас говорят с большой симпатией. Но что вы хотите делать с этими «кастратами»? Верите ли вы, наконец, в агонию старого мира?» (XXVI, 88).

События в Невшателе, о которых упоми-

нает Герцен, начались, когда под влиянием февральской революции 1848 года в Париже республиканская партия в контролируемом Пруссией княжестве Невшатель вооруженной рукой свергла роялистское правительство и провозгласила независимость. Когда почти в это же время было достигнуто объединение Швейцарии и была введена федеральная конституция, за Невшателем были признаны права швейцарского кантона. Однако прусский король отказался признать это свершившимся фактом и побудил роялистов Невшателя не признавать нового статута. В сентябре 1856 года



¹ См. «Литературное наследство», т. 61, стр. 1.

роялисты, воспользовавшись разногласиями невшательских республиканцев по вопросу о железной дороге, произвели контрреволюционный переворот. Им удалось захватить замок Невшатель и восстановить отношения с Берлином. Вопреки просьбам Швейцарской конфедерации о мирном урегулировании спора республиканцы ввели в дело ополчение и захватили руководителей переворота и шестьсот их сторонников. Пруссия обратилась к европейским державам с просьбой о вмешательстве. По целому ряду соображений европейские державы не намерены были допускать, чтобы восстание в Невшателе послужило поводом для европейской войны. Французский император попытался выступить в роли посредника, но это только обострило конфликт. Король Фридрих Вильгельм Прусский объявил мобилизацию на начало 1857 года и стал готовиться к военной кампании против Швейцарии. За событиями с большим волнением следили не только в двух заинтересованных странах, но и во всей Европе. Консерваторы боялись, а радикалы (в их числе и Герцен) надеялись, что нападение на Швейцарию может привести к восстанию и другие угнетенные национальные меньшинства в Европе. Именно в эту пору Пальмерстон с успехом вмешался в невшательский конфликт. Под его нажимом на конференции в Париже 5 марта 1857 года прусский король отказался от своих суверенных прав на Невшатель, а кантон Невшатель согласился покрыть все издержки, связанные с восстанием, и полностью амнистировать инсургентов-роялистов. Как видно из письма Шурцу, эти события сначала вновь пробудили надежды Герцена на перемены в Европе, а затем сделали еще более горьким его разочарование в Старом Свете. Ироническое отношение Герцена к английскому премьер-министру Пальмерстону объяснялось тем, что, хотя Пальмерстон добился предотвращения войны, выступив в роли спасителя Европы, «ее Иисуса Христа», его политика добрых услуг диктовалась отнюдь не соображениями подлинной гуманности и меньше всего желанием спасти от прусских посягательств независимость Невшателя. Англия была заинтересована в том, чтобы воспрепятствовать опасному для нее сближению между Францией и Пруссией.

Новое разочарование в Европе по поводу невшательского дела привело Герцена к пересмотру вопроса о Старом и Новом Све-

те. В своей «La Russie et le vieux monde» (Старый Мир и Россия) он в феврале 1854 года возвращается к мнению, которое он уже высказывал Мишле,—мнению о том, что Соединенные Штаты не в состоянии привести мир к социализму, поскольку они остались англосаксонской колонией, продолжающей старые традиции. «Никто не сомневается, что Америка — продолжение европейского развития и не более как его продолжение, — писал он Линтону. — ...Северная Америка представляет собой последний вывод из республиканских и философских идей Европы XVIII века» (XII, 169, 172). В феврале 1857 года он высказывает подобное же мнение Мадзини: «Соединенные Штаты по существу представляют собой часть Европы, ставшую колонией, перемещенную на другой материк...» (XII, 349). Однако в своем письме Шурцу, написанном менее двух месяцев спустя, он приводит иное основание для своих антипатий к Америке и делает это в столь недвусмысленных и сильных выражениях, что они не оставляют сомнений в их искренности. Для Герцена это «скоротечная рабomania и рабoфобия», которая «вызывает отвращение к этой стране». Это важно и интересно. Этого второго своего соображения относительно отрицательного отношения к Америке он не высказывал больше ни в одной из своих работ. И все же это является одним из наиболее убедительных аргументов, полностью совпадающим с его собственной кампанией, которую он вел в это время против крепостного права в России.

Шурц разделял ненависть Герцена к рабству. Тогда как Герцен решил остаться в Европе, с тем чтобы бороться против царизма, за освобождение крестьян в России, Шурц включился в борьбу за освобождение рабов в Америке. После своего возвращения в Висконсин в 1856 году и участия в политической борьбе этого штата он выступает в поддержку Авраама Линкольна и лично знакомится с будущим президентом Соединенных Штатов. Линкольн настолько высоко ценил Шурца, что в 1861 году назначил его чрезвычайным посланником в Испании. Здесь бывший немецкий изгнанник, а теперь гражданин Америки пытался бороться за общее дело, однако позиции его были ослаблены из-за того, что правительство никак не желало четко выразить своего отрицательного отношения к рабству. Поэтому он возвращается в Америку, чтобы попытаться убедить Линкольна недвусмыс-

ленно объявить себя противником рабства. Когда Линкольн решился на это, Шурц, который к этому времени уже был известен как блестящий оратор, с энтузиазмом выступает с речами и обращениями, чтобы привлечь общественное мнение на сторону освобождения рабов. В следующем году (1862) он отказывается от поста посланника, чтобы занять командную должность в армии северян. Его опыт в революционной борьбе 1849 года оказался очень ценным, и он быстро выдвигается. Вскоре ему присваивают чин генерал-майора. От этого высокого поста он отказывается сразу же после завершения гражданской войны, но в 1865 году ему поручают совершить поездку по южным штатам и составить доклад о положении в них. В своем отчете Шурц выказал чрезвычайную остроту наблюдений, аналитические способности и проницательность, что привело к выводам, значительно опережающим его время как в политическом, так и в социальном отношении, к мнениям, которые его современниками были сочтены слишком пронегрятскими. В числе прочего он предлагал, чтобы всеобщее избирательное право было непременным условием приема штатов конфедерации в состав союза. Покончив с этим докладом, Шурц занялся журналистикой, вначале работая вашингтонским корреспондентом «Нью-Йорк трибюн», а затем сотрудничая во многих других газетах. Однако он вскоре опять включается в политическую борьбу. В 1869 году его избирают в сенат Соединенных Штатов. Он входит в состав кабинета министров. В 1877 году он вновь покидает государственную службу и возвращается к журналистике. В последние годы жизни он находится на своеобразном положении ветерана — государственного деятеля, известного своим патриотизмом гражданина и политического философа.

Герцен с большим интересом и симпатией следит за карьерой Шурца. Его порадовало известие о возможном избрании Шурца вице-президентом Висконсина в 1857 году (XXVI, 127). Об одной из речей Шурца Герцен пишет в январе 1858 года, что она «очень хороша» (XXVI, 154). В но-

ябре 1859 года, когда он написал своему сыну о немецких эмигрантах, что «все они ни к черту не годятся», он специально исключает из их числа Шурца (XXVI, 306). Он обрадовался, когда прочитал, что Шурц и его солдаты проявили героизм в сражении (XXVII, 343, 345), и с удовольствием отметил, что его друг получил чин генерал-майора (XXVIII, 40). Когда Шурц отказался от своего звания, Герцен был возмущен, что ему не назначили пенсии. «Шурц оставляет свой пост без гроша в кармане,— пишет он из Женевы Мальвиде фон Мейсенбург в Англию.— Американцы варвары... Поклонитесь ему от меня тысячу раз» (XXVIII, 68). Но когда Шурц был официально приглашен совершить инспекционную поездку по южным штатам, Герцен порадовался тому, что «К. Шурц занимает прекрасное положение» (XXVIII, 136). Прочитав, что Шурц стал сенатором, Герцен с юмором отметил: «...он в роли республиканского Муравьева. Разъезжает туда-сюда, составляет рапорты...» (XXVIII, 148). 3 февраля 1868 года он посылает Мальвиде газетную вырезку, в которой сообщается, что «Г-н де Бисмарк дал вчера большой обед. На нем присутствовал американский генерал Шурц, а также несколько членов Федерального совета». По этому поводу Герцен замечает: «Тем рога mutantur...»*, и только мы с вами не обедаем» (XXIX, 267). Однако когда Мальвида в письме недоброжелательно отозвалась о Шурце, то вместо того, чтобы отпустить одно из своих уничижительных замечаний по поводу немецких эмигрантов, как он сделал бы в любом ином случае, Герцен ей напомнил: «Шурц должен остаться американцем, надо же иметь образцы безупречных людей — а генералу Соединенных Штатов можно попасть в потсдамскую переднюю не иначе, как приехав на обед в качестве американского посланника» (XXIX, 276). Незадолго до своей смерти Герцен переписывался с Шурцем по поводу журнальных дел.

* «Времена меняются» (латин.).

Перевод с английского М. А. Врухнова. Письмо Герцена с французского перевела Л. Г. Беспалова.



**В. С. Антонов,
А. М. Ладыженский**

Шлиссельбуржцы об Ипполите Мышкине

письма Г. А. Лопатина и М. Р. Попова
к В. Г. Короленко

16 июля 1875 года в Якутском округе поднялся переполох. Направлявшийся из Вилюйска в Якутск поручик корпуса жандармов Мещеринов произвел четыре выстрела из револьвера в сопровождавших его казаков и скрылся в лесу. Для поимки злоумышленника якутский губернатор нарядил специальную команду. Мнимый поручик был схвачен и доставлен в Якутск. Встреченный якутский губернатор создал специальную следственную комиссию для допроса неизвестного, который теперь назвался сыном священника города Вологды Михаилом Петровичем Титовым.

Вступительная статья написана В. С. Антоновым и А. М. Ладыженским. Текст писем и примечания подготовлены А. М. Ладыженским.

Для тревоги губернатора были все основания. В Вилюйске содержался «государственный преступник» Н. Г. Чернышевский, а «поручик Мещеринов» пытался добиться от вилюйского исправника выдачи ему Чернышевского «для перевозки в Благовещенск». Между тем Третье отделение в последние месяцы 1874 — первую половину 1875 года неоднократно предупреждало сибирские власти о том, что «заграничная партия лиц, сочувствующая Чернышевскому, составила подробный план освобождения Чернышевского». Жандармы писали, что революционеры попытаются воспользоваться «для этого бланками разных правительственных учреждений и подписями начальствующих лиц Якутской области»¹.

Н. Г. Чернышевский являлся общепризнанным идейным руководителем русских революционеров. Страшась его, царские власти незаконно продолжили его заключение, переводя после окончания срока каторги из Забайкалья в Вилюйск. Планы освобождения Чернышевского строили многие революционные организации в конце шестидесятых — начале семидесятых годов. В русской революционной среде были известны слова К. Маркса о том, что «политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы»².

Под прямым воздействием высказываний Маркса известный русский революционер Г. А. Лопатин³ с целью организовать освобождение Чернышевского приехал в Иркутск. Однако он быстро обратил на себя внимание полиции и 1 февраля 1871 года был арестован. Позже ему удалось совершить удачный побег и скрыться за границу.

Понятно поэтому, что новая попытка освобождения Чернышевского в 1875 году революционером, сумевшим, несмотря на все препятствия, добраться до Вилюйска, вызвала у царских властей такое волнение.

10 августа 1875 года следственная комиссия установила, наконец, личность человека, пытавшегося освободить Чернышевского. Им оказался «домашний учитель» Ипполит Никитич Мышкин, фамилия которого значилась в секретных розыскных списках Третьего отделения.

И. Н. Мышкин (1. 1848—26.1. 1885) был выходцем из самых низов русского народа. Отец его — унтер-офицер николаевской армии, мать — бывшая крепостная. Еще в раннем детстве Мышкин узнал (как он сам вспоминал впоследствии), что на свете «од-

ни вечно трудятся, вечно страдают, вечно изнывают под тяжестью непосильного бремени, а другие, обладая чудным даром претворять народную кровь в шампанское и народную плоть — в шелки да бархаты, ведут пьяную, развратную, барскую жизнь»⁴.

Окончив Петербургское училище военного ведомства, Мышкин во время прохождения обязательной военной службы не раз сталкивался с начальством и на своем личном опыте убедился, что «чем солдат трудолюбивее, нравственнее, чем более развито в нем чувство человеческого достоинства, тем он имеет более шансов попасть в ряды арестантов»⁵.

Усилению революционных настроений Мышкина в немалой степени способствовала его деятельность в качестве стенографа, которой он занялся после выхода в отставку. Проходившие через его руки обширные земские материалы вновь и вновь показывали ему тяжелое положение русского крестьянства, вымиравшего от периодических голодовок.

Хорошо запомнилось Мышкину стенографирование им заседаний суда, разбиравшего в начале 1873 года дело С. Г. Неча-

¹ Ю. М. Стеклов, Вокруг ссылки Н. Г. Чернышевского. «Каторга и ссылка», 1927, № 5(34), стр. 75.

² «Герман Александрович Лопатин». Автобиография. Показания и письма. Статьи и стихотворения. Библиография. Пг., 1922, стр. 71.

³ Лопатин Герман Александрович (1845—1918) — русский революционер, участник многих народнических кружков и акций 1860—1880 годов, друг К. Маркса и Ф. Энгельса, член Генерального совета I Интернационала, один из первых переводчиков «Капитала» на русский язык. Впервые арестован в 1866 году по каранозовскому делу. В 1870 г. организовал побег П. Л. Лаврова из ссылки, затем пытался освободить Н. Г. Чернышевского, но был арестован. В 1873 г. бежал из заключения за границу, но почти ежегодно под чужим именем посещал Россию. В 1880-х годах работал по восстановлению разгромленной «Народной воли». В 1884 г. был арестован и по процессу 20-ти в 1887 году приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Освобожден из Шлиссельбурга в 1905 г.

⁴ «Революционное народничество 70-х гг. XIX в.», т. I, М., 1965, стр. 182.

⁵ Там же, стр. 186—187.

ева¹. Фактически это был один из первых гласных политических процессов в России, и характерно, что Мышкин пришел на него, чувствуя себя принадлежащим к антиправительственному лагерю. «Иметь в это время в качестве правительственного стенографа, — вспоминал впоследствии Мышкин, — два билета на вход в суд, как я имел, читать подлинное дело, быть единственным стенографом, допущенным на заседание, и в то же время сознавать, что я принадлежу к лагерю, враждебному правительству, — нужно было побывать в моей шкуре, чтобы понять то приятное ощущение, которое я испытывал тогда»².

В 1874 году И. Н. Мышкин совместно с П. И. Войнаральским³ наладил в Москве массовый выпуск нелегальной революционной народнической литературы. Типография Мышкина сыграла важную роль в период знаменитого массового «хождения в народ» революционной интеллигенции в 1874 году. При разгроме нелегальной типографии полицией в июне 1874 года Мышкину удалось избежать ареста и скрыться за границу. Однако там он оставался недолго и вскоре вернулся в Россию с целью попытаться освободить Чернышевского, для чего он использовал фальшивые документы вымышленного поручика корпуса жандармов Мещеринова. Провал смелой попытки, о которой сообщалось выше, ознаменовал новый этап биографии Мышкина — период скитаний по царским тюрьмам.

Мышкин был привлечен в число обвиняемых по громкому процессу 193-х. 15 ноября 1877 года Мышкин произнес на процессе исключительно смелую речь, наполненную политическими обличениями царского строя. Открытая пропаганда всеобщего народного восстания, призыв революционной интеллигенции опираться в своей деятельности на народ, показ борьбы революционной интеллигенции как отклик на движение крестьянских масс — все это составило сильные стороны речи Мышкина.

О значении речи Мышкина прекрасно сказал С. Степняк-Кравчинский, приведя слова одного из очевидцев. «Сотни нигилистов за целый год, — сказал этот человек из враждебного для революционеров лагеря, — не могли сделать нам столько вреда, сколько нанес этот человек за один-единственный день»⁴.

Мышкин был силой удален из зала заседания и перевезен в Петропавловскую крепость. Его приговорили к лишению всех

прав состояния и ссылке в каторжные работы на десять лет. Из Новобелгородского каторжного централа он пытался бежать, но подкуп обнаружили, и Мышкина заковали в кандалы. Протестуя против тюремных порядков, Мышкин в церкви дал пощечину смотрителю тюрьмы. Однако его суду не предали, а избили и вскоре перевели на Кару. При пересылке в Сибирь Мышкин на похоронах своего товарища Л. Дмоховского⁵ произнес новую революционную речь, за которую срок пребывания на каторге ему продлили еще на пятнадцать лет. В 1882 году вместе с рабочим Хрущевым⁶ при содействии М. Г. Попова⁷ он бежал из Кары.

М. Р. Попов следующим образом описывает этот побег: «Мы решили выпустить Мышкина, как деятеля, популярного в революционном мире, энергичного, и человека, который от раз намеченной цели не уклоняется в сторону. Решили мы выпустить Мышкина не через подкуп, который к этому времени не был еще готов, да и приговорялся он для побега всей нашей группы.

¹ Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882) — русский революционер, организатор общества «Народная расправа». Осужденный в начале 1873 г. на каторжные работы, был заключен в Алексеевский рavelин, где и умер.

² Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 112, 1876, д. 827, л. 13 об.

³ Войнаральский Порфирий Иванович (1844—1898) — революционер-народник 1870-х годов, один из главных руководителей «хождения в народ». На процессе 193-х приговорен к десяти годам каторжных работ.

⁴ С. Степняк-Кравчинский об Ипполите Мышкине. «Русская литература», 1963, № 2, стр. 162.

⁵ Дмоховский Лев Адольфович (ок. 1851—1881) — революционер-семидесятник, участник кружка долгушинцев. В 1874 г. приговорен к десяти годам каторжных работ.

⁶ Хрущев Николай Егорович — рабочий, участник народнических кружков.

⁷ Попов Михаил Родионович (1851—1909) — революционер-семидесятник, деятельный член Северорусского и Южнорусского рабочих союзов, друг Г. В. Плеханова, организатор Воронежского съезда землевладельцев, член «Черного передела». Арестован в 1880 г. и приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Наказание отбывал на Каре, в Петропавловской, а затем в Шлиссельбургской крепостях, откуда вышел в 1905 г.

Мышкин и Хрущев бежали из мастерских, которые находились вне тюремного двора, куда они были вынесены: Мышкин — в ящике кровати, а Хрущев — в сундуке. В продолжение 19 дней мы кляли в различных камерах два чуела, накрывавшихся одеялом; их при проверках и засчитывали вместе Мышкина и Хрущева»¹.

Мышкину и Хрущеву удалось добраться до Владивостока, но там они были арестованы. Вместе с М. Р. Поповым И. Н. Мышкин был перевезен в Петербург и заключен сначала в Петропавловскую, а с августа 1884 года — в старшую Шлиссельбургскую крепость. До последнего дня Мышкин продолжал упорную борьбу против произвола властей. 25 декабря 1884 года в знак протеста Мышкин бросил медную тарелку в старшего помощника начальника тюрьмы Соколова, особенно выделявшегося своими издевательствами над заключенными. В условиях жесточайшей реакции восьмидесятых годов власти решили не церемониться.

О поступке Мышкина было доложено царю. Александр III наложил резолюцию: «Что за нахалы, даже и там не могут вести себя прилично»².

Участь Мышкина была предрешена. 15 января он был предан военному суду. Обвиненный в дерзком деянии — «оскорблении офицера при исполнении служебных обязанностей», Мышкин был приговорен к расстрелу. 26 января в 8 часов утра приговор был приведен в исполнение.

До самого конца Мышкин сохранял твердость. «Я чист перед собой и перед людьми, — писал он в предсмертном письме к брату, — я всю жизнь отдал на борьбу за счастье трудового угнетенного народа, из которого мы сами с тобой вышли. Верю, новые поколения выполнят то, за что мы безуспешно боролись и погибли»³.

В. И. Ленин с большой симпатией отзывался о революционерах-народниках семидесятых годов, называя их «корифеями революционной борьбы», и призывал русских социал-демократов учиться у них революционной и конспиративной технике.

Примеры из революционной практики народников семидесятых годов Ленин считал нужным привести в своей книге «Что делать?», сыгравшей выдающуюся роль в борьбе за революционную, марксистскую партию. Возражая утверждениям экономистов о том, что рабочим кружкам вообще недоступны политические задачи, Ленин писал:

«...Кружку корифеев вроде Алексева и Мышкина, Халтурина и Желябова доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом смысле этого слова, доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса»⁴.

Этими словами В. И. Ленин дал высокую оценку Ипполиту Никитичу Мышкину — одному из наиболее ярких представителей «блестящих плеяды» революционеров-семи-десятников, одному из «корифеев революционной борьбы».

Впервые публикуемые полностью письма шлиссельбуржцев Г. А. Лопатина и М. Р. Попова Владимиру Галактионовичу Короленко представляют большой общественный и историко-литературный интерес. Автор «Истории моего современника» хотел в 1907 году написать произведение о Мышкине и стремился получить о нем как можно больше сведений⁵. С этой целью он обратился с вопросами, в частности, к Лопатину и Попову⁶.

В. Г. Короленко работал над очерком об И. Н. Мышкине для второго тома «Галереи шлиссельбургских узников», но наступила реакция, и этот том биографий и характеристик деятелей революционного движения

¹ М. Р. Попов, Записки землевольца. М., 1933, стр. 364.

² А. Поляков, Царь-миротворец. «Голос минувшего», 1918, № 1—3, стр. 227.

³ В. И. Язвицкий, Непобежденный пленник. М., 1933, стр. 323.

⁴ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 6, стр. 106.

⁵ Более подробно об этом см.: Н. Н. Митрофанов, В. Г. Короленко в работе над биографией И. Н. Мышкина. «Научные записки Полтавского гос. литературно-мемориального музея В. Г. Короленко», Полтава, 1961, вып. I.

⁶ Письмо В. Г. Короленко Лопатину было опубликовано в журнале «Огонек», 1956, № 2 (см. также: В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 10. М., 1956, стр. 430—431), а письмо Попову — в ростовском журнале «Дон», 1959, № 1.

не вышел в свет. Тем не менее замечательный художник слова написал о Мышкине в третьем томе «Истории моего современника». Совершенно естественно, что трагический образ борца, сознательно идущего на смерть от руки палача за благо народа и за утверждение своего личного достоинства, привлек к себе внимание писателя.

С литературоведческой точки зрения эти письма весьма ценны, так как по ним можно видеть, с какой тщательностью большой художник-реалист собирает материал, как подробно он изучает действительность. С общественно-исторической точки зрения они очень интересны ввиду выдающегося места в истории русского революционного движения третьей четверти прошлого века и авторов писем и лица, о ком в них идет речь.

В научном отношении эти письма далеко не равнозначны. Письмо М. Р. Попова мало что добавляет к его воспоминаниям о Мышкине, опубликованным им ранее¹. Тем не менее интересно, что в своем ответе Короленко Попов решительно отмечает изобретенную и пущенную жандармами легенду о сумасшествии Мышкина в Шлиссельбурге. «Я не замечал в нем <Мышкине>, — пишет Попов, — ни нервной неустойчивости, ни склонности к галлюцинациям. Он отзывался, не в пример прочим, горячо на всякий общественный призыв и не останавливался ни перед чем в столкновении с начальством».

Ошибается М. Р. Попов в ответе на вопрос о религиозности Мышкина². В действительности Мышкин, как и большинство семидесятников, был атеистом. Правда, перед казнью он согласился исповедаться и надел крест, но о мотивах этого поступка он нашел нужным особо сообщить брату, подчеркнув, что его прежние (атеистические) убеждения не изменились. «Дорогой брат, пусть тебя не смущает то, что я пишу матери, — писал И. Мышкин. — Да, я исповедовался и причащался, но своих взглядов на вещи я не изменил. Почему же я это сделал? По следующим причинам: 1) Ты знаешь, как я люблю мать, а она взяла с меня слово, чтоб перед смертью я причастился. Разве я мог отказать ей? 2) Не сделать этого, а написать ей, что сделал, я тоже не мог. Нельзя лгать перед смертью, лгать притом матери. 3) Для меня все это только пустая комедия, а мать легче помирится с ужасной для нее утратой,

если будет знать, что я умер как христианин.

Верю, что ты поймешь меня, поймут и другие, когда узнают все»³.

В Сибири за несколько часов до заковки в кандалы власти направили к Мышкину «служителя божия» с увещанием «одуматься и чистосердечно покаяться». Гнусность разграниченной жандармами сцены, предпринятой ими в надежде пробудить религиозные чувства у заключенного, вызвали у Мышкина бурю возмущения. «Крест и евангелие, — протестуя, писал он, — кандалы и наручники — вот средства, к которым одинаково прибегает власть с целью застрашать заключенного. Священник и палач помогают друг другу: если первому не удастся запутать душу человека в расставленные им сети, запугать его адом, то второй действует на тело арестанта, в надежде, что физические страдания победят упорство его. И власти смеют еще упрекать нас, что мы не стесняемся в выборе средств!»⁴.

Ошибается Попов и в том, что Мышкин никогда не бывал в Новгороде. Уже детские годы Мышкина — уроженца Новгородской губернии — связаны с этим городом. Часть своей военной службы (в 1869 г.) Мышкин проходил в Новгородской сборной команде. Оттуда, не выдержав армейских порядков, он бежал, но был скоро арестован. «Это событие имело важное значение в моей жизни, — вспоминал Мышкин, — здесь я узнал истинные причины, доводящие людей до каторги; здесь я убедился, что в каторгу сплошь и рядом отправляются люди, стоящие в нравственном отношении гораздо выше тех, кто их осуждает...»⁵. Мать

¹ Воспоминания М. Р. Попова о И. Н. Мышкине впервые опубликованы в журнале «Былое», 1906, № 2. Они полностью вошли в книгу М. Р. Попова «Записки землевольца» (М., 1933), а также напечатаны отдельно «Борьба за право умереть» (конец Минакова и Мышкина). М., 1931.

² Приведенные ниже соображения принадлежат В. С. Антонову и говорят только о том, что И. Н. Мышкин был горячим противником государственной православной церкви, но отнюдь не доказывают атеизма знаменитого революционера. М. Р. Попов, его близкий друг, не мог ошибиться в этом вопросе. — Примеч. А. М. Ладыженского.

³ В. И. Язвицкий, Непобежденный пленник, стр. 323. (Разрядка наша. — Авт.)

⁴ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 827, л. 16 об.

⁵ «Революционное народничество 70-х гг.», т. 1, стр. 186.

И. Н. Мышкина носила фамилию Соколовой, по своему второму мужу военному фельдшеру Е. К. Соколову, умершему в 1868 году. Вероятно, поэтому Попов не смог обнаружить никаких сведений о пребывании родственников Мышкина в Новгороде.

Совершенно иной характер носит ответ Г. А. Лопатина. Однако здесь следует оговорить одно обстоятельство: несмотря на то, что сам Лопатин осторожно предупреждает, что сведения, сообщаемые им, «совсем непроверенные» и носят характер «предположения», до последнего времени они без всякого оговора широко используются в литературе. В одной из последних, например, книг о Лопатине М. В. Научитель, используя письмо Лопатина Короленко, считает «при той разобщенности, которая царилась в те годы между различными эмигрантскими группами», «вполне уместным» предположение, что Лопатина отстранили из «кружковой ревности»¹.

Между тем сообщение Лопатина о связи Мышкина с Лизогубом² и Фесенко³ (ранее ведущих переговоры с Лопатиным об организации освобождения Чернышевского) пока не подтверждено. Сам Мышкин возникновение у него замысла освободить вождя русского революционного лагеря связывал с разбродом в среде русской революционной эмиграции. «В данное время Чернышевский, — говорил Мышкин известному впоследствии народовольцу М. П. Овчинникову⁴, — очень много может сделать, и только он, но никто больше, потому что его знает вся Россия, а нас она не знает»⁵.

Во время своего пребывания за границей Мышкин встречался с П. Н. Ткачевым⁶. Из воспоминаний Морозова⁷ известно, что Мышкин проживал в одной гостинице с Ткачевым, пользовался доверием последнего и даже давал молодому Морозову рекомендательное письмо к Ткачеву. Какие же общие цели сближали Мышкина с Ткачевым? Нам ничего не известно о печатании произведений Ткачева в типографии Мышкина. По нашему мнению, общее стремление предпринять попытку освобождения Чернышевского и было той общей основой, соединившей Мышкина с Ткачевым. Рассказывая Овчинникову о «некоторых эмигрантах» в Швейцарии, «которые настаивают на освобождении Н. Г. Чернышевского», Мышкин подчеркивал, что «особенно ратует за это П. Ткачев»⁸.

Вряд ли мог быть Мышкин связан и с Лизогубом (обладавшим, как известно, значи-

тельным состоянием, обращенным на пользу революции). В дальнейшем, при поездке в Сибирь, Мышкин испытывал постоянную нужду в деньгах, и чтобы добраться до Виллюйска, ему пришлось прибегать к такому отчаянному средству, как экспроприация.

Очень интересны сообщаемые Лопатиным сведения о поездке в Иркутск в 1875 году Грибоедова⁹ и Клеменца¹⁰ в связи с разработкой им нового плана освобождения Чернышевского. Как сообщает сам Лопатин, «слухи об этой экспедиции разошлись (и постепенно докатились до начальства)». Это свидетельство Лопатина очень важно.

В свете этого становятся понятными при-

¹ М. В. Научитель, Герман Лопатин в Сибири. Иркутск, 1963, стр. 84.

² Лизогуб Дмитрий Андреевич (1845 или 1850—1879) — революционер-народник 1870-х годов, один из учредителей «Земли и воли». Повешен по приговору Одесского военно-окружного суда.

³ Фесенко Иван Федорович (1846—1882) — революционер-народник 1870-х годов.

⁴ Овчинников Михаил Павлович — революционер-народник, член «Народной воли».

⁵ И. М. Романов, Н. Г. Чернышевский в Виллюйском заточении, Якутск, 1957, стр. 140.

⁶ Ткачев Петр Никитич (1844—1886) — русский революционер-народник, глава бланкистского заговорщического течения в русском народничестве. Издавал за границей журнал «Набат» — орган русских якобинцев.

⁷ Морозов Николай Александрович (1854—1946) — русский революционер-народник, член Исполкома «Народной воли», провел двадцать пять лет в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Впоследствии выдающийся ученый в области естествознания, почетный член Академии наук СССР. Ему принадлежат широко известные мемуары «Повести моей жизни».

⁸ И. М. Романов, Н. Г. Чернышевский в Виллюйском заточении, стр. 140.

⁹ Грибоедов Николай Алесеевич (1842—1901) — революционер-народник, участник кружка «чайковцев».

¹⁰ Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914) — революционер-народник, член кружка «чайковцев» и «Земли и воли», редактор органов общества. Выслан в административном порядке в Восточную Сибирь. Впоследствии крупный ученый-этнограф.

чины многочисленных строгостей, обрушившихся на Чернышевского как раз в описываемое время. Прямым подтверждением справедливости утверждения Лопатина является то, что Мышкин сразу же после своего ареста (пока еще его личность не была установлена) был принят жандармами именно за подвижника Лопатина подпоручика Грибоедова. «Покушавшийся увести Чернышевского мнимый поручик Мещеринов, — сообщало Третье отделение, — должен быть отставным подпоручиком Ник. Грибоедовым, и при нем должна быть в Сибири некая Зинаида Апсентова и другие помощники»¹.

Таким образом, упрек Лопатина Мышкину в том, что последний «испортил дело плохой его подготовкой», оказывается неосновательным. Третье отделение приняло в это время особо строгие меры по охране Чернышевского в связи с недостаточной конспиративностью помощников самого Лопатина, неосторожно доверившихся агентам царского правительства.

Не соответствует истине и утверждение Лопатина о том, что он не знает «точной даты приключения Мышкина». Как установил Ю. Раппопорт, 29 ноября 1875 года Лопатин писал П. Л. Лаврову следующее: «Говоря строго между нами, я думаю, что сибирская история проделана Мышкиным. Я знаю, что он уехал в Иркутск по этому делу»². Следовательно, в ноябре 1875 года Лопатин точно знал о предпрятии Мышкина, и через тридцать с лишним лет память ему изменила.

Письма М. Р. Попова и Г. А. Лопатина добавляют новые штрихи к уже сложившемуся представлению о И. Н. Мышкине, помогают понять, почему оказалась обреченной на полную неудачу рискованная попытка освободить Н. Г. Чернышевского из его вилюйской ссылки.

М. Р. Попов — В. Г. Короленко

7 октября 1907 г.

Многоуважаемый Владимир Галактионович,

Немного я Вам могу сообщать о Мышкине помимо того, что я написал в «Былом», отчасти потому, что перезабыл, а также еще и потому, что я сошелся с ним уже в тюрьме. Но, может быть, Вы лучше меня воспользуетесь теми сведениями, которые я добыл не-

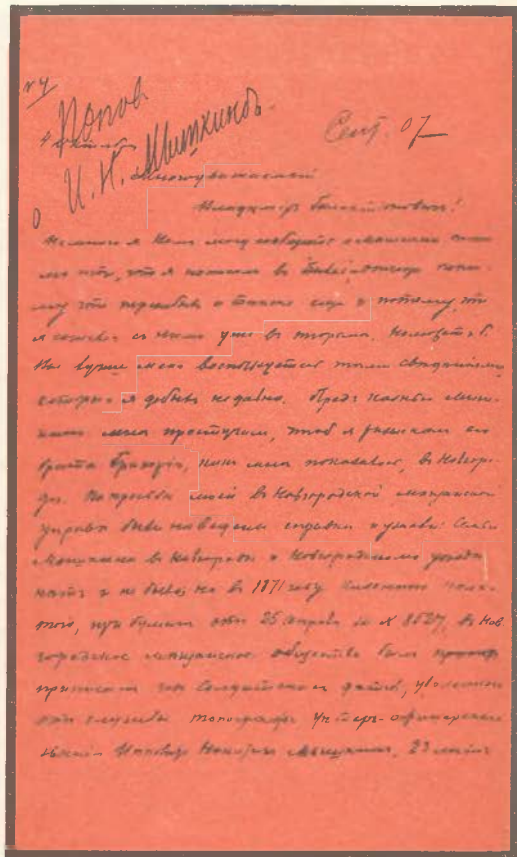
давно. Пред казнь Мышкин мне постучал, чтобы я разыскал его брата Григория, как мне показалось, в Новгороде. По просьбе моей в Новгородской мещанской управе были наведены справки и узнали: семьи Мышкиных в Новгороде и Новгородском уезде нет и не было, но в 1871 году Казенною Палатой при бумаге от 25 апреля за № 8527 в Новгородское мещанское общество был приписан из солдатских детей уволенный от службы топограф унтер-офицерского звания Ипполит Никитич Мышкин, 23 лет. Однако в Новгороде он никогда не жил и не бывал. Получив полную справку из Новгорода, я стал припоминать, и в моей памяти сохранилось, связанным, правда, с улицей, Череповец. Так как по справкам не оказалось в Новгороде ни Череповецкой улицы, ни семьи Мышкина там не оказалось, то я думаю теперь, что Мышкин просил разыскать его брата Григория в Череповце, и я в этот раз плохо разобрался в обычных сокращениях слов при стуке. Нужно, во всяком случае, навести справки в Череповце, и было бы хорошо командировать туда толкового человека. Из справки в Новгородском мещанском управлении видно, что Мышкин родился в 48 году, ибо в 71 году ему было 23 года. Вероятно, Мышкина отец солдат из мещан и, во всяком случае, православный. В каком училище для кантонистов и где Мышкин учился, не знаю. В бытность нашу с Мышкиным на Каре, я не замечал в нем ни нервной неустойчивости, ни склонности к галлюцинациям. Он отзывался, не в пример прочим, горячо на всякий общественный призыв и не останавливался ни перед чем в столкновении с начальством. В Шлиссельбурге до конца дней Мышкина я был его

¹ Н. М. Чернышевская, *Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского*. М., 1953, стр. 439.

² Ю. М. Раппопорт, *Из истории связей русских революционеров с основоположниками научного социализма (Н. Маркс и Г. Лопатин)*. М., 1960, стр. 61. (Разрядка наша. — Авт.)

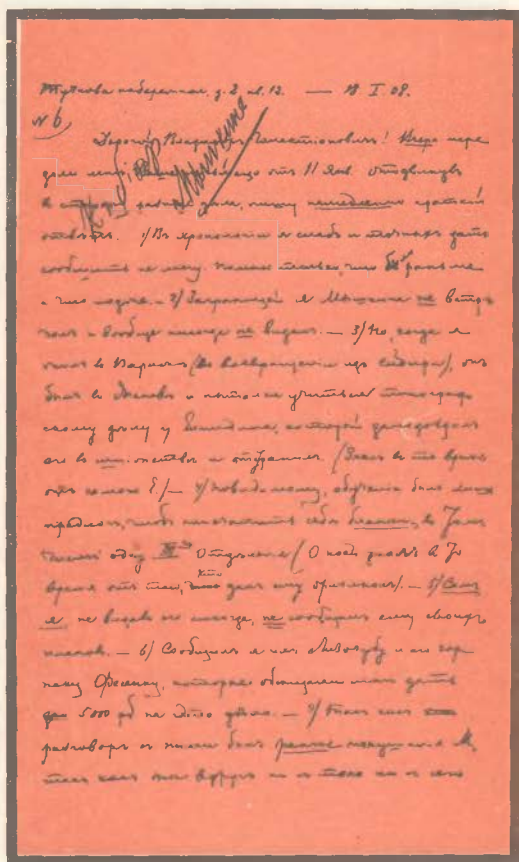
единственным собеседником и замечал только, что Мышкин жил с повышенным напряжением нервов, но я не придаю ни малейшего значения рассказам унтеров, что Мышкин маленько, как они говорили, свихнул, о чем они судят по тому, что Мышкин, увидев старушку какую-то около канцелярии вдали еще, крикнул: «Здравствуй, мама!» — и побежал. Я знаю, что Мышкин горячо любил свою мать и, вероятно, перед смертью просил дать ему свидание с матерью. Идя в канцелярию на суд и увидев какую-то старушку, может быть фигурой напоминающую его мать, обманулся, что может быть и с вполне нормальным человеком. Могу сказать только одно, что до 19 января, когда его увели из общей тюрьмы, я вел с ним постоянные разговоры, правда, стуком, и не замечал ни малейших признаков ненормальности. Говорили мы и о прошлом и будущем нас, революционеров, попавших в Шлиссельбург, и он рассуждал вполне здраво. Он на будущее наше смотрел более мрачно, чем кто-либо из нас, но и он предполагал, что мы просидим лет 10—16 в Шлиссельбурге, а в действительности мы просидели больше. Что касается того, был ли Мышкин религиозен, могу сказать, что по натуре, мне кажется, Мышкин не мог быть атеистом. Он, напр., охотно принимал бы священника, если б к нему приходил священник без жандармов. Так он говорил и мне и так же сказал и священнику. Он имел на шее крест, что известно из того, что одна из пуль, поразивших его, попала в крест и вонзила крест в грудь его, по словам жандармов-унтеров. Возможно, что он имел крест на шее, как подарок матери, но мне кажется, Мышкин, во всяком случае, не был врагом евангельской религиозности, что вполне совместимо с отрицанием официальной церкви.

Относительно бегства Мышкина с Кары я довольно подробно об этом сказал в моей статье о Мышкине в «Былом». Об освобождении Мышкиным Чернышевского довольно хорошо знает Г. А. Лопатин, по крайней мере он мне говорил об этом. Я не знаю, быть



может, всего, что есть о Мышкине в литературе, ибо в Ростове-на-Дону довольно трудно доставать такого сорта литературу. Может быть, Вы знаете всю имеющуюся о нем литературу, я буду доволен, если Вы сообщите мне список печатных источников о Мышкине. Не мешает Вам обратиться еще к Джабадари¹, живущему сейчас в Тифлисе, к Вита-

¹ Джабадари Иван Спиридонович (1852 или 1855 — 1913) — революционер-народник, член Всероссийской социально-революционной организации по процессу 50-ти, осужден на каторжные работы, которые отбыл вместе с И. Н. Мышкиным в Новобелгородской тюрьме (централье), Мценской пересыльной тюрьме и на Каре.



шевскому¹ и к другим, живущим еще централистам. Но было бы очень хорошо разыскать его брата Григория Никитича.

С истинным уважением к Вам

М. Попов.

Г. А. Лопатин — В. Г. Короленко

Январь 1908 г.

Тучкова набережная, д. 2, кв. 12

Дорогой Владимир Галактионович,

Вчера передали мне Ваше письмо от 11 янв<аря>. Отодвинув в сторону разные дела, пишу немедленно краткий ответ.

1) В хронологии я слаб и точных дат сооб-

щить не могу. Помню только, что было раньше и что позже. — 2) За границей я Мышкина не встречал и вообще никогда не видел. — 3) Но когда я был в Париже (по возвращении из Сибири), он был в Женеве и пытался учиться типографскому делу у Еллидина², который заподозрил его в шпионстве и отстранил (знал в то время от самого Е.). — 4) По-видимому, обучение было лишь предлог, чтоб напечатать себе бланки, в том числе один III-го отделения (о коем знал в то время от того, кто дал ему оригинал). — 5) Сам я не видал его никогда, не сообщал ему своих планов. — 6) Сообщил я их Лизогубу и его корпаку Фесенку, которые обещали мне дать 5000 р. на это дело. — 7) Так как разговор с ними был раньше покушения М<ышкина>, то как они вдруг ни с того ни с сего прекратили дело и сношения со мной, то после покушения М., я подумал, что они сообщили ему мой план и дали деньги, но из кружковой ревности, честолюбия и пр. (подмеченные мною у Ф.) пожелали отстранить меня от этого дела и действовать вполне самостоятельно. Поэтому М. не переговорил со мной и испортил дело плохой его подготовкой. Но все это только мои предположения, для которых я не имею никаких доказательств, а потому не смею высказывать их в печати. — 8) В 1875 г., ранее поездки Ф., ездили в Иркутск Грибоедов и Клеменц, чтобы узнать для меня фамилию живущего в Вилюйске при Чернышевском

¹ Виташевский Николай Алексеевич (1857—1918) — революционер-народник, первым оказавший вооруженное сопротивление при аресте. Приговорен и каторжным работам, которые отбывал в Новобелгородской и Мценской тюрьмах и на Каре.

² Еллидин (Элпидин) Михаил Константинович (1835—1908) — революционер 1860-х годов, участник казанского заговора 1863 г., бежавший из-под стражи за границу. Поселившись в Женеве, основал русскую типографию, в которой издавал сочинения Чернышевского, революционные журналы и другую революционную литературу. Страдал шпиономанией.

жандарма и знает ли он меня в лицо (вначале при нем держали только таких моих знакомцев), а также добыть подпись нового генерал-губернатора и нового начальника Ирк<утского> губ<ернского> жандарм<ского> управления. — 9) Грибоедов был очень дружен с матерью моего сына, З. С. Абсентовой¹, которая и упоминается в «Былом» под искаженным агентурой именем Апсентовой (Не думаю, чтобы она была благодарна за исправление этой ошибки и вообще за упоминание о ее роли тут). — 10) Слухи об этой экспедиции разошлись (и постепенно докатились до начальства) от Гольдсмитов², с которыми болтал Клеменц (У него же можно расспросить подробно об этой экспедиции). — 11) Точной даты приключения М. не знаю. Гр<ибоедов> и Кл<еменц> ездили весной и летом 1875 года. М<ышкин>, вероятно, летом и осенью того же года. — 12) Я арестован в Сибири (в Иркутске), в самом конце 1870 г. или в начале 1871 года. — 13) Ровинский³ приехал туда не менее чем за год до меня, а может быть, и за два. Я его не видел, ибо в момент моего приезда он был в Кяхте на китайском новогоднии. — 14) Это не тот Ровинский, что издавал лубочные картинки, а тот, что писал в «Современнике» о черных славянах, жил долго в Черногории (после возвращения из Сибири) и выпустил о ней толстую книгу. — 15) Его историю с Ч<ернышевским> я слышал от М. И. Орфанова (литературный псевдоним Мишла⁴), которому он рассказал ее сам. Но Мишла умер, Ровинский тоже, и других свидетелей у меня нет.

Вот вкратце все, что я знаю по этой части. Пользуйтесь этими сведениями, как Вам угодно, но не называйте меня по имени, ибо я не считаю себя вправе распространять под своим ручательством совсем непроверенные данные и собственные предположения.

Дружески Вас обнимаю. Тысяча приветствий Вашей супруге. Когда же, наконец, переиздадите Вы свою сказку о свободе и необходимости?!

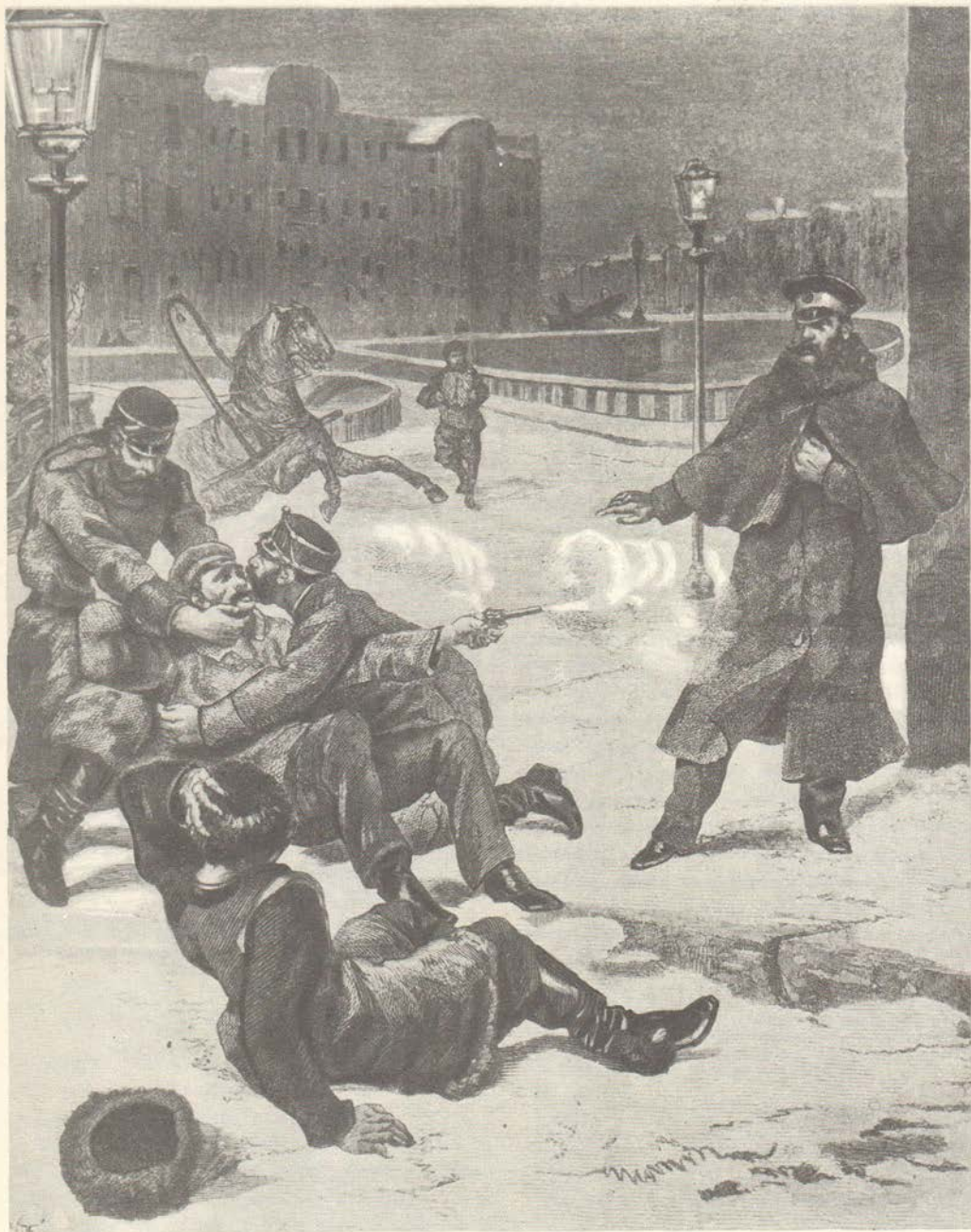
Ваш Г. Л.

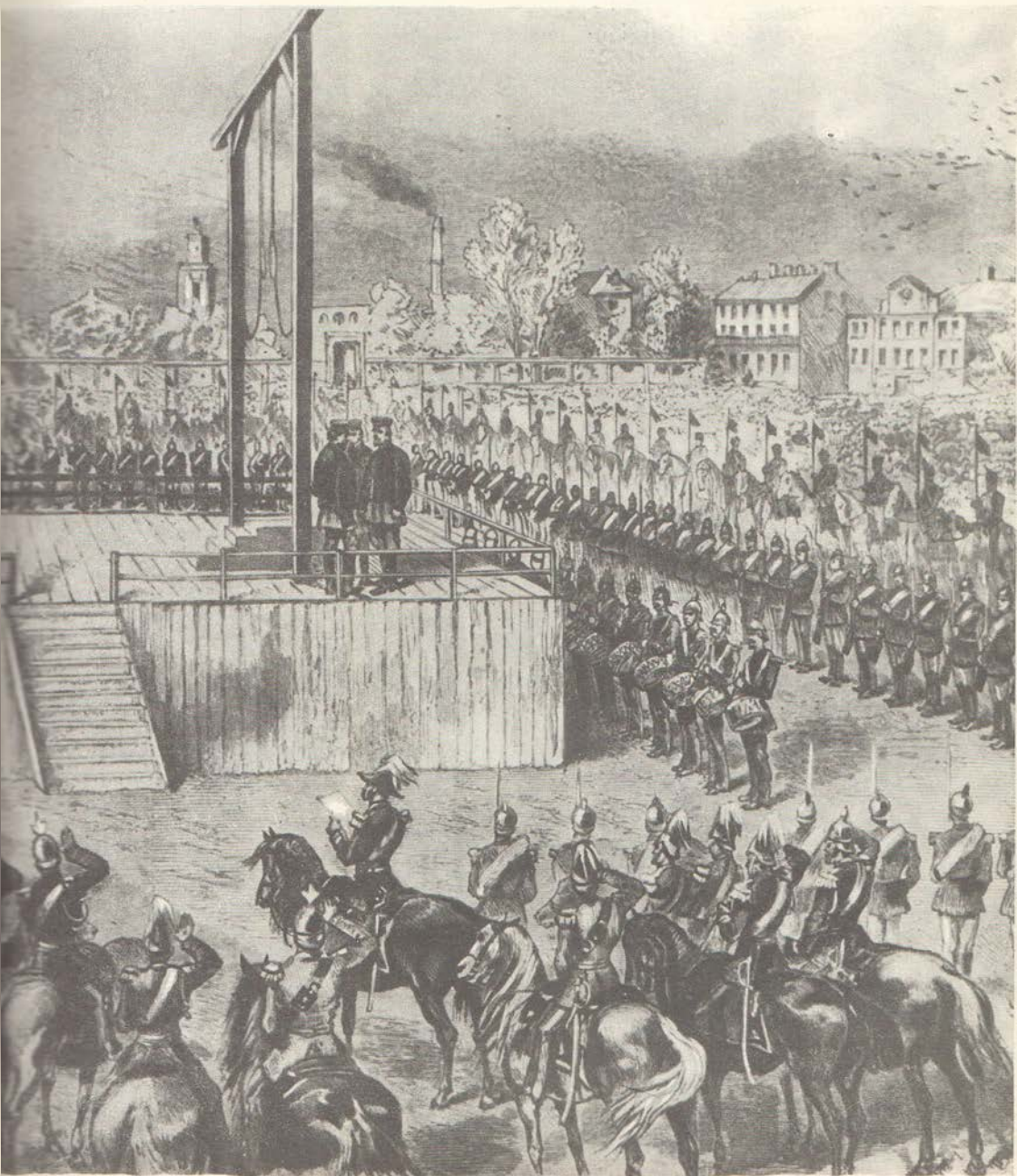
¹ Абсентова (урожд. Корали) Зинаида Степановна (р. ок. 1852) — участница революционных кружков 1870-х годов. В 1873 г. под фамилией Барт вышла замуж за Г. А. Лопатина. Задержана в 1879 г. в Петербурге на квартире Лопатина и подчинена секретному надзору. Впоследствии окончила медицинский факультет в Париже.

² Гольдсмит Исидор Альбертович (ок. 1845—1890) — редактор-издатель радикальных журналов в Петербурге «Знание» и «Слово», в которых сотрудничали русские эмигранты, был близок к революционным кружкам 1870-х годов, за что выслан в административном порядке в Архангельскую губернию. В 1880 г. предложил свои услуги правительству в деле предупреждения социально-революционных покушений. С 1884 г. жил за границей, где обвинялся в уголовных преступлениях. Его жена — Гольдсмит (урожд. Андросова) Софья Ивановна (р. ок. 1851) — доктор естественных наук Парижского университета, была близка к народолюбческим кружкам.

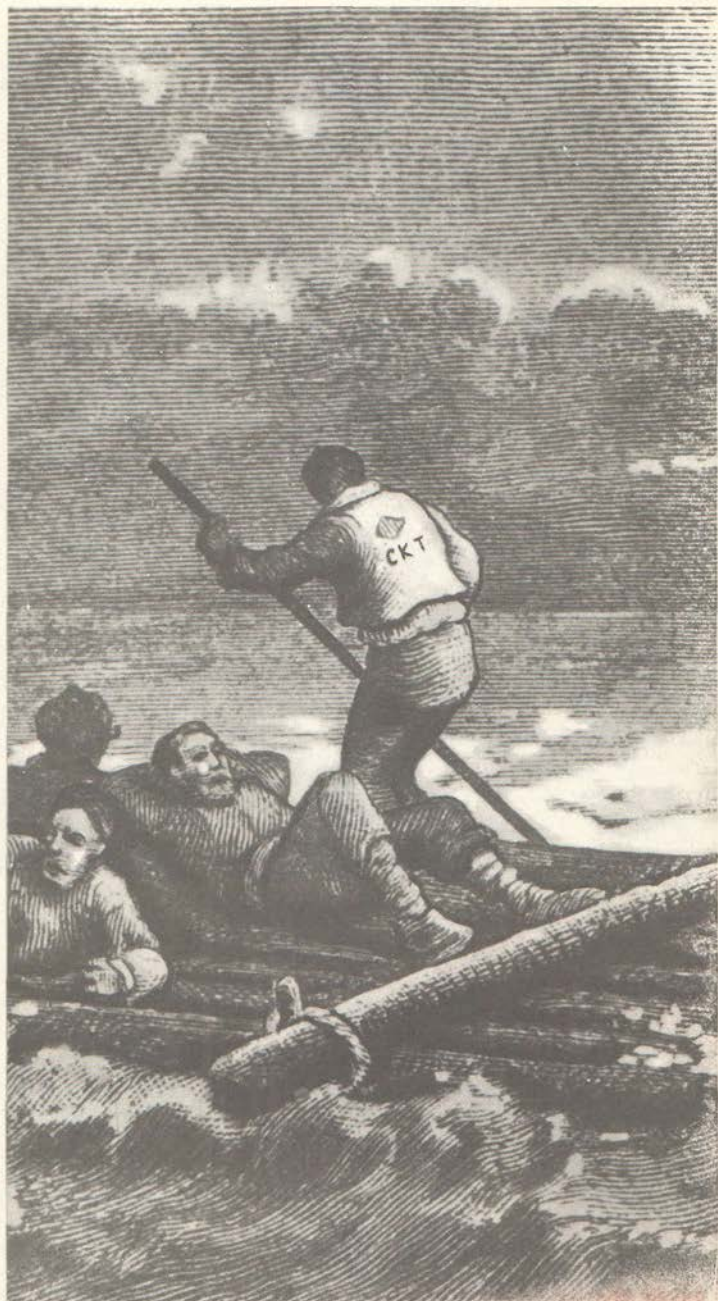
³ Ровинский Павел Аполлонович (1831—1916) — революционер 1860-х годов, член первой «Земли и воли», личный друг Чернышевского. Впоследствии известный ученый-этнограф, славист. Имеются сведения об участии Ровинского в попытке освободить Чернышевского.

⁴ Орфанов — Мишла) Михаил Иванович (псевдоним — Мишла) (1847—1884) — беллетрист, привлекался по делу Каранозова в 1866 г.











В. В. Сухомлин

Детство на Каре

Из записок русского интеллигента

Василий Васильевич Сухомлин, скончавшийся в Москве 21 ноября 1963 года в возрасте семидесяти восьми лет, прожил сложную и интересную жизнь. Он был не только свидетелем, но и активным участником многих исторических событий.

Родился Василий Васильевич в Петербурге, в семье революционеров-народников. Его отец — Василий Иванович Сухомлин — был убежденным народовольцем, членом Распорядительной комиссии Исполнительного комитета «Народной воли». Арестованный в августе 1884 года, он был приговорен по «делу 21-го» в 1887 году к каторжным работам и отправлен на Кару. Мать Василия Васильевича — Анна Марковна Сухомлина — тоже принадлежала к партии «Народная воля» и добровольно последовала за мужем в Сибирь вместе с маленьким сыном.

В 1903 году Василий Иванович, возвратившись из Сибири, поселился в Одессе и продолжал заниматься революционной деятельностью. В июле 1906 года по доносу провокатора Азефа он был арестован накануне поездки в Кронштадт, где готовилось вооруженное восстание. Освобожденный через два месяца, в ноябре того же года он был вновь арестован и на этот раз выслан на три года за границу. Здесь вместе с будущим писателем А. С. Новиковым-Прибоем он вел пропаганду среди матросов на русских учебных кораблях в портах Средиземного моря. В 1910 году Василий Иванович возвратился в Россию и жил в Киеве, а затем Петрограде. После Октябрьской революции он был членом Общества политкаторжан. В феврале 1938 года В. И. Сухомлин был арестован, а в 1957 году реабилитирован посмертно. Теперь в Ленинграде на Волковом кладбище на могильной плите умершей в 1930 году Анны Марковны Сухомлиной вырезано и его имя.

Василий Васильевич пишет о своем отце, что главным для него был патриотизм. То же самое можно сказать о самом Василии Васильевиче. Он был достоин своего отца, и главным в его жизни была глубокая, всеобъемлющая любовь к Родине.

Детство Василия Васильевича прошло на карийской каторге и в Чите. Поступив в 1903 году в Петербургский университет, он примкнул к эсерам и вскоре был арестован и выслан из Петербурга. Оказавшись в Одессе, Василий Васильевич принял активное участие в революционных событиях 1905—1906 годов. Его вновь арестовывают и по приговору военно-окружного суда ссылают на поселение в Сибирь. Он бежит из ссылки за границу, слушает лекции в Гейдельбергском и Гренобльском университетах и оканчивает образование в университете Монпелье (Франция). Затем живет в Италии, сотрудничает в русской и итальянской прессе, дважды ездит нелегально в Россию с важными поручениями. В июле 1917 года по возвращении в Россию его избирают в Учредительное собрание, а в марте 1918 года вместе с Н. С. Русановым выезжает в Стокгольм и Лондон на международную социалистическую конференцию как представитель партии эсеров и остается за границей. В двадцатых годах он был одним из редакторов эмигрантского журнала «Воля России», сотрудничал в редакциях социалистических газет «Ле Пелль» («Народ») и «Котидьен», несколько лет был членом Исполкома Социалистического Интернацио-



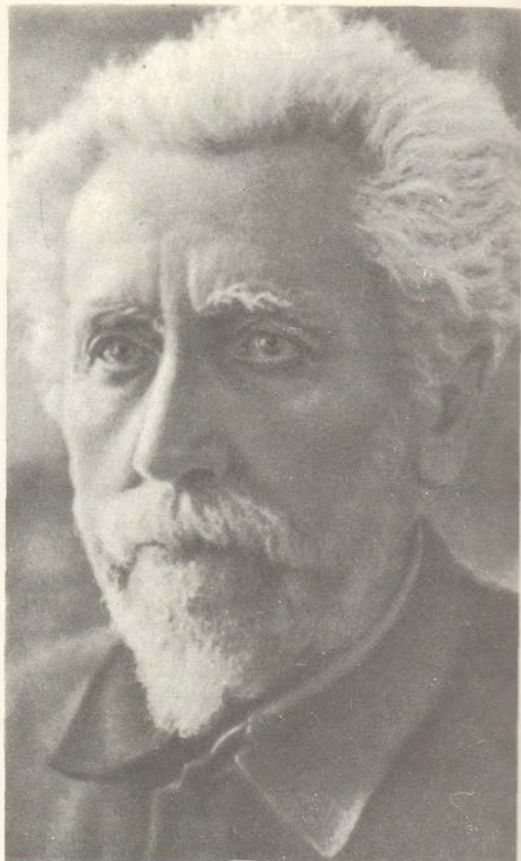
нала. В 1926 году он получил от отца большое письмо, в котором Василий Иванович убеждал сына в исторической правоте большевиков. Это письмо очень повлияло на мировоззрение Василия Васильевича.

Василий Васильевич много сделал для пропаганды русской и советской литературы во Франции. Он перевел на французский язык «Тихий Дон» Шолохова, «Цусиму» Новикова-Прибоя, «Разин Степан» Чапыгина, рассказы Горького, Бабеля и другие произведения. Ему принадлежит первый полный перевод «Анны Карениной» Льва Толстого. В последние месяцы своей жизни он переводил «За далью — даль» А. Твардовского.

Когда фашистская Германия вторглась во Францию, Василию Васильевичу, как известному антифашисту и левому социалисту, пришлось скрываться от гитлеровцев, которые

четыре раза пытались его арестовать и конфисковали его библиотеку. В 1941 году он тайно перешел немецкую демаркационную линию и уехал на юг Франции. В августе 1941 года Василий Васильевич написал обращение к русской эмиграции, получившее широкую известность. Вот выдержки из этого обращения (в моем переводе с французского): «Долг каждого русского патриота всемерно и безоговорочно поддержать Советское правительство и Красную Армию в их борьбе против немецкого агрессора и его приспешников... Лишь изменники и продажные души способны сотрудничать с врагом. Я уверен, что, кроме ничтожно малого исключения, таких подлецов не найдется среди советских граждан, будь то русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне или представители любой другой национальности, входящей в состав Советского Союза... Все те, кто по-настоящему любит свою родину и для кого она не ассоциируется лишь с потерей имущества и материальных благ, должны быть сейчас со своим народом... Советский патриотизм исходит из глубин народного сознания, он вырос с молодым поколением, свидетельствуя о мощи и нравственном здоровье страны... Русские эмигранты должны забыть свои старые обиды и разногласия и пожертвовать всем для единственной цели: разгрома немецкой армии и освобождения временно оккупированных территорий».

Во время войны Василий Васильевич был в Нью-Йорке секретарем редакции еженедельника «Франс-Америк» — органа французского движения Сопротивления и сотрудничал в русских прогрессивных изданиях (под псевдонимом Леонид Белкин): в «Русском голосе», в еженедельном журнале «Новоселье», в канадском «Вестнике». «Только слепцы могут не видеть, — писал он в 1944 году в одной из своих статей, — что в грандиозной исторической драме, которую переживает Россия, проявляются с чрезвычайной силой черты русского национального духа: любовь к родине, самоотверженность, скромность и простота, великодушие, чутье правды, сознание свободной и спокойной силы, свободолюбие. Они проявляются не только в ратных подвигах, но и во всей жизни громадного народного коллектива и в его отношениях с другими народами, в его печати и литературе, в достойной и твердой защите его государственных интересов. Русскому народу чужд дух высокомерия и стяжания, присущий народам-завоевателям».



После окончания второй мировой войны Василий Васильевич снова жил во Франции, сотрудничал в газетах «Франс-Тирер» и «Либерасьон». В 1947 году он принял советское подданство, а в 1954 году вернулся в Советский Союз. Здесь он был аккредитован при МИД как постоянный корреспондент «Либерасьон», где писал под псевдонимом Виктор Самарэ, сотрудничал во французском еженедельном журнале «Кайэ Этернатюно», одним из основателей которого он был, писал статьи для журнала «Иностранная литература» и других советских изданий, был членом Союза советских писателей и Союза журналистов.

До конца своих дней занятый текущими делами, Василий Васильевич не окончил воспоминаний. Он успел написать лишь о своем детстве, о пребывании в тюрьме в 1906 году,

о Франции в дни гитлеровского нашествия — т. д. Архив Василия Васильевича находится теперь в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве и, несомненно, привлечет к себе внимание исследователей.

Публикуемая ниже первая часть мемуаров В. В. Сухомлина описывает годы его детства, протекавшего в столь необычных условиях.

Т. И. Сухомлина

Мое первое знакомство с отцом — вернее, отца со мной — произошло в канцелярии Петропавловской крепости, сей русской Бастилии, чей мрачный приземистый силуэт, увенчанный золотым шпилем над усыпальницей русских императоров, царит над Невой, напротив Зимнего дворца.

Арестованный в 1884 году, спустя четыре месяца после своей свадьбы, мой отец просидел три года в казематах Трубецкого бастиона, прежде чем предстать вместе с двадцатью другими членами «Народной воли» перед Санкт-Петербургским военно-окружным судом.

Мне едва минуло полтора года, и само собой разумеется, я ничего не помню ни об этом первом свидании, ни о последующих. Моя мать рассказывала, что порой я энергично протестовал против «злого солдата», мешавшего мне хорошенько обнять отца. От тех времен у меня сохранилась «регламентарная» почтовая открытка. В ней «государственный преступник Василий Иванович Сухомлин посылал наилучшие пожелания своему сыну Василию и извещал его, что находится в добром здравии». До судебного процесса 1887 года моя мать жила в Петербурге, где я появился на свет 26 апреля (теперь 9 мая) 1885 года. Военный суд приговорил моего отца и четырнадцать его товарищей к смертной казни, которую царь заменил каторжными работами. Этот акт милосердия объясняли тем, что за две недели до того, то есть 8 мая 1887 года, пятеро других революционеров, в их чис-

ле Александр Ульянов, старший брат Ленина, были повешены за покушение на жизнь Александра III. Правительство не решилось чересчур будоражить общественное мнение, тем более что к этому времени опасный Исполнительный комитет «Народной воли», опустошенный арестами и смертными казнями, практически перестал существовать.

Моего отца, которому в ту пору было 25 лет, сослали на карийскую каторгу в Восточную Сибирь. Приговоренные к каторжным работам лишались гражданских прав, и по закону их женам разрешалось просить о разводе. Не желавшие разлучаться с мужьями могли добровольно следовать за ними. Моя мать выбрала последнее и отправилась в ссылку, взяв с собой двухлетнего сына. Жены, следовавшие за мужьями, не теряли гражданских прав. Таким образом, моя мать, ставшая дворянкой благодаря браку с отцом, и я, родившийся до вынесения приговора отцу, продолжали числиться дворянами, в то время как отец и двое младших детей, родившихся уже в Сибири, оказались «государственными крестьянами». Но прежде чем продолжать рассказ, я должен сказать несколько слов о нашей семье и о революционной деятельности отца.

Мой отец и мать оба родились в Одессе. Дед мой Иван Сухомлин был родом из Полтавской губернии и принадлежал к украинскому дворянству. «Сухий млин» по-украински означает «Сухая мельница». Это прозвище носил один из наших предков — запорожский казак. Вынужденный часто отлучаться, чтобы сражаться то против поляков, то против татар, сей вояка будто бы никогда не имел времени починить свою мельницу, та перестала работать и пришла в полное запустение. Украинский историк Грушевский уверял меня, что один из Сухомлиных был генеральным секретарем-писарем Запорожской сечи, этой республики запорожцев. Я не слышал об этом в нашей семье. Знаю лишь, что в те времена, когда Екатерина II подавляла остатки самостоятельности на Украине, мой

прапрадед был казачьим старшиной в Золотоноше Полтавской губернии.

Когда дед мой переехал в Одессу, где получил место в земском суде, у него еще оставалось в родных местах несколько десятин пахотной земли и фруктовый сад. Он женился на дочери одесского богача Савина. Тот был родом с севера и случайно попал с Урала на берега Черного моря, где и обосновался, прельстясь югом и красавицей гречанкой, вскоре ставшей его женой.

Дед был страстный охотник и отчаянный игрок. Выйдя из дому за акушеркой в тот вечер, когда жена его почувствовала приближение родов, он зашел «на минуту» в свой клуб и... провел ночь за игорным столом. Вернувшись поутру домой, он узнал о рождении сына. Моему отцу был год, когда Иван Сухомлин погиб из-за несчастного случая на охоте.

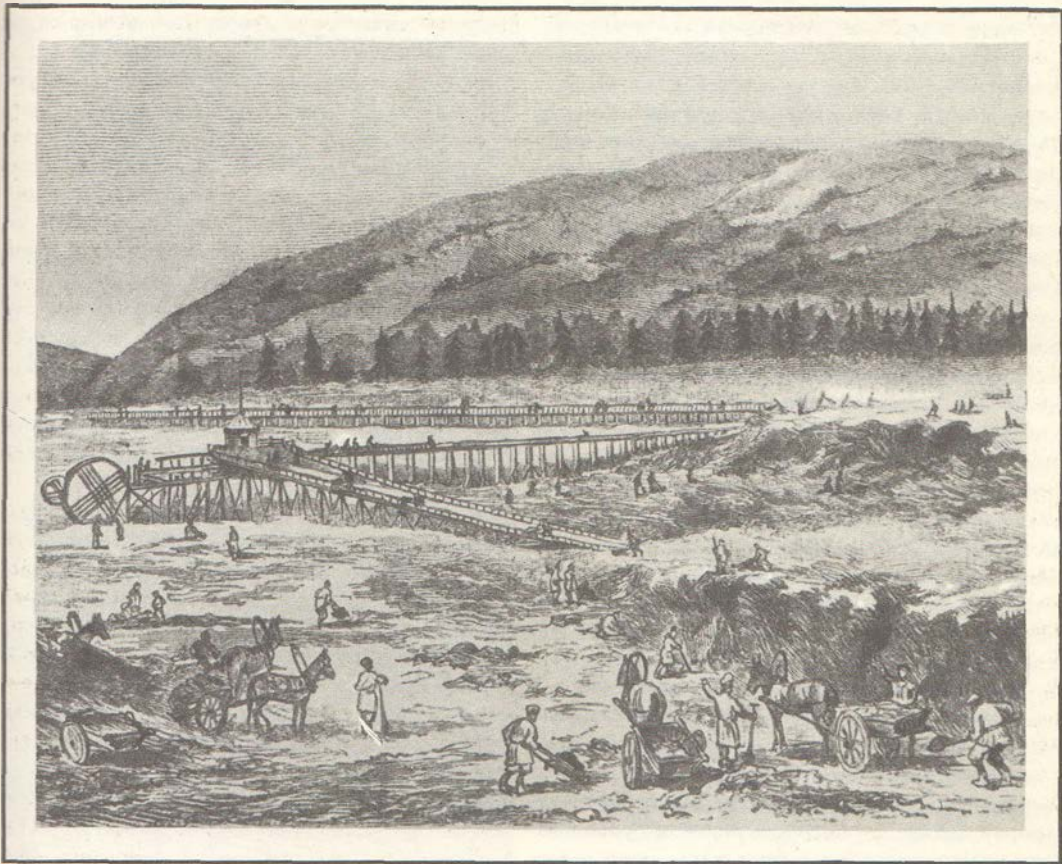
Спустя несколько лет моя бабушка Мария Михайловна снова обвенчалась с довольно известным в ту пору литератором Елисеем Колбасиным, с которым познакомилась в Крыму. Друг Тургенева, Герцена и Некрасова, Колбасин сотрудничал в журнале «Современник», издававшемся Некрасовым; писал он и для других журналов. Он жил на широкую ногу, а доходов от имения и литературных заработков не хватало. В период «великих реформ» Колбасин поступил на службу инспектором акцизных сборов в Севастополе.

Выйдя за него замуж, моя бабушка из узкого круга чиновников и провинциальной буржуазии попала в самый центр русской интеллигенции. Вынужденный жить на юге, Колбасин тем не менее не порывал связи с литературными кругами Санкт-Петербурга. После запрещения «Современника» (последовавшего в результате покушения Каракозова на Александра II в 1866 году) Колбасин стал сотрудничать в журнале «Отечественные записки», в издании которого участвовали с 1868 года Некрасов, Салтыков-Щедрин и Михайловский. Колбасины много путешествовали и ежаго-

но гостили во Франции у Тургенева, а тот, в свою очередь, часто приезжал охотиться в имение старшего брата Колбасина.

Таким образом, отец мой вырос в культурной и обеспеченной семье, но главное — открытой для всех прогрессивных идей, волновавших Россию в шестидесятые и семидесятые годы. Колбасин был человек свободомыслящий и «западник», как и его друг Тургенев. Мой отец хранил всю жизнь глубокое уважение к широте взглядов, доброжелательности и терпимости, с которой этот представитель образованного дворянства сороковых годов относился к бурной деятельности молодых нигилистов-разночинцев, сыновей священников, пономарей, мелких чиновников и ремесленников, наводнивших университеты и общественную русскую жизнь после освобождения крестьян. Во всех отраслях духовной жизни русского общества: в литературе, живописи, музыке, философии, новое поколение материалистов (или мыслящих реалистов), радикалов, народников фрондировали против либеральных идеалистов предшествующих поколений. То были времена переоценки ценностей. За двадцать лет России предстояло прожить эпоху Просветителей и догнать интеллектуальную эволюцию Запада.

Одесское реальное училище, куда поместили учиться моего отца, естественно, не оставалось в стороне от движения. Полвека спустя отец писал мне, что страстные, беспорядочные споры первых комсомольцев о религии, международной революции, свободной любви и ношении галстуков, при которых ему доводилось присутствовать в 1923—1925 годах в одном из крымских домов отдыха, живо напоминали ему его ученические годы. «Нам было лет по пятнадцати, когда мы восстали с неистовством иконоборцев против всех признанных авторитетов, во имя естественных наук, прогресса и революции. Рабочему классу теперь, в свою очередь, приходится проделывать дорогу, которую уже прошла вся русская интеллигенция», — писал мне отец.



Столкновение двух поколений, принимавшее в большинстве семей драматический оттенок, не нарушало гармонии в семье Колбасиных, к которому в 1878 и 1882 годах прибавились мальчик Евгений и девочка Ольга. Правда, резкие манеры и смелые, безапелляционные суждения товарищей моего отца приводили в ужас его мать, но, как и ее муж Колбасин, она относилась с уважением ко взглядам молодежи.

Произведения Добролюбова, Писарева, Чернышевского, Петра Лаврова и Михайловского имели решающее влияние на моего отца. Его философские взгляды и восприятие литературы, поэзии и живописи навсегда со-

хранили печать той эпохи, когда считалось, что непререкаемый моральный долг каждого культурного человека — «расплатиться по счету» с угнетенным, многострадальным народом, посвятив все свои знания, талант, самую жизнь делу его освобождения и благосостояния.

Мой отец был еще в реальном училище в эпоху «хождения в народ» — этого удивительного подвига молодых интеллигентов, решивших разделить образ жизни и участь рабочих и крестьян, чтобы донести до них слово о социализме. В 1878 году мой отец примкнул к движению «бунтарей» бакунинского толка, исповедовавших неизбежность социали-

стической революции. Комната его стала своего рода убежищем для многих революционеров. В 1879 году, в течение двух недель, он прятал у себя, в доме родителей, бывших в ту пору за границей, одного молодого анархиста, Павла Аксельрода, который несколькими годами позже стал одним из основателей первой марксистской группы в России — «Освобождение труда». Вместе с Плехановым и Верой Засулич Аксельрод произвел глубокое впечатление на моего отца и убедил его отправиться в Швейцарию и Францию, дабы изучить на месте международное рабочее движение. Отец уехал в Париж и прожил там два года под фамилией Мулэн, слушая лекции в Сорбонне, работая в Национальной библиотеке и посещая собрания социалистов. Один из его соотечественников стал слесарем на парижском заводе и ввел его в рабочие круги. Отец бывал на митингах, где выступал Жюль Гед, а также только что амнистированные товарищи: Лафарг, Бернау Малон, Вайян, Луиза Мишель.

Вечерами по субботам он задерживался в маленьких кафе кварталов Мениль-Монтана или Бельвиля за разговорами с рабочими. Когда пятнадцать лет спустя, будучи уже на карийской каторге, он учил меня французскому языку, то часто с волнением рассказывал мне о своих парижских товарищах, «всегда таких жизнерадостных, остроумных и приветливых».

Из всех французских революционеров самое большое влияние на него имел Огюст Бланки¹. Из памятных мне предметов времен моего детства в Сибири пред моим мысленным взором возникает на рабочем столе отца загадочная маска «Узник» на переплете книги Жеффруа. Безусловно, в глубине революционных представлений моего отца навсегда остался «бланкизм». «К старику Бланки несправедливы», — говорил мне отец еще в 1918 году.

Из Парижа отец переехал в Швейцарию, где встретился с Элизе Реклю². Руководитель национального украинского движения Драго-

манов³ представил Элизе Реклю моего отца как «идеальный тип запорожского казака», что позднее служило неистощимым источником шуток в нашей семье, ибо отец всегда питал глубокую неприязнь к любому проявлению милитаризма, что, однако, не помешало ему добровольно пойти на фронт в 1917 году, где он и был ранен.

Летом 1882 года отец вернулся в Россию, расставшись со своими «бакунинскими» иллюзиями и убежденный в том, что социалистическому движению в первую очередь необходимо завоевать политические свободы и демократические права. Он часто говорил мне, что от своих анархических идей сохранил лишь крепкую ненависть к капиталистическому строю и буржуазии.

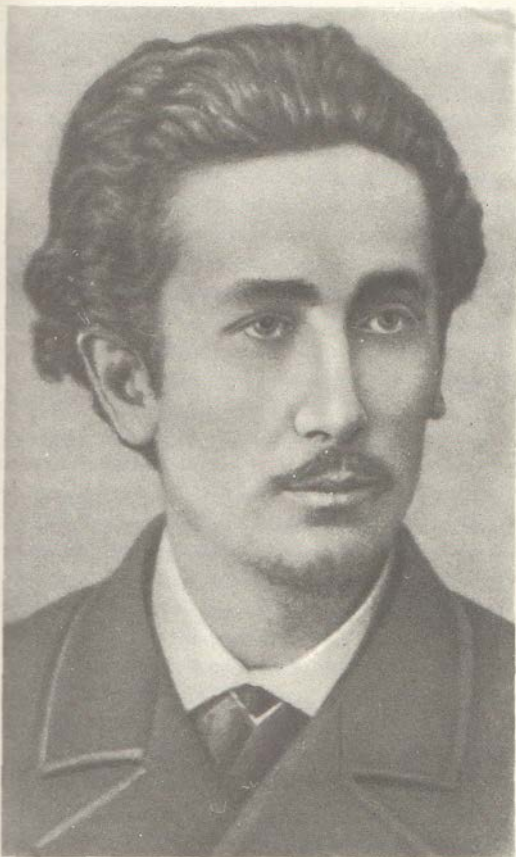
В России за время его отсутствия новая партия «Народная воля», сформированная после раскола народнического движения, в 1879 году как раз перешла к политической борьбе, поставив себе целью свержение абсолютной монархии и созыв учредительного собрания.

Исполнительный комитет «Народной воли» состоял из замечательных людей, мужчин и женщин, которые в свободном государстве несомненно, играли бы ведущую роль во всех отраслях общественной деятельности. Ленин называл их «блестящим революционным отрядом семидесятых годов» и выражал на-

¹ Бланки Луи Огюст (1805—1881) — французский революционер и утопический коммунист. Его биография «Узник. Жизнь и революционная деятельность Огюста Бланки» написана французским публицистом Густавом Жеффруа (в русском переводе книга вышла под заглавием «Занюченный»).

² Реклю Элизе (1830—1905) — французский географ и социолог, талантливый пропагандист географических знаний. Принимал участие в Парижской коммуне и был бы расстрелян, если бы ученые всех стран не ходатайствовали о его помиловании.

³ Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — украинский публицист и историк, с 1875 года — в эмиграции, занимался издательской деятельностью.



дежду, что рабочий класс даст стране столь же ценных людей.

Отец вернулся в Одессу вскоре после того, как там был убит генерал Стрельников, военный прокурор, который вел все следствие по делу «Народной воли» и прибегал к особо отвратительным методам, чтобы добиться признания. В квартире Софии Рубинштейн, сестры знаменитого композитора, отец встретился с представителями Исполнительного комитета, в частности с Верой Фигнер, которая, как и ее подруга Перовская, отказалась от блестящей светской жизни и всю себя отдала революционной борьбе. Отец примкнул к одесской группе «Народной воли» и, опи-

раясь на свой парижский опыт, посвятил себя делу пропаганды среди рабочих.

Для начала он подвергся жестокому испытанию. Среди его слушателей был молодой слесарь Некрасов, который представил ему в один прекрасный день своего двоюродного брата, и тот предложил отцу одно «дельце». Оно касалось убийства его родного дяди, богатого деревенского лавочника, «настоящего кулака и эксплуататора», и ограбления лавки, дабы содержимое кассы поделить поровну между двоюродным братом и революционерами, которым надлежало всего лишь снабдить его револьвером. Велики были ужас и негодование моего отца, но сам двоюродный брат был не менее его изумлен совестливостью своего наставника по социализму. Отцу понадобилось много усилий, чтобы объяснить тому разницу между революцией и разбоем. Русское рабочее движение было еще в зачатке. Как раз в этот период кое-где на юге произошли волнения, во время которых толпа громила лавки, впрочем, особенно еврейские лавки. Все это, однако, не охладило пыла пропагандиста, ставшего лишь более осторожным в своих определениях и в дальнейшем имевшего заслуженный успех.

Революционная пропаганда среди рабочих стала для отца главным делом его жизни.

В Одессе мой отец познакомился с девушкой, которой предназначено было стать его женой и моей матерью. Анна Гальперина родилась в буржуазной еврейской семье. Умопомрачения семидесятых годов вырвали ее и старшего ее брата из сонного и тесного круга этой традиционной среды. Она отправилась учиться в Москву и вернулась в Одессу в 1882 году с дипломом фельдшерицы, единственным легко доступным в ту пору для женщины, так как на медицинский факультет женщинам было еще очень трудно поступить, и рекомендательным письмом к местной группе «Народной воли». Очаровательная, живая и энергичная, она оказывала партии множество услуг в кругах «симпатизирующих» интеллигентов и буржуазии, а также среди сту-

денчества. Осенью одесская полиция нашла подпольную типографию как раз в тот день, когда там печатали 10-й номер «Народной воли». При этом был арестован доверенное лицо Исполнительного комитета Дегаев. Спустя некоторое время он бежал из одесской тюрьмы. Благодаря своей репутации испытанного революционера он занял важное положение в партии, потерявшей к тому времени своих главных руководителей. Но аресты стали еще многочисленнее во всех городах России.

Зимой 1882/83 года моя мать случайно узнала через одного из своих родственников, богатого подрядчика, который слышал это от одного интендантского офицера, что побег Дегаева из тюрьмы был организован с помощью полиции. Поставленный в известность, мой отец немедленно отправился в Париж, чтобы оповестить об этом оставшихся в живых членов Исполнительного комитета, которые были там в это время. Дегаев, которого призвали к ответу, сознался, что его завербовал начальник охранки, жандармский полковник Судейкин, и что он выдал многих своих товарищей. Дегаеву решили сохранить жизнь с условием, что он убьет Судейкина. Он согласился. Знаменитый революционер Герман Лопатин, друг Карла Маркса и Энгельса, первым переведший на русский язык «Капитал» Маркса, член генерального совета Интернационала, в то время примкнул к партии «Народная воля». На счету у Лопатина было уже несколько смелых подвигов. Ему поручили проследить за выполнением задуманного. Судейкин был убит, а Дегаева в сопровождении одного польского революционера доставили в порт, откуда он под вымышленным именем отплыл на пароходе в США. Отец мой вернулся в Одессу после того, как с помощью нескольких свободолюбивых моряков организовал перевоз нелегальной литературы из Марселя в Одессу.

В январе 1884 года его снова вызвали в Париж, где происходило совещание «Народной воли» и выборы Распределительной комиссии,

которой было поручено восстановить организацию партии, чьи руководители — члены Исполнительного комитета почти все были казнены, или сидели в казематах Петропавловской крепости, или же были деморализованы делом Дегаева. Герман Лопатин, мой отец и Неонила Салова¹ были избраны в новый руководящий орган.

Отцу пришлось перенести центр своей деятельности в Санкт-Петербург. Там и поженились мои родители весной 1884 года. Перед этим моя мать приняла православие, так как по тогдашним законам браки между христианами и евреями запрещались.

1 сентября 1884 года моего отца арестовали на Украине, в селе его дедов, исконной родине Сухомлиных, куда он с женой отправился получать наследство именно для того, чтобы передать оно партии «Народная воля». Поначалу казалось, что дело его не имеет серьезного политического значения. Жандармы подозревали его в сношениях с «Народной волей», но не знали об их сущности. Отца повезли в Одессу. Однако вскоре его под усиленной охраной отправили в Петербург и посадили в Петропавловскую крепость, ибо к тому времени у Лопатина, арестованного в столице, нашли бомбы и много адресов, в том числе и адрес моего отца. Лопатин обладал незаурядной физической силой и был уверен, что в случае опасности легко сумеет проглотить тонкий листик бумаги, но внезапно на улице его сзади схватили несколько охранников, и он не успел... Он никогда не мог простить себе своей неосторожности, приведшей к аресту около сотни человек.

Герман Лопатин был исключительной личностью в эпоху, столь богатую сильными характерами. Атлетического сложения, очень красивый, он обладал высокой культурой, бегло говорил на многих европейских языках и

1 Салова Неонила Михайловна (1860 — после 1934) — член Распорядительной комиссии Исполкома «Народной воли», осуждена в 1887 году по процессу 21-го, на торгу отбывала на Каре.

был отважен до дерзости. Арестованный первый раз за попытку присоединиться к армии Гарибальди, он неоднократно совершал побеги из сибирской ссылки и помог бежать философу Петру Лаврову. Он пытался организовать побег Чернышевского, приговоренного к каторжным работам. В Лондоне он тесно подружился с Карлом Марксом и Энгельсом. Маркс пишет 28 мая 1872 года Даниельсону:

«Известия, которые Вы сообщаете мне о нашем общем друге Лопатине, доставили мне большую радость, так же как и всей моей семье. Мало людей на свете, которых я так люблю и уважаю, как его». Известие касалось одного из побегов Лопатина.

Среди молодых революционеров, к которым принадлежал мой отец, Лопатин пользовался огромным авторитетом. Но его богатой натуре было тесно в узких рамках тайного общества, ему трудно было подчиниться суровой дисциплине. Отец рассказывал мне: «Лопатин был создан для широкой политической арены. Великолепный оратор и опасный полемист, остроумный и находчивый. Однако склад его ума был скорее французский, чем русский, скорее иронический, чем восторженный. Наша склонность к монотеизму была ему чужда. Я восхищался им как великолепным представителем рода человеческого. Блестящий собеседник, он иногда немного шокировал своим скептицизмом и манерой подмечать смешную сторону вещей. Он был слишком разносторонним, слишком многогранным для моего вкуса. Для моего тогдашнего вкуса, само собою разумеется. Но какой это был чудесный, самоотверженный товарищ и верный друг».

Процесс Лопатина и его двадцати соучастников, среди которых были мой отец и молодой поэт Петр Филиппович Якубович, продолжался с 26 мая по 5 июня 1887 года. Главным обвинением было участие в убийстве полковника Судейкина, хранение взрывчатых веществ и подготовка других террористических актов. Лопатину смертную казнь заменили пожизненной каторгой. Его заключили в

Шлиссельбургскую тюрьму, где он просидел двадцать лет. После революции 1905 года его освободили. Он скончался после Октябрьской революции в Петрограде. Я познакомился с ним в 1911 году на Итальянской Ривьере. Это был могучий старик с красивым и бодрым лицом, обрамленным густой, косматой бородой. Я смог оценить его дар рассказчика и спорщика, так как он обожал дискутировать обо всем на свете. Он рассказывал потрясающие истории, но упрямо отказывался записывать их. Итальянские рыбаки были от него без ума, ведь он ежедневно купался в море и зимой и летом.

В Шлиссельбург посадили еще четырех осужденных. Что касается моего отца и Петра Якубовича, то их вместе с двумя молодыми женщинами — Неонилой Саловой и Генриеттой Добрускиной¹ отправили на карийскую каторгу.

После приговора моя мать добилась от начальника департамента полиции Дурново, ставшего потом (в 1905 году) министром внутренних дел, разрешения сопровождать партию арестантов на свой счет и жить вместе с мужем во всех тюрьмах, в которых они по пути будут останавливаться. По указу правительства жены и дети каторжников (уголовных и политических) отправлялись по этапу вместе с мужьями в так называемых семейных партиях на казенный счет. Но при желании жены политических могли ехать на свой счет. По прибытии на место назначения, то есть на карийскую каторгу, моя мать имела право поселиться по соседству и видаться время от времени с мужем в комнате свиданий при тюрьме.

В те годы Дальневосточной железной дороги еще не было. Арестантов везли поездом сначала до Нижнего Новгорода (те-

¹ Добрускина Генриетта Николаевна (Бауер, Михайлова) (1862—после 1934) — участница народовольческих кружков, осуждена по процессу 21-го.

перь Горький), где пересаживали на баржу, превращенную в плавучую тюрьму, которую тащили на буксире по Волге и Каме до самой Перми. Отсюда их везли по железной дороге, а затем на лошадях до первого сибирского города — Тюмени. От Тюмени снова плыли на баржах по Тоболу и Иртышу, а потом по Оби до Томска. Проделав таким образом 3000 километров по сибирским рекам, арестанты шли дальше уже пешком по широкому арестантскому тракту через таежные леса и степи до карийской каторги, находившейся далеко за Томском.

Моя мать отправилась вместе с партией и разделяла жизнь арестантов. Мы ехали в арестантских вагонах и плыли на арестантских баржах до Томска. Но начиная с этого города мать приложила все усилия, пустила в ход всевозможные ухищрения, только бы отсрочить прибытие к месту назначения. В общем наше путешествие от Петербурга до Кары с остановками в пересыльных тюрьмах продолжалось более двух лет. Под разными предлогами матери удавалось задерживать пребывание моего отца на остановках в пересыльных тюрьмах главных сибирских городов: Томске, Красноярске, Иркутске и Чите.

Вот что писала она с дороги свекрови — моей бабушке Марии Михайловне Колбасиной, которая бережно хранила письма невестки и сына, и письма целы и поныне.

Красноярск, 7 ноября 1887 года:

«...Не грустите так, дорогая моя, и верьте, что мы бодры и здоровы и не теряем надежды обнять Вас когда-нибудь. Николай Сергеевич Тютчев¹, у которого я здесь остановилась, добрый и хороший человек. Я встретила и в Томске людей, которые многие годы провели на Каре и сохранили умственные и душевные силы. А я верю, что наш Вася способен многое перенести и остаться вполне человеком. Хотя я его слишком люблю, но уверяю Вас, дорогая, что способна смотреть трезвыми глазами, так что здесь слова не только влюбленной женщины. Вы можете гордиться своими детьми, и я желала

бы, чтобы мой сын был достоин своего отца».

От Томска до Иркутска мать с ребенком продолжала путь уже одна, на почтовых, и останавливалась в городах, дожидаясь арестантов, делавших по 30 верст в день, с остановками на одни сутки через каждые два дня. Вдоль тракта на больших расстояниях одиноко стояли мрачные деревянные бараки с решетками на окнах, их называли «этапы»; заключенных запирали там на ночь. За каждой партией, состоявшей из 400 человек, ехало 30—40 телег для багажа, и для больных, и «привилегированных», то есть главным образом для политических, которые в принципе имели также право на этапных пунктах на отдельное от уголовных помещение. Как и все каторжники, мой отец и Петр Якубович, кто первый познакомил русскую читающую публику с «Цветами зла» Бодлера, шли в кандалах, весивших до 12 фунтов, наглухо заклепанных на щиколотках и прикрепленных цепью на замке к поясу. При отправке отцу vybrили правую половину головы. Поверх штанов и куртки он был одет в арестантский халат из грубого серого сукна с двумя желтыми тузами на спине. Вот в такой одежде и в круглой арестантской шапочке вижу я его в первых моих воспоминаниях.

Вот отрывок из письма моего отца к своей матери от 29 сентября 1887 года: «...В Красноярске Анна с Васей проводили целые дни вместе со всеми нами в тюрьме и даже иногда оставались ночевать. Замечу мимоходом, что подобных свиданий на целые дни и в общих со всеми заключенными камерах никому не дают, и это для нее сделано из ряду вон выходящее исключение. Красноярская этапная тюрьма вообще считается лучшей в Сибири. Доктор был настолько лю-

¹ Тютчев Николай Сергеевич (1856—1924) — член «Земли и воли», вел пропаганду среди рабочих, участвовал в террористических актах. В 1878 году арестован и сослан в Сибирь.



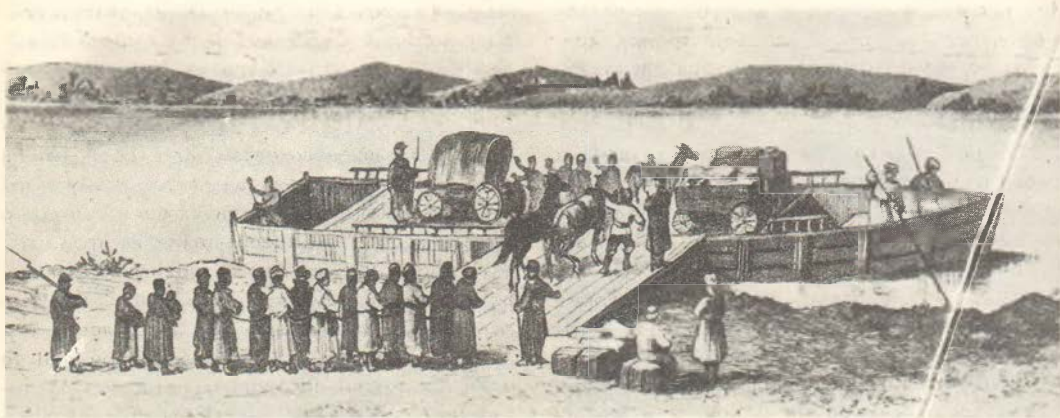
безен, что меня якобы по болезни на время расковали, и я десять дней ходил без кандалов...»

В Иркутске, куда мы прибыли весной 1888 года, в ожидании отправки мы поселились в тюрьме. Отец писал моей бабушке 9 января 1888 года: «...Благодарю Вас, милая, несравненная моя мамаша, которой — я глубоко это сознаю и понимаю — я обязан всем, что во мне есть хорошего и благородного, и которая вместе с любовью к моей ненаглядной Аннуси составляла и составляет высокую поэзию моей жизни. Она даст мне, надеюсь, нравственную бодрость и стойкость, чтобы, несмотря на всякие невзгоды, не опу-

ститься, не погрязнуть в мелкие, эгоистические помыслы, а сохранить и пронести через всю жизнь тот запас возвышенных идеалов и стремлений, который делал меня более или менее достойным Вас».

Моя мать решила следовать дальше вместе с партией арестантов. Из Верхнеудинска (Улан-Удэ), пробыв три недели в местной тюрьме, мы и отец поехали в Читу с десятком уголовных, так как основная партия задерживалась из-за ледохода на Байкале. Переход от Томска до Иркутска длился десять месяцев и был очень тяжелым для моего отца, несмотря на некоторые привилегии, которыми пользовались политические, тогда как о дальнейшем путешествии через Сибирь мои родители сохранили — как это ни парадоксально — достаточно приятное воспоминание.

На Байкале еще не началась навигация, и мы объехали озеро, или, как его называли, «Сибирское море», на тройке, в сопровождении двух жандармов. Они оказались услужливыми, веселыми парнями. Солдаты, сменившие их, тоже относились к нашему маленькому семейству как нельзя лучше и играли со мной в мяч на остановках. Этапы, где мы ночевали, были новыми постройками и поэтому относительно чистыми. Погода стояла великолепная. Дикая красота берегов Байкала и гористая местность, среди которой лежит это огромное озеро, являли счастливый контраст с монотонными равнинами Западной Сибири. Заключение, с которыми я немедленно завязал дружеские отношения, — впрочем, так же как и с конвойными, — старались превзойти один другого, чтобы облегчить наш путь, и оказывали нам всевозможные услуги. После долгой, тяжелой дороги и ужасающего столпотворения на предыдущих остановках, где в тесной близости с нами находилось 300—400 уголовных арестантов как мужчин, так и женщин, этот месячный путь был действительно приятным исключением из общего правила. Но особенно радовался отец тому, что с ним его семья!



Он писал своей матери 20 мая 1888 года из Верхнеудинска:

«...Я так счастлив любовью моей ненаглядной Аннуси, что порою, забывая свое положение и, что даже непростительно для развитого идейного человека, забывая безотрадное окружающее и то печальное время, которое переживает отечество, забывая все на свете, я чувствую себя счастливейшим из смертных...»

Мы прибыли в Читу 27 июня 1888 года и там задержались еще на два года, из которых один провели вместе с моим отцом. В ту пору правительство уже готовило закрытие карийской каторги и отправку политических заключенных в новую тюрьму в Акатуе, где они должны были перейти на режим уголовных и вместе с ними работать на серебряных рудниках. Сначала мы с матерью жили вместе с отцом в тюрьме, где начальник тюрьмы отвел для нас отдельную камеру, дверь которой выходила прямо на двор. Мои первые отрывочные воспоминания относятся к Чите. О предыдущем путешествии в моей памяти сохранилось несколько туманных, расплывчатых картин: мостик на пароходе, вода, сияющее небо, люди в серых халатах. В Чите я вижу себя во дворе, где прохаживаются те же серые фигуры.

Я рядом с отцом, он одет, как они. Он читает газету, я знаю ее название: «Русские ведомости». Я мешаю отцу читать, и он отсылает меня играть, но я настаиваю, чтобы он объяснил мне значение красивых рисунков, из которых составлен заголовок. Внезпно он кричит моей матери: «Иди сюда, Анна! Васюк учится читать!» И вдруг черные рисунки, непохожие ни на что доселе мне знакомое, начинают проясняться, разделяются на отдельные знаки, приобретают смысл. Это слова. Газета говорит. И я смеюсь от радости.

Я вижу себя позднее в маленьком домике рядом со старой няней, которая рассказывает мне захватывающие истории об Иване-царевиче, о Сером волке и Жар-птице, то я в кровати и мать поет мне украинские песни, веселые и нежные.

Вижу себя за завтраком с двумя маленькими девочками Верой и Любой, старшая из них моего возраста. Мы болтаем и смеемся, а мама разговаривает с их матерью, тоже женой политического заключенного. Младшая, Люба, опрокинула на стол свою чашку с молоком, и я пользуюсь этим, чтобы сделать на клеенке реку, по которой плывет баржа с заключенными, то есть корочка хлеба. Потом мы играем в «тройку». Передо мной три стула — мы сзади на скамеечке.

Как настоящий ямщик, я в шубе и меховой шапке, изо всех сил гоню свою тройку, кричу на лошадей и сплевываю через плечо. Мы мчимся вскачь, чтобы успеть до этапа, пока не стемнело.

В нашей семье часто рассказывали со смехом, что одной нашей знакомой, жогда она поцеловала меня за то, что я «домчал ее на тройке», я сурово сказал: «Моя мама ямщиков не целует!»

Помню, мы не живем больше в тюрьме, но часто ходим туда. Я не знаю, что такое «тюрьма», и это слово не вызывает у меня никаких неприятных ощущений. Я уже перебывал во многих до читинской, и в каждой из них у меня были друзья. В одном из своих писем моя мать пишет: «На днях я пела ему колыбельную, и на словах «Богатырь ты будешь с виду и казак душой...» Васюк прервал меня, строго заявив: «Нет, я буду каторжник».

Мне было тогда три с половиной года. Однако высокая ограда читинской тюрьмы (или, как ее называли, читинского тюремного замка) производила на меня большое впечатление. Массивные заостренные столбы, плотно пригнанные друг к другу, угрюмо замыкают тюрьму в тесный круг, придавая ей вид заколдованного замка или крепости, где живет злой волшебник, а еще лучше спящая красавица. Но отец радостно встречает нас во дворе. Каким красивым он кажется мне в небрежно накинутом на плечо сером халате, в плоской шапочке, лихо сдвинутой на правое ухо! Он выше ростом всех своих товарищей, и в моем воображении он начальник этого «замка», и все ему повинуются. До некоторой степени это понятно: с одной стороны, тюремная администрация относилась к моему отцу с большим уважением, и начальник тюрьмы никогда не препятствовал его свиданиям с семьей. С другой стороны, мой отец завоевал неожиданный авторитет среди группы заключенных, принадлежащих к одной из самых странных из всех религиозных сект России — к секте скопцов, или кастра-

тов. Они верили в метампсихоз. Основатель секты Кондратий Селиванов жил в XVII веке и выдавал себя за царя Петра III. Приговоренный к каторге, Селиванов бежал из Сибири и объявил своим последователям, что теперь он ни более ни менее как сам Христос и что в один прекрасный день он явится всему миру «во всем своем величии и славе». С тех пор скопцы ждали его возвращения на трон русских царей, что странным образом совпадало бы и с «днем страшного суда». Они верили также, что двенадцать апостолов и некоторые герои библии время от времени то один, то другой перевоплощаются в последователей или в главу их секты. Таким образом, в читинской тюрьме отбывали срок апостол Иоанн и Илья-пророк со своими семьями, так как святой дух часто нисходит и на женатых в прошлом людей.

Мой отец случайно присутствовал на их процессе в Мелитополѣ. В Петропавловской крепости в течение многих месяцев единственным его чтением были библия и евангелие, что позволило ему успешно поддерживать споры на теологические темы с этими святыми мужами. На них производило большое впечатление не только его отличное знание священных текстов, но и бесцеремонность, с которой он отзывался о царском правительстве и православной церкви. Они с удовольствием сочли бы его за воплощение самого дьявола («пророк Илья» заявил как-то: «В нем сидит сатана, он ниспослан, чтобы ввести нас в соблазн!»), если бы отец мой, так же как и они, не являлся жертвой антихриста. В результате этих противоречий моей нянькой на карийской каторге одно время была дочь Иоанна-апостола, пятнадцатилетняя Настя. Для дочери святого ей несколько недоставало святости, судя по некоторым ее манерам, смысл которых по невинности моего шестилетнего возраста я тогда не понимал.

В начале декабря 1888 года родился мой брат Евгений. По этому случаю я к своей радости провел с отцом в тюрьме целую ночь.

По-видимому, я неотступно приставал к отцу с вопросами и главным образом требовал, чтобы он научил меня читать и писать. Считая, что мне еще слишком рано учиться по-настоящему, отец заключил со мной любовную сделку, предложив взамен читать мне вслух стихи Пушкина и Некрасова. Я обожал эти чтения, мог слушать отца часами и выучил наизусть множество стихов. За это время новая партия арестантов прибыла в Читу. Среди них находилась молоденькая учительница Надежда Сигида¹, приговоренная к восьми годам каторжных работ за помощь революционерам. Она занималась со мной и давала отцу педагогические советы. Спустя несколько месяцев она пала жертвой страшной трагедии, о которой пойдет речь дальше.

В мае 1889 года моего отца с партией других арестантов отправили из читинской тюрьмы на карийскую каторгу, где уже находился Якубович. Генерал-губернатор Западной Сибири отказался продлить пребывание моего отца в Чите. Мать не рискнула отправиться в путь с грудным младенцем, и мы задержались в Чите еще год. Отсюда начинаются мои уже более последовательные воспоминания. Помню моего маленького брата, помню, как старая няня рассказывала мне сказки, а моя мать считала своим долгом по примеру отца ежедневно читать мне моих любимых поэтов. Однажды я был крайне поражен и огорчен, когда на мой вопрос «Где живет Пушкин?» мать ответила, что он умер. «Но где же он теперь живет?» — настаивал я. «Он давно умер». — «Почему?» — «Потому, что он очень болел...» На другой день я попросил ее почитать мне Некрасова «Стой, ямщик! Жара несносная...» и после чтения спросил: «Где живет Некрасов?» — «Он умер». — «Он был болен?» — «Да». — «А почему же его не лечили?» — «Его лечили». — «Он очень болел и потом умер?» — «Да». — «Значит, все писатели умирают?..» Мне хотелось плакать.

В пятилетнем возрасте я довольно прилично читал и умел составлять слова из кубиков



с буквами. Бабушка прислала нам из Парижа, где она была в ту пору со своим вторым сыном Евгением и дочерью Ольгой, иллюстрированный журнал, посвященный предстоящей всемирной выставке. Помню, что Эйфелева башня поразила мое воображение и в течение долгого времени казалась мне одним из самых больших чудес на свете. Я верил, что, взобравшись на ее верхушку, можно достать рукой до неба, и решил во что бы то

¹ Сигида Надежда Константиновна (1862—1889) — участница народовольческих кружков, осуждена в 1887 году. Покончила жизнь самоубийством на Каре после того, как подверглась телесному наказанию.

ни стало поехать в Париж и попытаться это сделать. С той минуты я начал требовать, чтобы мать учила меня французскому языку. Но мне пришлось еще целый год этого дожидаться.

После того как увезли отца, мои посещения тюрьмы, естественно, прекратились, и я с нетерпением ждал того дня, когда смогу его увидеть на Каре. Между тем на карийской каторге разыгрались чрезвычайные события. Осенью 1889 года до Читы донеслись тревожные слухи. Говорили, что одну из политических приговорили к телесному наказанию и в женской тюрьме начались волнения, перекинувшиеся и на мужскую. Страшно обеспокоенная, моя мать дважды была на приеме у губернатора области, уверявшего ее, что на Каре ничего особенного не произошло. Однако 15 ноября мать отправилась в путь одна, оставив двух детей с няней на попечение друзей. Приехав на Кару, она узнала, что за неделю до того ее знакомая по читинской тюрьме Надежда Сигида была подвергнута телесному наказанию и в тот же вечер покончила с собой вместе с тремя своими подругами. Впервые тюремная администрация осмелилась применить к политическим, уравнивая их с уголовными, телесные наказания. В мужской тюрьме четырнадцать из тридцати девяти политических заключенных приняли яд в знак протеста против бесчеловечного обращения с их соратницей; двое из них уже скончались. Моя мать бросилась к жандармскому полковнику, от которого зависела судьба заключенных. Пораженный ее неожиданным визитом в самый разгар событий, он разрешил ей в виде исключения, предварительно запросив об этом по телеграфу губернатора, повидать мужа. Большинство заключенных, в том числе и мой отец, не принимали участия в попытке к самоубийству и прилагали все усилия к тому, чтобы отговорить своих товарищей от такого рода протеста. Они решили воздерживаться от заранее обреченных на провал попыток отстоять свои права, избегая всего, что могло обост-

рить отношения с администрацией, и держались спокойно и твердо, что невольно внушало уважение их надсмотрщикам. Но все они непреклонно решили умереть, если бы к ним тоже захотели применить телесное наказание. Впрочем, отец признался моей матери, что лишь мысль о детях остановила его.

Моя мать, потрясенная до глубины души трагедией с Надеждой Сигидой, готова была разделить участь мужа, в случае если бы он решил покончить с собой. «Я не пыталась его отговаривать...» — написала она моей бабушке в письме от 26 апреля 1890 года.

Однако после дела Сигиды правительство в течение двадцати лет не осмеливалось более применять телесное наказание к политическим заключенным, и позднее его совсем отменили. Карийская трагедия была спровоцирована представителем центральной власти, бывшего проездом на Каре, генералом бароном Корфом, губернатором всей огромной области от озера Байкал до Тихого океана. Началось с того, что сей сатрап, разыгрывавший из себя «либерала» в Хабаровске, своей столице, посетил в апреле 1888 года женскую тюрьму на Каре. Елизавета Ковальская¹, одна из основательниц Рабочего союза Южной России, приговоренная к пожизненной каторге в 1881 году, не поднялась с места, когда он вошел в ее камеру, и продолжала сидеть.

Аристократический посетитель приказал начальнику над политическими, полковнику Мясюкову, перевести Ковальскую в тюрьму Верхнеудинска и поместить ее в одиночку. Приказ выполнили с крайней жестокостью. Жандармы и надзиратели ворвались ночью в камеру Ковальской, стащили ее с кровати, завернули в одеяло и переправили в служебное помещение тюрьмы, где заставили одеваться в присутствии солдат. Назавтра ее то-

¹ Ковальская (урожд. Солнцева) Елизавета Николаевна (1849 — после 1934) — участница народных кружков. Осуждена в 1881 году по делу Южнорусского рабочего союза. Каторгу отбывала на Каре.

варки объявили голодовку с требованием отозвать полковника Масюкова, которого они считали ответственным за эту грубую выходку. Когда обо всем этом узнали заключенные мужчины, чья тюрьма находилась в 15 километрах от женской, они потребовали объяснения от Масюкова. Тот клялся, что он ни при чем и что якобы не имел намерения оскорбить политическую. Он даже предложил брату одной из женщин — Калюжному¹, — тоже приговоренному к каторжным работам, повидать сестру, чтобы все уладить. Полковник жандармерии Масюков был в прошлом гвардейским офицером. Игрок и кутила, он разорился в пух и прах, ему пришлось расстаться с «высшим светом», и он устроился в жандармерии. Он старался жить в мире с политическими заключенными, и те, в свою очередь, измученные свирепым нравом его предшественников, не имели к Масюкову особых претензий. После свидания Калюжного с сестрой женщины временно прекратили голодовку. Со своей стороны, мужчины отправили высшей администрации письмо с коллективным протестом против грубого обращения с Ковальской. Департамент полиции произвел следствие и выразил Масюкову порицание... за то, что тот разрешил Калюжному свидание с сестрой и вообще вел мирные переговоры с политическими заключенными.

Летом 1889 года женщины возобновили голодовку. К ним присоединились мужчины. Несмотря на тревожные рапорты тюремных врачей, генерал-губернатор телеграфировал, что заключенные могут голодать, сколько им заблагорассудится, ему это безразлично. Большинство заключенных прекратили голодовку через несколько дней, однако положение оставалось серьезным, ибо трое из них, самые непримиримые, были полны решимости не принимать пищу, пока Масюков останется во главе тюремной администрации. Вот тогда-то, 31 августа 1889 года, Надежда Сигида, которая была воплощением кротости, пыталась дать Масюкову пощечину в присутствии

его подчиненных. Она думала, что, дабы не уронить «честь мундира», он вынужден будет подать в отставку, и таким образом, трое ее товарищей будут спасены от голодной смерти. Но «либеральный» барон Корф приказал 10 октября 1889 года дать ей в наказание сто ударов розгами. Его приказ привели в исполнение 7 ноября, а затем Сигиду поместили в камеру уголовниц, где находились уже ее подруги Калюжная, Смирницкая и Ковалевская². Все четверо приняли яд и наутро скончались. Но морфий, который в знак солидарности проглотили в мужской тюрьме четырнадцать каторжан, не дал смертельных результатов. Тогда на следующий день девять человек снова отравились, и двое из них умерли: Калюжный и Бобохов³. Один из их товарищей, Геккер⁴, живший на поселении за стенами тюрьмы, тоже сделал попытку к самоубийству, тяжело ранив себя выстрелом из револьвера. Таковы были факты, которые узнала моя мать по своему прибытию на Кару. Они вошли в историю русского революционного движения под названием «Карийская трагедия».

Советский юрист, профессор М. Н. Гернет подробно рассказывает о ней в III томе «Истории царских тюрем» (Москва, Юриздат,

¹ Калюжный Иван Васильевич (1858—1889) — народовец, в 1883 году осужден по процессу 17-ти в каторжные работы.

² Калюжная Мария Васильевна (1864—1889) — член «Народной воли», сестра И. В. Калюжного. Смирницкая Надежда Симоновна — член «Народной воли», жена И. В. Калюжного. Осуждены по процессу 17-ти. Ковалевская Мария Павловна (1849—1889) — член «Народной воли», осуждена в 1879 году. Все трое покончили жизнь самоубийством на Каре в знак протеста против истязаний заключенных.

³ Бобохов Сергей Николаевич (1858—1889) — народовец, осужден по процессу 17-ти. Покончил жизнь самоубийством на Каре, оставив записку: «Прощайте, братья! Страдайте, боритесь — наше дело победит!»

⁴ Геккер Наум Леонтьевич (1852—1920) — публицист, член Южнорусского союза рабочих. Приговорен и десяти годам каторги, прибыл на Кару в 1884 году.



1959 г.). Безусловно, я в детстве ничего не знал обо всем этом, и память не подсказывает мне, что в поведении моей матери, когда она вернулась в Читу, произошли какие-либо перемены. Но, перечитывая теперь письма, которые она в ту пору писала своим родным, я вижу, в каком страшном смятении, отчаянии и тревоге она пребывала.

Чита, 7 января 1890 года:

«...Хотя чаша горечи переполнена, но в душе еще не живет отчаяние. За Васю я спокойна, убеждена глубоко, что он до конца своей жизни сохранит красоту своей души и ясность ума».

Из письма от 24 февраля 1890 года:

«...Не скрою, родная, бывают минуты ужасной душевной муки, думается умереть, и basta, чем жить под вечным страхом, но голос другой говорит: стыдно, стыдно малодушничать...»

От 26 апреля 1890 года:

«...Я понимаю Вашу скорбь, Вашу тоску, родная! Вы хорошо знаете своего Васю и знаете, что он бы после такого надругания не жил. Не будь у нас детей, Вася бы не задумался сейчас, после того как узнал об этой дикой расправе. Я сама чувствовала, что не будь этих птенцов около меня, то не стала бы жить. И я бежала от них туда, так как, скажу откровенно, что боялась за Васю, не

скрою, я нисколько не думала убеждать его, я только решила, что если он умер, то и мой конец там будет...»

Через верные руки моя мать Анна Марковна Сухомлина послала письмо о случившемся за границу брату своего мужа Евгению Елисеевичу Колбасину, жившему в ту пору во Франции. Он сделал все от него зависящее, чтобы ее письмо, конечно, без подписи, попало в иностранную печать. Вот что он пишет моей бабушке 21 марта 1890 года:

«...О возмутительных событиях, происшедших на Каре, английская пресса без различия партий подняла целую агитацию против подобных варварств, и сам Гладстон, которого нельзя заподозрить во враждебности к России, с высоты трибуны заявил, что такие гнусные жестокости, как сечение политических осужденных, да еще женщин, позорным пятном ложатся на человечество...»

Во всяком случае, после зимы 1889/90 года во мне начали, по-видимому, просыпаться первые сомнения относительно удовольствий тюремной жизни. Мать рассказывает в одном из писем, что, когда она читала новую книгу, у меня была привычка обязательно спрашивать о ее содержании, и вот однажды я вдруг спросил: «Мама, скажи, есть ли книга, где написано, отчего папе нравится

быть каторжником и переезжать из тюрьмы в тюрьму?» — «Ты узнаешь, когда вырастешь», — ответила мне мать. Я и в самом деле узнал это на собственном опыте, как множество людей моего поколения. По счастью, мы были почти последними из тех, кому довелось близко познакомиться с царскими тюрьмами.

Когда я снова увидел отца в канцелярии карийской тюрьмы, радость моя была омрачена тем, что наше свидание происходило в присутствии коменданта, начальника конвоя и нескольких жандармов. От смущения я почти ничего не сумел сказать отцу.

Мы прибыли на Кару в июне 1890 года. Карийская каторга находилась в 100 километрах от Читы, на берегу золотоносной речки Кары, впадающей в Шилку. Область Нерчинских рудников лежала в гористой местности между двух рек — Шилкой и Аргунью. При слиянии они питают величественный Амур, который впадает в Тихий океан. Необъятные бесконечные дремучие леса — сибирская тайга — покрывали в те времена большую часть этого малонаселенного края. Деревни попадались редко. Население существовало главным образом охотой и рыбной ловлей. Золотоносные земли здесь, так же как и залежи свинца и серебра, принадлежали царю. Ими распоряжался «Кабинет его величества». Некоторую часть из них сдавали в аренду частным лицам, а для разработки приисков пользовались даровым трудом заключенных. На золотых приисках Кары работали почти исключительно каторжане. Река Кара, длиной в 25—30 километров, берет свое начало в горах Станового хребта. Она течет по широкой долине меж лесистыми холмами, или, как их называют в Сибири, сопками.

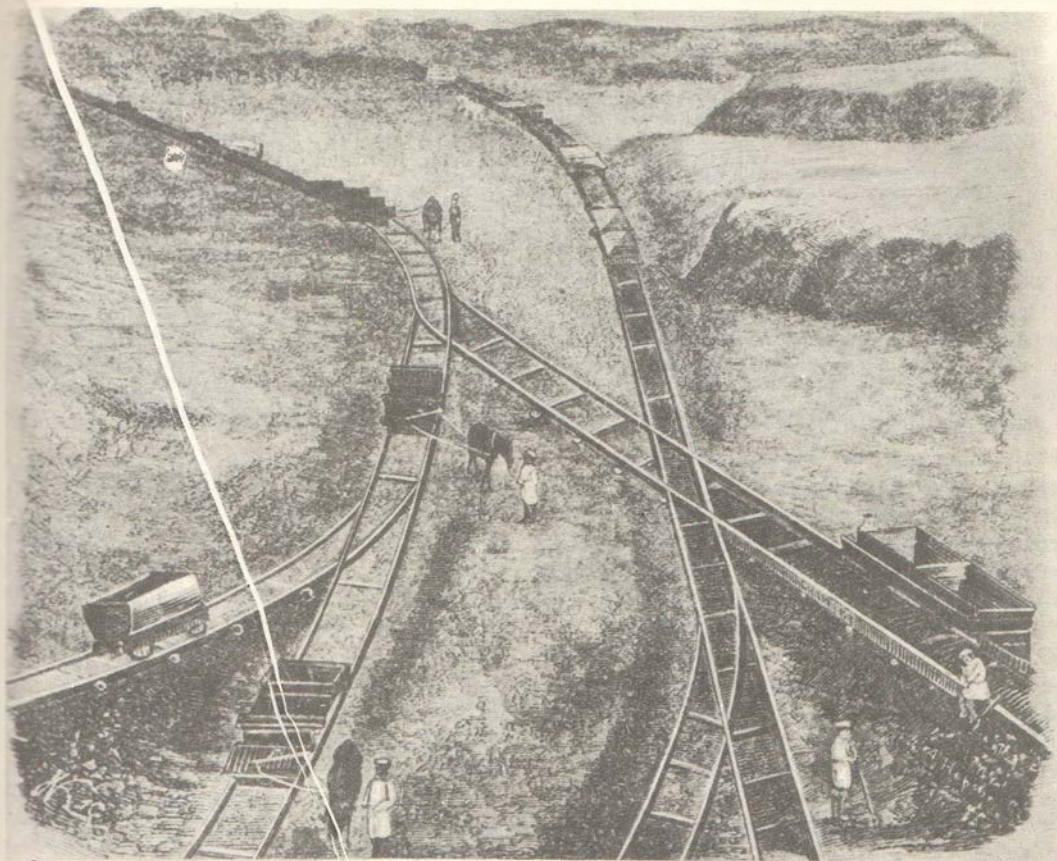
Карийские прииски считались в середине прошлого столетия самыми богатыми в Восточной Сибири. Знаменитый начальник каторги Разгуляев даже пообещал царю добыть за одно лето 100 пудов (или 1600 килограммов) чистого золота. Он добыл 75 пудов (1200 килограммов), но около двух тысяч ка-

торжан и крепостных погибли тогда от непосильного труда или под розгами. Когда мы поселились на Каре, Разгуляева уже не было в живых, но память о нем жила в печальных песнях, и от Читы до Владивостока имя его произносили с ужасом. К тому времени золотоносная руда начинала уже истощаться, и на приисках добывали всего около 500 фунтов золота в год, не считая, однако, незаконную добычу, которую тайно добывали многочисленные старатели. К 1891 году губернатор решил было закрыть карийскую каторгу и перевести значительную часть каторжан-уголовников на Сахалин.

Карийская каторга состояла из семи тюрем, которые размещались в четырех деревнях, расположенных по берегам реки. В них содержались две тысячи уголовных преступников, мужчин и женщин. Еще две тысячи человек, уже отбывших наказание, жили вне тюрьмы на поселении — в бараках и избах. Четыре пехотных казачьих батальона несли конвойную службу и обеспечивали охрану. Служащие тюремной администрации и прискового управления, ссыльные и небольшое число местных сибирских крестьян составляли остальное население.

Политических заключенных содержали отдельно, в специально для них построенной политической каторжной тюрьме неподалеку от поселка Нижнекарыйска. Семьи каторжан и так называемая вольная команда, или вольнокомандцы, то есть каторжники, отбывшие в тюрьме испытательный и исправительный сроки, жили в самом поселке, который был разбросан по склону невысокой сопки и спускался к реке.

Политические были под начальством жандармского полковника, который подчинялся непосредственно департаменту полиции в Санкт-Петербурге. Внутреннюю охрану, как и в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, несли жандармы. К тому времени как мой отец прибыл на каторгу, режим стал более приемлемым после серии столкновений, конфликтов и голодовки, но ненадолго. По-



литические заключенные составляли равноправную артель, которая пользовалась некоторой самостоятельностью. Они выбирали из своей среды старосту, который был как бы их представителем перед тюремной администрацией и ведал их делами. Суммы, предназначенные на содержание узников, и деньги, которые они получали от родных, поступали в общую кассу артели. Часть этих денег тратили на питание, другую часть — на покупку книг, третью — на кассу взаимопомощи и, наконец, четвертую распределяли поровну между всеми политическими на их личные нужды: табак, чай, дополнительный сахар и т. д. Разумеется, староста и остальные каторжане не

получали на руки денежных знаков, все операции производились через коменданта каторжной тюрьмы, который, как было выяснено позднее, часто крал деньги заключенных. Артель имела в своем распоряжении прекрасную библиотеку, где были книги на русском, французском, английском, немецком языках и даже произведения Маркса и Энгельса, скрытые переплетами, на обложках которых стояли вполне благонамеренные заголовки. Заключенные могли учиться, возделывать огород во дворе тюрьмы и заниматься ручными ремеслами. Но этот либеральный режим длился недолго. После «Карийской трагедии» политических заключенных подчинили режиму

уголовных, и тех из них, которые еще не прошли испытательного срока, перевели на каторгу в Акатуй для работ на серебряных рудниках. Я еще вернусь к этому.

Я ничего не помню о нашем переезде из Читы на Кару. Мы вместе с сестрой одного из товарищей моего отца проделали этот путь на почтовых и на пароходе. На Каре мать купила за сто рублей старую бревенчатую избу, где мы и поселились. Вокруг со всех сторон теснились невысокие, друг на друга похожие, овальные сопки, и посередине пробегала вся изрытая золотоискателями речонка Кара. Поселок замыкали два совершенно одинаковых холма, один из них назывался Арестантская башка, ибо делился на равные части — одну лысую, другую лесистую. В конце поселка жила вольная команда из политических. Много избушек, похожих на нашу, ютились по обе стороны Арестантской башки и по берегу реки. Несколько изб более просторных выходили на главную улицу. В центре поселка вокруг широкой площади, на которой по праздничным дням играл военный духовой оркестр, стояли постройки, где помещались официальные учреждения, дома чиновников и офицеров, три лавки, казарма и т. д.

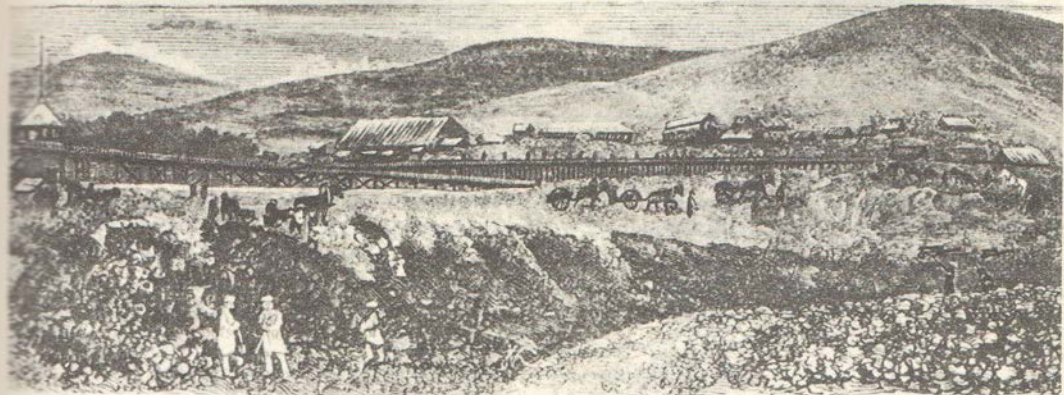
Мы провели на Каре шесть лет. Первые три года мы жили в нашей избе — она очень напоминала избушку на курьих ножках из моей книжки с картинками «Русские народные сказки». Что касается до так называемой «обстановки», то многие годы, кроме самого необходимого, у нас ее вовсе не было. Но благодаря моей матери в нашем жилище было всегда уютно и красиво. С весны у нас на столе стояли букеты цветов. Позднее у каждого из нас, детей, была своя грядка, и в наши каждодневные обязанности входила поливка цветов и огорода.

Отец поселился вместе с нами в сентябре 1890 года. До тех пор мать виделась с ним лишь в присутствии жандармов во время свиданий в канцелярии тюрьмы. Помню, как однажды мы встретили его на дороге, когда

он с группой товарищей из вольной команды шел из тюрьмы на работу. Все они были в одежде каторжников, но уже без кандалов. В течение еще долгого времени мой отец носил арестантскую одежду. Но это ни в малейшей степени не смущало меня. Я считал вполне нормальным, что жандармы и надзиратели носят форму — синюю с черным, а все друзья нашей семьи одеты в серое. Как ясно помню я отца в его серой плоской шапочке — он ловко поднимается на крутой берег реки, на плечах у него коромысло с ведрами, полными воды, и он боится расплескать их.

Каждое утро я присутствовал на переключке «вольных» арестантов. Они собирались у нашей избы, и один из надзирателей со списком в руках проверял, все ли в сборе. По вечерам надзиратель обходил избы, чтобы посмотреть, вся ли вольная команда налицо. Много позднее, после рождения моей сестры, мы переселились в настоящий дом, который, он принадлежал раньше какому-то чиновнику. На этот раз у нас было целых три комнаты и кухня, большой двор, конюшня, сеновал, огород. Дом выходил на главную улицу, неподалеку от каторжанского госпиталя и кладбища, у подножья Арестантской башки. Вот где я провел самые счастливые годы моей жизни.

Ибо что касается меня, я был счастлив. Мои брат и сестра тоже. Но теперь, когда я мысленно возвращаюсь более чем на шестьдесят лет назад — шестьдесят лет! — я понимаю, что это было чудо и что сотворила его любовь. Мы видели вокруг себя только улыбающиеся лица друзей. У нас была как бы огромная семья, многочисленные дядюшки и тетушки, которые нас лелеяли. И в самом деле, в некотором роде это была огромная семья: несколько десятков мужчин и женщин, крепко связанных общей целью, объединенных братством борьбы и страданий. Мы, дети, были окружены нежностью и любовью не только родителей, но и всех их товарищей. Они были нашими преданнейшими



друзьями, старались доставить нам удовольствие, гуляли с нами, рассказывали разные истории, к рождеству сами делали для нас елочные игрушки, готовили нам подарки, всячески нас баловали. Мы, в свою очередь, были горячо к ним привязаны.

Артель, созданная в тюрьме, продолжала свою деятельность и в вольной команде. В лице Зунделевича¹ или Зунда, артель имела великолепного старосту, который уже и ранее заслужил репутацию блестящего организатора, как начальник подпольного технического управления «Земли и воли». У артели было несколько коров и лошадей. Вначале члены вольной команды продолжали питаться вместе, но при прибытии их семей общую кухню ликвидировали. Артель снабжала своих членов всем необходимым из лавки.

Конечно, жизнь наших родителей была очень тяжелой, особенно первые годы на каторге. Но мы, дети, ни в чем, пожалуй, не нуждались: у нас всегда было достаточно ячменного кофе, каши, сала, заменявшего масло (которое было в редкость), варенья. К праздникам бабушка посылала нам игрушки, лакомства и книги. В нашей семье, как и в семьях наших друзей, детей никогда не били. Я не получил ни единого шлепка и никогда не видел, чтобы шлепнули моих брата и сестру. Отец допускал единственное наказание,

но оно было ужасным! — и состояло в том, что он говорил нам: «Сними башмаки, ляг на кровать и обдумай свое поведение». Обдумывание никогда не длилось более четверти часа. Поразмыслив, мы приносили повинную².

Летом артель отправлялась косить сено за несколько километров от села, а позднее — в тайгу заготавливать на зиму дрова, их привозили по первому снегу на санках.

Я читал в мемуарах одного из бывших карийских каторжан, что эти работы были не-

¹ Зунделевич Арон Исаакович (ок. 1854—1923) — член «Земли и воли» и «Народной воли». Осужден по процессу 16-ти (1880) на бессрочную каторгу.

² Из письма Анны Марковны Сухомлиной от 12 января 1890 года из Читы: «Строгостью с Васюком ничего не сделаешь, у него есть и мягкость, и кротость, и сосредоточенность. Он бывает тигренным, но злоба у него быстро улетучивается и он с опущенными глазами является ко мне, протягивает ручки! Но сказать «извини» — то ему легче, как видно, опять учинить бунт без всякой причины, чем сказать это слово. Я, конечно, никогда не требую извинения, не в моей это системе, и никогда не наказываю. По-моему, он совершенно похож на Васю (на отца). Он очень живой мальчуган, но при проявлении своих добрых или нежных чувств он словно стесняется и конфузится. Мне кажется, родная моя, что у Вашего Васи в детстве уже была сердечная непосредственность, та чуткость души, которая никаким воспитанием или образованием не может привиться. У Васюна я этого не замечаю, он тогда воспламенится добрым чувством, если поймет умом...»

посильно тяжелыми для него и для многих его товарищей, ослабевших от долгого пребывания в заключении и не имеющих ни малейших способностей к ремеслу косца или дровосека. Для меня же это были самые захватывающие, интересные события в году, я ждал их с не меньшим нетерпением, чем рождество или пасху. В течение многих дней предстояло жить в шалаше, в дремучем лесу на берегу ручья или на лесной поляне. В то время как мужчины рубили деревья или косили, я отправлялся собирать грибы или ягоды, помогал матери и другим женщинам разводить костер и готовить обед, сторожил лошадей. Каждое лето устраивали коллективные походы по грибы и по ягоды разных сортов, которые составляли важное дополнение к нашему питанию. Все сибирские семьи заготавливали на зиму по нескольку кадок вкуснейших солений из белых грибов или груздей, а также варенья из темно-красной брусники или голубики, которую каторжане прозвали сибирским виноградом. В тайге мы находили склоны, сплошь заросшие кустами голубики, чьи темно-синие ягоды, твердоватые и сочные, немногим больше ягод черники, очень вкусны. Сборы голубики и брусники я считал почему-то самыми интересными, но ходили мы также и за земляникой, малиной, смородиной, а самые преданные делу мужчины отваживались врезаться в тучу комаров, чтобы насобирать в болотистых местах редкую и удивительно вкусную ягоду, называемую «костяника». В те времена в Сибири не было фруктовых деревьев, за исключением дикой яблони с крошечными, кислыми-прекислыми плодами, рябины и дикой вишни с малюсенькими терпкими вишенками. До нашего возвращения в Россию, то есть до 16-летнего возраста, я не пробовал настоящих яблок и груш. Зато необозримые кедровые леса с великолепными кедрами высотой в 20—30 метров поставляли тонны вкуснейших орешков, из которых жали также и кедровое масло. Кедровые орехи были неременным угощением на вечеринках, на праздниках, на со-

браниях во всех крестьянских избах Забайкалья. Их называли «сибирский разговор», так как сибиряки могли сидеть вместе, грызя орешки, и словечка не проронить за целый вечер! Из кедровой смолы приготавливали густую, вязкую массу, похожую на американскую чунинг-гомму, но несравненно более приятную на вкус. Как и все мальчишки нашего села, я постоянно жевал «серку», несмотря на насмешки моих родителей и их знакомых.

Летом я жил как совершеннейший дикарь. Мои друзья-товарищи, за малым исключением, были детьми сибирских крестьян или уголовных. С ранней весны целой ватагой мы делали набеги на Арестантскую башку, где находили съедобные растения — белые цветы кашки, сладковатые корни саранки, щавель и дикий чеснок. Когда весной на березах вспухали почки, мы надрезали кору и пили сладкий березовый сок. Мы поедали массу растений, которыми цивилизованные люди либо пренебрегают, либо не подозревают, что растения эти не только съедобны, но и очень вкусны. Чего мы только не ели! Кстати, без малейшего вреда для наших желудков.

Лето на Каре было хоть и коротким, но очень интенсивным. Нигде в Европе я потом не встречал столь буйной растительности, такого поразительного разнообразия и обилия цветов, как в тайге и степях Забайкалья. Можно было подумать, что природа спешит за два-три месяца показать все, на что она способна, щедро рассыпая богатства формы и красок, погребенные в остальное время года под холодным белым покровом. Белые, красные, пестрые лилии, бархатно-алые или ярко-желтые в черную крапинку цветы львиного зева, лиловые ирисы, розовые ромашки, курчавые листья и багряные цветочки саранки. Альпийский эдельвейс рос на полянках... Но что придавало сибирскому пейзажу одному ему присущее, незабываемое очарование, так это цветение багульника, покрывавшего склоны сопки и гор. Во время прогулок в тайгу

нам случалось взбираться на вершину сопки, к нашему взору открывалась долина, убегавшая в бесконечную даль, меж двумя рядами розовых и лиловых холмов, пламенеющих на солнце. Единственный недостаток: сибирские цветы красивейших оттенков лишены запаха. Кроме ландыша, любимого цветка моей матери. Он пахнет в Сибири особенно горько и нежно. Мать и ее подруги устраивали специальные прогулки за ландышами.

Зима приносила с собой не менее захватывающе-интересные занятия. Дел было по горло: необходимо было, во-первых, не забыть, как только выпадет снег, обежать всех соседей с традиционным приветствием: «С первым снежком!» Потом, когда установится санный путь, запрячь нашу лошадку и ехать вместе с отцом за дровами, а по дороге жевать всем встречным доброй зимы. И наконец, конечно, салазки и коньки, снежные деды-морозы, игра в снежки и лихорадочное ожидание рождественских праздников с их старыми русскими и украинскими обычаями: колядки, посещение волхвов, веселые группы ряженых, знакомых и незнакомых, гаданье... А главное — рождественская елка с бабушкиными подарками из России, которую мы с братом представляли себе в виде большой, далекой деревни.

Ни у кого из политических не было детского возраста. Поэтому, как я уже сказал, моими товарищами были исключительно деревенские мальчишки, сыновья крестьян или уголовных. Мы играли в бабки, в лапту, а также и в менее невинные игры, как, например, в торговлю спиртными напитками. Одна половина играющих изображала контрабандистов, которым необходимо было доставить товар (символичный!) на «золотые прииски», где продажа алкоголя запрещена. Другая половина изображала солдат и нападала на контрабандистов, чтобы воспрепятствовать доставке. Обе враждующие партии старались превзойти друг друга в хитрости, в ловкости и быстроте. К несчастью, в пылу увлечения дело подчас доходило до яростных потасо-

вок. Впрочем, я принимал участие и в свирепых драках, где мы наносили друг другу иногда настоящие раны. Мальчишки нашего конца деревни вели войну с мальчишками противоположного конца. Мы швыряли друг в друга камнями, избегая рукопашной. Задача состояла в том, чтобы заставить врагов врасплох, когда под рукой у них не было снарядов, нагасть на них с флангов и рассеять. У нас не было предводителя, и мы принимали решения всеобщим голосованием на демократических началах. Но у наших врагов был предводитель — то была девчонка и к тому же воспитанница артели политических. Ее мать, сибирячка, оставшись вдовой с несколькими детьми, вышла замуж за политического каторжанина, и его товарищи помогали ему воспитывать детей. Маленькая Агнесса позднее прекрасно училась и примкнула в 1908 году к партии социал-демократов, но в «нежном» возрасте мы с ней были врагами. После особенно яростной битвы, когда ей чуть не пробili голову камнем, энергичное вмешательство взрослых положило конец военным действиям. Все это происходило, когда мне было уже семь-восемь лет. Родители мои, очевидно желавшие немного меня цивилизовать, познакомили меня с детьми Пахорукова, одного из тамошних мелких служащих, с девочкой моих лет и ее братом Петей, годом моложе меня. Сам Пахоруков был добродушным, скромным человеком, он старался как можно реже вмешиваться в дела политических, за которыми ему полагалось наблюдать. Эти независимые и смелые мужчины и женщины, из которых многие к тому же были аристократического происхождения, невольно внушали ему уважение. И вот несколько раз по случаю праздников меня приглашали в семью Пахорукова. Я охотно играл с Петей, толстенным румяным мальчиком, но настоящей дружбы не завязалось: он оказался слишком изнеженным для моего вкуса. А что касается его сестры, то знакомство с ней только усилило презрение, которое я в ту пору питал к нарядным девчонкам с бан-

тами. Ведь такие, как она с Петей, никогда не взбирались на Арестантскую башку, никогда не решались удрать за околицу, никогда не видели ни трупа убитого человека, ни волка. Ибо я страшно гордился тем, что видел и то и другое. Что касается трупа, то это было еще под сомнением; мальчишки обнаружили его в одной заброшенной избе, и я вместе с другими бегал смотреть на него сквозь щель между бревнами. Сам я ничего не различил в темноте, но один из моих товарищей поклялся, что видит «что-то синезеленое!», и мы ринулись прочь с воплями ужаса. Что до волка — тут уж сомнений быть не могло. Летом до захода солнца я ежедневно ездил верхом (конечно, без седла — у нас была смиренная сибирская лошадка) вместе с другими мальчишками. Мы гнали лошадей за километр от села на водопой к быстрой речушке. Однажды вечером, когда мы приближались к водопою, наши лошади вдруг встали на дыбы и начали ржать, и мы увидели совсем неподалеку большого волка, который, очевидно, тоже пришел напиться. Мы стремительно повернули коней и, не помня себя, помчались обратно, крича как оглашенные. Обезумев от дикого шума, волк, вместо того чтобы уйти в лес, ринулся в долину, на краю которой стояла тюрьма, и его застрелил сторожевой казак. Долго не смолкали разговоры об этом приключении, и понемногу оно стало превращаться чуть ли не в героический поступок, хотя на самом деле в минуту опасности у нас, как говорится, «душа в пятки ушла».

Если к сыну Пахорукова я остался равнодушен, то другой мальчик, четырьмя годами старше меня, произвел на меня сильнейшее впечатление, когда мне было лет семь. С одной стороны, потому, что он прибыл прямо из России, а с другой — оттого, что был первым гимназистом, которого я увидел. Он появился на Каре со своим отцом. Доктор Богомолец получил разрешение повидать жену, осужденную на каторжные работы. Богомолец провел с нами все лето и ползимы,

и я очень гордился тем, что играю с таким «взрослым мальчиком». С тех пор я не встречал его. Маленький Саша стал знаменитым эндокринологом Александром Богомольцем. Позднее я узнал трагическую историю его семьи. Его мать, Софья Богомолец, была дочерью богатого помещика Присецкого. Все его дети примкнули к революционному народолюбческому движению. Софья Богомолец стала пропагандисткой среди рабочих на юге России. В 1881 году она была арестована в Киеве и приговорена к десяти годам каторжных работ. Маленький Саша родился в киевской тюрьме. Его воспитывал отец, который, хоть и симпатизировал идеям своей жены, тем не менее оставался в стороне от революционной деятельности, всецело посвятив себя медицине. Софья Богомолец была страстной и цельной натурой. Она не допускала ни малейшей уступки царскому правительству и, не скрывая своего презрения, продолжала борьбу и на каторге, отстаивая свое достоинство женщины и революционерки. За попытку к побегу ей прибавили пять лет срока и потом еще год за «неподчинение». Она заболела туберкулезом в карийской женской тюрьме. Муж ее приехал весной 1891 года и пытался добиться ее перевода в вольную команду, но напрасно. Генерал-губернатор Восточной Сибири, от которого зависели политические каторжане, оставался неумолим. С большим трудом доктору Богомольцу удалось поместить жену в больницу, где ей отвели отдельную палату и хорошую сиделку. Несчастная женщина обрела свободу за три дня до смерти. В лютую стужу ее товарищи, в том числе и мой отец, отнесли гроб на кладбище Усть-Кары за 15 километров от нашего села. Обо всем этом я в ту пору и не подозревал, как не знал ничего о телесном наказании Сигиды и последующей за этим трагедии, не знал ни о су-

1 Богомолец Александр Александрович (1881—1946) — патофизиолог, академик.

масштабности Тринитатской¹, ни о смерти Роскиковой².

Среди друзей наших родителей мы с братом Евгением отмечали двух или трех за их странные манеры и особенно за то, что они были единственные, кто ни в малейшей степени не интересовался нами. Мы знали — ибо случайно слышали об этом разговор старших, — что у одного из них, Фомичева³, была «религиозная мания», а у другого, Льва Златопольского⁴, «мания изобретательства». Что это означало, мы не понимали. Фомичев жил один в избе, стоявшей на отшибе, и иногда неделями нигде не показывался. Тогда мой отец отправлялся навестить его и часто брал меня с собой. Напрасно я шарил глазами по избе, стараясь разглядеть «религиозную манию», я видел лишь бледного угрюмого человека с грустным взглядом, спорившего с моим отцом о непонятных вещах. Нервная болезнь Фомичева началась в карийской тюрьме. Сын бедного деревенского пономаря, он, став студентом филологического факультета, был арестован по делу Дмитрия Лизогуба и приговорен к пожизненной каторге. Дмитрий Лизогуб, богатый украинский помещик, отдал все свое состояние партии «Земля и воля» и был арестован по доносу своего управляющего. Дмитрия Лизогуба приговорили к смертной казни и повесили в 1879 году в Одессе.

Фомичева за попытку к побегу надолго приковали к тачке, которая служила для перевозки щебня и песка. Он продолжал изучать русскую историю и на каторге. Без конца раздумывая над трагическими провалами «Народной воли», этой горсти героических интеллигентов, павших во имя «воли народа», но народом не понятых, Фомичев пришел к заключению, что главной ошибкой революционеров были нападки на царя и монархию. У него началась ипохондрия, он стал терзаться угрызениями совести, перестал уметь держать себя в руках. Случайно оказавшись свидетелем телесного наказания одного уголовного, он ударил киркой первого

представителя администрации, кто попался ему под руку, — пострадавшим оказался бедняга Пахоруков, который, к чести его будья сказано, не дал никакого дальнейшего хода этому делу. Несмотря на приверженность к монархии и свою религиозность, Фомичев упрямо отказывался подавать прошение о помиловании на царское имя. Товарищи любили и уважали его за стойкость и жалели его за то, что он был душевно болен. Просить о помиловании, что всегда вело к уменьшению срока наказания, считалось позором среди революционеров, и тех, кто подписывал такое прошение, исключали из коммуны заключенных, переставали с ними общаться. Горсточка таких была на Каре — их называли колонистами, потому что они жили колонией, отдельной от всех.

Что касается Льва Златопольского, приговоренного к двадцати годам каторжных работ за участие в покушении на Александра II, это был, как говорили, очень способный математик и техник, но пребывание в одиночке Петропавловской крепости, а затем каторга оказались для него роковыми. Известие о смерти брата его Савелия⁵ в казематах



¹ Тринитатская Екатерина Михайловна (род. 1853) — член «Народной воли». В 1887 году приговорена к смертной казни, замененной каторжными работами. На Каре заболела психическим расстройством.

² Роскикова Елена Ивановна (1847—1893) — народница, организатор подполья под Херсонское княжество с целью экспроприации денег для революционных нужд. В 1880 году приговорена к бессрочной каторге. На Каре заболела психическим расстройством.

³ Фомичев Григорий Иванович (ок. 1854—1917) — участник народнических кружков в Одессе. В 1879 году приговорен к бессрочной каторге, прибыл на Кару в 1880 году.

⁴ Златопольский Лев Соломонович (1847—1907) — член «Народной воли», осужден в 1882 году по процессу 20-ти.

⁵ Златопольский Савелий Соломонович (1855—1885) — член Исполкома «Народной воли», по процессу 17-ти приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости, где умер от чахотки.

Шлиссельбурга окончательно вывело его из душевного равновесия. Но его сумасшествие, или «мания изобретательства», было тихим и неопасным. Он выдумывал социальные системы, воздухоплавательные аппараты, стиральные машины, международный язык, новые кушания, изобретал новые способы лечения и предлагал реформу градоустройства, проектируя «круглые города». Ежедневно он приходил к нам, так как в нашем погребе хранил горшочки с таинственными кушаниями своего изобретения, которые страшно интересовали нас с братом. Но нам он никогда не сказал ни единого слова.

Вокруг нас происходили еще многие другие драмы, о которых я не подозревал и которые понял лишь много лет спустя. Сын одного украинского священника, молодой философ Яцевич¹, перед которым открывалась блестящая университетская карьера, веселый, остроумный, прекрасный оратор — товарищи считали его самым одаренным человеком среди карийских каторжан, — начал пить и постепенно стал настоящим алкоголиком, запойным пьяницей... так же как и Алексей Федорович Медведев². В прошлом почтальон, Медведев в 1878 году участвовал, переодевшись в жандармскую форму, в организации побега из тюрьмы одного из главарей «Земли и воли», за что и был приговорен в 1879 году к смертной казни, замененной каторжными работами. На Каре, куда его доставили в 1884 году, Медведев проявил себя как способнейший мастер на все руки — механик, столяр, часовщик, ювелир, гравер. Но он заразился весьма русской болезнью — дипсоманией и умер от запоя в Чите.

Хотя остальные друзья моего отца и не потеряли рассудка и не погрязли в пьянстве, но, во всяком случае, каждому из них пришлось очень много выстрадать. Петропавловская крепость и каторга оставили на них неизгладимые следы. И если они устояли и сохранили до самой Октябрьской революции веру и убеждения своих молодых лет, то

только оттого, что это были люди необыкновенной силы духа.

На мою долю выпали честь и счастье провести на Каре и в Чите детство и первые годы юности среди уцелевших членов блестящей плеяды семидесятых годов, членов «Земли и воли» и «Народной воли».

Позднее дружба и любовь старых карийцев, после их освобождения рассеявшихся по всей Руси и даже по границам, никогда мне не изменяли. Многие из них неразрывно связаны с нашей семьей. Длинной вереницей они проходят в моих воспоминаниях. И первым идет «капитан». Его перевели из тюрьмы в вольную команду в один и тот же день с моим отцом, и он поселился неподалеку от нас с женой, которая, как и моя мать, добровольно последовала за мужем.

Капитан Николай Адольфович Люри³ был французского происхождения; его отец или дед, точно не помню, поселившись в Москве, женился на русской. Воспитанный в России, капитан стал до мозга костей москвичом, до такой степени москвичом, что товарищи добродушно подсмеивались над его «великорусским шовинизмом». Он был военным инженером и строил крепость в Польше, когда случайно познакомился с одним польским революционером. Это вполне обычное знакомство привело к тому, что его арестовали и он предстал перед военным судом в Варшаве.

¹ Яцевич Николай Васильевич (1861—1912) — участник харьковских народнических кружков, вел пропаганду среди рабочих. Прибыл на Кару в 1880 году.

² Медведев Алексей Федорович (1852—1926) — участник народнических кружков и террористических актов. В 1879 году приговорен под именем Фомина П. Н. к смертной казни, замененной бессрочными каторжными работами. На Кару прибыл в 1884 году.

³ Люри Николай Адольфович (1857—1931) — военный инженер, осужден в 1885 году за содействие партии «Народной воли» и принадлежность к партии «Пролетариат» к смертной казни, замененной двадцатью годами каторги. На Кару прибыл в 1886 году.

же вместе с членами социалистической польской партии «Пролетариат». Капитан, кажется, не разделял полностью убеждений своих знакомцев, но как революционер и русский патриот он отказался свидетельствовать против польских патриотов и был вместе с ними приговорен к смертной казни. На суде он держался благородно и стойко. Некоторых из обвиняемых повесили, другим смертную казнь заменили каторгой. Основатель партии, автор ее программы Людвик Варыньский¹ был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где вскоре скончался. Двух польских интеллигентов, Тадеуша Рехневского и Феликса Кона, а также капитана Люри сослали на Кару. Тут только капитан по-настоящему познакомился с политическими и социальными доктринами, широко распространенными среди тогдашней революционной молодежи. Он принял некоторые из главных положений, но не соглашался со многими другими. Для него самое важное в жизни был патриотизм. Он считал, что для величия России необходимы реформы, и реформы радикальные. Чтобы ввести их, безусловно, нужна революция, но опасно разрушать монархический принцип. У капитана Люри не было ни «комплексов» Фомичева, ни «религиозной мании». Это был трезвый, спокойный, иронический ум. Он был математиком и талантливым инженером. Отбыв срок наказания, он получил разрешение поселиться в Чите и сделал блестящую карьеру на постройке Дальневосточной железной дороги. Все, кто его знал, любили и уважали его. Жны, дети, его обожали, особенно моя сестра — его любимица. У него была большая волнистая борода и печальная улыбка. Он был немногословен, но иногда говорил нам пресмешные вещи с невозмутимым видом. У него не было детей. Жена капитана Надежда Дмитриевна была близкой подругой моей матери. Аристократического происхождения, окончив Институт благородных девиц, она вышла замуж за Люри. Она мужественно переносила в течение трех-четырех лет жизнь, полную лишений, в избе глухого сибирского

села. И вдруг однажды уехала в Россию. Не знаю, что послужило причиной ее внезапного отъезда, но, кажется, это было тяжким ударом для капитана.

Двое других близких друзей нашей семьи, неразлучные Владимир Чуйков и Алексей Преображенский², были моими первыми учителями. Чуйкова прозвали Чук. Маленький и лысый, с морщинистым лицом, он нравился нам, детям, своей доброй улыбкой и ласковым обращением. Он был осужден на двадцать лет каторжных работ по процессу Веры Николаевны Фигнер, которая в то время сидела в заключении в Шлиссельбургской крепости.

(Много лет спустя я познакомился с Верой Николаевной, когда она уже после двадцатилетнего одиночного заключения в Шлиссельбурге приехала в 1907 году на несколько месяцев к сестре моего отца Ольге Елисеевне Колбасиной, жившей в ту пору в Финляндии.) В нашей семье о Vere Николаевне говорили всегда с восхищением и величайшим уважением, и я очень любил глядеть на ее портрет в альбоме моей матери: на нем была изображена молодая женщина, красивая и элегантная, с длинными косами, заложенными вокруг головы. Одна она в этом альбоме снята не в тюремной одежде. В моих глазах она была легендарной женщиной, и отблеск ее славы осенял Чуйка. Он стал давать мне уроки арифметики и географии, когда для меня настало время готовиться к экзаменам в гимназию.

Его друг Алексей Иванович Преображенский, несколькими годами старше его, приго-



¹ Варыньский Людвик (1856—1889) — организатор партии «Пролетариат», первой революционной партии польского рабочего класса. Арестован в 1883 году и в 1885 году приговорен к шестнадцати годам каторжных работ. Умер в Шлиссельбургской крепости.

² Преображенский Алексей Иванович (р. 1852) — участник народнических кружков, член партии «Черный передел». Арестован в 1881 году, приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Прибыл на Кару в 1881 году.

воренный к бессрочной каторге, носил большую окладистую бороду, как и полагалось семинаристу в прошлом. Он преподавал мне латынь и закон божий — обязательные предметы в дореволюционных учебных заведениях, но без малейшего налета мистики или религиозного духа, подобно тому, как мой отец рассказывал мне мифы древней Греции. Я очень любил уроки Алексея Ивановича; он всегда начинал их с того, что угощал меня лимонадом собственного приготовления, смешивая в воде соду и лимонную кислоту. Сам он время от времени прикладывался к «рюмочке», так сказать «для бодрости духа», но я никогда не видел его нетрезвым. Зрелище пьяных мужчин пугало меня с тех пор, как увидел нетрезвыми двух товарищей моего отца — Николая Яцевича, о котором я уже рассказывал выше, и типографского рабочего Левченко¹, обладавшего замечательным тенором и певшего с непередаваемым очарованием народные русские и украинские песни. Я был так потрясен, когда увидел искаженные алкоголем эти знакомые мне лица, услышал несвязные, пьяные речи, что на всю жизнь сохранил отвращение к пьянству. Оно всегда казалось мне прежде всего состоянием, глубоко унижающим человека.

Одним из частых посетителей нашего дома был наш «семейный доктор» Александр Васильевич Прибылев², добродушный великан с бородой-лопатой, с громким голосом и заразительным смехом. В прошлом студент-медик, он был прикомандирован к тюремной больнице на Каре. Ввиду того что на три-четыре тысячи заключенных приходился всего один врач, каторжанин Прибылев стал фактически доктором у политических. Когда он перешел из тюрьмы в вольную команду, то стал лечить уже не только своих сотоварищей и уголовных, но и чиновников и разных лиц из тюремной администрации, а также некоторых из золотопромышленников. Он женился в Нижнекарийске на ближайшей подруге моей матери и крестной моей сест-

ры — на Анне Павловне Корба³, которую я считал еще красивее Веры Николаевны Фигнер. Дочь царского сановника, она была первым браком за очень богатым человеком и занималась в Петербурге благотворительностью. Соприкоснувшись с миром нищеты, увидев воочию, в какой нужде живет рабочий люд, она заинтересовалась социальными проблемами. В ней пробудилось глубокое сочувствие к угнетенным народным массам. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов, уехав на Балканы сестрой милосердия, она вернулась оттуда полная решимости принять участие в революционной борьбе и примкнула к партии «Народная воля». Арестованная в лаборатории, где делали бомбы, она была приговорена к двадцати годам каторжных работ.

Три другие подруги моей матери тесно переплетаются в моих воспоминаниях с жизнью нашей семьи: Неонила Салова, осужденная по одному делу с моим отцом; добрая, кроткая Паша Ивановская⁴, золовка писателя Владимира Короленко, который был в ту пору административно выслан в тундру Крайнего Севера, и белокурая Анюта Якимова⁵, принимавшая участие в покушении 1 марта 1881 года в качестве хозяйки «мо-

¹ Левченко Никита Васильевич (1858—1921) — участник Южнорусского рабочего союза. В 1880 году приговорен к пятнадцати годам каторги, которую отбывал на Каре и в Акатуе.

² Прибылев Александр Васильевич (1857 — после 1934) — народоволец, осужден в 1883 году по процессу 17-ти. Каторгу отбывал на Каре.

³ Корба-Прибылева Анна Павловна (1849 — не ранее 1937) — член Исполкома «Народной воли». Осуждена по процессу 17-ти к двадцати годам каторги, которую отбывала на Каре.

⁴ Ивановская Прасковья Семёновна (1853—1935) — член «Народной воли», осуждена по процессу 17-ти, каторгу отбывала на Каре.

⁵ Якимова (по мужу — Диновская) Анна Васильевна (1856—1942) — член «Земли и воли», член Исполкома «Народной воли». По процессу 20-ти (1882) приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.

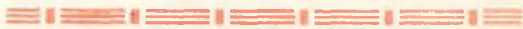
лочной», откуда под улицей, где проезжал царь Александр II, был прорыт подземный ход.

Часто видели мы у нас и представительную седую даму: Софию Александровну Лешерн фон Герцфельд¹. Ее отец был генералом, родственники служили при дворе его величества. Арестованная в первый раз за социалистическую пропаганду среди крестьян, она была приговорена к высылке, но освобождена благодаря вмешательству одной из фрейлин императрицы. Однако София Лешерн продолжала свою деятельность в партии «Земля и воля», и ее арестовали в Киеве вместе с ее мужем Валерианом Осинским, одним из самых блестящих из блестящей плеяды революционеров, и двумя-тремя ее товарищами. Они оказали жандармам вооруженное сопротивление. Осинского и Лешерн приговорили к смертной казни. Но Софии Александровне Лешерн ее заменили пожизненной каторгой, а Валериана Осинского повесили. Когда мои родители познакомились на Каре с Софией Лешерн, ей было уже 50 лет, из них более пятнадцати она провела в тюрьмах.

Я должен назвать еще из тех, кто часто бывал у нас: грека из Одессы Спандони-Басманджи², а также невозмутимого украинца с усами длинными, как у запорожских казаков, с густыми бровями, из-под которых сверкал пронизательный взгляд лукавых и добрых глаз, слесаря Галактиона Батагова³, крестного отца моей сестры; затем старого Арона Зунделевича — старосту артели, и, наконец, сына одного генерала, Ивана Старинкевича, или Ванечку, самого молодого из друзей моего отца. Старинкевичу было 19 лет, когда его приговорили к двадцати годам каторжных работ за то, что он дал прочитать своему брату один революционный трактат.

На краю села, неподалеку от кладбища, жил единственный карийский социал-демократ Лев Дейч⁴, друг Плеханова. Старый бакунист, он в 1877 году вместе со своим товарищем Стефановичем⁵, тоже попавшим на Кару, пы-

тался поднять восстание на Украине, появившись среди тамошнего крестьянства как посланец царя, уполномоченный раздавать крестьянам помещичьи земли. Лев Дейч был арестован, но бежал из тюрьмы и эмигрировал за границу, где позднее примкнул к группе «Освобождение труда» Плеханова, Аксельрода и Засулич. Выданный немцами русской полиции, он был приговорен к двадцати годам каторги. На Каре он женился на акушерке Ананьиной, приговоренной к каторжным работам за участие в покушении на Александра III. Ее шестнадцатилетняя дочь по просьбе матери согласилась хранить у себя динамит, переданный ей студентом Лукашевичем⁶, членом террористической группы, к которой принадлежал и Александр Ульянов, старший брат Ленина. Лев Дейч сначала внушал мне некоторую робость из-за рыжей косматой своей бороды, покрывавшей все его лицо. Но в конце концов я привык к нему.



¹ Лешерн фон Герцфельд София Александровна (1839—1898) — революционерка-семидесятница, судилась по процессу 193-х и вторично по делу Осинского; отбывала каторгу на Каре.

² Спандони-Басманджи Афанасий Афанасьевич (1854—1906) — народоволец. По процессу 14-ти (1883) приговорен к пятнадцати годам каторги, которую отбывал на Каре и в Акатуе.

³ Батагов Галактион Емельянович (1852—1914) — рабочий, участник народовольческих кружков в Одессе. Арестован в 1881 году по так называемому Стрельниковскому процессу, приговорен к каторжным работам на пятнадцать лет. Каторгу отбывал на Каре. Умер в Чите.

⁴ Дейч Лев Григорьевич (1855—1941) — революционер-народник, с 1883 года член первой русской марксистской группы «Освобождение труда». С 1903 года — меньшевик; после 1918 года отошел от политической деятельности, занимался историко-литературной работой.

⁵ Стефанович Яков Васильевич (1853—1915) — один из участников Чигиринского заговора. В 1883 году приговорен к восьми годам каторги.

⁶ Лукашевич Иосиф Дементьевич (1863—1928) — революционер, осужден по процессу второго 1 марта (1887 г.) и заключен в Шлиссельбургскую крепость, в которой провёл восемнадцать с половиной лет.



Что касается Стефановича, он был единственным, к кому я питал инстинктивную антипатию, чему, безусловно, способствовала его крайне неприятная внешность. У него были огромная голова, всклокоченные волосы, грубые, точно высеченные топором, черты лица, сохранявшего всегда мрачное выражение. Впрочем, он был в плохих отношениях со всеми, кроме Дейча. Но только после революции 1917 года, когда сделались доступными секретные архивы царской охраны, выяснилось, что, спасая себе жизнь, он выдал своих товарищей во время своего заключения в Петропавловской крепости.

Со всеми друзьями нашей семьи на Каре и позднее с теми друзьями, которые бывали у нас в Чите, я часто встречался в последующие годы моей жизни. Почти все они принимали активное участие в революционных событиях 1905—1907 годов и в Великой Октябрьской революции.

Вспоминая далекое прошлое, отчетливее всего я вижу отца, читающего нам по вечерам стихи: главным образом поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Кольцова, или русские былины. Часто читал он нам и чудесные произведения Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», потом «Тараса Бульбу» и «Мертвые души» или же «Охотничьи рассказы»

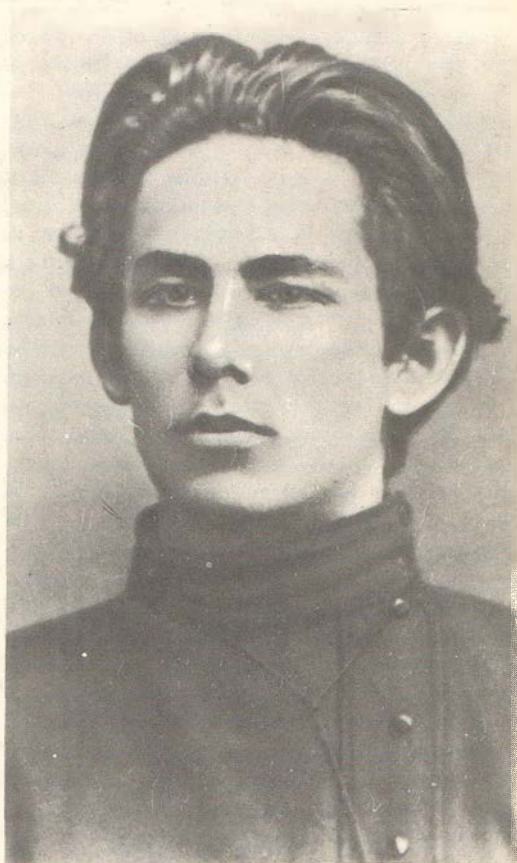
Тургенева. Он читал замечательно, как настоящий артист, с подлинным вдохновением, и мы никогда не уставали его слушать, требуя повторения некоторых поэм и рассказов так часто, что под конец знали их наизусть. Когда я научился французскому языку, отец стал читать нам Виктора Гюго, чаще всего «Легенду веков». Сам я начал читать очень рано и читал много, предаваясь этому занятию с особым увлечением зимой. Библиотека при политической тюрьме была богатейшей, как я уже говорил, а бабушка посылала нам и русские и французские книги. Моими любимыми книгами в восьми-девятилетнем возрасте были «Робинзон Крузо» и «Без семьи» Гектора Мало, особенно последняя. Я перечитывал ее десятки раз, сначала один, а потом вместе с братом и сестрой. Мы следили с захватывающим интересом за приключениями маленького Реми, а трех наших сибирских дворняг мы называли Амикус, Цербина и Дольчи, к великому недоумению наших соседей-крестьян.

Отец считал, что для детей особенно важно не количество, а качество книг и, главное, серьезное отношение к книге. Теперь я отдаю себе отчет в том, что родители руководили моим чтением по хорошо обдуманному плану. Сначала мне давали русские народные сказки и волшебные сказки всех стран, на-

родные сказки Афанасьева, сказки Андерсена, Гримма, Перро и сказки из «1000 и одной ночи» в переложении для детей. Потом мне стали давать легенды и эпические поэмы разных народов: после русских были песни французские «шансон де жест», «Илиаду» и «Одиссею», «Энеиду», скандинавский эпос, греческие мифы, «Гайавату» Лонгфелло в переводе Михайловского. Затем исторические романы, книги о путешествиях, романы Жюль Верна, «Детство и отрочество» Толстого, «Капитанскую дочку» Пушкина, «Муму» Тургенева и т. д.

Таким образом, в таежной сибирской глуши я с раннего детства впитывал русскую классическую литературу, и мало-помалу меня приобщали также к древнегреческим и европейским классикам.

Давая мне разностороннее, так сказать, космополитическое образование, мой отец в то же время стремился привить мне любовь к России и к русскому народу и языку. Страстная революционность и патриотизм сливались у него воедино. Он считал русскую литературу XIX века величайшей в мире. Однако время от времени лишал меня русских книг, чтобы я мог лучше изучить французский язык, и по мере возможности давал мне читать французские переводы немецких, английских и итальянских авторов. Мои родители не знали других иностранных языков, кроме французского, и никто на Каре не мог давать мне уроки немецкого, английского или итальянского. Поэтому я читал во французских переводах «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, «Неистового Роланда» Ариосто, «Путешествия Гулливера» Свифта, романы Вальтера Скотта, Диккенса и т. д. В моем воображении возникали осада Трои и долина Ронсево; подвиги крестьянского сына Ильи Муромца, слуги князя Владимира Красное Солнышко и хитрые козни царя Итаки; кровавые битвы русских с татарами и крестовые походы против сарацинов; мирные турниры героев финского эпоса или трогательная история Поля и Виргинии.



Мне оставалось сделать всего несколько шагов, чтобы сразу же, за околицей, очутиться в заколдованном лесу или с отрядом моих дружков, вооруженных луками и арбалетами, атаковать близ реки заброшенную шахту и выбить оттуда неверных турок или индейцев. Дабы достойно ознаменовать день моего десятилетия, я приказал себе совершить «смелый подвиг». Едва забрезжил рассвет, я взобрался один-одинешенек, но вооруженный с головы до пят на вершину Арестантской башки по лесистой стороне, спустился по лысой стороне и прошел по гребню вершины противоположного бугра до конца села. Моей храбростью очень восхищались

дома, но должен признаться, у меня зуб на зуб не попадал от страха, когда я пересекал кладбище, и дважды в лесу я чуть было не махнул рукой на «смелый подвиг» и не вернулся, испугавшись сначала стайки перепелок, выпорхнувших из-под самого моего носа, а потом какой-то подозрительной тени.

Много лет спустя я читал в некоторых из мемуаров политических каторжан после 1905 года, например у Льва Дейча, что ходить одному по лесу было довольно опасно и что много преступлений было совершено на Каре в те годы, когда мы там жили. Должен сказать, что я никогда об этом не слышал. Впрочем, мои родители не имели привычки рассказывать при детях всякие страшные истории или пугать нас ими. Мой отец даже сделал вид, что «сине-зеленый труп», который мы увидели в избе, был всего только плодом нашего воображения. Но деревню населяли отбывшие наказание уголовные, среди которых попадалось немало бывших убийц и вооруженных грабителей. Среди них был, помнится мне, один старичок, похожий на рождественского Деда Мороза в миниатюре, с румяным личиком, обрамленным белоснежной курчавой бородой, и седыми кудрями. Его прозвали Пятьсот яблочков, потому что это была его любимая поговорка. По сравнению с ругательствами и проклятиями других каторжников это неожиданное выражение, казалось бы, свидетельствовало о его душевной чистоте. Каждый месяц он появлялся у нас в сопровождении своего внука, девятилетнего мальчика, и чистил конюшню и выгребную яму. Окончив работу, они шли на кухню обедать. Мальчик сильно интересовал меня и моего брата, но нам не позволяли играть с ним, очевидно, из-за чистки выгребной ямы. Однако мы не могли отказать себе в удовольствии наблюдать за ними во время их обеда через полуоткрытую дверь в ожидании той минуты — она неизменно наступала! — когда мальчик поворачивался к нам лицом и застывал с ложкой в руках, глядя на нас во все глаза. Тогда Пятьсот яблочков поднимал

голову и сердито бурчал: «Ешь, болван!», что чрезвычайно нас смешило. С громким хохотом мы со всех ног бросались в столовую объявить нашим родителям: «Так и есть! Уже! Он сказал: «Ешь, болван!» Вот этот добрый старичок двадцать лет тому назад прирезал с целью грабежа целую купеческую семью, и, когда его спрашивали, как у него рука поднялась на детей, как ему не жалко их было, он отвечал: «А как же не жалко! Что поделаешь... Плачешь — да режешь!..»

Теперь десятки лет спустя, вспоминая те годы, которые казались мне такими счастливыми и мирными, я вижу все, что было в них парадоксального. Помню долгие зимние вечера в кругу семьи за столом, освещенным мягким светом керосиновой лампы. Мать что-то шила или чинила, отец если не читал нам, то самозабвенно лепил из глины копию античного торса, который прислал ему из Парижа его брат, профессор философии университета в Монпелье, Евгений Елисеевич Колбасин. Думаю, что истинное призвание моего отца было — скульптура. Помню, как счастлив он был, когда получил, наконец, из России ящик с терракотовой глиной и полный ассортимент разных инструментов для лепки. Наша столовая наполнилась бюстами и барельефами, прикрытыми серыми тряпками. По стенам висели вылепленные отцом маски, изображающие разных персонажей из рассказов Гоголя. В то время как он лепил или рисовал в альбом голову Минервы, я учил наизусть страницы «Телемака». Я до сих пор помню, что Калипсо не могла утешиться, когда отплыл Одиссей, и что в горе своем она менее сокрушалась о своем бессмертии, что казалось мне крайне глупым!

Потом приходили друзья. Взрослые говорили о полемике между народниками и марксистами, о какой-нибудь новой книге, о качестве перевода Бодлера Петром Якубовичем или читали вслух последнее полученное из Франции письмо от нашего дяди Жени. То были послания в несколько страниц, исписанных изящным нервным почерком, — на-

стоящие политические отчеты, где шла речь о забастовке в Кармо, о выборах Жореса, о панамском скандале, о выступлениях Гладстона в парламенте и о ряде других вопросов, вокруг которых шли оживленные дискуссии. Вот, например, его письмо из Лейпцига от 22 апреля 1890 года: «... книга «Rembrandt als Erzieher» имела в Германии такой успех, что в несколько месяцев было выпущено 26 изданий. Ничего более нелепого я не читал. Немцы — совершенство на земле. Немец храбр, честен, благочестив, верен, свободен, артистичен, идеалист — вот основная мысль, повторяемая на тысячи ладов. Немцам должно принадлежать мировое господство, немецкому оружию предназначено покорить мир. Все это не ново, и я уже сотни раз это читал, но что более оригинально — это мания присоединять к Германии не только другие страны, но и великих людей. Леонардо да Винчи — немец, ибо Леонард — Леонгард, немецкое имя; кроме того, энциклопедический характер ума Винчи свойствен одним только немцам. Тициан тоже немец; ибо он из Венеции, а Венеция немецкий город и должна будет рано или поздно возвратиться к немцам. Руссо — немец, ибо он из Швейцарии, а население Швейцарии все целиком немецкое. Рембрандт — немец, ибо он голландец, а голландцы и бельгийцы — это те же немцы, слегка попавшие под влияние дикой галльской расы. Что Шекспир немец, автор даже не считает нужным выяснять, а только вскользь упоминает: «Наш великий национальный поэт Шекспир», или: «Шекспир остался гораздо вернее немецкому народу, чем Гёте, который, к сожалению, слишком часто находился под влиянием тщеславных галлов. Что касается до Кромвеля, то это самое полное воплощение гамбургского немца». Придет время, говорит автор в другом месте, когда англичане будут относиться с таким же благоговением к Бисмарку и Мольтке, с каким относился к ним мы. Эти два титана заложили первые камни единства великой Германии, которая будет простираться

от Риги до Венеции, от Бухареста до Эдинбурга, не говоря уже о Северной Америке.

Если бы какой-нибудь француз стал доказывать, что Данте и Сервантес французы на том основании, что они писали на языках романских, сходных с французским, как смеялась бы немецкая критика. Но на автора книги «Rembrandt als Erzieher» немцы не только не посмотрели, как на шута горохового, а напротив с энтузиазмом одобрили его. Все студенты горячо рекомендовали мне эту книгу, где серьезно говорится, что Англия просто немецкая колония и что «мы, немцы, созданы, чтобы повелевать, достаточно взглянуть на царственную фигуру нашего крестьянина». Но довольно об этой галиматье...».

Слушая интереснейшие разговоры, я боролся со сном до той минуты, когда меня отсылали спать. Помню всеобщий взрыв смеха в ответ на мое неожиданное заявление: «Если б я был на месте ирландцев, я был бы очень рад есть всегда только картошку (мое любимое блюдо), это еще не причина, чтобы жаловаться на голод!» Мне объяснили, что ирландские бедняки ели ее вареную, без масла, а иногда, может быть, даже без соли, и что в России тоже есть много крестьян, живущих впроголодь, и я устыдился своего чревоугодия.

Летом день начинался с поливки огорода и детей. Мы все трое голышом выстраивались шеренгой во дворе, и отец с огромной лейкой в руках дождем лил на нас холодную воду, а мы отплясывали танец диких на радость Цербине, самой молодой из наших собачек. С громким лаем она носилась галопом вокруг нас, в то время как ее родители Амикус и Дольчи продолжали мирно греться на солнышке у кухни. Высушенные и растертые докрасна нашей матерью, мы завтракали кружкой ячменного кофе с молоком и бутербродами с вкусными ломтиками сала. В артельной лавке можно было изредка достать просоленное сливочное масло, но мы пред-

почитали великолепное украинское сало — отец не устал патриотично восхвалять не только его питательные, но и целебные свойства. Уткнувшись в греческую мифологию или в словарь Даля с богатым собранием пословиц, прибауток и пр., я упорно поглощал овсяную кашу «геркулес», американский продукт, который нам присылали в ту пору «порто франко» из Владивостока. Я твердо рассчитывал иметь со временем стальные мускулы героя, изображенного на коробках этой крупы, — он небрежно опирался на могучий горный кряж. После завтрака мой младший брат быстро залезал на стену, окружавшую наш домик, устраивался там на четвереньках и приступал к исполнению своей ежедневной обязанности — окликнуть очередного из редких прохожих повелительным: «Куда идешь?», чем завоевал широкую популярность среди членов вольной команды. Что до меня, я шел работать на огород, или давать сено лошади, или отправлялся удить рыбу, если в перспективе не было экспедиции: геологической, ботанической или энтомологической с моим отцом. В долине Кары находили не только различные минералы, которые обычно сопровождают драгоценную породу, но также и орудия каменного века вместе с остатками палеолитической культуры.

Иногда мы отправлялись на Верхнюю Кару, где золотые прииски разрабатывала частная концессия, посмотреть на промывательные машины. Владелец концессии, у которого был сын моих лет, охотно общался, как многие другие дельцы и купцы Сибири, с политическими заключенными. Он даже нанял среди них репетитора для своего мальчика.

Единственное событие из внешнего мира, взволновавшее размеренное течение жизни на Каре, во всяком случае, единственное, которое мне запомнилось в силу сопутствующих ему обстоятельств, было путешествие наследника царского престола, будущего царя Николая II, ехавшего через Сибирь в Японию. Несмотря на то, что дорога, по которой

он следовал, проходила за двести-триста километров от карийской каторги, всех политических из вольной команды снова водворили в тюрьму на три недели или на месяц. Кажется, я не испытывал ни малейшего горя по этому случаю. На этот раз мы могли свободно посещать отца, и нам с братом доставляло большое удовольствие иметь возможность обследовать тюрьму не снаружи, а внутри и побывать в гостях у всех наших взрослых друзей в камерах с решетками на окнах. Тюрьма была частью нашего детского мира, и нам казалось вполне нормальным, что время от времени членам нашей семьи приходилось жить за семью замками. Однако мои родители никогда не объясняли мне, что это все значило и почему, например, отец Пети Пахорукова мог запереть на ключ моего отца, в то время как обратное произошло не могло. Странная вещь, я никогда не почувствовал ничего унижительного или даже несправедливого в таком порядке вещей.

Все это происходило на краю света, за тысящи верст от цивилизации, в глухой сибирской деревне, где, кроме политических каторжан, остальное население составляли бывшие убийцы и грабители, сторожевые казаки да два-три десятка жандармов и такое же число чиновников. Они влачили обычный образ жизни сибирских гарнизонов, состоящий из попоек, любовных интрижек, ночей за карточным столом, кулачной расправы с подчиненными, мелкого мошенничества, а иногда и крупных хищений. Так, например, был начальник, который поджег склады с провизией, предварительно запродав содержимое, то есть запасы муки и крупы, некоей «независимой республике» золотоискателей, существовавшей недолгое время в тайге, по эту сторону китайской границы.

Благодаря семье, детям, скульптуре, книгам жизнь моего отца на Каре была, безусловно, менее тягостной, чем многих его товарищей (с материальной стороны все были в одинаковом положении, так как жили артелью).

Эти товарищи топили горе в вине, начинали постепенно спиваться. Но пребывание в одиночке в Петропавловской крепости и на каторге наложили свою неизгладимую печать и на моего отца. Обладатель железного здоровья (я никогда не видел его больным, он не знал даже зубной боли), мой отец бывал болезненно обидчив и легко раздражался. Иногда его вспышки гнева, не обращенные на нас, но непонятные нам, детям, пугали меня. Много лет спустя он признался мне, что всегда страдал оттого, что в молодости не имел времени по-настоящему учиться в университете, что дало бы ему возможность заняться более интересным делом, чем та работа железнодорожного служащего, которая была ему суждена после отбытия каторги. Вот что писал отец своей матери 12 июля 1894 года:

«...Нет слов изобразить, как я буду несчастен, если моим детям придется остаться недоучками. У меня, дорогая моя, одно пламенное желание, одна мечта, чтобы были средства дать детям высшее образование и сделать из них вполне европейски образованных людей. Что они, кроме того, будут благородными и идейными людьми, я в том не сомневаюсь, но образование теперь без материального обеспечения дать трудно, почти невозможно; я же сам со временем в лучшем случае смогу только прокормить семью с грехом пополам, так как многие роды деятельности для меня навсегда закрыты, — я не пойду на всякие компромиссы с жизнью и вряд ли сделаюсь даже и ради детей кулаком или приспешником кулаков...».

Вернувшись с нами в Читу, где мы поселились после Кары, отец поступил на службу в управление Дальневосточной железной дороги и с тех пор всю свою жизнь работал счетоводом в министерстве путей сообщения. Это занятие не вязалось ни с его страстным темпераментом, ни с его наклонностями. Он талантливо сделал детскую головку бурятки для Читинского музея, но вскоре бросил занятия скульптурой, так как этим не мог про-

кормить семью. После своего возвращения в Россию он все же некоторое время занимался в мастерской одного скульптора в Одессе. Но он не верил, что действительно талантлив, а главное, как всегда, ему мешала его чрезмерная скромность, к которой присоединялось болезненное самолюбие. К тому же снова, после двадцатилетнего перерыва, он не замедлил вернуться к революционной подпольной работе пропагандиста и агитатора. Он полностью погрузился в эту деятельность в 1905—1907 годах, когда, наконец, к своему великому изумлению, понял, что имеет огромный успех как оратор на больших народных собраниях.

Читу начали строить в начале прошлого века именно политические заключенные, то есть декабристы. Когда Волконский, Трубецкой, Анненков, Нарышкин и другие прибыли туда, там был лишь сторожевой казачий пост да несколько десятков изб у дороги, ведущей на Дальний Восток. Декабристам самим пришлось строить свою тюрьму, в которой они и поселились через три с половиной года. Когда прибыли их жены — из которых одна, жена Анненкова, была французенкой, то они заказали, разумеется, за плату, построить для них несколько домов. Вот эти-то дома и положили начало первой городской улице, которая еще в мои дни носила название Барынина улица. Декабристы проделали и те работы, которые требовались для примитивного градоустройства тех времен: вырыли каналы для стока воды, выгребные ямы для отходов и мусора и т. д. Они основали публичную библиотеку и вообще принесли с собой в эту далекую область первые элементы цивилизации. Последующие поколения политических заключенных это продолжили.

Когда мы после Кары вернулись снова в Читу, старый политкаторжанин Алексей Кузнецов¹, осужденный по процессу Нечаева

¹ Кузнецов Алексей Кириллович (1854—1928) — осужден в 1871 году по Нечаевскому делу на 10 лет; каторгу отбывал на Каре.

(этот процесс послужил темой романа Достоевского «Бесы»), держал единственное в городе «фотографическое ателье» и был директором городского музея, основателем которого был он сам. Он же был главой местного отделения Государственного географического общества. Вместе с другими политическими А. Кузнецов систематически исследовал этот обширнейший и по тем временам малоизвестный край, организовывая этнографические, минералогические, ботанические и другие экспедиции. Почти вся Восточная Сибирь была, таким образом, исследована благодаря политическим. Труды некоторых из них высоко ценились в Академии наук Санкт-Петербурга. Кое-кто из наиболее просвещенных местных начальников поддерживал эту деятельность «поднадзорных элементов», которых им поставляла полиция его императорского величества. В Иркутске политические даже допускали к сотрудничеству в местной газете и к работе в городской управе.

Наше возвращение в Читу совпало с началом строительства Дальневосточной железной дороги, давшего выход энергии и технических знаний многих из политических. Железнодорожные инженеры и строители охотно нанимали их в качестве планировщиков, топографов, счетоводов и т. д. Вот почему вскоре после нашего переезда в Читу мой отец смог получить место в одной из контор управления строящейся Дальневосточной железной дороги.

Должен, однако, сказать, что в отдаленных северных областях, как, например, в Якутской, условия жизни политических были чрезвычайно тяжелыми даже и для тех из них, чьи научные труды способствовали культурному и промышленному развитию Сибири. С другой стороны, по мере того как росло число политзаключенных, дошедшее до фантастических размеров, все признаки «либерализма» исчезли из сибирских тюрем, ссылок и поселений.

В те дни, которые я описываю, Чита была совершенно другой, чем та, какой она стала

после революции. То была в полном и печальном смысле этого слова «дыра», глухой медвежий угол, сонный и мрачный. Большинство населения состояло из мелких ремесленников, весьма немногие из них были грамотными: кузнецы, слесари, плотники, шорники, столяры, валяльщики, скорняжки, возчики, ямщики и т. д. и рабочие нескольких маленьких заводиков — мыльного, красильного и т. д. Яркий местный колорит вносили рабочие с золотых приисков, которые возвращались в город к началу октября после летнего сезона, где порой им удавалось хорошо заработать. В течение нескольких дней они предавались широчайшему разгулу, кутили напропалую, нанимали всех извозчиков города, гнали их по улицам во весь опор, разодетые в яркие цветные рубахи, велюровые штаны навыпуск и начищенные до блеска сапоги гармошкой; на их жилетах, надетых на рубахи, поблескивали серебряные цепочки для часов, да не одна, а порой три или четыре. Они орали песни, объезжали по очереди все кабаки в городе и угощали кого попало. «Попраздновав» таким образом с неделю-две, они кончали тем, что несли закладывать кабатчикам свои рубахи, штаны, сапоги, часы с цепочками и раздетые-разутые шли к подрядчикам золотых приисков, чтобы наняться на каких угодно условиях на сезонную работу, которая начиналась в апреле.

Местная элита, состоявшая из чиновников, священников и гарнизонных офицеров, отличалась — за малым исключением — от большинства населения лишь одеждой и манерами. Это были отупевшие от скуки люди, не интересующиеся решительно ничем на свете, кроме как попойками и картами. Среди этого первобытного общества колония политических заключенных представляла из себя в некотором роде интеллектуальный островок. К нему тянулась студенческая молодежь и некоторые представители сибирского купечества, среди которых подчас встречались так называемые «самородки»: яркие, самобытные

личности, независимые, свободомыслящие, презирующие царскую жандармерию и бюрократию и полные уважения к культуре и к интеллигенции.

В то же время в городе не доставало самого элементарного благоустройства. Не было ни одной мощеной улицы, жители, не имевшие во дворе колодца, были вынуждены ходить за водой на реку, где зимой ее вытаскивали из проруби. Порой нанимали для этого специального водоноса, нашим водоносом был старый уголовный. Само собой разумеется, канализации не существовало. Улицы не освещались, и было опасно отваживаться ходить по ним ночью одному и без оружия. Население жило в постоянном страхе перед грабителями, особенно когда какой-нибудь знаменитый разбойник убегал с каторги, а это случалось довольно часто. К тому времени, как мы вернулись в Читу, положение несколько улучшилось после поимки одной разбойничьей шайки, во главе которой стоял... сам градоуправитель Читы (или городской голова)! Сей любопытный персонаж напал на проезжих на большой дороге, то есть на тракте, который вел от Верхнеудинска в Читу, отдавая предпочтение почтовым тройкам, перевозившим денежные переводы и банковское золото: ассигнации и золотые монеты. Долгое время шайка разбойников грабила и убивала безнаказанно. Поймать ее никак не могли, несмотря на все старания. Бандиты после очередного ограбления исчезали бесследно — до того дня, когда одному уряднику, принимавшему участие в поисках, не пришло в голову обратиться к зверобоям-бурятам с просьбой осмотреть на дороге следы, оставшиеся после очередного ограбления почты. Один из бурят заявил, что узнает следы копыт своего коня, которого он незадолго до того продал городскому голове Алексееву. Урядник доложил об этом начальнику полиции, который отнесся к этому с насмешкой. Однако урядник на свой страх и риск продолжал украдкой самостоятельные поиски и нашел во дво-

ре дома, в котором жил городской голова, подле выгребной ямы, затоптанной в грязь разорванный конверт подозрительного происхождения. Урядник вернулся тайно ночью и обнаружил много обрывков конвертов с почтовыми печатями. Тогда только начальник полиции решился сделать обыск в доме городского головы. Тот был как раз в это время на балу у губернатора. У него в кабинете нашли множество писем, заказных и простых, и награбленных вещей. Городской голова Алексеев и два разбойника из его шайки были повешены.

Мои родители наняли домик неподалеку от мужской гимназии, которая находилась на краю города, близ соснового бора, тянувшегося на север от Читы. В августе 1895 года после вступительных экзаменов, которые я без труда выдержал, я был принят в первый класс читинской гимназии.

Политика и религия были до поры до времени непреложно изгнаны из нашего воспитания. Мой отец считал, что революционные идеи, как и философские убеждения, имели ценность лишь тогда, когда они являлись результатом независимого личного мышления. Он был врагом всякого догматизма и не терпел «детей-попугаев» с мозгами, набитыми готовыми формулами, осмыслить которые они не способны. Он старался вызвать в нас интерес к естественным наукам, к истории и литературе и развить в нас наряду с критическим отношением к окружающему также и терпимость.

Я совершенно ничего не знал о православных обрядах до читинской гимназии, где уроки закона божьего и посещение церкви были обязательными. В нашем поселке церкви не было. Но однажды, когда мне было лет восемь, мой отец взял меня с собой в Усть-Кару, чтобы я поглядел на редкое зрелище: торжественное богослужение, которое епископ из Читы совершал в честь освящения новой церкви. Я был поражен великолепием сверкающего золотом иконостаса, парчовыми ризами, шитыми золотом, митрами, украшен-

ными драгоценными камнями, блистательным освещением и стройным пением многолюдного хора. Я до сих пор помню охватившее меня восхищение, к которому, однако, не примешивалось ни малейшего мистического чувства.

Мой отец остался снаружи, за стенами церкви, и я присутствовал на церемонии в не совсем обычной компании — со мной был «уголовный преступник» грузинский князь Чхотуа. Он был жертвой ошибки правосудия, наделавшей немало шума в свое время. Его сочли виновным в убийстве своей невесты, которая утонула, купаясь с ним в реке на Кавказе. Чхотуа был очень культурный молодой человек, студент университета, до постигшего его несчастья поддерживал дружеские отношения с политическими и пользовался всеобщей симпатией.

Как я уже сказал, до моего поступления в читинскую гимназию я ничего не знал о религии. Не только мои родители, но еще и родители моего отца были свободомыслящими людьми и атеистами. Но я никогда не слышал, чтобы они поносили религию или насмехались над теми, кто верит в бога. Напротив, отец всегда говорил мне, что следует уважать веру других людей, ибо она является «делом их совести». К тому же мой отец придавал большое значение элементу «веры» в жизни людей и в истории общества. Он утверждал, что поступками человека руководят не только материальные запросы и что его любопытство перед загадкой жизни и смерти, его желание понять и познать, его стремление к истине, свободе и братству — иными словами, его духовные запросы так же непрерываемо присущи ему, как и инстинкт утоления голода, продолжения рода и т. д. Создавать иерархию между различными категориями человеческих потребностей или утверждать, что одни из них проистекают из других, казалось ему заблуждением и ошибкой. В религии, говорил он, народные массы в течение многих веков искали ответа на непонятные и пугавшие их явления при-

роды. Ничего не меняет тот факт, что правящие классы с помощью церкви обернули религиозное чувство в свою пользу и злоупотребляли им, дабы держать в повиновении тех, чьими руками создавалось их богатство и могущество. Скорее это служит лишним доказательством того, что иллюзорное удовлетворение духовных запросов может на некоторое время превалировать над самой очевидной и животрепещущей материальной заинтересованностью. Однако великие народные движения в истории: движения альбигойцев, крестьянские войны, гусситские войны и т. п., доказывают хрупкость и несостоятельность этого религиозного дурмана. В то же время они свидетельствуют, что в душе народа протест против гнета и нужды идет рука об руку с жаждой справедливости, стремлением обрести свое человеческое достоинство и чаянием свободы. Было совершенно естественно, что эти стремления все же принимали религиозную форму в те эпохи, когда господствующее положение в духовной жизни общества занимала религия. Но народ придавал священным текстам смысл, часто не совпадавший со смыслом, установленным церковью и правящими классами, которые объявляли эти народные движения еретическими и жестоко их подавляли.

Отец постоянно говорил мне, что главное — это не мистическая оболочка веры, а вера сама по себе, — иными словами, то душевное состояние, которое дает людям силы претерпевать наихудшие муки и жертвовать всем, даже собственной жизнью, во имя идеи.

Он считал, что русское революционное движение (явно материалистическое и атеистическое уже с эпохи нигилистов), будучи основано на научном социализме, несомненно, несет в себе элементы религиозной веры, ничего общего не имеющей, само собой разумеется, с религиозными догмами. Роль религии прошлого, объясняющей мироздание и служащей фундаментом морального кодекса или правил общественного поведения, за-

кончена. Но духовные запросы людей, которые религия хорошо ли, плохо ли удовлетворяла, остаются. Сейчас народные массы устремляются к всемирной вере в социальные справедливости, равенства и свободы. Конечно, все это отец разъяснил мне гораздо позднее, когда я вступил уже в разумный возраст.

Мне хочется рассказать здесь то, что я помню о Петре Филипповиче Якубовиче, известном в русской литературе под псевдонимом Л. Мельшин.

Я встречался с ним на протяжении двадцати лет довольно часто. Правда, началось наше знакомство, когда я был слишком мал, чтобы сознательно относиться к так называемой окружающей действительности. Дело в том, что произошло это в арестантском вагоне, который увозил его и моего отца на каторгу. Подробный отчет о процессе, составленный братом поэта профессором Василием Филипповичем Якубовичем, присутствовавшим в суде, был напечатан за границей.

Мои личные воспоминания начинаются с Читы, вернее, с читинского тюремного замка, в котором я прожил с отцом несколько месяцев. По рассказам моей матери, Петр Филиппович, просидевший до суда, как и мой отец, три года в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, был бодр, оживлен, порою даже весел. Одно удручало его — неизвестность относительно судьбы горячо любимой им девушки, его невесты, сидевшей в то время в тюрьме.

В нашем семейном архиве сохранилось более 150 писем, относящихся к нашей жизни в Сибири. Вот выдержки из одного из них, имеющего отношение к Якубовичу.

Отец мой пишет 10 октября 1887 года из Канска:

«...Якубович только в дороге в Тюмени узнал, что его невесту отправили в административную ссылку в Восточную Сибирь. В Томске он воспользовался проездом генерал-губернатора Восточной Сибири графа Игнатъ-

ева и просил его задержать Франк (Роза Франк — невеста Якубовича) в Красноярске до прибытия его туда, что Игнатъев и исполнил».

Отец пишет в другом письме, что Роза Федоровна, медичка пятого курса, везет с собой аптечку и успешно лечит уголовных, которые питают к ней огромное уважение. Граф Игнатъев был назначен сибирским генерал-губернатором года за два-три перед отправкой Якубовича в Сибирь и проделал ту же дорогу, что и мы, до Иркутска на пароходах, тянувших арестантские баржи, и на перекладных, обгоняя партии каторжников, но, разумеется, гораздо быстрее и с большим комфортом, чем мы, как это описано в известных воспоминаниях его сына генерала Алексея Алексеевича Игнатъева «50 лет в строю». Как убежденный монархист, верный слуга царя, иркутский генерал-губернатор не питал, конечно, никаких особых симпатий к партии цареубийц. Но это был аристократ европейского склада, человек по-своему довольно гуманный и, во всяком случае, джентльмен, а не бурбон и не держиморда вроде его коллеги приамурского генерал-губернатора барона Корфа, с которым Якубовичу пришлось впоследствии столкнуться на каторге. Сразу же после «Карийской трагедии» Якубович написал биографии погибших товарищей, но, к несчастью, рукопись, пересланная на волю, погибла.

Граф Игнатъев приказал задержать Розу Федоровну в красноярской тюрьме, кстати сказать, считавшейся и тогда, судя по письму моего отца, лучшей из сибирских тюрем, до прибытия туда Якубовича. Впоследствии он разрешил им пожениться. Но продолжить их совместное путешествие до Кары было не в его власти, в Иркутске им пришлось расстаться надолго. Розу Федоровну отправили в Якутскую область, и встретились они снова только через семь или восемь лет, когда Петр Филиппович вышел на поселение.

В том письме, которое я только что приводил, отец описывает хозяйство партии

ссылных и роль дежурных на этапах и пересылках. Между прочим, он пишет: «Ввиду того, что в Восточной Сибири на этапах нет горячей воды, мы заказали себе в Красноярске из жести самовар и везем его с собой. Возня с самоваром и другие хозяйственные хлопоты лежат на обязанности очередных дежурных».

Вот в связи с этими хозяйственными хлопотами я слышал в детстве много забавных рассказов о рассеянности и непрактичности поэта Якубовича. Как-то раз, будучи дежурным, он поставил самовар за дверями этапного помещения и погрузился в чтение стихов Бодлера. Когда товарищи стали проявлять нетерпение, он вдруг вскочил и в ужасе воскликнул: «Что я наделал! Ведь самовар, наверное, распаялся!» К счастью, оказалось, что он налил воды, но забыл положить в трубу горячие угли. Другой раз, начистив котелок картошки, он в отчаянии спрашивал всех, куда же теперь лить воду?!

На каторге все товарищи относились к Якубовичу с особой нежностью и доброжелательностью, но, по рассказам, его почти детская наивность и доверчивость, особенно контрастировавшая с тяжелыми условиями каторжного быта, вызывала к себе несколько насмешливое отношение, а его страстную, восторженную любовь к поэзии разделяли далеко не все «тюремные реалисты», по выражению одного из карийцев, А. В. Прибылева. В отличие от них он любил не только тех поэтов, у кого преобладали гражданские мотивы. Я помню, как некоторые из этих суровых реалистов, воспитанных на Писареве, восхищались гражданской лирикой П. Я., удивлялись, как это он может любить Фета, который воспевал соловья и розу, а его увлечение Бодлером считали странным чудачеством.

В сентябре 1890 года 30 человек каторжан, в том числе мой отец, вышли в вольную команду в Нижнекарыйске, а Якубовича вместе с некоторыми другими отправили в Акатуй. Я смутно помню свою встречу с от-

цом около тюрьмы и сцену расставания с закованными в кандалы его товарищами, которых увозили на каторгу в Акатуй, где он был приравнен к уголовным. Акатуйская каторга была потом описана Якубовичем в его книге «В мире отверженных». Но рукопись его воспоминаний, написанных в Акатуе, которую он считал лучшим своим произведением, погибла, как и биография каторжан-карийцев. Она была сожжена в Чите одним из ссылных во время ложной тревоги.

Мы встретились снова с Якубовичем несколько лет спустя уже в Чите, где моему отцу было разрешено поселиться, когда он из положения каторжанина перешел на положение ссылного поселенца. Петр Филиппович и Роза Федоровна были у нас летом 1895 года проездом в Курган, куда его отправляли на поселение. Я помню, как в нашем саду собралась приветствовать Якубовича большая компания ссылных и местной студенческой молодежи. Три года спустя отцу был разрешен летом выезд на свидание с матерью в Курган, где жили тогда Якубовичи. Мы отправились туда всей семьей. Я был в третьем классе читинской гимназии и больше интересовался рыбной ловлей и охотой, чем литературой, но живо помню горячие споры о современной русской и французской поэзии, в которых П. Ф. нашел союзицу в лице младшей сестры моего отца Ольги Елисеевны Колбасиной. Ей было в ту пору 17 лет, она только что вернулась тогда из Франции, переводила французских поэтов и сама пробовала писать стихи. Незадолго перед тем появилась статья П. Ф., в которой он писал о Бодлере как об огромном таланте. Я прочитал эту статью много позднее.

Затем я встретил П. Ф., уже будучи на первом курсе Петербургского университета. П. Ф. жил тогда с женой и сыном Димой в Удельном по Финляндской железной дороге, я почти каждое воскресенье ездил к ним на целый день. Принимали меня как родного. В ту пору П. Ф. мало изменился в сравнении с тем, каким я знал его в Кургане.

Его прекрасное молодое лицо, обрамленной русой бородой, светилось необыкновенной добротой. Якубович был тогда известным литератором, членом редколлегии журнала «Русское богатство»¹, я встречал у него Иванчина-Писарева, Пешехонова, Н. Ф. Анненского и других.

Хотя я и посещал аккуратно лекции юридического факультета, но гораздо больше занимался революционной деятельностью, чем юридическими науками. П. Ф. тоже в свою пору начал революционную деятельность в Петербургском университете, правда, на филологическом, а не на юридическом факультете, и был когда-то деятельным членом, вернее, руководителем студенческого союза, издававшего нелегальную студенческую газету.

Якубович вполне сочувственно отнесся к нашей организации и оказал существенную помощь, когда мы очутились в затруднительном положении. В январе—феврале 1904 года охранка арестовала всех наших, так сказать, «взрослых» руководителей-комитетчиков. Тогда студенческая группа решила самостоятельно выпустить от имени комитета очередные прокламации для того, чтобы жандармы не догадались, что захватили всю нашу верхушку. (Они, впрочем, прекрасно знали это, как выяснилось несколько лет спустя, от провокатора Азефа.) Никто из нас еще не пробовал своих сил на этом поприще и не сознавал за собой литературных талантов. Дело было в апреле. Я поехал в Удельное и прочитал П. Ф. тезисы нашего воззвания к Первому мая. Хотя он не входил тогда ни в какие нелегальные организации, но, конечно, по-прежнему горячо сочувствовал революционному движению и всю жизнь оставался народовольцем по убеждению. П. Ф. отнесся к моей просьбе очень серьезно, пригласил для обсуждения Пешехонова, заведовавшего в редакции «Русского богатства» отделом внутренней политики, и мы совместными усилиями составили серьезную журнальную

статью, написанную прекрасным литературным языком, в которой освещали тяжелое положение трудящихся и политику Николая II в связи с тем, что началась русско-японская война. Листовку эту мы отпечатали на мимеографе. Но за три-четыре дня перед Первым мая почти вся наша студенческая группа была арестована при довольно курьезных обстоятельствах. По случаю именин одного из нас компания студентов и курсисток наняла на Неве лодку и отправилась ночью на взморье встречать восход солнца. По возвращении нас ожидала на берегу целая «средиземная эскадра», как тогда говорили, и мы засели на несколько месяцев в тюрьму. В заграничной — немецкой и английской — прессе появилось по этому случаю известие, что группа русских революционеров пыталась взорвать русские военные корабли.

После этого эпизода я встретил П. Ф. в начале 1905 года в Одессе, куда он приехал на несколько дней. Моя мать уговорила его тогда выступить на литературном вечере в одном частном доме в пользу заключенных. П. Ф. читал нам стихотворения Некрасова и свои собственные.

В 1906 году я был снова арестован и, в свою очередь, сослан в Сибирь. После побега в 1907 году я нелегальным проездом за границу видел мельком П. Ф. на даче под Петербургом. Помню, он выглядел очень плохо, здыбался. У него начиналась болезнь сердца, которая и свела его преждевременно в могилу четыре года спустя.

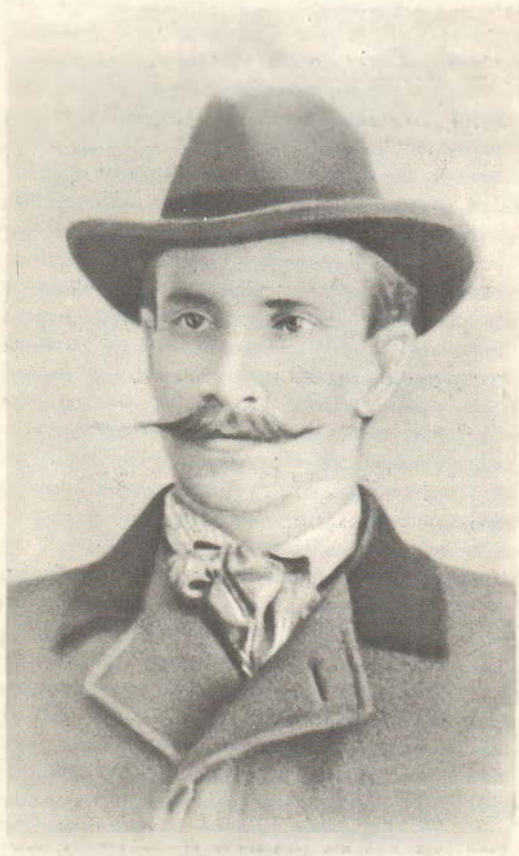
Все, кто его знал, любили его за кристальную чистоту, за его чуткость, отзывчивость, необычайную терпимость к чужим мнениям и душевное благородство.

Текст подготовлен к печати

Т. И. Сухомлиной



¹ «Русское богатство» — ежемесячный научный и литературный журнал, издававшийся в Петербурге в 1880—1918 годы и проводивший народнические взгляды.



Владимир Сандлер
Неизвестный рассказ
Александра Грина

Издательство „Свободная Пресса“

ДСГ

Слонь
 и
Моевка.

Изъ летописей ***скаго батальона

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. Безобразова и К^о Вас. Остр., Больш. пр., 61.
 1906 г.

Рассказ, который вы сейчас прочтете, десятки лет лежал на виду, каждый мог протянуть руку и взять его, опубликовать, потрясать им как необычайшей находкой, включить в книги Грина, а между тем обнаружить его помог только случай.

Больше того. Этот рассказ был впервые напечатан шестьдесят лет назад, но сам автор этого не знал.

Эта история прежде всего урок мне самому: для исследователя не должно быть авторитета, даже авторитета автора: все подвергай сомнению и проверяй, проверяй, проверяй!!!

Но обо всем по порядку.

В конце февраля 1902 года на призывной пункт в городе Вятке пришел узкоплечий худощавый юноша. Несколько месяцев назад врачи дали ему отсрочку, теперь же они осмотрели его внимательно и придирчиво и определили: годен. Призывников погрузили в вагоны и повезли дальним, кружным путем, через Челябинск в Пензу.

«Моя служба, — писал двадцать восемь

Тюремная старина.Автобиографический очеркИ. С. Трин.

I

Там же там, как я вернулся с Ура-
на, прошли осень и зима. Я опять
не мог никак устроиться, меня
кас-как на зубки отозв в тесной
земельной комнате и вновь ссора-
там о чем — как же мне быть?

Один раз в карабанах медового
рублей, изобрел с пером сделать что
парадного шума, к Рахматову пере-
зы из снахих вещей. Я работал
с своим карандашом и пером
казармскими, вливая там же „Рез

лет спустя Александр Грин в неоконченном рассказе «Тюремная старина», — прошла под знаком непрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина «сделает меня человеком» (подчеркнуто Грином. — В. С.), не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги, или посыпать опилками пол казармы (кстати сказать — очень чистой), или не в очередь дневальить, я подымал такие скандалы, что не однажды ставили вопрос о дисциплинарных взысканиях. Рассердясь за что-то, фельдфебель ударил меня пряжкой ремня по плечу. Я немедленно пошел в «околодон» (врачебный пункт), и по моему жалобе этому фельдфебелю врач сделал выговор. На исповеди я сказал священнику, что «сомневаюсь в бытии бога», и мне назначили епитимью: ходить в церковь два раза в день, а священник, против таинства исповеди, сообщил о моих словах ротному командиру.

Командир был хороший человек — пожилой, пьяница и жулик, кое-что брал из солдатского порциона. Но он был хороший человек.

Он скоро повесился на поясном ремне, когда его привлекли к суду.

Был очень я удивлен, когда взвод наш по приказанию ротного командира был выстроен в казарме и ротный произнес речь: «Братцы! Вы знаете, что есть враги отечества и престола; среди вас есть такие же, опасайтесь их», — и т. д. — и грозно посматривал на меня¹.

«Послужной список» солдата Александра Гриневского оказался необычайно коротким: «1902 год. Март, 18-го: [зачислен] Рядовым 213 Оровайского резервного батальона. Июль, 8-го: исключен из списка батальона бежавшим. Июль, 17-го: зачислен в списки батальона из беглов. Июль, 28-го: предан суду. Ноябрь, 28-го: исключен из списков батальона бежавшим»².

¹ Цит. по рукописи. ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 188, л. 56.

² ЦГАВМФ, ф. 1025, оп. 2, д. 21, л. 311.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОКЪ

213 пѣхотнаго резервнаго Оровайскаго полка

Рядового Александра Степанова Грина
Кебелева1.
Прохожденіе службы.

	Годъ и мѣсяцъ.		Число	Годъ и мѣсяцъ.		Число
Рядовымъ 213						
Оровайскимъ ре-						
зрвацимъ батальономъ № 18						
Цемноморск. и Ш						
апенсовск. бата-						
лиона Зверевскимъ № 8.						
Телюземь въ епископ.						
Вознесенск. и Ш						
Дерзавск.			14			
Аргунск. Свдз			28			
Цемноморск. и Ш						
апенсовск. бата-						
лиона Зверевскимъ № 8.						

В графе «Подвергался ли наказаниям и взысканиям» записано: «По приговору батальонного суда, учрежденного при 213 Оровайском батальоне, состоявшемся 7 августа 1902 года. За самовольную отлучку, покинутые мундирной одежды в месте, не предназначенном ее хранению. За промотание мундирной одежды, вместе и амунических вещей, выдержан под арестом на хлебе и воде три недели без перевода в разряд штрафников»¹.

В полку Грин познакомился с вольноопределяющимся Александром Ивановичем Студенцовым, на квартире которого собиралась революционно настроенная молодежь и главным образом, как это может быть ни парадоксально, семинаристы пензенской семинарии.

Там Грин прочел несколько революционных книг. «Все, что я знал о жизни, — писал он в «Тюремной старине», — повернулось разоблачительно-тайнственной стороной; энтузиазм мой был беспределен...»

Когда молодой солдат задумал бежать из армии, тот же Студенцов снабдил его день-

гами, достал штатское платье и дал несколько явок в разные города. Вероятно, он же сумел устроить Грину паспорт на имя мещанина из Пензы Александра Степановича Григорьева. Паспорт был написан на подлинном, не поддельном бланке.

Грин работал пропагандистом в Симбирске, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Тамбове, Екатеринославе, Киеве, Севастополе. Он прославился как увлекательный оратор, умевший зажечь аудиторию.

11 ноября 1903 года он был арестован и просидел в севастопольской и феодосийской тюрьмах почти два года. Его освободила сентябрьская амнистия 1905 года. В начале 1906 года он был вновь арестован, сослан в Сибирь, в Туринск, но тотчас бежал.

В августе 1908 года я познакомился в Москве с Ниной Николаевной Грин, и она

¹ ЦГАВМФ, ф. 1025, т. 2, д. 21, л. 311 об.

рассказала мне, что в 1906 году Александр Степанович написал два рассказа: «Заслуга рядового Пантелеева» и «Слон и Моська». Оба рассказа были уничтожены полицией, но Грин говорил, что несколько экземпляров «Заслуги» успело выскользнуть на свободу, а «Слон и Моська» был рассыпан еще в наборе.

Рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» был найден в марте 1961 года в фонде «Вещественных доказательств»¹ охраны, а опубликован 28 августа 1964 года на страницах «Литературной России»². В поисках приняли участие: профессор-криминалист А. В. Дулов, литературовед В. Н. Чуванов, жена Грина Нина Николаевна.

Найти рассказ оказалось мало, мне хотелось узнать историю его написания. О том, как я искал и нашел воспоминания первой жены Грина В. П. Калицией, пролившие свет на многие «белые пятна» биографии Грина, я рассказывал в том же номере «Литературной России».

О «Слоне и Моське» Вера Павловна, со слов Грина, писала: «По приезде в Петербург Александр Степанович написал вторую агитку — «Слон и Моська», которая тоже была принята каким-то издательством, каким А. С. не помнил, но рассказ света не увидел, так как при обыске в типографии полиция рассыпала набор»³.

Но в тех же воспоминаниях Калиция сообщила, что «Заслугу рядового Пантелеева» выпустило какое-то донское издательство, а я точно знал, что рассказ вышел в Москве. Не есть ли донское издательство тем забытым Грином издательством, которому он отдал «Слона и Моську»?

Я немедленно запросил Ростов-на-Дону: нет ли у них в областном архиве в фонде охраны неопознанной рукописи «Слон и Моська». Разумеется, я не рассчитывал найти печатный экземпляр, если сам автор утверждал, что набор был рассыпан. Кроме того, я был уверен, что на рукописи ни в коем случае нет фамилии автора, а в лучшем случае, как и на «Заслуге», только криптоним «А. С. Г.».

Ответ пришел скоро: такой рукописи нет. Это меня не обескуражило, ведь поиск «Заслуги» тоже был длительным.

Я не сомневался, что рано или поздно в переписке различных ведомств департамента полиции я наткнусь на какие-нибудь сведения о «Слоне и Моське». Но работу по просмотру документов охраны скоро пришлось прервать: надо было готовить шеститомное собрание сочинений Грина.

В примечаниях к первому тому я сообщил то немногое, что мне было известно о втором рассказе Грина.

В первых числах января 1966 года, когда все огоньковское собрание уже вышло, я неожиданно получаю из Москвы письмо. Моя корреспондентка запрашивала, какими документами я пользовалась, сообщая о «Заслуге рядового Пантелеева» и «Слоне и Моське». В конце была приписка: «Заранее благодарю Вас за ответ и прошу извинить за беспокойство; однако дело кажется мне заслуживающим внимания».

Разумеется, я немедленно ответил, но только через четыре месяца выяснилось, что моя корреспондентка Э. А. Покровская — научный сотрудник Библиотеки имени В. И. Лени-

на в Москве. Прочитав примечания к первому тому, она вспомнила, что в отделе редкой книги, где она работает, есть экземпляр брошюры «Слон и Моська».

Затем еще два экземпляра рассказа я обнаружил в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, где мог ее найти и сам автор, долгие годы живший в нашем городе, тем более что один экземпляр поступил туда еще в 1908 году.

Очень давно мог найти рассказ и я, если бы не поверил безусловно воспоминаниям В. П. Калицией.

Теперь хочется узнать, как был произведен налет на типографию, почему все известные сейчас экземпляры рассказа без обложки (быть может, они были сигнальными?) и почему один ленинградский и московский экземпляры попали в хранилища в 1908 году, хотя брошюра была выпущена в 1906-м и т. д. и т. п.

Это тем более интересно, что в «Алфавитном указателе» книгам и брошюрам, арест на которые утвержден судебными установлениями, составленный главным управлением по делам печати по 31 марта 1907 года (СПб., 1907 г.) говорится, что тираж «Слона и Моськи» по тем временам был астрономический — 10 000 экземпляров.

Архивные поиски уже идут в нескольких направлениях⁴.

В заключение несколько слов о рассказе. «Слон и Моська» появился в период, когда для первой русской революции вопросом номер один был: с кем будет армия? Он, несомненно, предназначался для распространения в войсках. Вероятно, поэтому внешне рассказ подчеркнуто сделан в духе великого множества агитационных брошюр для армии, выходящих в то время. Но в главном «Слон и Моська» решает другую, магистральную для всего творчества Грина тему: взаимоотношения человека и общества, тему человеческого достоинства. И решена она не агитационными лозунгами, а художественно.

И поэтому даже сегодня нам интересно читать этот рассказ не только как одно из первых произведений автора «Бегущей по волнам», но прежде всего в силу великой страстности и огромной Тревоги за Человека, пронизывающих его.

¹ ЦГАОР, ф. 1791, ед. хр. 20687.

² «Литературная Россия», 1964, № 35, стр. 8.

³ В. П. Калиция. Воспоминания об А. С. Грине (глава «Тюремная невеста. Бегство из Сибири»). Архив автора.

⁴ В то время, как этот том «Прометей» был уже в наборе, удалось найти документы о рассказе. В типографии было отпечатано только восемь экземпляров брошюры специально для представления в С.-Петербургский Комитет по делам печати». Подробнее о документах цензурного комитета см. в пятом томе «Прометей» статью Вл. Сандлера «Четыре года следом за Грином».

А. С. Грин

Слон и Моська

(Из летописей ***ского батальона)

Моська зажмурил глаза и спустил курок. На мишени показался белый четырехугольник, и в то же мгновение он почувствовал сильный удар в шею...

Всякий раз, когда Моська выходил на плац, прикладывал по команде ружье к плечу, целился в мишень и, ожидая команды «пли!»¹, судорожно прижимал палец к спуску, на него нападал непобедимый страх. Моська — самый плохой солдат и стрелок роты — служил вот уже больше года, но ни свирепая дисциплина ***ского батальона, ни бесчисленные побои, наносимые ему всеми из начальства, ни «отеческие» увещания — ни-

что не могло сделать из него солдата «как все...».

И когда, наконец, раздавалась команда «пли!», он весь обмирал и, зажмурив глаза, посылал пулю в пространство, где она начинала благополучно визжать, как будто совершенно не замечая мишеней, в которые Моська целился так долго, упорно и безнадежно.

Когда махальный¹ после пятого и последнего выстрела снова прикладывал к Моськиной мишени белый четырехугольник, а затем комически взмахивал им кверху, давая понять, что пулю можно искать где угодно, только не в мишени, Моська чувствовал, что к нему сзади подбегает фельдфебель и с размаху бьет его в шею — раз и два! От таких ударов шапка у Моськи падала на землю, а сам он, вытянувшись и замерев в жалкой, принужденной позе, смотрел вперед широко раскрытыми глазами и ничего не видел от слез, застилавших все: поле и эти ненавистные глупые мишени, которые как будто смеялись над ним.

Несмотря на свое ничтожество в специальном, «боевом» значении, Моська играл громадную роль в жизни первой роты.

— Это господь наказывает за грехи наши, — говорил какой-нибудь офицер, проходя мимо Моськи и с ненавистью глядя на его неуклюжую, обдерганную фигуру.

¹ Солдат, на обязанности которого лежит показывать красным значком, в какое место мишени попала пуля. Если стрелок даст промах — махальный машет белым значком. — Прим. А. С. Грина.



«Не было печали, так черти накачали», — думали его фельдфебель, взводный и подвзводный.

— Не было бы Моськи — хоть топись, — говорили солдаты.

И действительно, не будь Мосея, или Моськи, как звали его все, роте жилось бы еще хуже. В военной среде существует неизвестно на чем основанное убеждение, что первая в батальоне по счету рота должна быть также первой в смысле служебного превосходства. Если бы так было всегда на самом деле, то можно думать, что 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я роты постепенно уступают все больше и больше друг другу в служебном рвении и что 6-я, например, должна явиться чуть ли не сборищем самых плохих и ленивых солдат. На деле бывает, однако, часто наоборот. Хотя в первую роту и назначают по возможности более рослых солдат, но рослость еще не служит, как известно, признаком особой способности к воинской «науке». Если же прибавить к этому, что офицерство, заведующее первой ротой, точно такое же, как и в остальных, ни хуже, ни лучше, то будет понятно, почему сплошь и рядом на смотрах какая-нибудь 5-я или 6-я рота, которой раньше как-то и незаметно было на казарменном дворе, вдруг получает разные «спасибо» и прочее, а «первая» рота при гробовом молчании генерала отправляется восвояси домой.

Моська служил в первой роте. Его рост и ширина плеч так понравились уездному воинскому начальнику, что Моська был наз-

начен в первую роту. Трудность и бессмысленность солдатской службы и жизни подействовали на него ошеломляюще. После двухнедельных испытаний, когда начальство убедилось, что в ближайшем будущем разве только сверхъестественное вмешательство могло помочь Моське сделаться солдатом «как все», — он стал козлом отпущения. Его били, гоняли немилосердно, ставили «под ранец», и он молчал и безропотно переносил эти гонения, как будто сам считал себя ответственным за свою неспособность к военной службе.

Не проходило дня, чтобы Моська не повергал в уныние своего «фитьфебеля». То он повертывался не в ту сторону, куда нужно; то, вскидывая на плечо винтовку, так ударял штыком о штык соседа, что тот ронял ружье; то приходил на ученье в нечищенных сапогах, или надевал шапку без кокарды, или забывал патронташ, или свертывал шинель так, что она на ходу развертывалась, и Моське надо было выходить из строя под градом ругательства, то... Но всего не пересчитаешь... Достаточно сказать, что, если бы проследить шаг за шагом всю солдатскую жизнь Моськи, не нашлось бы, пожалуй, ни одного из преступлений, караемых дисциплинарными взысканиями, которых не совершил бы Моська по нескольку раз.

Вся ненависть начальства к солдату, как к чему-то живому, которая обращает его в слепую, покорную машину, — сосредоточилась на Моське... Моська портит роту, Моська растлевающим образом действует на солдат, Мось-

ка глуп более, чем полагается быть глупым солдату...

Правда, было много способов отделаться от неудобного солдата... Можно было послать его в «комиссию», объявить больным и отпустить домой... Можно было перевести в другую роту... Можно было, наконец, просто прогнать Моську со службы...

Но там, где человек превращает другого человека в послушную машину, где сделать человека машиной считается доблестью и где не всякий, даже при желании, может упрятать свою натуру в железные рамки дисциплины, — там таких решений быть не могло... Первая и главная обязанность начальства — из сырого, деревенского материала сделать чистенькие, щеголеватые машинки, способные двигаться и стрелять по приказанию. Моська не мог сделаться такой машинкой — значит его нужно сделать таким, закон дисциплины не должен терпеть ни исключений, ни поражений... А может быть, Моська не желал сделаться «хорошим» солдатом? Быть может, он не глуп, а умен, как змий, ловок, как кошка, меток, как Немврод¹, и храбр, как тысяча чертей, и только намеренно уклоняется от солдатской службы, разыгрывая дурака в расчете на освобождение? А если не так, если он действительно никуда не годится — не послужит ли его освобождение причиной того, что другие нарочно станут прикидываться неумельцами?.. Перевести в другую роту? Но это, во-первых, значило бы признать свое бессилие. Перед кем? Каким-то Моськой... Во-вторых, это была бы уступка

человеческой природе, которая на солдатской службе в расчет не принимается.

Итак, Моська служил в первой роте.

А между тем никто не мог бы, положив руку на сердце, сказать, что Моська глуп. И сам он, вспоминая иногда в редкие минуты отдыха все, что ему приходится выносить, вспоминая все ругательства: «Осел! Остолоп! Скотина! Дубина!» и прочее, — недоумевал: чем уж он так очень глуп? Жизнь в деревне, где он вырос и жил до солдатчины, казалась ему гораздо более сложной, требующей более толкового отношения к себе, чем здесь, и, однако, там в деревне никто не называл его дураком, не глумился и не ругался над ним.

И он вспоминал большое, зеленое, освещенное горячим светом солнца поле... А сам он, Моська, в посконной рубахе, босиком, мерными взмахами косы кладет ряд за рядом темно-зеленую, упругую траву... Коса шуршит чуть слышно, и в каждом ее взмахе чувствуются сила и сноровка. Ни один корень, ни один камень не задержит ее... Как живая, обходит она все препятствия, выстригая прерогорки и ложбинки, кружась возле кустов с чуть слышным легким звоном.

А вот весна... Блестят лужи, темные, грязные, в белых рамках еще не везде растаявшего снега... Свежо, но к полудню начинает



¹ Древний сказочный царь, знаменитый охотник. — Прим. А. С. Грина.



припекать. Моська ворочает дюжими, одетыми в желтые кожаные рукавицы руками, большие, белые, свежеебтесанные бревна... От ловких ударов остро отточенного топора летят щепки, ряд за рядом вырастает сруб...

И вся крестьянская жизнь, полная непрестанных забот, хлопот, труда и усилия, начинает разворачиваться перед ним... Особенно любил вспоминать Моська, как зимой, вставши чуть свет и поев при огне горячих блинов, он запрягал кобылу и ехал на станцию отвозить в город пассажиров... Стужа, ветер; зипунишко то и дело пропускает холодные струйки морозного воздуха... Но Моська молод, два, три удара кнута — и тарантасик летит во весь опор, подбрасывая злополучного пассажира...

Если только вздох самого Моськи, вспоминающего подчас голодную, но более свободную и милую жизнь, не прерывал его размышлений, то эти размышления обыкновенно нарушал грубый окрик взводного:

— Э-эй, Моська! Что шары-то оставил? Ступай, почишь сапоги!

Моська берет сапоги и начинает их чистить. Но в блеске сапожного носка он уже опять видит блестящие струи деревенской вертявой речки, маленького мальчишку Моську, который, задрав рубашку до плеч, упорно старается схватить руками быстрых, скользких выюнов.

Когда наступил срок и Моське надо было тянуть жребий, он не испытал особенной грусти... Напротив, когда его, голого, ощупали, как лошадь, в воинском присутствии и плот-

ный мужчина с бакенбардами громко сказал: «Годен!», — он испытал даже некоторое удовольствие при мысли, что в его, Моськиной, жизни начинается какая-то новая полоса, совершенно отличная от прежнего времяпровождения. Ему, силачу и здоровяку, шутя разгибавшему подкову и кулаком ломавшему кирпичи, служба казалось игрушкой — веселой, занятой и почетной. «Ну, што такое ружо! — думал он. — Эка невидаль — девять фунтов!» А солдатские мундиры, ловкие и щеголеватые, в которых приезжали на побывку в деревню его земляки, приводили Моську в наивное восхищение.

«Чай, все царское», — думал он, с почтением поглядывая на соседа Гришку или Петьку, который, ухарски заломив шапку на затылок, рассыпался мелким бесом перед деревенскими красавицами.

— Ишь, царь-то он, гляди, как наряжат! Мне бы эдак-то! — и смущенно вздыхал, оглядывая свою неказистую деревенскую одежду...

А теперь он сам будет такой!

Увы! Когда их, новобранцев, в количестве 100 с лишним человек, представили на казарменный двор — тут впервые Моська почувствовал, что как будто «не тово»... Когда прошли первые два-три дня приемки, разбивки, выдачи разных мундиров, заплатанных и перезаплатанных штанов, галстухов, винтовок, сумок и прочей солдатской упряжи; когда впервые Моську поставили в шеренгу и сказали ему уже не как новичку, а как солдату: «Эй ты, рыло! Подтяни брюхо!

Брюхо убери!» — тогда он начал подумывать, что, конечно, трудность солдатской службы не только в том, что винтовка весит девять фунтов... На этих девяти фунтах нависала, цепляясь одно за другое, вся странная тяжесть солдатчины, всей убийственно бессмысленной жизни для убийства... Каждый раз, как Моська становился в ряды и, весь замирая, напрягая все внимание и «поедая начальство глазами» старался не пропустить мимо ушей ни команды, ни ее смысла, — он неизбежно терялся и делал ошибку за ошибкой... И быть может, эта вечная боязнь ошибиться и недоверие к себе, воспитанное постоянными заушениями и окриками: «Осел! Олух!» и т[ому] под[обное], — делали то, что здоровый и неглупый по натуре парень превращался в запуганное животное, не всегда понимающее своего дрессировщика.

Пока Моська числился еще «молодым солдатом», то есть проходил первые четыре месяца службы, — с него, как и с других, спрашивалось все же меньше, чем с так называемых «старых» солдат. Но когда эти четыре месяца прошли, когда «молодые» приняли вторую присягу, тут Моське стало плохо. Он почти решительно ничего не знал. Когда весной, перед началом стрельбы, ротный командир сделал смотр своей роте, он был так поражен поведением Моськи, что вывел его из строя и произвел «экзамен» отдельно.

— Стой! — закричал он Моське, испуганному и растерявшемуся. — Я тебя научу! Смирно!

Солдат застыл.

— Слуша-ай! По-ефрейторски накра-а-ул! Моська, пропустив слова: «по-ефрейторски», взял «на краул» обыкновенным приемом, т. е. подняв винтовку и прижав ее к животу.

— Отставить! — заорал взбешенный штабс-капитан. — Ты что это, сволочь? Этого не знаешь? Дубина стоеросовая!.. Фельдфебель!

— Я! — бледный, трепещущий фельдфебель предстал перед начальством.

— Что знают мои солдаты? Что они знают, я спрашиваю? — кричал ротный на фельдфебеля, стоявшего навтыяжку и взявшего под козырек. — Ниче-е-его они не знают! Как тебя зовут? — обратился он к Моське.

— Мосей Сидоров Щеглов, вашбродь.

— Скажи мне, Щеглов, гм... гм... что такое... что такое... гм... что такое знамя?

— Это... знамя... это такое... как вроде съюночая хоругвь, как вроде...

Моська окончательно сбился и стоял, беспомощно шевеля губами. Штабс-капитан подбежал к нему, и звонкая пощечина раздалась в воздухе.

— Фельдфебель! — кричал он. — Под ренец его, собаку, на два часа!.. С кирпичом! С кирпичом!

По окончании ученья Моська надел полное боевое снаряжение: шинель, сумки, ранец, наполненный кирпичами, и с винтовкой на плече был поставлен отбивать свои два часа. Вся эта тяжесть для него, силача, не имела никакого значения, но стоять на жаре не смея переступить с ноги на ногу, обливаясь потом, было очень мучительно. Хотел



лось пить, в ушах звенело, в глазах прыгали красные, огненные точки...

И еще хуже стало для него жить с этого дня... Правда, «подтягиваясь» все больше и больше, он начинал выходить и на утренний осмотр и на занятия иногда в таком же аккуратном виде, как и другие, то есть не хуже, но и тогда ему не прощалось ни малейшего пятнышка. Обыкновенно фельдфебель, злой на Моську за нагоняй, полученный от ротного, подходил к нему в строю и, запуская большой палец за пояс Моськи, кричал:

— Рохля! Это что?! Что это?! У тебя за ремень быка можно спрятать! Я тебе что говорил: чтобы палец туго проходил! Как в старину служили — знаешь? Обвернут пояс вокруг головы да в тую же меру брюхо подтянут — в рюмочку! О, несчастье ты мое! На голову ты мою уродился!

Следовал поток непечатной брани, и Моська уже мог быть уверенным, что сегодняшний день не пройдет ему даром. И действительно, после обеда уже обыкновенно перед палатками торчала фигура Моськи в полном боевом снаряжении, тоскливо посматривающего на товарищей, имеющих возможность с часок-другой поваляться на траве...

III

Итак, Моська получил удар в шею... Он растерянно и жалко встряхнул головой, поднял плечи, ожидая второго удара, и сейчас же почувствовал его. Этот был еще сильнее первого, и у солдата слегка захватило дух, но все же он вздохнул облегченно, зная, что

фельдфебель бьет только два раза. Это не то что взводный... Тот затащит солдата в угол и долго, с наслаждением отвешивает пощечины своей жертве, пока у нее не пойдет кровь носом...

Стрельба кончилась, и солдаты стали собираться в лагерь, надевая шинели и поправляя сумки... Всякой воинской части, когда она шла куда-нибудь, непременно полагалось петь в силу того соображения, что солдат должен быть всегда бодр и весел. Поэтому фельдфебель окинул роту зорким взглядом своих маленьких рысских глаз и скомандовал:

— Ну... эй вы, песенники!

Несколько секунд еще слышался мерный, тяжелый топот десятков ног, и вдруг высокий, металлический тенор запевалы вывел:

Ге-нера-ал, майор, майор Алхаза
Бы-ы-ыл все вре-е-мя впе-ре-ди-и...

И тотчас же вся рота грянула вслед:

Он ко-ман-до-вал войска-ами,

Са-а-ам и пушки д'заряжал...

Протяжный, заунывный напев, полный затаенной тоски и грусти, понесся, подхваченный ветерком...

Са-а-ам и пушки д'заряжал...

Идут все полки, полки могучи,

Идут весело на бой...

Как один солдат, солдат не весел,

Он из дальней стороны...

— Кабы знал да знал бы я — не ездил
Я на родину свою...

Лучше б в поле, в поле помереть мне,

В чистом поле со врагом...

В чистом поле, поле со врагом

Да под ракитовым кустом...

Моська не поет — он слушает... Вот идут блестящие, красивые полки, гремит музыка, развеваются знамена... Впереди едет на коне седой генерал-майор Алхаза... Солдаты кричат «ура!», — горят желанием сразиться с таинственным, коварным врагом... И только один молодой солдатик идет, понурился голову... Не веселят его ни музыка, ни знамена... Лежит у него на сердце горе... Какое горе?... Моська не знает, но ему смертельно жаль молодого солдата...

— Ты у меня будешь идти в ногу или нет? — вдруг гремит грозный оклик взводного, сопровождаемый площадной бранью.

И Моська, вздрогнув, торопливо переменил ногу, опять путается, опять переменил и, наконец, не видит перед собой ни генерала Алхазы, ни убитого горем солдатика...

— Раз-два! Раз-два!левой, правой! Ать, два!

— Ну, Моська, сколько пуль попал сегодня? — спрашивает его сосед, ярославец Быстров. — Дивлюсь я на тебя: или тебя господь глаз на стрельбу лишает? И что это с тобой такое? Право, когда смех, а когда жалость берет, на тебя глядя!..

— А разве я знаю? Ты поди спроси меня, когда я и сам не знаю... Кто ее знает! Али спуску крепко нажмешь, али...

Но Моська просто стыдится сознаться в том, что он боится. Почему это так, почему он не может до сих пор освоиться с ружьем, он и сам не знает... А главное — никак не может он удержаться от того, чтобы в момент выстрела не закрыть глаз. Это вы-

ходит как-то само собой, а между тем принцип пропадает...

Но он вовсе не трус. Он помнит, как, бывало, еще в деревне случалось ходить ему на посиделки в чужую деревню, частенько кончавшиеся жестокой свалкой. Он не боялся; напротив, было даже очень приятно драться и чувствовать свою силу... Случалось ему и на пожаре лазить в самый огонь и выскакивать с опаленными волосами и почерневшим лицом, держа в объятиях какую-нибудь телку...

Но здесь — чужое, здесь каждая мелочь тесно сплетается с другой, одна ответственность влечет за собой другую... А когда приходится стрелять в цель, Моська знает, что этому придается особо важное значение. Заранее волнуясь, он уже уверен, что даст промах, и боязнь промаха, а не выстрела, заставляет его невольно закрыть глаза на мгновение... Но этого он не сознает... Так иногда человек при одном воспоминании, что он покраснел когда-то, краснеет снова...

Между тем рота подошла к палаткам, песни смолкли, и солдаты, сбросив шинели и сумки, пошли в столовую обедать.

Горячий пар валил уже из кухни, расстилаясь клубами под потолком. В дымном, насыщенном кухонными испарениями воздухе мелькали белые рубахи, желтые деревянные чашки, носился раздражающий голодного человека запах гороха и прогорелой гречневой каши. Пища бралась повзводно, одна громадная чашка — «бак» — обслуживала восемь-одиннадцать человек. Стояло настоящее стол-



творение; в отворенную дверь кухни было видно, как повар, с засученными рукавами, взгромоздившись на край котла, длинным черпаком безостановочно поливал в подставляемые со всех сторон чашки мутный жидкий горох.

Моська в числе других усердно работал челюстями, вставая всякий раз, когда нужно было зачерпнуть, ибо он сидел с краю стола. Шел довольно оживленный разговор на злободневные темы и главным образом о распространившемся в последнее время слухе, что скоро будет назначен новый ротный командир, специально для того, чтобы «подтянуть» распушенных солдат и сделать роту «образцовой». Про личность предполагаемого ротного командира ходили самые фантастические рассказы.

— Эх-ма! — говорил один солдат, торопливо жуя черный, как смола, хлеб. — И не сидится же ихнему брату... Вот, к слову сказать: служим мы в этом треклятом месте — кажись, какой черт здесь узнает, как служба? Хорошо ли, плохо ли идет? Ан поди ж ты: сейчас это пуцают тилиграммы, — и гляди, через месяц али два непременно какогонибудь хахаля пришлют... А к чему — не все одно? Нашу роту как ни правь, а знай половицу: «Горбатого могила исправит». Да и то сказать: какого нам рожна еще нужно, когда у нас вон этикие гренадеры служат! — Солдат скосил глаза на Моську и подмигнул компании. — Отдай все, да и мало! Уж наверно начальство так порешило: «А что-де, мол, у нас в первой роте офицер-то хуже Моськи?

Никак, мол, этого сраму допустить невозможно... Пришлем, значит, ему под пару, для кумпании...»

Взрыв хохота был ответом на выходку солдата. Ободренный успехом, тот не спеша обтер усы, заправил в рот новую ложку гороха и продолжал:

— Вот приедет новый-то. «А что, — скажет, — где у вас этот самый Моська-то? Я, мол, таких солдат оченно уважаю, потому что я сам ему сродни, племянником довожусь... Наградить, — скажет, — Моську за храбрость и сметку по голому пузу пузырем с горохом!..»

— Ха-ха-ха! — покатывались солдаты. — Ну и Козлов! Вот уж, братцы мои!..

Моське стало грустно. Он знал, что солдаты смеются над ним без всякого злого умысла, но быть постоянной мишенью для шуток и насмешек ему было обидно. Он встал, обтер ложку и сказал:

— Ну и набил же я свой барабан! Ажно расперло!

— Смотри — не открой стрельбу! — сострил кто-то, но Моська не обратил на это внимания.

— Скальте, скальте зубы, ребята, — сказал он. — А вот ежели дивствительно пришлют нового-то, да прочим не в пример со строгостями еще пуще... Вот тогда не больно смеяться будешь...

— А потому же и смеемся, что опосля не до смеху будет! — сказал кто-то. — Энтот, что к нам будет, новый-то, сказывают...

Солдат оглянулся и вполголоса докончил: — Новый-то, сказывают... убивец!

Со всех сторон посыпались восклицания:

— Пошел ты!

— Чего зря мелешь!

— Какой такой убивец?

— А вот убивец — поди ж ты! Я сперва и сам этому-то не ахти как верил, так, болтали как-то... А наемни мне батальонного командера повар сказывал... Он в офицерском собрании ейной жене, батальонного-то, на именины обед готовил, ну, и промежду офицеров, значит, разговоры об ефтом самом ротном и были... А повар-то, значит, и подслушай!..

— Ну, ну! — посыпались любопытные возгласы.

Рассказчик перевел дух, откусил кусок хлеба и продолжал:

— Сам-то он, ротный-то энтот, из немец... А служил он перво-наперво в западном краю, в Польше...

— Ну, жуй скорее!..

— Ну и говорит же, ребята: как нищего за нос тянет!..

— Ну... и служил он, значит, в Польше; уж в каком там полку — запоматывал... А в Польше у мужиков с помещиками тяжба давнишняя идет... из-за земли, ну, вот как у нас... Ну, ждали, ждали мужики,—видят, никаких пользительных манихвестов нет, а от тех манихвестов, что выходят,—одно огорчение... А теснота большая — хоть с голоду помирай... Да окромя того, тамошнее начальство совсем озверело, значит, тянет с мужиков последнюю копейку — прямо беда... Бьют,

в холодную сажают... Ну, значит, терпели, терпели мужики — как ни кинь, все клин! Ни от бога, ни от начальства никакой помощи нет, а одно разорение только...

— Это мы и без тебя знаем!

— Каку новость сказал!

— А ты, брат, короче сказывай — видишь кашу несут!

— Н-ну... терпели, терпели, значит, да возьми и выйди изо всякого то есть терпения и повиновения... «Долго ли,—говорят,—мучаться будем?» Взняли да и пошли на помещиков... «Земля,—говорят,—божья; а мы-де той земли прямые хозяева, потому кто на ней не работает, тому и владеть ей законноту...» Н-ну... пошли, экономии сожгли, амбары, риги, хлевы, лес — все дочиста разорили, а хлеб себе увезли, — год-то был неурожайный...

— Тэ-э-эк!

— Тэ-эк! Ну... выслали, значит, супротив нас батальон пехоты... А в первой роте того батальона и был, значит, энтот самый ротный... Приходят на село, согнали мужиков... «Тэ-э-э и так,—говорит,—сказывайте, сукины дети, где хлеб?» Ну, те, известно, молчат... Тут выходит энтот ротный и подает команду: «Пли!» — стреляй тоись по крестьянам... А только ён, значит, сказал: «Пли!» — как вся рота, как один человек, взяла «к ноге!»... Увидел ён это — аж побледнел и затрясся весь... Одначе только зубами заскрипел — снова командует: «Прямо по толпе, пальба ротою — рота, пли!» Хучь бы што! Стоят молчат, ружья к ноге... И сделался тут, брат-



цы мои, самый энтот ротный вроде как мертвец...

Все затаили дыхание... Ложки, протянутые за кашей, застыли в воздухе...

— ...Ударил ногой о землю и говорит: «Ежели сейчас не будет послушания — всем плохо будет!» Н-ничего!.. Отошел он на правый фланг, опять командует: «Так-то, так и так, рота — пли!» Куда тебе... Никто и не пошевелился. «Ну,— грит,— с вами, стало быть, иначе нужно разговаривать! Налево кругом, марш! В казармы!..»

Приходят в казармы... Пообедали, значит, вроде вот как мы теперь... Дело к вечеру... И приходит, братцы мои, на поверку энтот самый ротный... Пьяный-распьяный, пьянее вина... Вошел дневальный к нему с рапортом: «Ваше благородие, в первой роте такого-то батальона...», а он на него: «Пшел прочь, мерзавец, пока жив...» Кричит: «Построиться!» Построились... Вынимает ён левольверт, подходит к правофланговому...

«Ты,— грит,— какое такое полное право имеешь моих приказаний послушаться? Сказывай, кто у вас в роте зачинщик и бунтовщик, а то вот тебе смерти!..»

«Не могу,— грит,— знать, ваше благородие!»

Поставил он ему на висок левольверт — раз! — наповал... Даже не пикнул... Кровища тут побежала... Подходит к следующему.

«А ну,— грит — сказывай, кто у вас в роте солдат смущает?»

А тот, значит, стоит белый, как бумага, однако насупротив ему отвечает:

«Не могу знать, ваше благородие, а только что никто нас не смущает...»

Наставил он ему левольверт к самсму сердцу — раз! Повалился тот возле первого... А ротный, значит, опять курок взвел, подходит к третьему.

«А ну,— грит,— сказывай, кто у вас в роте первый смутьян и зачинщик?»

А солдат-от, к которому ротный подошел, видит дело плохо: зверь стал офицер, всю роту перебьет... И говорит он ему, ротному, значит:

«Я, ваше благородие, есть первый смутьян и зачинщик!»

«Врешь,— грит,— ты!»

«Никак нет, ваше благородие!»

«А вот,— грит,— как?! Когда так... Фельдфебель! Взять его, мерзавца, на гауптвахту!»

Посадили солдата в карцер, мертвых похоронили... Сидит он месяц, другой и третий, и выходит ему решение суда: в ссылку на вечное поселение в сибирские края...

Рассказчик умолк и потянулся к чашке с кашей. Наступило молчание. Кто-то громко вздохнул. Моська утер невольную слезу и перекрестился.

— Чего крестишься? Али кашу приступом взять хочешь? — засмеялся Козлов.

Но на шутку его никто не обратил внимания. Все ели некоторое время молча.

— Ну уж, ей-богу, братцы, и дурак энтот самый солдат! — заявил Моська.

— Какой солдат?

— Как дурак?

— Сам ты дурак!

— Человек, значит, себя не пожалел, а он его дураком обзывает!

— А вот и дурак... Ну уж привелось бы, к примеру, мне, никогда бы я на себя напраслину взводить не стал.

— Мели, Емеля: твоя неделя!.. Ну, а что бы ты сделал?

— Што? — Моська остановился с поднятой ложкой, и лицо его осклабилось широкой улыбкой... — Ты говоришь, што?

— Ну да, што?

— Што?

— Ну?!

— Што... А вот взял бы его, лешего, под микитки, скрутил бы ему лопатки, да так бы его унавозил, что ах, ты ну!..

— Ха-ха-ха! Ну и Моська!

— Ай-да Аника-воин!

— Ой, уморил!

— Ха-ха-ха-ха-ха!

Солдаты развеселились. Моська, неожиданно сделавшийся опять центром насмешек и прибауток, поспешил снова облизать свою ложку и вылезть из-за стола. Обед кончился. Солдаты крестились и выходили из столовой.

— Одначе ты, Моська, держи язык за зубами, — заметил один солдат. — По глупости мелешь, а смотри... Всякий народ ест!..

А глядя на фигуру и комплекцию Моськи, нельзя было не согласиться с тем, что этот дюжий и неуклюжий мужик способен так «унавозить» и «разуважить», что тошно станет...

Однажды в жаркий июльский полдень солдаты, только что возвратившись со стрельбы, чистили винтовки под широким дощатым навесом. Моська, по обыкновению пустив свои пять пуль гулять по белу свету, был тут же и, навертев на шомпол паклю и тряпку, усердно протирал ствол винтовки... Пот с него катился градом, и шомпол свистел в могучих руках.

Чистка винтовок — одно из наказаний мучений солдатской жизни. Бывали случаи, что солдат шел под суд и был наказываем розгами до полусмерти за то только, что где-нибудь на штыке его ружья находили незначительные пятна.

Моська остановился, вытащил шомпол с тряпкой, на которой уже нигде не оставалось ни малейшего следа грязи и копоти, и посмотрел в дуло на солнце, как в трубку. Солнечные лучи ударили в отполированную поверхность стали и вонзились ему в глаза тысячью искр... Довольный своей работой, Моська подошел к взводному.

— Господин взводный, извольте посмотреть!

Взводный, бывший расторопный официант, слез со стола, на котором сидел, вынул ружье из карманов и, небрежно посвистывая, взял у солдата ствол. Трудно было найти какие-нибудь недостатки в старательной чистке Моськи. Однако последний в роте солдат должен быть везде плох. Поэтому унтер сморщил нос и, повертев ствол в руках, подал его Моське обратно.



— Чисть еще! — процедил он сквозь зубы.— Кто ж так чистит? Ишь, что раковин в ём!

Моська думал как раз наоборот, но тем не менее, глубоко вздохнув, отошел и принялся с прежним остервенением тереть и обтирать сложную механику ружья.

Едва только он приступил к смазыванию маслом своего оружия, как под навес вошел Козлов.

— Поздравляю! — сказал он, комически сдвигая шапку на бровь и опершись руками о стол.

Солдаты взглянули на него и ничего не ответили.

— Поздравляю! — еще громче крикнул Козлов.— Оглохли вы, а? Слышите, поздравляю!

— Ну и поздравляй! — буркнул кто-то.

— А ты спроси, с чем?

— А мне какое дело?

— Вот те и на! Смотрите, люди добрые: приходишь к этому свинопасу вроде как будто курьера с телеграфным сообщением, а он рыло воротит! То есть сразу видно, дикий и необразованный народ!

— Ты-то уж образован!

— Я-то? А пожалуй, что так! Вы, кислая солдатская шерсть, тут что знаете?! А я по крайней мере чичас в городе был...

— Ну?..

— Ну... и поздравляю!

— О, леший! — возмущился один из чистивших и в сердцах бросил даже на стол затвор, который держал в руках.— И какая же,

у этого Козлова анафемская привычка: придет — нет чтобы сразу сказать, а всю душу наперво из тебя выволокет... У, живодер! — замахнулся он притворно на хотавшего Козлова.

— Не балуй, Козел, — сказал взводный Моськи, Задвижкин.— Чего людям работать мешаешь?

— Ну, когда так, так пожалуйста: поздравляю вас с новым ротным командиром!..

— Ну, скатал валенки!

— Отлил пушку!

— Пушкарь и есты!

— Черти вы полосатые! — обиделся Козлов.— Когда я сичас от денщика нашего ротного! А новый у него сичас сидит, коньяк пьет за мое почтение!..

— С кем пьют, с денщиком?

— Ну! Конечно, с ротным!

— То-то!

— Сам видел,— продолжал Козлов.— Толщины, можно сказать, необъятной!..

— Ты что, Козлов, вместе детей, штоль, с начальством крестишь, что так язык распустил? — строго заметил Задвижкин.— Смотри!

Мелкое начальство побаивалось Козлова. Еще в бытность новобранцем он во всеулышание заявил, что всадит штык всякому, кто осмелится его ударить. И, зная его вспыльчивый характер, этому верить было можно. Поэтому там, где другой попал бы в карцер или на дежурство не в очередь; Козлов отделялся только окриками и замечаниями.

— Никак нет, господин взводный! — отчеканил Козлов. — Известно, правда глаза режет! Виноват-с, не буду больше!

— Чай, скоро к нам объявится, — заметил кто-то. — Приехал — так сидеть не будет.

— А не слышал ты, Козлов, какие у них разговоры были? — спросил Задвижкин.

— Нет, собственно... А так, одним краем уха... Да што: все наш ротный жалится... Интригуют уж, говорит, очень — все по службе неприятности... Все ножку-де подставляют, где уж тут, грит, служить станешь... А только что, говорит, с моим народом надо ухо остро держать! Только из-под палки, грит, и слушают!

Солдаты внимательно слушали. В жизни 1-й роты происходило историческое, так сказать, событие: перемена командира. Как ни строг и ни бестолков был прежний ротный, но солдаты его знали. Его привычки, система наказаний, слабости, недостатки, все, что он любит и чего не любит, было известно. К «новому» же предстояло еще привыкать и на собственной шкуре тяжелым опытом доходить до познания: что такое новый командир и как нужно с ним жить.

— Ну, а он, новый-то? — спросил Моська и тотчас же спохватился, испугавшись своего вопроса в присутствии взводного.

— Новый? — рассеянно процедил Козлов, обводя глазами присутствующих. — Новый, ничего... Сидит, молчит... Молчит да думает... Думает, да вдруг и спросит: «Вы, — грит, — так думаете! Неужели?»

— Охо-хо-хо! — протянул Задвижкин. —

А може, и впрямь сегодня придет, коли приехал... Пойду-ко я там посмотрю...

Рыльце у него было в пушку, и надо было кое-что уладить. Задвижкин встал и вышел из-под навеса, торопясь к каптенармусу сообщить новость в предупреждение возможности быть неприятностей. А неприятности могли произойти оттого, что у каптенармуса далеко не все было в порядке, как в цейхгаузе, там и в амбарах.

Как только он скрылся, Козлов вскочил на скамью и сказал:

— Ну, ребята, держись теперь! Съест!

— Бог не выдаст — свинья не съест!

— Ой, съест! — заговорил молодой, тщедушный парень с быстрыми испуганными глазами. — Ведь и энтот-то живодер! А тот, скрывают, прямо людоед!

— Ну, не каркай, ворона! Поживем — увидим, — сказал другой солдат. — А что новья метла чисто метет, да недолго живет — так и это верно. По первоначалу всегда так наедет, накричит, нашумит: то неладно, другое нехорошо; а прошел месяц, надоест, пойдет по-прежнему... А и то сказать — чем наша рота остальных хуже? Так, придирился одна!..

Моська слушал все эти разговоры, и в нем рождалось уныние. Сердце говорило ему, что для него теперь настает очень плохое житье. Он слышал много рассказов о том, как расправляется начальство с негодными солдатами, и знал, что бывали такие случаи, когда придирились к пустякам, судили и отправляли в дисциплинарный батальон.



«Хотя бы в конвойную команду отправили! — думал он. — Все легче... Нет тебе этого ученья да емнастики... Вольготно. Когда и трудно бывает, а все же лучше...»

Козлов готовился привести еще какие-то соображения по поводу нового командира, как вдруг под навес прибежал, запыхавшись, фельдфебель — низенький, бритый старик с жесткими и хитрыми глазами, которые обладали способностью видеть во все стороны даже тогда, когда он, по-видимому, смотрел вниз.

— Бросай чистку! Собирай винтовки и марш на ученье! Живо!

Солдаты зашевелились. Ротное ученье в такой ранний час! Дело ясно: их будут «представлять» новому начальству.

Все кинулись в палатки...

V

Яркое полуденное солнце немилосердно жжет и палит. Ни ветерка, ни облачка; огромное зеленое поле, где сотни раз выводили живых людей и, как лошадей в цирке, заставляли выделять разные кунштуки, пусто. Далеко, на другом берегу реки, густо поросшей ивняком, синеев гряда леса, уходя в бесконечную даль. С другого края круглой зеленой площади белыми зубчатыми линиями раскинулись лагеря. Издали маленькие, четырехугольные палатки кажутся карточными домиками, готовыми разлететься от легкого дуновения. Там и сям между ними зеленеют тощие тополя и акации. Везде пусто — в поле и небе... Все, кажется,

спит, очарованное жарким, ослепительным светом...

В первом ряду маленьких белых палаток заметно движение... Мелькают, шевелясь, исчезая и появляясь вновь, белые точки... Их все больше и больше, и вот, заслоня очертания палаток, около лагеря начинает извиваться маленькая белая змейка, сверкая длинными блестящими искрами... Слегка подаваясь то влево, то вправо, она растет, приближается... То тут, то там показываются красные точки околышей и погон, штыки сверкают все гуще и гуще... Слышен далекий равномерный топот, в такт которому волнуется белая колонна. Еще несколько минут — и вы видите, что маленькая белая змейка превратилась в первую роту ***ского батальона, мерным, торопливым шагом выходящую в учебное поле «представляться» своему новому ротному командиру.

Отходя от лагерей сажень на сто, рота остановилась. Раздалось одновременное бряцанье, и штыки, сверкнув еще раз, опустились. Фельдфебель вышел вперед, молодежато крикнул, метнул глазами направо и налево и скомандовал:

— Р-ряды-ы... стр-р-ройся!

Раз, два, три! Рота из четырехзвонной вытянулась в двухзвонную колонну.

— Р-ряды-ы... стр-р-ройся!

Раз, два, три! Теперь две шеренги слились в одну и вытянулись длинной прямой линией.

— Равняйся! Смирно!

На дороге, ведущей из лагерей к батальонной церкви, показалось облачко пыли... Пара

вороних лошадей мчала легкую коляску с тремя офицерами. Перед фронтом коляска остановилась, и двое из них — батальонный командир, полковник, седой, стройный старик, и прежний ротный, худощавый блондин с строгим и усталым видом, быстро выскочили из коляски на землю.

Третий, казалось, был нарочно создан для того, чтоб его возили в экипажах. Он не сразу вылез, но двигаясь осторожно и степенно — причем коляска чуть-чуть не опрокинулась — поставил на подножку одну ногу, а другую на землю и слез. Затем так же степенно, по-солдатски, повернулся всем корпусом и выпрямился.

Солдаты с удивлением глядели на его фигуру. Был он страшно толст, непомерно. Казалось, все в этом круглом, шарообразном теле кричало о том, что тесен божий мир и негде повернуться. Трудно было сказать, где кончалась голова и начиналась шея; то и другое было красно и непомерно широко. Он был маленького роста, и поэтому ноги его, толстые, короткие обрубки, одетые в широченные шаровары, казались продолжением туловища.

Трудно было ожидать от такого субъекта поворотливости. Каково же было изумление солдат, когда толстяк быстро и легко, вместе с полковником и бывшим ротным, направился к фронту.

— Смирно! — прокричал фельдфебель, прикладывая руку к козырьку.

— Здорово, ребята! — сказал полковник.

— Здрав-жлам-вашскоброды!

— Это ваш новый ротный командир, — продолжал полковник. — Слушайте и любите его!

Он сказал что-то прежнему ротному, и они, простившись с толстяком, сели и покатались обратно. Толстяк помолчал немного, затем, вытянувшись и приподнявшись на носках, крикнул тонким, бабьим голосом:

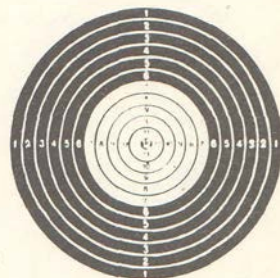
— З-здорово, молодцы, первая рота!

— Здрав-жлам-вшброды! — рывкнули «молодцы».

— Я ваш новый начальник! — продолжал толстяк. — Никаких послаблений от меня не ждите! Инструкцию исполнять неукоснительно! Словесность знать назубок! Нос не вешать. Будете хороши — и я буду хорош. Няньчиться с вами я не стану. Мои приказания — святы! Издохни, да сделай!

И он помчался вдоль фронта, тяжело дыша, обтирая мокрое лицо батистовым платком и внимательно всматриваясь в лица солдат. Те почтительно провожали глазами начальство, и в лицах их можно было прочесть одно — оторопы!

Моська стоял четвертым с правого фланга и дыхание у него спирало в груди. Он не мог оторвать глаз от этого красного, белобрысого, толстого человека с белыми ресницами и голубыми глазами, и, видя, как он подвигается к нему все ближе и ближе, Моська испытывал точно такое же чувство, какое испытывает человек при виде жабы. Теперь он мог хорошо его разглядеть. Маленький подбородок, утонувший в толстых складках шеи, придавал его лицу смешное



бабье выражение. Но в низких, желтоватых бровях и далеко ушедших внутрь голубых глазках таилось что-то бесконечно упрямое, высокомерное и жестокое. Он подошел к Моське и быстро, мимоходом, впился острым злорадным взглядом в испуганное лицо солдата.

«Убивец!» — вдруг подумал Моська, и острый холод пронизал его с ног до головы. И, провожая взглядом широкий затылок ротного, он испытывал какое-то смешанное чувство удивления и боязливой ненависти при мысли, что этот грузный, короткий и широкий офицер хладнокровно убивал себе подобных. Но сейчас же это чувство прошло, так как Моська вспомнил, что теперь надо быть начеку и не сделать какого-нибудь промаха. И он еще крепче сжал винтовку в руке.

Пробежав фронт, ротный несколькими быстрыми прыжками отскочил задом от фронта и выкрикнул:

— Слуша-ай! С колена, по колонне — все-сьмо-от па-альба... р-ротою!

Шеренга роты разом упала на одно колено и оцетинилась острым гребнем штыков. Торопливо защелкали затворы.

— Р-рота!..

Приклады у плеча...

— Пли!

Треск курков.

Толстяк подумал несколько мгновений и вдруг пошел сзади шеренги, внимательно осматривая постановку ног. Дойдя до Моськи, он остановился — и сердце солдата упало.

— Фельдфебель! — услышал сзади себя Моська визгливый тенорок ротного. — Дай-ка этому псу по шее и научи его ставить ноги!

Секунда-другая — и у Моськи в глазах земля заходила ходуном и все завертелось. Опомнившись от удара, он слышал, как толстяк сказал фё «фобелю:

— На три дневальства не в очередь и неделю без отпуска!

«Новый» начинал, по-видимому, оживать: с то тут, то там слышался его визгливый крик и его нога в широком лакированном сапоге то и дело толкала солдат, поправляя ноги и руки. Наконец он скомандовал:

— Встать!

Солдаты встали.

— Плохо! Вижу сразу, что все плохо! — кричал ротный. — Но я вас буду учить! Я многих, многих учил!

Началось бесконечное ротное ученье — с маршировками, с «беглым» шагом, поворотами и построениями, в течение которого ни на минуту не смолкал голос, бранчивый и ворчливый, толстяка. Глаза его моментально обегали роту и вспыхивали, когда он замечал оплошность или ошибку.

Через два часа солдаты, разбитые и усталые, шли к палаткам. В воздухе неслась бессмысленная, трагирно-солдатская песня:

Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой,
Крутится, вертится — хочет упасть...

.....

VI

Для первой роты наступили тяжелые времена. Все подтянулось. Ничто не ускользало от внимания и зоркого взгляда маленьких голубых глаз нового командира. Он проявлял поистине какую-то чудовищную неутомимость и, раз решив, очевидно, поставить роту на «образцовую» ногу, не давал никому покоя. Он лично осматривал одеяла, матрацы, мундиры, брюки, галстуки, пуговицы, пояса, винтовки, сумки — все, что только имело отношение к солдату и к чему имел отношение солдат. Ночью он являлся неожиданно, когда все спали, и, выслушав рапорт дежурного по роте, молча обходил палатки, прислушиваясь к дыханию спящих, стараясь определить, спит ли человек или только притворяется.

На ученье он выходил из себя, если случайно вздрагивал штык у кого-нибудь в рядах... Он даже похудел и побледнел, если только можно назвать худобой увеличившееся количество складок на шее и менее красный цвет лица. В течение какой-нибудь недели он устроил два обыска в солдатских сундуках, ища запрещенных книг и прокламаций, — «потому что, — как выразился он однажды, — солдат насчет этого не дурак...». В гимнастике он требовал безукоризненной отчетливости, и солдат, перескочивший, например, яму так, что одна нога его была впереди другой на два вершка — должен был прыгать до тех пор, пока не делал прыжок удовлетворительно или не сваливался от изнеможения.

Зайдя однажды на кухню, он приказал посадить на трое суток под арест артельщика

и повара за то только, что те вздумали сварить вместо надоевшей капусты макароны.

— Это что такое? — визжал он. — Что за Италия? Зачем это? Макароны? Баловство! Щи и каша — каша и щи! Вот солдатская еда! Если вы, сукины дети, еще купите макарон — я вас самих заставлю сожрать весь котел!

Каждый день кто-нибудь сидел в карцере. Сажал он за всякие пустяки: за недостаточно молодцеватое отдавание чести, оторванную пуговицу, плохо смазанную винтовку. Все ходили на цыпочках. Даже развеселый Козлов приуныл после того, как постоял под ранцем шесть часов и едва не слег после этого в лазарет.

Фамилия нового ротного была Миллер. Тупой, злопамятный и ограниченный, он ненавидел солдат, как своих личных врагов, и не без основания: редко кто из рядовых увидев где-либо между палатками широкие собачий затылок Миллера, не посылая ему проклятие. В пьяном виде он бывал очень чувствителен; тогда он собирал солдат вокруг себя и, засунув руки в карманы, икая и нелепо двигая бровями, пояснял им, что они их «отец» и прочее. Но горе тому, кто во время этих крокодиловых слез не умел изобразить в лице достаточного внимания к словам немца: слащаво-нахальное лицо Миллера мгновенно принимало жесткий и угрожающий вид, глазки суживались, и «отец» уже совершенно другим тоном, с угрозами и ругательствами набрасывался на тех, кто по его мнению, недостаточно близко подходит к сердцу его слова.



— Тебе, Федоров, я вижу, трудно меня слушать,— начинал он в таких случаях.— Так чего же ты, братец, здесь стоишь? Тебе не нравится, да? Не нравится, я вижу, не нравится, что я говорю? Ты, может быть, лучше на сходку пошел бы, к разным социалам? А? Ну что ж, и ступай, и ступай, братец!.. Насильно мил не будешь!.. Ах ты, бродяга! — неожиданно накидывался он на оторопевшего Федорова.— Да ты знаешь, кто я? Как ты с-смеешь, мерзавец? — и взгляд, полный ненависти, казалось, хотел пробить насквозь и пригвоздить к земле ни в чем не повинного Федорова.

— Ну и слон, братцы! — сказал однажды Козлов в своей компании, играя в три листика.— Этакого слона ни в сказке сказать, ни пером описать. Хоть западню на него ставь...

— Кто это — слон? — спросил партнер, убивая козырного валета.

— А он — Миллер, едят его мухи! Иду я давеча — глядь, он катит по дорожке, все место занял — не пройдешь... Чисто слон...

Кличка «Слон» так и осталась за Миллером. Слово, пущенное случайно за карточной игрой, крепко пристало к новому ротному и даже среди офицеров, узнавших, как зовут Миллера солдаты, получило право гражданства.

Легко представить, во что обратилась теперь жизнь для Моськи. Два раза фельдфебель докладывал Миллеру, что Моська — никуда не годный солдат, и два раза Слон категорически, с пеной у рта заявлял, что плохих солдат у него быть не должно.

— Бей! Плох — бей! Под ранец! В карцер! Все что хочешь! Или сгони в могилу, или сделай солдата!

Мелкое солдатское начальство: ефрейтора, унтера, фельдфебель, подгоняемые сверху, окончательно осточертели и походя срывали злобу на более робких и забитых. Особенно невыносимой жизнь сделалась для Моськи.

Парень похудел, осунулся, и в глазах его, больших и недоумевающих, появилось какое-то новое, небывалое выражение затаенной тоски и безграничного отчаяния. Как затравленный зверь, вздрагивая при виде офицерских погон, бродил он по казарме, грязный, оборванный и жалкий, сторонясь товарищей и неохотно вступая в разговоры... Только когда осень позолотила листву деревьев и желтое жнивие ощетинилось в полях, взгляд его как будто прояснился и стал мягче: парень вспомнил дом, домашние работы, уборку хлеба и родную ниву, далекую от его холодной, мрачной казармы...

VII

Батальонная канцелярия помещалась возле офицерского собрания, на большой лужайке, затейливо украшенной живой изгородью и цветочными клумбами. Смеркалось. В окнах дежурной комнаты вспыхнул огонь и осветил два окна. Это Моська, назначенный сегодня вестовым к дежурному по батальону, ротному командиру 1-й роты капитану Миллеру, зажег огонь.

Миллер еще не приходил, и Моська, свободный пока от несения служебных обязан-

ностей, сидел у большого некрашеного стола и перелистывал тоненькую книжку, на обложке которой был нарисован огнедышащий змей с двумя целыми головами и одной отрубленной. Возле змея стоял молодой человек в латах и шлеме и замахивался мечом на другую голову. В темной офицерской комнате часы торопливо и бойко постукивали, как бы разговаривая сами с собой... В окно доносились смешанные звуки лагерной жизни: игра на гармонии, отрывки песен, брань, стук шагов.

Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Слон, заняв корпусом всю ширину дверей. Он был пьян и пальцами слегка придерживался за косяк. Моська вскочил и вытянулся. Миллер обвел взглядом помещение и грузными, короткими шагами направился в дежурную комнату.

— Огня! — бросил он на ходу.

Моська кинулся со всех ног к лампе, от волнения руки его дрожали, и спички тухли одна за другой. Наконец вспыхнул огонь, и тусклый свет озарил дешевые обои, письменный стол и кровать в углу. На столе стояли пустые пивные бутылки, на тарелке лежал сыр и кусок хлеба. Слон с минуту постоял посередине комнаты, потом засунул руку в карман и, вытащив скомканную десятирублевку, бросил ее на стол.

— Вестовой! — прохрипел он. — Живо за коньяком! Марка «Н» с черной звездочкой — бутылку! Ты, песья душа, знаешь, что такое звезда?... Звезда... звездочка, трум, трум... трум... Ну, чего стал? Живо, марш!

Моська бегом бросился в офицерский бу-

фет и через 5—6 минут вернулся с бутылкой коньяку и большой граненой рюмкой. Поставив принесенное на стол, он отошел к порогу и, вытянувшись, замер.

Слон сел на кровать у стола и согнулся, подперев голову руками. Сигара, которую он сосал, постепенно выползла изо рта и с легким стуком упала на пол. Слон вздрогнул, посмотрел на Моську тупым, соображающим взглядом и потянулся к бутылке.

— Налью-ка я себе... — бормотал он, — а тебе, вестовой, — тебе не налью... Я — офицер ты же есть холуй... А потому трескай себе казенную водку, жри... А я буду пить коньяк!

Он медленно налил рюмку и залпом ее опорожнил.

— Ты, — продолжал он, обтирая усы и грузно пыхтя, — в сущности, не должен на меня смотреть... Это р-роняет... пре... пре... стуж власти... Офицер — и пьет перед своим вестовым... Этого не полагается... Ну, все равно... Я буду пить, а ты облизывайся...

«Убивец!» — думал Моська, глядя на красивые пухлые руки Слона с оцепенением, похожим на чувство, с каким жертва смотрит на своего палача.

— Пью я, дорогой мой солдат... — сказал Миллер, облокотившись на стол и положив голову на руки. — Пью... пьян же отнюдь не бываю... Отнюдь! Заметь это... Почему? Ответ ясен: потому что устаю, и мне добрая бутылочка всегда полезна... А как с вами, собаками, не устать? Сильно устаю... Как тебя зовут?



— Мосей Щеглов, вашбродь! — едва слышно произнес Моська.

— Мо-сей... Щег... Щег... А! а!.. Это ты, дорогой, значит, так отличаешься? Это ты-то никому не годная тварь? И-ну-ну! А ведь я вас учить приехал! А? Я вас выучу!

Слон засмеялся и лукаво погрозил Моське пальцем.

— Но — без тонкостей! Эти разные шуры-муры солдатские, нюансы и амуры — побочку! К черту! Учить — прямо, честно, по-солдатски! В ус и в рыло! Чего дрожишь? Не бойся! А ты думал, что тут тебе тятя с мамой блины пекли? Как же! Держи карман шире! В солдаты попал — пропал! Нет больше никакого Мосея, а есть рядовой! И, как рядовой, ты об-язан исполнять все... быстро, точно и... и б-беспрекословно! Скажу: убей отца! Убивай моментально,дохнуть не дай! Скажу: высеки мать! Хлещи нещадно! В рожу тебе плюну — разотри и с-смотри козырем, женихом, конфеткой! Захочу — сапоги мои целовать будешь! Вот что! Ха-ха-ха-ха-ха!..

Мосей вздрогнул. Слон хохотал неистово, сладострастно, и толстые, багровые жилы вздулись на его лбу... Наконец, задыхаясь, он хлебнул еще рюмку и продолжал:

— Вас, скотов, берут на службу для чего, как бы ты думал? Ну — родина там... что ли... отчество... для защиты, а? Царь, мол, бог... Те-те-те! Для послушания вас берут, во-от что! И поэтому существует дисциплина! Без дисциплины ты есть что? Мужик. А нам мужика-то не надо, не-ет! Совсем н-не надо!..

Пусть и духу в нем мужицкого не останется! Чтоб и про село свое он забыл, где родился! Тебя посылают, тебе приказывают и... баста! А куда, зачем—тебе какое дело! Пошлют на японца—сдыхай в Маньчжурии... Пошлют мужиков бить—режь, грабь, жги! Тебе какое дело? Я в ответе, не ты!

Слон выпил еще.

— Я знаю, вы народ хитрый, вы собаки дошлые! Я знаю!.. Я все знаю! Знаю, куда у вас ходят по вечерам! Знаю, какие книжки вы читаете! И прокламации... Под расстрел хотите? М-можно... Вы думаете, эти дураки ваши, деревенские-то, добьются чего-нибудь? Шиш с маслом! З-земли и воли! А штык в спину? Политической свободы, ска-ажите!.. А пятьсот горячих? Дем-мократической республики! А кулак в зубы? Ниче-его вам не надо и... незачем!.. Ведь вы... Ведь вами, как скотиной, надо пользоваться! Вези, пока не здох!.. Мы,— он ударил себя кулаком в грудь,— мы благородны! Мы люди! Наши деды на ваших дедах верхом ездили! Сено возили!.. Мы сильны и... б-бла-ародны! А вы хамы!

...Я вас буду учить! Я буду палкой загонять вам в голову словесность... а стрельбе научу без пр-ромаха! Десять раз у меня окривеешь, и будешь попадать! «Нет у тебя бози инии, разве мене...» Помни эту заповедь... а то я спущу тебе штаны и напомяню по-своему!.. Ведь ты хам, с тобой все можно!.. Запорю, засужу, уб-бью — и ничего мне не будет! Ведь ты хам, хам? Да? Говори! Хам?!.

Они стояли лицом к лицу: один — озверевший от вина, злобы и скуки; другой — белый, как мел... Губы у Моськи дрожали, и сердце сжималось от невыносимо тоскливого и отвратительного чувства... Уйти бы, уйти бы, уйти!

— Ну... ну, говори... Хам ты или нет?!

Рука Миллера уже протягивалась в воздухе, ища, за что схватить Моську. Иступление овладело им.

— Никак нет, вашбродь! — вдруг сказал Моська быстро и отчетливо, смотря прямо перед собой...

Наступило молчание... С минуту Слон стоял перед Моськой, вытаращив круглые пьяные глаза и смешно двигая бровями. Он старался уловить смысл неожиданного для него солдатского ответа...

— Что «никак нет»? — переспросил он, садясь снова на кровать, причем она оглушительно затрещала. — Что — «никак нет»? — закричал он, снова приходя в бешенство. — Так я вру? Так ты кто? Чел-ловек, «чазк», м... мужик, крестьянин? А не хам ли ты, подлая, рабья душа? Так я... что же, по-твоему, делаю, вру? А? вру?..

Тоскливое, нудное чувство вдруг сразу прошло у Моськи, точно его совсем и не было... Комната поплыла перед его глазами, и вдруг стало как-то странно легко и весело... Он внутренне усмехнулся и сказал быстрым, громким шепотом:

— Вы... людей убиваете, вашбродь... Вот что вы делаете!

Миллер откинулся назад всем корпусом, и

его широкий, плоский затылок глухо откинулся о деревянную стену. Через мгновение он расхохотался звонким переливчатым смехом:

— Ай-яй-яй! А-ха-ха-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха-ха! Ай да вестовой! Ну и мужик! Ну и глуп, ну и глуп же ты, глуп, глуп ужасно! Да ведь ты совсем, все-ем дурак... набитый дурак! Ты это понимаешь? Или не совсем? Отмочи-и-и! Так что? Людей убиваю? А почему же не убивать, а? Зачем им жить, ну? зачем?.. Скажи!

Слон нагнулся на кровати и впился в лицо Моськи маленькими, пьяными, тусклыми глазами.

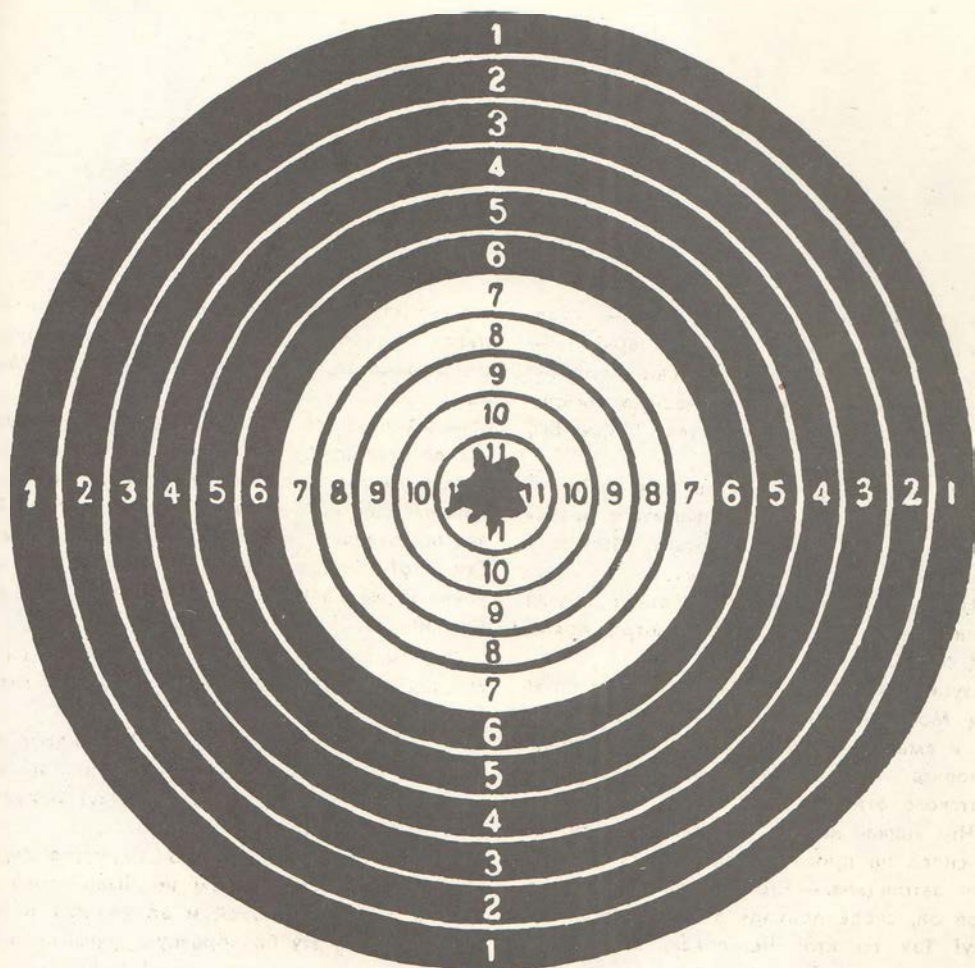
— Подлец! Мерзавец! Идиот! — вдруг зарорал он, топая ногами. — Да как ты... да я... да смеешь ты как?! Убью, зарежу! Задушу! И в ответе не буду!

Моська стоял неподвижно и грустно смотрел в окно... Ему совсем не было страшно, только хотелось скорей и во что бы то ни стало кончить эту безобразную, унижительную сцену...

Наступило молчание... Стенные часы звонко пробили девять... Лампа коптила, бросая гигантскую уродливую тень на стену от круглой, огромной головы Слона... На крыльце слышались шаги... Миллер поднял голову.

— Я с тобой разделаюсь, — сказал он, посмотрев в лицо вестовому взглядом, полным холодной, угрюмой злобы. — Будешь доволен... Ступай, кто там?..

Моська вышел в переднюю.



VIII

В передней, робко толпясь у дверей, стояло пятеро молодых солдат четвертой роты. Впереди других стоял худенький юноша-солдат, держа в руках большую деревянную чашку.

— Вы чего, ребята? — спросил Моська и прибавил шепотом: — Пьян дежурный-то!.. Злой, кричит... топает... Вам чего?

— Ну, Моська, не собаки же мы, — сказал один из солдат. — Ты смотри, каку кашицу

варят, с червями... Что ж, с голоду помирать, што ль?.. Сухарями-то ведь сыт не будешь... Ступай, доложи дежурному: так и так, пришли, мол, из четвертой роты, на пищу жалятся... Пища, мол, негодная совсем...

В дверях неожиданно появился Миллер, угрюмо смотревший на группу солдат.

— Вы что? — отрывисто спросил он.

— Позвольте доложить вашему благородию, — выступил солдат с чашкой, — то есть

никак невозможно есть эту кашу... С червем... вашбродь!.. Так что не хотели беспокоить ваше благородие... По нужде!..

— Покажи,— сказал Слон и, взяв у солдата чашку, стал рассматривать ее содержимое при свете лампы.— Гм... черви... Где же черви?.. Я не вижу...

— Вот, извольте посмотреть, вашбродь,— сказал третий солдат, подавая обрывок бумажки, на котором лежали два маленьких мокрых комочка,— они самые...

Миллер неожиданно размахнулся и швырнул чашку из всей силы в лицо говорившему... От неожиданности тот откинулся назад и ударился головой о косяк двери... Горячая серая жидкость потекла по его лицу, мундиру и брюкам, а на губах показалась кровь...

— Да вы что, собаки! Сговорились, что ли?! — заревел капитан.— Бунтовать? Жаловаться? Черви? Сами вы чер-рви! Я в-вас!..

Он отскочил на два шага, быстро отстегнул кобур и, выхватив черный блестящий револьвер, в упор направил его в грудь первому, кто стоял ближе к нему. От неожиданности и изумления никто не успел даже пошевелиться, поднять руку... Сухо щелкнул взводимый курок...

Вдруг с быстротою молнии Моська кинулся к Миллеру сзади и, схватив капитана за плечи, сильно ударил его ногой под колени... Слон потерял равновесие и грузно брякнулся спиной о пол... Комната заходила ходуном от сотрясения... Так же быстро одной рукой подхватил Моська упавший револьвер, а другой оборвал тоненькую шашку капитана...

Миг — и она со звоном разлетелась в куски, скомканная дюжей рукой Моськи. Миллер, придавленный тяжелым солдатским коленом у самого горла, беспомощно хрипел и метался, хватая руками воздух...

— Будет, барин, над людьми измываться!..— высоким, не своим голосом крикнул Моська.— Люди мы, не псы, не хамы! Что ты своим благородством гордишься — убивец?! Убивец ведь ты! Ведь ты людей по миру пускал! Ты за что хотел человека стрелять? Ах ты, пес, негодная ты тварюга! Ты мне чего сейчас говорил? Плюну, мол, тебе в рожу, а? А ты, мол, разотри, да смейся, а? Так на же тебе!

Он нагнулся над посиневшим от страха и злобы Миллером и звучно плюнул ему в лицо.

— Разотри! — сказал он, вставая.— Вот и будешь ты... конфетка!..

Слон медленно поднялся... Глаза его блуждали, а губы беззвучно шевелились... Моська стоял перед ним, сжимая кулаки, и смотрел на этого жалкого, пьяного человека-зверя... Потом подумал и сказал:

— Ничего, говоришь, не добьемся? Врешь! Всего добьемся!

Через два месяца Моська был присужден за насилье над офицером и оскорбление последнего при исполнении служебных обязанностей в бессрочную каторгу. Но первая рота помнит Моську.



Степан Злобин

Утро века

Отрывок из романа

«Сегодня моя трудовая мечта — довести до конца роман «Утро века»... — написал Степан Павлович Злобин в 1964 году в своей автобиографии. Но довести задуманное до конца писателю не удалось. Осенью 1965 года после непродолжительной тяжелой болезни он скончался, оставив на письменном столе незаконченную свою книгу.

Роман «Утро века» был задуман как дилогия о первой русской революции. Первая книга — «По обрывистому пути» сюжетно автором закончена и готовится к изданию в «Советском писателе». Вторая книга — так и осталась в отдельных сценах и сюжетных разработках. Роман «По обрывистому пути» охватывает период с начала 1901 года до объявления русско-японской войны и дает широкую картину нарастания общественного возмущения против самодержавного строя накануне революции 1905 года.

Писатель свято хранит точность исторических событий большого масштаба, историю развития классов, политических течений, идей, хотя в его романе перед читателями проходят

не крупные исторические деятели, а рядовые люди, по-разному вступающие на путь революционной борьбы. Оппозиционно настроенная интеллигенция, студенческая молодежь, работа социал-демократов среди рабочих и крестьян, организующая роль ленинской «Искры» — вот тема романа. Как и во всем своем творчестве, Злобин тщательно изучает истоки революционного движения, оптимизм и душевную силу людей.

Деятельная курсистка Аночка Лихарева, дочь сосланного на Урал редактора либеральной газеты, живет в Москве одна, снимая комнату в семье молодого адвоката Бурмина.

После репрессий, которые обрушил на студенчество министр просвещения Боголепов, и отдачи в солдаты большого числа студентов молодежь возбуждена, лучшая ее часть организует различные протесты.

В комнате Аночки собирается первый Исполнительный комитет объединенных землячеств. Здесь же на гентографе печатаются прокламации с призывом к студенческой забастовке. Частые посещения студентов и их настроенность пугают хозяйню квартиры Бурмина и его жену Клаву, но Аночка все больше и больше втягивается в бурную студенческую жизнь.

В публикуемом ниже отрывке Аночка, слегка увлекшись ухаживанием красавца князя Геннадия, пропускает студенческую сходку, участников которой полиция арестовала, загнав в Манеж.

Знакомство с ткачихами Трехгорки увлекает ее позже в настоящую работу пропагандиста — социал-демократа.

Дальнейшая судьба Аночки складывается так: выйдя замуж за профессионального революционера, одного из главных героев книги, Володю Шевцова, она испытывает всю трудность судьбы быть невенчанной женой «нелегального», разделять с ним радость общего дела. По замыслу автора, Аночка должна была погибнуть на баррикадах 1905 года, где погибло много лучших людей революции.

В. Злобина

1

Выстрел, сразивший Боголепова, взбудоражил московское студенчество. Несколько дней шли всевозможные переговоры между учебными заведениями, факультетами и студенческими группами. Исполнительный комитет объединенных землячеств собрался еще раз, и Аночка снова писала протокол, снова таинственно зарывала его в бутылке под окном, потом все опять повторилось с печатанием прокламаций. Но на этот раз собралось еще больше товарищей. Возбужденные отголоском петербургского выстрела, они рассуждали решительно и активно, осудили «реакционные

элементы студенчества», не поддержавшие постановления о забастовке, и призвали собраться на сходку на двадцать третье число февраля.

Когда прокламации были вынесены из комнаты и убраны последние следы пребывания в квартире Исполнительного комитета, Аночка, наконец, облегченно вздохнула и отправилась на каток.

В эти несколько дней, пока у Аночки собирались студенты, хозяева квартиры словно объявили ей бойкот. Клавуся молчала и дулась. Георгий Дмитриевич был мрачен, не приветлив и сух; Аночка же, избегая столкновения с ними, держалась в своей комнате, как на осажденной врагом территории, стараясь даже на улицу выходить так, чтобы ее никто не заметил.

И когда она, весело напевая, гремя коньками, перекинутыми через левую руку, надевала в прихожей ботики, Клавуся впервые за несколько дней приоткрыла дверь из столовой и улыбнулась.

— Кататься? — спросила она.

— Кататься! — особенно весело отозвалась Аночка.

— Значит, с твоими зачетами кончено? — робко спросила Клавуся.

— С какими зачетами? — удивилась Аночка и вдруг догадалась. — Ах да, с «зачетами» кончено: отзанимались и сдали...

— Ну, слава богу! Желаю весело покататься! — приветливо попрощалась Клавуся.

На этот раз Аночка, встретив Геннадия на катке, была особенно оживленна и радостна. На ее упрек по поводу напечатанной фотографии он рассмеялся.

— Пронырливые каналы! Я думал, он нам поднесет эти карточки и потребует денег. Был готов к грабежу с его стороны. А подобного оборота не ждал... Вперед никогда не позволю себе ловить никаким фотографам... Да, попались мы с вами!.. Прошу! Начинается вальс!

Они снова овладели вниманием всей катящейся публики, но с ее кавалером слу-

чилось несчастье: уже перед самым концом катанья, во время мазурки, Геннадий упал на льду, подвернув ногу, не мог подняться без посторонней помощи, и его буквально вынесли на руках на извозчика.

Аночка доехала с ним до его квартиры, а когда хотела проститься, он обратился к ней умоляюще:

— Будьте же до конца милосердной, зайдите ко мне на минутку. Сама судьба такой дорогой ценой привела вас ко мне. Мне будет легче при вас...

Она зашла в эту комнату, столь непохожую на студенческое общежитие. Здесь был и рояль, и широкий удобный письменный стол, и уголок гостиной с диваном, большой книжный шкаф, на стенах картины...

— Сюда, сюда, на диван. Спасибо,— сказал Геннадий двоим знакомцам с катка, которые помогли ему добраться до комнаты. Суетливо металась горничная.

— Да что же это?! Да как же это случилось, ваше сиятельство, Геннадий Михайлыч?!

— Ничего, ничего. Дайте, пожалуйста, плед и пошлите кого-нибудь за доктором. Доктор придет, во всем разберется... Кажется, вывих,— говорил Геннадий, но было видно, что говорить ему трудно от боли.

— Я все же поеду,— заикнулась Аночка.

Он решительно покачал головой.

— Неужели вы бросите меня здесь одного? Разве товарища покидают в несчастье?! Подождите хоть доктора...

Аночка села рядом с диваном на кресло.

— Дайте руку, мне будет немного легче. Спасибо,— сказал Геннадий.— Хотите покушать?

— Боже, какой хлебосольный хозяин, даже в таком положении! — засмеялась она, отняв свою руку при входе горничной, отчего сама же смутилась.— Нет, я ничего не хочу. Кроме того, меня ожидает тетя.

Геннадий взглянул ей в глаза.

— Прекратите «тетю»! Я все разузнал. «Тетя» — миф, «тетя» — дым и мираж... Ой, как все-таки больно! — сказал он, вдруг

морщась.— Дайте нам по стаканчику чая согреться после катка,— попросил он горничную, когда она доложила, что за доктором послано.

Но Аночка решительно встала и отказалась от чая.

— Вот я прикован к постели и буду теперь обречен на тоску одиночества, всеми покинут...— грустно сказал Геннадий.

— Почему же покинуты? — осторожно спросила Аночка.

— Ну, кому интересен больной?..

Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя?! —

прочитал он и засмеялся.— Вот, хоть вы, например, придете?

— Почему же?! Я вас навещу. Ведь ваше несчастье отчасти моя вина...

— Навестите?! — с искренней радостью воскликнул Геннадий.— Придете? Когда же? Я буду вас ждать...

— Я завтра приду узнать о вашем здоровье после лекций,— пообещала она.

Аночка познакомилась с Геннадием еще до рождества. Она охотно кружилась по льду с этим стройным красавцем, который с такой легкостью острил не только по-русски, но по-французски и по-немецки, легко и просто, без всякой рисовки рассказывал с юмором о загранице, о нравах Италии, Франции, Англии, где побывал за свою молодую жизнь уже не по разу, и тем более казался простым и приятным.

Он провожал ее каждый раз с катка до ее уютного домика через два переулка от Патриарших прудов, галантно благодарил за мило проведенный вечер и говорил, как о мечте, о своем желании с ней встретиться в следующий раз.

Об этих своих встречах с ним Аночка не рассказывала никому не потому, что в них для нее было что-то заветное, а просто из-за того, что он был из другого мира, из кото-

рого вырывался сюда на каток, как он сам говорил, для того, чтобы почувствовать молодость, отряхнуться от утомительной чопорности, которая его окружает...

Он был года на три-четыре постарше Аночки, и можно было представить его себе совсем уж взрослым чиновником или присяжным поверенным, и у него, должно быть, хватило бы выдержки, смелости, умения держаться, чтобы заслужить уважение окружающих и оказаться сразу в первом ряду...

Аночка не относилась к нему как к равному. Она чувствовала во многом его превосходство, но в чем-то и как-то сознавала и свою долю власти над ним, и эта-то доля власти ее волновала, хотелось чувствовать ее сильней и сильней. Даже, вернее сказать, разъедало душу какое-то любопытство узнать: а может ли эта власть стать сильнее? Seriously ли «это» с его стороны?..

Но сегодня ей просто было искренне жаль этого милого спутника по катку, партнера в замысловатых пластичных движениях танцев, удивляла и внушала уважение его мужественная выдержка, когда он продолжал говорить со своей обычной шутовской, хотя не в силах был наступить ногой. На мгновение ее смуглили слова «ваше сиятельство», сказанные горничной. Но лишь на мгновение.

На другой день после лекции Аночка поспешила его проведать.

Отворила знакомая горничная, пригласила войти, сообщив, пока Аночка раздевалась, что у князя не вывих, а перелом ноги.

Геннадий лежал на диване в нарядном халате с кистями. При входе Аночки он отложил английскую книгу и радостно повернулся к ней.

— Геннадий Михайлович, перелом, в самом деле? — спросила она.

— Представьте себе! Говорят — шесть недель без движения. Ужас! — ответил он. — А я все-таки рад. Чему? Угадывайте.

Она догадалась, о чем он хочет сказать, и смуглилась.

— Не знаю.

— Лукавите! Прекрасно все знаете, но хотите услышать своими ушами. Извольте: я счастлив, что вы по этому поводу у меня. Прошу вас, садитесь. Ужасно смешные люди, — сказал он, указав на отложенную книгу. — Диккенс... Я был в Англии два года назад. Представьте, все тот же Диккенс и мистер Пикквик, хотя чуть-чуть в измененной форме. Но очень милы бывают, когда познакомишься с ними поближе... Нет, я вас попрошу, пересядьте сюда, чтобы я видел ваше лицо. Вот так. Спасибо. Будем обедать. Я страшно голоден и ждал только вас...

— А если бы я не пришла? — кокетливо спросила она.

— Этого быть не могло, — серьезно ответил Геннадий. — Ведь вы обещали! Впрочем, я ждал бы с обедом до завтра... — заключил он шутивно.

Горничная придвинула кругленький столик к дивану. Оказалось, на нем уже два прибора к обеду и бутылка вина.

— Я так люблю смотреть в ваши глаза, — сказал Геннадий, уговорив ее выпить рюмку вина. — Они у вас совсем детские. У меня есть маленькая сестричка Катюша. Ей только тринадцать лет; она очень на вас похожа. Между прочим, я дал телеграмму отцу. Он приедет на этих днях, чтобы меня увести в имение.

Аночку стесняла бы эта обстановка, если бы Геннадий не болтал так безумолчно. И, словно чувствуя это, он был неустанен.

— Мне сегодня приснилось, что я совершенно хромой, а вы скользите по льду и смеетесь, что я не могу кататься. Мне так хотелось с вами на лед, но адская боль отнимала ногу...

— Фу, какой вы, — сердито сказала Аночка.

— Так во сне же, во сне! На яву я, наоборот, считаю вас веселым и чудным ангелом. Ангел, дайте, пожалуйста, соль и горчицу.. Merci, mon ange!..¹



¹ Благодарю, мой ангел! (франц.).

— Нет, я вас попрошу меня звать по-прежнему,— строго сказала Аночка.— Мне не нравится *ange*¹.

— Я — весь покорность и послушание, уважаемая Анна Федотовна! — церемонно ответил Геннадий.— Ну, как ваши сходки? Когда назначено? Завтра?

— Завтра,— сказала она вызывающе. Она не хотела с ним говорить об этом. Это было то, что их разъединяло, и чем больше говорить, тем глубже делалась трещина. Она понимала это и избегала с ним этой темы.

— Ах, Аночка, *la pauvre petite femme émanicipée!*² В вас столько прелестного пыла, что он кружит голову...

— Кому? — задорно спросила она.

— Ну, конечно же, окружающим. В частности — мне. Разве вы не видите, что я совершенно влюблен!..

— Вы дурно пользуетесь своим беспомощным положением, Геннадий Михайлович! — возвратилась Аночка к строгости.

— *Pardon!*³ Разве вам не приятно слышать, что вы очаровательны? Тогда что же приятно? Хотите, чтобы я вас считал не ангелом, а людоедкой?.. Ну, не сердитесь, я больше не буду дурачиться; это я позволил себе от радости, что боль поутихла... Вы хотите, чтобы я вас считал Софьей Перовской? Пожалуйста... В сущности, Софья Перовская — это характер плюс обстоятельства. Характер у вас налицо, а обстоятельства таких не дай бог вам когда бы то ни было! Если бы можно было наверное избавить вас от таких обстоятельств переломом еще и другой ноги, согласен сломать вторую, — искренне заключил Геннадий.

— И никогда-никогда не стать больше на лед?! — с шутливым и невольным кокетством спросила Аночка.

— *Jamais!*⁴ — решительно отозвался он.

— Какой вы великодушный!

— Хотите, я расскажу вам сказочку,— начал Геннадий.— В одной заморской стране жил принц. Его звали...

— Вася,— подсказала Аночка.

Геннадий пожал плечами.

— Мне лично не нравится, но если хотите, то пусть по-вашему, — Вася. А у соседнего короля была дочь-принцесса, которую звали...

— Акулькой! — с шаловливым задором вставила Аночка.

— Если вам больше нравится Акулька, чем Аночка, то пусть будет Акулька,— терпеливо согласился Геннадий.— Итак, принц Вася...

— Больше всего любил мороженое и танцы на льду, потому что он доводился внуком Деду Морозу, — опять перебила она, — а принцесса Акулька носила летом медвежью шубу, спала в натопленной печке и лакомила горящими головешками. Такой у них был разный характер... А теперь продолжайте сказку! — заключила она вызывающе.

— Продолжать?! Да как тут продолжишь?! Вы мне оклеветали принцессу, испортили поэтический образ... Нет, вы решительно не умеете слушать сказки, Софья Перовская! — капризно сказал Геннадий.— Хоть бы большого пожалели!

— Я никогда не умела их слушать. Мне в детстве еще попадало от няньки за то, что все так же путала.

— Бедная ваша нянька!.. Вы же сделали из моей принцессы шишигу какую-то!..

— Вовсе нет. Шишига совсем не такая: шишига живет в болоте, вся пиявками обросла, как шерстью, лопает лягушек да тину хлебает, разговаривать не умеет, только пыхтит; глазищи у нее зеленющие, злющие; хайло как бучило, а на башке осока и камыши растут. Увидит ребеночка, который не хочет вовремя спать, схватит за ножку да в болото утянет. Вот какая шишига! Страшная? — поддетски таинственно спросила Аночка.

¹ Ангел (франц.).

² Бедная маленькая эмансипированная женщина! (франц.).

³ Извините! (франц.).

⁴ Никогда! (франц.).

— Ужасная! Я теперь один побоюсь оставаться...

— Принцесса Акулька для испытания отваги оставила принца Васю наедине с болотной шишигой, а сама убежала.

Аночка встала.

— Спокойной ночи, принц Вася Яга Гипсовая Нога!

Она сделала реверанс и выбежала в прихожую одеваться...

Через час был установлен мир между Аночкой и Клавусей.

Клавуся с двумя чашками в руках постучалась к ней носком туфельки.

— Аночка, можно к тебе на диванчик?

Это было у них заведено с начала жизни Аночки в квартире у Бурминых. Клавуся любила свой девичий плюшевый старый диван с продавленной между пружинами ямкой, в которой было удобно сидеть, поджав под себя ноги, читать, вышивать или просто болтать с подружкой. Когда на нее нападало лирическое настроение, она просилась к Аночке в гости «на свой позабытый диванчик».

— Юрик сказал, что придет очень поздно, а я грущу. Я тебе не помешаю? — спросила Клавуся.

— Нет, что ты! Я рада, — ответила Аночка. — Ты так давно у меня не бывала.

— Еще бы! Ведь у тебя эти самые — Робеспьеры, Мараты все время. Даже страшно! — сказала Клавуся. — Сегодня ты, кажется, слава богу, весь день провела без них...

Раздался в прихожей звонок. Аночка вышла сама, не дожидаясь, пока подойдет Ивановна.

Горничная Геннадия подала ей записку.

— Пожалуйста, барышня, вам. Ответа не ждут, — сказала она и исчезла прежде, чем Аночка успела открыть рот.

«Ваше высочество, блистательная принцесса Акулька! — писал Геннадий. — Получил телеграмму отца. Завтра днем он меня увезет в деревню, в царство Деда Мороза. До отъезда мне просто необходимо вас повидать.

Умоляю! Если бы был на ногах, я никогда не посмел бы тревожить вас дерзкой просьбой, я бы дежурил у ваших ворот, ожидаю. Но я сегодня почти что вещь, а не человек. Троньтесь же сердцем, Аночка, если оно у вас не из камня. Я балагурил и скоморошничал, чтобы себя обуздать, но вот вы услышали и я понял, что не сказано самое главное... А если меня увезут?! Нет, я хочу, чтобы вы все узнали прежде, чем мы разлучимся на долгие недели...

Умоляю... Геннадий».

— Опять твои Робеспьеры? — спросила Клавуся. И вдруг, взглядевшись в лицо подружки, радостно захлопала в ладоши. — Нет, нет и нет! Это письмо от «него»! Ведь я угадала? Да? Угадала?! — допрашивала Клавуся в чисто женском азартном восторге от своей проницательности. — Ты влюблена? Влюблена?

— Я, знаешь, Клавуся, просто дурная. Во все не влюблена, а, как нянька моя говорила, бывало, я «рыпаюсь»... А чего мне нужно, сама не знаю...

— А «он»? Он влюблен? — спросила Клавуся.

— Не знаю. Я просто ему не очень верю.

— А может, напрасно не веришь?

— А может, напрасно, — неопределенно ответила Аночка. — Он очень опытный. За границей бывал, многое видел и знает. Аристократ. Богатый... «Не того поля ягодка», как сказала бы нянька...

— Ох, Аночка, берегись рассудка! Нам женщинам, мудрость во вред... Нас больше любят, когда мы глупышки... Глупышки, как мышки. Ты будешь, конечно, писать ответ? Я не стану мешать, а ты постарайся не быть слишком мудрой...

Когда, наградив Аночку сестринским поцелуем, Клавуся ушла к себе, Аночка открыла наугад томик Пушкина.

Мои хладяющие руки
Тебя старались удержать,
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать... —

прочла она на открывшейся перед ней странице.

— Постыдитесь, принцесса Акулька! — сказала себе Аночка.— Пифия тоже нашлась! Стыд и срам! — И, припомнив неизбежную няньку, поправилась: — Срамота-срамотища!..

2

Утром ей почему-то совсем не пришлось мучиться совестью и доказывать себе, что она успеет еще приехать на студенческую сходку. Желание увидеть Геннадия вдруг оказалось так сильно, что она гнала от себя мысль об опоздании на сходку, назначенную в университете.

Ревниво следила она за стрелкой часов, боясь приехать к нему слишком рано и тем обнаружить свое нетерпение. К тому же она подумала и о том, что он тоже должен помучиться ожиданием и неуверенностью в ее приходе.

Она позвонила ровно в двенадцать, в тот самый час, когда было назначено начало студенческой сходки.

— Ваш папа за вами еще не приехал? — спросила она обрадованного Геннадия.

— Он будет часам к восьми вечера...

— А вы написали, ваше сиятельство, что он увезет вас в деревню днем! — строго и обличающе произнесла она.

— Каюсь! Рубите голову: я хотел вас видеть сегодня подольше. Садитесь сюда, как вчера, и ради бога не произносите больше «сиятельства»!..

Она не заметила, как текло время.

Геннадий был оживленнее, чем обычно. Он, казалось, совсем позабыл о переломе ноги, рассказывал об Италии, Франции, о сумрачном, с кислой рожей, Берлине, застегнутом в длиннополый сюртук. Он прочел о Германии и Берлине отрывки из Гейне и тут же подарил Аночке миниатюрный томик Гейне с многозначительной цитатой, которую написал в посвящении:

...Und das Leben ist kein Liben
Fern von dir es, ist der Tod!¹

После этой надписи Аночка, будто испугавшись чего-то, притихла.

Но тут Геннадий спросил обед, во время которого он несколькими легкими шутками рассеял ее задумчивость. А после обеда он уже снова безудержно дурачился, изображая лондонского денди с прилизанным ровным пробором и моноклем в глазу, то вдруг пел тенором по-итальянски, то читал стихи Мюссе по-французски и вдруг заявил:

— А ну их всех к черту! Для русского сердца все-таки нет ничего лучше Пушкина. Слушайте, Аночка:

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой,
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал над тобой...

— Не надо, Геннадий Михайлович! — как-то жалобно воскликнула испуганная совпадением Аночка.

— Почему?! — удивился он.— Вас тоже волнуют эти стихи? Ну, скажите мне, что они значат для вас? — спросил он тихо, взяв ее за руку.

Она вырвала свои пальцы.

— Эти стихи мне раскрылись вчера наугад,— призналась она.

— Вы... гадали?.. по Пушкину!

Она опустила голову.

— Аночка! Почему вы гадали? Это было до или после моей записки?

Она молчала.

— До или после?..— настаивал он.— Ну, дайте мне руку.

Аночка дала ему руку, и вдруг он резко и сильно привлек ее близко к себе, так, что губы его прились прямо против ее губ и словно сами прикикли...

Она оттолкнула его рукой в лицо и вскочила.



¹ И сама жизнь безжизненна, без тебя она — смерть (нем.).

— Уйдите! — Она отбежала к двери. — Это бесчестно и стыдно! Вы... Вы...

Не находя от стыда и негодования слов, она схватила свою сумку.

— Это и было для вас то «самое главное», что вы только и сумели сказать?! Эх, вы... «Отпрыск!» — с презрительным упреком заключила она в дверях.

Горничная выглянула в прихожую.

— Уже уходите? — приветливо, как всегда, сказала она.

— До свидания...

Аночка проскользнула в отворенную дверь и вихрем вылетела на морозную улицу.

— Здрасьте, пожалуйста! — насмешливо воскликнула она себе самой поговорку все той же няньки. — Догостилась, сударыня! — и опять повторила с насмешливой горечью: — Срамота-срамотица!

Морозный ветер медленно остужал разгоревшееся лицо.

Аночка шла переулком, дошла до Новинского бульвара и побрела по снежной дорожке, уже теряющейся под ногами в сумерках, села тут на скамеечку, безучастно глядя на какую-то няньку, катавшую на салазках двух ребятишек.

Она думала о том, что она стала мещанкой, кокеткой и поделом именно так к ней отнесся Геннадий, «сиятельный пижон-кавалер», как назвал его Федя. Увлеклась, позабыла друзей, забыла о своем «общественном положении»... или, как сказал Федя, «общественной роли»... Забыла Володю, который сидит в тюрьме... Такая дрянная девчонка... скверная, гадкая, гадкая! — твердила она себе.

Уже зажглись фонари, когда Аночка почувствовала, что застыли ноги.

Она побрела по бульвару среди редких прохожих, испугалась какого-то рослого мужчины, который ей показался пьяным, перебежала с бульвара на тротуар и тут снова замедлила шаг.

Когда Аночка вошла в дом, совсем уж наступил вечер.

Клавуся встретила ее радостным восклицанием:

— Аночка! Господи, как я измучилась! Мы уж тут думали самое худшее!.. — затараторила она. — Ну, расскажи, расскажи, как ты вырвалась из этих сетей?.. Что там... Мы ведь совсем уж считали, что ты погибла!.. — превеличенно, как всегда, восклицала Клавуся: — Ну, садись поскорее обедать и говори...

Аночка покраснела, взглянув на Бурмину. Ей показалось, что Клавуся «обо всем» рассказала мужу...

— А что?.. Почему?.. — пролепетала она даже как-то беспомощно, не сообразив того, что Клавдия Константиновна и сама ничего не знает о ее отношениях с Геннадием.

— Да где ты была-то? На сходке? — допрашивала Бурмина.

— Нет... я... Я была тут у Арбата... у большой... у знакомой подруги... — нелепо пробормотала Аночка.

Клавуся посмотрела на нее с любопытством.

— Ах, во-от что! — протянула она лукаво и понимающе.

В прихожей яростно задребезжал звонок.

— Полиция! — схватившись за сердце, воскликнула Клавочка.

Все трое прислушались.

— Барышня, вас, — позвала Ивановна.

Даже не сделав на этот раз замечания за «барышню», Аночка побледнела и вышла в прихожую, ожидая, что это горничная Геннадия.

Но вместо горничной или полиции там стояла ее однокурсница Галя Косенко.

— Весь Исполнительный комитет вместе со всею сходкой арестовали, загнали в Манеж... — таинственно и страстно шептала Галя. — В Манеже солдаты, полиция, казаки. Можно ждать издевательств и избиения...

— Да ты проходи ко мне в комнату, — пригласила Аночка.

Снова звякнул звонок.

Возбужденный, взволнованный, вошел в переднюю покрытый инеем знакомый рязанец, маленький Мишка-медик, который ехал с ней вместе в Москву после каникул.

— Аночка, вы еще целы? Приберите. Это опасное,—с порога сказал он, сунув ей в руку какой-то бумажный сверток.—Ночью ждем обысков... У Манежа толпа так тысячи в две... Народ обозлен. По улицам конные патрули.—Он снял шапку и вытер платком слипшиеся от пота волосы.—Что творится-то, а! — отдышавшись, воскликнул он радостно.—К Манежу движутся мастеровые, «Марсельезу» поют...

— Пойдемте туда! — воскликнула Галя.

— Сначала чаю, погреться,—сказала Аночка.—Я попрошу подать к себе в комнату. Когда она вышла в кухню, Ивановна ей подмигнула.

— Что малый принес-то, давай я в дрова уберу — сам леший не сыщет! — шепнула она.

Аночка удивленно взглянула.

— Эх ты, простая душа! Я ведь жизнь прожила, не такое видела! — сказала Ивановна.

— Аночка, вы никуда не пойдете. Сидите дома,—решительно сказал, входя в это время в кухню, Бурмин.

— Георгий Дмитриевич, я не ребенок! — оборвала она.

— Однако ваш папа...—начал Бурмин, но Аночка перебила:

— Мой папа меня сам-то в пеленки не кушает и вас не просил. Вот скоро у вас родится девчонка...

— Аночка! Я тебя умоляю,—вступила Клавуся.—Если тебе дорога наша дружба...

— Мне дорого дело свободы! — выпалила Аночка, и сама не поняв, как слетели с ее языка такие «звонкие» слова.

— Прошу прощения, сударыня, как вам будет в дальнейшем угодно! — сухо поклонился Бурмин.—Клавуся, пойдем! — позвал он жену.

Аночка иронически сделала ему реверанс. Она с друзьями торопливо пила чай. Когда они собрались уходить, Ивановна вошла со двора.

— Вот и все,—шепнула она, заговорщически мигнув.—А ты валены вздела бы. Ишь ведь, мороз-то!.. И платочек накинй, не стыдись, кто те ночью узнает!..

Аночка примерила ее валенки и платок и посмотрела в зеркало. Маскарад ей понравился.

«Вот бы сейчас посмотрел на «принцессу Акульку» Геннадий!» — мелькнуло в ее голове, но тотчас она прогнала эту смешную мысль.

3

Они шли по Большой Никитской, которая была не по времени оживленной: кучками двигался народ в обе стороны — к Моховой и обратно,—студенты, мастеровые, какие-то женщины.

— Ну, что там, коллеги? — спросил Мишка-медик группу встречных студентов.

— Возмутительно! Загнали в Манеж и не кормят... Там сотен пять лошадей, полк солдат, воздух спертый... Двоих студентов оттуда сейчас повезли в санитарной карете... Впрочем, они там в Манеже бодрятся, кричат, поют песни... Войска прибывают, и народу вокруг прибавляется, — говорили наперебой студенты — Мы только до Кудринки в извозчицью чайную, погреться чайком да назад! Возможно, что будет драка...

— И будет! — подал голос прохожий мастеровой, который, задержавшись, прислушался.

— Я, собственно, господин, не с вами! — огрызнулся один из студентов.

— Вот и видать, что ты господин! Оттого и дурак! — отрезал мастеровой и пошел своей дорогой.

— А слышали, что в Питере?... — доносились обрывки фраз случайных прохожих.

Большая Никитская возле университета была забита толпой, которая находилась все

время в каком-то беспорядочном бродильном движении: кто-то старался пробраться назад — на Никитскую, кто-то рвался вперед — к Манежу. Аночка и ее спутники долго искали попутное течение в этой толще людей, чтобы продвинуться ближе к центру событий. Их мяла и тискала инертная масса плеч, локтей, животов...

— Пропустите, коллеги! Господа!..

— Ну, куда, ну, куда вы, девчонки?! Нагаек не нюхали? Думаешь, сладки? Стояли бы тут...

— Поднажмем, коллеги!..

— Да это студенты, пропустите их, братцы! К своим пробираются...

— И этим еще под арест захотелось?! — с ехидцей сказал кто-то.

— Своих выручать скопляются. Дай им проход, не дури. Как вот двину! — раздавались в толпе отдельные голоса.

Аночка забыла в этот миг, что днем она возмутительно пропустила сходку, забыла свой стыд за случившееся в комнате Геннадия. Она теперь жила с этой толпой, чувствовала себя частью этого студенчества, к которому слышала уважение и сочувствие в простых, грубых возгласах незнакомых людей. «Выручать своих» — это значило бороться за общее дело и в том числе — за Володю и за его свободу.

— Пропустите студентов, ребята! — сочувственно говорили в толпе рабочих и обывателей.

И вот Аночка увидела Манеж. На морозной площади обширный бивак полицейских, солдат, казаков, похоже на какую-то батальную картину: всадники, конские крупы. У самой решетки Александровского сада горят костры, и возле них тоже военные...

К тротуарам прижата конной полицией толпа студентов и мастеровых. В толпе передают подробности «манежного сидения» нескольких сот студентов-узников, которых между шпалерами конной и пешей полиции прогнали в Манеж прямо со сходки, захватив их в воротах университета.

— Эй, фараоны! Чего издеваетесь над молодежью? — слышится крик из толпы. — Запугать хотите?! Не запугаете молодых!

— Отворяйте ворота, пустите студентов, а то мы и сами отворим! — гаркнул громовый голос.

— Вас бы туда с полицмейстером вместе загнать! — кричат полицейским женщины.

По той стороне Манежа, возле костров, люди стоят спокойно, видно, как курят и сплевывают в огонь, греют руки, должно быть, смеются, шутят. И это спокойствие солдат и полиции еще больше раздражает толпу. Как будто их не касается, что тысячи разных людей собрались сюда, возмущенные выходкой начальства. В толпе накапливается злость. Полиция не отвечает на самые обидные вызовы. Как вдруг из Манежа через разбитые окна послышалось пение:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!..

Толпа на улице подхватила пение. Нет, не смеет полиция против такой толпы возмущенных людей... Бойтся полиция!.. С Никитской и с тротуаров толпа медленно двинулась на дорогу, наступая в сторону полицейских костров.

— Господа, прошу, отойдите на тротуар! Прощу, отойдите! — испуганным тоненьким голоском крикнул коротенький толстенький полицейский пристав, как будто собравшись всех так удержать.

— Не проси, не уйдем все равно! — огрызнулся мастеровой.

— Нехорошо, господин! Я вам вежливо говорю, не «тычу», — урезонивал пристав.

— Мы знаем ваш вежливый разговор, не по разу слышали! — крикнула рослая женщина и шагнула на пристава. Он отступил.

Вокруг засмеялись зло, ядовито.

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди на борьбу, люд голодный!.. —

слышалось уже с разных сторон.

Толпа осмелела и решительней наступала к Манежу.

— Осади! — заорал конный городской, проезжая по краю дороги и тесня толпу конским крупом обратно на тротуар.

Но толпа окружила его, стиснула, кто-то схватил под уздцы лошадь, потащили глубже в толпу, к самой университетской стене.

— Тяни с седла фараона!

Кто-то свистнул. Лошадь взвилась на дыбы... Но ее ухватили крепче.

— Тпру, стой!

— Людей потопчешь, башку свернем! — пригрозили незадачливому кавалеристу окружающие.

— Да вы же сами меня, господа, не пускаете, а лошадь скотина пугливая. Пропустите назад.

— Братцы! Что ли, пустить фараона на волю?!

— В плен взяли, да вместе с конем! — потешались в толпе.

— Коня цыганам продать, а фараона — чертям!

— А черти их даром берут. Они за него гроша не заплатят!

Несколько конников, наконец, поняв, что случилось, подскакали к толпе на вырвочку своего.

— Осади! Осади, пропусти! — кричали они, наступая.

В них полетели снежки.

— Ура-а! — крикнул кто-то, схватив под уздцы лошадь второго городского. — В плен их, братцы!

Подскакал конный пристав.

— Разойдись! — грозно выкрикнул он.

— Бла-бла-бла! Как индюк, разорался! — дразнили его из толпы. — Вот хотим и стоим.

— Отпустите студентов! — настойчиво требовал громкий голос.

— Братцы, к воротам! Освободим коллег! Ур-ра-а! — крикнули в стороне от Аночки на всю улицу, и вдруг вся толпа всколыхнулась, прорвала цепь взявшихся за руки городских и побежала к Манежу.

— Ура-а! — закричали в толпе.

— Ур-ра-ра-ра-а! — подхватила тысяча го-

ловос, ободряя себя и нагоняя страх на противника.

Аночку понесло толпой к самым воротам Манежа.

— Ломай ворота! — кричали какие-то решительные и смелые люди, но не студенты, скорее рабочие. — Ребята, давай-ка чего-нибудь в руки — топор или ломик!..

Все позабыли в этот момент, что, кроме студентов, в Манеже солдаты с винтовками, что их могут встретить штыки и пули. Они не думали о казацких нагайках и шашках.

— Господа, отойдите прочь! — повелительно крикнул вблизи ворот тоненький голосок.

Все узнали по голосу того, смешного, нестрашного полицейского пристава.

— Пошел-ка ты к черту! Ломай!

Уже чем-то стучали в ворота Манежа.

Десятки городских кинулись на отважных, но тотчас был оттерт густою толпою. Удары в ворота гремели с нетерпеливым ожесточением.

— Бей фараонов! — кричали с той стороны, где заседала полиция. — Пусть неповадно им будет. По мордам бей чем попало!

— Давай, давай навались! Поддаются! — слышались голоса от ворот.

И вдруг пронеслось в толпе:

— Казаки!

— Солдаты!

Раздался барабанный бой, залиvisto заиграла какой-то сигнал военная труба... Кто-то испуганно ахнул. Послышался панический пронзительный визг.

Аночка не видала из толпы ни казаков, ни солдат, но толпа со всех сторон тесно сжала ее и повлекла, почти поднимая с земли, поворачивая лицом то в одну, то в другую сторону. Она потеряла своих спутников.

— Затолкали совсем девчонку!.. Держись на ногах-то, не падай, затопчут, как на Ходынке! — густым голосом дружелюбно крикнул с ней рядом тот самый могучий голос, который требовал лома и топора. Кто-то крепко схватил ее за плечи и поставил тверже.

— Освободим студентов! Бей фараонов! — неожиданно для себя закричала вместе с другими Аночка.

Однако толпа уже больше не наступала; она от кого-то опять попятилась, и снова Аночку чуть не сбили с ног.

И вдруг она увидела совсем близко перед собой плотные ряды полицейских, которые наступали, выхватывая на выбор отдельных людей, толкая, передавая их за кольцо полиции. Цепкие руки городского схватили ее за платок, завязанный на груди.

— Будешь, дрянь такая, орать! — прохрипел ей в лицо городской.

— Пусти! — грянул рядом уже знакомый Аночке густой и могучий голос. И тяжелый огромный кулак из-за Аночкиной спины обрушился на голову городского, с которого под ноги полетела шапка.

Аночка в страхе закрыла глаза.

Ее кто-то тащил, тянул, дергал туда и сюда. Шубка трещала по швам, вокруг раздавалось сопенье, удары... Кричали: «Держись! Не давай! Отобьем!.. Навались!.. Бей их крепче!..» Ей казалось, что это длилось не менее часа. Два раза кто-то локтем толкнул ее в грудь, два ударили по голове... Ноги подкашивались, но она не заплакала...

И когда, наконец, внезапно толчки кончились, кто-то с двух сторон подхватил ее под руки. Не зная, ни кто, ни куда ее тащат, она поняла, что это не враги, а друзья.

— Ошалела девка от этакой бани! — сказала женщина справа.

— Ошалеешь! Тебя бы так, может, хуже бы ошалела! — ответила ей вторая.

— Пустите, ребята, средь людей укрыть ее поскорей! — попросила женщина.

— Из-за экой малявки вся драка пошла? — удивленно спросил мужчина, отирая с лица кровь и давая дорогу.

— Идите, идите живее, — дружелюбно подталкивали посторонние люди, стараясь через толпу освободить проход им к Никитской.

Только из слов своих спутниц Аночка поняла, что, когда городской попытался выхватить ее из толпы, за нее вступились рабочие и студенты. Собственно, дело было не в ней. Полиция хотела доказать свою силу, толпа проявила свою непокорную волю. Аночка, сама того не заметив, напуганная, задержанная, переходила три раза из рук в руки.

— Пошли, пошли, а то еще обойдут, с переулка наскочат. Им теперь ты, как сахар, дева. Они тебя коноводкой небось посчитали, какую бучу-то подняла! Ты наша, с Трехгорки? — спросила ее провожатая.

— Нет, я курсистка, — пролепетала Аночка.

— Барышня, стало быть? Вот тебе на! — удивилась спутница. — А что же ты так-то одета?

— Дали мне, потеплее... Ивановна снарядила, — ответила Аночка, словно спутницы раньше должны были сами знать, кто такая Ивановна.

— А живешь-то далече ль?

— Тут, рядом сейчас...

— Ну, проводим... Небось от страху сомлела?

— Затолкали уж очень. И в грудь ударили больно.

— Они затолкают! Не такого цыпленка, как ты, — мужиков забивают. Дяде Федоту спасибо.

— Федоту? — спросила Аночка. — Мой папа тоже Федот Николаевич.

— Федот, да не тот! — засмеялась веселая спутница. — Федот-кладовщик тебя выручил.

— Мне сюда, — сказала Аночка спутницам у Никитских ворот.

— До двора уж проводим, не все ли равно, — согласились те.

Они свернули за церковь на Спиридовку.

Редкие фонари едва освещали переулок, в котором жила Аночка.

Впереди под фонарем показалась темная группа людей, донеслись приглушенные голоса мужчин.

— Полиция, — прошептала спутница Аночки.— Потише пойдём. Где твой дом-то?..

Аночка хотела ей показать на ворота и тихо, растерянно ойкнула. Полиция входила во двор ее дома.

— К тебе, что ли? — услышала Аночка шепот над самым ухом.

Аночка молча кивнула.

— Ну, идем, идем дальше, смелей, как ни в чем не бывало. У нас заночуешь. Молчи. У ворот-то дворник...

Поправив Ивановнин теплый платок, прикрыв его краем лицо, Аночка с бешено колотившимся сердцем прошла мимо знакомого дворника.

— Шляетесь ночью тут!..— проворчал он им вслед.

4

Возле сквера на Кудринской площади сумрачно топтали снег, бродили двое городских, не удаляясь от газовых фонарей, сходились и вновь расходились в разные стороны. Дальше по Пресне по двое, по трое брели к заставе мастеровые, изредка вместе с женщинами. Слышались приглушенные голоса усталых людей.

«Должно быть, оттуда расходятся»,— подумала Аночка.

Она устала от непривычных больших и тяжелых валенок. Дорога казалась ей бесконечной.

— Теперь тебе лучше и завтра уже не ходить бы домой,— вполголоса сказала ей спутница после томительного и долгого молчания.— Ждать небось «гости»-то станут... Ну, ты поживи у нас денек-другой, не беда...

Молчаливый городской ходил перед воротами Зоологического сада.

— Каб не солдаты поспели, разбил бы народ ворота на Манеже,— сказала младшая спутница Аночки.

— Злости скопилось в народе на них на всех как будто пред грозой. Тучи посдвинулись, а ни ветра, ни грома. Зато уж прорвется — держись!.. — ответила вторая.

— Робости много еще,— продолжала молодая.— Ведь хотя бы студенты: их гонят, они идут. В Манеж так в Манеж, под замок — под замок... А вдруг бы да не пошли, завязали бы драку с полицией — вся Москва прибежала бы выручать...

— Да где им! Студенты — те же барчата, а то поповичи, ну, докторовичи разные, адвокатычи... Нашего брата пустили бы во студенты!..

Аночка шла, прислушиваясь к их речам через какие-то свои беспорядочные мысли.

«Хорошо, что Ивановна догадалась сама отнести в дровяник те бумаги, а то бы как раз угодили под обыск... Клавуся с Георгием Дмитриевичем сходят теперь с ума от волнения. Небось валерьянкой несет по квартире, «как у кошки на именинах»! — припомнилось замечание няньки.— Барчуки? Ну какие же мы барчуки? Много ли среди нас таких, как Геннадий?.. Но в общем, конечно, «поповичи да докторовичи»...

В узеньком неосвещенном переулке скользкий тротуар вставал к середине ледяным гребешком. Идти по нему было почти невозможно. Аночкины спутницы сошли на дорогу и шли вместе с нею посередине улицы, «как в деревне».

— Нанугалась, устала и смолкла, как птичка опосле зари. Что невеселая, барышня, ась? — спросила старшая провожатая Аночки.— Приехали. Вылезай из кареты! — весело сказала она, поворачивая в мрачные отпертые ворота, за которыми в дымчатом свете скрытой облаками луны виднелись темные пятна мелких, совсем деревенских домиков, сидевших по колену в снегу. Аночка только обратила внимание на то, что в их окнах почти нет огней. Час был не так еще поздний, а люди, видно, давно уже спали.

«Им ведь до рассвета на работу»,— сообщила она, поняв, что тут живут сплошь фабричные.

— Сюда, сюда,— взяла ее за локоть старшая женщина.— Да ногу гляди не сломай, тут крылечко худая...

«Крылечко худая», — сопоставила Аночка правильное сочетание слов, инстинктивно задерживаясь, словно перед ловушкой, и не спеша занести на ступеньку ногу.

— Да ну, ну, не страшися! Не к волку в пасты! — засмеялась вторая спутница помоложе. — Идите за мной. — Она поднялась на низенькое крыльцо всего в три ступеньки, вошла в сенцы и отворила дверь, из которой пахнуло в лицо застоявшимся густым человеческим теплом.

В небольшой комнатушке, едва освещенной мерцанием синего крохотного огонька лампы перед иконой, слышались тяжкое сопенье, сонные вздохи и храп не менее десятка людей. Аночка в синеватом мерцающем сумраке разглядела две кровати, в двух местах кучи вповалку спящих на полу людей, занятую человеком длинную скамью возле стола и деревянную подвешенную к потолку детскую зыбку, которая с мерным поскрипыванием качалась, толкаемая скрытой в сумраке беспокойной бессонной матерью.

«Вот как просто: все спят, а ты без звонка, без всякого стукаходишь в квартиру, и никому-то нет дела, — ответила Аночка. — Видно, некому тут бояться воров!..»

От тяжелого, спертого воздуха ее слегка затошнило...

Младшая спутница Аночки в это время загремела задвижкой, распахнула скрипучую дверцу, которая взвизгнула, как от испуга щенка. Но никто не проснулся от этого резкого звука.

Они вошли в каморку еще вчетверо меньшую и вздули свечу, при свете которой с шорохом побежали в разные стороны тысячи тараканов.

— Вот мы и дома, — негромко сказала младшая, скидывая платок с головы. — Ну, не бойсь, раздевайся.

Только тут, развязывая заиндеветший возле лица непривычный платок Ивановны, Аночка разглядела своих добровольных спутниц и гостеприимных хозяек: старшей из них было лет под сорок, крепкая и ладная, с широким

лицом, с глубоко сидевшими карими, чуть сощуренными глазами, скуластая, полногрудая, она была такова, что вполне могла одна справиться с двоими городскими без помощи кладовщика Федота. Вторая — лет двадцати пяти — двадцати семи, худая, с яркими пятнами румянца на щеках, голубоглазая насмешница — могла бы быть настоящей красавицей, если бы не была так худая.

Обе они уже разделись, пока Аночка беспомощно путалась с завязкой платка на спине.

— Да ты и вправду как барышня: раздеться сама не можешь! — усмехнулась ей младшая. — Повернись, развяжу.

Аночка скинула шубку, и только тут, когда она осталась в одном платье, они поверили ей и словно бы удивились.

— Да вправду ведь барышня. Ишь ты! — сказала старшая.

Она достала три чашки, вышла в соседнюю комнату, загремела печной заслонкой и принесла жестяной горячий прокопченный чайник.

— Согреться, — пояснила она.

— Садитесь! — сказала младшая, подвигая Аночке стул.

— Да, Манька, ты стульце-то вытри. Платьице могут замазать, — прикрикнула старшая.

— А чего на нем? Что мы, свиньи, что ли! — отозвалась та, посмотрев на Аночку, как ей показалось, уже с какой-то враждой и отчужденностью. И все же, взяв с окошка тряпицу, она для виду протерла стул. — Садитесь, оно не запачкано, — с вежливым холодком предложила Манька.

Аночка села и огляделась.

Каморка была вполовину ее, Аночкиной комнаты, с дощатой переборкой, на два верхка недотянутой доверху, оклеенной газетами и листами каких-то журналов. Две узкие железные кровати, одна напротив другой, у стенок сразу определяли хозяек: одна была под лоскутным ватным одеялом с двумя необъятными подушками, другая — с кружевной накидкой на единственной тощей подушечке, под голубым сатиновым стеганным

одеялом. Над ним висело крошечное зеркальце, окруженное бумажными розами, чистое полотенце и фотография моряка.

Над лоскутным одеялом тоже висели две карточки, изображавшие двух гладко выстриженных ребятешек, лет десяти и двенадцати.

— Сыновья? — обратилась Аночка к тете Лизе, как младшая хозяйка звала свою подругу.

— В Рязани в ремесленном учатся, — словоохотливо ответила та. — Отец-то в китайцах пропал, а мальчики оба в ремесленном, на столяров, Манька вон говорит, их на фабрику взять — все, мол, будете вместе, а вы на нее поглядите — ведь свечкой тает! Такое уж ткацкое дело. Меня-то она не пробьет, чахотка-то, а молодые, ведь жалость глядеть, как горят. Что же я за животная буду — возьму их сюды! Съезжу на праздники повидаться — и рада: здоровы, сыты, обуты. Грамоте обучаются, ремеслу — ну и слава богу. Во студентки-то нашего брата не пустят ни так, ни эдак, а по столярному нету такого вреда, как в прядильном, во ткацком... У них и отец был столяр. Я смотрю — были бы здоровы, а что при себе — и собака рада, когда при себе щенки, да и то бездомной собаке не в радость, а в горе. Как нечем кормить — заскулишь!.. А в праздник я жамок им, пряников, леденцов привезу, зацалую и рада до новой свиданки. Ванятка намедни на рождество уткнулся в плечо мне да шепчет: «Ты, мамынька, годика три потерпи, я мастером стану и тебя и Сереньку тогда прокормлю...» — Она с умилением поглядела на карточку старшего и смахнула слезу. — И прокормит! — уверенно заключила она.

— Любите их? — спросила расстроганная Аночка.

— Да, как сказать, — любишь? Любила бы, так не уехала бы в Москву разгонять тоску, а то поскакала, срамница, — с укором себе ответила тетя Лиза. — А зачем поскакала? Аль тут зарабатываешь больше? Поп звал в кухарки... Нет, не пошла. Тут, мол, фабричная воля!

А какая тут воля — вот, слышишь, храпят как вольные птицы. Ведь как каторжаны живут, ну, чисто как каторжаны — одних кандалов не хватает!.. Живут да лампадку палят перед богом, за каторжное житье за свое бьют поклоны, на рождество-то попу целу полтину насобирали со всех за обход с иконой — ведь не богу — попу! Да пусть его лихоманка возьмет, я три года в кухарках жила у попа. Я породу их знаю!.. Домой придет и считает, и считает с попадающей бедняцкую кровь по грошу, чтоб он сдох!.. А муж у меня захворал, я за месяц вперед умоляла, мне шиш попадаья сует в нос...

— Вы, стало быть, в бога не верите? — осторожно спросила Аночка.

— Дура ты, барышня, дура. Да кто же его, бога-то, видел? Верь не верь, а по-божьи живи — тут и сказ!

Молодая фыркнула.

— Ты чего, шалава, смеешься? — спросила старшая.

— Да ты больно по-божьи живешь!

— А чем не по-божьи? Что с Федотом гуляю — а что за беда! За то бог не спросит. Красть — не краду, от детей его не отбиваю, а я еще не старуха — мне тоже надо! Ты, барышня, не слушай меня. Это я ей, срамнице, сказала.

— Ну ладно, ладно. Давай я чайку-то налью, посогрейся, отмянешь! — усмехаясь, ответила Маня. — Подвиньте свою-то, барышня.

— Опять! — раздраженно воскликнула Аночка.

Обе женщины взглянули на нее с удивлением. Аночка смутилась.

— Извините, пожалуйста. Это, где я живу, я все время с кухаркой ссорюсь за то, что она меня зовет барышней.

— Обижаетесь, стало быть? Как же вас звать — мы ведь имя не знаем.

— Анной.

— Аннушка, стало быть. Правильно обижаешься, Аннушка, — согласилась тетя Лиза.

— Старушечье имя! — недовольно сказала младшая. — Молодых больше Нюра зовут или Нюша, тоже Анечка.

— Мама звала меня Аночкой.

— И Аночкой хорошо, — согласилась Маня. — Пейте, Аночка, чай, а вот наше печенье, а вот наш сахар, — сказала она, поставив на накрытый клеенкой стол нарезанный хлеб и солонку с солью.

— Не сладко, зато горячо! — одобрила тетя Лиза. — Ты что же, не у родителей, значит, живешь, у чужих? — спросила она Аночку.

— В нахлебницах. Комнатку там снимаю, — ответила Аночка, с удовольствием прихлебывая горячий «чай» из заваренной мяты.

— И учишься, значит?

— Учусь.

— А отучишься — замуж пойдешь и всю науку забудешь. Богатым зачем наука!

— Мама была жива, не забывала науки — в учительницах служила. И мне тоже служить всю жизнь. А богатство откуда же? Нет никакого богатства.

— А мать-то давно померла?

— Лет шесть.

— Сиротинка, значит, — сказала тетя Лиза. — Братья-сестрицы есть?

— Старшая сестра за доктором замужем.

— А сама? Учительша тоже?

— Никто. Так, мужняя жена.

— Разлюбезное женское дело! — высказала заветную думу тетя Лиза. — А кто же ваш отец-то?

— Статистик, — ответила Аночка.

— Ученый, что ли, какой? — не поняла тетя Лиза.

— В земстве служит.

— А из-за чего, вы скажите, в студентах пошла заварушка? — спросила Маня. — Им чего не хватает?

— За то, что в Киеве и в Петербурге студентов в солдаты забрали, — ввернула Аночка, как ей казалось, особое простонародное словечко.

— За что ж их забрали?

— Опять же за сходки и забастовки.

— Значит, и этих голубчиков, что в Манеже, тоже в солдаты отправят? — спросила Маня.

— Этих отправят — другие станут бороться, — уверенно и задорно ответила Аночка. — Всю Россию в солдаты не сдашь и в тюрьму не отправишь!

— Ишь, ты какая!.. А тот говорит — «малвяк!»! Да ты — молодец, — похвалила Маня. — Недаром мы за тебя заступились. А то ведь студенты бывают разные тоже...

— Разные, — согласилась Аночка, вспомнив Геннадия. — Есть из помещичьих деток студенты, из фабрикантов...

— Ну, те небось не бастуют! — сказала старшая.

Мятный чай был давно уже выпит, но они не ложились. Работницы словно забыли о том, что им скоро уж вставать на работу.

— А кабы фабричных за забастовку загнали хоть в тот же Манеж, студенты пошли бы за них с полицией драться? — спросила Маня.

— Много пошло бы, — с уверенностью ответила Аночка, вспоминая разговоры с товарищами и прокламации, которые составлялись в ее комнате. — Враг-то общий. Студенты одни не справятся, если народ не поддержит. И фабричным одним не справиться тоже, — сказала она, повторяя мысль Феди о том, что не может быть для студентов свободы, пока вся страна сидит в сплошной огромной тюрьме.

— Кабы все-то студенты были такие, как вы! — одобрительно сказала Маня. — Ну, давайте ложиться. За полночь пошло. Мы с тей Лизой, а вы на моей кровати, если заразы моей не боитесь. Говорят, у меня чахотка...

— Ну что вы, чахотка! Я видала чахоточных — совсем не такие! — сказала Аночка, чтобы ее успокоить, а у самой побежали мурашки от этого слова.

И когда погасили свет и она легла на подушку Мани, то подстелила под щеку «на вся-

кий случай» снятую с себя кофточку. Она подумала, что от страха перед чахоткой теперь не заснет, но тотчас же перед ее глазами задвигалась толпа людей, появилась усатая физиономия в полицейской фуражке, а рядом — огромный Федот, и полицейский кричал ему: «Ты, Федот, да не тот! Федот, да не тот!» Полицейский поймал ее и колот булавками. Зудело все тело от этих укулов. Она металась, рвалась, стонала...

5

Аночка проснулась уже при полном свете дня, когда в замороженное окно каморки светило яркое зимнее солнце. В первый миг, очнувшись, она не могла понять, где находится, и медленно припоминала весь разговор с ткачихами — хозяйками комнаты. Кофточка давно уползла с подушки, и Аночка, вспомнив о чахоточной хозяйке кровати, живо вскочила и начала одеваться. Все тело было покрыто какой-то сыпью... Аночка брезгливо рассматривала на руках, на груди и шее красные пятна, когда дверь скрипнула, и молодая девушка деревенского вида, маленькая, белобрысенькая и бледная, без спросу просунула голову из соседней комнаты.

— Уй, как тебя, свежую, клопы всю изгрызли! — сочувственно воскликнула она. — Тетка Лиза и Манька тебе наказали чаю выпить и никуда не ходить. Да велели спросить — деньги есть ли? Коли хочешь, я в лавочку сбегаю, что куплю...

Аночка только тут поняла, что за сыпь покрыла ее, и разглядела по всем стенам на газетах темно-бурые пятна от раздавленных клопов. Она натянула валенки, вспомнила про платок Ивановны. Раньше вечера она и сама не решилась бы показаться на улице в этом наряде. В кошельке у нее было немножко денег, во всяком случае — более чем достаточно, чтобы устроить себе и хозяйкам довольно роскошный пир: купить ситного, сахару, колбасы, селедки.

— Ты меня Варькой зови, — сказала ей новая знакомка.

— Сбегай, Варенька, в лавку, купи, — обратилась Аня.

Та фыркнула.

— Варенька! — повторила она с усмешкой. — Ладно, сейчас.

— А ты сюда выходи, тут теплее, — позвал Аночку мужской голос.

— Спасибо.

— Да ты не бойся, иди. Я на тебя посмотрю. Ночь-то не спится. Я слышал, что ты говорила. Слыхал, дочка. Ты выходи, да и дверь отвори к Лизке с Манькой. Покуда их нет, мы всегда отворяем, чтобы лучше нагрелось у них...

Аночка вышла.

— Фу ты, каплюшка какая! — усмехнулся взлохмаченный бородатый человек, который лежал на печи. — Ну, здравствуй. Станем, стало, с тобой и с Варькой втроем домовничать. Я на работу теперь шабаш — не хожу, а все-то ушли... а я уж совсем шабаш!

— Почему? — спросила Аночка, услышав в самом голосе его ту значительную и вызывающую недоговоренность, которая требует от собеседника настойчивых вопросов.

— Сорок пять лет я отработал, и буде! — со злостью сказал он. — Руку мне размолото машиной. Гляди, — он, будто хвастаясь, показал из лохмотьев красный, словно отмороженный, обрубок. — Так и крещусь теперь левой и блох ловлю левой!.. Живи не тужи!.. Отец тут на Прохоровке пропал: об стену его головой ударило — тоже попал под ремень. И я крепок и ловок был, пока ноги мне не сломали на «стенке».

— Как «на стенке»?

— А в кулачном бою. Мы, значит, ситцевики — «мамайцы», а прядильщики, те нашему, по-фабричному, значит, — «барбосы». Рассудить, так причины-то нет между нас никакой — одна глупость. За что нам дружка на дружку лезти на драку, а как напьемся, так и полезем и лупим друг дружку, как будто богатые за наследство, и своего же брата калечим. А там разойдемся — да сызнова пуще в пьянку... Вот как обе ноги мне

сломали, отлежался да встал, срослись-то плохо, кривые. Не так изворотлив уж стал.. Между машин да станков в тесноте-то лазить сноровка, голуба, нужна... Ты что, девку в лавочку посылаешь? — перебил он внезапно себя.

— В лавочку, — ответила Аночка.

— Велика ты ей, Христа ради, распроклятого зелья купить на гривенник для убогого. Выпью — полегчает...

Варька, которая собралась уже уходить, задержалась слегка на пороге.

— Велишь, что ли, барышня? — спросила она.

— Ну, купи, — согласилась Аночка.

— Вот спасибо. Ин, беги, слышь, беги! — поощрил калека девушку. — ...Вот так и остался теперь с култышкой... Куды деваться? В контору пошел. Прогнали. И из «могилки» прогнали...

— Как — из «могилки»? — спросила Аночка в недоумении.

— Из спальни, значит. Там, в спальнях, нары у нас дощатые, как гробы разделены. Работаете — держат. Не стал фабриканту нужен — взащей! Когда тепло, то хожу копейки собираю на паперти у Николо-Ваганьковской церкви. Рабочий народ не богат, а из церкви идет — все подаст!.. И тут тоже из милости держат. Каб не милость да жалость, чтобы с убогими сталось!.. А как все на работу — я дом сторожу. — Он усмехнулся. — Нищету да беду от воров караю! Знают, что все сберегу, никого не обижу... А Варька племянница мне, сестры, значит, дочка. Старшая, значит, а земли-то надел — какой там надел, един грех! В деревне-то нечего есть, ну — в город, на фабрику. Ехала — не страшилась, а как увидела меня без руки, так сомлела. Неделю живет, нищенский, христарядиный хлеб мой жует, а пойти на фабрику смелости нету. И домой воротиться в деревню нет силы-мочи, такая там нищета, беднота: шесть ребят один меньше другого. Каждый кус ныне на восемь режут, а ей воротиться — на девять кромсай.

И так мало... Кабы не голод смертный в деревне, то я и сам бы туды добрался, хоть пешком... А сестра Аксюта не знает, что в калека. Писали от ней мне письмо. «Разлюбезный, мол, братец Антон Петрович. Ты на фабрике зубы съел, хоть, может, мол, ты не богат, да семья у тебя хоть на шее нету. Сделай ты милость, хоть Варьку возьми к себе, пристрой девуку к фабричному делу...» Ну, я ответ написал: «Любезная моя сестрица Аксинья Петровна. По родительскому завету, как старший брат, должен я тебе помогать, да помогалку мне бог не вырастил. Хотя я палат высоких за все годы мои с фабриканта не нажил, а девуку свою присылай, пристрою». Девка ехала, думала, жизнь человечью увидеть, а как приехала — взвизжала да три дня проплакала. Нынче отходит маленько. На неделе ее все равно отведу в контору; хоть обманом, хоть силой, а сдам на работу...

Девушка возвратилась из лавки с покупками, которые несла незавернутыми.

— Все смотря, сколь белого хлеба, кричат: «Не на свадьбу ль? На чью?» Я, мол, «дядя Антон собрался жениться»... Смеются... — жадно глядя на еду, оживленно рассказывала она.

Аночка уже слышала от Феди и особенно от Васи о тяжелой жизни в фабричных рабочих казармах, но тот мир, который раскрылся ей здесь, показался страшнее того, что они говорили.

Отхлебывая прямо из горлышка бутылки принесенную племянницей водку, дядя Антон стал еще разговорчивей. Он вспоминал с охотой всю тяжкую прожитую жизнь, от первых детских лет рабочего ученичества до последнего дня пребывания на фабрике, все обиды и притеснения, все рабочее горе.

Варька слушала его с выражением испуга. Лицо ее все больше бледнело, становилось все более убитым, расширенные глаза наполнились влагой, не раз в течение рассказа она не успевала их стереть ладонью, и слезы ползли у ней по щекам... Дядя Антон позабыл про нее. Его обидам и горю, в которое вы-

лилась вся его тяжелая подневольная жизнь, был нужен свежий, умеющий чувствовать слушатель, и он, наконец, нашел его в Аночке.

Наевшись селедки с хлебом и колбасой, с горячей картошкой, они непрерывно хотели пить. Раза два за длинный день Варька вытаскивала на стол огромный чайник, который они держали в печи. Они пили «чай» из нестерпимо горячих жестяных кружек, и дядя Антон все тянул и тянул свою бесконечную жалобу на бога и на людей, с ненавистью и с какой-то озлобленной похвальбой тем, сколько горя и тяжести выпало на его долю.

Когда он пил водку, ему хотелось всегда все припомнить и рассказать, но как только, бывало, начнешь и едва расскажешь какую-нибудь одну из терзающих память обид, как тотчас тебя перебьют двое-трое:

— А со мной тоже было раз так...

— Нет, постой. Дай мне рассказать...

И в чужом океане невзгод и кручины свою несчастную долю понесет, как щепку, завертит, закрутит и скроет из глаз...

Аночка не перебивала его, и страшная повесть дяди Антона в первый раз в жизни была им рассказана почти до конца — безжалостная, простая жестокая повесть, в которой было достаточно пьянства, случайных убийств, детских смертей, чахоточных кровотечений, безрадостных браков, голода, темного суеверия, взяток, холуйства, плетей, мордобоя, травли, сумасшествий и нищеты, нищеты, нищеты...

Варька тихонько всхлипнула раз и другой и вдруг, захлебнувшись воздухом, закричала.

— Варенька! Что ты? Чего ты? Варюшка, Варюша!..— вскочив, бормотала Аночка, сама не умея сдержать катившихся слез.

— Не пойду! Не пойду! Не пойду! — отбиваясь, кричала Варька.

Дядя Антон ошалело глядел на нее в тупом неподвижном молчании и вдруг догадался и сплюнул:

— Тьфу! Паралик-то тебя расшиби! Вот ведь старый дурак, что наплел!.. Варька, слышь! Слышишь, дура! Ведь за сорок пять

лет насбирались обиды... А когда помаленьку идет, оно вовсе не страшно!.. Дура! Мужа сосватаю!.. Тьфу ты!..

Он заворочался на печи, ожесточенно пуская махорочный дым.

Аночка увела захлебнувшуюся чужими несчастьями Варьку в комнатуху Маньки и тети Лизы, притворила визгливую дверь, утешала девушку, как умела, когда уже в сумерках по крыльцу застучали ногами, затопали, обивая снег, и вошли тетка Лиза и Маня.

— Заждалась? — приветливо спросила Маня с порога. Она присмотрелась к столу.— Ух, пир какой нынче: и ситник белый, и колбаса, и селедка!.. Варька! Кланяйся тетке Лизавете — она тебя безъявочно, за глаза определила на фабрику. Что ж ты застыла? Пляши!

Варька, которая попритихла, а теперь хлопотливо вскочила, чтобы подать им обед, вдруг уронила руки и пошатнулась.

— Ой, правда? — как от боли осев на скамейку, сказала она упавшим и слабым голосом и вдруг вскинулась вся, точно в судороге, и закричала, как иступленная: — Убивай! Убивай — не пойду! Чтоб мне сдохнуть, сама удавлюсь, окаянная я, в пролубь кинусь, в колодезь — на фабрику не пойду!..

— Представленья за три копейки! Как буд-то на ярманке! — строго произнесла Лизавета.— Молчать, паскуда! — крикнула она грозно.— Щи подавай! Люди с работы, а ты тут кликушей орешь!..

Оторопелая Варька умолкла, кинулась к печке и притащила горшочек с кислыми щами.

Тетя Лиза с усмешкой хлопнула ее по спине широкой ладонью.

— Барышня тоже нашлася слюни развешивать!..— с добродушной суровостью сказала она.— Ты что — лучше всех на свете?! Садись-ка щец похлебай, да станем пить чай с белым ситником... Ой, да и с сахаром! — заметила вдруг она.— Барышней будешь нынче, а послезавтра и на работу... Да ты не

бойся, дурища, я сама тебя стану учить — все пойдет как по маслу...

Новые приятельницы еще не покончили с «пиром», затеянным Аночкой, а в соседней комнате кипел уже муравейник: возвратившиеся с работы бранились, делили наваренное с утра в общем котле мясо, считали картофелины, плакал ребенок. От смешения женских и мужских голосов стоял гвалт, в котором было нельзя разобрать ни отдельной фразы, ни общего смысла сплошной перебранки, когда энергично хлопнула входная с улицы дверь и за перегородкой раздался похозяйски повелительный голос:

— А ну, Лизавета! Где ты там?! Собирайся к Манежу. Манька! — низенькая дверца в клетушку взвизгнула, распахнулась, и богатырь Федот, в коротком ватнике, в валенках и высокой заячьей шапке, нагнув под дверным косяком голову, вошел к ним. — Извиняйте! Тут у вас ба-арышня! — с притворным испугом сказал он. И вдруг засмеялся: — А я говорил — удерет от вас барышня, не дождется!.. Ты, барышня, не сердчай, — обратился он к Аночке, — обсчитался я на тебе...

— Буде врать! Что за барышня?! Аночка! девоньку звать, — вступилась тетя Лиза.

— Аночка?! Мое вам почтеньице! Очень приятно! — сказал Федот, отерев сначала о полу ладонь, а затем подавая Аночке руку. — Не желаете ли пройтись? — Он шутовски поклонился, левой рукой подкручивая рыжий ухарский ус. — Мы всей улицей, почитай, собрались.

— Не ори, не ори! Чего разорался?! — одернула его тетя Лиза и хлопнула по спине. — Сейчас соберемся, идем.

— А ну-ка, для храбрости, Лизка! — весело подмигнув карим глазом, сказал Федот.

Он вытащил из кармана косушку и привычным ударом ладони по донцу ловко вышиб из горлышка пробку. Когда он хотел налить Аночке, Лизавета строго остановила его:

— Ну что ты, дурак! Она разве может!

— Да я не неволю! Я так, по-хорошему, без обиды, — с мягкой усмешкой пояснил он.

Этот рябоватый добродушный весельчак-великан чем-то напоминал Аночке гимназического сторожа, отставного солдата, которого она знала лет пять, и показался ей симпатичным.

Лизавета лихо, по-мужски, а Маня глоточками, чуть жеманясь и морщась, с удовольствием выпили свои чашки, стоя уже одетыми у стола, погасили свечку и вышли.

— Бабы-девки, гулять! Мужики, собирайся! — бойко и весело крикнул Федот, выходя в соседнюю переполненную народом каморку, похожую на цыганский табор.

— Куда поперлись?! Куда?! — злобно взъелась плотная пожилая женщина. — Чего там не видали?! Раньше легли бы да к обедне встали бы раньше — богу молиться.

— А чего ему молиться?! Он и так нас боится! — озорно отозвался Федот.

— Тьфу, нехристь пьяный! — откликнулась та.

— Не знаю, как там насчет бога. Бог на нас, сирых, не смотрит, — сказа́л, очищая под лампой картошку, взлохмаченный, бородатый старик. — А вот барчат выручать не пошел бы я нипочем. Они из студентов выйдут, на нашу же голову сядут. Ведь ты посуди, Федот, кто есть студент? Лет через пять, глядишь, земский начальник!

— А через десять — полицмейстер! — подхватил второй рабочий, стеливший себе какие-то лохмотья для спанья на полу.

— А не то и еще черт те знает кто! Может, он управляющим фабрикой станет, не то прокурором! — сказал первый.

— А то — фабричным инспектором, — подхватил второй.

— Все едино — собака ли, пес ли...

— Небось тогда они бунтовать не полезут! — поднял голову еще один, уже успевший улечься спать на полу рабочий. — У них ведь семейный спор: сынки против батек встали, ну, батьки им выплюют по задницам

и помирятся. А тебя, Федот, славят, в Сибирь упекут!

— А зачем нас в Сибирь? — усмехнулся Федот.— Нам и тут тоже каторга. Мы им тут понужней, чем в Сибири!

— Да что вам шуметь за студентов, за барских детей?! Свои ребята небось дышат в казармах, так вы шуметь не идете?! — вмешалась женщина, кормившая грудью ребенка.

— Буде враты! Буде враты! — раздался с печи голос калеки Антона.— Студент за рабочего шел? Шел, братцы! Студент и на каторгу шел, и в тюрьму, и в петлю!.. Мы студентов видали еще лет двадцать назад, а кто не видал, тот нас, стариков, спроси...

— Да кто говорит, что мы за студентов идем? — возразил Федот.— Мы за себя, за рабочую долю идем, не за студентов. Да с вами, я вижу, каши не сварить. Вам бы только нажраться да спать... Пойдем, кто идет! Пошли, девки-бабы! — с прежней лихостью заключил Федот и первым шагнул за порог.

Аночка вышла на улицу, взявшись под руку с двумя неразлучными вчерашними спутницами. Из соседних домишек выходили такие же, как они, фабричные незнакомые люди, такие же, как те, что вчера затеяли схватку с городовым из-за маленькой курсистки в большом платке и кухаркиных валенках. Из темных переулков двигались неясными толпами люди еще и еще, их собралось у заставы уже человек с четыреста. Иные столпились у коночной остановки.

— Кто на конку?! — выкрикнул мужской голос.

— Пешком доберемся! — отозвалось из толпы.

— Куда-то вся Прохоровка пошла таким скопом? — добродушно спросил у заставы городовой.

— Тебя не спросили куда! Гулять по Тверскому! Богу молиться! В церквы! — кричали ему.— Может, нас заберешь?

— А ну забирай меня, забирай! — воинственно наступал на городского чуть замлевший Федот. — А ну заведи меня в часть!..

— Чего ты ко мне пристал? — обиженно огрызнулся городской. — Не признал меня, что ли? Я по-свойски спросил, мол, куда? А не хочешь — не сказывай... Я никого не трожу!..

— А ты потрожь, ну потрожь! — наседавал Федот.

— Ан, не трожу!.. Да ты посмотри: ведь сколько народу — никто не скандалит. Один ты напился! — урезонивал городской.

— Напился? Дурак ты, будочник! — возмущился Федот.— Да ты меня разве поил?! Да где ж я напился! Со всей полочки едва полтора целковых осталось...

— Пойдем, Федот, ну егоя Федот Степаныч, пойдем, не вяжись, гляди — он, ведь смирный! — урезонивала тетя Лиза расхвалившегося приятеля.

Толпа перешла заставу и потекла по Пресне. Из пивных выходили рабочие, кричали: «Куда?»

— К Манежу! — весело отвечали им.

— Товарки, товарки! Что там творится! — бойко забормотала разбитная ткачиха, запыхавшаяся, врываясь в толпу.— Я на конке туда уж слетала, у Манежа была. Ой, бабы! Ой, девки! Народ-то с солдатами в драку лезет, солдаты прикладами бьются... Толпища!.. С Замоскворечья фабричных сошлось от Эйнема, грачевские тоже, гужоновцы там, от Шмидта — со всех сторон!.. А барышнев да студентов сколько!..

— Гульня! — крикнул довольный Федот.— А ну с казаками потешимся стенка на стенку! — Ну, не больно, не больно-то с ними! Они и в нагайки возьмут! — охлаждала его тетя Лиза.

— Ой, бою-юся! — дурашливо крикнул Федот и комически схватился за живот.

Толпа самой зеленой фабричной молодежи — подростков окружила Федота, видно, уже зная его забавные выходки.

— Дядя Федот, ты кого боисси?! — спрашивал назойливый подросток. — Дядя Федот, ты кого боисси?

— Полиции, казаков боюся! — крикнул Федот, по-прежнему дурашливо ломаясь.

И вдруг со всех сторон запищали пищалки, затрещали полицейские свистки, застрекотали трещотки — это человек полтора ста прохоровских мальчишек присоединились всей своей подростковой «спальной» к толпе старших.

— Здорово, дядя Федот! Они небось сами нас заботятся!.. — в восторге от шума кричал первый мальчишка.

— А вы вот что, ребята! Слушать меня, ерши трехгорски, малявки да головастики прохоровски! Слушать! — крикнул Федот. — Без времени шуму не поднимать. Нишкни! Все молчите! Как время придет, я шапкой махну, вот тогда всей оркестрой играй!

— Ур-ра-а! — заголосили ребятишки, восторженно прыгая вокруг своего великана предводителя, который придумал для них эту радостную игру.

Уже подходя к Кудринской площади под многоголосое торжественное пение «Дубинушки», Аночка услышала у себя за спиной знакомый голос рязанского Мишки-медика, который разговаривал с рабочими, балагуря и шутя на свой обычный манер:

— Полиция да казаки беспорядки чинят — ни проходу порядочным людям от них, ни проезду... У Манежа одних приставов человек полтора ста. Ежели нам этот скоп разогнать, мы еще благодарность получим от обер-полицмейстера за водворение тишины и порядка!

— Петя! — крикнула, обернувшись назад, тетя Лиза.

Студент их догнал.

— Здравствуйте, тетя Лиза! Маня, здравствуй!

— Гляди, у нас новенькая какая, знакомьясь, — сказала Маня шутливо, указывая на Аночку.

Мишка взгляделся ближе в лицо девушки и,

узнав ее, скинул свою фуражку блином и закрестился:

— Сила святая! Аночка! Давно ль во ткачихи сподобились? Валенки, бабушкин теплый платок!

— Я у них ночевала, — с оттенком похвальбы ответила Аночка.

— Мы эту барышню от фараонов отбили вчера. За нее там такая буча пошла у Манежа, — сказала медику Маня.

— Хорошая барышня, даром — малявочка! — похвалила ее Лизавета.

— У меня был обыск вчера, — шепнула Аночка Мише.

— Ох, сколько их было в прошедшую ночь! Несть числа... Федю забрали, Кольку, Митяя — все в Манеже. Земляческий комитет собирается сегодня в новом составе, на новой квартире. Запомните адрес. — Он назвал дом и номер квартиры. — На вопрос «Вы к кому?» ответите: «Навестить больного»...

— Постойте, — вдруг спохватилась Аночка, повторив про себя адрес. — Ведь это Геннадий! Он же академист. Он нам не сочувствует. Почему у него?

Она почувствовала, что краснеет.

— А вы его знаете? Нет, он ничего человек. Студент как студент. С ним говорили. Он очень рад. Говорит, у него безопасно...

— Ну так или иначе — я туда не приду... Вы никому, пожалуйста, не говорите, что сообщили мне этот адрес, — попросила она рязанца. — Кстати, если вам к десяти, то пора уже ехать.

— Ой, да правда! Ну, я побежал! А вы в таком случае уж рабочих не оставляйте. Нам связи нужны...

Он наскоро попрощался с Аночкой и исчез в толпе, возраставшей от шага к шагу.

Тетя Лиза и Маня взяли Аночку под руки.

— Ты, значит, с Петькой уже раньше знакома? — с уважением спросила Маня.

— С каким это Петькой?

— Ну, с каким ты сейчас говорила-то, с маленьким докторенком. Он добрый. Тут малый один умирал от горячки. Петька с ним

ночевал и дневал. Душа-человек. Мы его третий год уже знаем. Товарищ был у него, чудачок такой же — Сеня Володичкин, он от чухотки умер...

— Который песенки сочинял про чай? — спросила Аночка, живо припомнив первую встречу в вагоне с рязанцами.

— Он про все сочинял. Молодой тоже, добрый такой был мальчонка. Нас с тетей Лизой грамоте выучил...

Аночке радостно было идти среди этих новых для нее людей, разговаривать с ними, как со своими, и было так удивительно, что она уже ощущала полное доверие их к себе и сама доверяла им тоже, как близким и давним друзьям. Но в то же время не оставляла ее и новизна ощущений. Она понимала, что тут для нее открывается новая жизнь, новый мир, тот самый таинственный мир «подполья», в котором творится великая народная тайна, где люди носят даже другие совсем имена, «как в монашестве, — подумала Аночка. — Вот и у Миши подпольная кличка — Петька...» Она подумала, что, может быть, скоро и у нее появится кличка, которая ей заменит привычное с детства имя.

— А Петька теперь кружок ведет у вас вместо умершего Сени? — осторожно спросила она.

— А ты, коль не дура, молчи, — отрезала Лизавета вдруг раздраженно и зло.

Аночка, смущенная, замолчала. Ей было стыдно, что вопрос о кружке она задала из простого девичьего любопытства, как гимназистка. В то же время она удивилась новому облику тети Лизы. «Вот ты какая! Вон вы какие!..» — подумалось ей с уважением.

— Не обижайся, Аночка, правду сказать, тетя Лиза не зря осерчала, — смягчая резкость подруги, шепнула Маня.

— А я не обиделась вовсе. Сама виновата, — призналась Аночка, еще более укоряя себя.

Значит, рязанец тут был не случайно. Он должен был идти вместе с рабочими, а, уходя, оставил Аночку за себя... Он ей дове-

рил такое дело, а она показала себя легкомысленной...

— Ну, и молчите, девы! На том, значит, мир! — сурово остановила их тетя Лиза.

Медленно и в порядке двигалась толпа, задерживая проезд встречных извозчиков, запружая улицу.

Они подошли к Никитским воротам, но в это время по Никитской навстречу им от консерватории с пением «Марсельезы» появилась запрудившая улицу другая толпа.

Прохоровцы дружно выкрикнули «ура» и подхватили напев, как вдруг с обеих сторон из бульварных проездов налетели конные жандармы и городовые.

— Разойдись! Разойдись! — кричали они, направляя лошадей на толпу.

— Разойдись! — Пешие городовые выскочили из-за молочной Бландова и из-за аптеки, кинулись перегораживать цепью площадь, встали стеной.

— А ну, расступись-ка, девы! Дай разгуляться плечу! — прогудел за спиной Аночки голос Федота.

Он вышел вперед, махнул шапкой и бесстрашно, трусцой побежал на полицию.

— Прохоровски! За мной! Лули фараонов! — грянул он на всю площадь.

Сотни свистулек, сопелок, трещоток, рожков, полицейских свистков, усиленные криками ребятишек, пронзительно заверещали над Никитской площадью.

Десятка три лучших прохоровских кулачных бойцов привычной «стенкой» с радостной готовностью побежали в сторону полицейских за своим вожаком.

— Коллеги! Вперед! — задорно призвал своих какой-то студент с той стороны площади, и обе толпы с криком «ура» под визг и свист прохоровских подростков так стремительно ринулись навстречу одна другой, что смели полицейскую цепь и слились в сплошное живое море, казавшееся бесконечно широким в ночной улице.

Тетя Лиза и Маня крепко держали под руки Аночку.

— Держись! Не теряться, девы! — временами по-командирски покрикивала тетя Лиза. — Вместе держитесь! — И в этой женщине Аночка ощутила твердость и мужество достойной подруги бесстрашного удалыца Федота.

— Господа студенты! Какое бесчинство и беспорядок! Время ночное! Пора по домам, господа! — уговаривал с лошади жандармский офицер. — Если не разойдется, я не могу отвечать. Казакам дано приказание господина градоначальника на ночь очистить улицы.

— Мы мирно гуляем, песни поем! Что у нас, военное положение, что ли?! — крикнул кто-то в ответ из толпы.

— Охотно верю вам, господа! — отозвался жандарм. — Но в городе есть темные элементы. Под общий шум пойдут грабежи магазинов, всякие безобразия! Прошу, господа, разойтись... Завтра праздник, весь день гулять можно...

Раздался взрыв смеха.

— Продолжение следует завтра, коллеги! — тоном конференсье выкрикнул один из студентов.

— Завтра с утра все на улицу! — подхватил другой, сложив руки рупором.

— С утра все на улицу! — сотнями голосов кричали вокруг. — Все на улицу завтра с утра..

В смешавшейся с пресненцами толпе Аночка слышала разговоры о том, что возле Манежа произошла рукопашная схватка с полицией, солдатами и казаками.

— Коллеги! Коллеги! Не расходитесь!.. Приглашаю вас к дому обер-полицейстера! — крикнули из толпы.

— К Трепову в гости, братцы! — узнала Аночка голос Федота.

— К его превосходительству Дмитрию Федоровичу, на Тверской бульвар! — пронзительно закричал юношеский тенорок впереди.

— Назад! — крикнул жандармский офицер. Тверской бульвар был уже отрезан сплошной цепью пешей и конной полиции, жандармами, уже на самом бульваре между де-

ревьев маячили знакомые фигуры конников с пиками — казаки. Но молодежь не хотела легко отступить.

— Вперед! — крикнул кто-то отчаянный. — Вперед, коллеги, вперед! В гости к Трепову!

— Назад! — слышался окрик жандарма. — Арестовать!..

— Хватают студентов! — визгнула женщина.

— Не давай, не давай! А ну-ка, пустите-ка, братцы, пустите подраться! — снова донесся до Аночки голос Федота откуда-то издалека впереди. — А ну, навались! А ну, отымай! Эй, навались! — кричал он. — Дружной, дружной, братцы!

И вот уже оттуда же, с той же стороны, раздались трещотки, свистки и дикие крики прохоровских подростков.

Зазвенел и погас фонарь на углу, за ним — второй, ловко выбитый камнем, погас и третий...

Впереди кишела кишмя настоящая свалка рабочих и студентов с полицией.

— С Никитского бульвара казаки! — выкрикнул кто-то.

— Спасайся на Бронную! — подхватил другой испуганный голос.

— Стой, не беги! Не бежать, коллеги! Не тронут! — останавливали трусливых трезвые повелительные голоса.

И все же толпа начала быстро редеть, растекаться.

— Калоша! Коллеги, кто потерял калошу?! Брюки так потеряете! — насмешливо кричали с площади вслед удирающим.

И вот уже где-то рядом Аночка услышала в темноте, все гуще заливающей площадь, удовлетворенный голос бесстрашного Федота:

— Удирай, удирай, ребята! А ну, девки-бабы, пропустите студентов!..

Студент с окровавленным лицом пробирался в толпе рядом с Аночкой, не вытирая с лица кровь и натягивая на руку оторванный от шинели рукав.

— Ничего, ничего, не робей! Поутру мы сызнава выйдем, тогда посмотрим! — бодрил кого-то неунывающий, неугомонный Федот.

Несколько студенческих фигур проскользнули в толпе. Их заботливо пропускали в сторону Бронной.

6

Аночка не решилась идти ночевать домой, где могла ее ждать полицейская засада, оставленная после обыска.

Снова она спала на постели Мани и проснулась от плача ребенка и нудной утренней брани за тоненькой переборкой. Там все уже встали, и шла, по-видимому, непрменная «воскресная» ссора.

— Покуда ребенка кормила, банки единой мне кипятку не оставили, окаянные, весь самовар расхлебали! — кричала женщина. — А щепки-то чьи?!

— Вот, завела из-за щепок! Добра-то, — отозвался мужчина.

— Добра! — закричала та. — А ты поди собирай их в снегу! Намедни на склад пошла. Хромой черт содрал гривенник. А за что? За мешок дерьма, прости господи! Полный мешок на хребте притащила — в неделю пожгли, а я кипятку не видала!.. Думала, хоть в воскресенье попью, и опять все сцедили!

— Заткнитесь вы, дьяволы, дайте хоть в праздник поспать! — зыкнул кто-то.

— И поставь-то нет никого, — слушая только себя, продолжала женщина. — Встань, поставь, вскипяти, а покуда дите накормила — все сожрали...

— А самовар-то чей?! Самовар-то чей?! — однообразным аккомпанементом твердил дребезжащий старческий голос. — Мой самовар. Крантик-то все вертят, все вертят... Сызнова капает... Самовар-то чей?!

— Замолчите вы там, окаянные, чтобы вам содохнуть, собакам! — неожиданно гаркнула тетя Лиза.

За перегородкой вдруг все притихло. Тетю Лизу все то ли боялись, то ли в самом деле сильно ее уважали.

— Ну, девоньки, живо вставать. Там от нашего лира чего-то осталось. Варька! — повелительно позвала она.

Варька просунула нос в скрипучую дверь. — Сбегай к Авдеехе — хлеба возьми пять фунтов да чайник с собой прихвати, кипятку притащи... с самоваром их сдохнешь...

— И стюдно, — еще не проснувшись, откуда-то из-под подушки пробормотала Манька.

— И стюдно на три копейки. Вот тебе деньги, — согласилась Лизавета. — Да живо, смотри у меня!

Умывшись в холодных сенях из ковша над задрозганным мыльным ушатом, наскоро закусили вприхлебку с обычной мятной заваркой.

— Сбирайтесь, собирайтесь на улицу! И день-то какой! Ишь, сколько солнушка! — торопила Лизавета.

Аночка начала одеваться, но вдруг растерянно села.

— Ты что? — спросила ее Лизавета.

— Я не пойду...

— Как так? Почему?

— Да куда ж я днем-то такая? — в смущении подняла она ногу в валенке и кивнула на шаль Ивановны.

— Ах ты, матушки! Как же я, дура, забыла! — ахнула тетя Лиза. — И вправду ведь, барышня, так вам срамно показаться! Простите уж, миленькая, меня. Я-то, дура, совсем позабыла, что вы барская дочка. Ведь мы-то все попросту!.. Ну так, хотите — сидите, хотите — домой к себе поезжайте в карете, а мы с Манькой гулять! До свиданьяци, барышня! — с холодком оборвала тетя Лиза, повязывая теплым платком голову.

Аночка почувствовала, что все потеряла в их глазах. Маня, одеваясь, отвернулась к окошку и не хотела встречаться с ней глазами. Аночка и сама теперь была смущена совершенно другим. Ведь выходило, что ночью она не стыдится идти с ними вместе, а днем... «А вот Володя не постыдился бы. Оделся бы мастеровым и пошел бы. А я именно — барышня, так вот и есть!» — злясь на себя, подумала Аночка.

Она торопливо оделась и вышла вместе с ними на улицу, чувствуя отчуждение со стороны обеих новых знакомок.

— На конке до Кудринской, что ли? — предложила тетя Лиза.

— Давай, — согласилась Манька.

О желании Аночки ни одна из них не спросила, и Аночка поплелась за ними на конку с сознанием своей же вины.

Вся Пресня кишела народом. Конка была до отказа набита людьми, и от круглых задов тащивших ее лошадей валил, как из бани, пар.

На конке из уст в уста передавалась новость о том, что за ночь студентов под сильной охраной вывезли из Манежа в тюрьму.

— Народу-то сколько на улице! Быть нынче буче! — сказала уверенно тетя Лиза.

У Кудринской площади они вместе вышли из конки.

— До свиданья, барышня. Вам ведь отсюда домой, — сказала Лизавета.

— Нет, я с вами, — просяще ответила Аночка.

— А я думала, вы за шляпкой пойдете... Да ведь днем-то с нами, простыми, срамно вам по улице...

— Брось, тетка Лиза! — остановила Манька. — Пойдешь уж теперь всю дорогу про шляпку... Вместе так вместе! И баста!

Она деловито взяла Аночку под руку, но Аночке показалось, что в этом движении Маньки не было уж вчерашней доверчивой, дружеской теплоты.

Они пошли вниз по Никитской в потоке людей, который местами почти превращался в толпу...

От Никитских ворот они повернули влево, по Тверскому бульвару.

Бульвар был полон студентами, мастеровыми, курсистками, женщинами разных сословий, подростками-фабричными, гимназистами. Было тесно от публики. Впереди слышалось церковное пение. Какие-то женщины на ходу крестились.

— Молебен за упокой государя-освободителя, — высказал кто-то предположение.

Во многих церквях молебен был перенесен с 19 февраля на воскресенье — 25-го, о чем было объявлено.

Аночка с подругами и небольшой группой трехгорцев, приехавших вместе на конке, подходили к месту молебна.

Против дома обер-полицмейстера на бульваре стояла толпа народу.

На соседних деревьях, как обезьяны, висели мальчишки. Народ теснился на утоптаных высоких сугробах по обочинам главной дорожки бульвара, на растащенных из штабелей, сложенных на зиму, бульварных скамейках.

— А ну-ка, прихватим скамеечку, — предложила Манька, проходя мимо штабеля.

Втроем они ухватились и поставили скамью на ножки, забрались на нее, чтобы видеть, что происходит. Но зрелища не получилось: ни дьякона, ни священника не было видно в толпе. Раздавался только могучий, типично дьяконский голос:

— Свобо-оды теснителя-я, студентов гонителя-я, умов помрачителя-а, фараонов повелителя-я упокой господи, — провозглашал на церковный лад этот голос, — чтобы ему лежать да не вставать, людям жить не мешать! Воздай ему, господи, сторицею за амбицию, за полицию... За весь московский люд, пусть ему в гло-отку смолу черти льют!

— Подай, господи! — стройно подхватил певчий хор голосов.

— А нас от таких охранителей, — продолжал бас, — и на-ста-авников, от полицмейстера до исправников, господи, упаси, подальше их унеси-и!..

— Господи помилуй, господи помилуй, господи поми-илуй! — подхватил хор.

К скамейке, на которой стояла Аночка со своими подругами, подошел господин в барашковой шапке, с поднятым воротником.

— Принцесса льда! Снежная королева! В каком вы виде?! — воскликнул господин.

Аночка сразу узнала его, того вагонного спутника, «Колькиного шпика», как называли его попутчики. Сердце ее на секунду замерло, но вдруг озорная искорка прыгнула у нее в груди.

— Ишь, принцессу себе нашел! — неожиданно для себя басом воскликнула Аночка. — А еще господин! Ты чего меня, девку, срамишь?! Вот как вдарю раз валенком по очкам — тут тебе и принцесса!

— Вот так девка! — воскликнул стоявший рядом мастеровой. — А ну, сунь ему в рыло, я его подержу!

— Виноват, может, я обознался... Мне показалось — знакомая барышня, вместе ехали...

— Ну и ступай к своим барышням, — вмешалась и тетя Лиза, — а наших, фабричных, не трожь!..

Господин, уже не слушая, заспешил по бульвару в сторону.

— Анька! Какая ты молодец! Ну и девка! — бросилась обнимать ее Манька. И Аночка чувствовала, что снова, и теперь уже навсегда, завоевала себе их симпатии и уважение.

В толпе студентов меж тем читал уже словно старческий дрожащий голос священника:

— ...а коли из ада полезет, да не сдержать его там ни огнем, ни железом, окажи ему, господи, милость твою, устрой ему квартиру в раю, да покрепче его со святыми там упокой-ой!..

— Со свя-тыми упо-кой... — плавно и молитвенно повел хор и вдруг заливчато подхватил:

Со святыми упокой, упокой,
Чтоб не двинул ни ногой, ни рукой!
Знал бы, господи, мерзавец он какой!
Молим, господи, покрепче упокой!

— Казаки! — предупреждаяще закричало несколько голосов с бульвара.

По прямому Тверскому бульвару было видно издалека, как от Никитских ворот въезжали на самый бульвар всадники с пиками.

— Скамейки вали поперек! — скомандовал

откуда-то появившийся рыжебородый студент, «тот самый», Иван Иванович.

Десятки людей рванулись к сложенным на зиму тяжелым бульварным скамьям на железной основе.

С невероятной быстротой, с грохотом валились скамьи в нескладно торчавшую в разные стороны раскоряченную ножками гору, перегораживая бульвар поперек.

— Полиция! — крикнули в это время с другой стороны.

От памятника Пушкину двигались на толпу в два ряда не менее сотни городских.

— Эх, Федота с ребятами тут не хватает! — пожалела Маня.

— Ничего, пусть студентики сами поучатся на кулачках, — утешила Лизавета, — не все на чужих харчах! — стараясь быть равнодушной, заключила она.

— Студенты! Коллеги, сомкнись! Ни шагу назад! — крикнул рыжебородый, выбегая вперед.

Кучка студентов побежала к нему. Но городские перешли уже с шага на бег, опередили студентов, и четверо крепко схватили рыжебородого.

— Не выдавай! Коллеги, отнимем! — закричали среди студентов.

С криками «ура!» они кинулись в схватку с полицией. Но городские оказались сильней, привычней. Вот выхватили еще студента и, ловко вывернув ему руки назад, потащили к Страстному, еще одного, еще...

— Возмутительно! Публика! Господа! — неожиданно закричал пожилой господин в пенсне и в почтовой форме. — Да как же мы позволяем полиции безобразничать?! Давайте поможем студентам!

И с удивительной для его возраста и солидности прытью он пустился бегом в самую гущу свалки.

— Пенсне береги! — насмешливо крикнул парень мастерского вида.

Лизавета подскочила к нему.

— Эх ты! Сопляк, а не малый! Чем самому побежать, ты над другими тут зубоска-

лишь! В портки наложил! Фараонов слушался!

— Вон их сколь! Ну-ка, сунься сама!

— А я вот пойду за тебя! — крикнула Манька.

— А ну, девки-бабы, возьмемся! — на весь бульвар, как вчера Федот, зычно призвала Лизавета, устремляясь в бой на полицию.

Народ побежал за ней.

Но в это время стало твориться что-то совсем непонятное: городские один за другим разлетались из кучи в разные стороны, вертелись волчками и, потеряв устойчивость, валялись в сугробы, вскакивали, но сбитые с ног своими товарищами, вертящимися так же кубарем им навстречу, падали снова. С полсотни городских, вываленных в сугробах, представляли собой необычайно смешное зрелище.

— Борцы! Борцы цирковые вязались! Вот так потеха! — с восторгом закричали вокруг.

Только тут все увидели, что четверо штатских мужчин в одинаковых каракулевых шапках и модных пальто играют, как в мячики, городскими.

Городским уже было не до студентов.

— Гоги Багадзе! Bravo! Бра-во!

— Ваня Бубен! Bravo! Так их! Бис! Ваня Бубен!

— Али Бикназаров! Брависсимо! — кричала окружающая толпа.

Подростки пронзительно свистели и визжали от восторга.

Когда полиция собралась, наконец, к наступлению на компанию борцов, сомкнувшись рядами и повернувшись тылом к толпе, в вываленных снегом шинелях городские казались только смешными.

Лизавета рванулась вперед.

— А ну, девки-бабы! — опять выкрикнула она боевой клич Федота.

Фабричные и студенты, подростки-мальчишки и девчонки-модистки, и пожилые господа с барашковыми воротниками, с тросточками побежали толпой на полицию, с тыла напали на городских, опрокинули их, вертя их в тол-

пе, как щепки в волнах реки. И все потекло на площадь Страстного.

Суетливый апоплексический пристав с трехскладчатой шеей командовал ротой полиции, заботясь теперь только о том, чтобы загородить Тверскую и не пустить толпу к дому генерал-губернатора.

— Вперед! — кричал, предводительствуя толпою освобожденный ею от полиции рыжебородый студент. — Вперед, по бульвару! Вперед, коллеги!

Весь народ ликовал. Взвился красный флаг. Толпа не могла успокоиться и тогда, когда позади остались и памятник, и Тверская, и Страстной монастырь.

— Здорово, Анька! Эх, хорошо-то как! Господи, как хорошо! — восклицала Маня.

И Аночке нравилось, что эта фабричная девушка зовет ее, как подругу, на «ты», называет «Анькой», что они идут в этой толпе, крепко схватившись за руки.

— Хорошо! — повторяла она, думая, как изумительно было бы, если бы здесь же был и Володя.

— Дуры вы, девоньки, «хорошо!» — передразнила их Лизавета. — Ну что тут хорошего? Ведь никого не свернем, не свалим — все по-старому будет. Пошумим-пошумим да утихнем. А назавтра все снова — фабрика и мастера...

— ...и крантик от самовара и щепок мешок... — подхватила за нею Аночка, подумав, что в самом деле ведь их тяжелая жизнь останется той же.

— И неправда, неправда! Все свернем, все переделаем — вижу! — восторженно возражала Манька. — Ведь это начало только, и то сколь народу. Больше будет, куда сколько больше!.. Может, уж я от чахотки помру к тому времени, а народ все равно одолеет!..

— Ну-у, завела свою музыку про чахотку! — ворчливо упрекнула ее Лизавета.

— Да, тетя Лизочка, я ведь о том не говорю и горевать-то некуда. Я говорю, мол, народ одолеет!.. Гляди-ка, как хорошо! Флаг! Флаг-то наш! А полиция подступиться к нему

не смеет, ведь вот что красиво-то, вот ведь что дорого!

— Хорошо! Хорошо! — повторяла за нею и Аночка.

Увлеченный толпою городской в обвальяной снегом шинели, не чувствуя глаза начальства, осмелел и искренне заискивал перед окружающими.

— А нам разве хочется вас обижать? Что ж, полицейские разве не люди?! Такой же солдат или дворник!.. Мы тоже ведь правду видим, — уверял он, на ходу отряхивая шинель.

7

Толпа катилась вперед, унося Аночку, и она чувствовала себя единой со всеми — с тетей Лизой и Маней, с их подружками Тоней и Надей, с рыжебородым вечным студентом, который то и дело махал своей выцветшей, похожей на блин фуражкой, с веселыми подростками-мальчишками — со всей разношерстной, радостно, по-боевому возбужденной толпой, с красным флагом, ревящим в воздухе. Аночка думала о том, где и когда она раньше уже переживала что-то похожее — наяву или просто во сне... Что-то такое похожее было в жизни, такое же радостное и боевое, но она никак не могла припомнить и только всем существом отдавалась мощному потоку, который состоял из многих тысяч людей и в том числе из нее самой, такой ликующей кружащейся капли в океане людей, переполнивших улицы города.

Толпа свернула с бульвара на Большую Дмитровку. Кто-то крикнул — разгромить редакцию «Московских ведомостей». Но начальство уже ожидало, что ненавистная всем честным людям редакция грязной газетки может пострадать от народа. На улице возле «Московских ведомостей» верхами развезжали жандармы. Несколько пущенных из толпы, должно быть, заранее припасенных камней, ледышек, снежков разбили оконные стекла. Со звоном и дребезжанием они посыпались на тротуар. В толпе закричали «ура!». Жан-

дармы направили на толпу лошадей, но их закидали снежками, подхваченными с сугробов. Дворники выбегали запирать ворота домов. В некоторых домах, наоборот, несмотря на мороз, распахивались окна и форточки, и оттуда люди махали платками, красными лентами.

— Хорошо-то как, Анечка, Анька! — восторженно повторяла Маня, сжимая Аночкину руку.

Еще один красный флаг совсем недалеко от них взвился в ветре над толпой. Он вился узкой лентой, было видно, что, как и первый, этот флаг сделан из трехцветного: просто сорваны белая и синяя полосы и оставлена одна красная. Но он так вызывающе гордо вспыхнул, этот узенький змеящийся язычок пламени, что во всех сердцах загорелся ответный огонь, и возле него, окружая его и словно вздымая его выше над головами народного шествия, взлетела призывная песня:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!

А старый мир выползал навстречу тупым ощеренным рылом донских держиморд, похожими на царя Александра Третьего, фигурами городских в круглых шапках и серыми солдатскими шинелями, заслонившими проход с Дмитровки по Варсонофьевскому переулку и гауптвахте со знаменитой каланчой и к дому генерал-губернатора «князя Ходынского», как звали в народе дядю царя.

У Камергерского переулочка снова кордон из полиции, жандармов и казаков закрыл выход к Тверской, и толпа потекла налево, по Кузнецкому мосту. Возле салона художников немолодой человек, несмотря на мороз, в одной черной блузе, без шапки, с огромной копной вьющихся черных волос, с темной бородкой, вскочил на тумбу, размахивая над головою газетой.

— Товарищи! Граждане! Братья! — гремел его голос. — Сегодня в газетах напечатано послание святейшего синода об отлучении от

православной церкви великого писателя всего человечества Льва Толстого.

Движение толпы стало медленней и задержалось совсем. Но задние ряды наседали, двигались, и толпа все теснее уплотнялась перед оратором, едва приметно сдвигаясь вперед.

— За смелый голос против угнетателей и паразитов, за ясный ум, за любовь к народу и за измену стану обжор-захребетников лицемеры победоносцевы, как стая волков, накинулись на великого гения России! — выкрикивал смелый оратор. — Они хотят анафемой очернить Толстого перед народом за то, что он в своих книгах показывает несправедливых судей, взяточников-чиновников, обдирает, потому что он показывает в книгах горе народа. Долой победоносцевых, долой самодержавие! Да здравствует Лев Николаевич Толстой, свет России, совесть России и друг народа, ура!

Народ закричал ответно «ура!». Подхваченный где-то вдаль этот клич долго и звучно катился по улицам. Толпа всколыхнулась и двинулась дальше. По всему Кузнецкому мосту, от начала его до конца, текла человеческая река, величаяя, грозная гневом и радостная собственным пробуждением.

Аночка вспомнила, наконец, как года три назад, перед окончанием гимназии, у нее на глазах знакомая с детства стремительная широкая река разбила свои ледяные оковы и, громоздя и ломая льдины, рванулась вперед... Аночка тогда с веселой компанией старшеклассников гимназистов едва успела перескочить на берег с изрезанного коньками льда, и так, не снимая коньков, они стояли на берегу, на круче, над самой водой и зачарованно смотрели на наступление весны, водоворотом кружившей льдины.

А теперь на ее глазах лед ломала Россия, ломала лед и неслась, стремительная, полная мощи и юности.

Вставай, подымайся, рабочий народ,
Иди на борьбу, люд голодный.

Раздайся клич мести народной,
Вперед, вперед, вперед, все вперед!..

— Темнота наша, вот что! — с тяжелым вздохом сказала Аночке Лизавета. — Ведь, видать, человек-то хороший — этот лохматый, какой говорил на Кузнецком. А мы ничего не знаем, не смыслим... Разве народ-то поймет... В церкви крикнут попы анафему, им и поверят! И я ведь, дура, поверю... Сейчас «ура» разоралась, а в церкви поверю... Да что я знаю-то, что?!

— Вы разве ходите в церковь? — спросила Аночка.

— А как не ходить?! Люди ходят, и я хожу — и помолиться, и посудачить, и наряд показать, когда новый случится...

Манька усмехнулась.

— Уж Сеня, бывало, к ней приступал и Петька-докторенок... Да нешто ей объяснишь! Еще их-то, студентов, она терпит, а вот я попробую слово сказать против бога — она меня съест готова вместе с моей чахоткой!..

— А что ж он, писатель-то этот, он против бога? — спросила, помолчав, тетя Лиза.

— Он против полиции и богачей. Нет, он-то за бога... Он — за крестьян, за мастеровых, за фабричных, — как могла, поясняла Аночка.

— А как же — еще бы! Так и быть тому должно! — обрадовалась Лизавета. — Раз он за простой народ, значит за бога.

Потоком людей их вынесло на Лубянской площади, но здесь не стало просторнее: на площадь вливались толпы народа с Мясницкой, из Театрального и Лубянского проездов... Тут был водоворот. Вожак слившихся здесь демонстраций стремились перехитрить полицию и нырнуть в один из проулков, ведущих к дворцу «князя Ходынского». Для устройства кошачьего концерта под окнами генерал-губернатора были припасены в толпе и свистки, и трещотки, и бережно сохраняемые по карманам кислые огурцы и тухлые яйца. Только немногих соблазнила возможность преждевременно разбить такую «химическую бомбу» о голову полицейского. Сотни

людей в течение дня берегли их для «самого» великого князя.

Но полиция и жандармерия окружили кордонами и постами все подходы к резиденции генерал-губернатора. Чтобы проникнуть к этому месту с Лубянской площади, надо было опять повернуть к Тверской. Потому все потоки людей, которые сошлись на Лубянке, стремились вниз, вдоль Китайской стены и Театральной площади к Охотному ряду.

Над толпой качались тут и там на длинных нитках красные воздушные шары. Сотни мальчишек, прилепившись на фонарях, на крышах домов, оглашали воздух свистками, выкриками, трещотками, усиливая нестройный гомон толпы. И вдруг где-то тут, совсем рядом, кто-то громко сказал:

— Вот он, вот! Смотрите, смотрите! Вот он, «дьявол в образе человеческом»!

— Кто? Где?! — не поняли люди.

— Да он! Толстой! Лев Толстой! Отлученный от церкви!

По рядам пролетел шорох, шепот. Звонкий, свежий, восторженный голос крикнул:

— Ура! Толстой! Слава Толстому!

— Коллеги! Сюда! Лев Николаевич Толстой здесь, с нами, с народом!

Вся Лубянская площадь пришла в волнение. Аночку движением толпы бросило на тротуар к Никольским воротам, где в дубленом простом полушубке и валенках, в скромной заячьей шапке, возле древней воротной башни стоял он — гений и гордость народа, гордость России!.. И она очутилась перед таким величественно-далеким, оваянным славой и вместе таким знакомым, грубо и резко очерченным, каким-то по-скифски грозным и гордым лицом Толстого. Она его сразу узнала... Нет, не овчинная шуба была на нем, а кожаный панцирь, которого не пробить ядовитыми стрелами попов и чиновников... Не самодержавие, не попы — это он был победителем и вождем сердец. Вокруг все махали шапками, радостно кричали ему «ура!».

— Мы любим вас, Лев Николаич! Мы с вами! «Они» ничего вам не смеют сделать! Народ за вас, видите, Лев Николаич! — кричали наперерыв десятки людей.

— Спасибо вам, Лев Николаич, заступник народа!

— Да здравствует совесть России!

— Ура-а!..

Кипела и вспенилась криками площадь.

Толстому загородили дорогу.

Грозный, воинственно гордый Толстой вдруг улыбнулся и поклонился, сняв шапку, сверкнув острыми живыми глазами. Садившееся за «Пашковым домом» вечернее солнце освещало его словно вырубленное из камня лицо, золотило длинную косматую бороду. Народ напирал отовсюду. Все хотели видеть Толстого, сказать ему добрые слова.

— Господа, осторожнее! Тише, коллеги! Событие с ног Льва Николаевича! Не напирайте! — испуганно восклицали те самые люди, которые две минуты назад призывали сюда весь народ со всей площади.

— Кольцо, коллеги! Образует кольцо! Беритесь за руки! — крикнул кто-то и крепко схватил Аночку за руку.

— Проводите меня, господа, до извозчика! — обратился Толстой. — Спасибо вам. Какой у вас праздник сегодня хороший на улицах! — бодро и твердо ступая в толпе, говорил он студентам, создавшим живую цепь для его охраны. — Ведь это дружба всей молодежи, любовь к вашим товарищам вывела вас на улицу! Я уверен, что вы добьетесь свободы для арестованных ваших коллег. В таком единении нельзя не добиться. Как это прекрасно — такое единство! Если бы все хорошие люди знали, как им важно сплотиться и быть в единстве, то зло отступило бы перед ними...

— Лев Николаич, они хотят отлучением от церкви настроить народ против вас, а народ им не верит! — выкрикнул кто-то из молодежи.

— Народ всегда правду видит, — серьезно и уверенно ответил Толстой.

— Истинно верно, Лев Николаич! — от души воскликнула Лизавета.

Толстой молча улыбнулся одними глазами из-под нависших густых бровей.

Толпа вместе с Толстым спускалась теперь к Театральной площади.

— Вон, вон извозчик стоит у Рождественки! — радостно указал спутник Толстого, еще молодой господин.

— Изво-озчик! — отчаянно закричали несколько студентов, бросаясь бегом к Рождественке. Но извозчик, испуганный бегущей к нему толпой, оглянулся, стегнул изо всех сил лошадь и помчался к Охотному ряду.

— Извозчик! Изво-озчик! — надрываясь, на бегу кричали студенты.

Теперь уже человек полтора ста бежало вперед, чтобы нанять одного извозчика.

Аночка крепко сжимала одной рукой руку Мани, другой — руку какого-то незнакомого студента технического училища.

Не великан, не богатырь, а невысокого роста старик с известной всему миру косматой бородой, в пяти шагах от нее, казался совсем простым в своем дубленом полушубке и валенках. Широкоскулый, с пристальным взглядом пронизывающих, все видящих глаз, он смотрел на окружающих так, будто не он, великий, прославленный, был любопытен народу, а весь народ и каждый отдельный человек из толпы любопытны ему.

— Лев Николаевич! Умоляю на память о нынешнем дне, о дне вашего величия, вашей победы над Победоносцевым и компанией, умоляю — черкните одну только подпись... Подпись и дату, — протолкавшись в цепь, жалобно твердил какой-то интеллигент в пестре на шнурочке. Он совал в руки Толстого книгу и карандаш.

Аночка не слышала, что ответил Толстой, но, когда он слегка задержался и быстро черкнул карандашом, она разглядела титульный лист «Анны Карениной».

— Лев Николаич, хотите, народ вас, как знамя, домой донесет на руках, разрешите!

Толстой улыбнулся и что-то ответил, видно — шутовское, все вокруг засмеялись.

Они подходили уже к Неглинной.

— Поймали! Поймали! — кричали с угла студенты, размахивая руками.

Они действительно в буквальном смысле этого слова поймали извозчика и держались за оглобли, за меховую полость, за руки самого извозчика, двое держали под уздцы его лошадь.

— Хотел ведь удрать, шельмец! Едва ухватили каналью, Лев Николаич! — радостно говорили студенты, хвастаясь своей победой.

Спутник Толстого распахнул для него полость, помогая усесться, сел сам, но в это время вся огромная людская река поспешила сюда. Толпа уже заливала и спуск к Театральной площади и Неглинную.

— В Хамовники! — сказал спутник Толстого.

Но студенты, державшие лошадь, не думали отпускать ее.

— Коллеги! Сегодняшний день нам будет памятен во сто крат оттого, что мы встретились здесь со Львом Николаевичем, с величайшим художником и разоблачителем всяческой лжи. Да здравствует сердце народа, Лев Николаевич Толстой!

— Ура! — подхватили вокруг.

Толстой снимал шапку, кланялся. Он стал мягок и ласков — не скифский вождь в кожаном панцире, а добрый дед-пасечник.

— Благодарю, господа, благодарю вас. Я рад потому, что в моем лице вы приветствуете не меня — человека, а мысли мои, идеи, — растроганно говорил он, и, казалось, что он вот-вот всхлипнет от нежности и умиления.

— А теперь, господа, прошу, отпустите Льва Николаевича, ведь вы его держите, господа, — напомнил спутник Толстого.

— Коллеги! Пропустите Льва Николаевича! Пропустите, коллеги! — крикнул рыжебордый студент, который с утра был предводителем на Тверском бульваре.

Студенты освободили извозчика, цепь тронулась, охраняя дорогу среди улицы, и под общий громовой приветственный крик извозчики санки ринулись вперед...

На крики толпы с Кузнецкого галопом вылетел взвод жандармов, преградив путь Толстому. Теперь старец снова преобразился: это было окаменевшее выражение величия и неприступной гордыни, надменное холодное изваяние.

Офицер окинул мгновенным взглядом толпу, узнал Толстого, на миг смутился под его уничтожающим взглядом из-под каменных тяжелых век, но быстро оправился искомандовал:

— Пропусти и сейчас же сомкнись!..

Жандармы разомкнули строй, оставляя лишь узкий проезд. Извозчик хлестнул лошадей, санки рванули вперед по Неглинной и тотчас же скрылись за строем жандармов.

Никто из толпы и не пытался прорваться вслед за извозчиком. Толпа стояла на месте, махала шапками и кричала: «Ура! Да здравствует Лев Николаевич! Долой победоносцев!»

Офицер выехал перед строем жандармов и с явным нетерпением ожидал, когда закончатся крики.

— Прошу разойтись, господа... — начал было он, когда чуть поутихло.

Но новый взрыв выкриков в честь Толстого заглушил его. Офицер разозлился.

— Разойдись! Прошу разойтись! — тоненько выкрикнул он. — Расходись! — он привстал в стременах. — Здесь нет прохода! Назад!

— Да куда же назад, напирают сзади! — откликнулся кто-то в толпе.

— Назад! — все требовательнее и резче кричал офицер. — Выходите на площадь и расходитесь!

— Вы же видите, господин офицер, что назад никакой возможности выбраться! — выступил вперед рыжебородый студент.

— Слушайте, господин студент! — с ненавистью сказал жандарм. — Вы все с утра

целый день «находили возможность» проходить по всему городу, теперь потрудитесь «найти возможность» повернуть к Театральной площади.

— А потом к Манежу? — спросил сосед Аночки, студент-техник.

— Как вам, господа студенты, будет угодно-с... Лучше всего — домой...

— А я думал — в Манеж. Там, кажется, место освободилось...

— Будете добиваться, так попадете туда! — в бешенстве кричал офицер. — Сабли вон! — скомандовал он.

Лязгнули обнаженные сабли, и кучка смельчаков отступила в толпу.

— Коллеги, назад, к Театральной! — крикнул рыжебородый. — Назад, к Театральной!..

Толпа повернула и, нескладно топчась, не сразу найдя лад и порядок, тронулась по Неглинной назад.

— Устал народ за день не евши, — со вздохом сказала Маня.

В обратную сторону двинулся над толпой и красный флаг. Чей-то сильный голос запел впереди «Дубинушку».

— А что Лев Толстой? Тоже барин!.. — услышала Аночка у себя за спиной раздраженный, злой голос. Она оглянулась. Это был человек лет пятидесяти, мелкорослый, заеденный трудом и нуждой.

— Он барин, да только совсем особенный, — ответил его собеседник, лет на десять помоложе первого.

— А бере и все особенный, да нашему брату от них не легче. На лихача посадили, и покатыл, а нам и дороги на улице нету!

— Постой, погоди, да ты читал его книжки?

— Чита-ал! — насмешливо протянул первый. — Прежде чем книжки честь, надо хлеба есть! Меня грамоте шпандырем по ж... учили. Грамотея нашел! — с прежней злостью ответил он.

— О чем же ты, дядя, толкуешь, когда не читал? — спросил молодой безусый студент, державший в цепи Аночку за руку.

— Во вред они, все писатели ваши. Все равно господа... И наука во вред и студентам! — огрызнулся мастеровой.

— Коллеги, я слышу идеи Льва Николаича! — воскликнул рядом другой студент.

— Погодите, коллега! Мне интересно, — отмахнулся молоденький. — А зачем же ты, дядя, на улицу вышел? — обратился он снова к мастеровому. — Ведь люди-то все за науку идут, за студентов!

— С народом я, не с писателями вышел. Народ за права идет, а вовсе не за студентов. И я — за права! — сумрачно ответил мастеровой. — Я, может, тоже за грамоту вышел на улицу, да не за вашу, а за свою! — вдруг вскинулся он. — А сколько нас тут без «аза», без «буки» повывлезло из всех щелей! «Толстова читал!» — ядовито опять повторил он. — Я гоцова и то не читал!.. А науку и так всю жизнь прохожу, без книжки... За то и на улку вышел!..

— От темноты это ты говоришь про Толстого такие слова, — возразил опять спутник мастерового. — Толстой, он — великая голова, как министр!

— Что — министр! Он больше министров! — вмешался новый голос. — Он на все государства один есть такой — Лев Толстой — одно слово!

«Вот в чем величие гения! Значит, доходит он и до фабричных, до простого народа. «Один на все государства!» — радостно размышляла Аночка.

На углу возле Малого театра Аночка вздрогнула от знакомого голоса, который раздался над самым ухом:

— Господи, маскарад какой! Аночка, вы ли?!

Перед нею в собольей шапке с красным бархатным верхом, с куньим воротником на модном пальто стоял удивленный Бурмин.

— Вот так сюрприз! А мы ждем, беспокоимся, Клавоочка плачет, а вы...

На них обратили внимание со всех сторон — на эту фабричную миловидную девушку и госпождина.

— Здравствуйте, Георгий Дмитрич! — сказала Аночка, на мгновение смутившись, но тут же нашлась:

— Познакомьтесь — мои подруги: тетя Лиза и Маня — ткачихи с Трехгорной...

— Оч-чень пр-риятно! — церемонно и сухо раскланялся Бурмин.

— Мой квартирный хозяин, — пояснила Аночка спутницам. — Значит, у вас после обыска не осталось засады? — осторожно спросила она Бурмина.

— Обыска? Где? У кого? — удивился он.

— Разве полиция не приходила третьего дня? — спросила Аночка.

— В красный флигель к кому-то там приходили, а к нам им зачем? — сказал Георгий Дмитриевич, даже будто обиженный предположением. — Вот Ивановну вы, сударыня, подвели со своим маскарадом. Ей в вашей шляпке ходить неудобно, стесняется, — насмешливо заключил Бурмин.

Красный флаг вилял над площадью, народ пел «Дубинушку», «Марсельезу». Где-то впереди кричали «ура!». Но для Аночки все померкло и побледнело. От встречи с Бурминым вдруг потухли радость и народное торжество, и воцарилась в груди томительная скука.

Тетя Лиза и Маня уже не держали ее под руки, и она ощущала себя одинокой, всем в этой толпе чужой и ненужной...

— Пойдемте на тротуар, — пригласил Бурмин, которому не хотелось идти в толпе.

— Вы?! Со мной?! В таком виде?! Вас это не будет шокировать?! — спросила Аночка. — Хорошо! Но только условие: до самого дома вы меня поведете под руку!..

Маня, шедшая рядом, не удержалась и фыркнула.

— Хорошо-с, я вас предоставляю самой себе и вашим «подругам», — раздраженно сказал Бурмин. — А что я скажу Клавусе? Вы вернетесь сегодня? — спросил он, уже отходя.

— Вернусь! — раздраженно передразнила его Аночка.

В этот миг в толпе произошло смятение. Аночка подняла глаза и увидела с десяток казаков, скачущих с Большой Дмитровки.

— Казаки! Бьют! — раздались кругом крики.

— Не отступать! Сомкнись! Держитесь плотней! — крикнул рыжебородый студент, снова махнув своей выцветшей фуражкой. — Не сдаваться башибузукам!

— За руки крепче хватайся! Вперед! — закричал второй призывный и требовательный голос.

Аночка снова почувствовала крепкую руку Мани в своей руке, почувствовала плечи соседей и, как прежде, ощутила себя единым целым с народной толпой. Она оглянулась по сторонам и увидела далеко между головами пробивающуюся к тротуару красную бархатную макушку собольей шапочки Бурмина. Ей стало легко и радостно.

— Ускочил господин! — напутствовала его Маня, проследив за усмехнувшимся взглядом Аночки.

Казаки приближались, прокладывая нагайками путь через толпу.

— Разойдись! — озлобленно кричали они. Но вместо того чтобы пятиться и бежать, вся толпа рванулась вперед, на казаков.

— Сдирай их с коней! С лошадей их дери, окаянных! — закричала Лизавета, прорываясь вперед.

— Окружай казаков, тащи с лошадей! — подхватил мужской голос.

Поднялся гвалт, пронзительный свист мальчишек, полетели камни... Казаки отступили, умчавшись на Воскресенскую площадь, провожаемые торжественным свистом, криками, пением «Марсельезы».

Царь-вампир из тебя тянет жилы!
Царь-вампир пьет народную кровь!..
Вставай, подымайся, рабочий народ... —

звенело над площадью.

Люди поняли, что, сплотившись и взявшись за руки, они могут стать победителями.

Они шли не за партии, не за программы, не за республику и даже не за конституцию. Это просто была толпа, которая заявила свое право на улицу, на свободное шествие, на протест словом и вольною песней против векового тумана бесправия, против болотной затхлости, застоя и беспросветности, царивших на всех громадных пространствах России.

Аночка оказалась в первых рядах, почти рядом с рыжебородым студентом, и видела, как от Манежа через Охотный ряд движется навстречу другая такая же многочисленная возбужденная толпа, тоже с красным флагом и пением.

— Наши! Наши! — вдруг восторженно закричала Аночка, крепко сжав руку подруги. — Манька, наши! Гляди-ка, Федот впереди!

От Манежа шли пресненцы.





Именем революции

Антон Ракитин. *Именем революции...* (Очерки о В. А. Антонове-Овсеевко.) М., Издательство политической литературы, 1965, 191 стр., 80 000 экз.

Кипучая, деятельная натура, большой ум, разносторонние способности, бескорыстие и самоотверженность, готовность отдать жизнь за дело революции — все эти черты присутствовали были замечательному революционеру Владимиру Александровичу Антонову-Овсеевко. Его жизнь и деятельность неразрывно связаны с историей Октябрьской революции, с историей строительства социализма. В подполье при царизме, в революционных восстаниях, в каторжной тюрьме, приговоренный к смертной казни, в революционной эмиграции после побегов из тюрем, в организации Октябрьского восстания, а затем в руководстве Красной Армии и защите завоеваний пролетарской революции, в борьбе с голодом и в деле восстановления хозяйства страны, на дипломатическом поприще — везде и всегда он был на передовой линии огня.

А. Ракитину в узких рамках небольшой книги удалось в известной мере охватить все море событий, всю гигантскую деятельность В. А. Антонова-Овсеевко. Книга эта — одна из лучших в серии подобных историко-биографических очерков. Однако она слишком лаконична и порой далеко не полно отражает важные черты характера, крупные события в жизни революционера.

Е. Д. Стасова во вступительном слове к очерку отмечает, что В. А. Антонов-Овсеевко — один из «славной когорты соратников Ильича, чей моральный облик значил для партии не меньше, чем их революционная деятельность». Но как раз это качество, столь

важное для революционера, не получило достаточного освещения в книге.

Досадно, что автор не дает вполне ясной картины момента первого революционного прозрения своего героя и его первого приобщения к марксизму. Надобно доказать, каким образом Н. Г. Чернышевский оказался более по душе молодому русскому офицеру, чем П. А. Кропоткин с его «Записками революционера», на которых поколения революционеров учились ненависти к абсолютизму и авторитаризму. Кажется невероятным, чтобы Владимир Овсеевко не читал этих «Записок» и «Подпольной России» Кравчинского. Жаль, что в книге нет сведений и о других (нелитературных) влияниях на молодого Овсеевко. Как отпрыск семьи кадровых военных, воспитанник кадетского корпуса сделался пролетарским революционером? Кто показал ему дорогу в партию рабочего класса, ввел его в ее ряды, давал ему первые практические уроки революционной конспирации, первые пароли и явки? Ведь в ту пору даже передовому рабочему бывало трудно сразу решить, к какой революционной партии примкнуть. Кто помог Овсеевко миновать опасные лабиринты немарксистской идеологии? Хотелось, чтобы в книге об Антонове-Овсеевко больше говорилось бы о нем как о человеке, о стиле и обстановке его жизни, о его друзьях и соратниках.

Лишним нам кажется литературное название книги «Именем революции». Не лучше ли, проще и вернее было бы назвать книгу именем ее героя? Подобные штампы уже достаточно примелькались: «Пламенные сердца», «На линии огня», «Наперекор ветрам» — под такими названиями выходили книги о И. Ф. Федько, И. Э. Якире и о других героях революции и гражданской войны. Все герои, сражавшиеся за революцию, имели пламенные сердца, все они действовали на линии огня и именем революции не только наперекор ветрам, но и в попутном вихре революции, сметавшем со своего пути всех сопротивлявшихся ему. Но в каждом из них было много своего особенного, неповторимого и исключительного. Поэтому и без звонкого литературного названия книга о В. А. Антонове-Овсеевко, так же как вышедшие в том же издательстве книги «Серго Орджоникидзе», «Феликс Дзержинский», «Михаил Фрунзе», привлекла бы к себе внимание читателя.

В. Е. Баранченко

Солдат ленинской стойкости

Большевик-правдист. Воспоминания о К. С. Еремееве. Составители В. И. Иванов и С. И. Соколов. М., издательство «Правда», 1965, 239 стр., 15 000 экз.

«...Из рамки старого портрета на меня смотрит человек с умными пристальными глазами, с располагающим лицом, с прядью волос, спадающей на лоб около правой брови, с усами, неизменно для каждого питерского рабочего. В руке у него трубка, похожая на знак вопроса. Это дядя Костя — солдат ленинской стойкости, который до конца своих дней не выпускал из рук Красного Знамени революции», — так пишет в предисловии к сборнику воспоминаний о К. С. Еремееве журналист Юрий Яковлев.

Выход в свет этого сборника — дань памяти замечательному большевику, члену партии с 1896 года, профессиональному революционеру и талантливому журналисту Константину Степановичу Еремееву.

Авторы воспоминаний — люди различных возрастов и профессий. Среди них — выдающиеся деятели партии и Советского государства, актеры, художники, писатели, журналисты. Всем им приходилось встречаться и работать с К. С. Еремеевым.

О начале революционной деятельности Еремеева рассказывают А. Любарский и Ф. Кондратьев. Детство Константина Степановича прошло в Карелии. «Из родных мест он унес с собой в жизнь не долгий, устойчивый покой озер, а неутомимую энергию обрушивающейся воды, тревогу движения, азарт бойца». Рано окупился он в революционную работу: аресты, тюрьма, ссылка, побег за границу, жизнь в эмиграции и, наконец, встреча с В. И. Лениным.

Об этом событии мы узнаем из документального рассказа самого автора и из воспоминаний А. Любарского. Еремеев принес в редакцию «Искры» статью о подготовке вооруженного восстания. Его представили Ленину, который тут же забросал Еремеева вопросами о ссылке, о рабочих организациях в России. «Впечатление, произведенное на меня личностью тов. Ленина, — рассказывает Еремеев, — было такое, как будто я еще ребенок и кто-то большой и сильный подхватил меня высоко в воздух и бережно опустил на мягкую зеленую мураву. Это первое впечатление с такой силой осело во мне, что осталось на всю жизнь». Еремеев получил важное партийное поручение — принять участие в организации и редактировании легальной рабочей газеты «Звезда».

Е. Стасова, В. Карпинский, Н. Богданов, Б. Иванов, А. Никифорова и другие вспоминают об Еремееве как о ярком публицисте, прекрасном организаторе большевистской печати. Как создатель и руководитель отделов «Рабочее движение» в «Звезде», а затем в «Правде», он связан с пролетариатом и воспитал немало рабочих—корреспондентов, публицистов и поэтов. Так, по инициативе К. С. Еремеева было напечатано в «Звезде» первое стихотворение молодого поэта Ефима Придворова (Демьяна Бедного). Особенно внимательно относился он к рабочим корреспонденциям. «Статью без автора нельзя изменять, — говорил Еремеев, — она пойдет в номер в таком виде, как написана. Не в угоду цензорам работаем. А рабочие не дети — разберутся».

Сборник помогает воспроизвести деятельность большевика-правдиста в Октябрьские дни 1917 года и в первые годы Советской власти. В это решающее время Еремеев — член Военно-революционного комитета Петроградского Совета, один из руководителей штурма Зимнего дворца, а затем главнокомандующий Петроградским военным округом. Одно назначение сменяется другим. Он сражается с оружием в руках и редактирует газету «Рабочая и крестьянская Красная Армия и Флот»; возглавляет Воронежский укрепленный район и организует партийную школу на Украине; является членом реввоенсовета Балтийского флота, а затем — организатором и редактором «Рабочей газеты» и «Крокодила».

Н. Богданов рассказывает о деятельности Еремеева на посту заведующего издательством ВЦИК. По его инициативе была создана серия мемуаров, освещающих историю

рабочего движения в разных отраслях промышленности. Автор вспоминает, что, помогая в составлении международного раздела книги «Организация строительных рабочих России и других стран», Еремеев обнаружил глубокое знание европейского рабочего движения.

Художник Б. Ефимов пишет о том, как много времени, энергии отдавал Еремеев своему любимому детищу — сатирическому приложению к «Рабочей газете».

В трудный для молодой Советской республики 1921 год, когда в Поволжье свирепствовал голод, агитпароход «Красная звезда», комиссаром которого был К. С. Еремеев, совершил рейс по Волге. Воспоминания об этом Х. Херсонского и И. Полонского открывают нам еще одну малоизвестную страничку деятельности замечательного революционера-пропагандиста.

В целом же сборник воспоминаний помогает, по словам Е. Д. Стасовой, восстановить «дорогие черты жизни и деятельности одного из верных солдат революции».

Л. Гафт

Гуманизм Кропоткина

П. А. Кропоткин, *Записки революционера*. М., издательство «Мысль», 1966, 504 стр., 30 000 экз.

Издательство «Мысль» выпустило в свет книгу Петра Алексеевича Кропоткина «Записки революционера». Это восьмое полное издание, вышедшее в нашей стране. Предисловие В. А. Твардовской, являющееся, по существу, за последние сорок лет первой

попыткой марксистского анализа взглядов П. А. Кропоткина, принесет пользу читателям, поможет им критически оценить наследие выдающегося революционера.

«Записки революционера» — умная, прекрасно написанная книга, которая по жанру приближается лишь к одному произведению русской и мировой литературы — «Былому и думам» А. И. Герцена: та же широта охвата действительности, то же стремление изобразить не только пережитое и передуманное, но и создать летопись революционной борьбы, запечатлеть в живых образах историческую эпоху.

Перед читателем книги Кропоткина проходят сцены жизни и нравов дворянской Москвы середины прошлого века, увлекательные картины природы и быта Восточной Сибири — этой далекой тогда окраины империи, оживает история борьбы революционных народников семидесятых годов, предстают малоизвестные страницы истории европейского анархизма. И наконец, со страниц книги встает благородный и обаятельный образ самого автора — крупнейшего мыслителя, революционера, ученого, человека сложной судьбы и легендарной биографии.

Книга охватывает не всю жизнь П. А. Кропоткина. В основном он заканчивает свои воспоминания концом восьмидесятых годов. В предисловии же предпринята попытка анализа всего жизненного и творческого пути автора мемуаров. Выполняя эту сложную задачу, В. А. Твардовская, с нашей точки зрения, подошла к проблеме слишком дифференцированно, рассказав отдельно об анархистских взглядах Кропоткина, отдельно о его занятиях географией и биологией. Более того, В. А. Твардовская склонна видеть «раздвоение» в занятиях Кропоткина революцией и наукой. Она пишет, что, отказавшись посвятить себя всецело науке, он «не смог полностью отдаться и революционному движению», что погружение его в проблемы биологии в девяностые годы было связано с тем, что «участие в революционной борьбе уже не давало прежнего удовлетворения». Подобный подход к анализу взглядов Кропоткина нам кажется неверным.

Его мировоззрение следует рассматривать синтетически. К его социологии, к его анархизму не следует подходить вне системы его естественнонаучного мировоззрения.

Здесь все взаимосвязано и взаимообусловлено. Пойдя по иному пути, автор предисловия не смог всесторонне проследить эволюцию взглядов ученого, выявить общие как для

научной, так и для революционной деятельности определяющие моменты.

Одним из таких главных определяющих моментов был гуманизм Кропоткина. Все его научные занятия, вся его революционная деятельность определялись и сопровождалась размышлениями о пользе, которую принесет людям та или иная система идей, действий, научных открытий.

Революционность Кропоткина, его глубокое возмущение существующим строем, его стремление покончить со всеми формами гнета и эксплуатации обусловлены прежде всего его любовью к угнетенному и страдающему большинству человечества. Проникаясь, по его словам, «все больше и больше... любовью к рабочим массам, ...я решил, я дал себе слово отдать мою жизнь на дело освобождения трудящихся. Они борются. Мы им нужны, наши силы им необходимы — я буду с ними».

Гуманизм Кропоткина был органически связан с его восприятием мира, природы. С детских лет, по его словам, он «чувствовал гармонию вселенной». Именно благодаря этому, занявшись впоследствии естественными науками, он смог создать свой биосоциологический закон взаимной помощи, согласно которому все формы жизни (как биологические, так и социальные) зиждутся на взаимной помощи и поддержке. «Природа не делает ни одного движения, общество не выполняет ни одной цели, космос не подвинется ни на шаг вперед без зависимости от кооперации... Только в соединении друг с другом — будут ли то соединения атомов, клеточек, животных или человеческих существ — могут индивидуальные единицы совершить какой-либо прогресс».

Характерно, что само обращение Кропоткина к проблемам биологии произошло под влиянием необходимости подтверждения его социологических выводов.

В начале восьмидесятых годов в тюрьме Кларво он размышляет о том, что последователи Дарвина искажают его закон «борьбы за существование» и что нет такого насилия «белых народов над черными или сильных по отношению к слабым», которое не оправдывалось бы этими словами. Из этих мыслей (в восьмидесятых, а не девяностых годах, как считает автор предисловия) рождаются труды Кропоткина по биологии и социологии, обосновывающие новый «закон взаимопомощи и солидарности». Биология была использована Кропоткиным и для доказательства главного анархического тезиса — отрицания власти.

Ведь в природе нигде нет «управляющего центра». Всюду царят лишь взаимодействия, сотрудничество и зависимость одних явлений от других. Подобные процессы должны происходить и в человеческом обществе, где творческим трудом и взаимодействием масс создается и поддерживается культура и цивилизация.

Теми же данными науки (опираясь на теорию Дарвина и развивая ее) Кропоткин доказывал тезис о том, что вся жизнь, как биологическая, так и социальная, проникнута началом борьбы. Но плодотворной, считал он, борьба бывает тогда, когда разрушает старые, отжившие формы и утверждает новые, основанные на принципах солидарности, справедливости, свободы.

Ставить вопрос о социальном преобразовании общества можно лишь тогда, когда в рабочей среде достаточно развит «элемент взаимопомощи, взаимной поддержки и инициативы, чтобы приступить к осуществлению идеалов социализма».

«Во всех социальных вопросах главный фактор — хотят ли того-то люди? Если хотят, то насколько хотят они этого? Сколько их? Какие силы против них?»

Подобные вопросы, являющиеся, как видим, для Кропоткина главными, не ставил себе его предшественник М. А. Бакунин, иначе относился он и к проблеме создания будущего общества. Потому не права, кажется нам, В. А. Твардовская, полагающая, что Кропоткин лишь обобщал и систематизировал созданную до него теорию. Напротив, он внес много нового как в «положительную» программу анархизма, так и в ту часть этого учения, которая касалась разрушения существующего строя.

Для Кропоткина-гуманиста главный вопрос в революции состоял в том, чтобы «достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв, и по возможности, не увеличивая взаимной ненависти». Революция, считает Кропоткин, должна не только разрушать старые формы жизни, но прежде всего создавать новые на основе свободы и равенства.

Гуманизм Кропоткина, его ум, благородство и самоотверженность привлекут к нему внимание читателей его мемуаров. Ошибочность же теоретических воззрений идеолога анархизма, а также тщетность попыток его практической деятельности станет ясна читателям из предисловия к книге.

Н. Пирумова

Кризис „верхов“

П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., издательство Московского университета, 1964, 512 стр., 5000 экз.

В последние годы история революционного народничества стала весьма популярной среди исследователей — историков, литературоведов, писателей, а также среди читателей. Этот интерес вызван отчасти длительным запретом на тему, фактически существовавшим более двадцати лет. Историки восстанавливают незаслуженно забытые имена революционеров-народников, добывают из архивов новые факты их героической борьбы с царизмом.

П. А. Зайончковский написал книгу — пожалуй, единственную в своем роде, — которая рассматривает историю народничества в особом аспекте: через внутреннюю политику царизма. Работа важна также и потому, что о внутренней политике самодержавия у нас почти нет книг.

В конце 1870-х годов в России складывалась революционная ситуация. В развитии политического кризиса первостепенное значение имела деятельность революционеров-народников. Рабочее движение в те годы самостоятельного значения не имело и было слабым. Крестьянское движение, хотя и несколько усилилось в конце семидесятых годов (в 1878 году — 31 волнение, в 1879 году — 46 волнений), все же было неизмеримо слабее, чем перед отменой крепостного права. Однако крестьянский вопрос оставался в центре внимания, напряженное положение в деревне чрезвычайно беспокоило «верхи», ибо к концу семидесятых годов сложилась пар-

тия, выражавшая интересы крестьянства и делавшая попытки, хотя и безуспешные, вовлечь деревню в борьбу с царизмом. Можно сказать, что власти боялись не столько тех народных движений, которые происходили, сколько их потенциальных возможностей.

В книге П. А. Зайончковского на богатом материале показано, как смелые, революционные и в первую очередь террористические акты народников вызывают замешательство и страх в правительственных сферах. Д. А. Милютин — военный министр — записал в своем дневнике 7 апреля 1879 года: «Как будто самый воздух пронизан зловещими ожиданиями чего-то тревожного. Ходят самые неправдоподобные слухи и выдумки. Высшая полиция встревожена получаемыми секретными предостережениями. Одновременно в Москве и здесь (в Петербурге) были намеки на то, что злоумышленники, видя неудачу одиночных покушений, намереваются произвести новую попытку уже «скопом». Поэтому в прошлую ночь приняты были чрезвычайные меры по войскам Петербургского гарнизона. В разных местах города секретно расположены части войск: полки удержаны в казармах».

Милютина дополняет П. А. Валуев — председатель Особых совещаний, созданных «для изыскания мер к лучшей охране спокойствия и безопасности в империи» (запись в дневнике 3 июня): «Вокруг дворца, на каждом шагу, полицейские предосторожности; конвойные казаки идут рядом с приготовленным для государя, традиционным в такие дни, шарабаном, чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение, но обыватели как будто не замечают этого. Хозяева смутно чувствуют недоброе, но скрывают внутреннюю тревогу».

В обстановке назревания революционной ситуации самодержавие оказывается неспособным управлять страной по-старому, государственные учреждения оказываются недостаточными для борьбы с революционным движением. Правительство переходит к исключительным законам, что выразилось в расширении функций военных судов, в ряде других административно-полицейских мер, а также в учреждении института временных генерал-губернаторов с чрезвычайно широкими полномочиями, которые, даже по словам наследника престола великого князя Александра Александровича (будущий Александр III), «творят бог весть что».

О «плодотворной» деятельности генерал-губернаторов (апрель 1879 — июль 1880)

свидетельствуют 575 человек, высланных за это время (из них 130 — в Сибирь). Апогеем административно-полицейского произвола был конец 1879 года, когда за восемь месяцев (с апреля по декабрь) военно-окружными судами было приговорено к смертной казни и казнено 16 человек.

Кризис самодержавия находил выражение не только в усилении репрессий (которые к тому же не давали положительных результатов — террор революционеров усиливался), но и в понимании многими представителями правительства необходимости каких-то реформ для расширения социальной базы власти и предотвращения революционной опасности. Однако понадобился взрыв в собственном доме императора, в Зимнем дворце, чтобы правительство сделало какие-то реальные шаги в этом направлении.

Взрыв 5 февраля 1880 года в Зимнем дворце, организованный С. Н. Халтуриним, вызвал полное смятение в правительстве. Он показал прежде всего неспособность Третьего отделения организовать охрану царской фамилии. По данным на август 1880 года, личный состав Третьего отделения состоял из 72 человек вместе с сверхштатными и вольнонаемными (включая сюда и агента Исполнительного комитета «Народной воли» Н. В. Клеточникова, числившегося сверхштатным чиновником). Помимо этого, Третье отделение располагало определенным числом секретных агентов как внутри империи, так и за границей, — данные об их численности не сохранились.

Нужны были новые меры для борьбы с революционным движением. Так зарождается мысль о создании Верховной распорядительной комиссии как исполнительным органе при диктаторе. Главным начальником комиссии был назначен граф Лорис-Меликов, боевой генерал, умный, энергичный и честолюбивый, завоевавший популярность среди либеральной части общества на посту временного харьковского генерал-губернатора. Пожалуй, наиболее точную и меткую характеристику диктатору дал Н. К. Михайловский в «Листке Народной воли»: «...граф в генерал-адъютантском мундире, но с волчьим ртом спереди и лисьим хвостом сзади».

Верховная распорядительная комиссия, точнее Лорис-Меликов, прежде всего принимает меры, относящиеся к непосредственной борьбе с революционным движением: координация действий жандармских, полицейских и судебных органов, организация более быстрого рассмотрения дел по государственному пре-

ступлениям, пересмотр вопросов об административной ссылке и полицейском надзоре — (Лорис-Меликов был решительным противником репрессий по отношению к лицам, чья вина недостаточно выяснена), прекращение необоснованных арестов и обысков — все эти действия были направлены к созданию более эффективной системы репрессий. В годы диктаторства Лорис-Меликова продолжались смертные казни: казнены Млодецкий, покусавшийся на Лорис-Меликова, студент Киевского университета И. И. Розовский, унтер-офицер М. П. Лозинский, члены Исполнительного комитета «Народной воли» А. А. Квятковский и А. К. Пресняков. Однако в целом вопреки мнению, утвердившемуся в литературе, полицейский террор был ослаблен, изменилась правительственная политика в отношении к земству, печати, университетскому вопросу. Об этом говорят не только официальные документы, но и свидетельства таких современников Лорис-Меликова, враждебных к нему, как М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Н. Фигнер.

Ослабление системы полицейского террора объяснялось не только заигрываниями Лорис-Меликова с либералами, что, безусловно, имело место, а прежде всего героической борьбой революционеров-народников, под нажимом которой правительство было вынуждено идти на определенные уступки.

В связи с этим встает вопрос, как использовали сами революционеры эти уступки, вырванные ценой огромных жертв и усилий. «Революционеры, — писал В. И. Ленин, — никогда не откажутся, конечно, от борьбы за реформы, от захвата хотя бы неважной и частной вражеской позиции, если эта позиция усилит их натиск и облегчит полную победу» (Полн. собр. соч., т. 5, стр. 65). В условиях лорис-меликовского режима появились несколько большие возможности для ведения массовой революционной работы, деятельность народолюбцев по вовлечению в революционную борьбу народных масс могла бы идти более успешно. Однако террористы в этих условиях не внесли никаких изменений в свою тактику, и это при отсутствии массовой революционной борьбы было ошибкой.

28 января 1881 года Лорис-Меликов, уже будучи министром внутренних дел, представил Александру II всеподданнейший доклад, в котором излагал план намеченных им реформ. Главную задачу Лорис-Меликов видел не столько в административно-полицейских

мерах репрессивного характера, сколько в проведении мероприятий, которые смогут ликвидировать почву для распространения революционных идей. В проекте предлагалась определенная программа не только административных, но и экономических преобразований, высказывалось намерение привлечь представителей общественности — от земств и городов — к участию в подготовке реформ. Проект обсуждался в Особом совещании и в основном был одобрен. 17 февраля 1881 года Александр II утвердил журнал Особого совещания. В конце февраля на основе его был подготовлен проект правительственного сообщения. Утром 1 марта Александр II вызвал в Зимний дворец Валуева, передал ему проект правительственного сообщения и назначил на 4 марта заседание совета министров.

Бомба, брошенная Гриневицким через несколько часов, изменила ход событий.

Покушение 1 марта вызвало настоящую панику в правительственных кругах, и, будь оно поддержано массовым выступлением или активными действиями «Народной воли», правительство вынуждено было бы пойти на уступки. Однако, как известно, революционеры исчерпали себя 1 марта. Других сил, способных противостоять самодержавию, не было. В. И. Ленин писал: «...Осуществление лорис-меликовского проекта могло бы при известных условиях быть шагом к конституции, но могло бы и не быть таковым: все зависело от того, что пересилит — давление ли революционной партии и либерального общества или противодействие очень могущественной, сплоченной и неразборчивой в средствах партии непреклонных сторонников самодержавия» (Полн. собр. соч., т. 5, стр. 43). После 1 марта в течение двух месяцев шла борьба либеральной и реакционной группировок в правительстве, закончившаяся манифестом Александра III от 29 апреля 1881 г. об укреплении самодержавия.

В книге П. А. Зайончковского много извлечений из правительственных архивов, материалов о совещаниях, проектах, комиссиях, о встречах царя, его родственников и министров, обсуждающих в сущности одну тему: что спасет династию — репрессии или уступки. Из рецензируемой книги читатель может получить широкое представление о механизме деспотического государственного аппарата и о том, что делалось в «верхах», когда снизу поднималась революционная волна.

Э. Павлова

Повесть о Германе Лопатине

И. Смольников, Герман Лопатин. Л., издательство «Детская литература», 1965, 183 стр. 80 000 экз.

Славное имя первого переводчика «Капитала» Маркса, русского революционного народника Германа Александровича Лопатина в тридцатые-сороковые годы почти не упоминалось в нашей печати. Совсем по-другому обстоит дело теперь. Серьезная и глубокая разработка биографии Лопатина в исторической литературе (укажем прежде всего на работы Н. И. Саморукова, Ю. М. Раппопорта и В. Ф. Антонова) дала ленинградскому писателю Игорю Смольникову возможность, наконец, попытаться в беллетристической форме рассказать юному читателю о мужественном пути этого революционера.

Скажем прямо, что, по нашему мнению, попытка эта в основном удалась. Широко используя последние исследования (особенно книгу В. Ф. Антонова «Русский друг Маркса»), И. Смольников воссоздает исторически достоверный портрет славного семидесятника. Читатель вместе с Лопатиным побывает в Лондоне у К. Маркса, узнает о тех беседах, которые вел основоположник научного социализма со своим юным русским другом. Хорошо запомнится ему описание приключений Лопатина в Сибири, куда он отправился для организации побега Н. Г. Чернышевского (достаточно сказать, что после одного из побегов из-под стражи Лопатин один в утлой лодочке проплыл 2 тысячи километров по Ангаре и Енисею и добрался до Томска!).

Рассказывает автор (хотя и значительно более бегло и схематично) об отчаянной попытке Лопатина в 1884 году восстановить

в России организованное революционное подполье, перенесшее тяжелые удары царизма после убийства царя Александра II.

И все-таки книга удалась далеко не во всем. Ее герой достоверен и правдив там, где автор сумел правильно связать его с эпохой и правдиво показать революционную среду и ее устремления. Там, где ему это не удалось, образ Лопатина сразу тускнеет, его поступки становятся маломотивированными и неубедительными. Поясним это весьма характерным примером.

Известно, что Лопатин много лет отказывался войти в революционные организации народников. Он оказался глух к «теоретическим прощупываниям» ишутинца И. Худякова, не присоединился он к землевольцам, долго отклонял предложения народовольцев. И. Ф. Смольников объясняет это, в сущности, анархистским складом характера Лопатина («ему всегда казалось: он принесет больше пользы революционному движению, если станет подчиняться только своим собственным приказам. Он охотно выполнял просьбы товарищей по борьбе, но не любил, когда ему приказывали сделать что-то, и почему-то был уверен, что поступает правильно»).

Но такое объяснение малоубедительно и поверхностно. Становится непонятным, что же изменилось в начале восьмидесятых годов, когда Лопатин вошел в народовольческую организацию и добровольно подчинился партийной дисциплине. Понять эту особенность революционного характера Лопатина можно, только учитывая его сложное идейное развитие, протекавшее под непосредственным влиянием Маркса.

Г. Лопатин в силу условий общественного развития России того времени так и не стал марксистом. Но в своих идейных исканиях он шел своеобразным путем, во многом отличавшем его от других народников. Он глубоко интересовался произведениями Маркса, и не случайно ему принадлежит историческая заслуга почина перевода «Капитала» на русский язык (первого перевода на иностранный язык!), глубже многих других народников он понимал и ряд проблем развития России. Так, документы свидетельствуют, что Лопатин скептически оценивал в тех условиях возможности крестьянской общины в России, выдвигая на первый план политические требования. Поэтому его вступление в «Народную волю» в 1884 году и было специально обусловлено правом сохранения идейной са-

мостоятельности, тем, что его убеждения не будут подчинены дисциплине.

Неудачно освещается И. Смольниковым возникновение у Лопатина замысла освобождения Чернышевского. По воле автора, мысль об освобождении Чернышевского возникает у Лопатина в беседе с Элеонорой Маркс. В действительности же, как писал позднее Лопатин в письме к генерал-губернатору Восточной Сибири Синельникову, «жгучее желание попытаться возратить миру» Чернышевского окрепло у него под влиянием разговоров с самим Марксом.

И уж самым неправильным является утверждение автора, что мысль об освобождении Чернышевского до Лопатина не возникла среди русских революционеров. Не только возникла — можно сказать, что она как эстафета последовательно передавалась от одной русской революционной организации к другой. Известно, что еще члены революционной организации Ишутина — Худякова собирали деньги для осуществления такого предприятия и намечали поездку членов своей организации в Сибирь (этому помешал полицейский погром). Для установления связи с Чернышевским и подготовки его освобождения в 1871 году была предпринята в Сибирь поездка П. А. Ровинского, которая также закончилась неудачно вследствие бдительности властей.

Поэтому отрывать замысел Лопатина от общих устремлений русских революционеров неправильно — это только обедняет характер предприятия Лопатина, целиком соответствовавшего потребностям движения в тот момент. Явно модернизирует и упрощает автор также отношение Лопатина к Октябрьской революции.

В заключение отметим еще раз, что в целом книга автору удалась. Книга читается легко, в ней содержится много интересных фактов. Наши издательства еще недостаточно обращаются к жизни и деятельности замечательных русских революционеров — «корифеев революционного движения в России», — которых так высоко ценил В. И. Ленин. Книга Игоря Смольникова в какой-то мере на примере борьбы Г. Лопатина восполняет этот пробел и делает для юного читателя близким и понятным образ героического революционера переходного периода, когда русская революционная мысль напряженно искала правильную революционную теорию.

Советские истории о „Народной воле“

С. С. Волк. «Народная воля». 1879—1882. М. — Л., «Наука», 1966, 492 стр., 2700 экз.
М. Г. Седов. Героический период революционного народничества (Из истории политической борьбы). М., «Мысль», 1966, 364 стр., 11 000 экз.

«Народная воля»... Каким героическим романтизмом веяло от этих слов в 80—90-х годах прошлого века. О молодых социал-демократах середины 90-х годов В. И. Ленин писал: «Многие из них начинали революционно мыслить как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора»¹. Самоотверженная борьба кучки героев — юношей и девушек, вступивших в единоборство с таким колоссом, как русское самодержавие, вызвала «удивление всего мира»² и не могла не вызвать восторженное преклонение перед ними со стороны передовой молодежи России не только в период расцвета деятельности «Народной воли», но и значительно позже.

Процесс революционного движения — это единый процесс, во время которого в разные эпохи на историческую сцену выступают в качестве ведущей силы разные классы. В России это были последовательно — либеральное дворянство, разночинцы, пролетариат. При этом каждое новое поколение революционеров, приходящее на смену старому, воспринимало из теоретического и тактического наследия, доставшегося ему от предыдущего поколения, все то, что отвечало задачам, стоящим перед революционным движением на данном историческом этапе, но воспринимало это, во-первых, сквозь призму интересов того класса, выразителем которого

оно являлось, а, во-вторых, отбрасывая все, что мешало в конечном счете продвижению вперед революционного процесса в целом.

Именно в этом плане В. И. Ленин и дает общеизвестную периодизацию освободительного движения в России³. В этом же плане он говорит и о том, что «нигде в мире пролетарское движение не рождалось и не могло родиться «сразу», в чистом классовом виде, явиться на свет готовым, как Минерва из головы Юпитера»⁴. Оно прошло длительный путь выделения из общедемократического движения. В упорной и долгой борьбе удалось это «выделение и упрочение пролетарского классового движения из всяческих мелкобуржуазных примесей, ограничений, узостей, извращений»⁵. Вместе с тем оно впитало в себя все лучшее, что дало развитие революционной мысли и революционного движения на предыдущем, разночинском, этапе освободительной борьбы. Поэтому-то без знания истории революционного народничества нельзя глубоко понять и историю пролетарского движения в России, уходящего своими корнями в предыдущий период.

Между тем на протяжении ряда лет эта тематика находилась вне круга исследования советских историков. Лишь за последние годы к ней снова стал проявляться научный интерес. Об этом свидетельствует появление значительного количества научных работ о революционном народничестве и, в частности, о «Народной воле» (статьи В. В. Широковой, В. А. Твардовской, С. Л. Эвенчик и др.) и книг научно-популярного характера (Э. А. Павлюченко, А. Черняка, А. В. Клеянкина и др.), посвященных жизни и деятельности выдающихся революционных деятелей той эпохи. Наконец появились и первые монографические работы о «Народной воле» — книги С. С. Волка и М. Г. Седова.

Хотя обе эти работы касаются примерно одного и того же периода и в них затрагиваются часто одни и те же сюжеты, они в общем не повторяют друг друга, а скорее дополняют одна другую, так как акценты в них расставлены по-разному. С. С. Волк

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 6, стр. 180.

² Там же, т. 30, стр. 315.

³ Там же, т. 25, стр. 101.

⁴ Там же, стр. 100.

⁵ Там же, стр. 100—101.

ставит перед собой задачу всесторонне осветить историю «Народной воли» периода 1879—1882 годов. Он показывает многогранность ее деятельности не только среди различных слоев населения — рабочих и крестьян, в студенческой и офицерской среде, чего касается в своей книге и М. Г. Седов, но подробно останавливается и на связях «Народной воли» с К. Марксом и Ф. Энгельсом, а также с деятелями польского революционного социалистического движения — партией «Пролетариат», рассматривает вопрос о взаимоотношениях между «Народной волей» и «Черным переделом», то есть уделяет большое внимание тем вопросам, которые совсем не затронуты в книге М. Г. Седова. Последняя задумана совсем по-другому. Не широта охвата темы, а углубленный анализ лишь одного из аспектов истории «Народной воли» — проблемы политической борьбы — вот цель, которую ставит перед собой автор. Всех других аспектов истории этой организации он касается лишь попутно.

Он показывает, что процесс зарождения и развития проблемы политической борьбы в русском революционном движении конца 70-х — середины 80-х годов шел, с одной стороны, по линии углубления отдельных сторон революционной теории, а с другой — сама практическая деятельность революционеров того периода с неизбежностью выдвигала перед ними необходимость перехода к политической борьбе.

Цель, которую ставил перед собой М. Г. Седов, потребовала более широких хронологических рамок, чем взятые в книге С. С. Волка. М. Г. Седов должен был значительно подробнее и с более раннего периода начать рассмотрение предыстории «Народной воли» — с момента зарождения проблемы политической борьбы. Процесс этот, как убедительно показывает М. Г. Седов, нашел отражение как в подпольной, так и в легальной демократической печати.

Задача, которую пытается решить в своей книге М. Г. Седов, заставила его включить в свою работу и историю «Молодой Народной воли» и лопатинский период деятельности «Народной воли», доводя свое исследование до того момента, когда «Народная воля» (после смертельного удара, нанесенного ей в 1884 году, и нескольких не увенчавшихся успехом попыток ее восстановления) окончательно сходит с исторической арены.

В книге М. Г. Седова дана не только история организации, но и ярко нарисованы портреты ее деятелей. Софья Перовская, Андрей Желя-

бов, Александр Михайлов, Герман Лопатин и другие выдающиеся деятели «Народной воли» как живые предстают перед мысленным взором читателя. «И что за красочные, сильные индивидуальности!» — хочется сказать о них словами О. А. Аптекмана — одного из организаторов «Земли и воли», а затем и ее первого историка. На страницах книги М. Г. Седова мы находим общую характеристику, данную О. А. Аптекманом организаторам «Народной воли»: «смелые, стойкие, сильные волей, самоотверженные. Железо и кремь, бесстрашие и беспощадность в борьбе. Все захвачены одним порывом, одним настроением, одной целью»¹ — борьбой с ненавистным им самодержавием во имя свободы и счастья народа. Недаром в письме, относящемся к 1920-м годам, рабочего П. Заломова, написанном в связи со смертью одного из старейших народовольцев, М. Ю. Ашенбреннера, говорилось: «Мы, рабочие, всегда любили народовольцев, всегда восхищались их доблестью; их пример закалил наш дух»².

Оба автора единодушно отмечают, что главной заслугой «Народной воли» надо считать выдвигание ею лозунга политической борьбы. Как известно, народовольцы не связывали политическую борьбу с массовым рабочим движением, а сводили ее лишь к заговору и террору — тактическим средствам, которые не привели и не могли привести к победе революции. Поэтому перед исследователями неизбежно встает вопрос: являлся ли выбор этих тактических средств ошибкой Исполнительного комитета «Народной воли» или же в тех конкретных условиях, в каких она действовала, выбор таких средств борьбы был неизбежен? На этот вопрос в нашей исторической литературе даются разные ответы.

С. С. Волк считает неправильным точку зрения тех историков (Э. Б. Генкиной, В. А. Твардовской), которые утверждают, что тактика эта с неизбежностью вытекала из конкретных условий русской действительности того периода. Он склонен считать эту тактику «Народной воли» результатом заблуж-

¹ «Памятники агитационной литературы», т. 1. «Черный передел», орган социалистов-федералистов. 1880—1881. М.—Пг., 1923, стр. 7.

² «Память члена военной организации партии «Народной воли» Михаила Юльевича Ашенбреннера». М., 1926, стр. 29.

дения ее Исполнительного комитета. «Неоправданное увлечение ИК террором, приведшее к гибели лучших его сил, было, несомненно, роковой ошибкой», — утверждает С. С. Волк (стр. 279). Но ведь, говоря так, он совершенно отвлекается от той исторической обстановки, в которой пришлось действовать «Народной воле», и вместо того, чтобы дать научно-объективный анализ причин, приведших ее к применению таких средств борьбы, подходит, по существу, к оценке этого явления с критерием, имеющим скорее моральный характер: хорошо или плохо поступила «Народная воля», выбрав такие тактические средства?

Известно, что в работах В. И. Ленина с исчерпывающей полнотой и глубиной вскрыта несостоятельность политического заговора и индивидуального террора как тактических средств борьбы в эпоху массового социал-демократического рабочего движения. Применительно именно к этой эпохе он говорил о том, что непригодность террора «ясно доказана опытом русского революционного движения»¹, что своей задачей революционная социалистическая партия должна считать «не устройство заговоров, а организацию классовой борьбы и руководство этой борьбой»². Но когда В. И. Ленин касался вопросов тактики применительно к эпохе «Народной воли», он не ограничивался лишь осуждением террора и заговора; он не только отмечал, что «террористические покушения являются нецелесообразными средствами политической борьбы»³, но и подчеркивал, что эта тактика «Народной воли» была исторически обусловлена слабостью массового революционного движения. «Террор был результатом — а также симптомом и спутником — неверия в восстание, отсутствия условий для восстания»⁴, — говорил В. И. Ленин.

Поэтому нельзя согласиться с точкой зрения, что в условиях конца 70-х — начала 80-х годов, когда «в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации»⁵, «Народная воля» могла выбрать другие тактические средства. На наш взгляд, в этом вопросе прав не С. С. Волк, а те, против которых он выступает. Не субъективными желаниями деятелей той эпохи, а объективными условиями — состоянием массового революционного движения — обуславливался выбор народолюбцами таких средств борьбы, как террор и политический заговор.

Такой же в общем точки зрения держится и М. Г. Седов. Касаясь вопроса о терроре

как тактическом средстве народолюбческого движения, он справедливо подчеркивает, что избежать его народолюбцы не могли, так как он логически вытекал из конкретной исторической обстановки в России того времени (стр. 361). Но вместе с тем автор как бы упрекает народолюбцев в том, что они «переоценили значение террора», и заявляет, что они «были обязаны» «определить реальную силу воздействий этого метода» (стр. 361). Отсюда М. Г. Седов делает вывод, что если бы народолюбцы вместо того, чтобы кинуть почти все свои наличные силы на выполнение террористических актов, обратили главное внимание на создание народной партии, «о чем так прекрасно говорил Желябов на Воронежском съезде», то «народолюбческое движение могло бы прийти к иным результатам» (стр. 362), подразумевая под этим, по видимому, победу революции. Вряд ли можно согласиться с этим выводом М. Г. Седова. Не говоря уже о том, что это противоречит им же самим выдвинутому тезису — тактику террора порождали объективные, а не субъективные причины, — главное заключается в том, что в тех конкретно-исторических условиях, в которых действовала «Народная воля», она вообще не могла достигнуть победы. Именно об этом говорит В. И. Ленин, когда, отмечая, что народники, в том числе и народолюбцы, не достигли своей непосредственной цели — «пробуждения народной революции», он одновременно подчеркивает, что они «и не могли» ее достигнуть⁶. Об этом же говорит и сам М. Г. Седов, правильно замечая, что в России еще не было в тот период класса, способного повести за собой массы на борьбу с царизмом, и что «в этом смысле народолюбчество представляло собой явление исторически обреченное, впрочем, как и все течения той поры» (стр. 361).

Вообще, на наш взгляд, неправомерно предъявлять претензии к «Народной воле», что она применила неверную тактику, не поняла, скажем, подлинной роли рабочего

1 В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 6, стр. 380.

2 Там же, т. 4, стр. 183.

3 Там же, т. 49, стр. 312.

4 Там же, т. 12, стр. 183. Подчеркнуто мною. — В. З.

5 Там же, т. 5, стр. 44.

6 Там же, т. 30, стр. 315.

класса и т. д. и т. п., так как исследователь исходит при этом не из учета конкретной исторической обстановки, в которой действовала эта организация, а из ретроспективного взгляда на народническое движение.

Не свободна от такого недостатка и книга С. С. Волка. Так, касаясь вопроса о народо-вольческой пропаганде среди рабочих, он подчеркивает, что «Народная воля» не признавала решающего вывода марксизма о революционном предназначении пролетариата как строителя коммунизма и что она не выдвигала перед пролетариатом его классовых задач (стр. 310—311). Но могла ли «Народная воля», являющаяся партией крестьянской демократии (а это, конечно, признают и С. С. Волк и М. Г. Седов), так решать рабочий вопрос? Для этого она должна была бы пересмотреть самые основы своей идеологии, то есть перестать быть народнической партией.

Требую, по существу, от «Народной воли» того, что она в силу исторической и классовой ограниченности не могла сделать, С. С. Волк вместе с тем неоправданно сближает взгляды народо-вольцев со взглядами социал-демократов по вопросу о роли рабочего класса в революции. Он считает, что к весне 1880 года «рабочие приобрели в глазах народо-вольцев значение важнейшей ударной силы революции» (стр. 279). Не совсем понятно, что подразумевает С. С. Волк под термином «ударная сила». Если роль гегемона революции, то в противоречии с этим находится его совершенно справедливое утверждение на странице 311-й, что народо-вольцы не отводили эту роль рабочим. Если же под этим подразумевается «роль военного авангарда революции» (стр. 311), то и в этом случае автор не прав. Как явствует из программных документов «Народной воли», в политическом перевороте главная роль отводилась самой партии¹, то есть интеллигенции; что же касается социалистической революции, то, как говорится в одном из народо-вольческих документов — «Программе рабочих, членов партии «Народная воля», — само создание которого, по мнению С. С. Волка, было вызвано необходимостью изложения народо-вольческих взглядов на рабочее дело (стр. 279), «главная народная, сила» заключается в крестьянстве, а не в рабочем классе².

Правильнее решается этот вопрос в книге М. Г. Седова, отмечающего, что, хотя воззрения народо-вольцев, судя по программным

документам, эволюционировали в сторону все увеличивающегося значения, которое они придавали роли рабочего класса в революции, все же роль эта в общем сводилась ими не более чем к роли помощников интеллигенции.

Есть и некоторые другие противоречия при решении авторами обеих книг той или иной проблемы. Но в целом надо признать, что С. С. Волк и М. Г. Седов внесли большой вклад в дело научной разработки истории «Народной воли». В их книгах очень убедительно показана та большая роль, которую сыграла «Народная воля» в истории освободительной борьбы в России. В этом основное достоинство разбираемых нами книг.

«Народная воля», как справедливо отмечает М. Г. Седов, поставив в повестку дня революционного подполья политическую борьбу в качестве первоочередной задачи, указала тем самым то главное, чем должны были заняться в то время революционеры в России, и что осталось в силе и для социал-демократов.

Подняв на небывалую высоту авторитет и славу русского революционера, «Народная воля» стала «источником неугасаемого интереса со стороны тех, кто изучает прошлое, кто интересуется им» (М. Г. Седов, указ. соч., стр. 362).

Не только деятельность народо-вольцев, их самоотверженная борьба с царизмом, но даже сама их гибель, как говорил В. И. Ленин, «будила новых борцов, поднимала на борьбу все более и более широкие массы»³.

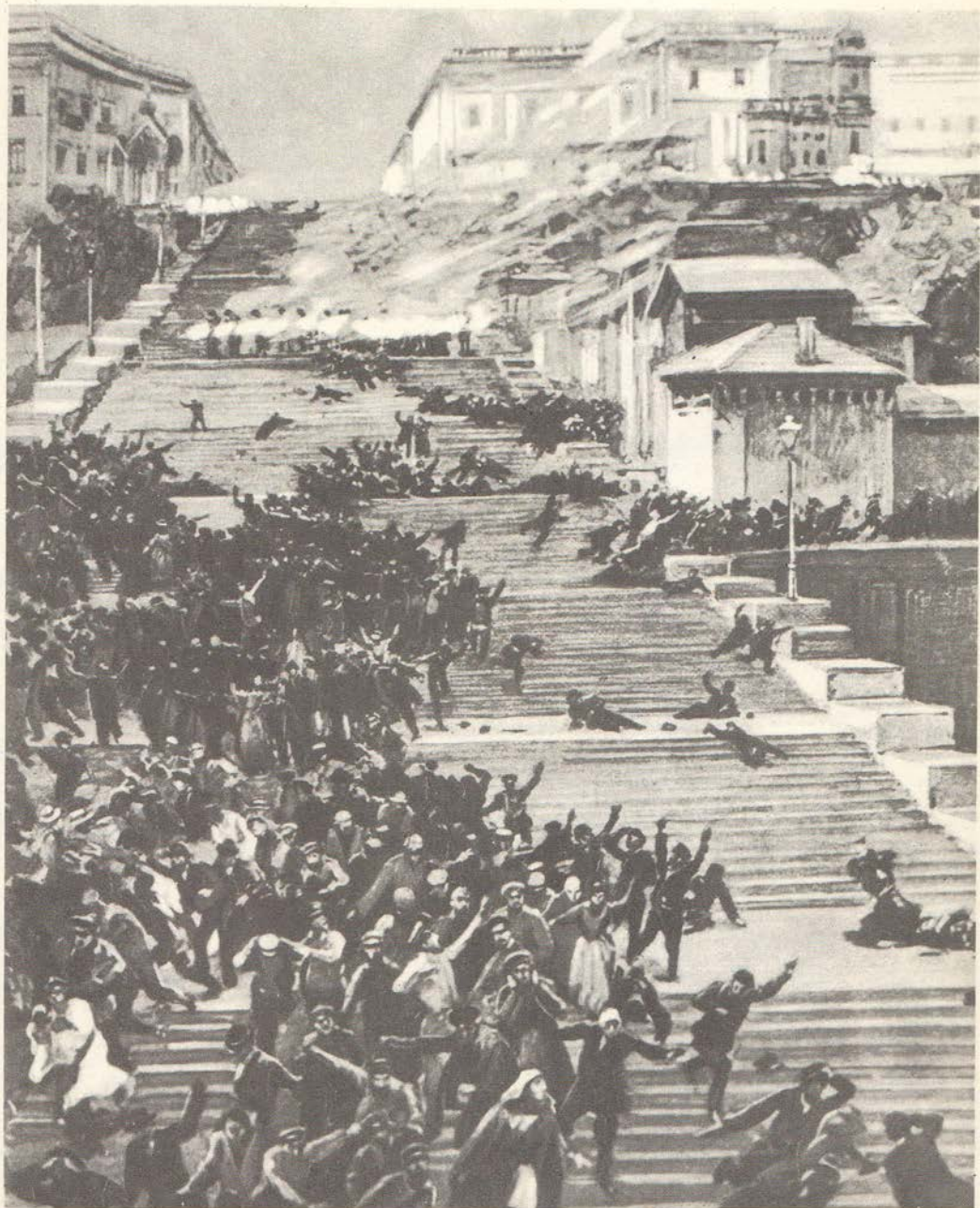
В. Захарина

¹ См. «Литература партии «Народной воли». Париж, 1905, стр. 869.

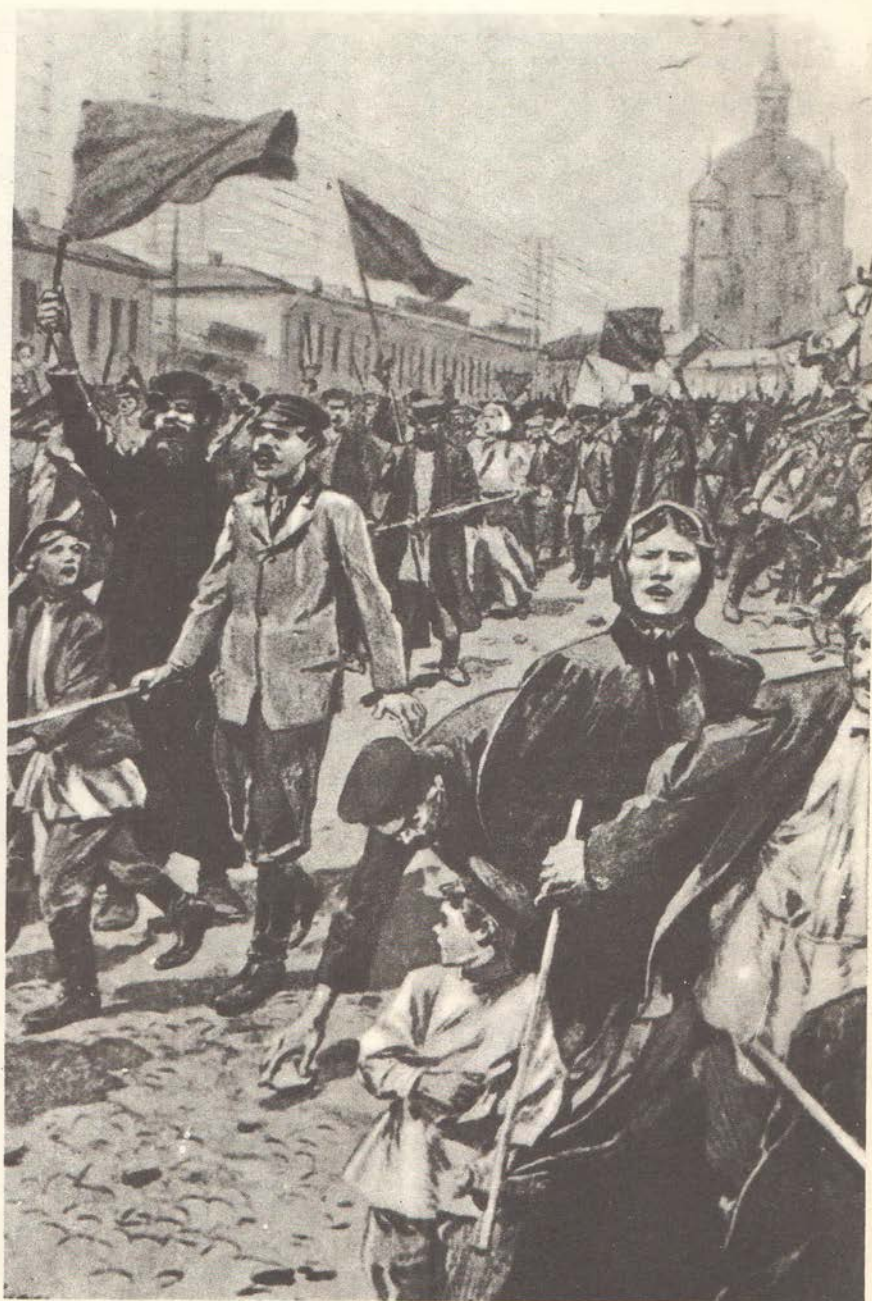
² Там же, стр. 884.

³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 37, стр. 171.











И. И. Смирнов
Марковская республика

31 октября 1905 года в селе Маркове Волоколамского уезда (ныне Лотошинский район Московской области) был принят интересный документ — «Приговор крестьян села Марково Московской губернии». В «Приговоре» речь шла о безмерных страданиях народа, нищете, голоде, гибели лучших борцов за свободу и землю от пуль солдат, петли палача, казацких нагаек, в тюрьмах и на карте. Упоминалось о жертвах жестоких расправ царских властей с питерскими рабочими 9 января, с рабочими и студентами в Москве, Киеве, Минске, с крестьянами в Поволжье и Прибалтике.

Далее говорилось о том, что, вполне разделяя чувства, одушевляющие всех передовых борцов за свободу русского народа, крестьяне присоединяются к освободительному движению и заявляют свои требования:

«1. Выборных депутатов в Государственную думу должен выбирать весь народ — бедные и богатые, имеющие от роду не менее 20 лет. Выборы должны производиться закрытой баллотировкой, чтобы каждый выбрал безобозначенно и по совести.

2. От каждого уезда должно посылать в Думу не менее одного депутата.

3. Выборы должны производиться по отдельным волостям под наблюдением доверенных от населения лиц: ни земский начальник, ни помещик, ни волостной старшина и писарь не имеют права вмешиваться в выборы.

4. Народным депутатам в Государственную думу должно принадлежать право обсуждать и утверждать законы, назначать налоги и распределять государственные расходы: министры и другие чиновники обязаны отдавать им отчет в своих действиях. Кроме народных выборных, никакая власть не может ни издавать, ни отменять законы.

5. Разделение населения на сословия должно быть уничтожено: нужно установить одно только сословие — русское гражданство — и уравнять всех в правах.

6. В состав волости должны входить все живущие в ее пределах: волости должно быть предоставлено право облагать сбором для своих надобностей всех жителей сообразно их доходам. Население волости должно пользоваться полной свободой как по выборам должностных лиц, так и ведению всех своих общественных дел. Должность земского начальника следует отменить.

7. Уездные и губернские управления должны находиться в руках земства, избранного по тем же правилам, как и народные представители в Государственную думу.

8. Косвенные налоги по возможности должны быть заменены прямым прогрессивным налогом, то есть чтобы чем богаче человек, тем он больше бы и платил налога; выкупные платежи должны быть отменены теперь же.

9. Увеличить площадь землепользования населения, обрабатывающего землю личным трудом, как-то: безземельных и малоземельных крестьян и других мелких хозяев земледельцев, государственными, удельными, кабинетскими и монастырскими землями, а также путем отчуждения потребного количества частновладельческих земель, а условия, на которых должны перейти отчужденные земли

в пользу трудящихся масс, устанавливает Государственная дума.

10. Все дети школьного возраста обою пола должны получать образование на государственный счет.

11. Необходимо, чтобы все русские граждане могли беспрепятственно, без всякого разрешения начальства, устраивать собрания, соединяться в общества, союзы, свободно говорить, писать, печатать о своих нуждах и о том, как их устранить; необходимо отменить паспорта, затрудняющие менять местожительство. Необходимо, чтобы никого не арестовывали без постановления суда, полиция же не смеет самовольно арестовывать и врывать в дома для обысков.

12. Должны быть немедленно освобождены и восстановлены во всех своих правах все без исключения ранее пострадавшие за все вышеуказанные требования и за землю — бесспорно.

Во исполнение полученных силою манифеста 17 октября незыблемых основ гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы слова, собраний и союзов мы отныне же отказываемся от распоряжений многочисленных крестьянских властей, склоняющихся к произвольным ограничениям упомянутых свобод.

Кроме того, признавая по чистой совести полную несправедливость выкупных платежей, а также непосильную уплату их, мы отказываемся от дальнейшего погашения таковых, впредь до определенного решения сего вопроса избранной на вышеизложенных основаниях Государственной думы, а также от поставок рекрутов в царскую армию¹.

«Приговор» был подписан 60 уполномоченными из числа грамотных крестьян и скреплен печатью старостой П. А. Буршиным. Спустя три дня, 3 ноября, старшина И. И. Рыжов созвал волостной сход. Собралось более 60 человек от 655 хозяйств — по одному представителю от десяти дворов. Сход

¹ См. И. Н. Павлов, Марковская республика. Из истории крестьянского движения 1905 года в Московской губернии. Под ред. Н. П. Милутиной. С приложением статей И. П. Николаева и А. А. Зубрилина. М. — Л., «Московский рабочий», 1926, 61 стр., с илл. Эта книжка, давно ставшая библиографической редкостью, написана марковским учеником Иваном Николаевичем Павловым, здравствующим и ныне. В приложении напечатаны статьи участников событий 1905 года в селе Марково.

происходил в волостном правлении. Читали «Приговор» более обстоятельно, поправляли и внесли важные дополнения о свержении самодержавия и созыве учредительного собрания. Присутствующие подписали его, а старшина тоже скрепил его своей подписью и приложил медную закопченную печать.

Представители Маркова предложили: считать волость Марковской республикой, президентом выбрать старосту П. А. Буршина и создать собственное правительство. Предложение было тут же принято. В состав правительства вошли агроном А. А. Зубрилин, волостной старшина И. И. Рыжов, московский юрист А. Ф. Стааль, член Петербургского Совета рабочих депутатов Г. З. Соколов, учитель Горской школы В. Н. Никольский, крестьянин из деревни Андреевской писатель С. Т. Семенов.

Волостной сход решил считать членов правительства республики министрами, обязал их выходить на собрания с широкой лентой через плечо, а старшине как главному среди министров надевать на шею большую медаль на цепочке.

Руководители Марковской республики были членами Всероссийского крестьянского союза — революционно-демократической организации, возникшей в 1905 году. По словам В. И. Ленина: «Это была действительно народная, массовая организация, разделявшая, конечно, ряд крестьянских предрассудков, податливая к мелкобуржуазным иллюзиям крестьянина... но безусловно «почвенная», реальная организация масс... революционная в своей основе, способная применять действительно революционные методы борьбы... расширяющая размах политического творчества крестьянства, выдвигавшая на сцену самих крестьян с их ненавистью к чиновникам и помещикам...»¹

Марковский «Приговор» получил всероссийскую огласку. В первых числах ноября 1905 года его полностью напечатали крупные московские газеты: «Русские ведомости», «Русское слово», «Утро», «Вечерняя почта». «Приговор» был издан отдельной брошюрой московским издательством Маслово «Колокол» тиражом 500 тысяч экземпляров. Брошюра продавалась по одной копейке.

Подобные «Приговоры» стали приниматься во многих селах, городах и волостях России.

Вскоре «Приговор» был напечатан и в газетах Франции и США под названием «Крестьянский манифест». Изучать Марков-

скую республику приезжал в ноябре 1905 года профессор Чикагского университета, но был арестован и освобожден только после вмешательства консула США.

Марковцы становятся ревностными читателями газет. Они внимательно знакомятся с отчетами о заседаниях 2-го съезда Всероссийского крестьянского союза, проходившего в Москве с 6 по 12 ноября 1905 года. Особенно обрадовались марковцы статье В. И. Ленина «Пролетариат и крестьянство», опубликованной 12 ноября в газете «Новая жизнь».

«Пошлем же горячий привет Крестьянскому Союзу, принявшему решение бороться дружно и стойко, беззаветно и без колебаний за полную волю и за всю землю, — писал В. И. Ленин. — Эти крестьяне действительно революционные демократы, с которыми мы должны идти и пойдем вместе на борьбу за полную победу теперешней революции... Вперед, рабочие и крестьяне, на общую борьбу за землю и волю!»²

Вскоре марковцы узнали, что на второй день после закрытия Всероссийского съезда почти все члены президиума, центрального бюро, многие делегаты были арестованы и заключены в Бутырскую тюрьму, среди них был член правительства Марковской республики и член Центрального бюро крестьянского союза А. Ф. Стааль. Делегат съезда, агроном Зубрилин перешел на нелегальное положение, но был выдан провокатором, арестован и заключен в тюрьму.

Однако репрессии не испугали марковцев. В декабре 1905 года они организовали волостной крестьянский революционный комитет во главе со старшиной И. И. Рыжовым. Комитет стал проводить в жизнь «Приговор». В дни московского декабрьского вооруженного восстания крестьяне начали порубку помещичьих лесов для ремонта мостов, общественных оград на прогонах и въездах в деревни, а также пожарных сараев и «магазеев» (складов общественного зерна). По решению комитета лес получали и нуждающиеся крестьяне на починку жилых и хозяйственных построек. Еще в зимние месяцы волостной комитет разверстал между селениями значительную часть помещичьих пахотных земель, выпасов и сенокосных угодий, чтобы начать

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 12, стр. 334.

² Там же, стр. 97, 98.

с весны ими пользоваться. Все жители Марковской волости перестали вносить очередную плату за землю. На территории волости ни одно распоряжение властей не выполнялось, но зато все следовало требованиям «Приговора», постановлениям сельских и волостных сходов, распоряжениям волостного крестьянского комитета.

Уездные власти долго не обращали серьезного внимания на события в Маркове. Дела более крупные закружили их. Начались волнения ткачей на фабрике братьев Старшиновых. Но вскоре за марковцами пошли десять деревень соседней Серединской волости, а за ними села и деревни Мурикова и Белой Колпи. Тогда-то и встревожилось уездное и губернское начальство. В Марково полетели грозные приказы и телеграммы одуматься, выдать зачинщиков, не посягать на помещичьи земли.

Однажды на сход приехал становой пристав и, оштрафовав крестьян за то, что они не сняли перед ним шапок, приказал им явиться для уплаты штрафа на станцию Шаховскую, за тридцать верст. Крестьяне повезли деньги. Дорогой повстречался им тот же пристав и потребовал, чтобы крестьяне свернули в сугроб. В ответ на это они вытряхнули пристава из возка, стащили теплую шубу и выпороли его. Крестьяне никому не рассказали о происшествии, а пристав также промолчал из-за боязни получить кличку порога и потерять место. Не помог усмирить крестьян ни визит в Марково генерал-губернатора Джунковского, ни приезд земского начальника Миллера.

Но революция в стране шла на спад, репрессии нарастали. Вместе с членами Петербургского Совета арестовали и сослали в Сибирь Григория Соколова. Обманным путем выманили на станцию Шаховскую Ивана Рыжова и увезли в арестантском вагоне под большой охраной в Москву. На два года выслали за границу писателя Сергея Семёнова. Президент Петр Буршин скрылся в труппе «Сукина болота» близ Маркова, а потом перешел на нелегальное положение. Из уезда был прислан новый старшина, но марковцы его прогнали и выбрали своего — З. И. Соколова, но и он не избежал ареста. Остальные скрылись кто куда. Нагрянувшие каратели не застали на месте вожakov движения.

Так, спустя почти год после принятия сельским сходом знаменитого «Приговора» Марковская республика прекратила свое существование.

Ю. Марголис, Вл. Сандов Орджоникидзе в Шлиссельбурге¹

Маленький розовощекий человек — начальник Шлиссельбургского каторжного центра не баловал заключенных длинными речами. Каждому вновь прибывшему каторжнику он неизменно задавал один и тот же вопрос:

— Откуда?

И, услышав ответ, неизменно говорил:

— Здесь вам не псковская (вологодская, ярославская, орловская и т. д.) тюрьма. Здесь вас услышат только я да ладожские волны.

Для разнообразия, что, впрочем, при первом знакомстве было редкостью, он привлекал:

— Вы знаете, что такое шлиссельбургский карцер? Вы его узнаете.

Самой длинной речью Зимберга считалась следующая:

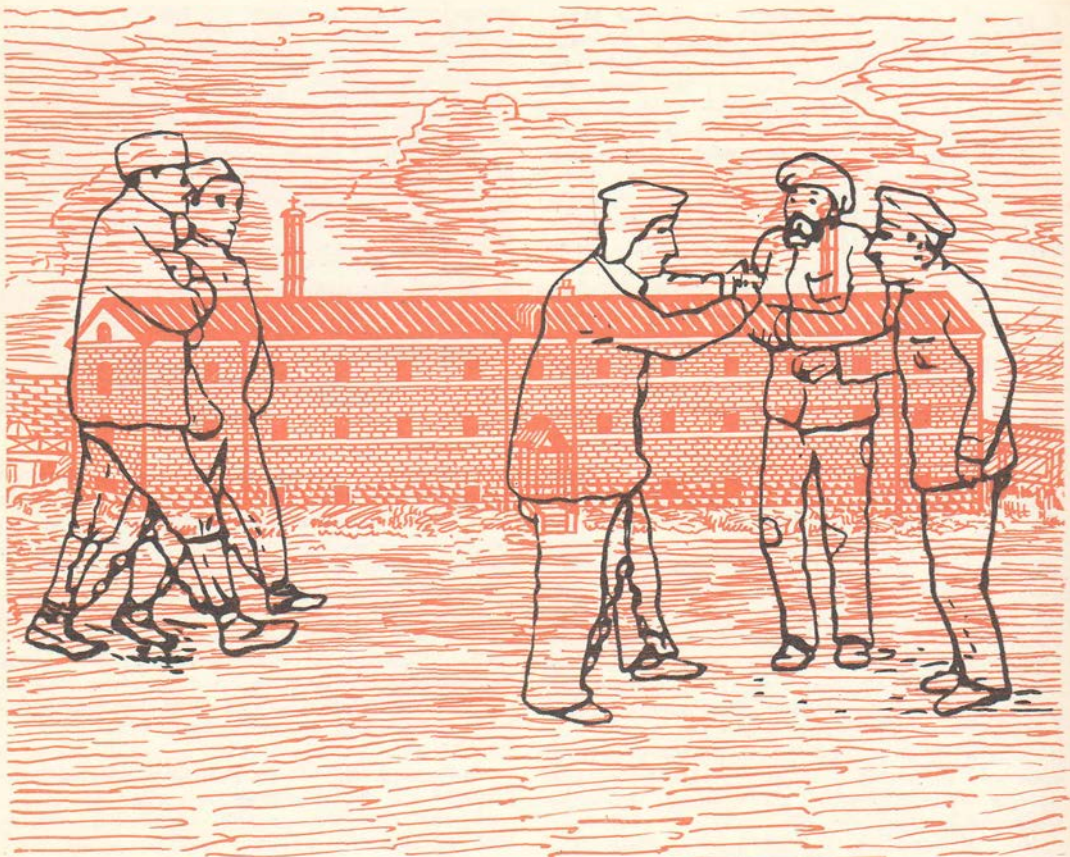
— Вот вы плохо себя ведете и отправитесь отсюда в карцер. А я веду себя хорошо, царю службу хорошо и отсюда отправлюсь домой и вкусно пообедаю. Вот идите и поразмышляйте над сказанными мною в сердечности словами.

На этот раз перед Зимбергом предстал молодой, нервный, наголо обритый кавказец.

— Откуда?

— Из Петербургского дома предварительного заключения...

¹ О пребывании Г. К. Орджоникидзе в Шлиссельбурге написано довольно много. Наш очерк построен в основном на неопубликованных и малоизвестных материалах. Приносим сердечную благодарность Е. С. Гончаровой за возможность ознакомиться с рукописи с интереснейшими воспоминаниями ее мужа. Первая часть этих воспоминаний была опубликована в 1924—1925 годах в «Былом».



Два месяца как он вернулся из Праги с конференции большевиков и ездил по промышленным центрам России, рассказывая в большевистских организациях о решениях конференции. Его выдал провокатор, но узнал он об этом лишь много лет спустя. В Москве за ним увязались три сыщика. Филеры получили от начальника московской охраны наказ: «Ликвидация желательна, но допустима исключительно по местным связям, без указания источников на Москву»¹. Охранка заметала следы провокатора. Даже когда 14 апреля 1912 года Серго был арестован на улице в Петербурге, ему не было предъявлено обвинение в принадлежности к ЦК большевиков, хотя, как рассказывают документы, жандармы отлично об этом знали. Его судили за проживание по чужому паспорту и побег из ссылки. Приговор: три

года каторжной тюрьмы с дальнейшим водворением в бессрочную ссылку.

Серго отправили в Шлиссельбург.

Шлиссельбургский централ был излюбленным местом, куда правительство с большой охотой заточало кавказцев. Холод, вечная сырость, знаменитые карцеры, которыми так гордился Зимберг, быстро делали свое дело. Почти девяносто процентов кавказцев погибли.

Гордость Зимберга «уникальным» изобретением была не случайна. Тридцатисуточный карцер был не просто мерой лишения прогулок и перевода на хлеб и воду, с выдачей

¹ Цитир. по книге З. Г. Орджоникидзе, Путь большевика. М., Госполитиздат, 1956, стр. 115.

горячей пищи один раз в четверо суток — это был точный расчет на физическое уничтожение. Карцеры делились на темные и светлые, холодные, как, например, в Светличной башне, награждавшие заключенных простудой и даже чахоткой, и жаркие, пристроенные к прачечным. В последних была невыносимая духота.

Зимберг закончил свою неизменную фразу о ладожских волнах, и арестант был отправлен в камеру. Но вскоре последовало распоряжение о переводе его в карцерный корпус, в «заразное отделение». Он стал зачинщиком двух протестов, предъявленных арестантами тюремному начальству.

«Заразное отделение» — ироническое название третьего корпуса, в карцерах которого были заключены особо непокорные каторжане, из числа тех, кто «заражал» сокамерников духом протеста и борьбы. О пребывании Серго в этом отделении читаем в неопубликованных главах воспоминаний участника революции 1905 года В. Ф. Гончарова:

«К началу 1912 года старые связи [с волей] или порвались, или уже не приносили ничего существенного, и лишь в следующем году положение изменилось к лучшему. В Шлиссельбург привезли большевика Орджоникидзе. Он явился не только первым представителем грядущего за нами поколения, но и обладателем нескольких верных депутатских¹ адресов. Конечно, этого случая не упустили и скоро послали Роману Малиновскому нелегальное письмо. Оно хорошо показывает, чего хотели каторжане, почему я и приведу его полностью:

«По поручению группы политических каторжан Шлиссельбургской крепости, изолированной в заражном отделении, обращаюсь к Вам с просьбой организовать снабжение нас сведениями о политической и революционной жизни мира. Мы полагаем, что Вы находите в курсе всех событий лучше, чем кто-либо другой, и поэтому Ваша информация нас удовлетворит вполне. Кроме того, Вам легче найти среди знакомых такое лицо, которое обладало бы досугом писать нам не реже одного раза в неделю. Способ писания Вам сообщит подательница сего. Имейте в виду, что мы вполне гарантированы от провала при условии получения официальных писем от матерей, написанных старческим или малограмотным почерком. Такие письма не только не вызывают подозрения, но почти и не просматриваются тюремной администрацией.

Сведения должны касаться: 1) деятельности Государственной Думы и отношения к ней населения; 2) движения среди рабочих, войск, крестьянства и студенчества; 3) деятельности политических партий, особенно социалистических; 4) международного социалистического движения; 5) общего международного положения; 6) новинок социалистической литературы; 7) обзоров журнальной печати; 8) деятельности правительства.

Серго просит Вас послать привет Ульянову, по адресу: Paris, Mari Ros, 4. Его осудили на три года. Охранка очень интересовалась, бывал ли он за границей. Серго на допросах валял кавказского дурака и говорил: «Был», но уточняющий вопрос, где именно, отвечал одно: «В Москве».

Последний абзац этого письма, кроме сообщения о приезде в Шлиссельбург Орджоникидзе, имел значение и рекомендательное. Малиновский наладил нам информацию, хотя ее получали и не так часто, как хотелось. Другие депутаты тоже не поленились — помогали разыскивать оставшихся на воле товарищей, и нелегальная переписка развернулась относительно широко. Из Шлиссельбурга отсылали корреспонденции о тюремном режиме, а когда получили сообщение, что в 1914 году состоится Всемирный социалистический конгресс Интернационала, стали готовить целый доклад о положении политических заключенных в русских тюрьмах².

Р. Малиновский был членом ЦК РСДРП и с 1913 года председателем большевистской фракции в IV Думе. Никто из революционеров еще не знал, что он провокатор, состоявший на службе в царской охранке. Весной 1914 года Малиновский был уволен из департамента полиции, причем ему был выдан годовой оклад жалованья и предоставлена возможность выехать за границу. Оттуда он прислал лживое письмо в «Путь правды», в котором объяснял свой уход из Думы тем, будто «парламентские способности борьбы стали для него неприемлемы, а непарламентские — невозможны для товарищей». В 1918 году Малиновский вернулся в Петроград, отдался в руки советского суда и по приговору Верховного трибунала был

¹ Членов большевистской фракции в IV Государственной думе.

² Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 533, оп. 1, д. 267, В. Ф. Гончаров, Шлиссельбургская каторга. Рукопись, лл. 152—153.

расстрелян. Этот человек и был тем провокаторм, который выдал Серго. Однако теперь, получив письмо из Шлиссельбурга, он должен был оказать помощь заключенным, чтобы не разоблачить себя.

Возможно, что автором письма к Малиновскому был сам Орджоникидзе. Он был единственным человеком в «заразном отделении», который знал Малиновского лично, — оба они были делегатами Пражской конференции. А ведь письмо начато с личного обращения. Последний абзац письма, о котором В. Ф. Гончаров говорит, что он имел «значение рекомендательное», есть одновременно общепринятая конспиративная форма говорить о себе в третьем лице.

«Новый Шлиссельбург» не был чисто политической тюрьмой. Основную массу заключенных в нем составляли уголовники. Расчет был далеко идущий: расправиться с политическими при помощи профессиональных воров и убийц. Но политические, и прежде всего Орджоникидзе, своей страстной убежденностью, всей правдой своей жизни в каменных мешках централа покорили уголовников.

«Надо отметить, — писал старейший большевик Ф. Н. Петров, — еще одну замечательную черту характера Серго, которой, к сожалению, обладали не все заключенные. Буквально ежедневно он вел большую культурную работу и не только среди политических, но и среди уголовников. Уголовники очень ценили Серго. Они видели и чувствовали в его отношении к ним особую, глубокую человечность»¹.

Уголовники в конце концов признали моральное превосходство политических, и часть их пошла в нелегальные школы, организованные уже после отъезда из Шлиссельбурга Орджоникидзе одним из самых удивительных узников, человеком большой души и разносторонней культуры, Владимиром Лихтенштадтом.

В Шлиссельбурге Серго много читал. Все получаемые деньги (заключенный мог истратить на свои нужды 4 рубля 20 копеек в месяц) он тратил на книги.

На воле запрещенную книгу «переодевали» в благонадежную обложку с каким-нибудь церковным или официозным названием — это было заботой нелегального комитета помощи узникам Шлиссельбурга, во главе которого стояла мать Владимира Лихтенштадта.

Орджоникидзе имел возможность читать Маркса, Энгельса, Меринга, Плеханова, эконо-

номиста Туган-Барановского, книги по истории России. Он интересовался военной литературой, особенно вопросами стратегии и тактики, самостоятельно изучил немецкий язык, это очень пригодилось ему в будущем. В архиве жены Орджоникидзе сохранился обширный список прочитанных им в Шлиссельбурге книг.

В Шлиссельбурге, как и на свободе, Серго оставался яростным спорщиком. Спирит он главным образом на прогулках и так увлекался, что даже не замечал, как кандалы молотят по ногам. Вечером оказывалось, что лодыжки разбиты в кровь. Доктор Федор Николаевич Петров терпеливо учил Серго, как носить кандалы, а сокамерники показали, как можно о цементный пол стереть нижнее кольцо, разогнуть его и снять кандалы на ночь.

Начало первой империалистической войны особенно непримиримо настроило узников разных политических партий друг к другу. Большевики во главе с Орджоникидзе еще до получения ленинских «Тезисов о войне» в спорах с эсерами стояли за поражение царского правительства. Когда были получены «Тезисы», В. Лихтенштадт на прогулке прочел их вслух.

В тот же день в его дневнике появилась запись, которая дает нам возможность для интереснейшего вывода о работе большевиков в Шлиссельбургском централе (автор записи в то время формально не был большевиком): «...Мало сделал за последнее время; много времени отняли... новости, сколько интересного! Но как в общем у нас здесь мысль шла теми же путями, что и на воле.

Ленинские семь пунктов — или теорем — приятно действуют среди повсеместного разврата, ренегатства и т. д. Верность социализму сохранена, но какой ценой! Жаль, что не выписал, но, кажется, и так помню»².

В конце 1915 года Орджоникидзе покидал Шлиссельбург. Ему предстоял долгий путь в Сибирь на вечное поселение. Но уезжал он окрыленный. На прощание сказал сокамерникам: «Встретимся при другом строе!»



¹ Цитир. по книге З. Г. Орджоникидзе, Путь большевика, стр. 124—125. ² Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области (ГАОРСС ЛО), ф. 506, оп. 6, ед. хр. 230. Выписки из дневников и писем политзаключенного Шлиссельбургской крепости В. Лихтенштадта за 1906—1917 гг., л. 32.



В тот же день, 5 октября 1915 года, Владимир Лихтенштадт записал в дневнике:

«Сегодня уехал Орджоникидзе. Это большая потеря для меня. Какой живой, открытый характер, сколько энергии, отзывчивости на все, и главное — человек все время работает над собой. Только с ним и можно было потолковать серьезно по теоретическим вопросам, побеседовать о прочитанной книге, — из людей, стоящих приблизительно на одном со мной умственном уровне, — это был здесь единственный, у которого можно было и почитать»¹.

Конечно, в этой записи есть доля преувеличения: в Шлиссельбурге были и другие большевики, с которыми можно было интересно и содержательно поговорить и поспорить, — надо помнить, что она вызвана болью расставания с верным товарищем.

Орджоникидзе был одним из тех, кто превратил ад Шлиссельбургского центра в школу революционного мужества.

Закончим этот небольшой очерк свидетельствами двух шлиссельбуржцев, взятыми из их неопубликованных воспоминаний.

«Встретишься, — пишет Г. М. Муравин, — с такими людьми, как Федор Николаевич Петров, Иван Петрович Вороницын, Григорий Константинович Орджоникидзе — ...его перевели в наш корпус в 1914 году, — Гамбург, Нейман, Трилиссер, милый Володя Лихтенштадт — это же счастье не только в несчастной неволе, тем более, что со многими ...связывала давнишняя борьба на воле и в тюрьмах»².

А вот что писал о Серго и М. А. Трилиссере один из помощников Ф. Э. Дзержинского, заведующий иностранным отделом ВЧК В. Н. Левтонов:

«Разные по складу характера, по способам восприятия и переживания отдельных сторон и событий тюремной жизни, они выделялись из массы революционеров-партизан, проявляя уже тогда черты регулярных кадровиков революции и заставляя невольно задуматься о той партийной школе, которую они прошли на воле и которая дала им столько спокойной принципиальности, выдержки и отчетливости в оценке событий»³.



¹ ГАОРСС ЛО, ф. 506, оп. 6, ед. хр. 230, л. 35.

² Г. М. Муравин, Пять лет в Шлиссельбургском центре (рукопись в краеведческом фонде библиотеки г. Петрокрепость), стр. 65.

³ ЦГАОР, ф. 533, оп. 1, ед. хр. 231, В. Н. Левтонов. Последний Шлиссельбург. Рукопись, л. 33.

Е. И. Чапкевич

Е. В. Тарле под надзором полиции

Знаменитый историк академик Евгений Викторович Тарле в годы своего учения в Киевском университете близко сошелся с профессором И. В. Лучицким. Последний стоял на либерально-демократических позициях, в молодости был связан с народниками и находился под наблюдением полиции. В ноябре 1897 года начальник киевского жандармского управления генерал Новицкий доносил в департамент полиции о «сношениях Евгения Тарле с профессором университета св. Владимира Иваном Лучицким»¹.

Знакомясь с работами представителей зарубежной социалистической мысли, Тарле проявлял интерес к французскому рабочему и социалистическому движению. В сентябре 1897 года жандармам удалось перехватить несколько писем парижской корреспондентки Тарле, в которых она сообщала о посещении собраний парижских рабочих и о своих попытках познакомиться с Полем Лафаргом и Вальяном. Департаменту полиции удалось установить личность этой корреспондентки. Ею оказалась Роза Пескер, которая вместе со своей подругой Иоффе живо интересовалась французским рабочим движением и неоднократно устраивала на своей квартире собрания русских эмигрантов². Перехватив письма Пескер, полиция установила за Тарле секретный надзор и уже больше не выпускала его из своего поля зрения. Когда в 1899 году попечитель Киевского учебного округа возбудил ходатайство о предостережении Тарле повторной командировки за границу для завершения работы над диссертацией, департамент полиции дал понять, что командировка эта крайне нежелательна ввиду его политической неблагонадежности³.

В обстановке усилившегося рабочего и демократического движения накануне 1 мая 1900 года в Киев приехал А. В. Луначарский. По поручению комитета РСДРП и Красного Креста он решил устроить сходку, с тем чтобы собрать деньги в пользу стачечников и заодно ознакомиться с настроениями интеллигенции и студенчества. В качестве официального повода был использован диспут о творчестве Ибсена. Среди приглашенных были Тарле, В. В. Водозовов и много студентов университета.

Сбор людей, подозрительных для полиции, вызвал в жандармском управлении тревогу. Едва лишь успели собрать деньги в пользу стачечников, как в дверь ворвалась полиция, а вслед за ней в сопровождении полсотни казаков явился и сам генерал Новицкий. Все участники сходки были подвергнуты обыску. У многих оказались листовки и брошюры революционного содержания⁴.

Новицкий доносил в департамент полиции, что он застал Тарле в квартире, пол которой «чуть не по колено был усеян разорванными на мельчайшие клочки прокламациями и воззваниями»⁵. Луначарский, Тарле и Водозовов вместе с некоторыми участниками сходки были арестованы и под казачьим конвоем отправлены в Лукьяновскую тюрьму⁶.

Через некоторое время Тарле был выслан на хутор тестя близ станции Затишье Херсонской губернии под гласный надзор полиции⁷. Несколько позднее эта мера наказания была смягчена, и ему разрешили поселиться в Варшаве. Оправдывая репрессивные меры по отношению к молодому ученому, Новицкий писал директору департамента полиции: «Тарле представляет из себя человека совершенно распропагандированного и убежден-



¹ Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР (ЦГАОР), ф. 102, ДП 00, д. 228 за 1900 г., л. 3.

² Там же, д. 339 за 1898 г., л. 9.

³ Центральный государственный архив СССР в Ленинграде (ЦГИА), ф. 733, оп. 151, д. 19, л. 34.

⁴ Центральный государственный архив Украинской ССР (ЦГИА УССР), ф. 274, оп. 1, д. 521, л. 60.

⁵ ЦГАОР, ф. 102, ДП 00, д. 228 за 1900 г., л. 3.

⁶ А. Луначарский, Революционные силуэты. М., 1923, стр. 58.

⁷ ЦГИА УССР, ф. 274, оп. 1, д. 521, л. 26.

ного социал-демократа, особенно опасного потому, что его умственный багаж очень велик, и он пользуется большим влиянием благодаря своим педагогическим занятиям и литературным способностям, а также участию в журналах и газетах либерального направления¹. Новицкий здесь слишком преувеличил революционность Тарле, но вместе с тем он был прав, утверждая, что киевский историк и публицист благодаря своему таланту, способностям и общей демократической направленности представлял серьезного противника для охранительных начал.

Получив подобную аттестацию Тарле, департамент полиции потребовал от министерства народного просвещения лишить ученого права преподавания, что было выполнено министерством без промедления². В течение года Тарле было запрещено преподавать не только в университетах, но и в гимназиях. В конце концов гласный надзор полиции с Тарле был снят, и он получил возможность осенью 1901 года на короткий срок приехать в Киев для защиты диссертации. Присуждение ученому степени магистра вызвало недовольство генерала Новицкого. Он сожалел, что теперь Тарле сможет занять должность экстраординарного профессора, «что является фактом весьма прискорбным, и было бы очень желательно оградить учащуюся молодежь от вредного влияния, каким он может пользоваться в качестве профессора или преподавателя...»³.

Тарле переехал в Петербург, но печать «политически неблагонадежного» продолжала над ним довлеть и здесь. Несмотря на то, что министерство народного просвещения разрешило Тарле в 1902 году заниматься педагогической деятельностью⁴, исполняющий обязанности ректора Петербургского университета Жданов нашел, что «привлечение к преподаванию г. Тарле в звании приват-доцента не представляется необходимым»⁵. В качестве причины отказа Жданов выдвигал слабую научную ценность его трудов. Более откровенно высказался попечитель Петербургского учебного округа, который заявил, что, «принимая во внимание бывшую прикосновенность господина Тарле к делам политического характера, за что он понес наказание в виде предварительного ареста, я не признаю возможным изъявить согласие на зачисление его в состав приват-доцентов СПб университета»⁶. Лишь после длительных пререканий сановников от науки Тарле осенью 1903 года было разрешено приступить к чтению курса лекций в Петербургском университете.

К. Калманович Генерал армии свободы

«Я узнал... из газет, что некий Турчанинов, бывший русский офицер, командует полком илинойских добровольцев... Как полагаю, он покинул Россию без разрешения... Здесь не место офицеру, который имел честь служить под знаменами нашего августейшего монарха». (Из донесения русского посланника Стюэля в Вашингтоне 12 февраля 1862 года.)

«Я никогда в жизни не видел лучшей выучки, чем у вас в полку». (Бригадный генерал Бюэлл после инспекции полка Турчанинова, май 1861 года.)

«...решение военно-полевого суда об увольнении полковника Турчанинова из армии, как пристрастное и несправедливое, отменить. Присвоить Турчанинову звание бригадного генерала. Президент Авраам Линкольн. Сентябрь 1862 года».

«Турчанинов был борцом за человеческую свободу и принцип справедливости». (Из некролога на смерть Турчанинова «Чикаго геральд трибюн» от 25 апреля 1901 года.)

Имя полковника Турчанинова часто встречалось на страницах американских газет эпохи гражданской войны и в архивных материалах того времени.

¹ ЦГАОР, ф. 102, д. 228 за 1900 г., л. 10.

² ЦГИА УССР, ф. 708, оп. 338, д. 152, л. 5.

³ ЦГАОР, ф. 102, ДП-00, д. 228 за 1900 г., л. 5.

⁴ Государственный исторический архив Ленинградской области (ГИАЛО), ф. 139, оп. 1, д. 9621, л. 15.

⁵ Там же, л. 28.

⁶ Там же, л. 42.



Иван Васильевич Турчанинов родился в Области Войска Донского 30 января 1822 года. Он окончил Петербургское артиллерийское училище, а затем Академию генерального штаба. В чине полковника гвардии Турчанинов участвует в Крымской кампании. Перед ним открываются возможности блестящего продвижения по службе. Но он выходит в отставку и под предлогом лечения уезжает за границу, сначала в Англию, затем в Америку. В Филадельфии Турчанинов кончает инженерный колледж, работает инженером-строителем в городе Маттуне, потом в Чикаго, где получает должность инженера-топографа на строительстве железных дорог.

По пути в Америку Турчанинов в Лондоне навестил А. И. Герцена. Эта встреча осталась бы неизвестной (в бумагах Герцена она не отражена), если бы, уже будучи в Америке,

Турчаниновы — муж и жена — в марте 1859 года не написали Герцену. Их письма сохранились в «Пражской коллекции».

Америка не понравилась Турчанинову. «...помню ваше замечание: «Скучная земля Америка!» — писал он Герцену, — ...мои заокеанские грезы были гораздо выше и чище пошлой действительности; не только скучная, но препакозная земля Америка... я не вижу действительной свободы здесь ни на волос; это тот же сбор нелепых европейских предрассудков и монархических и религиозных начал, в голове которых стоит не королевская палка, а купеческий карман; не правительство управляет бараньим стадом, а бодливые, долларами гремящие козлы-купцы... Эта республика — рай для богатых, они здесь истинно независимы; самые страшные преступления и самые черные происки окупаются деньгами»¹.

Между тем здесь подспудно волновались грозные силы. Ни на минуту не прекращаясь, шла упорная борьба между аболиционистами — сторонниками отмены рабства и плантаторами-рабовладельцами.

В конце 1860 года разразились давно назревшие события. 7 ноября 1860 года победу на президентских выборах одержал известный противник рабства Авраам Линкольн. Это событие вызвало откол рабовладельческих южных штатов. Открытые военные действия начались 12—14 апреля 1861 года. Южане бомбардировали и после двухдневного боя взяли форт Самтер в гавани Чарлстона. В ответ на это Линкольн призвал 75 тысяч добровольцев. На призыв явилось 300 тысяч человек. Каждый штат, каждый город Севера формировал свои соединения волонтеров.

Борьба против невольничества захватила Турчанинова. У северян было не так уж много кадровых военных. И он предложил правительству свои силы и знания.

Ему поручили командование 19-м полком волонтеров Иллинойса, входившим в состав бригады генерала Бюзелла. Полк заслужил славу одного из лучших в армии генерала Шермана. О боевой выучке полка говорили,

¹ «Литературное наследство», т. 62, М., 1955, стр. 599. Из вступительной статьи Д. И. Заславского и публикации писем И. В. Турчанинова и его жены (там же, стр. 591—598) заимствованы нами некоторые сведения о Турчанинове, другие сведения почерпнуты из «The Encyclopedia americana», vol. 27 (175).

что в нем соединились американский патриотизм и русская военная школа. При штабе армии Турчанинов организовал выпуск «Солдатской газеты». В той обстановке, когда негры еще не призывались в армию, когда многие командиры северян использовали войска для ловли беглых рабов, он привлек для службы в полку 150 негров.

Среди командования северян далеко не все разделяли взгляды Турчанинова. В армии было немало тайных сторонников конфедератов, были нерешительные, высказывающиеся за компромисс с южанами.

Тем временем полк Турчанинова провел ряд успешных операций, в результате которых были заняты города Хантсвилль и Афины в штате Алабама. После этого полк был передислоцирован, в Афинах же оставлен немногочисленный гарнизон. Воспользовавшись этим, конфедераты напали на город, большая часть гарнизона попала в плен. А вскоре из захваченного города дошли страшные вести — над военнопленными была устроена дикая расправа: им в уши вставлялись пороховые заряды и поджигались: голова раскалывалась на части. Кроме того, с ведома командования индейцы племени чирок, входившие в подразделение конфедератов, скальпировали пленных.

Турчанинов быстро сконцентрировал войска и двинулся к Афинам. Город был взят. Каждый, не сдавшийся в плен солдат противника, захваченный с оружием в руках, расстреливался на месте. Эти действия Турчанинова дали повод его противникам обвинить его в жестокости. Для разбора дела была создана специальная комиссия. На основании подтасованных показаний он был предан военно-полевому суду.

И. В. Турчанинов держался на суде с большим достоинством, он обосновывал необходимость отмены рабства и допущения негров в армию. Из всех предъявленных ему обвинений он признал только одно: жена действительно находилась при нем в действующей армии, что запрещено уставом, но она исполняла обязанности сестры милосердия.

Суд признал Турчанинова виновным и приговорил к изгнанию из армии. Это решение произвело большой шум в печати. Все истинные противники рабства требовали пересмотра дела, вмешательства президента. «Судьи Турчанинова проявили в судебном разбирательстве куда больше рвения, чем в войне с конфедератами», — писала «Чикаго трибюн».

Приговор послали на утверждение Лин-

кольну. «Старый Эйби» не только аннулировал судебный приговор, но и повысил Турчанинова в военном звании. Население Чикаго устроило ему «столь восторженный прием, что не было никаких сомнений в отношении народа к инсценированному суду», — свидетельствовала «Чикаго трибюн».

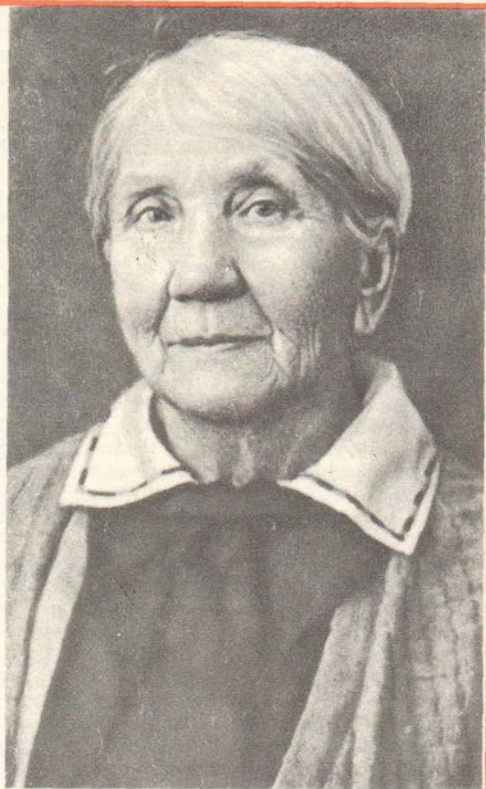
25 августа 1862 года правительство санкционировало призыв негров в армию. Тысячи вчерашних невольников влились в войска северян. Следующий, 1863 год оказался переломным. Турчанинов, командуя 3-й пехотной бригадой, участвовал еще в ряде военных операций. В бою при Чикамауге (19—20 сентября) он применил тактику русского штыкового боя. Несмотря на неудачные действия командовавших соседними частями генералов, благодаря Турчанинову сражение было выиграно. 25 ноября состоялась битва у Миссионерского хребта, в которой бригада Турчанинова сыграла решающую роль. Сражение закончилось победой северян.

В 1864 году Турчанинов по состоянию здоровья уходит в отставку. Он по-прежнему увлекается техникой, изобретательством. После окончания войны военное министерство привлекает И. В. Турчанинова в качестве эксперта к исследованию истории, тактики и стратегии гражданской войны. Он публикует ряд работ, наиболее фундаментальную из которых — о битве под Чикамаугой, — заканчивает в 1888 году.

Последние годы жизни И. В. Турчанинова складываются трагически. Недовольный бюрократическими придирками, он ссорится с чиновниками министерства, порывает с военным ведомством. Начинается полоса скитаний и безработицы — без средств, в одиночестве, без поддержки. Будучи талантливым скрипачом, он выступает с концертами в небольших городах.

Двум бывшим соратникам Турчанинова, дослужившимся до влиятельных постов, удается выхлопотать для него небольшую пенсию (50 долларов в месяц). Но большой и измученный скитаниями герой гражданской войны попадает в психиатрическую больницу, где умирает 18 апреля 1901 года.

Похоронен И. В. Турчанинов был с воинскими почестями, при огромном стечении народа. За артиллерийским лафетом, на котором был установлен гроб, следовало много негров и ветеранов войны. «Их слезы, — писала «Чикаго геральд трибюн», — упрек тебе, Америка, не умеющая ценить пролитую за тебя кровь».



А. М. Диновский

Анна Васильевна Якимова

из воспоминаний сына

Анна Васильевна Якимова — член Исполнительного комитета партии «Народная воля» — прожила героическую жизнь. Она испытала стремления, борьбу и страдания лучших людей своего поколения.

Семнадцатилетней девушкой А. В. Якимова начала вести революционную пропаганду среди крестьян, а девятнадцати — была впервые арестована. Почти три года тюремного заключения, частью в Петропавловской крепости, не охладили пыла молодой революционерки. Оправданная судом, она снова отправляется в народ — под видом богомолки путешествует от Рыбинска до Нижнего, работает чернорабочей на Сормовском заводе. В 1879 году А. В. Якимова становится членом Исполнительного комитета «Народной воли», и два последующих года ни одно покушение на царя не обходится без ее участия. Она

выступает хозяйкой конспиративных квартир, помогает изготовлять динамит и нитроглицерин, вместе с А. И. Желябовым готовит взрыв царского поезда под Александровском, вместе с Ю. Н. Богдановичем снимает сырную лавку (под фамилией Кобозевых), откуда накануне 1 марта 1881 года ведется подкоп под Малую Садовую.

Арестованная 21 апреля 1881 года, А. В. Якимова приговаривается к смертной казни через повешение, но «царской милостью» казнь заменяется вечной каторгой. В августе 1883 года Анна Васильевна с двухлетним ребенком¹ на руках отправляется в длительное «путешествие» из Петропавловской крепости в Сибирь. Четырнадцать с лишком лет провела А. В. Якимова на каторге — на Каре и в Акатуе². Здесь, будучи уже в вольной команде, она вышла замуж за М. А. Диковского³, здесь же 21 мая (3 июня) 1896 года родился автор этих строк⁴.

Революционная деятельность А. В. Якимовой в молодые годы и пребывание ее на каторге хорошо освещены в литературе⁵. Я попытаюсь рассказать несколько эпизодов из жизни матери после выхода ее на поселение.

В августе 1899 года по предписанию, полученному матерью, мы всей семьей выехали из Акаутя в Якутскую область на поселение. В дороге я заболел, и с разрешения Забайкальского губернатора мы остались в Чите, сначала временно, а затем и постоянно. Отец стал работать счетоводом, а мать — конторщицей на железной дороге. Здесь в это время образовалась большая колония бывших политкаторжан-народовольцев, и в нашей квартире на Дальнем Вокзале часто бывали Прибылевы, Яцевичи, Сухомлины и многие другие.

Пропаганда среди железнодорожных служащих, которую вели мои родители в Чите, не удовлетворяла Анну Васильевну, и в декабре 1904 года она самовольно выехала в европейскую Россию. Однако активная ее деятельность в партии эсеров продолжалась недолго: преданная провокатором, она была арестована 23 августа 1905 года по дороге из Нижнего Новгорода в Москву. В третий раз мать попала в Петропавловскую крепость. Суд приговорил ее к восьми месяцам тюремного заключения по месту ссылки.

Режим в читинской тюрьме не отличался особыми строгостями. Раз в неделю, по воскресеньям, я посещал мать и рассказывал ей городские новости, а от нее получал сведения для передачи на волю. Только однажды наше свидание происходило через две

мелко переплетенные решетки, между которыми ходил тюремный надзиратель. Обычно же мы встречались в конторе в присутствии начальника тюрьмы или его помощника. Както раз мать рассказала мне о побеге одной заключенной. Эсерка Маруся Масликова ходила из тюрьмы лечить зубы в лечебницу Красного Креста в сопровождении надзирательницы и караульного. Однажды у ворот лечебницы ее ждала тележка, запряженная рысачком игрневой масти. Маруся побежала к тележке, надзирательница бросилась за ней. Караульный вообразил, что хотят убежать обе, и схватил надзирательницу. В следующее посещение я сообщил матери, что побег оказался успешным.

Кучером на Игреньке был бывший матрос, участник восстания на броненосце «Потемкин», известный мне под именем Валентина Ивановича. Впоследствии он жил на квартире Н. М. Саловой и во время одного из обысков был задержан. От показаний он отказал-



¹ Родившийся в доме предварительного заключения 13 октября 1881 года ребенок был сыном А. В. Якимовой от гражданского бранца с Мартином Рудольфовичем Лангансом (1855—1883), членом Исполкома «Народной воли», умершим в Алексеевском равелине. В Красноярске А. В. Якимова передала сына в семью политического ссыльного — врача. Впоследствии Якимов Мартын Михайлович (отчество по крестному отцу) был горным инженером. Умер в 1943 году в Новосибирске.

² Одним из царских манифестов бессрочная каторга А. В. Якимовой была заменена двадцатилетней, а восемь месяцев работы в рудниках женщинам засчитывались за год.

³ Диковский Моисей Андреевич (1857—1930) — сын сельского священника, народный учитель, был членом ижевского кружка «Народной воли». Арестован в 1879 году и приговорен к пятнадцати годам каторги. Впоследствии служил счетоводом на Забайкальской железной дороге, занимался сельским хозяйством. После Октябрьской революции был членом Общества бывших политкаторжан и ссыльпоселенцев, получал персональную пенсию союзного значения. Умер в Томске.

⁴ Я был вторым ребенком А. В. и М. А. Диковских. Старшая сестра Елизавета умерла на Каре в возрасте одного года. Младший брат, Григорий, умер тринадцати лет в 1915 году.

⁵ Об А. В. Якимовой говорится в воспоминаниях В. Н. Фигнер, А. В. Прибылева, С. Чудновского, О. В. Аптекина и других революционных народовольцев, а также в отчетах о народовольческих процессах. Двумя изданиями вышла ее биография: Н. М. Дружинин, Член Исполнительного комитета партии «Народная воля» Анна Васильевна Якимова (Кобозева). М., 1926 и 1930.

Протоколи и покушение на Александра
II в г. Одессе весной 1880г.

Весною 1880г в Одессе протоблялось по-
кушение на царя при приезде его с женой
западной дорогой на пароходную
пристань.

Перовская, Софья Ловикова,
и Николай Алексеевич Саб-
лин, под именем Чума-
ских между Петра и
Марии Прохоровских,
направили по Николаевской
улице, дома № 42, лабоу, в ка-
торой выскрести торгов-
лю Бессальскими товарами.

Из этой лавки дажны был
встать надком, при содей-
ствии Г. П. Услова, Антоновича,
Скорого, Меркулова, Данилюхиной и В. Ринкев
под Николаевскую улицу, по которой
предлагалась идти приезд царя. В этом
помещении лавки, где производилась
торговля, в свое торговое время, в лавке
улице за прилавком, поднимая палочку, выжидали ту
из которой с помощью буравы намеревались просвер-
лить канал под улицу для закладки мины. Но
все работы вскоре были прекращены, так как ста-
ло известно, что царь на днях проследит в Крым, а
в такой короткий срок не было возможности пра-
вильно сделать канал до середины улицы. Царь в этот
раз через Одессу не поехал. Это несчастье было
сделано, что скрывает следы производившейся ра-
боты, было сделано, и Прохоровские 24-го мая сего
были напущены ими 4-го апреля, помещенные.
Условно не предательство Меркулова, это дело



Саблин



Финклер



Данилюхина



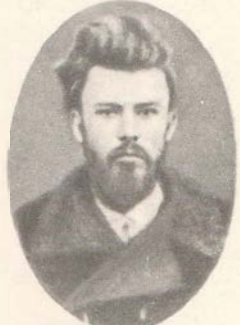
Перовская

остался - был неувеселенным правительством
- главным руководителем тех работ этого
предприятия был Ушакин Прокопьевич
Удав, один из 4-х председателей
нового Комитета



Лев Злотовский

На квартире Уаева и Якимов,
вот живущих под давлением
Потемкина по Троицкой
зд. дом № 3 с 23-го апреля
хранится динамитом
и все необходимые при
соединении для взрыва.
Работать приходится в вы-
нужденном кругу и так как
по ночам и работа была
очень трудна, потому и де-
лаю сравнительно не



Усов

много было.
После того, как решено было прекратить
каратные работы, намеревались
устранить перкуссии на Зем. уз
Потемкина, но и из этого намерения

ничего не вышло, кроме того, что Усов лишился
трех пачек. Раз Усов решил сделать
личную трудовую для себя, полагая
свое с временного порыва завода,
и считая ее нужной, а там начал
временную работу, и работа от
треска взорвалась. Пришлось
для операции посетить Уаева
в порадскую земскую больницу,
а во время этой задержки Пот
Уаев был переведен из Ассети.



Меркулов.

28/X 1929г. А. Якимова

ся, был судим как бродяга, проживавший по чужому паспорту, и приговорен к четырем годам арестантских рот, которые отбывал в Томске. Дальнейшая его судьба мне неизвестна — сохранилась лишь его фотография, сделанная мной в окрестностях Читы в 1913 году. Маруся Масликова погибла во время восстания военных судов во Владивостоке в 1907 году, при взрыве котла на одном из миноносцев.

Забавный случай произошел при посещении тюрьмы иркутским генерал-губернатором Селивановым. Вместе с А. В. Якимовой в камере сидели две молодые женщины. Чтобы не унижать себя вставанием перед генералом, они заранее поднимаются с постелей — одна прохаживается, другая стоит у окна. Входит генерал и обращается к сидящей Анне Васильевне: «Попробуйте-ка встать». — «Что?» — спрашивает она. «Попробуйте-ка встать». — «По приказу не встаню». — «А?» — переспрашивает генерал. «По приказу не встаню», — повторяет она. Обескураженный генерал удаляется.

7 июня 1907 года мать освобождается из тюрьмы и снова работает в читинской организации эсеров и в местном комитете политического Красного Креста. Квартира наша не раз подвергалась полицейским налетам и обыскам. Однажды на короткое время была арестована и сама хозяйка беспокойной квартиры. Жандармам очень хотелось привлечь А. В. Якимову к серьезной ответственности, но для этого не было достаточных улик.

Осенью 1910 года в Горном Зерентуе к политическим были применены телесные наказания. Это вызвало бурный протест, и некоторые из каторжан покушались на самоубийство. В это время Якимова вела оживленную переписку с каторгой. При ее содействии многие лица, выдавая себя за родственников, переводили каторжанам деньги. Сама Анна Васильевна посылала переводы Егору Сазонову¹ как своему «племяннику».

На страстной неделе 1911 года, во вторник вечером, прибегает Саша Мошкина — сестра каторжанина, находившегося в Горном Зерентуе, и говорит: «Анна Васильевна попала у Неонилы Михайловны на обыск». Они шли вместе, но Саша задержалась, обратив внимание на необычное освещение дома, а мать благодаря своей экспансивности быстро вошла в квартиру. Проверив, нет ли у нас чего запрещенного, мы с Сашей пошли на разведку. Оставив девушку на улице, я вошел в квартиру Н. М. Саловой. Обыск был в разга-

ре. Увидев меня, мама возмутилась, зачем я явился. Я ответил, что мне нужны ключи, которые тут же получил. Однако уйти мне не разрешили. Под конвоем жандарма мы с матерью были отправлены домой. В передней уже находилась целая толпа неожиданных посетителей. Вместе с нами они вошли в комнату, и обыск начался. Не находя ничего интересного, жандармский ротмистр приходил в неистовство, подогреваемое колкими замечаниями матери. Корреспонденция же с каторги, которую как раз и искали жандармы, находилась у нее за лифом. По странной причине жандарм, который нас конвоировал из квартиры Саловой, на вопрос ротмистра, произведен ли личный обыск, отрапортовал: «Так точно, ваше высокоблагородие». Обыск кончился ночью. Через двое суток снова явились жандармы и вместе с ними две женщины, которые набросились на мать для производства личного обыска, но было уже поздно. На следующие сутки обыск еще раз, но он опять ничего не дал жандармам.

Как выяснилось некоторое время спустя, жандармы точно знали, что и где искать. За неделю до обысков через Читу проезжала и встречалась с матерью Ю. О. Серова — жена политкаторжанина, которая была провокатором.

После Февральской революции, в июне 1917 года, А. В. Якимова выехала в Одессу и несколько месяцев работала там от партии эсеров по выборам в Учредительное собрание. Этим закончилась ее политическая деятельность.

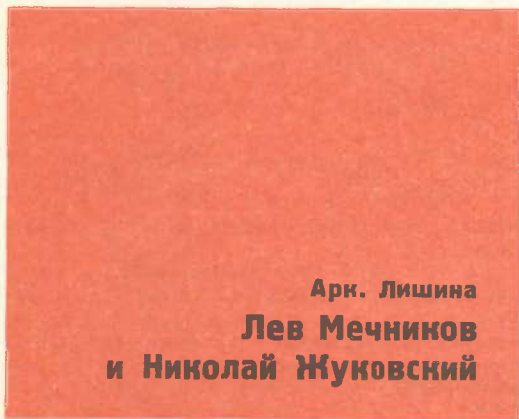
В ноябре 1917 года А. В. Якимова поселилась в Москве. Она занималась с малограмотными женщинами, служила в обществе «Кооперация», в Наркомпроде, в Центросоюзе, а с 1923 года стала пенсионеркой союзного значения. Анна Васильевна была активным членом Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев — избиралась членом его совета и президиума последнего, председателем народовольческого кружка, председателем музейной комис-



¹ Сазонов (Созонов) Егор Сергеевич (1879—1910) — эсер, осужденный на вечную каторгу за убийство министра внутренних дел Плеве. В знак протеста против телесного наказания политкаторжан в Горном Зерентуе 28 ноября 1910 года принял яд.

сии, членом ветеранской и других комиссий, редактировала издания общества, написала личные воспоминания о деятельности партии «Народная воля» и об отдельных ее членах¹.

Осенью 1941 года Анна Васильевна эвакуировалась из Москвы в Новосибирск, там вскоре заболела и 12 июня 1942 года скончалась на моих руках. В 1963 году Новосибирский городской Совет решил поставить на Заельцовском кладбище ей памятник как ветерану революции.



Арк. Лишина

Лев Мечников

и Николай Жуковский

Среди бумаг революционера-демократа Льва Ильича Мечникова (1838—1888)² сохранилось стихотворение, написанное его рукой на листках карманного блокнота³. Оно посвящено пятидесятилетию «Жука» — Николая Ивановича Жуковского, с которым Льва Ильича связывала многолетняя дружба.

Н. И. Жуковский родился 21 октября 1833 года в Уфе, в дворянской семье⁴. Окончив Московский университет, он служил некоторое время в архиве министерства иностранных дел, а в 1860 году переехал в Петербург. Здесь он служил в частной конторе и жил в меблированных комнатах на Васильевском острове вместе со своими братьями Владимиром и Василием, Д. И. Писаревым, П. Д. Баллодом и другими. Жуковский был связан с московскими и петербургскими революционными кружками, участвовал

в выпуске прокламаций. Впоследствии он рассказывал об оригинальном устройстве их тайной типографии, расположенной в доме совершенно открыто — только наборная касса была замаскирована коллекцией минералов⁵.

Спасаясь от ареста, 15 июня 1862 года Жуковский скрылся из Петербурга, но был задержан на границе. С помощью поляков он бежал из-под стражи и через «Колокол» объявил о своем благополучном прибытии в Лондон. В 1864 году судом Сената по делу Д. И. Писарева, П. Д. Баллода и других он был приговорен к лишению всех прав состояния и пожизненному изгнанию из России⁶.

За границей Жуковский сблизился с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, М. А. Бакуниним и так называемой «молодой эмиграцией», к которой принадлежал и Л. И. Мечников. Он был агентом по распространению герценовских изданий, участвовал во многих предприятиях заграничных землевольцев⁷. Позднее он стал членом I Интернационала, но после исключения Бакунина вышел из него.

В конце семидесятых годов сорокапятилетний Жуковский был старейшим из русских изгнанных в Швейцарии. Этот «сухой, жилистый, смуглый человек с черными, сверкающими глазами и впавшими щеками»⁸ был

¹ «Из прошлого». — «Историко-революционный вестник», 1922, № 1(4); «Из далекого прошлого». — «Каторга и ссылка», 1924, № 8; «По поводу пьесы «1881 год». — «Каторга и ссылка», 1925, № 2; «Группа «Свобода или смерть». — «Каторга и ссылка», 1926, № 3, и др. Автобиография А. В. Якимовой напечатана в энциклопедическом словаре «Гранат», т. 40.

² О Л. И. Мечникове см. нашу публикацию «Революционный эмигрант о Толстом и толстовщине» в альманахе «Прометей», т. 2, стр. 150—157.

³ Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР (ЦГАОР), ф. 6753, оп. 1, д. 30, лл. 1—5.

⁴ В. Л. Модзалевский, Малороссийский родословник, т. 2, Киев, 1910, стр. 69.

⁵ См. «Воспоминания Льва Тихомирова». М.—Л., 1927, стр. 120.

⁶ М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.—П., 1923, стр. 591.

⁷ См. вступит. статью Е. Л. Рудницкой к публикации писем Н. И. Жуковского — Огареву. «Литературное наследство», т. 62, М., 1955, стр. 133—134.

⁸ Н. А. Морозов, Повести моей жизни, т. I, М., 1961, стр. 332.

для молодежи «живой летописью прошлого»¹. Его остроумие, находчивость, талант неотразимого полемиста, неукротимая энергия, сердечность и богатое прошлое создавали ему положение первого лица в эмигрантском обществе. «Никакое предприятие, — вспоминал Л. Г. Дейч, — большое или незначительное — конгресс, новый орган печати, банкет, товарищеский суд и т. п. — не обходилось без самого активного участия Николая Ивановича»². Каждый новый русский эмигрант, попавший в Швейцарию, мог рассчитывать на помощь Жуковского — и действительно получал ее. В теоретических вопросах он был беззаботен, но активно сотрудничал в «Народном деле» и нечаевском «Колоколе», в «Работнике» и «Общине» и считал себя народником.

Н. И. Жуковский похоронен на Женевском кладбище. На его надгробии написано: «Николаю Ивановичу Жуковскому, 1833—1895. Борцу за свободу, умершему в изгнании (1862—1895) от товарищей, друзей, почитателей (Женева)»³.

Об отношении Жуковского к Мечникову можно судить по его письму, присланному ко дню рождения Льва Ильича в конце мая 1888 года, за месяц до смерти последнего: «Дорогой мой Лев!

Два словечка скажу Вам. Обнимаю Вас и благодарю за артистические моменты, которые пришлось мне переживать с Вами. Почему артистические? Очень просто. Драгоценный учитель наш Герцен говорил так: нравственное чувство в человеке есть не что иное, как художественное чувство. В ком его нет, кто не художник, тот и нравственность может понимать только по Филарету⁴.

Посылаю Вам привет, милый мой художник. Никогда не забуду, что Вы единственный русский, с кем довольно полуслова, чтобы его понять и оценить. Вы сказали мне много такого, что нигде не помечено и не записано. Я, по счастью, все помню и поделюсь моим богатством со всяким, «имеющим уши — слышать и мозг — понимать».

Обнимаю Вас, мой милый Лев.

Скоро к Вам приеду. Ольге Ростиславовне и Наде привет.

Пью рюмочку коньячку за Леву!

Ваш Жук»⁵.

Мечникова и Жуковского связывала не только нежная дружба, но и совместная революционная деятельность. Оба они принадлежали к тем немногим шестидесятиникам, которые всю жизнь оставались революционерами. Поэтому стихи, написанные к юбилею

друга, содержат и оценку собственной деятельности, и размышления о судьбах своего поколения, о путях русской революции.

Тому лет двадцать здесь — в Женеве,
Нигилистический конгресс⁶
Мечтал создать в бессильном гнев
России вольность и прогресс.

Немало было заблуждений —
Наивных грез, излишних слов,
Но больше искренних стремлений,
И каждый, точно, был готов

Костями лечь за подвиг правый,
Народу честно послужить,
И в слушный час⁷ в борьбе кровавой
Башку удалую сложить.

Теперь мне жаль таких мечтаний,
И не смущен я оттого,
Что из тогдашних начинаний
Не вышло ровно ничего,

Что, как волшебная девица,
У Черномора под замком,
Отчизна наша все томится
Под митрофановским ярмом.

На смену нам бойцы другие
Пришли — привет и слава им!



¹ Л. Г. Дейч, Русская революционная эмиграция 70-х годов. П., 1920, стр. 18.

² Там же, стр. 21.

³ В. Чернопятов, Русский некрополь за границей, вып. 2. М., 1909, стр. 18.

⁴ Имеется в виду «Катехизис» — руководство для элементарного обучения православной вере, изданное московским митрополитом Филаретом.

⁵ ЦГАОР, ф. 6753, оп. 1, д. 49, л. 2.

⁶ Нигилистический конгресс — съезд заграничных землевольцев в конце декабря 1864 — начале января 1865 года в Женеве. О нем см.: Б. П. Козьмин, Из истории революционной мысли в России. М., 1961, стр. 515—534.

⁷ Слушный час — «должное время», «заветный срок» (польск.) — наивно ожидаемый крестьянами день объявления «настоящей воли». С крушением этой наивной веры русские революционеры 1860-х годов связывали вообще крестьянское восстание. См.: И. С. Миллер, «Слушный час» и тактика русской революционной партии в 1861—1863 гг. В кн.: «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1963, стр. 147—164.

Приемы их совсем иные,
Их смелый дух несокрушим.

Победа их не за горами...
Но вспомним прошлое, друзья, —
Ведь старых двое здесь меж нами
Собралось нынче — Жук да я.

Немало их легло безвестно
В могиле тяжелой и сырой,
Помянем тех, что пали честно,
В борьбе неравной и крутой.

Другие... Ну, о тех ни слова...
Они далеко прочь ушли
И в молодцах у Полякова
Сребрают лавры и рубли...¹

Один по-прежнему обычен,
Поднимем в честь его стакан.
Он и в борьбе не изломался
И не ушел во вражий стан.

Чему служил в былое время,
Тому служить и нынче рад,
Ему годов не тяжко бремя,
Хоть их ему и 50.

Мечников вспоминает искренность убеждений и готовность к самопожертвованию своих старых товарищей. Но теперь он сознает всю глубину заблуждений революционеров 1860-х годов, надеявшихся достичь скорой победы со своими разобщенными и слабыми силами. Он сожалеет, что только тяжелый опыт поражения и многие жертвы рассеяли наивные грезы и мечтания.

Шестидесятник приветствует пришедшее на смену новое поколение русских революционеров, более многочисленных, сплоченных, вооруженных опытом своих предшественников, и верит в близкую победу русской революции.

Отдавая должное памяти честно павших «в борьбе неравной и крутой», Мечников с презрением отворачивается от людей, подобно Н. И. Утину, свернувших с революционно-го пути.

Сам Мечников, как и Н. И. Жуковский, до конца жизни оставался верен своим убеж-

дениям и, хотя мечтал вернуться на родину, понимал, что это невозможно.

«Возвращения на родину я желал бы страстно и пламенно, — писал он в письме к матери в 1869 году, — но все то, что я говорил пале об этом в Мариенбаде, приходится повторить и теперь. Могу явиться я на границу и требовать над собой суда; но это дело чересчур рискованное; главное, нельзя предвидеть — чем рисковал бы в таком случае: может быть, всего несколькими месяцами ареста в крепости, а может быть, и несколькими годами каторги. Могу, с другой стороны, просить амнистии, но она может иметь серьезное значение только для тех, которые, подобно, например, Кельсиеву², решились давать осязательные доказательства своего раскаяния — то есть, попросту говоря, доносить на всех и каждого, не щадя ни своих больших приятелей, ни своей честности. Для человека, не желающего прибегать к таким проделкам, пользование амнистией — вещь крайне опасная: по приезде его могут забрать под самым ничтожным предлогом — и даже без предлога — и наказать по суду и без суда не только за все прежние поступки, но еще и за нераскаянность. Судите сами: благоразумно ли с моей стороны было бы возвращение, которого я желал бы настолько пламенно, что ни на минуту не задумался бы вернуться, если б был уверен, что мне грозит не больше как заключение в крепость на год или ссылка на жительство в отдаленные губернии»³.

¹ Прозрачный намек на Николая Исааковича Утина (1841—1883) — видного деятеля первой «Земли и воли», одного из вождей «молодой эмиграции» и члена Русской секции I Интернационала. В семидесятых годах Утин отошел от революционной деятельности, а затем с разрешения царского правительства возвратился в Россию и управлял заводами Полякова на Урале.

² Кельсиев Василий Иванович (1835—1872) — русский эмигрант, литератор и революционер, сотрудник изданий А. И. Герцена. В 1867 году вернулся в Россию, написал «Исповедь», где отрешился от своего прошлого и получил полное прощение.

³ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, д. 407, л. 1.

**И. Порох
(Саратов)**

Первый пострадавший

28 января 1858 года в «Официальной части» «Ведомостей С.-Петербургской полиции» под рубрикой «Особые известия» была напечатана информация, которая привлекла к себе внимание и вызвала различные толки в столице России.

«До сведения правительства, — сообщалось в ней, — дошло, что проживающий в С.-Петербурге отставной надворный советник Мухин читал в одном из здешних трактиров находившимся там людям изданные за границей сочинения преступного содержания. Произведенным исследованием и собственным сознанием Мухина сведение это подтвердилось, а потому он выдержан под стражею и выслан из С.-Петербурга в одну из отдаленных губерний под строгий полицейский надзор».

Хотя в этом официальном сообщении «изданные за границей сочинения преступного содержания» не назывались (имелся высочайший запрет называть имена «государственных преступников» и их издания в печати), современники безошибочно определили, что речь шла о «Колоколе».

В агентурном донесении шефу жандармов 17 сентября 1858 года сообщалось: «Один из подмастерьев башмачного мастера Соболева, Прокофий Николаев, рассказывал в мастерской своим товарищам при агенте, что быв в гостях у камердинера почт-директора г. Лаубе, он видел издаваемую за границей газету под названием «Колокол», которую камердинер, убирая постель барина, нашел у него под подушкой. Всей газеты он прочесть не смог, потому что г. Лаубе скоро возвратился домой, но, однако, успел начать читать одну статью, в которой

отлично отделаны наши господа; про них написано там, что сколько царь ни будет давать им чинов, орденов, денег и других наград, но они всегда останутся грязными и т. п. При этом рассказчик сознался, что ему очень бы хотелось достать эту газету, но ее не продают в книжных лавках и что он ходил за нею даже в книжный магазин Юнгмейстера, но там его настрашили, что отправят в полицию, после этого он уже и не спрашивал ее в лавках, а постарается достать через упомянутого камердинера, который говорил ему, что ее получают многие почтамтские чиновники прямо из-за границы. Рассказ его о содержании газетной статьи возбудил всеобщую насмешку над сословием дворян и повел к различным суждениям. По общему мнению мастеровых, газета эта должна быть та самая, за чтение которой в трактире, как было напечатано в «Полицейской газете», сослан какой-то чиновник Мухин»¹.

Действительно, отставной надворный советник Павел Мухин, занимавшийся частной практикой по судебным делам, имел неосторожность 26 декабря 1857 года читать в Новотроицком трактире своим знакомым первый лист «Колокола». Факт этот был установлен агентом III отделения, и Павла Мухина арестовали.

29 декабря шеф корпуса жандармов и главноуправляющий III отделения князь Долгоруков на специальном листочке «Для памяти» (эти листочки были неотъемлемой частью всех дел, поступавших в III отделение) написал своему начальнику штаба генералу Тимашеву: «Я велел Мухина задержать у нас и принять его под арест. Допрос сделать ему сегодня же, узнать обстоятельно, откуда он достал «Колокол» и с какой целью он его читал. По данным, сообщенным графом Шуваловым (петербургским обер-полицеймейстером. — И. П.), надобно полагать, что он сознается. О последующем меня уведомлять, и тогда я увижу, как с ним поступить. Для допроса выберите кого угодно по вашему усмотрению, но поставить непременно выбранному лицу, чтобы означенный допрос был сделан обстоятельно и ловко»².

Вести расследование по делу Мухина бы-

¹ Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 109, секретный архив, ед. хр. 3220, лл. 48 об. — 49.

² Там же, ф. 109, 1 эксп. оп. 5, 1857, ед. хр. 382, лл. 6—7 об.

по поручению опытного чиновнику III отделения, действительному статскому советнику Крейцу, впоследствии обер-полицейстеру Москвы. На допросе Павел Мухин показал, что получил «Колокол» от художника Василия Ивановича Исакова и по прочтении вернул ему. «Чтение этого журнала, — продолжал свои показания Мухин, — было одно лишь любопытство, но не из каких-либо целей, и хотя я сам чувствую, что это действие было весьма неосмотрительно, но, принимая в уважение, что милостивое начальство не будет видеть с моей стороны какого-либо дурного намерения, имею честь покорнейше просить благосклонного снисхождения»¹. На отдельном листке рукой Долгорукова написано: «Допрос этот прочтен и возвращен мне его величеством. 30 XII»².

По приказу Долгорукова полковник Ракев произвел обыск на квартире Исакова, но ничего подозрительного не обнаружил.

«Художник Исаков отрицал сначала показание надворного советника Мухина и утверждал, что он листка «Колокола» не передавал ему и никогда не видел одного, но потом на очной ставке, уличенный Мухиным, сознался и показал следующее: 1. Листок этот принес к нему недели три назад художник Федор Иванович Захаров (проживающий на Васильевском острове в 3-й линии, на Среднем проспекте, в доме Борисова) и, прочитав ему несколько статей оного, оставил у него; через некоторое время после того Мухин, увидев у него этот листок, взял его для прочтения и скоро принес обратно, а потом взял оный для прочтения священник церкви Александровской мануфактуры (фамилии его не знает) и до сих пор не возвратил.

2. Захаров говорил ему, Исакову, что есть еще другие номера «Колокола», и обещал достать оные, но до настоящего времени не исполнил сего.

3. Кроме Мухина и священника, он никому бывшего у него номера не давал; других же номеров никогда не видел.

4. От кого же получает этот журнал Захаров, он, Исаков, не знает».

Исаков был доставлен в III отделение вместе с 15-летним сыном — оба были арестованы из опасения, что могут предупредить Ф. И. Захарова или священника. Допрос Исакова состоялся 31 декабря 1857 года, а уже на следующий, 1 января 1858 года, Долгоруков записал: «Доложено его величест-

ву», и далее: «Продолжать дознания с возможной быстротой»³.

Обыск на квартире Ф. И. Захарова не дал никаких улик. 4 января 1858 года Кранц допрашивал арестованного. На вопрос: «От кого получили вы «Колокол», для чего он дан вам, сколько номеров и экземпляров каждого номера получили вы и когда именно?» — Захаров отвечал: «От художника Вильямса Каррика, великобританского подданного; он предложил мне этот журнал для прочтения; я получил от него три номера (№ 1, 2, 3) по одному экземпляру, это было месяца полтора тому назад»⁴. Прочитав три номера «Колокола», Ф. И. Захаров первый лист отдал Исакову, а два других сжег.

Признание Ф. И. Захарова в том, что он получил запрещенную газету от великобританского подданного, несколько озадачило руководителей III отделения. Подробная справка о Вильяме Каррике была доложена 5 января 1858 года царю. На другой день Долгоруков предписал Кранцу: «Благовидным образом, а не в виде полицейской меры пригласить ко мне г. Каррика завтра утром в 10 часов». 7 января Кранц записал: «Исполнено. Каррик был у князя». О чем говорил Долгоруков с Карриком, в делах III отделения не зафиксировано, но, видимо, шеф жандармов дал ему понять, что даже подданному Великобритании не безопасно распространять запрещенную в России газету.

Кроме Долгорукова и Кранца, активно участвовал в розысках распространителей и читателей «Колокола» начальник штаба корпуса жандармов генерал Тимашев. 4 января 1858 года он приказал полковнику Ракееву найти священника, которому Исаков давал «Колокол», узнать судьбу газеты и, если она еще у священника, отобрать ее. 5 января Ракеев представил Тимашеву отобранный у священника Свято-Троицкой церкви отца Павла разыскиваемый лист «Колокола». Но в каком виде был этот экземпляр! Тимашев не удержался, чтобы не заметить: «Из состояния, в котором находится прилагаемый № «Колокола», видно, что он немало ходил по рукам».

Долгоруков выразил недоумение и недо-

¹ ЦГАОР, ф. 109, секретный архив, ед. хр. 3220, лл. 12—12 об.

² Там же, л. 13.

³ Там же, лл. 20—21.

⁴ Там же, л. 25.

вольство по поводу того, что не допросили священника. Его рукой на листочке с записью Тимашева сделана приписка: «Разве священник не был спрошен, кому он давал читать прилагаемый № «Колокола»? Если это не было сделано, то напрасно»¹.

Исаковых и Захарова скоро освободили от ареста, сделав строгое внушение и отобрав расписки, что они будут молчать о причинах ареста и обещают впредь в случае получения от кого-либо «Колокола» или другого недозволенного сочинения немедленно представить оные шефу жандармов. Вся тяжесть наказания обрушилась на Павла Мухина. Не возымело действия слезное прошение арестованного о помиловании, которое он мотивировал тем, что его жена и трое детей, оставшись без каких-либо средств к существованию, обречены на голодную смерть.

Царь и его верный полицейский сатрап оказались жестоко бесчувственными и непреклонными. 11 января 1858 года Долгоруков послал министру внутренних дел С. С. Ланскому следующее отношение: «Получено было сведение, что проживающий в С.-Петербурге отставной надворный советник Павел Мухин читал некоторым лицам в одном из здешних трактиров издаваемый в Лондоне изгнанником Герценом журнал преступного содержания «Колокол».

Произведенным по этому предмету негласным исследованием и собственным сознанием чиновника Мухина сведения сии подтвердились, и государь император по всеподданнейшему моему о том докладу изволил высочайше повелеть: надворного советника Мухина выслать из С.-Петербурга и подвергнуть его полицейскому надзору»². Долгоруков просил Ланского определить место для высылки П. Мухина.

18 января 1858 года Ланский назвал г. Мезень Архангельской губернии. Но высылка Мухина задержалась из-за отсутствия у него теплой одежды и средств для ее приобретения. Пришлось экипировать осужденного на казенный счет. 23 января 1858 года Долгоруков в официальном отношении на имя С.-Петербургского военного генерал-губернатора Игнатьева, сообщая о высылке по высочайшему повелению П. Мухина за чтение «Колокола», писал: «Признавая необходимым случай сей сделать общеизвестным, я считаю долгом препроводить к Вашему превосходительству составленную об этом статью. Имея честь покорнейше просить, не изволите ли

Вы, милостивый государь, приказать напечатать оную в «Ведомостях С.-Петербургской полиции»³. Так в полицейской газете появилось извещение о высылке П. Мухина.

Герцен узнал о расправе царизма над П. Мухиным из 51-го номера газеты «Nord», издававшейся в Брюсселе на деньги русского правительства. 1 марта 1858 года он поместил в 10-м листе «Колокола» заметку под названием: «Не стыдно ли?» В этой заметке Герцен писал: «Петербургские «Полицейские ведомости» извещают о возобновлении полицейского самоуправства в Петербурге. Случай, ими рассказанный, грустно напоминает нам черное время прошедшего царствования, которое мы tout de loup⁴ — считали прошедшим. Г-н Мухин за публичное чтение (верно, он читал какому-нибудь приятелю вслух?) чего-то печатанного за границей (не «Колокола» ли? все таинственности!) и притом преступного содержания⁵ сослан под надзор полиции в «отдаленную губернию (...)

Новость эта очень важна. До нее мы еще не слыхали о политических гонениях Александра II. Что же, это начало их, что ли?»⁶.

Герцен совершенно правильно оценил значение дела Мухина в борьбе царизма против изданий Вольной русской прессы. Объявляя печатно о строгом наказании человека, занимающегося публичным чтением запрещенных изданий, правительство Александра II думало этим запугать тех, кто интересовался «Колоколом». Но оно в этом серьезно просчиталось. Вскоре за П. Мухиным попали в ссылку читавшие и распространявшие «Колокол» книгопродавцы Лаврецов и Крашенинников, подверглись строгому административному взысканию кадеты Левченко и Мишевский, купец Придорогин и многие, многие другие. Список же лиц, пострадавших за чтение «Колокола», открывает имя Павла Мухина.

¹ ЦГАОР, ф. 109, секретный архив, ед. хр. 3220, л. 39.

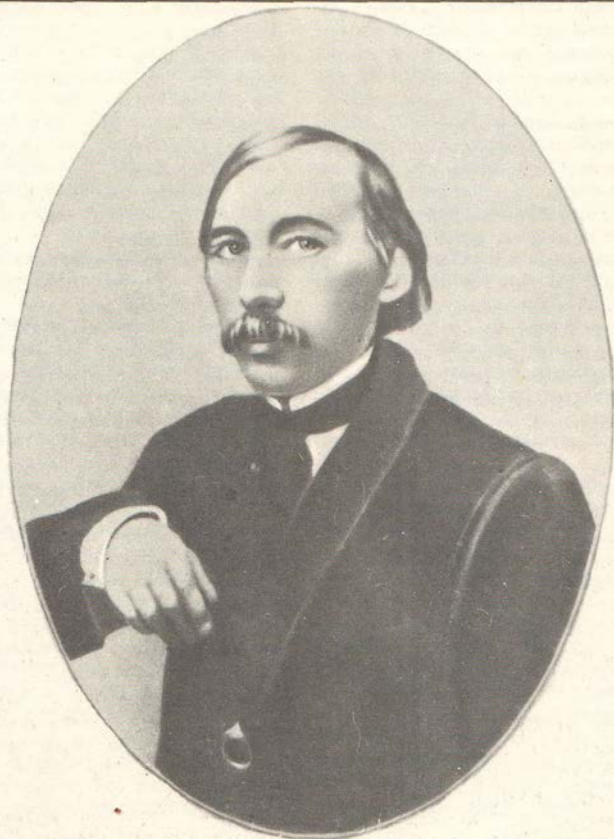
² Там же, л. 40.

³ Там же, л. 46 об.

⁴ Всерьез (франц.).

⁵ Так и сказано в французском тексте «Норда». (Примеч. Герцена.)

⁶ А. И. Герцен. Собр., соч. в тридцати томах, т. XIII, стр. 806.



Б. В. Смиренский
Поэт-петрашевец
С. Ф. Дуров под секретным
надзором

Участник процесса петрашевцев, поэт Сергей Федорович Дуров (1816—1869) известен как оригинальный поэт-лирик, в творчестве которого отразились демократические настроения сороковых годов XIX века, как переводчик французских политических поэтов — Арно, Барбье, Беранже, Гюго, Шенье и др. Владея многими языками, Дуров переводил также с английского (Байрон), польского (Мицкевич), итальянского (Данте) и из древних. Менее известна проза Дурова, однако в написанных им «физиологических очерках» отражен протест против крепостничества, что придает им также литературный интерес.

В 1846 году Дуров вступил в тайную про-тивоуправительственную организацию М. В. Бу-ташевич-Петрашевского, ставившую целью пропаганду социалистических воззрений,

а в следующем году организовал свой революционный кружок. Здесь Ф. М. Достоевский читал знаменитое письмо Белинского к Гоголю, а сам Дуров — свой перевод из Барбье.

В апреле 1849 года Дуров был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Военный суд приговорил его «за участие в преступных замыслах и за покушение к распространению сочинений против правительства» к смертной казни расстрелянием.

На эшафоте, построенном на Семеновском плацу, Дуров стоял рядом с Ф. М. Достоевским и поэтом А. Н. Плещеевым, с которыми обнялся при прощании. Но в этот момент ему была объявлена конфирмация царя: лишиться всех прав состояния, сослать в каторжные работы в Сибирь на четыре года, после чего отдать в солдаты.

За годы каторги и ссылки поэт не написал ни одной строки.

Стихотворения С. Ф. Дурова, печатавшиеся в лучших журналах сороковых годов, его переводы, отмеченные Белинским, — все обещало ему большое литературное будущее, и все это было зачеркнуто мстительной рукой царя.

Измученный четырехлетней каторгой, полуслепший, с жестокой болезнью ног, Дуров решил поселиться в Одессе у своего товарища по процессу — поэта и драматурга А. И. Пальма. Далекий от столицы южный город Одесса во времена Николая I был местом ссылки передовых русских людей. Здесь проводили невольные досуги А. Пушкин и А. Мицкевич. Побывали здесь декабристы Пестель, Волконский, Лунин.

Узнав об отъезде Дурова, другой товарищ по процессу, поэт А. Н. Плещеев, находившийся в оренбургской ссылке, обратился к Дурову с папуستنным стихотворением, в котором выразил надежду на восстановление на юге его здоровья и поэтического дара:

Уедешь ты на теплый юг!
И где лазурью блещет море,
Покинет тело злой недуг!
Покинет сердце злое горе.
Там отдохнет в семье друзей
Душа, изведавшая муки,
И песен, выстраданных ей,
К нам долетят святые звуки...
И если радостные дни
Придут, послушные желанью,
Меня, собрата по изгнанию,
Ты добрым словом вспомняи!

В июле 1857 года Дуров приехал в Одессу и прожил здесь десять лет, состоя под секретным надзором полиции. Дело канцелярии одесского градоначальника об учреждении за Дуровым секретного надзора хранится в Одесском областном архиве. Его пожелавшие от столетней давности страницы раскрывают нам обстоятельства пребывания в Одессе опального поэта и преследования его царскими жандармами. Вот донесение о приезде:

«Его сиятельству г. Одесскому Градоначальнику и кавалеру, Одесского полицмейстера рапорт.

Во исполнение предписания Вашего сиятельства за № 997-м честь имею почтительнейше донести, что состоящий под секретным надзором, уволенный от службы писец 3 разряда Сергей Дуров прибыл в Одессу 14-го июля, по паспорту, выданному из Областного Правления Сибирских киргизов от 17 мая с. г. за № 153, и остановился в доме подпоручика Волохова. Докладываю при том, что над ним, Дуровым, надлежащий надзор учрежден. Полковник Вейнберг. 20 июля 1857 г. № 2217».

Дуров поселился в Театральной переулке в доме Д. К. Волохова, на племяннице которого был женат А. И. Пальм. Положение поднадзорного создавало невыносимые условия для жизни. Об этом Дуров писал из Одессы своему другу по сибирской ссылке И. И. Пущину.

13 февраля 1858 года:

«Годовое сидение в рavelине, четырехлетнее влечение кандалов в бесчеловечной каторге, двухлетняя сибирская лямка и, наконец, амнистия и возвращение дворянских прав могли бы, особенно в наше разумное и хваленое время, развязать мне руки, по крайней мере, на заработку насущного куска хлеба. Но между тем на самом деле мой аттестат и присмотр полиции связывают меня не только по рукам, но и по ногам... Преподавать — нельзя, писать под каким-нибудь псевдонимом — того и смотри, что попадешь под новую опалу на старости лет»¹.

Дочь А. И. Пальма, А. А. Тхоржевская, оставила воспоминания о жизни Дурова в Одессе, до сих пор не опубликованные. Вот отрывок из них: «У него всегда была отдельная комната и отдельный слуга...

¹ Автограф хранится в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина (Москва).

Мы, дети, не смели входить в комнату Сергея Федоровича, изредка он сам приводил нас туда, чтобы показать что-нибудь, но там было неуютно, пахло лекарствами и нюхательным табаком. На каторге Сергей Федорович приобрел жестокий ревматизм; ноги служили ему плохо: издали можно было всегда узнать его походку, медленную и слегка дрожащую (причем сапоги его всегда скрипели). Говорят, он был высокого роста, но я помню его всегда [слегка] согорбленным, в черном сюртуке и с неизменным серым клетчатым пледом на плечах; в руках — простая берестовая табакерка; пестрый фулярный платок торчит из кармана; на носу пенсне, в которые он разглядывает свои больные руки, маленькие, изящные руки, пораженные на верхней стороне сухими лишаями — тоже память каторги. Бледное, худое лицо, седые усы, запачканные табаком, седые волосы, когда-то черные и густые, зачесанные по-русски, сбоку на лоб, висевшие длинными прядями, причем одну непослушную прядь он часто поправлял со лба на ухо, и глаза его — большие и близорукие, смотрящие рассеянно в неопределенную даль и только изредка загорающиеся ярким саркастическим блеском, — вот приблизительно тот внешний облик Сергея Федоровича, который скорее отталкивал людей, чем привлекал. Его, насколько я помню, все побавались, по крайней мере его присутствие всех несколько стесняло. Только отец мой, от природы всегда веселый и жизнерадостный, чувствовал себя в присутствии Сергея Федоровича бодрее, точно тот являлся для него лишней точкой опоры. И Сергей Федорович относился к нему, в свою очередь, как-то особенно мягко и внимательно. Между ними была истинная, хотя и не совсем равноправная, дружба старшего и младшего»¹.

Но, несмотря на это, Дуров не пал духом, он не терял веры в свои силы и в силы народа. Характерны в этом отношении его стихи, написанные в Одессе:

Нет, нет, без веры жить нельзя!..

За время жизни в Одессе Дуров дважды посетил имение декабриста Фонвизина Марьино Бронницкого уезда, в 50 километрах от Москвы.

Владелец имения, член Союза Благоденствия М. А. Фонвизин возвратился из сибирской ссылки в 1853 году и в следующем году умер. Он похоронен у Бронницкого собора,

где до сих пор можно видеть памятник на его могиле.

Здесь, в двух километрах от города Бронницы, в большом доме, окруженном тенистым садом, доживала свой век Наталья Дмитриевна Фонвизина.

Этой женщине ссыльный поэт был многим обязан. Еще при встрече в 1850 году в Тобольске, куда привезли следующего на каторгу Дурова, Н. Д. Фонвизина решила выдать себя за его тетку, что помогло впоследствии облегчить его участь. Со временем это вымышленное родство, сохраняемое от всех в строгой тайне, перешло в крепкую дружбу гонимых царским правительством людей. В одном из писем к А. И. Пальму Дуров написал о ней: «Ты и она, она и ты — вот все, что я имею на свете самого доброго, верного и спасительного, без вас обоих для меня жизнь немислима».

После смерти М. А. Фонвизина Наталья Дмитриевна вторично вышла замуж за товарища его по сибирской ссылке — Ивана Ивановича Пущина.

В первый приезд Дурова в Марьино летом 1858 года И. И. Пущин был еще жив. О своем житье в имении Дуров писал А. И. Пальму: «Книг здесь, как говорится, ешь — не хочу, тьма! и я таки даю им знать. Недавно прочел последнее сочинение Аксакова «Внук Багрова» — и, признаться, совершенно разделяю о нем мнение «Атенеев». Рассказ, или, вернее, манера писать — чудная, но сущности никакой. Читаешь с удовольствием и с зевотой вместе. Из газетных известий меня поразила смерть Иванова, об картине которого ты так недавно еще писал мне. Бедный, бедный труженик, проработав целую жизнь, он не имел даже времени дожидаться оценки своего произведения!.. Иван Иванович в тот же день написал в Питер, чтоб ему выслали фотографию с его картины — посмотрю, что это такое... Теперь у меня по крайней мере выходит три часа в сутки на прогулки по саду и окрестностям деревни...»

Как видим, Дуров пользовался библиотекой Пущина, читал «Детские годы Багрова-внука», но описания патриархального помещичьего быта у поэта-обличителя Дурова не вызвали ничего, кроме зевоты. В письме речь идет также о смерти известного русского худож-

¹ Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) (ИРЛИ), ф. Р 1, оп. 22, № 231. Публикуется впервые.

ника Александра Иванова в 1858 году и его картине «Явление Христа народу».

В 1859 году в Марьине произошла встреча Дурова с В. П. Бурениным¹, о которой последний рассказывает в своих воспоминаниях о Н. Д. Фонвизинной²:

«После смерти Пушкина Наталья Дмитриевна поселилась в Москве, купила небольшой двухэтажный особняк на углу Садовой и Ермолаевского пер. Мне поручена наружная и внутренняя отделка дома. Тогда я был юношей 19 лет, а теперь мне 85. По окончании отделки особняка Н. Д. поручила мне отделку дома в Марьине, где умер Пущин³. Я жил три месяца в этом доме в обществе воспитанницы Н. Д., молодой дамы (она в Сибири вышла замуж в 16 лет, но несчастливо, ушла от мужа и постоянно жила в Марьине). Кроме меня и этой дамы и старой-престарой нянюшки, завед. хоз., жил еще петрашевец С. Ф. Дуров. Он очень благоволил ко мне за то, что я в то время переводил «Ямбы» Огюста Барбье. Дуров высоко ценил этого поэта, и две-три пьесы Барбье были еще в 40-х годах в его переводе напечатаны в «Современнике»⁴. Жил Дуров в Марьине потому, что в Москве ему после возвращения из ссылки жить не было дозволено.

Я вспоминаю всегда о Дурове как о талантливом и очень образованном человеке, любящем литературу. Благодаря его указаниям я перевел лучшие из ямбов Барбье. Сергей Федорович очень хвалил мои переводы. Но в то время их по цензурным условиям печатать было невозможно... С. Ф. Дуров был убежденный социалист и красноречивый пропагандист теории Фурье, Кабе с братьей⁵.

Когда мы жили в Марьине, он, бывало, по целым часам излагал социалистические теории не только мне, но и той молодой даме, воспитаннице Н. Д., о которой я упоминал. Дама, разумеется, скучала, и нередко мы с ней уходили в парк гулять. С. Ф. скучал от недостатка слушателей, обращая свои поучения к старухе няне⁶, и та молча слушала его речи и вязала чулок.

Нужно заметить при этом, что Дуров любил пересыпать свою речь французскими фразами. Я как-то спросил няню — понимает ли она, о чем говорит ей С. Ф.? Она наивно мне ответила: «Понимать, батюшка, ничего не понимаю, но видно, что умный и большой учености человек». Дуров, к слову сказать, действительно был очень умен, но в жизни оказывался непрактичным до странности.

Н. Д. шутя называла его старым ребенком, очень любила и уважала и относилась к нему как заботливая мать. В Марьине я жил в том кабинете, где провел последние годы Иван Иванович Пущин и где он умер.

В этом кабинете был диван, на котором он спал и скончался. Над спинкой дивана помещалась небольшая полка, уставленная томами сочинений Пушкина, изд. Анненкова, в богатых переплетках. Кроме томов анненковского издания, был еще один добавочный том в том же формате с надписью на корешке «Пушкин». Но этот том был с чистыми листами. И. И. незадолго перед своей кончиной предполагал записать в этом томе стихи Пушкина, не бывшие в печати, которые он успел собрать. Но болезнь и потом смерть не дали ему осуществить это намерение.

Н. Д. подарила мне этот том на память об И. И. Она мне рассказывала, что он в самые последние дни часто вспоминал о великом поэте, своем друге. Он благоговел перед Пушкиным и горячо любил его и почитал не только как гениального поэта, но и как лучшего и образованнейшего из людей своего времени.

Во второй приезд Дуров прожил в Марьине целый год — с 20 августа 1862 года по 20 июля 1863 года. Из его писем к Пальмы мы узнаем о продолжавшемся преследовании его полицией. Вот выдержки из них в хронологическом порядке⁷.

«20 августа 1862 г.

6 дней прошли скоро, и я опять на прекладной, а 19 августа уже в Марьине. В огромном доме, который ты, вероятно,

¹ Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — русский поэт и публицист, архитектор по образованию.

² ИРЛИ, ф. 36, архив В. П. Буренина. Воспоминания датированы ноябрем 1925 года.

³ И. И. Пущин умер в апреле 1859 года.

⁴ Первое стихотворение Дурова из Барбье «Дант» появилось в сборнике «Молодик». Спб., 1844 г.

⁵ Фурье Шарль (1772—1837), Кабе Этьен (1788—1856) — утопические социалисты, теории которых пропагандировали в России петрашевцы.

⁶ Марина Петровна Нефедова, последовавшая за семьей денабриста Фонвизина в Сибирь; последние годы жила в Марьине.

⁷ ИРЛИ, ф. Р 1, оп. 22, № 226. Публикуются впервые.

можешь себе привести на память, я теперь живу один-одинешенек. Санчо Панса, состоящий при мне, разве тем отличается от домашней утвари, что беспрестанно обращается ко мне с предложениями разных услуг.

В ту самую минуту, как я уже собирался сложить и запечатать письмо, ко мне явился посол от исправника за моим видом. Этого в первый мой приезд в Марьино не было. Должно быть, бдительность полиции надо мной в настоящее время усилилась. Боже праведный! Из чего, подумаете, люди бьются, видно, нечего делать... а между тем мне становится очевидно, что надо опять обратиться в Третье отделение — чего доброго, этак и совсем задавят...

3 ноября 1862 г.

Как ни грустно мне иногда бывает в Марьино, одному в огромных палатах, без всякой надежды на какую-нибудь встречу с живым лицом, но все-таки здесь по крайней мере я более у места, если не на месте, потому что знаю, что и завтра меня отсюда никто не выгонит.

3 декабря 1862 г.

Тотчас по приезде моем в Марьино я обратился с просьбой к П. М. Ковалевскому¹ об указании мне путей высвобождения. Этот добрый человек сделал более, чем я ожидал: обо мне была подана записка Долгорукову², но он отозвался, что, так как на просьбу мою, поданную в 1860 году, не последовало высочайшего соизволения, то он на сей раз не берется обо мне ходатайствовать. В конце этого месяца, то есть перед Новым годом, опять попытаюсь послать письмо Долгорукову, потому что просьба на высочайшее имя, во всяком случае, не минует его рук.

Ты спрашиваешь, друг мой, не заглядывал ли я в бумаги Ивана Ивановича? Нет, потому что в кабинете такой холод, что беда. Теперь читаю роман Гюго. В художественном отношении так себе. Но как протест против существующих порядков он весьма и весьма замечательное явление. Прощай, еще раз, душа моя!

19 декабря 1862 г.

Дни стали короче воробьиного носа, а при свечах и подумать не могу взять перо в руки, до того глаза болят. Капитальным моим занятием в это последнее время было чтение романа В. Гюго «Les misérables»³.

16 января 1863 г.

На праздниках я было располагал съездить в Москву, чтобы несколько развлечься и по-

видаться с Натальей Дмитриевной и Плещеевым, но эти планы рушились, не столько по моей болезни, сколько по причине недужного состояния Н. Д. и ее грустного расположения духа.

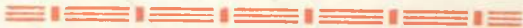
6 февраля 1863 г.

Представь себе, что земская полиция задала мне такой вопрос: на каком основании, получа четырехмесячное свидетельство от одесской полиции, я до сих пор продолжаю мое пребывание в Марьино? Имея при себе указ об отставке, мне, само собой разумеется, не трудно отвечать на этот любезный вопрос; но досадно и больно то обстоятельство, что ведь они видели этот указ и даже прописали его, а между тем все-таки как банные листы липнут. Я вижу, что человеку в моей шкуре нельзя жить в глухой провинции. Хорошо еще, что я заперся в четырех стенах и почти или даже, вернее сказать, совсем отрешился от света, а то, чего доброго, здесь ни за что ни про что, так, ради потехи, и под обух подведут.

Об каверзах, которые делает со мной полиция, всем без нужды не рассказывай: кто знает — из какой тучи гром грянет!

19 февраля 1863 г.

Я сажусь писать к тебе в этот самый великий и многозначительный день, когда, наконец, прерываются всякие обязательные отношения одного человека к другому. Как я ни жил, но, во всяком случае, благодарю мою судьбу, что дожил до этого дня. Хорошо было бы, если б я мог провести его среди людей, близких моему сердцу, но так как это было решительно невозможно, то я рад и тому обстоятельству, что провел его один-одинешенек, глаз на глаз с самим собой, без всякого соглядатая и случайного собеседника. За альбом с милыми сердцу моему изображениями я тебя благодарил и еще благодарю — иногда по целым часам я сижу над ним — и это, может быть, счастливейшие минуты моего существования⁴.



¹ Ковалевский Павел Михайлович (1823—1900) — беллетрист и стихотворец, автор романа «Итоги жизни», в котором Дуров выведен под именем Сорнева.

² Долгоруков В. А. (1804—1868) — шеф жандармов.

³ «Les misérables» — «Отверженные», роман В. Гюго, вышедший в 1861 году, на русский язык переведен в 1862 году.

⁴ Альбом с фотографиями детей А. И. Пальма, которых очень любил Дуров.

16 марта 1863 г.

Ты, вероятно, вскользь слышал от меня о детях покойного Ивана Ивановича Пущина — эти дети и были прямым поводом брака Натальи Дмитриевны с ним. Благородная женщина, желая законным образом обеспечить сирот и не дать их в обиду прямым своим наследникам, — браком с покойным приобрела некоторым образом право сделать то доброе дело, которое желала¹.

8 мая 1863 г.

Хочу как можно скорее известить тебя о дошедших до меня слухах, не подлежащих, кажется, сомнению, потому что они истекают из уст земских чиновников, под надзором которых я имею честь состоять, — о том, что в течение мая мне будет объявлено высочайшее разрешение на въезд и жительство в обеих столицах. По получении сего письма отвечай мне тотчас же, иначе очень может быть, что оно не застанет меня в Марьине...².

1 июля 1863 г.

...На днях как-то, завлеченный отличной погодой, я отправился в город пешком и зашел в уездное училище, более для того, чтоб отдохнуть, но прикрыл эту *arrière pensée*³ тем, что будто желаю ознакомиться с его библиотекой. Штатный смотритель, некто Воинов, бывший воспитанник Московского университета, встретил меня *à bras ouverts*⁴, пригласил к себе и угостил меня очень-очень интересной и толковой беседой. Надо правду сказать, что в настоящее время нет такого темного уголка, нет захолустья, где бы нельзя было и у нас встретить людей с толком и чувством. Беда только, что бедность, губящая бедность их заедает! Между множеством интересных и поучительных даже вещей он сообщил мне, что, читая русскую словесность, он *con amore*⁵ занимался ею в сороковых годах. «Не было, — говорил он, — мало-мальски замечательной статейки, выходявшей из-под русской прессы, которую бы я пропустил мимо рук. И помню имена всех тогдашних деятелей...» Говоря это, он с особенным чувством произносил и твое имя, которое, само собой, оставалось не беззвучным для моей души.

Известность, или, с позволения сказать, слава, на мой взгляд, чистейшая ерунда, выедающий глаза дым и еще даже нечто хуже того; но мысль, что то, что нами было когда-то высказано, запало на душу человека, — мысль отрадная, утешительная. Она сродняет нас даже с теми людьми, которых

мы никогда не видели и которых, может быть, никогда не увидим...

Пиши же комедию, между делом, ради бога, пиши!⁶ Когда вернусь, еще не знаю, но, во всяком случае, хотелось бы в августе быть вместе с вами. Здешние морозы мне больше не по костям».

Особенный интерес представляет письмо от 19 февраля 1863 года. При отмене крепостного права в 1861 году был установлен двухгодичный переходный период, когда крестьяне продолжали нести повинности в пользу помещиков и назывались временнообязанными. По словам Дурова, «в этот самый великий и многозначительный день» прерывались всякие обязательные отношения одного человека к другому. Боровшийся сам за освобождение и пострадавший в этой борьбе, Дуров благодарит судьбу за то, что дожил до этого дня. Эта мысль — о «не зря прожитой жизни» — высказывается им неоднократно. Так, в письме от 1 июля 1863 года, рассуждая о славе, он говорит: «мысль, что то, что нами было когда-то высказано, запало на душу человека, — мысль отрадная, утешительная». Вспоминая об этой борьбе в стихотворении, посвященном Н. Д. Пущиной, он говорит:

Что пали мы, как жертвы очищенья,
Взойдя на ту высокую ступень,
С которой видели начатки обновленья
И чуяли давно желанный день!

Только в июле 1863 года опальному поэту был разрешен въезд в столицы, и он уехал в Петербург.



¹ Брак Н. Д. Фонвизиной с И. И. Пущиным состоялся в 1857 году. Старшую дочь И. И. Пущина Анну Фонвизина выдала замуж за мирового посредника Палибина.

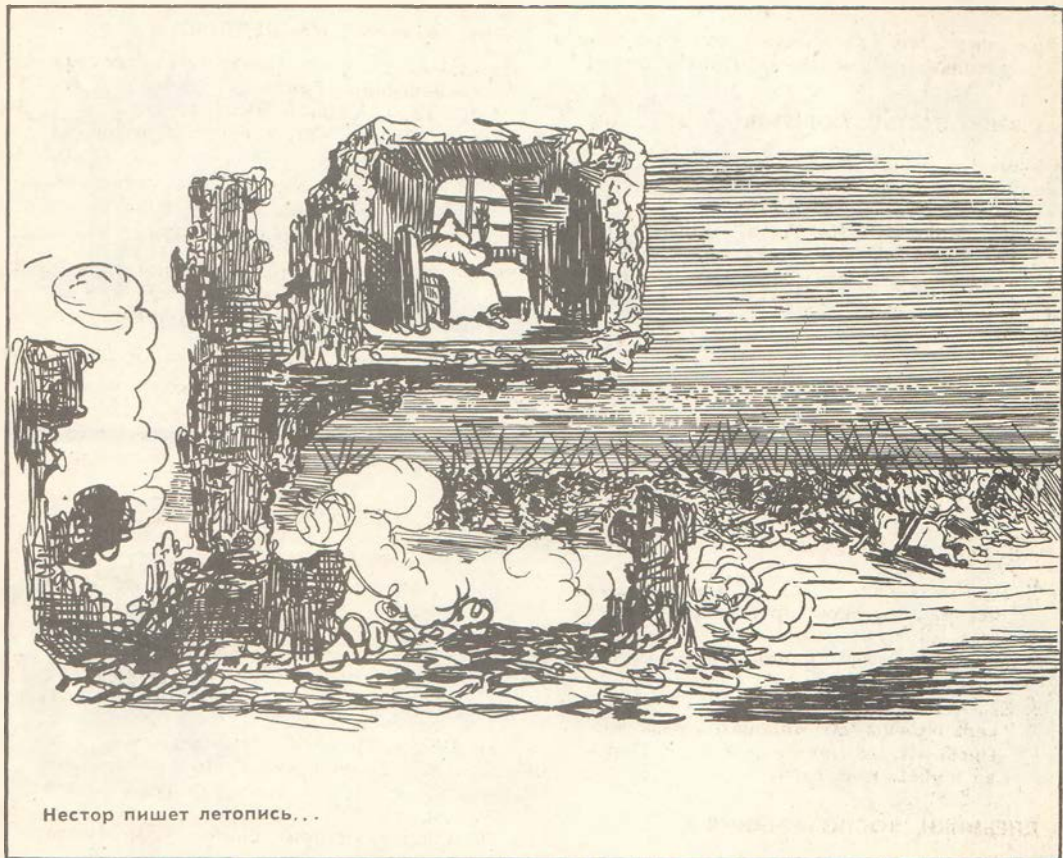
² 20 июля 1863 года Дуров был уже в Петербурге.

³ *Arrière pensée* — заднюю мысль (франц.).

⁴ *A bras ouverts* — с распростертыми объятиями (франц.).

⁵ *Con amore* — с любовью (итал.).

⁶ А. И. Пальм писал в это время комедию «Благодетель».



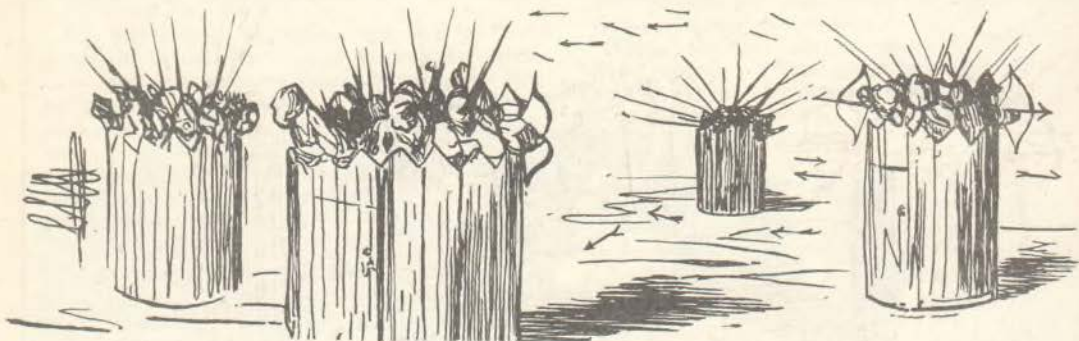
Нестор пишет летопись...

Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.

А. К. Толстой,
История государства Российского
от Гостомысла до Тимашева

Ю. Герчук
„История Святой Руси“
Гюстава Доре

1
О Гюставе Доре всегда говорят с оговорками: талантлив, но ему не хватало вкуса. Наблюдательность, соединенная с фальшью; грандиозная зрительная память, блестящая фантазия, темперамент — с внутренней пустотой, ходульностью; влюбленность в историю — с неумением чувствовать стиль и эпоху. Он возродил художественную книгу и внес в нее мещанскую роскошь. Его ругают,



Феодальная раздробленность.

Фантастическая генеалогия русских князей.



но переиздают, не признают классиком, но и не хотят забыть, как забыты тысячи его бездарных современников.

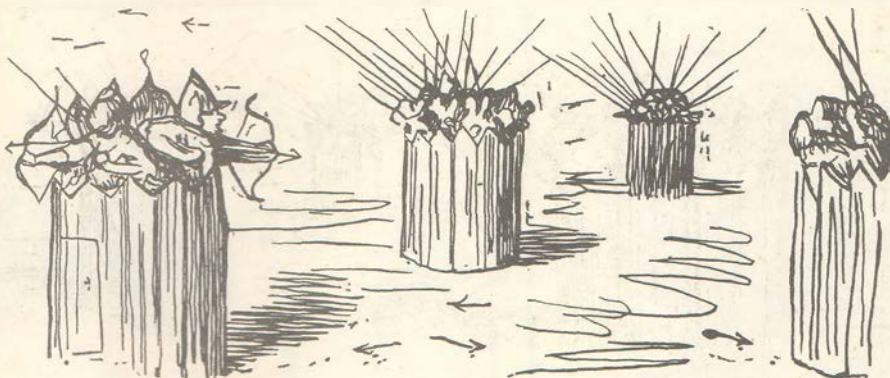
Он был в графике тем, чем его друг Дюма в литературе. То же сочетание размаха, блеска, фантазии, невероятной трудоспособности с поверхностностью псевдоисторических мелодрам. И такой же успех у современников и потомков и холодное осуждение знатоков.

Да, любить Доре, справедливо говорят знатоки, значит проявить неблестящий вкус, увлекаться внешними эффектами, принимать позолоту за драгоценный металл (недаром его фамилию расшифровывали, как *doré* — позолоченный)...

Но не любить Доре? О, это значит оказаться не только педантом и снобом, но и человеком неблагодарным. Это значит изменить себе, своему детству, первым и самым яр-

ким художественным впечатлениям. Не он ли показал нам нашего первого, на всю жизнь запомнившегося Дон-Кихота с его широкими жемами и фанатическим блеском в глазах, показал так конкретно и точно, до последнего волоска в бороде? И нашего первого Мюнхгаузена, и Пантагрюэля... Он вводил нас первый в блистательный мир классиков, делал его зримым и ясным, увлекательным и романтическим.

«Я проиллюстрирую все!» — говорил Доре, но сам мечтал не о графике, а о живописи, о скульптуре. Он писал громадные полотна, лепил грандиозные статуи. Его живопись и скульптура были ужасны. Мастер карикатуры — он был великолепной мишенью для карикатуристов. Его изображали пишущим картину, возвышающуюся над всем Парижем, уходящую верхним краем за облака.



Его изображали «механизированным романтиком», мчащимся на колесах с громадным карандашом в одной руке и кистью в другой. И правда, он работал как заводной: к сорока годам издал сорок тысяч рисунков!

Карьера его была блистательна. Вундеркинд, какие бывают только в музыке, в шесть лет он рисовал, как... как Доре! В пятнадцать издал прекрасный альбом карикатур — «Подвиги Геракла» — веселое издевательство над античным мифом. С шестнадцати был постоянным сотрудником парижского «*Journal pour rire*» и еженедельно заполнял страницу журнала своими рисунками. К двадцати трем годам Доре был уже автором нескольких альбомов гравюр и литографий и среди них «Истории Святой Руси».

2

«Живописная, драматическая и карикатурная история Святой Руси по летописцам и историкам Нестору, Никону, Сильвестру, Карамзину, Сегюру и др.», иллюстрированная пятьюстами гравюрами на дереве по рисункам Гюстава Доре, а вернее — составленная из этих гравюр и подписей к ним, сочиненных самим Доре, вышла в свет в Париже в 1854 году.

Но, рассказывая об этой книге, тоже приходится начинать с оговорки. Прежде всего ее молодой автор никогда не бывал в России, не был вовсе знатоком русской истории, не знал русского языка и имена Нестора и Карамзина, красующиеся на титульном листе, знал, разумеется, понаслышке. Очень смутно представлял он себе и материальную культуру страны, которую взялся изображать, так



Продолжение той же генеалогии.



что исторической достоверностью его рисунки не блещут — ни в целом, ни в деталях.

Книга эта не историческая, а политическая, и причиной ее появления была Крымская война. Франция воевала с Россией, и Россия попала под обстрел не только французского флота, но и французской графики. Карикатуры на «северного медведя» — Николая I, на воинственных казаков рисовали тогда и великий сатирик Домье и десятки других художников. В этот ряд становилась и забавная книжка Доре.

Понятно. Но тогда зачем нам эта книжка сейчас? Что интересного и важного мог в таких обстоятельствах увидеть в русской истории Доре — этот мальчишка, увлеченный дешевой идеей реванша за 1812 год (эта идея отчетливо проходит в книге)?

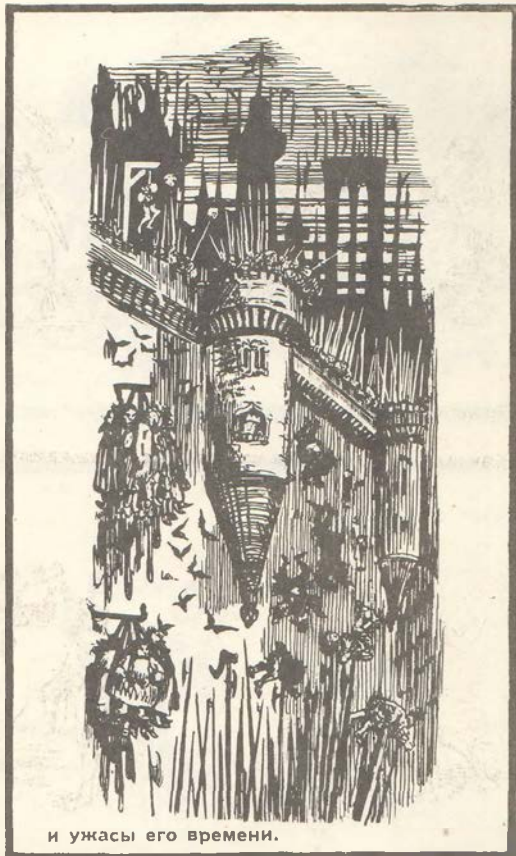
Но и тут дело обстоит, как всегда с Доре,

не так уж просто. Французская сатирическая графика только что пережила в сороковых годах период своего расцвета. И хотя новый Наполеон успел уже наложить на нее тяжелую руку цензуры, ее традиции и демократические симпатии были еще живы. Внутренняя политика Франции была для сатириков под запретом. Но о том, что делалось за рубежом, еще можно было кое-что сказать. Можно было, например, говорить о России. А Россия Николая I была для тогдашней Европы душителницей революций, настоящим символом всяческой реакционности, полицейского террора и страха.

Доре, собственно говоря, не был, как Домье, политическим карикатуристом. Его первые альбомы носили бытовой характер. Но и он, коснувшись политической темы, брал легко и уверенно тот же тон демокра-



Иван Грозный...



и ужасы его времени.

тической сатиры, насмешки не над страной и народом, а над порядками и правителями.

Опыт такого рода сатирической «истории» у Доре был: двумя годами раньше в альбоме литографий «Галльские безумства» он уже издевался, довольно, впрочем, поверхностно, над историей своей собственной страны, над такими нелепыми, с точки зрения практического и скептического XIX века, феодальными нравами, средневековыми костюмами, придворными обычаями. В «Истории Святой Руси» к этому прибавились вместе с русской экзотикой политическая актуальность и открытая ненависть к деспотизму.

Герои книги — русские князья и цари, бесконечно и безуспешно ходящие походами все на тот же Константинополь (тема очень злободневная в 1854 году), а у себя дома

развлекающиеся усобицами, князьями и пытками.

Есть тут, конечно, и битвы — столь любимые Доре пародийные древние побоища с лесом копий и с чудовищными очертаниями рыцарских доспехов (изучением материальной культуры Руси Доре себя не утруждал). Есть и ужасы «русской зимы» — белые медведи, метели, заметающие до крыши далекий Тобольск, и, главное, термометры на конях, изгоняющие из России наполеоновских всадников.

Сатира Доре прямолинейна порой до вульгарности, но она то и дело блещет находками, образами необычайного лаконизма и емкости, зримо воплощающими подчас весьма отвлеченные понятия. Вот, например, феодальная раздробленность страны, бесконечные войны крошечных княжеств: равни-



Битва — одна из многих в этой книге.

Царь забавляется.



И другой царь — тоже (Петр I).





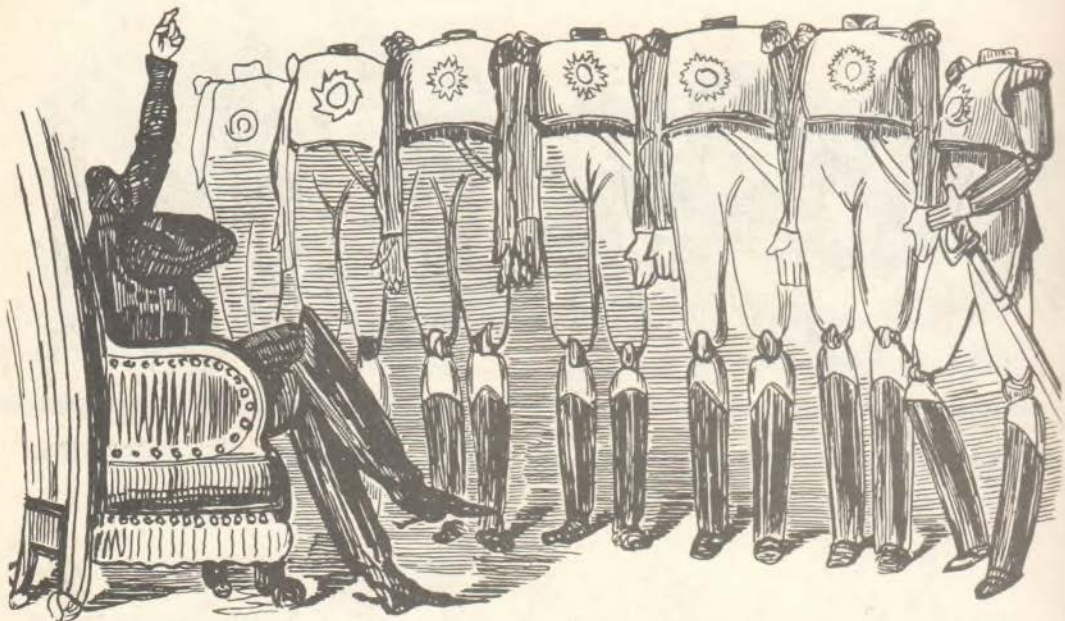
Павел I запретил своим подданным говорить...



Слезливый Александр I.

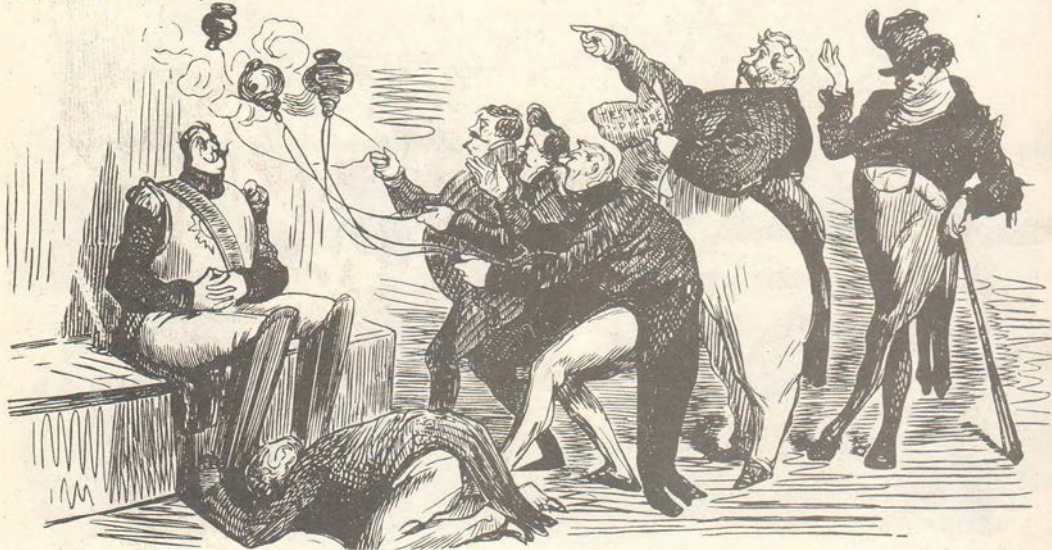
Помещики играют в карты.





Николай I и его генералы.

Царь и его льстецы.





Всеобщая подозрительность.

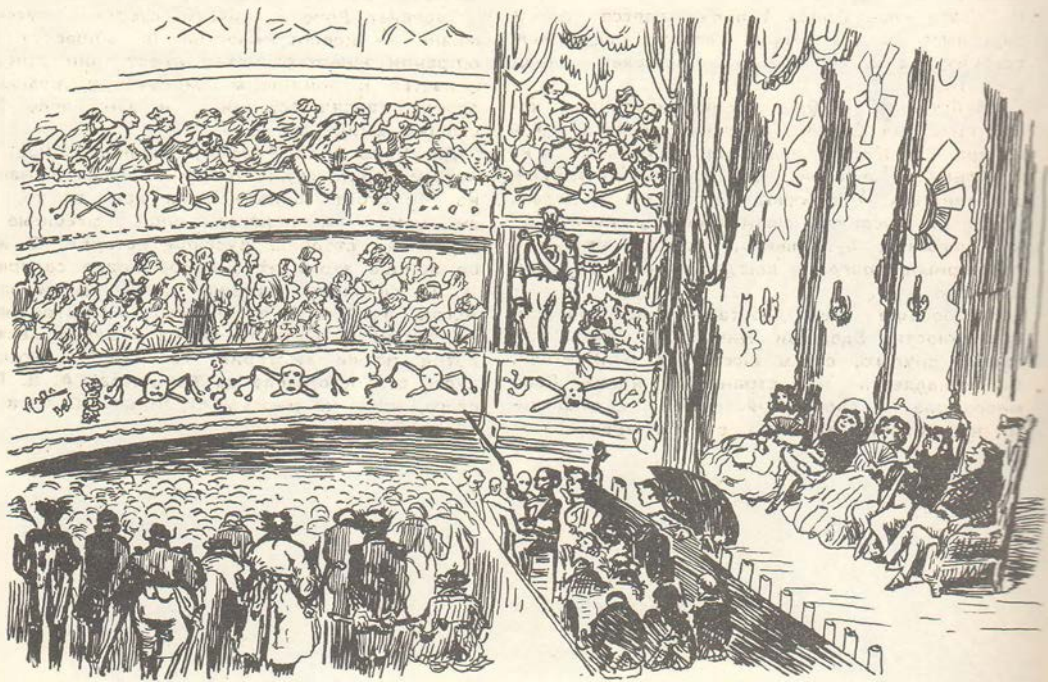


Самодержец в своем гареме.



Иностранец в гостинице.

Николай I в театре.



на, усеянная круглыми частоколами-крепостями, из которых торчат шлемы воинов. Пусто, только стрелы свисают от одного частокола к другому. Вот крепостничество, помещики проигрывающие людей в карты, — эти люди, скрученные тугими вязанками, как хворост, лежат тут же, на игорном столе.

В обличении политического террора царизма Доре изобретателен и непримирим. Вот эпоха Ивана Грозного — сплошное кровавое пятно. Это показано, так сказать, буквально: обычные ряды черных гравюр вдруг прерываются заполняющей целый лист кроваво-красной вляксой. Образ Грозного, хотя и совершенно не исторический, злая находка Доре: кругленький, жизнерадостный человечек в короне с добродушной улыбкой взирает на гроздь повешенных, сам участвует в пытках или мирно обедает рядом с дыбкой.

Петр I выглядит у Доре гораздо реальнее, портретнее. Но и в его царствовании художник видит тот же ряд убийств — подавление стрельцового бунта, расправа над своими же приближенными, которым царь прямо за обеденным столом срубает головы длинной саблей... Лаконично, двумя жирными нулями обозначены царствования Петра II и Петра III. Зато на Павла I обрушивается поток сарказмов: он запрещает своим подданным говорить, а затем думать, обращает народ в скотов...

Убийственна и уже вполне исторична характеристика слезливо-сентиментального Александра I, который возвысил нескольких «либеральных авторов» до «самого высокого достоинства» — придворных ланкеев, но затем, когда их писания «были приняты некоторыми слышком буквально», показал им, «что поспешный прогресс всегда влечет за собой реакцию».

Но больше всего достается все-таки современности. Едва ли Николай I имел при жизни другого, столь жестокого обличителя. Он появляется на страницах книги Доре много раз — громадный, прямой, с эполетами на широких плечах и с крошечной голов-

ной между ними. Всеобщее рабололество перед самодержцем изображается многократно и на разные лады: театр, где антеры чувствуют себя зрителями, потому что весь зал смотрит не на них, а на императорскую ложу, из которой возвышается, полаяя головой в следующий ярус, фигура царя. Бал, на котором ясно видно, что царь самый высокий человек в стране, так как все прочие склонились перед ним в нижайшем поклоне. Приближенные, раболепно кадящие царю под нос ладаном. А вот и сам Николай высокопарно прославляет самого себя перед строем рослых, но совершенно безголовых генералов. Другая тема этого раздела — полицейский террор, обстановка страха и подозрительности в николаевской России. Иностранцы путешественники в Петербурге даже ночью в гостинице не может остаться один — отовсюду высовываются головы, уши, за ним следят, его подслушивают со всех сторон. А получив милостивое разрешение посетить императорские музеи, он шагает по пустынным залам с эскортом многочисленной стражи. На улице подозрительно оглядываются друг на друга прохожие: каждый третий отличается явно полицейской выправкой.

Задевает Доре и другие стороны русской жизни — крепостничество (в обществе поощрения животноводства крестьянин приравнивается к домашним животным), реформы армии, сводящиеся лишь к все более блестящим мундирам...

Да, Доре знал Россию, конечно, лишь понаслышке, но судил о ней в общем правильно. Не стоит обижаться на него за то, что он увидел и показал лишь смешные и страшные стороны русской истории. В конце концов это неотъемлемое право сатирика. И не случайно, лучшие листы его истории могли бы быть отличными иллюстрациями не только к написанной на полтора десятилетия позже «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А. К. Толстого, но и ко многим страницам Салтыкова-Щедрина.

1. Семейство крестьян. С картины Эрик-сена. XVIII в. 8
2. Подвес за ребро. Гравюра XVIII в. 9
3. Письмо о наказании розгами в квартале крепостного человека 10
4. Стандартный бланк объявления о продаже крепостных 11
5. Н. А. Захарьина-Герцен. С акварели К. Горбунова. 1841 г. Фрагмент. 12
6. Н. П. Огарев. С портрета маслом неизв. художника. 1830-е гг. 12
7. А. И. Герцен. С портрета работы А. Збруева. 1832 г. 12
- 8, 10. Дом, где родился Герцен (Тверской бульвар, 25). Фото 1966 г. Фрагменты 16—17
9. И. А. Яковлев — отец Герцена. С портрета маслом И. З. Летунова. 1820-е гг. 16
11. Л. И. Гаг — мать Герцена. С портрета маслом И. З. Летунова, 1820-е гг. 17
- 12, 13, 15. Гостиня в дворянском доме (Е. С. Воронцова-Дашнова). Рис. Павла Соколова. Фрагменты 22—23
14. После бала. Рис. де Бальмена 23
16. Герцен в младенческом возрасте. С рис. 1813 г. (ЦГАЛИ) 24
17. Москва. Рождественский и Петровский бульвары. С акварели К. Кадоля. 1825 г. Гос. историч. музей. Фрагмент 25
18. Виселица с пятью декабристами. Рисунок А. С. Пушкина 31
19. Вид на Москву с Воробьевых гор. Литография по рис. А. Дюрана. 1844. Гослитмузей. Фрагмент 34
20. Московский университет. С гравюры 1820-х гг. 40
21. Протокол допроса Герцена 54
- 22, 23. Виды Москвы из окон Рогожской части. Рис. А. В. Уткина, арестованного по делу Герцена — Огарева 60—61
24. Встреча ревизора. Фрагмент рис. П. М. Боклевского 64
25. Вятка. С рис. карандашом А. Витберга. 1840-е гг. ИРЛИ 65
- 26—29. Рис. П. М. Боклевского к «Ревизору» Н. В. Гоголя (Заседатель. Открытие уездного бульвара. Занятия ревизора в столице. Городничий в азарте) 74—75
30. Крестьянская сходка 90
31. Страница рукописи Герцена «О месте человека в природе» 91
32. Золотые ворота во Владимире. Связь ворот виден дом (первый справа), в котором в 1838—1839 гг. жил Герцен. С раскрашенной литографии. 1850-е гг. 107
33. Н. А. Герцен (Захарьина). С рис. неизв. художника с акварели 1848 г. ИРЛИ 114
34. А. И. Герцен. С рис. А. Витберга. 1836 г. 115
35. На Сенатской площади 14 декабря 1825 г. С акварели К. И. Кольмана. 1830-е гг. Гос. историч. музей. Фрагмент 120
36. П. Г. Каховский стреляет в гр. М. А. Милорадовича. Гравюра по рисунку А. И. Шарлеманя (1862 г.) 121
37. М. И. Муравьев-Апостол. С акварели Н. И. Уткина. 1823—1824 гг. Ленинград. Гос. Эрмитаж 122
38. М. И. Муравьев-Апостол. Фотография. 1870-е гг. Москва. Гос. историч. музей 122
39. Камера декабристов в Читинском остроге (1829 г.). Фрагмент. Рис. Ник. Бестужева 127
40. Ворота Читинского острога. С акварели Ник. Бестужева. 1829—1830 гг. 129
41. Заковывание каторжных. Фрагмент рисунка 1880-х гг. 129
42. Карта Новгородских военных поселений. Фрагмент 134
43. «Нолокол», лист 17 от 15 июня 1858 г. Фрагмент первой страницы 135
44. Польское восстание 1830 г. С акварели Дитриха (XIX в.) 138
45. Игра в лото в клубе. С рис. XIX в. 138
46. Невский проспект. С гравюры 1840-х гг. 139
47. «Улица» в военных поселениях. Рис. XIX в. 139
48. Форма одежды гренадерских полков 1828—1833 гг. 144—145
49. Военное поселение. С рис. того времени 145
50. Бунт в Новгородских военных поселениях (1831 г.). С рис. того времени 146
51. Император Николай I 147
52. Николаевская Россия. Фотомонтаж. Рис. П. М. Боклевского к «Ревизору» и фрагменты рисунков того времени 150—151
53. Фотомонтаж «Подпольная Россия» 152
54. С. М. Степняк-Кравчинский. Фото. 1878 г. 158
55. Жена С. М. Степняка-Кравчинского — Фанни. Фото. Лондон, 1890-е гг. 159
56. Милан начала 1880-х гг. Здание вокзала. С гравюры того времени 164

57. Милан, вход во дворец Брера, где находится библиотека, в которой С. М. Кравчинский работал в 1881 г. С гравюры того времени 165
58. Письмо С. М. Степняка-Кравчинского П. Л. Лаврову. Май 1882 г. Из Милана в Париж. Первая страница . . . 174
59. Статуя Наполеона в Брере работы Кановы, которой любовался С. М. Кравчинский. С гравюры начала 1880-х гг. 175
60. Титульный лист «Подпольной России», изданной в Милане в 1882 г. . . 176
61. Первое издание «Подпольной России» на русском языке. Лондон. 1893 г. Титульный лист 176
62. Г. В. Плеханов. Фото 178
63. Петр Кропоткин. Фото 182
64. Николай Морозов. Фото 184
65. Ольга Любатович. Фото 186
66. Софья Перовская. Фото 187
67. Валерьян Осинский. Фото 188
68. Дмитрий Клеменц. Фото 189
69. Вера Засулич. Фото 191
70. Нелегальное литографированное издание «Подпольной России», выпущенное в Москве в 1884 г. Первая страница 193
71. И. С. Белостоцкий. Фото. 1911 г. . . 194
72. Столярная мастерская, в которой происходили занятия Партийной школы. Фото 194
73. В. И. Ленин. Фото. 1910 г. 202
74. Дом в Лонджюмо, во дворе которого размещалась Партийная школа. . . . 203
75. Временнообязанные крестьяне Кузнецкого уезда. Рис. из альбома Павлова. 1860-е гг. 210
76. Чтение манифеста 19 февраля 1861 г. в церкви. С гравюры XIX в. 211
77. Крестьянское восстание в 1861 г. С картины С. В. Герасимова. Гос. историч. музей. Москва 212
78. Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского. С рис. того времени 213
79. Одна из страниц прокламации «Барским крестьянам...». 214
80. Фрагмент прокламации, где находится слово, предположительно вписанное Чернышевским 215
81. Страница из письма В. И. Ленина В. В. Водозову из Самары в Петербург от 24 ноября 1892 г. 220
82. Первая страница «Искры» № 4 со статьей В. И. Ленина «С чего начать?» Фрагмент 222
83. Два рабочих, читающих «Искру». Фото 223
84. Дом, где печаталась «Искра». Фото . . 226
85. И. Г. Леман (Смидович). Фото 227
86. Н. Э. Бауман. Фото 233
87. И. И. Радченко. Фото 234
88. Г. М. Кржижановский. Фото 237
89. Карл Шурц в форме генерала американских войск. 1860-е гг. С гравюры того времени 241
90. Автограф письма Герцена Шурцу 242—243
91. После уличной демонстрации. Рис. Томаса Теодора Гейне (1910 г.). . . . 246
92. Коллаж Макса Эрнста из серии «1848 год». 247
93. Ипполит Мышкин. Фото 250
94. Первая страница письма М. Р. Попова В. Г. Короленко 257
95. Первая страница письма Г. А. Лопатина В. Г. Короленко. 258
96. Покушение А. К. Соловьева на царя Александра II 2 апреля 1879 г. Рис. с натуры М. Х. Из парижской газеты «Иллюстрасьон» 260
97. Казнь А. К. Соловьева. Рис. из той же газеты 261
98. Ссылочнокаторжные у пограничного столба между Европой и Азией. Рис. из книги Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка» 262
99. Башни Братского острога. Рис. из той же книги 262—263
100. Переправа через Байкал арестантов, бежавших из Селенгинской каторжной тюрьмы. Рис. из той же книги 263
101. В Кургане, куда В. И. Сухомлину разрешили поехать на свидание с матерью (М. М. Колбасиной). Фото. 1897 г. Слева направо сидят дети: Василий, Евгений и Анна Сухомлины; взрослые: Н. В. Яцевич, Анна Марковна Сухомлина, М. Н. Чикоидзе, М. М. Колбасина, ее дочь Ольга Елисеева и В. И. Сухомлин 264
102. В. В. Сухомлин. Фото. 1960 г. 265
103. В. И. Сухомлин. Фото. Август 1934. Село Михайловское под Москвой. . . 266
104. Каторжные работы на Каре. Золотопромывательная машина на верхнем промысле. С гравюры 1890-х гг. 269
105. В. И. Сухомлин. Фото. Париж. 1881 г. 271
106. В. И. Сухомлин. Фото. Красноярск. 1887 г. 275
107. Переправа заключенных через Енисей. С гравюры 1880-х гг. 276
108. А. М. Сухомлина с сыном Василием на руках. Фото. 1880-е гг. 278

Список иллюстраций

109. Вид Нижнего промысла на Каре. С гравюры 1880-х гг. 281
110. Дорога для возки песку на приисле в Нерчинском округе. С гравюры 1880-х гг. 283
111. Вид на Верхний промысел. Вторая золотопромывательная машина. Тюрма и казарма. С гравюры 1880-х гг. 285
112. Каторжные на разрезных работах в Карийском золотом промысле. С гравюры 1880-х гг. 294
113. В. В. Сухомлин. Фото. 1904 г. 295
114. А. С. Грин. Фото. 1909 г. 306
115. Обложка не увидавшей свет книги АСГ «Слон и Мосына» 306
116. Автобиографический очерк А. С. Грина. Фрагмент первой страницы рукописи. 307
117. Послужной список Грина 308
118. Степан Злобин. Фото Ал. Лесс. 1965 г. 333
119. Табачная фабрика В. Г. Жукова. Гравюра конца XIX в. 368
120. Демонстрация у Петербургского университета в 1905 г. Фотография К. Булла 369
121. Студент, убитый черносотенцами. Рис. из журнала «Зритель», октябрь 1905 г. Фон — страницы объявлений из журнала «Нива», октябрь 1905 г. 382—383
122. Расстрел рабочих на Дворцовой площади 9 января 1905 г. Фото 384
123. Расстрел демонстрации на Одесской лестнице. Май 1905 г. Кадр из фильма «Броненосец «Потемкин» 385
124. Баррикады, сооруженные революционерами на Малой Бронной. Фото В. Грибова и К. Булла 386
125. На улицах Москвы под красным флагом. Рис. Ф. Геннена 387
126. Деятели «Марковской республики» двадцать лет спустя. Фото Ф. В. Феофанова, декабрь 1925 г. В центре первого ряда — президент П. А. Буршин; второй слева в среднем ряду — главный докладчик и составитель «Приговора» — манифеста, уездный агроном А. А. Зубрилин; второй слева в верхнем ряду — бывший волостной старшина И. И. Рыжов, чьи подпись и печать скрепили манифест. Первый слева во втором ряду — И. Н. Павлов, кузнец, «посыльный президента республики», ныне здравствующий автор книги «Марковская республика». Посреди верхнего ряда — А. Ф. Стааль — член бюро Всероссийского крестьянского союза и член президиума его II съезда 388
127. Заключенные Шлиссельбурга. Тюремный рисунок, 1915 г. Фон — Шлиссельбургская крепость. Рис. с натуры заключенного П. В. Карповича, 1901 г. 392
128. Серго Орджоникидзе. Рис. в тюрьме. 1915 г. 395
129. И. В. Турчанинов в форме командира 19-го полка иллинойских волонтеров. Фото. 1860-е гг. 398
130. А. В. Якимова. Фото. 1880 г. 400
131. А. В. Якимова. Фото. 1940 г. 400
132. Страницы из альбома А. В. Якимовой 402—403
133. С. Ф. Дуров. Фото. 1850-е гг. 411
- 134—153 Рисунки Гюстава Доре из книги «История Святой Руси» 417—426
- На обложке — фрагмент рисунка № 36 и гравюра художника С. Д. Бигоса «Год 1905-й».
- На фронтисписе — фрагменты разворотов (рис. № 1, 4, 36, 52, 76, 96, 97, 99, 119, 124)
- Для оформления стр. 12—119 использованы виньетки Московской университетской типографии 1820-х гг.; на стр. 127 рисунок из книги «Декабристы. 86 портретов» изд. М. М. Зензинова, 1906 г.; на стр. 310—332 425 коллажи оформителей тома.

Три поколения, три класса в русском освободительном движении. Предисловие 3

ОЧЕРКИ. СТАТЬИ. ПОРТРЕТЫ

Лидия Чуковская. Начало. Из книги «Герцен» 13
 Н. Рабкина. Версия и документ 122
 Н. Я. Эйдельман. Не было — было. Из легенд прошлого столетия 134
 Евгения Таратута. История одной книги 152
 Г. Миронов. Один из ленинской школы 194

ПОИСКИ. НАХОДКИ. ГИПОТЕЗЫ

С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...» 212
 Н. Б. Планухина. Речь Петра Алексеева в записи судебного чиновника 217
 Г. Е. Хаит. Самое раннее — ленинское 219

ПИСЬМА. ДОКУМЕНТЫ

В. Н. Степанов, К. Н. Тарновский. Из истории русской организации «Искры». Новые архивные документы 222
 Моника Партридж. Герцен и Карл Шурц. Неизвестное письмо Герцена 241
 В. С. Антонов, А. М. Ладыженский. Шлиссельбургцы об Ипполите Мышкине. Письма Г. А. Лопатина и М. Р. Попова к В. Г. Короленко 250

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. В. Сухомлин. Детство на Каре. Из записок русского интеллигента. 264

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Владимир Сандлер. Неизвестный рассказ Александра Грина 300
 А. С. Грин. Слон и Моська. 311
 Степан Злобин. Утро века. Отрывок из романа 33

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОК

В. Е. Баранченко. Именем революции 37
 Л. Гафт. Солдат ленинской стойкости 37
 Н. Пирумова. Гуманизм Кропоткина 37
 Э. Павлова. Кризис «вверхов» 37
 В. Тронин. Повесть о Германе Лопатине 37
 В. Захарина. Советские историки о «Народной воле» 37

СМЕСЬ

И. И. Смирнов. Марковская республика Ю. Марголис, Вл. Сандов. Орджоникидзе в Шлиссельбурге. 3
 Е. И. Чапкевич. Е. В. Тарле под надзором полиции 3
 К. Калманович. Генерал армии свободы А. М. Диковский. Анна Васильевна Якимова. Из воспоминаний сына 4
 Арк. Лишина. Лев Мечников и Николай Жуковский 4
 И. Порох. Первый пострадавший 4
 Б. В. Смирненский. Поэт-петрашевец С. Ф. Дуров под секретным надзором
 Ю. Герчук. «История Святой Руси» Гюстава Доре
 Список иллюстраций

ПРОМЕТЕЙ

Историко-библиографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». Том третий. М., «Молодая гвардия», 1967 г.
 432 с., с илл.

Редактор Ю. Коротков
 Художники: Б. Жутковский,
 Ю. Соболев, Э. Неизвестный

Художественные редакторы А. Степанов и А. Касаргин
 Технический редактор Л. Курлыкова

A09006. Подп. к печ. 22/V. 1967 г.
 Бум. 70×90^{1/16}. Печ. л. 27(31,59). Уч.-изд. л. 38. Заказ 1687. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 38 к. Т. П. 1966 г., № 435.
 Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сушевская, 21.

Поправки

На стр. 6, правая колонна, 12 строка снизу — вместо напечатанного, следует читать: «в 1883 году».

На стр. 5, правая колонна, 16 строку сверху следует читать: «В статье «Исполни пророчество» Герцен».

1825 1848 1861 1881 1905
1861 1881 1905 1825 1848 18
48 1861 1825 1
81 1848
25 18
8 91
34 6
182 95
186 82
325 1848 1905
48 1861 1881 1861
61 1881 1905 1825 1848
1905 1881 1905 1825 1848 1881

